ФЕДОР СОЛОГУБ

4

Федоръ Сологубъ.

Федоръ Сологубъ.

# ТВОРИМАЯ ЛЕГЕНДА

ИВ

# *Собрание сочинений в шести томах*

том четвертый

# Федор Сологуб

*Собрание сочинений*

# Творимая легенда

4

*Роман*

Москва
НПК «Интелвак»
2002

УДК 882 Сологуб 2
ББК 84 (2Рос=Рус)1
С 60

*«Федеральная программа книгоиздания России»*

Составитель и автор примечаний *Т.Ф. Прокопов*

Художник *В.М. Мельников*

**Руководитель проекта** ***В.Н. Кеменов***
**Зам. руководителя проекта** ***И.И. Изюмов***

ISBN 5-93264-022-7
ISBN 5-93264-035-9 (т. 4)

# ТВОРИМАЯ ЛЕГЕНДА

*Роман*

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

# КАПЛИ КРОВИ

### Глава первая

Беру кусок жизни, грубой и бедной, и творю из него сладостную легенду, ибо я — поэт. Косней во тьме, тусклая, бытовая, или бушуй яростным пожаром, — над тобою, жизнь, я, поэт, воздвигну творимую мною легенду об очаровательном и прекрасном.

В спутанной зависимости событий случайно всякое начало. Но лучше начать с того, что и в земных переживаниях прекрасно или хотя бы только красиво и приятно. Прекрасны тело, молодость и веселость в человеке, — прекрасны вода, свет и лето в природе.

Было лето, стоял светлый, знойный полдень, и на реку Скородень падали тяжелые взоры пламенного Змия. Вода, свет и лето сияли и радовались, сияли солнцем и простором, радовались одному ветру, веющему из страны далекой, многим птицам и двум обнаженным девам.

Две сестры, Елисавета и Елена, купались в реке Скородени. И солнце, и вода были веселы, потому что две девы были прекрасны и были наги. И обеим девушкам было весело, прохладно и хотелось двигаться, и смеяться, и болтать, и шутить. Они говорили о человеке, который волновал их воображение.

Девушки были дочери богатого помещика. Место, где они купались, примыкало к обширному, старому саду их усадьбы. Может быть, им было особенно приятно купаться в этой реке потому, что они чувствовали себя госпожами этих быстротекущих вод и песчаных отмелей под их быстрыми ногами. И они плавали и смеялись в этой реке с уверенностью и свободою прирожденных владетельниц и госпож.

Никто не знает пределов своего господства, — но блаженны утверждающие свое обладание, свою власть!

Они плавали вдоль и поперек реки, состязаясь одна с другою в искусстве плавать и нырять. Их тела, погруженные в воду, представляли восхитительное зрелище для того, кто смотрел бы на них из сада, со скамейки на высоком берегу, любуясь игрою мускулов под их тонкою, эластичною кожею. В телесно-желтом жемчуге их тел тонули розовые тоны. Но розы побеждали на их лицах и на тех частях тела, которые бывали часто открыты.

Берег против усадьбы был отлогий. Росли кое-где кусты, за ними далеко простирались нивы, и на краю земли и неба виднелись далекие избы подгородной деревни. Крестьянские мальчики проходили порою по берегу. Они не смотрели на купающихся барышень. Гимназист, пришедший издалека, с другого конца города, сидел на корточках за кустами. Он называл себя телятиною: не захватил фотографического аппарата. Но, утешая себя, он думал: «Завтра непременно возьму».

Гимназист поспешно глянул на часы — заметить, в какое именно время девицы выходят сюда купаться. Он знал девиц, бывал в их доме у своего товарища, их родственника. Теперь младшая, Елена, нравилась ему больше: пухленькая, веселенькая, беленькая, румяненькая, ручки и ножки маленькие. В старшей, Елисавете, ему не нравились руки и ноги, — они казались ему слишком большими, красными. И лицо красное, очень загорелое, и вся очень большая.

«Ну ничего, — думал он, — зато она стройная, этого нельзя отнять».

Около года прошло с той поры, как в городе Скородоже поселился отставной приват-доцент, доктор химии Георгий Сергеевич Триродов. О нем в городе с первых же дней говорили много, и больше несочувственно. Неудивительно, что и две розово-желтые черноволосые девушки в воде говорили о нем же. Они плескались водою, подымали ногами жемчужные и алмазные брызги и говорили.

— Как все это неясно! — сказала младшая сестра, Елена. — Никто не знает, откуда его состояние, и что он там делает в своем доме,

и зачем ему эта детская колония. Слухи какие-то странные ходят. Неясно, право.

Эти Еленины слова напомнили Елисавете статью, которую она читала на днях в московском философском журнале. У Елисаветы была хорошая память. Она сказала, припоминая:

— В нашем мире не может воцариться разум, не может быть устранено все неясное.

Она хотела припоминать дальше, но вспомнила вдруг, что для Елены это не будет занимательно, вздохнула и замолчала. Елена взглянула на нее с выражением привычного любования и преклонения и сказала:

— Когда так светло, хочется, чтобы и все было ясно, как здесь, вокруг нас.

— А здесь разве ясно? — возразила Елисавета. — Солнце слепит глаза, вода горит и блещет, и в этом бешено-ярком мире мы даже не знаем, нет ли в двух шагах от нас кого-нибудь, кто за нами подсматривает.

Сестры в это время стояли, отдыхая, по грудь в воде, у лугового берега Скородени. Гимназист на корточках за кустом услышал Елисаветины слова. Он похолодел от смущения и на четвереньках пустился меж кустами от реки, забрался в рожь, засел на меже и притворился, что отдыхает, что даже и не знает, где река. Но никто не замечал его, словно его и не было.

Гимназист посидел и пошел домой с неясным чувством разочарования, обиды, недоумения. Почему-то особенно обидно было ему думать, что для двух купальщиц он был только предполагаемою возможностью, тем, чего на самом деле не было.

Все на свете кончается. Кончилось и купанье сестер. Вышли они обе сразу и не сговариваясь из отрадно-прохладной, глубинной воды на землю, в воздух, на земное подножие неба, к жарким лобзаниям тяжело и медленно вздымающегося Змия. На берегу они постояли, нежась Змиевыми лобзаниями, и вошли в закрытую купальню, где были оставлены их одежды, одеваться.

Елисаветин наряд был очень прост. Платье, сшитое туникою, без рукавов, не совсем длинное, зеленовато-желтого цвета, и простая соломенная шляпа. Елисавета почти всегда носила желтые платья. Она любила желтый цвет, курослеп и золото. Хотя она и говорила иногда, что носит желтое, чтобы не казаться слишком красною, но на самом деле она любила желтый цвет просто искренно и бескорыстно. Желтый цвет радовал Елисавету. В этом было очень далекое, досознательное воспоминание, словно из иной жизни, прежней.

Тяжелая черная Елисаветина коса была плотно и красиво положена вокруг головы. Сзади коса была высоко поднята и открывала сильно загорелую, стройно поставленную шею. На прекрасном Елисаветином лице было ярко, почти с излишнею силою, выражено преобладание волевой и интеллектуальной жизни над эмоциональною. Был очарователен странно-прямой и длинный разрез губ. Сини были ее глаза, веселые, когда и губы не улыбаются. И веселый, и задумчивый, и нежный был их взгляд. На этом лице казались неожиданно-странными яркий румянец и сильный загар.

Елисавета ждала, когда оденется Елена, медленно ходила по песчаному берегу и всматривалась в однообразные дали. Мелкие, теплые песчинки ласково грели похолодевшие в воде нагие стопы.

Елена одевалась не торопясь. Так ей нравилось, казалось таким украшающим все, что наденет. Она любовалась розовыми рефлексами на своей коже, своим нарядным и легким платьем из светло-розовой, почти белой ткани, широким розовым шелковым поясом, замкнутым сзади перламутровою пряжкою, соломенною шляпою со светло-розовыми лентами, подбитою желтовато-розовым атласом.

Наконец Елена оделась. Сестры поднялись по отлогой дорожке вверх от берега и ушли туда, куда влекло их любопытство. Они любили делать продолжительные прогулки пешком. Несколько раз проходили раньше мимо дома и усадьбы Георгия Триродова, которого они еще ни разу не видели. Сегодня им захотелось опять идти в ту сторону и постараться заглянуть, увидеть что-нибудь.

Сестры прошли версты две лесом. Тихо говорили они о разном и слегка волновались. Любопытство часто волнует.

Извилистая лесная дорожка с двумя тележными колеями открывала на каждом повороте живописные виды. Наконец выбранная сестрами дорожка привела их к оврагу. Его заросшие кустами и жесткою травою склоны были дики и красивы. Из глубины оврага доносился сладкий и теплый запах донника, и виднелись там, внизу, его белые метелки. Над оврагом висел узенький мостик, подпертый снизу тонкими кольями. За мостиком тянулась вправо и влево невысокая изгородь, и в ней, прямо против мостика, видна была калитка.

Сестры перешли мостик, придерживаясь за его тонкие, березовые перильца. Потрогали калитку — заперта. Посмотрели одна на другую. Елисавета, досадливо краснея, сказала:

— Надо вернуться.

— Да, вот и все говорят, что туда не попасть, — сказала Елена, — что надо через изгородь перелезать, да и то не перелезть почему-то. Странно, какие же там у них секреты?

В кустах у изгороди послышался тихий шорох. Ветки раздвинулись. Тихо подбежал бледный мальчик. Быстро глянул на сестер ясными, но слишком спокойными, словно неживыми глазами. Елисавете показался странным склад его бледных губ. Какое-то неподвижно-скорбное выражение таилось в уголках его рта. Он открыл калитку; кажется, сказал что-то, но так тихо, что сестры не расслышали. Или это легкий ветер прошумел в упругих ветках?

Мальчик скрылся за кустами так быстро, словно его и не было. Так быстро, что сестры не успели ни удивиться, ни сказать спасибо. Точно сама калитка распахнулась, или одна из сестер толкнула ее, не замечая.

Они постояли в нерешительности. Непонятное смущение на короткое мгновение охватило обеих и быстро рассеялось. Любопытство поднялось опять. Сестры вошли.

— Как же он открыл? — спросила Елена.

Елисавета молча и скоро шла вперед. Ей было радостно, что попали. И уже не хотела она думать о бледном мальчике, забыла его. Только где-то, в неясном поле сознания, тускло мерцал белый и странный лик.

Был все такой же лес, как и до калитки, такой же задумчивый, и высокий, и разобщающий с небом, чарующий своими тайнами. Но здесь он казался побежденным человеческою деятельною жизнью. Где-то недалеко слышались голоса, крики, смех. Кое-где попадались оставленные игры. Тропинки выходили иногда на усыпанные песком широкие дорожки. Сестры быстро шли по извилистой тропинке в ту сторону, откуда сильнее звучали детские голоса, вскрики, смехи и взвизги. Потом все это многообразие звуков стянулось и растворилось в звонком и сладком пении.

Наконец перед сестрами открылась небольшая прогалина овальной формы. Высокие сосны обстали вокруг этой лужайки так ровно, как стройные колонны великолепной залы. И над нею небесная синева была особенно яркою, чистою и торжественною. На прогалине было много детей разного возраста. В различных местах они сидели и лежали поодиночке, по два, по три. В середине десятка три мальчиков и девочек пели и танцевали, и танец их строго следовал ритму песни и с прекрасною точностью передавал ее слова. Их пением и танцем управляла высокая и стройная девушка с сильным, звучным голосом, роскошными золотистыми косами и серыми веселыми глазами.

Все: и дети, и наставницы их, — которых видно было три или четыре, — одеты были одинаково, совсем просто. Простая и легкая одежда их казалась красивою. На них приятно было смотреть, может быть, потому, что их одежда открывала деятельные члены тела, руки и ноги. Одежда должна защищать, а не закрывать, — одевать, а не окутывать.

Синие и красные пятна шапочек и одежд красиво выделяли светлые тона лиц, рук и ног. И было весело, и казалось, под этою высокою и ясною лазурью, таким праздничным и чистым это обилие ярких и светлых тонов и смело открытого тела.

Несколько детей, из тех, которые не пели, подошли к сестрам и смотрели на них, ласково и доверчиво улыбаясь.

— Можно посидеть, — сказал мальчуган с очень синими глазами, — вот скамеечка.

— Спасибо, миленький, — сказала Елисавета.

Сестры сели. Детям хотелось говорить. Одна маленькая девочка сказала:

— А я сейчас белочку видела. На елке сидела. А я как крикнула! а она как побежит!

И другие начали рассказывать и спрашивать. А те перестали петь, разбежались играть. Золотоволосая учительница подошла к сестрам и спросила:

— Вы из города? Вам у нас нравится?

— Да, у вас хорошо, — сказала Елисавета. — У нас рядом усадьба. Мы — Рамеевы. Я — Елисавета. А это моя сестра, Елена.

Золотоволосая девица покраснела, словно застыдилась, что богатые барышни видят ее нагие плечи и ее босые, до колен открытые ноги. Но увидев, что и барышни, как она, не обуты, она утешилась и улыбнулась.

— Я — Надежда Вещезерова, — сказала она.

И внимательно посмотрела на сестер. Елисавета подумала, что она слышала эту фамилию где-то в городе: что-то рассказывали, не помнила что. Почему-то она не сказала об этом Надежде. Может быть, слышала какую-то тяжелую историю?

Это случалось иногда с Елисаветою, — боязнь спрашивать о прошлом. Кто знает, сколько темного кроется за ясною улыбкою, из какой тьмы возникло цветение, внезапно обрадовавшее взор обманчивою красотою, красотою неверных земных переживаний.

— Легко нашли нас? — спрашивала золотоволосая Надежда, ласково и лукаво улыбаясь. — К нам не так-то просто попасть, — пояснила она.

Елисавета сказала:

— Нам открыл калитку белый мальчик. И так быстро убежал, что мы не успели и поблагодарить. Такой бледный и тихий.

Надежда вдруг перестала улыбаться.

— Да, это — не здешний, — с запинкою сказала она. — Они там живут, у Триродова. Их несколько. Не хотите ли позавтракать с нами? — спросила она, быстро оборвав прежнюю свою речь.

Елисавете показалось, что Надежда хочет переменить разговор.

— Мы здесь живем весь день, и едим, и учимся, и играем, все здесь, — говорила Надежда. — Люди строили города, чтобы уйти от зверя, а сами озверели, одичали.

Горькие ноты зазвучали в ее голосе — отзвуки пережитого? или чутко воспринятое чужое? Она говорила:

— Мы идем из города в лес. От зверя, от одичания в городах. Надо убить зверя. Волки, лисицы, коршуны — хищные, жестокие. Надо убить.

Елисавета спросила:

— Как же убить зверя, который отрастил себе железные и стальные когти и угнездился в городах? Он сам убивает, и не видно конца его злодействам.

Надежда нахмурила брови, стиснула руки и упрямо повторяла:

— Мы его убьем, убьем.

## Глава вторая

Сестры не отказались от угощения. Их напоили и накормили. Они пробыли здесь более часа: весело разговаривали с детьми и с учительницами. Дети были милы и доверчивы. Учительницы, простые и милые, как дети, и такие же, как дети, веселые, казались беспечными и отдыхающими. Но они были постоянно заняты и все успевали заметить, что требовало их внимания. Впрочем, многое дети затевали и исполняли сами, пользуясь какою-то организацией, которая для сестер осталась еще неизвестною.

Здесь с игрою смешивалось учение. Одна из учительниц пригласила сестер послушать то, что она называла своим уроком. Сестры слушали с удовольствием живую беседу по поводу сегодняшних детских наблюдений в лесу. Были еще учительницы, пришедшие откуда-то из глубины леса, — и дети то уходили в лес, то приходили оттуда все иные.

Учительница, которую слушали сестры, окончила свою беседу и вдруг быстро убежала куда-то. И дети ушли за нею. За темною

зеленью деревьев мелькали красные шапочки, загорелые руки и ноги учительницы и детей. Сестры остались опять одни. Уже никто не обращал на них особого внимания. Они, видимо, никого не стесняли, никому не мешали.

— Пора уходить, — сказала Елена.

Елисавета встала.

— Что ж, пойдем, — сказала она. — С ними очень интересно и легко, но не все ж тут сидеть.

Уход сестер был замечен. Несколько ребятишек подбежали к ним. Дети весело кричали:

— Мы вас проводим, а то вы заблудитесь.

Когда сестры подошли к выходу, Елисавете показалось, что кто-то смотрит на нее, таясь и дивясь. Она с недоумением, странным и тягостным, огляделась по сторонам. За изгородью, за кустами таились мальчик и девочка. Такие же как будто бы, как и все здешние, но очень белые, словно поцелуи злого Дракона, катящегося в жарком небе, не обжигали их нежной кожи. И мальчик, и девочка смотрели неподвижно, внимательно. Их непорочный взор казался проникающим в самую глубину души, и это почему-то смутило Елисавету. Она шепнула Елене:

— Взгляни, какие странные!

Елена глянула по направлению Елисаветина взора и равнодушно сказала:

— Уродцы.

Елисавета удивилась этому странному определению, — лица этих таящихся детей были как лица молящихся ангелов.

В это время дети, провожавшие сестер, смеясь и толкаясь, побежали назад. С сестрами остался один мальчик. Он открыл калитку и ждал, когда сестры выйдут, чтобы опять закрыть ее. Елисавета тихо спросила у него:

— Кто это?

Она легким движением головы показала ему на кусты, за которыми таились мальчик и девочка. Веселый мальчуган поглядел по направлению ее взгляда, потом перевел глаза на нее и сказал:

— Там никого нет.

И в самом деле, уже никого не видно было в кустах. Елисавета сказала:

— Но я там видела мальчика и девочку. Оба такие беленькие, совсем не такие загорелые, как вы. Стояли такие смирные и смотрели.

Веселый черноглазый мальчик внимательно посмотрел на Елисавету, слегка нахмурился, опустил глаза, подумал, опять глянул на сестер внимательно и печально и сказал:

— Там, в главном доме, у Георгия Сергеевича, есть еще тихие дети. Они с нами не бывают. Они — тихие. Не играют. Они были больные. Должно быть, еще не поправились. Я не знаю. Только они отдельно.

Мальчик говорил это медленно и задумчиво, словно дивясь, что там, в доме хозяина, есть иные, тихие дети, которые не приходят играть. Вдруг он весело тряхнул головою, словно отгоняя от себя недолжные мысли, снял свою шапочку и крикнул весело и ласково:

— Счастливого пути, милые сестрицы! Идите вот по этой тропинке.

Он поклонился, убежал, — и уже никого не было около сестер. Они пошли, куда им показал мальчуган. Перед ними открылась тихая долина, и видна была вдали белая стена, за которою таился дом Триродова. Сестры пошли дальше, к этому дому. Перед ними, притаясь за кустами, шел мальчик в белой одежде, словно показывал им дорогу.

Было тихо. Высоко, заслоняясь от людей темно-лиловыми щитами, стоял пламенный Дракон. Он смотрел горячо и злобно из-за обманчивых, зыбких щитов, разливал яркий свет, томил — и хотел, чтобы ему радовались, чтобы ему слагали гимны. Он хотел царить, и казалось, что он недвижен, что он никогда не захочет идти на покой. Но уже багровая усталость начинала клонить его к западу. И он свирепел, и поцелуи его были знойны, и бешеный взор его багряно туманил девичьи взоры.

Искали девичьи взоры, искали дом Триродова.

Дом Триродова стоял в полутора верстах от городской окраины, не у того конца, где дымные и грязные лежали фабричные слободы, а совсем в противоположной стороне, по реке Скородени выше горо-

да Скородожа. Этот дом с усадьбою занимал обширный околоток, обнесенный каменною стеною. Одна сторона усадьбы выходила на реку, другая — к городу, остальные — в поле и в лес. Дом стоял в середине старого сада. Из-за каменного белого высокого забора виднелись только вершины деревьев, и между ними, высоко, две башенки над домом, одна несколько выше другой. Казалось, что кто-то смотрит с этой башни на подходящих сестер.

О доме шла дурная молва еще с того времени, когда он принадлежал прежнему владельцу, Матову, родственнику сестер Рамеевых. Говорили, что дом населен привидениями и выходцами из могил. Была тропинка у дома с северной стороны усадьбы, которая вела через лес на Крутицкое кладбище. В городе дорожку эту называли Навьею тропою и по ней боялись ходить даже и днем. О ней складывались легенды. Местная интеллигенция старалась их разрушить, но тщетно. Самую усадьбу иногда называли Навьим двором. Иные рассказывали, что своими глазами видели на воротах загадочную надпись: «Вошли трое, вышли двое». Но теперь этой надписи не было. Видны были только над воротами легко иссеченные цифры, одна под другою: наверху 3, потом 2, внизу 1.

Все злые слухи и отговаривания не помешали Георгию Сергеевичу Триродову купить дом. Он переделал дом, а потом и поселился здесь после того, как его сравнительно недолгая учебная служба была грубо прервана. Долго перестраивали и переделывали дом. Из-за высоких стен не видно было, что там делалось. Это возбуждало любопытство горожан и злые толки. Работники были нездешние, привезенные откуда-то издалека. Они не понимали нашей речи, редко показывались на улицах, имели угрюмый вид, были смуглы и малорослы.

— Злые, черные, — говорили в городе, — ножики с собой носят, а в Навьем дворе подземные ходы роют. Сам бритый, как немец, и землекопов исчужа выписал.

— Эта учительница рыженькая, Надежда Вещезерова, мне понравилась, — сказала Елена.

Она вопросительно посмотрела на сестру.

— Да, она очень искренняя, — ответила Елисавета. — Хорошая девочка.

— Они все милые, — более уверенно сказала Елена.

— Да, — нерешительно сказала Елисавета. — А вот другая, та, которая от нас убежала, в ней есть что-то непрямое. Точно легкий налет лицемерия.

— Почему? — спросила Елена.

— Так, чувствуется. Слишком любезно улыбается. Слишком ласково. По всему видно, что флегматична, а старается быть очень живою. И словечки порою проскальзывают такие, преувеличенные.

За каменною стеною в саду было тихо. В этот час Кирша был свободен. Но он не мог играть, — не игралось.

Маленький Кирша, сын Триродова от его недавно умершей жены, был смуглый и худенький. У него было слишком подвижное лицо и беспокойные черные глаза. Одет он был как мальчики в лесу. Он был сегодня неспокоен. Почему-то ему было жутко. Он чувствовал себя так, словно кто-то невидимый его тянет, зовет неслышным шепотом, чего-то требует — чего? И кто это к их дому подходит? Зачем? Друг или враг? Кто-то чужой, — но странно близкий.

В ту минуту, когда сестры вышли от детей в лесу, Кирша был особенно взволнован. Он увидел в дальнем углу сада мальчика в белой одежде и побежал к нему. Они тихо и долго говорили. Потом Кирша пошел к отцу.

Георгий Сергеевич Триродов был дома один. Лежал на диване, он читал роман Уайльда.

Триродову было лет сорок. Он был тонок и строен. Коротко остриженные волосы, бритое лицо — это его очень молодило. Только поближе присмотрясь, могли заметить много седых волос, морщины на лице около глаз, на лбу. Лицо у него было бледное. Широкий лоб казался очень большим — эффект узкого подбородка, худых щек и лысины.

Комната, где читал Триродов, его кабинет, была большая, светлая и простая, с белым, некрашеным, зеркально-ровным полом. Стены

были заставлены открытыми книжными шкапами. В стене против окон между шкапами оставалось узкое, человеку стать, место. Казалось почему-то, что там есть дверь, скрытая под обоями. Посередине комнаты стоял стол, очень большой. На нем лежали книги, бумаги и еще несколько странных предметов — шестигранные призмы из неизвестного материала, тяжелые, плотные, темно-красного цвета, с багровыми, синими, серыми и черными пятнами и прожилками.

Кирша стукнул в дверь и вошел, — тихий, маленький, взволнованный. Триродов глянул на него тревожно. Кирша сказал:

— Две барышни там, в лесу. Такие любопытные. По нашей колонии ходили. Теперь им хочется сюда попасть. Походить, посмотреть.

Триродов опустил на страницу романа бледно-зеленую ленту с легко намеченным узором, положил книгу на столик у дивана, взял Киршу за руку, притянул к себе, внимательно посмотрел на него, слегка щурясь, и тихо сказал:

— Опять тихих мальчиков выспрашивал.

Кирша покраснел, но стоял прямо и спокойно. Триродов продолжал упрекать:

— Сколько раз я говорил тебе, что это нехорошо! И для тебя худо, и для них.

— Им все равно, — тихо сказал Кирша.

— Почем ты знаешь? — сказал Триродов.

Кирша дернул плечом и сказал упрямо:

— Зачем же они здесь? На что они нам?

Триродов отвернулся, встал порывисто, подошел к окну и мрачно смотрел в сад. Словно что-то взвешивалось в его сознании, все еще не решенное. Кирша тихонько подошел к нему, так тихо ступая по белому, теплому полу загорелыми стройными ногами с широкими стопами, высоким подъемом и длинными, красиво и свободно развернутыми пальцами. Он тронул отца за плечо, — тихо положил на его плечо загорелую руку, — и тихо сказал:

— Ты же ведь знаешь, мой миленький, что я это делаю редко, когда уже очень надо. А сегодня очень я беспокоился. Уж я так и знал, что будет что-то.

— Что будет? — спросил отец.

— Да уж я чувствую, — сказал Кирша просящим голосом, — что надо тебе пустить их к нам. Любопытных-то этих барышень.

Триродов посмотрел на сына очень внимательно и улыбнулся. Кирша, не улыбаясь, говорил:

— Старшая хорошая. Чем-то похожа на маму. Да и другая тоже ничего, милая.

— Зачем же они ходят? — опять спросил Триродов. — Подождали бы, пока их старшие сюда приведут.

Кирша улыбнулся, потом вздохнул легонько и сказал раздумчиво, пожимая плечиками:

— Женщины все любопытны. Что ты с ними поделаешь!

Улыбаясь не то радостно, не то жестоко, спросил Триродов:

— А мама к нам не придет?

— Ах, пусть бы пришла, хоть на минуточку! — воскликнул Кирша.

— Что же нам делать с этими девицами? — спросил Триродов.

— Пригласи их, покажи им дом, — сказал Кирша.

— И тихих детей? — тихо спросил Триродов.

— Тихим детям тоже понравилась старшая, — отвечал Кирша.

— А кто они, эти девицы? — спросил Триродов.

— Да это наши соседки, Рамеевы, — отвечал Кирша.

Триродов усмехнулся и сказал:

— Да, понятно, им любопытно.

Он нахмурился, подошел к столу, взял в руки одну из темных тяжелых призм, слегка приподнял, опять осторожно поставил на место и сказал Кирше:

— Иди же, встреть их и проведи сюда.

Кирша, радостно оживляясь, спросил:

— Через двери или гротом?

— Да, проведи их темным ходом, под землею.

Кирша вышел. Триродов остался один. Он открыл ящик письменного стола, вынул флакон странной формы зеленого стекла с темною жидкостью и посмотрел в сторону потайной двери. В ту же минуту она открылась тихо и плавно. Вошел мальчик, бледный, тихий, и по-

смотрел на Триродова покойными глазами, тихими, невинными, но понимающими.

Триродов подошел к нему. Упрек зрел на его языке. Но он не мог сказать упрека. Жалость и нежность приникли к его губам. Он молча дал мальчику флакон странной формы. Мальчик тихо вышел.

## Глава третья

Сестры вошли в перелесок. Повороты дорог закружили их. Вдруг пропали из виду башенки старого дома. И все вокруг показалось незнакомым.

— Да мы заблудились, — весело сказала Елена.

— Как-нибудь выйдем, — ответила Елисавета. — Куда-нибудь выйдем.

В это время навстречу им из кустов вышел Кирша, маленький, загорелый, красивый. Черные, сросшиеся брови и неприкрытые шапкою черные вьющиеся на голове волосы придавали ему дикий вид лесного зоя.

— Миленький, откуда ты? — спросила Елисавета.

Кирша смотрел на сестер внимательно, прямым и невинным взглядом. Он сказал:

— Я — Кирша Триродов. Идите прямо по этой дорожке, — вот и попадете, куда вам надо. Идите за мною.

Он повернулся и пошел. Сестры шли за ним по узкой дорожке меж высоких деревьев. Кое-где цветы виднелись, — мелкие, белые, пахучие. От цветов поднимался странный, пряный запах. Сестрам стало весело и томно.

Кирша молча шел перед ними.

Дорога окончилась. Перед сестрами возвышался холм, заросший перепутанною, некрасивою травою. У подножия холма виднелась ржавая дверь, — словно там хранилось что-то.

Кирша пошарил в кармане, вынул ключ и открыл дверь. Она неприятно заскрипела, зевнула холодом, сыростью и страхом. Стал ви-

ден далекий, темный ход. Кирша нажал какое-то около двери место. Темный ход осветился, словно в нем зажглись электрические лампочки. Но ламп не было видно.

Сестры вошли в грот. Свет лился отовсюду. Но источников света сестры не могли заметить. Казалось, что светились самые стены. Очень равномерно разливался свет, и нигде не видно было ни ярких рефлексов, ни теневых пятен.

Сестры шли. Теперь они были одни. Дверь за ними со скрипом заперлась. Кирша убежал вперед. Сестры скоро перестали его видеть. Коридор был извилист. Почему-то сестры не могли идти скоро. Какая-то тяжесть сковывала ноги. Казалось, что этот ход идет глубоко под землею, — он слегка склонялся. И шли так долго. Было сыро и жарко. И все жарче становилось. Странно пахло, — тоскливый, чуждый разливался аромат. Он становился все душистее и все томнее. От этого запаха слегка кружилась голова и сердце сладко и больно замирало.

Как долго идти! Все медленнее движутся ноги. Каменный так жесток пол!

— Как трудно идти, — шептала Елисавета, — как жестко!

— Какие жесткие плиты, — жаловалась Елена, — моим ногам холодно.

Так долго шли! С таким усилием влеклись в душном, сыром подземелье! И казалось, что целый век прошел, что конца не будет, что придется все идти, идти, подземным, узким, извилистым ходом, идти неведомо куда!

Свет меркнет, в глазах туман, темнеет. И нет конца. Жестокий путь!

И вдруг окончен темный, трудный путь! Перед сестрами — открытая дверь, и в нее льется белый, слитный и торжественный свет — радость освобождения.

Сестры вошли в громадную оранжерею. Жили там странные, чудовищно-зеленые и могучие растения. Было очень влажно и душно. Стеклянные стены в железном переплете пропускали много света.

Свет казался слишком ярким, беспощадно ярким — так все металось в глаза!

Елена посмотрела на свое платье. Оно казалось ей серым, изношенным. Но яркий свет отвлек ее взоры. Она засмотрелась и забыла о своем. Стеклянное, зеленовато-голубое небо оранжереи искрилось и горело. Лютый Змий радовался стеклянному плену земных воздыханий. Он бешено целовал свои любимые, ядовитые травы.

— Здесь еще страшнее, чем в подземелье, — сказала Елисавета, — выйдем отсюда поскорее.

— Нет, здесь хорошо, — со счастливою улыбкою сказала Елена, любуясь алыми и багряными цветами, распустившимися в круглом бассейне.

Но Елисавета быстро шла к выходу в сад. Елена догоняла ее и ворчала:

— Куда бежишь? Здесь скамеечки есть, посидеть можно.

Елисавета и Елена вышли в сад. Триродов встретил их на дорожке у оранжереи. Он сказал просто и решительно:

— Вас интересует этот дом и его хозяин. Вот — я, и, если хотите, я покажу вам часть моих владений.

Елена покраснела. Елисавета спокойно наклонила голову и сказала:

— Да, мы — любопытные девушки. Этот дом принадлежал нашему родственнику. Но он стоял заброшенный. Говорят, здесь много перемен.

— Да, много перемен, — тихо сказал Триродов. — Но главное осталось как было.

— Всех удивляет, — продолжала Елисавета, — что вы решились здесь поселиться. Вас не остановила репутация этого дома.

Триродов повел сестер, показывая им сад и дом. Разговор шел легко и свободно. Первое смущение сестер скоро прошло. Им легко было с Триродовым. Дружески-спокойный тон Триродова сломал неловкость в думах сестер. Они шли, смотрели. А вокруг них, близкая, но далекая, таилась иная жизнь. Иногда слышалась музыка — ме-

ланхолическое рокотание струн, тихие жалобы флейты. Иногда чей-то свирельный голос заводил нежную и тихую песню.

На одной лужайке, в густой тени старых деревьев, закрытые от грубого пламенного Змия отрадною тьмою листвы, в тихом хороводе кружились мальчики и девочки в белых одеждах. Сестры подошли, — дети разбежались. Так тихо убежали, едва колыхнули, задевши, ветки, исчезли, — и точно их и не было.

Сестры шли, слушали Триродова и любовались садом — его деревьями, лужайками, прудами, островками, тихо журчащими фонтанами, живописными беседками, многоцветною радостью цветущих куртин. Сестры чувствовали странную, томную усталость. Но им было весело и радостно, что они попали в этот замкнутый дом, — как-то по-школьнически весело, что вошли сюда с нарушением общепринятых правил хорошего общества.

Когда вошли в одну комнату в доме, Елена воскликнула:

— Какая странная комната!

— Магическая, — с улыбкою сказал Триродов.

Странная комната, — все в ней было неправильно: потолок покатый, пол вогнутый, углы круглые, на стенах непонятные картины и неизвестные начертания. В одном углу большой, темный, плоский предмет в резной раме черного дерева.

— Зеркало, в которое интересно смотреть, — сказал Триродов. — Только надо зайти туда, в треугольник, к стене, — к углу.

Сестры зашли, глянули в зеркало, — в зеркале отразились два старые морщинистые лица. Елена закричала от страха. Елисавета побледнела, обернулась к сестре и улыбнулась.

— Не бойся, — сказала она. — Это какой-то фокус.

Елена посмотрела на нее и в ужасе закричала:

— Ты совсем старая стала! Волосы седые. Какой ужас!

Она бросилась из-за зеркала, крича в страхе:

— Что это такое? Что это?

Елисавета вышла за нею. Она не понимала случившегося, волновалась, старалась скрыть свое смущение. Триродов смотрел на них просто и спокойно. Он открыл шкап, вделанный в стену.

— Успокойтесь, — сказал он Елене, — выпейте этой воды, которую я вам дам.

Он подал ей стакан с бесцветною, как вода, жидкостью. Елена поспешно выпила кисло-сладкую воду, и вдруг ей стало весело. Выпила и Елисавета. Елена бросилась к зеркалу.

— Я опять молодая! — закричала она звонко.

Выбежала, обняла Елисавету, говорила весело:

— И ты, Елисавета, помолодела.

Буйная веселость охватила обеих сестер. Они схватились за руки и принялись плясать, кружась по комнате. И вдруг им стало стыдно. Они остановились, не знали, куда глядеть, и засмеялись смущенно. Елисавета сказала:

— Какие мы глупые! Вам смешно глядеть на нас, да?

Триродов ласково улыбнулся.

— Такое свойство этого места, — сказал он. — Ужас и восторг живут здесь вместе.

Много интересных вещей сестры видели в доме — предметы искусства и культа, — вещи, говорящие о далеких странах и о веках седой древности, — гравюры странного и волнующего характера, — многоцветные камни, бирюза, жемчуг, — кумиры, безобразные, смешные и ужасные, — изображения Божественного Отрока, — как многие его рисовали, но только одно лицо поразило Елисавету...

Елену забавляли вещи, похожие на игрушки. Много есть вещей, которыми можно играть, смешивая магиею отражений времена и пространства.

Так много видели сестры, — казалось, прошел целый век. Но на самом деле сестры пробыли здесь только два часа. Мы не умеем измерять времен. Иной час — век, иной час — миг, а мы уравняли.

— Как, только два часа! — сказала Елена. — Да это страшно много. Пора домой, к обеду.

— А нельзя опоздать? — спросил Триродов.

— Как можно! — воскликнула Елена.

Елисавета объяснила:

— Час обеда у нас строго соблюдается.

— Вас довезут, — сказал Триродов.

Сестры поблагодарили. Но надо было уходить. Они сразу почувствовали усталость и печаль, простились с Триродовым и молча пошли. Мальчик в белой одежде шел перед ними в саду и показывал дорогу.

Опять вошли сестры в тот же подземный ход, увидели мягкое ложе и вдруг почувствовали такую слабость, что шагу не сделать.

— Сядем, — сказала Елена.

— Да, — ответила Елисавета, — я тоже устала. Как странно! Какое утомление!

Сестры сели. Елисавета говорила тихо:

— Здесь неживой падает на нас свет из неизвестного источника, и он страшен, — но теперь мне еще страшнее грозный лик чудовища, горящего и не сгорающего над нами.

— Милое солнце, — тихо сказала Елена.

— Оно погаснет, — говорила Елисавета, — оно погаснет, неправедное светило, и в глубине земных переходов люди, освобожденные от опаляющего Змия и от убивающего холода, вознесут новую, мудрую жизнь.

Елена шептала:

— Когда земля застынет, люди умрут.

— Земля не умрет, — так же тихо ответила Елисавета.

Сестры заснули. Они спали недолго, но когда проснулись, обе вдруг, все, что было сейчас, казалось им сном. Они заторопились.

— Давно пора возвращаться, — озабоченно говорила Елена.

Они побежали. Дверь из подземного хода была открыта. У выхода на дороге стоял шарабан. Кирша сидел и держал вожжи. Сестры уселись. Елисавета стала править. Кирша короткими словами говорил дорогу. Говорили мало, — слово, два скажут и молчат.

У своей усадьбы сестры вышли из экипажа. Их обнимало полусонное настроение. Не успели и поблагодарить, — так быстро уехал Кирша. Только пыль влеклась по дороге и слышался стук копыт да шуршанье колес по щебню.

## Глава четвертая

Сестры едва успели переодеться к обеду. Усталые и рассеянные, вышли они в столовую. Там уже их ждали — отец, землевладелец Рамеев, и Матовы, студент Петр Дмитриевич и гимназист Миша, сыновья двоюродного брата Рамеева, ныне умершего, которому принадлежала прежде усадьба Триродова.

Сестры мало говорили. Промолчали и о том, где были сегодня и что видели. А прежде они бывали откровенные и любили поговорить, рассказать.

Петр Матов, высокий, худощавый, бледный юноша с горящими глазами, с видом человека, собирающегося поступить в пророческую школу, казался озабоченным и раздраженным. Его нервность почему-то отражалась, — неуверенными улыбками и неловкими движениями, — на Мише. Это был мальчик упитанный, с розовыми щеками, быстроглазый, веселый, но, очевидно, слишком впечатлительный. Теперь беспричинная, по-видимому, в краях его улыбающегося рта трепетала легкая дрожь.

Рамеев, невысокий, плотный старик со спокойными манерами хорошо воспитанного и уравновешенного человека, не давая заметить, что ждал дочерей, неторопливо занял свое место за обеденным столом, сдвинутым теперь и казавшимся маленьким посреди просторной столовой из темного резного дуба. Мисс Гаррисон невозмутимо принялась разливать суп, — полная, спокойная, с седеющими волосами дама, олицетворение благополучного, хозяйственного дома.

Рамеев заметил, что дочери устали. Смутное опасение поднялось в нем. Но он быстро погасил в себе легкое пламя неудовольствия, ласково улыбнулся дочерям и тихо, словно осторожно намекая на что-то, сказал:

— Далеконько вы, мои милые, заходите.

И после молчания, недолгого, но неловкого, смягчая тайный смысл своих слов и разрешая легкое замешательство девиц, прибавил:

— Я замечаю, что вы несколько забросили езду верхом.

Потом обратился к старшему из братьев:

— Ну что нового в городе слышно, Петя?

Сестрам было неловко. Они постарались принять участие в разговоре.

Это было в те дни, когда кровавый бес убийства носился над нашею родиною и страшные дела его бросали раздор и вражду в недра мирных семейств. Молодежь в этом доме, как и везде, часто говорила и спорила о том, что свершалось, о том, чему еще надлежало быть. Спорили, были не согласны. Дружба с детства и хорошее воспитание рядили в мягкие формы идейные противоречия. Но случалось, что спор доходил до резкостей.

Отвечая Рамееву, Петр стал рассказывать о рабочих волнениях, о подготовлявшихся забастовках. Раздражение слышалось в его словах. Он был один из тех, кто волновался вопросами религиозно-философского сознания. Он думал, что мистическая жизнь человеческих единений должна быть завершена в блистательных и увлекающих формах цезаропапизма. Он думал, что любил свободу, — Христову, — но бурные движения пробуждающегося были ему ненавистны. Обольстил его царящий, огненный Змий, свирепый и мстительный Адонаи, — обольстил его соблазнами торжествующей гармонии, золотою свирелью Аполлона.

— Новости ужасные, — говорил Петр, — готовится общая забастовка. Говорят, что завтра все заводы в городе остановятся.

Миша неожиданно засмеялся, совсем по-детски, весело и звонко, и вскрикнул с восторгом:

— Если бы вы видели, какая физиономия бывает у директора во всех таких случаях!

Голос у него был нежный и звенящий и так звучал кротко и ласково, точно он рассказывал о блаженном и невинном, об ангельской непорочной игре у порога райских обителей. Слова *забастовка, обструкция* звучали в его устах, как названия редких и сладких лакомств. Ему стало весело и вдруг захотелось сошкольничать. Он звонко затянул было: «Вставай, поднимайся...»

Но сконфузился, оборвался, замолчал, покраснел. Сестры засмеялись. Петр смотрел угрюмо. Рамеев ласково улыбнулся. Мисс Гар-

рисон, делая вид, что не замечает беспорядочной выходки, спокойно взялась за грушу электрического звонка, подвешенную к висевшей над столом люстре, — переменить блюдо.

Обед длился обычным порядком. Спор разгорался и беспорядочно перебрасывался с предмета на предмет. Говорят, что такова русская манера спорить. Может быть, это всемирная манера людей, когда они говорят о том, что их очень волнует. Чтобы спорить систематично, надо выбрать сначала председателя. Свободный разговор всегда мечется.

Петр пылко восклицал:

— Самодержавие пролетариата почему же лучше того, что уже есть? И что это за варварские, дикие лозунги! «Кто не с нами, тот наш враг! Кто хозяин, с места прочь, оставь наш пир!»

— О нашем пире пока еще рано говорить, — сдержанным голосом возразила Елена.

— Вы знаете ли, к чему мы стремимся, — продолжал Петр. — Надвигается пугачевщина, будет такая раскачка, какой Россия еще никогда не переживала. Дело не в том, что говорят или делают там или здесь господа, которым кажется, что они творят историю. Дело в столкновении двух классов, двух интересов, двух культур, двух миропониманий, двух моралей. Но кто хватается за венец господства? Идет Хам и грозит пожрать нашу культуру.

Елисавета сказала укоризненно:

— Что за слово — хам!

Петр усмехнулся нервно и досадливо и спросил:

— Не нравится?

— Не нравится, — спокойно сказала Елисавета.

С привычным подчинением мыслям и настроениям старшей сестры Елена сказала:

— Грубое слово. Осадок бессильного крепостничества в нем.

— Однако нынче это слово — довольно литературное, — с неопределенною улыбкою сказал Петр. — Да и как ни назвать, дело не в слове. Мы воочию на бесчисленных примерах видим, что идет духовный босяк, который ко всему свирепо-равнодушен, который не-

исправимо дик, озлоблен и пьян на несколько поколений вперед. И он все повалит — науку, искусство, все. Вот типичный хам — этот ваш Щемилов, которому ты, Елисавета, так симпатизируешь. Фамильярный молодчик, благообразный Смердяков.

Петр пристально смотрел на Елисавету. Она сказала спокойно:

— Я нахожу, что ты к нему несправедлив. Он — хороший.

Обед кончился. Рады были. Разговор раздражал. Даже невозмутимая мисс Гаррисон несколько поспешнее всегдашнего поднялась с места. Рамеев, как всегда, ушел к себе, — на час заснуть. Молодые люди пошли в сад. Миша и Елена побежали вниз, к реке. Так захотелось беззаботно бежать друг за другом и смеяться.

— Елисавета! — позвал Петр.

Голос его нервно дрогнул. Елисавета остановилась. Старая липа быстро бросила на нее густую тень. Елисавета вопросительно поглядела на Петра, положила руки на грудь, — вдруг от чего-то забилось сердце, — и, обнаженные, так стройны были руки. Прекрасные руки — обаяние власти, — о, если бы внезапный порыв страсти кинул их на его плечи!

— Могу я сказать тебе, Елисавета, несколько слов? — спросил Петр.

Елисавета слегка покраснела, склонила голову и тихо сказала:

— Сядем где-нибудь.

Она пошла по дороге к беседке над обрывом. Петр молча шел за нею. Они молча поднялись по отлогим ступеням. Елисавета села и уронила руки на низкую ограду открытой беседки. Холмистые дали широкою панорамою легли перед нею — вид, с детства знакомый и неизменно соединенный с привычным, сладостным волнением. И уже не всматривалась она в отдельные предметы, — как музыка, разливалась перед нею природа в неистощимости переливных красок и успокоенных звуков. Петр стоял перед нею и смотрел на ее прекрасное лицо. Склоняющийся Змий лобзал озаренное лицо Елисаветы, — пронизанная светом, ликовала расцветающая плоть.

Они молчали. Обоим было томительно-неловко. Петр нервно поламывал ветки берез, растущих около беседки. Елисавета спросила:

— Что ты хочешь мне сказать?

Холодная отчужденность, почти враждебность, послышалась в звуке ее голоса. Так сказалась внутренняя тревога. Она почувствовала это и улыбнулась ласково и робко.

— Что сказать! — тихо и нерешительно начал Петр. — То же, что и всегда. Елисавета, я люблю тебя!

Елисавета покраснела. Глаза ее сверкнули и потухли. Она встала и заговорила, волнуясь:

— Петр, зачем ты опять напрасно мучишь себя и меня? Мы так с тобою близки с детства, — но мы так расходимся! У нас разные дороги, мы по-иному думаем, иному веруем.

Петр слушал ее с выражением страстного нетерпения и досады. Елисавета хотела продолжать, но он заговорил:

— Ах, к чему это... эти слова! Елисавета, забудь в эту минуту о наших разногласиях. Они так ничтожны! Или нет, пусть они значительны. Но я хочу сказать, что политика и это все, что нас разделяет, это все только легкая накипь, мгновенная пена на широком просторе нашей жизни. В любви — вечная правда, в сладостной влюбленности — откровение вечной правды. Кто не живет в любви, кто не стремится к единению с любимым, тот мертв.

— Я люблю народ, свободу, — тихо сказала Елисавета, — моя влюбленность — восстание.

Петр, не слушая ее, продолжал:

— Ты знаешь, что я люблю тебя. Я люблю тебя давно. Вся душа моя, как светом, пронизана любовью к тебе. Я ревную тебя, — и не стыжусь сказать тебе об этом, — я ревную тебя ко всем, к этому блузнику, с которым ты злоумышляла бы, если бы у него хватило ума и смелости быть заговорщиком, — к этим полумыслям, которыми ты обольстилась, чтобы не любить меня.

И опять тихо сказала Елисавета:

— Ты укоряешь меня за то, что мне дорого, упрекаешь меня за лучшую меня, хочешь, чтобы я стала иною. Ты не меня любишь, — тебя соблазняет прекрасный Зверь, мое молодое тело с улыбками и с ласками...

И опять, не дослушав ее, страстно заговорил Петр:

— Елисавета, милая, полюби меня! Ты никого еще, конечно, не любишь. Нет, не любишь? Ты не успела влюбить себя, сковать свою душу. Ты свободна, как первая невеста человека, ты прекрасна, как его последняя жена. Ты созрела для любви, — для моей любви, — ты жаждешь поцелуев и объятий, ты дрожишь от страсти, как я, — о, Елисавета, полюби, полюби меня!

— Как я могу? — сказала Елисавета.

— Елисавета, любовь — заповедь! — воскликнул Петр. — Надо хотеть полюбить. Только пойми, как я тебя люблю, — и уже ты меня полюбишь. Моя любовь должна зажечь в тебе ответную любовь.

— Друг мой, ты не любишь ничего из того, что мое, — возразила Елисавета, — ты не любишь меня. Я не верю, — прости, — не понимаю твоей любви.

Петр мрачно нахмурился и угрюмо сказал:

— Ты обольщена лживым, пустым словом — свобода. Над смыслом его ты никогда не думала.

— Я мало еще о чем успела думать, — спокойно возразила Елисавета. — Но чувство свободы мне ближе всего. Я не сумею передать его тебе словами, — я знаю, что на земле мы скованы железными узами необходимости и причин, — но стихия моей души — свобода, — пламенная стихия, и в ее огне сгорают цепи земных зависимостей. Я знаю, что мы, люди, на земле всегда будем слабы, бедны, одиноки, — но когда мы пройдем через очищающее пламя великого костра, нам откроется новая земля и новое небо, — и в великом и свободном единении мы утвердим нашу последнюю свободу. Все это я говорю сбивчиво, плохо, — я не умею сказать ясно того, что знаю, — но оставим, пожалуйста, оставим этот разговор.

Елисавета поспешно вышла из беседки. Петр медленно пошел за нею. Лицо его было печально, и глаза его ярко горели, — но слова не рождались, — бессильная поникла мысль. Вдруг он встрепенулся, поднял голову, улыбнулся, догнал Елисавету.

— Ты любишь меня, Елисавета, — сказал он уверенно и радостно, — ты любишь меня, хотя и не хочешь сказать этого. Ты гово-

ришь неправду, когда уверяешь, что не понимаешь моей любви. Ты знаешь мою любовь, ты веришь в нее, — скажи, разве можно поверить в то, что тебя любят, и не полюбить?

Елисавета остановилась. Глаза ее зажглись странною радостью.

— Еще раз говорю, — сказала она спокойно и решительно, — ты любишь не меня, — ты любишь Первую Невесту. А я ухожу от тебя.

Петр стоял, бессильный, бледный, тусклый, и смотрел за нею. Между кустами колыхалось солнечно-желтое платье на матовом небе догоравшей зари. Елисавета уходила от узко пылающих огней старозаветной жизни к великим прельщениям и соблазнам, к буйному дерзновению возникающего.

## Глава пятая

Петр и Елисавета сошли вниз к реке, туда, где была пристань для лодок. Две лодки казались покачивающимися на воде, хотя было совсем тихо и вода стояла гладкая и зеркальная. Поодаль, за кустами, виднелся парусиновый верх купальни. Елена, Миша и мисс Гаррисон были уже здесь. Они сидели на скамейке, на площадке в полугоре, где дорожка к пристани переламывалась. Открывался с этого места успокоенный вид на излучину тихой реки. Вечерела, тяжелела вода, тусклым свинцом наливалась.

Миша и Елена набегались, раскраснелись, никак не могли погасить резвых улыбок. Англичанка спокойно смотрела на реку, и ничто не шокировало ее в вечереющей природе и в успокоенной воде. Но вот пришли двое, внесли свое напряженное волнение, свою неловкость, свою смуту, — и опять завязался нескончаемый спор.

Встали с этой скамейки, где так далеко было видно и откуда все видимое являлось спокойным и мирным. Перешли вниз, к самому берегу. А вода все-таки была тихая и гладкая. И взволнованные слова неспокойных людей не колыхали ее широкой пелены. Миша выбирал плоские каменные плитки и бросал их вдаль, чтобы они, касаясь воды, отскакивали. Делал это по привычке. Спор волновал его. Руки

его дрожали, камешки плохо рикошетировали, — досадно было, но он старался скрыть досаду, пытался казаться веселым.

Елисавета сказала:

— Миша, кто лучше бросит, — давай на пятачок.

Стали играть. Миша проигрывал.

Из-за изгиба берега, от города, показалась лодка. Петр всмотрелся и сказал досадливо:

— Господин Щемилов опять припожаловал, наш сознательный рабочий, российский социал-демократ.

Елисавета улыбалась. Спросила с ласковым укором:

— За что ты его так не любишь?

— Нет, ты мне скажи, — воскликнул Петр, — почему эта партия — российская, а не русская? Зачем такая высокопарность?

Елисавета спокойно ответила:

— Российская, конечно, а не только русская, потому что в нее может войти не только русский, но и латыш, и армянин, и еврей, и всякий гражданин России. Мне кажется, это очень понятно.

— А мне непонятно, — упрямо сказал Петр. — Я вижу в этом только балаган, совсем не нужный.

Меж тем лодка приблизилась. В ней сидели двое. На веслах — Алексей Макарович Щемилов, молодой рабочий, слесарь, в синей блузе и мягкой серой шляпе, невысокий, худощавый, с ироническим складом губ. Елисавета была знакома со Щемиловым с прошлой осени. Тогда же она сошлась и с некоторыми другими рабочими и партийными деятелями.

Щемилов причалил к пристани и ловко выпрыгнул из лодки. Петр сказал насмешливо, кланяясь с преувеличенною любезностью:

— Пролетарию всех стран мое почтение.

Щемилов спокойно ответил:

— Господину студенту нижайшее.

Он поздоровался со всеми и сказал, обращаясь преимущественно к Елисавете:

— Вашу собственность вам прикатил. Едва ее у меня не сперли. Наши слободские о священном праве собственности имеют свои особые понятия.

Петр закипал досадою. Самый вид молодого блузника раздражал его, слова и повадки Щемилова казались Петру нахальными. Петр сказал резко:

— По вашим понятиям, насколько я понимаю, священны не права, а грубое завладение.

Щемилов свистнул и сказал:

— Таково, батенька, и есть происхождение всякой собственности, — грубо завладел, да и баста. Блаженны обладающие, — поговорочка, сложенная грубо завладевшими.

— Это вы откуда же нахватались? — насмешливо спросил Петр.

— Крупицы мудрости падают и к нам от стола богатых, — в тон ему ответил Щемилов, — ими мы по малости и питаемся.

В лодке оставался еще один молодой человек, тоже, по-видимому, рабочий. Это был робкий на вид, худой, молчаливый юноша с горящими глазами. Он сидел, держался за тесемки руля и опасливо поглядывал на берег. Щемилов глянул на него насмешливо и любовно и позвал его:

— Ползи сюда, Кирилл, не бойся, — здесь все народ собрался весьма благодушный и до нашего брата очень охочий.

Петр сердито промычал что-то. Миша улыбался. Он ждал нового человека, хотя и боялся немирных споров. Кирилл неловко вылез из лодки, неловко стал на песке, понурив голову и расставив ноги, и, чтобы скрыть мучившее его ощущение неловкости, стал улыбаться. Петру было досадно. Он сказал, стараясь говорить любезно:

— Сядьте, пожалуйста.

Кирилл ответил искусственным басом:

— Сижен достаточно.

Продолжая улыбаться, сел, однако, на край скамьи и чуть не упал, — растопырил руки, мазнул Елисавету, рассердился на себя, покраснел, сел подальше от края и сказал:

— Сидел два месяца, административно.

И всем были понятны эти странные слова. Петр спросил:

— За что же?

Кирилл поежился. Сказал неловко и угрюмо:

— У нас на этот счет просто, — чуть что, сейчас самые смертоносные меры.

Тем временем Щемилов тихо сказал Елисавете:

— Славный паренек. С вами, товарищ, хочет познакомиться.

Елисавета молча наклонила голову, улыбнулась приветливо Кириллу и пожала ему руку. Он расцвел.

Пришел Рамеев. Он поздоровался с гостями любезно и холодно. Было впечатление нарочной корректности, может быть, и ненужной. Разговор продолжался несколько неловко. Синие глаза Елисаветы нежно и задумчиво смотрели на раздраженного Петра и на холодно-враждебного ему Щемилова.

Петр спросил:

— Господин Щемилов, не пожелаете ли вы объяснить мне, почему идет речь о самодержавии пролетариата? Что же, вы, значит, признаете самодержавие, только хотите его перенести в другой центр? В чем же здесь шаг вперед?

Щемилов просто и спокойно ответил:

— Вы, господа собственники, нам ничего не хотите дать, ни золотника власти и обладания, ну так что же нам делать.

— А ваши ближайшие цели? — спокойно спросил Рамеев.

— Ближайшие иль дальнейшие, что там! — ответил Щемилов. — У нас цель одна: обобществление орудий производства.

— А земля? — звенящим выкриком спросил Петр.

— И землю рассматриваем как орудие производства, — сказал Щемилов.

— Вы воображаете, что земли бесконечно много в России? — со злобною насмешливостью спросил Петр.

— Не бесконечно, ну а все ж таки на теперешнее население хватит, да и с избытком, — спокойно возразил Щемилов.

— По десяти, по сто десятин на душу? — издевающимся голосом выкрикивал Петр. — Так, что ли? Втолковали это мужикам, они и волнуются.

Щемилов опять посвистал и сказал с презрительным спокойствием:

— Ерунда, почтеннейший, — мужик не столь глуп. А, впрочем, позвольте спросить, что мешало противной стороне втолковывать мужику правильные мысли?

Петр сердито встал и быстро ушел, никому не сказав ни слова. Рамеев спокойно посмотрел вслед ему и сказал Щемилову:

— Петр слишком любит культуру или, точнее, цивилизацию, чтобы ценить свободу. Вы слишком настаиваете на вашем классовом интересе, и потому свобода вас не так манит. Но мы, русские конституционалисты, на себе вынесем борьбу за свободу.

Щемилов слушал его, стараясь сдержать ироническую усмешку. Он сказал:

— Да, мы с вами не сойдемся. Вам надо моцион на вольном воздухе делать, а нам еще жрать хочется, — не сыты.

Рамеев помолчал и тихо сказал:

— Меня ужасает это одичание. Убийства, убийства без конца.

— Что делать! — усмехаясь, отвечал Щемилов. — Вам небось хотелось бы карманной, складной свободы для домашнего употребления.

Рамеев, с нескрываемым желанием прекратить разговор, встал, улыбаясь, протянул руку Щемилову и сказал:

— Должен вас оставить.

Миша пошел было за ним, потом раздумал, побежал к реке, около купальни достал свою удочку и влез в воду по колена. Давно уже он привык убегать к речке, когда печали или радости волновали его или когда надобно было хорошенько подумать о чем-нибудь. Он был мальчик застенчивый и самолюбивый и любил быть один со своими мыслями и мечтами. Холод воды, струящейся около ног, успокаивал его и отгонял всю злость.

Здесь, в воде, стоя с голыми ногами, он становился кротким и спокойным.

Скоро сюда же пришла и Елена. Она стояла на берегу и молча смотрела на воду. Почему-то ей было грустно и хотелось плакать.

Вода в реке тихо и успокоенно плескалась. Гладкая была вся поверхность, — так и шла.

Елисавета с легким неудовольствием глянула на Щемилова.

— Зачем вы так резки, Алексей? — сказала она.

— А вам не нравится, товарищ? — ответил вопросом Щемилов.

— Нет, не нравится, — решительно и просто сказала Елисавета.

Щемилов помолчал, призадумался, сказал:

— Слишком широкая бездна между нами и вашим братом. И даже между нами и вашим отцом. Трудно сговориться. Их интерес, — вы же это хорошо понимаете, — лепить пирамиду из людей; наш интерес — пирамиду эту самую по земле ровным слоем рассыпать. Так-то, товарищ Елизавета.

Елисавета досадливо поправила:

— *Елисавета.* Сколько уж раз я вам говорила.

Щемилов усмехнулся:

— Барские затеи, товарищ Елисавета. А впрочем, в этом ваша воля, — хоть и трудненько выговаривать. По-нашему — Лизавета.

Кирилл жаловался на свои неудачи, на полицейских, на сыщиков, на патриотов. Нудные были жалобы, серые, скучные. Был арестован, лишился работы. Видно, намучился. Голодный блеск дрожал в глазах. Кирилл жаловался:

— От полиции пришлось-таки мне потерпеть. Да и свои...

Помолчал угрюмо и продолжал:

— У нас на заводе на каждом шагу обращение самое унизительное. Одни обыски чего стоят.

Опять помолчал. Опять жаловался:

— В душу залезают. Частный разговор... Ни перед чем не останавливаются.

Он говорил про голодовку, про больную старуху. Все это было очень трогательно, но от частого повторения казалось истертым, и жалость была словно вытоптана, а сам Кирилл казался материалом, тем человеком толпы, настроение которого должно быть использовано в интересах политического момента.

Щемилов сказал:

— Черносотенцы организуются. Очень этим господин Жербенев занят, — наш истинно русский человек.

— И Кербах с ним, тоже патриот, — сказал Кирилл.

— Самый вредный человек в нашем городе — Жербенев. Вот гадина опасная, — презрительно сказал Щемилов.

— Я его убью, — пылко сказал Кирилл.

Елисавета сказала:

— Чтобы убить человека, надо верить, что один человек существенно лучше или хуже другого, отличается от него не случайно, не социально, а мистически. То есть убийство утверждает неравенство.

Щемилов сказал:

— Мы к вам, Елисавета, отчасти и по делу.

— Говорите, какое дело, — спокойно сказала Елисавета.

— На днях приедут из Рубани товарищи, поговорить и все такое, — говорил Щемилов. — Да это вы уже знаете.

— Знаю, — сказала Елисавета.

Щемилов продолжал:

— По этому самому случаю хотим устроить здесь неподалечку массовку для городского фабричного люда. Так вот, надо вам, Елисавета, выступить наконец в качестве оратора.

— Чем же я могу быть полезна? — спросила Елисавета.

— Вы, Елисавета, хорошо излагаете, — говорил Щемилов. — У вас голос подходящий, и речь льется без запинки, и вы умеете говорить очень просто и понятно. Вам не говорить на собраниях — грех.

— Вы извините, товарищ Елисавета, — сказал Щемилов, — Кирилл, может быть, и не знает, что ваш отец — кадет. Притом же он по простоте.

Кирилл покраснел.

— Я мало знаю, — застенчиво сказала Елисавета. — И как и что я стану говорить?

— Достаточно знаете, — уверенно сказал Щемилов. — Больше нас с Кириллом. Вы правильная, Елисавета. Все у вас точно и чисто выходит.

— Что же я скажу? — спросила Елисавета.

— Изобразите общую картину положения рабочих, — говорил Щемилов, — и как сам капитал на себя кует молот, заставляя рабочих сорганизоваться.

Елисавета, краснея, молча наклонила голову.

— Ну, значит, по рукам, товарищ? — спросил Щемилов.

Елисавета засмеялась.

— По рукам, товарищ! — весело сказала она.

Было весело слышать это серьезно и простодушно произносимое слово «товарищ».

## Глава шестая

Ночь пришла, — милая, тихая. Чары навеяла, скучный шум жизни обвила легким дымом забвения. Луна тихо встала на небе, ясная, спокойная, словно больная, но такая светлая, — и вся замкнутая в своем сиянии, для себя светлая. Она глядела на землю и не рассеивала тумана, — точно себе одной взяла всю ясность и всю прозрачность догоревшей зари. Тишина разлилась по земле, по воде, обняла каждое дерево, каждый куст, каждую в поле былинку.

Успокоенное настроение овладело Елисаветою. Ей стало так странно, что спорили и стояли друг против друга, как враги. Отчего не любить? не отдаваться? не покоряться чужим желаниям? его желаниям? моим желаниям? Зачем шум споров и яркие слова о борьбе, об интересах? Яркие слова, но такие далекие.

Все в доме, казалось, были утомлены — зноем? спором? тайною грустью, клонящею ко сну? к успокоению? Сестры ушли спать несколько раньше обычного. Усталость клонила их и томная печаль. Спальни сестер были рядом. Между их спальнями была всегда открытая широкая дверь. Они слышали одна другую, — и ровное дыхание спящей сестры делало живым мир страшной ночи и сна.

Елисавета и Елена недолго разговаривали. Разошлись скоро. Елисавета разделась, подошла к зеркалу, зажгла свечу и залюбовалась собою в холодном, мертвом, равнодушном стекле. Были жемчужны лунные отсветы на линиях ее стройного тела. Трепетны были белые, девственные груди, увенчанные двумя рубинами. Такое плотское, страстное тело пламенело и трепетало, странно белое в успокоенных светах неживой

луны. Слегка изогнутые линии живота и ног были отчетливы и тонки. Кожа, натянутая на коленях, намекала на таящуюся под нею упругую энергию. И так упруги и энергичны были изгибы голеней и стоп.

Елисавета пламенела всем телом, словно огонь пронизал всю сладкую, всю чувствующую плоть, и хотела, хотела приникнуть, прильнуть, обнять. Если бы он пришел! Только днем говорит он ей мертво звенящие слова любви, разжигаемый поцелуями кромешного Змия. О, если бы он пришел ночью к тайно пламенеющему, великому Огню расцветающей Плоти!

Любит ли он? Любовию ли он любит, последнею и единою, побеждающею вечным дыханием небесной Афродиты? Где любовь, там и великое должно быть дерзновение. Разве любовь — сладкая, кроткая и послушная? Разве она не пламенная? Роковая, она берет, когда захочет, и не ждет.

Мечты кипели, — такие нетерпеливые, жадные мечты. Если бы он пришел, — он был бы юный бог. Но он только человек, поникший перед своим кумиром, — маленький раб мелкого демона. Он не пришел, не посмел, не догадался, — темною обвеял досадою сладкое кипение Елисаветиной страсти.

Глядя на свое дивное в зеркале изображение, насмешливо думала Елисавета:

— Может быть, он молится. Слабые и надменные, — как они молятся? Им надо поучать и восторгаться, — переделать религию и быть первыми в новой секте.

Елисавете не хотелось спать. Желание томило ее, — она не знала, чего хотела, — идти? ждать? Она вышла на балкон. Ночная приникла свежесть к ее нагому телу. Она долго стояла, — и такие теплые были и влажные доски балкона под голыми стопами. Она смотрела в отуманенную полуясность дремлющего под луною сада. Вспоминались ей подробности сегодняшней прогулки, — и все, что видели в доме Триродова, так ярко вспоминалось, почти с живостью галлюцинации. Потом дремота подкралась, охватила. И не помнила Елисавета, как очутилась в постели. Словно принес незримый, и уложил, и убаюкал. Она заснула.

Тревожен и томен был сон, — кошмарные обстали видения. Все телеснее, все яснее становились они.

Возникла пыльная комната. Такой душный в ней воздух, так на грудь мучительно давит. По стенам шкапы с книгами. На столах — книжки, все новенькие, тоненькие, в ярких обложках. Заглавия почему-то страшные и тяжелые. Пришел студент, длинный, тощий, длинноволосый, все волосы совсем прямые, лицо угрюмое, серое, на глазах очки. Он шепнул:

— Спрячьте.

И положил на стол связку книжек и брошюр. Кто-то сзади Елисаветы протянул руку, взял книжки и сунул их под стол. Потом пришла курсистка, странно похожая на студента, но совсем иная, коротенькая, толстая, краснощекая, стриженая, веселая, в пенсне. Она принесла связку книг и говорит тихо:

— Спрячьте.

Елисавета прячет книги в шкап, — и боится чего-то.

Приходили студенты, рабочие, барышни, гимназисты, юнкера, чиновники, приказчики, — и каждый положит на стол пачку книг, шепнет:

— Спрячьте!

И скрывается. И прячет Елисавета — в ящик стола, в шкапы, под столы, под диваны, за двери, в печку. А книги на столе все растут, — и все неотвязнее шепот:

— Спрячьте.

И некуда прятать, — а все несут, несут, несут. Книги везде, книги давят...

С чувством тоскливой тяжести в груди Елисавета проснулась. Чье-то лицо наклонилось над нею. Покрывало соскользнуло с ее прекрасного тела. Елена шептала что-то. Сонным голосом Елисавета спросила:

— Я тебя разбудила?

— Ты так вскрикнула, — сказала Елена.

— Такая глупость приснилась, — шепнула Елисавета.

Она опять заснула, — и опять тот же склад. Так много книг, — даже подоконники завалены, и свет едва проникает, тусклый и пыль-

ный. Томит зловещая тишина. За прилавком, рядом с нею, студент и два подростка стоят странно прямо: они бледны и чего-то ждут. Вдруг дверь отворилась бесшумно. Входят, стуча сапогами, рослые люди, — полицейский, другой, сыщик в золотых очках, дворник, другой, мужик, городовой, мужик, дворник, — идут, идут, заполнили всю комнату и все входят, громадные, угрюмые, молчаливые. Елисавете душно, — и она просыпается.

Опять засыпала Елисавета, и опять томилась кошмарными видениями, давящими грудь, и просыпалась снова.

Снится ей, что обыскивают.

— Нелегашка! — говорит сыщик, злобно смотрит на Елисавету и кладет на стол книжку.

И растет на столе груда нелегальных книг.

Их мнут и треплют. Полицейский садится писать протокол. Перо ползет, — но бумага мала.

— Бумаги! — кричит пристав.

Исписывается лист за листом. Пристав издевается, грозит револьвером.

Проснулась, — и опять сон.

Пришел учитель-пискун, маленький, хрупкий. За ним другой, третий, без конца, — вереницы мирных людей с мятежными воплями.

Проснулась. И опять сон.

Площадь залита ярким солнцем. Мужик стоит и горланит:

— Постоим за прижим и за Русь святую.

На его крик подходит другой мужик, третий, четвертый. Медленно и неуклонно копится ревущая толпа. Из толпы выделяется мужик со значком, в белом переднике, подходит близко и, перекашивая рот, кричит неистово:

— За Расею, как Егорий повелевает! Истреблю!

Он наваливается на Елисавету и душит ее.

Проснулась.

Опять снится что-то страшное, темное. Ничего еще не видно и не понять, и только страх разливается в черной мгле. В черной мгле темные сгущаются фигуры, тьма слегка проясняется, и зло-

веще-серым становится воздух. Снится двор, узкий, обставленный высокими стенами с окнами за частыми решетками. Сердце внятно шепчет:

— Тюрьма. Тюремный двор.

Из узкой двери на мглистый двор холодным, ранним утром выводят арестантов. Идут гуськом — солдат, арестант, солдат, арестант, солдат — без конца, гулко идут поперек двора. В стене калитка скрипит, отворяется. Все выходят. И уже Елисавета за стеною видит плоское, безграничное, тало-снежное поле и ряд виселиц на поле — бесконечный ряд уходящих вдаль виселиц на поле — бесконечный ряд виселиц. Идут, все ближе, — будут вешать.

Как случилось, не помнила, но идет в ряду и она. Перед нею — солдат, а еще впереди солдата — мальчик. Мальчик к ней спиной, но она узнала — Миша. Ужасом скован язык — кричать бы — не крикнешь. Ужасом скованы ноги — бежать бы — не двинутся. Ужасом скованы руки — отнять бы — висят бессильно.

Вешают впереди, и мимо повешенных идут арестанты к следующим виселицам. Вешают Мишу. Он срывается. Вешают опять — срывается. Вешают без конца — и он каждый раз срывается.

Видно чье-то свирепое лицо и седая щетина подстриженных усов. Слышен злобный крик:

— Добить!

Выстрел, — незвучный, тупой удар, — мальчик падает и мечется по земле. Опять выстрел, — мальчик мечется. Выстрелы все чаще, — а он все жив.

Елисавета проснулась, — совсем проснулась. Больно и радостно бьется сердце, — да это же — только сон! Только сон! И в сердце ее сияет ликующая радость...

По золотым стрелам еще тихого и кроткого Дракона, падавшим так мягко и наклонно, было видно, что еще очень рано. Где-то далеко слышался зов рога и мычание коров. Стены спальни слабо розовели. Окна светились по-утреннему, первоначальным, прельщающим светом, — день в окнах говорил, что он сложится по-новому, по-

хорошему. И была влажность, веющая в открытое окно, и раннее чирикание птиц, — и вечная радость утренней природы. Было слышно, что и Елена проснулась.

Так возник новый день, буйный и радостный. А ночные видения?

О мы, умирающие, тонущие в предутреннем тумане! Хриплым шепотом говорящие наше последнее, наше страшное:

— Прощай!

## Глава седьмая

Обе сестры плохо выспались. Елисавета была истомлена кошмарами, а Елена часто просыпалась и приходила к ней. Обе чувствовали сладкое и яркое головокружение разрезанного Драконовыми серпами сна. В голове бежали яркие воспоминания нестройною и пестрою вереницею. Вспоминались подробности вчерашнего посещения. Еще томное одолевало обеих смущение, — точно стыд. Но сегодня сестры понемногу одолели его. Оставаясь наедине, они разговаривали о том, что видели в доме у Триродова и в его колонии. Странная нападала на сестер забывчивость, — понемногу забывалась обстановка, подробности тонули. Разговаривая об этом, они часто ошибались и поправляли одна другую. Точно сон был. Да и то, — явь или сон? И где границы? Сладкий сон, горький ли сон, — о жизнь, быстрым видением проносящаяся!

Прошло три дня. Опять стоял тихий, ясный день, и опять небесный Дракон улыбался своею злою, безумно-ярою улыбкою. Покачиваясь, отсчитывал багровые секунды и пламенные минуты и ронял с еле слышным гулом на землю свинцово-тяжелые, но прозрачные часы. Было три часа дня, — только что миновали самые знойные, ядовито-липкие змеиные минуты. Кончился завтрак. Рамеевы и Матовы были дома. Опять был долог, нестроен, и горяч спор Елисаветы с Петром, и по-прежнему безнадежен, — и разошлись, взволнованные и тоскующие, смутным беспокойством истомив уравновешенность мисс Гаррисон.

Сестры остались одни. Они вышли на нижний балкон, сидели молча и притворялись, что читают. Они чего-то ждали. Ожиданием ускорялся подымающий грудь стук сердец.

Елисавета уронила книгу на колени и, вдруг нарушив знойное молчание, сказала:

— Мне кажется, он сегодня к нам приедет.

Повеял ветер, дрогнули гибкие ветки, какая-то пташка загомозилась, — и казалось, что тоскующий сад обрадовался торопливо промчавшимся словам, резвым, звонким.

— Кто? — спросила Елена.

И вдруг покраснела от неискренности вопроса — знала же кто. Елисавета улыбнулась, глянула на нее и сказала:

— Триродов, конечно. Странно, что мы его ждем.

— Но он, кажется, обещал приехать, — нерешительно сказала Елена.

— Да, — отвечала Елисавета, — он что-то говорил там, у этого странного зеркала.

— Это было раньше, — возразила Елена.

— Да, и в самом деле, — сказала Елисавета. — Я все путаю. Не понимаю, как можно так скоро забыть.

— Да я и сама путаю немало, — удивляясь самой себе, говорила Елена. — Я почему-то чувствовала большую усталость.

Мягкий шум колес по песку приближался быстро и плавно. К дому по березовой аллее, медленно, останавливаясь уже, катился легкий шарабан, влекомый лошадью в английской упряжке. Сестры встали. Они были взволнованы. Но на лицах были привычно-любезные улыбки, и руки не дрожали.

Триродов отдал вожжи Кирше. Кирша отъехал.

Первая встреча была странно-неловкою. Смущение сестер пробивалось под любезно-пустыми фразами. Прошли в гостиную. Рамеев вышел, приветствуя гостя, и оба брата Матовы. Начались взаимные приветы, — знакомство, — незначащие речи, — все как у всех и всегда.

Петр был враждебно-неловок. Он говорил отрывисто и с явною неохотою. Миша смотрел любопытными глазами. Ему Триродов по-

нравился, — был приятен, да и раньше Миша слышал о нем нечто, обязывающее к хорошему отношению.

Разговор струился, быстрый и вежливый. О том, что сестры были у Триродова, не сказано было ни слова.

Рамеев сказал:

— Мы много о вас слышали. Рады вас видеть.

Триродов улыбался, и улыбка его казалась слегка насмешливою. Елисавета спросила:

— Вам кажется, что слова об удовольствии видеть — только фраза?

Как-то резко прозвучали эти слова. Елисавета заметила это и покраснела. Рамеев глянул на нее с удивлением. Триродов сказал:

— Нет, я этого не думаю. Есть радость встреч.

— Так по привычке говорят, принято, — тихо сказал Петр.

Триродов с улыбкою глянул на него и обратился к Рамееву:

— Говорю это совершенно искренно, — я рад, что познакомился с вами. Я живу очень уединенно и потому тем более рад счастливому случаю, — тому, что дело привело меня к вам.

— Дело? — с удивлением спросил Рамеев.

— О, только два слова, предварительно, — сказал Триродов. — Хочу расширить свое хозяйство.

С легкою печалью в звуке голоса Рамеев сказал:

— Вы купили лучшую половину Просяных Полян.

Триродов говорил:

— Она мне немного мала. Купил бы и остальное — для моей колонии.

— Это — часть Петра и Миши, — сказал Рамеев. — Не хотелось бы продавать остальное.

— Что касается меня, — сказал Петр, — я бы с удовольствием продал, пока «товарищи» не отобрали даром.

Миша молчал, но видно было, что ему противна и неприятна мысль о продаже родной земли. Казалось, что он сейчас заплачет. Рамеев сказал:

— По-моему, продавать не надо. Я бы не советовал этого делать. Мишиной части до его совершеннолетия не продам, да и тебе, Петр, не советую.

И обрадовался Миша, благодарно глянул на Рамеева. Рамеев продолжал:

— Я лучше укажу вам другой участок. Он тоже продается и будет вам, может быть, удобен.

Триродов поблагодарил.

Разговор перешел на его учебное заведение. Рамеев сказал:

— По этой школе вам приходится иметь дело с директором народных училищ. Как вы с ним ладите?

Триродов презрительно усмехнулся.

— Да никак, — сказал он.

— Тяжелый человек этот господин с дамским голосом, — сказал Рамеев. — Холодный карьерист. Он вам постарается повредить.

Триродов спокойно ответил:

— Я привык. Мы все к этому привыкли.

— Могут закрыть школу, — насмешливо и резко сказал Петр.

— Могут и не закрыть, — возразил Триродов.

— Ну а если? — настаивал Петр.

— Будем надеяться на лучшее, — сказал Рамеев.

Елисавета ласково глянула на отца. Триродов спокойно говорил:

— Можно закрыть школу, но довольно трудно помешать людям жить на земле и вести хозяйство. Если школа станет не только школою, но и образовательным хозяйством, то она с успехом заменит крупные хозяйства землевладельцев.

— Ну, это утопия,— досадливо сказал Петр.

— Осуществим утопию,— так же спокойно возразил Триродов.

— А для начала разорим то, что есть? — спросил Петр.

— Почему? — с удивлением спросил Триродов.

Странно волнуясь, говорил Петр:

— «Товарищеский» раздел чужой земли на дармовщинку поведет к страшному падению культуры и науки.

Триродов спокойно возразил:

— Не понимаю этой боязни за науку и культуру. И та и другая достаточно сильны, и обе за себя постоят.

— Однако, — спросил Петр, — культурные памятники разрушаются довольно охотно тем хамом, который идет нам на замену.

— Культурные памятники не у нас одних погибают, — спокойно возражал Триродов. — Конечно, это печально, и надо принять меры. Но страдания народа так велики... Цена человеческой жизни больше цены культурных памятников.

И так разговор быстро, по русской привычке, перешел на общие темы. Говорил больше Триродов, спокойно и уверенно. Его слушали с большим вниманием.

Из всех пятерых только один Петр не был увлечен гостем. Враждебное чувство к Триродову все более мучило его. Он посматривал на Триродова с подозрением и с ненавистью. Его раздражал уверенный тон Триродова, его «учительная» манера говорить. Весь разговор Петра с Триродовым был рядом колкостей и даже явных грубостей. Рамеев с плохо скрываемою досадою посматривал на Петра, но Триродов словно не замечал его выходок и был спокоен, прост и любезен. И под конец Петр принужден был смириться и оставить резкий тон. Тогда он замолчал. Сразу же после того как Триродов простился, Петр ушел куда-то, очевидно избегая разговора о госте.

## Глава восьмая

День был жаркий, душный, безветренный. Бессильно распластался он под злыми очами-стрелами свирепого Дракона. Кое-кто из горожан искал прохлады на поплавке — так называли в Скородоже буфет на пароходной пристани. На этом поплавке под полотняным навесом было не так знойно и порывами от воды веяло прохладою.

Петр и Миша были в городе, — что-то покупали. Зашли на поплавок и они, — выпить лимонаду. Только что пришел пароход, снизу, из большой реки, от торговых городов. Он разгружался, — выше река становилась мелка, пароходы не ходят. На поплавке стало на короткое время суетливо и шумно. За столиками сидело несколько горожан и приезжих — чиновники, помещики. Они пили вино и беседовали гром-

ко, но мирно, кричали по деревенской привычке, — и потому слышно было, что многие разговоры так или иначе касались политических тем.

За одним столом разговаривали двое, согласно, а все-таки яростно. Это были отставной прокурор Кербах и отставной полковник Жербенев, оба — крупные землевладельцы, патриоты, члены союза русского народа. Речи обоих были громки и пылки. Слышались странные слова — измена, — крамола, — перевешать, — истребить, — драть.

Николай Ильич Кербах был человечек маленького роста, худенький, хилый. На бритом лице длинные, обвислые усы казались демонстративно выращенными, такое было на лице неожиданно свирепое выражение. Он, небрежно развалясь, покачивался на стуле. Его широкий вестон сидел мешком, пестрый жилет был расстегнут, галстук веревочкой мотался полуразвязанный. Вообще, вид человека, не желающего стесняться. Перед ним на стуле вертелся сын, мальчишка лет восьми, слюнявый, чернозубый, с отвислою карминно-красною нижнею губою.

Андрей Лаврентьевич Жербенев, длинный, натянутый, важный, сидел прямо и неподвижно, как будто его пригвоздили, и строго посматривал вокруг. Китель, застегнутый на все пуговицы, сидел на нем, как на бронзовом идоле.

— Во всем, скажу, родители виноваты, — все тем же свирепым голосом, как и раньше, продолжал Кербах. — Надо с детства внушать. Вот мои...

И он крикнул сыну ненужно громко, хотя сын егозил на стуле рядом с отцом:

— Сергей!

— Сто? — откликнулся шепелявый и слюнявый мальчишка.

— Встань передо мной и отвечай, — приказал отец.

Мальчишка сполз со стула, вытянулся молодцевато перед отцом, опять спросил:

— Сто?

И оглядел быстрым и хитрым взглядом сидевших за соседними столиками.

— Что надо делать с врагами царя и отечества? — спросил его Кербах.

— Их надо истреблять! — бойко ответил мальчишка.

— А потом? — допрашивал отец.

Мальчик быстро проговорил заученные слова:

— А потом смрадные трупы подлых врагов отечества бросать в помойку.

Кербах и Жербенев радостно хохотали.

— Вот уж именно, падаль поганая! — хриплым голосом сказал Жербенев.

За соседний столик сел и спросил себе бутылку пива не известный никому господин, среднего роста и средних лет, в довольно изношенном платье, дородный, вернее, обрюзглый, с маленькими, сверкающими глазами. Кербах и Жербенев осмотрели его мельком, но недружелюбно. Словно предполагая в незнакомце человека противных взглядов, они усиливали пылкость своих речей и все яростнее говорили о крамольниках, о матушке-России, называли имена здешних неблагонадежных, заговорили о Триродове.

Новый человек долго присматривался к собеседникам. Очевидно было, что имя Триродова, которое стало часто повторяться в разговоре Кербаха и Жербенева, возбудило большое внимание нового человека, даже волнение. Он уставился на собеседников так, что те заметили и переглянулись досадливо.

Наконец незнакомец вмешался в их разговор.

— Извините, — сказал он, — позвольте спросить, изволите вы упоминать господина Триродова, если я не ошибаюсь?

— Вы, милостивый государь... — начал Кербах.

Новый человек тотчас же вскочил и принялся кланяться.

— Простите великодушно мое невежливое любопытство. Я — Остров, артист, трагик. Изволили слышать?

— Первый раз, — угрюмо сказал Кербах.

— Никогда не слышал, — сказал Жербенев.

Незнакомец приятно улыбнулся, словно услышал похвалу, и, не обнаруживая ни малейшего смущения, продолжал:

— Как же-с, во многих городах играл. Проездом здесь. Еду по своим делам в Рубанскую губернию. И вот сейчас вы изволили упомянуть одну фамилию, очень мне знакомую.

Кербах и Жербенев переглянулись. Дурные мысли о Триродове опять зароились в их головах. Остров продолжал:

— Я не подозревал, что Триродов живет здесь. Он — мой давнишний и близкий знакомый. Приятели, можно сказать.

— Так-с, — строго сказал Жербенев, неодобрительно посматривая на Острова.

Что-то в тоне голоса и в манерах Острова скоро вооружило против него собеседников. Несомненно, что взор его был нахален. Во всем его поведении и в словах его было что-то раздражающее, дерзкое. Но нельзя было ни к чему придраться. Слова были корректны в достаточной мере.

— Мы уже несколько лет не встречались, — говорил Остров. — Ну и как же он здесь живет?

— Да, господин Триродов, по-видимому, богат, — неохотно сказал Кербах.

— Богат? Очень это приятно. Богатство это самое у господина Триродова не весьма давнего происхождения. Это мне доподлинно известно. Недавнего-с происхождения, — повторил Остров, хитро подмигивая.

— И не весьма чистого? — спросил Кербах.

Он подмигнул Жербеневу. Тот крякнул и насупился. Остров осторожно глянул на Кербаха.

— Почему вы так полагаете? — спросил он. — Нет-с, этого я бы не сказал. Вполне чисто. Вот уж именно можно сказать, что чисто, — повторил он с особенным выражением.

Миша с любопытством смотрел на разговаривающих. Хотелось услышать что-то о Триродове. Но Петр поспешно расплатился и встал. Кербах задержал было его.

— Вот приятель вашего приятеля Триродова, — сказал он.

— Я еще не успел подружиться с Триродовым, — резко ответил Петр, — да и не собираюсь, а что до его приятелей, так у каждого бывают более или менее странные знакомства.

И ушел вместе с Мишею. Остров, ухмыляясь, посмотрел вслед за ним и сказал:

— Серьезный молодой человек.

— Их с братом земельку изволил приобрести господин Триродов, — пояснил Кербах.

Неприязнь Петра Матова к Триродову коренилась в том, по-видимому, случайном обстоятельстве, что Триродов купил дом и часть имения Просяные Поляны, которое принадлежало прежде Матову-отцу.

Многие в городе Скородоже хорошо еще помнили Дмитрия Александровича Матова, отца Петра и Михаила Матовых. Он был один срок членом уездной земской управы. Второй раз его не выбрали. Он не сумел скрыть своих отношений и своих дел, — и репутация его погибла, хотя дело обошлось без скандала: времена еще были тихие. Во время своей земской службы он более часто, чем надо, бывал у губернатора.

В это же время председатель земской управы по чьему-то доносу был выслан административным порядком в Олонецкую губернию. О Матове ходили темные слухи. При вторичных выборах несколько голосов было за него подано, — но мало. Уже он не попал в земскую управу.

Денежные дела Дмитрия Александровича Матова были плохи. Он вел жизнь рассеянную, кутил, скитался по свету. Смелый, своевольный, необузданный, он жил только в свое удовольствие. Ему не раз случалось прокутиться и остаться без гроша. Вдруг неизвестно откуда опять появлялись средства, и опять он кутил, веселился, вел разгульную жизнь. Имение было заложено и перезаложено. Отношения к крестьянам установились ужасные. Чересполосица и придирчивость Матова вели к постоянным ссорам. Тянулась обычная тяжелая канитель — потравы, загон скота, поджоги, тюрьма.

Просяные Поляны постоянно переходили от периода богатства и расточительности в полосу полного безденежья и оскудения. Это было оттого, что Матов счастливо получил несколько наследств. Говорили, что не только счастье везло ему, — говорили о подделанных

завещаниях, задушенных тетках, отравленных детях. Какие-то темные авантюры то обогащали, то разоряли Матова, — азартная, не всегда чистая игра, — фантастические концессии...

В дни оскудения затейливые постройки в имении не ремонтировались, скот убывал, хлеб сбывали спешно и дешево, лес за бесценок продавался на сруб, рабочие не могли добиться уплаты зажитых денег. Зато в веселые дни, после смерти какого-нибудь родственника, в имении все оживало. Являлись артели плотников, каменщиков, кровельщиков, маляров. Энергично и быстро осуществлялись фантастические затеи. Деньги тратились щедро, без расчета.

Дмитрию Александровичу Матову было уже более сорока лет, и за плечами его тяготело много темных и безумных деяний, когда он женился, неожиданно для всех, и даже, кажется, для себя самого, на молодой девице с хорошим состоянием и с темным прошлым. Говорили, что она была любовницею какого-то сановника, надоела ему, но сохранила связи и приобрела капитал. Она была бы очень красива, если бы странное пятно, как будто от обжога, на левой щеке не безобразило ее. Это пятно бросалось в глаза и совершенно заслоняло все красоты ее лица.

Между супругами скоро возникла жестокая вражда, никто не знал из-за чего. Сплетничали так: он обманулся в своих ожиданиях, она узнала о его любовницах, кутежах, темных слухах про наследства. Ссоры учащались. Нередко Матов уезжал, и всегда внезапно. Однажды он забрал все ценное и скрылся, а жене оставил заложенное имение, долги и двух сыновей. Сначала доходили о нем кое-какие слухи. Говорили, что видели его, кто в Одессе, кто в Маньчжурии. Потом и слухов о нем не было.

Пришло неожиданно известие о его погибели в дальнем южном городе. Причины смерти остались нераскрытыми. Даже тело его не было найдено. Выяснилось только, что его заманили в пустой, необитаемый дом, — и там следы его были потеряны.

Вдова Матова скоро умерла от случайной острой болезни. Сыновья остались в доме Рамеева, их опекуна.

— Агитатор и крамольник, — резко сказал Жербенев.

Остров улыбался и говорил:

— А все-таки я должен заступиться за моего приятеля. Нет ли здесь, извините, патриотической клеветы? Из самых, конечно, благородных побуждений!

— Клеветами не занимаюсь, — сухо сказал Жербенев.

— Извините. Однако не смею задерживать. Очень благодарен за любезную беседу и за интересные сведения.

Остров ушел. Кербах и Жербенев тихо говорили о нем.

— Какая у него наружность! совершенно зверский взгляд.

— Да, субъект! Не желал бы я с ним встретиться где-нибудь в лесу.

— Хороши приятели у нашего поэта и доктора химии!

## Глава девятая

Елисавета и Елена опять шли по тропинке близ дороги между Просяными Полянами и имением Рамеева. Радовало сестер, что все тихо вокруг и пустынно, и шумная людская жизнь казалась такою далекою от этих мест. Такою далекою, что в некий мечтательный рай претворялась земная долина, и райскою рощею являлся наивно-веселый лес бедной и грешной земли. Далекою казалась жизнь со всем ее суетливым бытом, и радостно было сестрам отрешаться от ее условностей и приличий и по мягкой идти земле, по пескам, глинам и травам обнаженными стопами, веселя сердце детскою невинною радостью простой, непорочной жизни.

Обе сестры были одеты одинаково — короткие платья с высоко поднятым поясом, с перекрещенными на груди запашными полами и с короткими у плеч рукавами.

Они шли все дальше, веселыми, влюбленными всматриваясь глазами в полузамкнутые дали долин, лесов и перелесков. Простодушная влюбленность в эту милую природу владела ими, — сладкая, нежная влюбленность! Она зачиналась в Елисавете и ждала для себя только

объединяющего предмета, лика, чтобы поставить его в пересечении всех земных и небесных путей и поклониться ему.

Сладкая, нежная влюбленность! Она бродила и в Елене вешним девическим хмелем, и уже была влюблена Елена. Не в кого-нибудь, а вообще. Как влюблен воздух по весне, радостно целующий всех. Как влюблены струи потока, покорно лобзающие розовые колени отроков и дев, — струи этой маленькой речки, впадающей в Скородень и извивающейся в зеленых берегах перед сестрами.

Мост был далек. Сестры перешли речку вброд. Так сладко плеснули холодные струйки под коленки. Сестры постояли на берегу, полюбовались на ежи зеленых сползней, обросшие травою, на обточенные водою гладкие камешки на песке. Еще долго оставалось в похолодевших ногах ощущение влюбленных лобзаний.

Как влюбляются эти струйки во всякую красоту, которая в них окунется, так влюблялась Елена во все милое, что представало ее очам.

Чаще всего ее влюбленность направлялась на Петра. Его любовь к Елисавете сладко и больно ранила Елену.

Сестры спустились в овраг около триродовской колонии, поднялись, прошли уже знакомою тропинкою, открыли калитку, — на этот раз она легко поддалась их рукам, — и вошли. Скоро перед ними открылось озеро. Там плавали дети и учительницы. Такая веселая была в веселой и звучной воде нагота загорелых тел, и веселы были брызги, и смех, и крики!

Дети и учительницы выходили на берег, бегали по песку нагие. Голые, загорелые, но все же на зелени белые ноги были как вырастающие из земли стволики березок.

Сестер увидели, окружили их буйною радостью нагих, влажных и прекрасных тел и закружили в неистовом хороводе.Такою чуждою и ненужною вдруг сестрам показалась сброшенная на берег одежда — эти грубые ткани, это грубое плетение! Что краше и милее тебя, милое, вечное тело!

Потом сестры узнали, что здесь чаще бывают нагими, чем в одежде!

Светло опечаленная Надежда сказала сестрам:

— Усыпить зверя и разбудить человека — вот для чего здесь наша нагота.

И смуглая, черноволосая, горящая восторгом Мария говорила:

— Мы сняли обувь с ног, и к родной приникли земле, и стали веселы и просты, как люди в первом саду. И тогда мы сбросили наши одежды и к родным приникли стихиям. Обласканные ими, облелеянные огнем лучей нашего прекрасного солнца, мы нашли в себе человека. Это — ни грубый зверь, жаждущий крови, ни расчетливый горожанин, — это — чистою плотью и любовью живущий человек.

Такою законною, необходимою и неизбежною являлась здесь нагота прекрасных и юных тел, что неохотно потом надета была скучная одежда. Но еще долго сестры кружились нагие, и входили в воду, и лежали на траве в тени. Приятно было чувствовать красоту, гибкость и ловкость своих тел в этом окружении тел нагих, сильных и стройных.

Для наблюдательного взгляда Елисаветы эти обнаженные, веселые девушки-учительницы легко различались на два типа. Одни были восторженные, другие лицемерные.

Восторженные воспитательницы триродовской колонии с вакхическим упоением отдавались жизни, брошенной в объятия непорочной природы, ревностно исполняли весь обряд, установленный в колонии, радостно совлекали с себя стыд и страх, поднимали труды, подвергались лишениям, и смеялись, и пламенели, и страстною томились жаждою подвига и любви, жаждою, которую не утолят воды этой бедной земли. И были в их числе опечаленная Надежда и горящая восторгом Мария.

Другие лицемерные были девушки, которые продали свое время и поступились своими привычками-склонностями и приличностями за деньги. Они притворялись, что любят детей, простую жизнь и телесную красоту. Притворяться им было нетрудно, потому что другие были им верными образцами.

Сегодня сестер провели и в здания колонии. Показали все, что успели показать в один час: вещи, сделанные детьми, — книги и карти-

ны, — предметы, принадлежащие тому или другому из детей. Показали сад с фруктовыми деревьями, с грядами и с клумбами, с пчелиным гудением, с медвяным запахом цветов и с нежною мягкостью густых трав.

Но уже торопились сестры и скоро ушли.

Они хотели идти домой, но как-то запутались в дорожках и вышли к дому Триродова. Увидела Елисавета над белою стеною высокие башни, вспомнила некрасивое и немолодое лицо Триродова, и сладкая влюбленность, как острое опьянение, жутко охватила ее.

Незаметно подошли совсем близко к усадьбе Триродова. Идти бы им домой. Нет, остановились под белою стеною, у тяжелых запертых ворот. Калитка была приоткрыта. Кто-то тихий и белый смотрел в ее отверстие на сестер зовущим взглядом. Сестры нерешительно переглянулись.

— Войдем, Веточка? — тихо спросила Елена.

— Войдем, — сказала Елисавета.

Сестры вошли — и попали прямо в сад. У входа они встретили старую Еликониду. Она сидела на скамье близ калитки и говорила что-то неторопливо и невнятно. Не видно было, кто ее слушал. Может быть, сама с собою говорила старая.

Старая Еликонида прежде нянчила Киршу. Теперь она исполняла обязанности экономки. Она всегда была угрюма и в разговорах с людьми не любила тратить лишних слов. Сестры попытались было поговорить с нею, спросить ее кое о чем — о порядках в доме, о привычках Триродова, — любопытные девушки! Больше спрашивала Елена. Елисавета даже унимала ее. Да все равно ничего не удалось узнать. Старуха смотрела мимо сестер и бормотала в ответ на все вопросы:

— Я знаю, что знаю. Я видела, что видела.

Подошли тихие дети. Под тенью старых деревьев стояли они неподвижно, как неживые, и смотрели на сестер безвыразительным, прямым взором. Жутко стало сестрам, и они поспешили уйти. Вслед им слышалось угрюмое бормотание Еликониды:

— Я видела, что видела.

И тихим-тихим смехом засмеялись тихие дети, словно зашелестела, осыпаясь, листва по осени.

Молча шли сестры домой. Теперь они вспомнили дорогу и уже не сбивались. Вечерело. Сестры торопились. Влажная и теплая липла к их ногам земля, точно мешала идти скоро.

Уже сестры были недалеко, от своего дома, как вдруг в лесу встретили Острова. Казалось, что он ходит и что-то высматривает. Завидевши сестер, он метнулся в сторону, постоял за деревьями и вдруг быстро и неожиданно подошел к сестрам, так неожиданно, что Елена вздрогнула, а Елисавета гневно нахмурила брови. Остров поклонился с насмешливою вежливостью и заговорил:

— Могу я вас спросить кое о чем, прелестные девицы?

Елисавета спокойно поглядела на него и неторопливо сказала:

— Спросите.

Елена пугливо молчала.

— Гуляете? — опять спросил Остров.

И опять ответила Елисавета коротким:

— Да.

И опять промолчала Елена. Остров сказал полувопросительно:

— Близко здесь дом господина Триродова, если не ошибаюсь.

— Да, близко. Вот по той дороге, откуда мы пришли, — сказала Елена.

Ей захотелось победить свой страх. Остров прищурился, подмигнул ей нахально и сказал:

— Благодарим покорно. А вы сами кто же будете?

— Может быть, вам не очень необходимо знать это? — полувопросом ответила Елисавета.

Остров захохотал и сказал с неприятною развязностью:

— Не то что необходимо, а очень любопытно.

Сестры шли торопливо, но он не отставал. Неприятен был он сестрам. Было что-то пугающее в его навязчивости.

— Так вот, милые девицы, — продолжал Остров, — вы, по-видимому, здешние, так уж дозвольте вас поспрошать, что вы знаете о господине Триродове, которым я весьма интересуюсь.

Елена засмеялась, может быть, несколько притворно, чтобы скрыть смущение и боязнь.

— Мы, может быть, и не здешние, — сказала она.

Остров засвистал.

— Едва ли, — крикнул он, — не из Москвы же вы сюда припожаловали босыми ножками.

Елисавета холодно сказала:

— Мы не можем сообщить вам ничего интересного. Вы бы к нему самому обратились. Это было бы правильнее.

Остров опять захохотал саркастически и воскликнул:

— Правильно, что и говорить, прелестная босоножка. Ну а если он сам очень занят, а? Как тогда прикажете поступить для получения интересующих меня сведений?

Сестры молчали и шли все быстрее. Остров спрашивал:

— А вы не из его колонии? Если не ошибаюсь, вы — тамошние учительницы. Насколько можно судить по вашим легким платьицам и по презрению к обуви, думаю, что я не ошибаюсь. Ась? Скажите, занятно там жить?

— Нет, — сказала Елисавета, — мы не учительницы, и мы не живем в этой колонии.

— Жаль-с! — с видом недоверчивости сказал Остров. — А я бы мог порассказать кое-что о господине Триродове.

Остров внимательно посмотрел на сестер. Они молчали. Он продолжал:

— Я таки пособрал кое-какие сведения и здесь, и в иных прочих местах. Любопытные вещи рассказывают, очень-с любопытные. Откуда у него деньги? Вообще, очень много подозрительного.

— Кому подозрительно? — спросила Елена. — И нам-то что за дело?

— Что за дело вам-то, милые красотки? — переспросил Остров. — Я имею основательное подозрение, что вы знакомы с господином Триродовым, а потому и надеюсь, что вы мне о нем порасскажете.

— Лучше не надейтесь, — сказала Елисавета.

— Разве? — развязным тоном возразил Остров. — А я его знаю давненько. В былые годы живали вместе, пивали, кучивали. И вдруг потерял я его из виду, а теперь вдруг опять нашел. Вот и любопытствую. Друзьями были!

— Послушайте, — сказала Елисавета, — нам не хочется с вами разговаривать. Вы бы шли, куда вам надо. Мы не знаем ничего любопытного для вас и не скажем.

Остров, нахально ухмыляясь, сказал:

— Вот как! Ну, это вы, прелестная девица, напрасно и неосторожно так выражаетесь. А ежели я вдруг свистну, а?

— Зачем? — с удивлением спросила Елисавета.

— Зачем-с? А может быть, дожидаются и на свист выйдут.

— Так что же? — спросила Елисавета.

Остров помолчал и сказал потом, стараясь придать своему голосу пугающую внушительность:

— Попросят честью рассказать побольше подробностей о том, что господин Триродов делает за своими оградами.

— Глупости! — с досадою сказала Елисавета.

— А впрочем, я только шучу, — сказал Остров, меняя тон.

Он прислушивался. Кто-то шел навстречу. Сестры узнали Петра и быстро пошли к нему. По их торопливости и смущению Петр понял, что этот идущий за сестрами человек неприятен им. Он всмотрелся, вспомнил, где его видел, нахмурился и спросил у сестер:

— Кто это?

— Человек очень любопытный, — сказала Елисавета с улыбкою, — почему-то вздумал, что мы расскажем ему много интересного о Триродове.

Остров приподнял шляпу и сказал:

— Имел честь видеть вас на поплавке.

— Ну так что же? — резко спросил Петр.

— Так-с, имею честь напомнить, — с преувеличенною вежливостью сказал Остров.

— А здесь вы зачем? — спрашивал Петр.

— Имел удовольствие встретить этих прелестных девиц, — начал объяснять Остров.

Петр резко перебил его:

— А теперь оставьте этих девиц, моих сестер, и идите прочь отсюда.

— Почему же я не мог обратиться к этим благородным девицам с вежливым вопросом и с интересным рассказом? — спросил Остров.

Петр, ничего не отвечая ему, обратился к сестрам:

— А вы, девочки, — охота вам вступать в беседу со всяким бродягою.

На лице Острова изобразилось горькое выражение. Может быть, это была только игра, но очень искусная, — Петр смутился. Остров спросил:

— Бродяга? А что значит бродяга?

— Что значит бродяга? — повторил Петр в замешательстве. — Странный вопрос!

— Ну да, вы изволили употребить это слово, а я интересуюсь, в каком смысле вы его теперь употребляете, применяя ко мне.

Петр, чувствуя досаду на то, что вопрос его смущает, резко сказал:

— Бродяга — это вот тот, кто шатается без крова и без денег и пристает к порядочным людям вместо того, чтобы заняться делом.

— Благодарю за разъяснение, — сказал с поклоном Остров, — денег у меня точно немного, и скитаться мне приходится — такая уж моя профессия.

— Какая ваша профессия? — спросил Петр.

Остров с достоинством поклонился и сказал:

— Актер!

— Сомневаюсь, — резко ответил Петр. — Вы больше на сыщика похожи.

— Ошибаетесь, — смущенно сказал Остров.

Петр отвернулся от него.

— Пойдемте скорее домой, — сказал он сестрам.

## Глава десятая

Опять вечерело. Остров приближался к воротам усадьбы Триродова. Его лицо выдавало сильное волнение. Теперь еще яснее, чем днем, видно было, что он помят жизнью и что он с жалкою робостью надеется на что-то, идя к Триродову. Прежде чем Остров решился позвонить у ворот, он прошел вдоль всей длинной каменной стены, отделявшей усадьбу Триродова, и внимательно осмотрел ее, но увидел все же мало. Только высокая каменная стена, от берега до берега, была перед его глазами.

Было уже совсем темно, когда Остров остановился наконец у главных ворот. Полустертые цифры и старые геральдические эмблемы только мгновенно и неглубоко задели его внимание.

Уже он взялся за медную ручку от звонка, осторожно, словно по привычке передумывать в последнюю минуту, и вдруг вздрогнул. Звонкий детский голос за его спиною сказал тихо, но очень внятно:

— Не здесь.

Остров оглянулся по сторонам, робко и сторожко, слегка сгибаясь и втягивая голову в плечи. Поодаль тихо стоял и внимательно смотрел на него мальчик в белой одежде, синеглазый и бледный.

— Здесь не услышат. Ушли, — говорил он.

— Куда же идти? — грубым голосом спросил Остров.

Мальчик показал рукою влево, — плавный, неторопливый жест.

— Там, у калитки позвоните.

Он убежал быстро и тихо, точно его и не было. Остров пошел в ту сторону, куда показывал мальчик. Он увидел калитку, высокую, узкую. Рядом, в деревянном темном ободке, белела кнопка электрического звонка. Остров позвонил и прислушался. Где-то продребезжал торопливо и отчетливо резкий звон колокольчика. Остров ждал. Дверь не отворялась. Остров позвонил еще раз. Тихо было за дверью.

— Долго ли ждать? — проворчал Остров и крикнул: — Эй вы, там!

Какой-то неясный звук дрогнул во влажном воздухе, словно хихикнул кто-то. Остров хватился за медную тягу калитки. Калитка легко

и беззвучно открылась наружу. Остров вошел, так же осторожно, осмотрелся и нарочно оставил калитку открытою.

Он очутился в маленьком дворике, обнесенном с боков невысокими стенами. Позади него с металлическим звяканием захлопнулась калитка. Сам ли он поспешно захлопнул ее? — не помнил. Он торопился дальше, но недолго прошел, — какой-нибудь десяток шагов. Перед ним была стена вдвое выше боковых, в ней — массивная дубовая дверь, и сбоку двери ярко белела пуговка от электрического звонка. Остров опять позвонил. Пуговка от звонка была на ощупь очень холодная, точно ледяная. Такая холодная, что острое ощущение холода прошло по всему телу Острова.

Над дверью высоко было видно круглое окно, как чей-то внимательный глаз, неподвижный, тусклый, но зоркий.

Долго ли Острову пришлось там стоять и ждать, он как-то не мог дать себе отчета. Было странное ощущение, что он застыл и вышел из тесного времени. Показалось, что целые сутки пронеслись над ним, как одна минута. Лучи яркого света упали на его лицо и погасли. Остров подумал, что это кто-то бросил на его лицо слишком яркий свет из фонаря через окошко над дверью — такой яркий, что глазам больно стало. Он досадливо отвернулся. Ему не хотелось, чтобы его узнали раньше, чем он войдет. Потому и пришел вечером, когда темно.

Но, очевидно, уже его узнали. Дверь распахнулась опять так же бесшумно. Он вошел в узкий короткий коридор в толстой стене. За ним был второй двор. На дворе никого не было. Дверь за Островым бесшумно затворилась.

— Сколько же тут дворов будет, в этой чертовой трущобе? — сердито проворчал Остров.

Узкая плитяная дорожка тянулась перед ним. Она была освещена лампою, горевшею вдали. Рефлектор этой лампы был направлен прямо на Острова, так что он мог видеть только под своими ногами ярко освещенные, серые, гладкие плиты. По обе стороны от дорожки было совсем темно, и не понять было, стена ли там, деревья ли. Острову не оставалось ничего иного, как только идти прямо вперед. Но он все же потоптался, пошарил вокруг и убедился, что по краям дорожки росли

колючие кусты, насаженные очень густо. Казалось, что за ними была еще изгородь.

— Фокусы, — ворчал Остров.

Он медленно подвигался вперед, ощущая неясный и все возрастающий страх. Решившись быть настороже, он опустил левую руку в карман своих пыльных и лоснящихся на коленях брюк, нащупал там жесткое тело револьвера и переложил его в правый карман.

На пороге дома встретил его Триродов. Лицо Триродова ничего не выражало, кроме ясно отпечатленного на нем усилия ничего не выразить. Он сказал холодно и неприветливо:

— Не ждал вас видеть.

— Да, а вот я все-таки пришел, — сказал Остров. — Хотите не хотите, а принимайте дорогого гостя.

В голосе его звучал насмешливый вызов. Глаза глядели с преувеличенною наглостью. Триродов слегка сдвинул брови, глянул прямо в глаза Острова, и они забегали по сторонам.

— Войдите, — сказал Триродов. — Отчего вы не написали мне раньше, что хотите меня видеть?

— А откуда же мне было знать, что вы здесь? — грубо пробормотал Остров.

— Однако узнали, — с досадливою усмешкою сказал Триродов.

— Случайно узнал, — говорил Остров, — на пароходной пристани. Был разговор. Впрочем, вам это не интересно знать.

Он ухмыльнулся с намекающим выражением. Триродов сказал:

— Войдите же. Идите за мною.

Они пошли вверх по лестнице, узкой, очень пологой, с широкими и невысокими ступенями и частыми поворотами в разные стороны, под разными углами, с длинными площадками между маршей, — и на каждую площадку выходила какая-нибудь запертая плотно дверь. Ясный и неподвижный был свет. Холодная веселость и злость, неподвижная, полускрытая ирония были в блеске раскаленных добела проволочек, изогнутых в стеклянных грушах.

— Да и нет — вот наш свет и ответ, — говорил их неподвижный блеск.

Кто-то легкий и осторожный шел сзади очень тихо. Слышалось легкое щелканье выключателей, — пройденные повороты погружались во мрак.

Наконец лестница кончилась. Длинным коридором прошли в обширную, мрачную комнату. Буфет у стены, стол посредине, по стенам поставцы с резною посудою, — это были приметы столовой.

— Это вы правильно, — проворчал Остров. — Накормить не мешает.

Свет распределялся странно, — половина комнаты и половина стола были в тени. Два мальчика в белых одеждах подали на стол. Остров подмигивал нагло.

Но они смотрели так спокойно и так просто ушли. Триродов поместился в темной части комнаты. Остров сел у стола. Триродов спросил:

— Что же вам от меня надо?

— Вопрос деловой, — ответил Остров, хрипло смеясь, — очень деловой. Не столько любезный, сколько деловой. Что надо? Прежде всего, приятно мне вас увидеть. Все же, в некотором роде, узы связывают, детство и прочее.

— Очень рад, — сухо сказал Триродов.

— Сомневаюсь, — нагло возразил Остров. — Ну-с, и затем, почтеннейший, мне еще кое-что надо. Именно вот вы угадали, что надо. Всегда были психологом.

— Чего же? — спросил Триродов.

— Сами не догадаетесь? — подмигивая, спросил Остров.

— Нет, — сухо сказал Триродов.

— Тогда, нечего делать, скажу вам прямо, мне надо денег, — сказал Остров.

Он засмеялся хрипло, ненатурально, налил себе вина, выпил его жадно и пробормотал:

— Хорошее вино.

— Всем надо денег, — холодно ответил Триродов. — Где же вы хотите их достать?

Остров завертелся на стуле. Хихикая, пожимаясь, потирая руки, он говорил:

— А вот к вам пришел. У вас, видно, денег много, у меня мало. Вывод, как пишут в газетах, напрашивается сам собою.

— Так. А если я не дам? — спросил Триродов.

Остров пронзительно свистнул и нагло глянул на Триродова.

— Ну, почтеннейший, — сказал он грубо, — я рассчитываю, что вы не позволите себе такой самоочевидной глупости.

— Почему? — спросил Триродов, усмехаясь.

— Почему, — переспросил Остров. — Мне кажется, причины вам так же хорошо известны, как и мне, если еще не лучше, и о них нет нужды распространяться.

— Я вам ничего не должен, — тихо сказал Триродов. — И не понимаю, зачем бы я стал давать вам деньги. Все равно вы истратите их без толку, — прокутите, может быть.

— А вы тратите с большим толком? — язвительно улыбаясь, спросил Остров.

— Если и не с толком, то с расчетом, — отвечал Триродов. — Впрочем, я готов вам помочь. Только прямо скажу, что свободных денег у меня очень мало, да если бы и были, я вам все равно много не дал бы.

Остров хрипло и коротко засмеялся и сказал решительно:

— Мало мне ни к чему. Мне надо много. Впрочем, может быть, это, по-вашему, будет мало?

— Сколько? — отрывисто спросил Триродов.

— Двадцать тысяч, — напряженно решительным тоном сказал Остров.

— Столько не дам, — спокойно сказал Триродов. — Да и не могу.

Остров наклонился к Триродову и шепнул:

— Донесу.

— Так что ж? — спокойно возразил Триродов.

— Плохо будет. Уголовщина, любезнейший, да еще какая! — угрожающим голосом говорил Остров.

— Ваша, голубчик, — так же спокойно возражал Триродов.

— Я-то выкручусь, а вас влопаю, — со смехом сказал Остров.

Триродов пожал плечами и возразил:

— Вы очень заблуждаетесь. Я не имею оснований бояться чего бы то ни было.

Остров, казалось, наглел с каждою минутою. Он свистнул и сказал издевающимся тоном:

— Скажите пожалуйста! Точно и не убивали?

— Я? Нет, я не убивал, — отвечал Триродов.

— А кто же? — насмешливо спросил Остров.

— Он жив, — сказал Триродов.

— Ерунда! — воскликнул Остров.

И засмеялся хрипло, громко и нагло, но казался оторопевшим. Спросил:

— А эти призмочки, которые вы изволили сфабриковать? Говорят, они и теперь стоят на столе в вашем кабинете.

— Стоят, — сухо сказал Триродов.

— Да говорят, что и настоящее ваше не слишком-то чисто, — сказал Остров.

— Да? — насмешливо спросил Триродов.

— Да-с, — издевающимся голосом говорил Остров. — В вашей-то колонии первое дело — крамола, второе дело — разврат, а третье дело — жестокость.

Триродов нахмурился, строго глянул на Острова и спросил пренебрежительно:

— Букет клевет уже успели собрать?

Остров злобно говорил:

— Собрал-с. Клевет ли, нет ли, не знаю. А только все это на вас похоже. Взять хоть бы садизм этот самый. Припоминаете? Мог бы напомнить кой-какие факты из поры юных лет.

— Вы сами знаете, что говорите вздор, — спокойно возразил Триродов.

— Говорят, — продолжал Остров, — что все это повторяется в тиши вашего убежища.

— Если все это так, — тихо сказал Триродов, — то вы из этого не можете извлечь никакой пользы.

Триродов смотрел спокойно. Казалось, что он далек. Голос его звучал спокойно и глухо.

Остров крикнул запальчиво:

— Вы не воображайте, что я попался в западню. Если я отсюда не выйду, то у меня уже заготовлено кое-что такое, что пошлет вас на каторгу.

— Пустяки, — спокойно сказал Триродов, — я этого не боюсь. Что вы можете мне сделать? В крайнем случае я эмигрирую.

Остров злобно захохотал.

— Нарядитесь в мантию политического выходца! — злобно воскликнул он. — Напрасно! Наша полиция, осведомляемая благомыслящими людьми, от них же первый есмь аз, — но только первый! заметьте! — достанет везде. Найдут! Выдадут!

— Оттуда не выдадут, — сказал Триродов. — Это — место верное, и там вы меня не достанете.

— Что же это за место, куда вы собрались? — с язвительною улыбкою спросил Остров. — Или это ваш секрет?

— Это — Луна, — спокойно и просто ответил Триродов.

Остров захохотал. Триродов говорил:

— И притом Луна, созданная мною. Она стоит перед моими окнами и готова принять меня.

Остров в бешенстве вскочил с места, топал ногами и кричал:

— Вы вздумали издеваться надо мною! Напрасно! Меня вашими глупыми сказками не проведете. Провинциальных дурочек надувайте этими фантасмагориями. Я — старый воробей, меня на мякине не проведешь.

Триродов спокойно сказал ему:

— Напрасно вы беснуетесь. Я вам помогу. Я вам денег дам, пожалуй. Но с условием.

— Какое еще условие? — с сдержанною яростью спросил Остров.

— Вы уедете — очень далеко — и навсегда,— сказал Триродов.

— Ну это еще надо подумать, — злобно сказал Остров.

Триродов с улыбкою посмотрел на него и сказал:

— В вашем распоряжении неделя. Ровно через неделю вы приедете ко мне и получите деньги.

Остров почувствовал вдруг непонятный для него страх. Он испытывал ощущение взятого в чужую власть. Тоска томила его. Лицо Триродова исказилось жестокою усмешкою. Он сказал тихо:

— Ваша ценность такова, что я убил бы вас совсем спокойно, как змею. Но я устал и от чужих убийств.

— Моя ценность? — хрипло и нелепо бормотал Остров.

Триродов гневно говорил:

— Какая ваша цена? Наемный убийца, шпион, предатель.

Остров сказал упавшим голосом:

— Однако вас не предал пока.

— Невыгодно, только потому не предали, — возразил Триродов. — А второе, не смеете.

— Чего же вы хотите? — смиренно спросил Остров. — Какое ваше условие? Куда мне надо ехать?

## Глава одиннадцатая

Триродов оставил в Рамееве приятное впечатление. Рамеев поспешил отдать Триродову визит: поехал к нему вместе с Петром. Не хотелось Петру ехать к Триродову, но все же он не решился отказаться. По дороге Петр хмурился, но в доме Триродова старался быть очень вежлив. Принужденность была в его вежливости.

Очень скоро Миша подружился с Киршею, познакомился с другими мальчиками. Между Рамеевым и Триродовым завязывалось близкое знакомство, — настолько близкое, конечно, насколько это позволяла нелюдимость Триродова, его любовь к уединенной жизни.

Случилось однажды, что Триродов с Киршею был у Рамеевых, замедлил и остался обедать. К обеду сошлось еще несколько человек из близких Рамееву и к молодым людям. Постарше были кадеты, помоложе — считали себя эсдеками и эсерами.

Сначала говорили, много волнуясь и споря, по поводу новости, принесенной одним из молодых гостей, учителем городского училища Воронком, с.-р. Сегодня днем близ своего дома был убит полицеймейстер. Убийцы скрылись.

Триродов не принимал почти никакого участия в разговоре. Елисавета смотрела на него тревожно, и желтый цвет ее платья казался цветом печали. Было очень заметно для всех, что Триродов задумчив и мрачен, как будто его томила тайная какая-то забота. В начале обеда он делал заметные усилия над собою, чтобы одолеть рассеянность и волнение. Наконец на него обратилось общее внимание. Особенно после нескольких ответов невпопад на вопросы одной из девиц.

Триродов заметил, что на него смотрят. Ему стало неловко и досадно на себя, и это досадливое чувство помогло ему одолеть рассеянность и смущение. Он стал оживленнее, точно стряхнул с себя какой-то гнет, и вдруг разговорился. И голубою радостью поголубели тогда глубокие взоры Елисаветиных глаз.

Петр, продолжая начатый разговор, говорил со свойственным ему уверенно-пророческим выражением:

— Если бы не было этой дикой ломки при Петре, все пошло бы иначе.

Триродов слегка насмешливо улыбался.

— Ошибка, не правда ли? — спросил он. — Но уж если искать в русской истории ошибок, то не проще ли искать их еще раньше?

— Где же? При сотворении мира? — с грубою насмешливостью спросил Петр.

Триродов усмехнулся и сказал сдержанно:

— При сотворении мира, конечно, это что и говорить. Но не заходя так далеко, для нас достаточно остановиться хоть на монгольском периоде.

— Однако, — сказал Рамеев, — вы далеконько взяли.

Триродов продолжал:

— Историческая ошибка была в том, что Россия не сплотилась тогда с татарами.

— Мало у нас татарщины! — досадливо сказал Петр.

— Оттого и много, что не сплотились, — возразил Триродов. — Надобно было иметь смысл основать Монголо-русскую империю.

— И перейти в магометанство? — спросил доктор Светилович, человек очень милый, но уж слишком уверенный во всем том, что несомненно.

— Нет, зачем! — отвечал Триродов. — Борис Годунов был же христианином. Да и не в этом дело. Все равно мы и католики Западной Европы смотрели друг на друга как на еретиков. А тогда наша империя была бы всемирною. И если бы даже нас причисляли к желтой расе, то все же эта желтая раса считалась бы благороднейшею, и желтый цвет кожи казался бы весьма элегантным.

— Вы развиваете какой-то странный... монгольский парадокс, — презрительно сказал Петр.

Триродов говорил:

— Все равно же на нас и теперь смотрят в Европе почти как на монголов, как на расу, очень смешанную с монгольскими элементами. Говорят: поскоблите русского — откроете татарина.

Завязался спор, который продолжался и когда вышли из-за стола.

Петр Матов во время всего обеда был сильно не в духе. Он едва находил, что говорить со своею соседкою, молодою девицею, черноглазою, черноволосою, красивою с.-д. И прекрасная с.-д. все чаще стала обращаться к сидевшему рядом с нею по другую сторону священнику Закрасину. Он примыкал к к.-д. и все же был ближе к ней по убеждениям, чем октябрист Матов.

Петру не нравилось, что Елисавета не обращает на него внимания, а смотрит на Триродова и слушает Триродова. Почему-то было ему досадно и то, что Елена иногда подолгу останавливала свой разнеженный взор тоже на Триродове. И в Петре все возрастало жуткое желание наговорить неприятностей Триродову.

«Ведь он же гость», — подумал было Петр, сдерживая себя, но в ту же минуту почувствовал, что не может удержаться, что должен как-нибудь, чем бы то ни было, смутить самоуверенность Триродова. Петр подошел к Триродову и, покачиваясь перед ним на своих длин-

ных и тонких ногах, сказал тоном, враждебность которого почти не старался скрыть:

— На днях на пристани какой-то проходимец расспрашивал о вас. Кербах и Жербенев пили пиво и говорили глупости, а он подсел к ним и очень вами интересовался.

— Лестно, — неохотно сказал Триродов.

— Ну не знаю, насколько лестно, — язвительно сказал Петр. — По-моему, приятного мало. Наружность очень подозрительная — какой-то оборванец. Хоть и уверяет, что он — актер, да что-то не похож. Говорит, что вы с ним старые друзья. Замечательный нахал!

Триродов улыбнулся. Елисавета тревожно сказала:

— Его же мы встретили на днях около вашего дома.

— Место довольно уединенное, — неопределенным тоном сказал Триродов.

Петр описал его наружность.

— Да, это — актер Островов, — сказал Триродов.

Елисавета, чувствуя странное беспокойство, сказала:

— Он, кажется, все блуждал здесь по соседству, выспрашивал и высматривал. Не замышляет ли он чего-нибудь?

— Очевидно, шпион, — презрительно сказала молодая с.-д.

Триродов, не выражая ни малейшего удивления, сказал:

— Вы думаете? Может быть. Не знаю. Я не видел его уже лет пять.

Молодая с.-д. подумала, что Триродов обиделся на нее за своего знакомого; она сказала несколько натянуто:

— Вы его хорошо знаете, тогда извините.

— Я не знаю его теперешнего положения, — сказал Триродов. — Все может быть.

— Можно ли ручаться за все случайные знакомства! — сказал Рамеев.

Триродов спросил Петра:

— Что же он говорил обо мне?

Но тон его голоса не обнаруживал особенно большого любопытства. Петр сказал, усмехаясь саркастически:

— Ну говорил-то он мало, больше выспрашивал. Говорил, что вы его хорошо знаете. Впрочем, я скоро ушел.

Триродов говорил тихо:

— Да, я его знаю давно. Может быть, и недостаточно хорошо, но знаю. У меня были с ним кое-какие сношения.

— Он у вас был вчера? — спросила Елисавета.

Триродов отвечал:

— Он заходил ко мне поздно вечером. Вчера. Очень поздно. Не знаю, почему он выбрал такой поздний час. Просил помочь. Требования его были довольно велики. Я дам ему, что смогу. Он отправится дальше.

Все это было сказано отрывисто и нехотя. Ни у кого не стало охоты продолжать разговор об этом, но в это время совершенно неожиданно в разговор вмешался Кирша. Он подошел к отцу и сказал тихим, но очень внятным голосом:

— Он нарочно пришел так поздно, когда я спал, чтобы я его не видел. Но я его помню. Когда еще я был совсем маленький, он показывал мне страшные фокусы. Теперь уж я не помню, что он делал. Помню только, что мне было очень страшно и я плакал.

Все с удивлением смотрели на Киршу, переглядывались и улыбались. Триродов спокойно сказал:

— Ты это во сне видел, Кирша. Мальчики в его возрасте любят фантастические сказки, — продолжал он, обращаясь опять ко взрослым. — Да и мы, — мы любим утопии. Читаем Уэльса. Самая жизнь, которую мы теперь творим, представляется сочетанием элементов реального бытия с элементами фантастическими и утопическими. Возьмите, например, хотя бы это дело...

Так прервал Триродов разговор об Острове и перевел его на другой вопрос, из числа волновавших в то время все общество. Вскоре после того он уехал. За ним поднялись и другие.

Хозяева остались одни и сразу почувствовали в себе осадок досады и враждебности. Рамеев упрекал Петра:

— Послушай, Петя, так, брат, нельзя. Это же негостеприимно. Ты все время так смотрел на Триродова, точно собирался послать его ко всем чертям.

Петр ответил со сдержанною угрюмостью:

— Вот именно, ко всем чертям. Вы, дядя, угадали мое настроение.

Рамеев посмотрел на него с недоумением и спросил:

— Да за что же, мой друг?

— За что? — пылко, давая волю своему раздражению, заговорил Петр. — Да что он такое? Шарлатан? Мечтатель? Колдун? Не знается ли он с нечистою силою? Как вам кажется? Или уж это не сам ли черт в человеческом образе? Не черный, а серый, Анчутка беспятый, серый, плоский черт?

— Ну полно, Петя, что ты говоришь! — досадливо сказал Рамеев.

Елисавета улыбалась неверною улыбкою покорной иронии, золотою и опечаленною, и желтая в ее черных волосах грустила и томилась роза. И широко раскрыты были удивленные глаза Елены.

Петр продолжал:

— Да подумайте сами, дядя, оглянитесь кругом, — ведь он же совсем околдовал наших девочек.

— Если и околдовал, — сказала, весело улыбаясь Елена, — то меня только немножечко.

Елисавета покраснела, но сказала спокойно:

— Да, любопытно слушать. И не заткнуть же уши.

— Вот видите, она сознается! — сердито воскликнул Петр.

— В чем? — с удивлением спросила Елисавета.

— Из-за этого холодного, тщеславного эгоиста ты всех готова забыть, — горячо говорил Петр.

— Не заметила ни его тщеславия, ни его эгоизма, — холодно сказала Елисавета.

— Удивляюсь, когда ты успела так хорошо — или так худо — с ним познакомиться.

Петр продолжал сердито:

— Вся эта его жалкая и вздорная болтовня — только из желания порисоваться.

Елисавета с непривычною ей резкостью сказала:

— Петя, ты ему завидуешь.

И сейчас же, почувствовавши свою грубость, сказала, краснея:

— Извини меня, пожалуйста, Петя, но ты так жестоко нападаешь, что получается впечатление какого-то личного раздражения.

— Завидую? Чему? — горячо возразил Петр. — Скажи мне, что он сделал полезного? Вот он напечатал несколько рассказцев, книгу стихов, — но назови мне хоть одно из его сочинений, в стихах ли, в прозе ль, где была бы хоть капля художественного или общественного смысла.

— Его стихи, — начала было Елисавета.

Петр перебил ее:

— Ты мне скажи, где его талант? Чем он известен? Кто его знает? Все, что он пишет, только кажется поэзией. Перекрестись и увидишь, что все это книжно, вымучено, сухо. Бездарное дьявольское наваждение.

Рамеев сказал примирительным тоном:

— Ну уж это ты напрасно. Нельзя же так отрицать!

— Ну даже допустим, что там есть кое-что не очень плохое, — продолжал Петр. — В наше время кто же не сумеет слепить звонких стишков! Но все-таки что я должен в нем уважать? Развратный, плешивый, смешной, подслеповатый, — и Елисавета находит его красавцем!

Елисавета сказала с удивлением:

— Никогда я не говорила про его красоту. И разврат его — откуда это? Городские сплетни?

Елисавета покраснела и нахмурилась. Ее синие глаза странными зажглись зеленоватыми огоньками. Петр гневно вышел из комнаты.

— Чем он так раздражен? — с удивлением спросил Рамеев.

Елисавета потупилась и с детскою застенчивостью сказала:

— Не знаю.

Она стыдливо улыбнулась робкому тону своих слов, потому что почувствовала себя девочкою, которая скрывает. Преодолевая стыд, она сказала:

— Он — ревнивый.

## Глава двенадцатая

Триродов любил быть один. Праздником ему было уединение и молчание. Так значительны казались ему одинокие его переживания, и такая сладкая была влюбленность в мечту. Кто-то приходил, что-то являлось. Не то во сне, не то наяву были дивные явления. Они сожигали тоску.

Тоска была привычным состоянием Триродова. Только в писании стихов и прозы знал он самозабвение — удивительное состояние, когда время свивается и сгорает, когда дивное вдохновение награждает избранника светлым восторгом за все тяготы, за всю смуту жизни. Он писал много — печатал мало. Известность его была очень ограниченна, — мало кто читал его стихи и прозу, и из читавших мало было таких, кто признавал его талант. Его сочинения, новеллы и лирические стихи не отличались ни особою непонятностью, ни особыми декадентскими вычурами. Но они носили на себе печать чего-то изысканного и странного. Надо было иметь особый строй души, чтобы любить эту простую с виду, но столь необычную поэзию.

Для иных, знавших его, казалась странною его неизвестность. Казалось, что способности его были достаточно велики для того, чтобы привлечь к нему удивление, внимание и признание толпы. Но он несколько презирал людей, — слишком, может быть, уверенный в своей гениальности, — и никогда не сделал движения, чтобы им угодить или понравиться, и потому его сочинений почти нигде не печатали.

Да и вообще с людьми сходился Триродов редко и неохотно. Ему тяжело было смотреть с невольною проницательностью во мглу их темных и тяжелых душ.

Только с женою ему было легко. Влюбленность роднит души. Но его жена умерла несколько лет назад. Она умерла, когда Кирше было уже лет шесть. Кирша помнил ее — не мог забыть, все вспоминал. Смерть жены Триродов почему-то ставил в связь с рождением сына. Хотя очевидной связи не было, — его жена умерла от случайной острой болезни. Триродов думал: «Она родила и потому должна была умереть. Жить — только невинным».

Она умерла, но он всегда ждал ее и думал с отрадою: «Придет. Не обманет. Даст знак. Уведет за собою».

И жизнь становилась легкою, как зыблемое видение сладкого сна.

Он любил смотреть на портреты жены. На стене его кабинета висел портрет, написанный знаменитым английским художником. Было много фотографических ее изображений. Сладко было ему мечтать и, мечтая, любоваться изображениями прекрасного лица и милого тела.

Иногда уединение нарушалось вторжением суетливой внешней жизни и внешней, холодно-чувственной любви. Приходила женщина, с которою у Триродова была с прошлого года связь, странная, нетребовательная, как-то ни с чего взявшаяся и никуда не ведущая. Это была учительница здешней женской гимназии Екатерина Николаевна Алкина, тихая, холодная, спокойная, с темно-рыжими волосами, с тонким, матово-бледным лицом, на котором были неожиданно ярки губы большого рта, как будто вся телесность и красочность лица в эту влилась внезапную яркость губ, такую грешную, такую жуткую. Она была замужем, но разошлась с мужем. У нее был сын: он жил при ней. Она была с.-д. и работала в организации, но в ее жизни это было случайно. С Триродовым она познакомилась из-за партийных дел. Ее товарищи как-то чутьем поняли, что для сношений с Триродовым, стоявшим к ним не очень близко, следует выбрать эту женщину.

Вот пришла Алкина и начала, как всегда:

— Я к вам по делу.

Глубоким и спокойным взглядом смотрел на нее Триродов, отвечая ей обычные слова, обычный свершая обряд любезного гостеприимства. Слегка волнуясь от скрытых желаний, говорила Алкина о «деле».

Еще раньше было условлено, что партийный агитатор, которого ждали для предположенной массовки, остановится в доме Триродова: это считалось самым безопасным местом. Сегодня Алкина сообщила, что агитатора ждут к вечеру. Надо было провести его в дом Триродова и сделать это так, чтобы в городе об этом не знали. Условились, где для него будет открыт вход, и Триродов вышел сделать

необходимые распоряжения. Приятное ощущение творимой тайны наполняло его радостью.

Когда Триродов вернулся, Алкина стояла у стола и перелистывала какую-то новую книгу. Руки ее слегка дрожали. Она посмотрела на Триродова ожидающим взглядом. Казалось, что она хочет сказать что-то значительное и нежное, — но голосом взволнованно-звучным она заговорила опять о деле. Она рассказывала новое в городе, в гимназии, в организации, — о конфискации местной газеты, о высылках из города по распоряжению полиции, о брожении на фабрике. Триродов спросил:

— Кто из здешних будет на массовке говорить?

— Бодеев, из гимназии, — ответила Алкина.

— Я не люблю, что он пищит, — сказал Триродов.

Алкина робко улыбнулась и сказала:

— Он хороший партийный работник — это надо ценить.

— Вы знаете, я не очень партийный, — ответил Триродов.

Алкина помолчала, вздрогнула, встала, стала волноваться. На ее бледном лице, казалось, живы были только губы, яркие, медленно говорящие. Она спросила спокойно:

— Георгий Сергеевич, вы меня приласкаете?

Триродов улыбнулся. Он сидел спокойно в кресле, смотрел на нее прямо и бесстрастно и немного замедлил ответом. Алкина спросила опять с печалью и кроткою покорностью:

— Может быть, вам некогда? или не хочется?

Триродов спокойно ответил:

— Нет, Катя, я рад вам. Там будет вам удобно, — сказал он, показывая глазами на открытую дверь в маленькую соседнюю комнату, из которой уже не было другого выхода.

Алкина, краснея слегка, сказала:

— Если позволите, я лучше здесь разденусь. Мне радостно, чтобы вы на меня долго смотрели.

Триродов помог ей расстегнуть застежки у ее юбки. Алкина села на стул, наклонилась и принялась расстегивать пуговки башмаков. Потом, медленно и с удовольствием переступая освобожденными от

сжатий обуви ногами по полу, подошла к двери наружу, заперла ее на ключ и сказала:

— Вы же знаете, у меня только одна радость.

Она проворно разделась, стала перед Триродовым, подняла руки, — и была вся длинная, гибкая, как белая змея. Скрестив пальцы вытянутых вверх рук, она потянулась всем телом, такая стройная и гибкая, что казалось, вот-вот совьется белым кольцом. Потом она опустила руки, стала, спокойная и холодная, и сказала:

— Прежде всего посмотрите на меня. Я еще не очень постарела? не совсем увяла?

Триродов, любуясь ею, сказал тихо:

— Катя, вы прекрасны, как всегда.

Алкина спросила недоверчиво:

— Правда? Измятое одеждою тело и от времени увядающая кожа, как может это тело быть прекрасным?

— Вы — такая стройная и гибкая, — говорил Триродов. — Линии вашего тела несколько вытянуты в длину, но они совершенно чисты. Кто захочет измерить вас мерою, тот не найдет ошибок в пропорциях вашего тела.

Алкина, внимательно рассматривая свое тело, сказала с тою же недоверчивостью:

— Хорошо, линии. Но колорит? Вы как-то говорили, что у русских часто бывает неприятный цвет кожи. Когда я смотрю на белизну моего тела, она мне напоминает гипс, и я плачу оттого, что я так некрасива.

— Нет, Катя, — возразил Триродов, — белизна вашего тела — не гипс. Это мрамор, слегка розовый. Это — молоко, влитое в алый хрустальный сосуд. Это — горный снег, озаренный догорающею зарею. Это — белая мечта, пронизанная розовым желанием.

Алкина улыбнулась радостно, слегка покраснела и спросила:

— Сегодня вы опять сделаете с меня сколько-нибудь снимков, да? Иначе я буду плакать о том, что я такая некрасивая, такая худая, что вы не хотите вспомнить иногда о моем лице и моем теле.

— Да, — сказал Триродов, — у меня есть несколько приготовленных пластинок.

Алкина засмеялась радостно и сказала:

— Сначала поцелуйте меня.

Она клонилась, почти упала в объятия Триродова. Поцелуи казались невинными, тихими, — как сестра целовала брата. Такая нежная и упругая под его руками была ее кожа. Алкина прильнула к нему покорным, отдающимся движением. Триродов перенес ее к мягкому, широкому ложу. Покорная и тихая, лежала она в его руках и смотрела прямо в его глаза простым, невинным взглядом.

Когда сладкие и глубокие прошли минуты и усталая пришла стыдливость, Алкина лежала неподвижно, с полузакрытыми глазами, — и вдруг сказала:

— Я все хотела вас спросить и как-то не решалась. Вы меня не презираете? Может быть, вы считаете меня очень бесстыдною?

Она повернула к нему голову и испуганными, стыдливыми глазами смотрела на него. И он ответил ей с обычною своей решительностью:

— Нет, Катя. Часто стыд только для того и нужен, чтобы преодолеть его.

Алкина опять легла спокойно, нежась, нагая под его взорами, как под лучами высокого Змия. Триродов молчал. Алкина засмеялась тихо и сказала:

— Мой муж такой был корректный, — злой и вежливый. Он не бил меня, — что же, недаром же он интеллигентный человек, — и даже не говорил грубых слов. Хоть бы дурой когда назвал. Теперь мне кажется, что я не ушла бы от него, если бы наши ссоры не протекали так тихо, если бы он меня бил, таскал за косы, хлестал бы чем-нибудь.

— Сладко? — спросил Триродов.

— Такая пресная жизнь, — продолжала Алкина. — Крутишься в сетях маленьких неприятностей. Завыть бы, завизжать бы от тоски, от горя, от боли нестерпимой.

Она сказала это с непривычною ей страстностью и затихла.

## Глава тринадцатая

Опять склонялся день к вечеру, и снова Триродов был один, томимый всегдашнею тоскою. Голова кружилась. Полудремотное было состояние, как предчувствие кошмара. Полусны, полуиллюзии полны были впечатлениями дня, жгучими мечтами, жестокими.

Только что стемнело. На высоте около города горел огонь. Шалили городские мальчишки. Они зажгли костер, бросали головни кверху, — и, точно ракеты, взвивались горящие головни в синем ночном воздухе. И радовали, и печалили красивые взлеты огня в темноте.

Кирша пришел к отцу, молчаливый, как всегда. Он стоял у окна, темными и печальными смотрел глазами на далекие огни Ивановой ночи и молчал. Триродов подошел к нему. Кирша слегка повернулся к отцу и тихо сказал:

— Эта ночь будет страшная.

Триродов также тихо ответил:

— Не будет ничего страшного, Кирша, не бойся. Ляг спать поскорее, милый, пора спать.

Точно не слушая его. Кирша говорил:

— Мертвецы встанут сейчас из могил.

Отвечая ему, сказал Триродов:

— Мертвецы уже встают из могил.

Странное удивление слабо шевельнулось в нем, зачем он говорит об этом? Или так настоятельно желание вопрошающего? Тихо-тихо, не то спрашивая, не то рассказывая, говорил Кирша:

— Мертвецы пойдут по Навьей тропе, мертвецы скажут навьи слова.

И опять, словно чужою побуждаемый волею, ответил ему Триродов:

— Мертвецы уже встали, уже они идут по Навьей тропе в Навий град, уже они говорят навьи слова о навьих делах.

И спросил Кирша:

— Ты пойдешь?

Триродов помолчал и тихо сказал:

— Пойду.

— И я пойду с тобою, — решительно сказал Кирша.

— Не ходи, милый Кирша, — ласково сказал Триродов.

Но Кирша настойчиво повторял:

— Эту ночь я проведу с тобою, там, у Навьей тропы, насмотрюсь, наслушаюсь, погляжу в мертвые глаза.

Триродов сказал строго:

— Я не хочу брать тебя с собою, — тебе надо остаться здесь.

Кирша сказал просящим голосом:

— Может быть, и мама пройдет.

Триродов подумал и сказал тихо:

— Иди.

Долгий и жуткий длился вечер. Отец и сын ждали. Стало совсем темно, — тогда они пошли.

Проходили садом, мимо замкнутой, таинственно мерцающей своими стеклами оранжереи. Тихие дети еще не спали. Тихие, качались они в саду на качелях. Тихо бряцали кольца качелей, тихо скрипели доски. На качелях, озаренные неживою луною, ночною овеянные прохладою, сидели тихие дети, качались тихонько, напевали что-то. Ночь слушала их тихую песенку и луна, полная, такая ясная луна, неживая. Кирша спросил, понижая голос, чтобы тихие дети не слышали:

— Отчего они не спят? Качаются на качелях — ни внизу на земле, ни вверху на небе. Чего это они?

Триродов ответил так же тихо:

— В эту ночь им нельзя спать. Они не смогут спать, пока заря не заалеется, не засмеется. Им и не надо спать. Они и днем могут спать.

Опять спросил Кирша:

— Они пойдут с нами? Они хотят идти, — тихо сказал он.

— Нет, Кирша, они ничего не хотят, — сказал Триродов.

Кирша повторил грустно:

— Не хотят!

— Они не должны идти с нами, если мы их не позовем, — сказал Триродов.

— Позовем? — радостно спросил Кирша.

— Позовем одного. Кого ты хочешь позвать?

Кирша подумал, припоминая. Сказал:

— Гришу.

— Позовем Гришу, — сказал Триродов.

Он посмотрел на качели и позвал:

— Гриша!

Мальчик, похожий на опечаленную Надежду, тихо спрыгнул с качелей, но не приблизился и шел сзади. Остальные тихие дети спокойно смотрели вслед за ним, качались и пели, как прежде.

Триродов открыл калитку, вышел, а за ним Кирша и Гриша. Внешняя перед ними стояла ночь, и темная, забытая чернела Навья тропа. Дрогнул Кирша, — холодная под голыми ногами отяжелела земля, холодный к голым коленям прильнул воздух, холодная полуоткрытую грудь овеяла влажная свежесть ночи. Тихо спросил Триродов:

— Кирша, тебе не страшно?

— Нет, — тихо шепнул Кирша, влажный вдыхая запах росы и легкого тумана.

Свет луны был сладкий и загадочный. Она улыбалась неживым ликом и говорила, такая спокойная:

— Что было, будет вновь. Что было, будет не однажды.

Ночь была тихая, ясная. Шли долго, — Триродов, и Кирша, и далеко сзади тихий Гриша. Наконец из-за тумана показалась невдали невысокая, белая кладбищенская стена. Легла поперек другая дорога. Неширокая, она поблескивала при луне тусклыми, старыми булыжниками. Дорога живых и дорога мертвых, пересекались две дороги — перекресток у входа на кладбище. В поле около перекрестка виднелось несколько бугров — бескрестные могилы самоубийц и казненных.

Все окрест томилось, очарованное тайною и страхом. Плоская равнина простиралась далеко, вся повитая легким туманом. Далекие влево едва мелькали сквозь туман городские огни, — и таким далеким, очерченным туманною межою казался город, затаивший в себе ревниво от ночного поля шумы и голоса жизни.

Старая ведьма, седая, согбенная, прошла куда-то, помахивая клюкою, спеша и спотыкаясь. Она бормотала сердито:

— Не нашим духом пахнет, чужие пришли. Зачем чужие пришли? Что тут надо чужим? Чего они ищут? Найдут, чего не хотят. Наши увидят, на куски разорвут, куски по всему полю разнесут.

Вдруг что-то вокруг зашуршало, завизжало тоненькими голосками, завозилось. От перекрестка во все стороны мелкой пылью помчались несметные полчища серой нежити и нечисти. Бегство их было так стремительно, что всякую живую, нетвердую душу они увлекли бы за собою. И уже видно было, как бегут в их толпе жалкие души маленьких людей. Кирша зашептал пугливо:

— Приди, приди, тихий мальчик, очерти нас своею ночною палочкою.

Белея сквозь легкий белый туман, приблизился тихий Гриша. Он стал перед Триродовым, протягивая ему тонкий жезл, длинный, серебристо-белый, и тихою улыбался улыбкою. Триродов сказал:

— Вот этим жезлом и очертимся.

И взял жезл из Гришиных рук. Гриша стал рядом с ними, спокойный, белый в свете полной луны, совсем неподвижный, точно бездыханный, точно ангел на страже. Чертя жезлом тонкий прах Навьей тропы, Триродов вел круг. Гриша шептал:

— Черта в черту, эта в ту, сомкнись, мой круг. Вражья сила обступила мой круг. Смотрит, нет ли перерыва, нет ли перелома, — заберется живо, будет в круге дома. Мой круг, не разрывайся под навьею пятою. Вражья сила, оставайся за чертою.

Едва успели очертиться волшебною чертою, — и уже началось прохождение мертвецов по Навьей тропе. Мертвая толпа шла к городу, повинуясь чьему-то злому заклятию. Выходцы из могил шли в ночной тишине, и следы по дороге за ними ложились, легкие, странные, едва различимые. Слышались тихие речи, мертвые слова. В прохождении мертвых нельзя было заметить никакого определенного порядка. Они шли как попало. Голоса сливались сначала в общий гул, и только потом, прислушавшись, можно было различить отдельные слова и фразы.

— Будь сам хорош, это главное.

— Помилуйте, это — такой разврат, безнравственность.

— Сыт, одет, обут, — чего же больше!

— Грехов у меня немного.

— Так им и надо. Не целоваться же с ними.

Все проходившие сначала сливались в одну мглисто-серую толпу. Потом, присмотревшись, можно было различить и отдельных мертвецов.

Шел дворянин в фуражке с красным околышем и говорил спокойно и отчетливо:

— Священное право собственности должно быть неприкосновенно. Мы и наши предки строили русскую землю.

Рядом с ним шел другой такой же и говорил:

— Мой девиз — самодержавие, православие и народность. Мой символ веры — спасительная крепкая власть.

Поп в черной ризе махал кадилом и кричал тенорком:

— Всякая душа властям предержащим да повинуется. Рука дающего не оскудеет.

Шел умственный мужик, бормоча:

— Мы все знаем, да молчим покуда. С незнайки взыску меньше. Только на роток не накинешь платок.

Мертвые солдаты прошли вместе. Они горланили непристойные песни. Их лица были серо-красного цвета. От них воняло потом, гнилью, махоркою и водкою.

— Я положил свой живот за веру, царя и отечество, — с большим удовольствием говорил молодцеватый полковник.

Шел тощий человек с иезуитским лицом и звонким голосом выкрикивал:

— Россия для русских!

Толстый купец повторял:

— Не надуешь, не продашь. Можно и шубу вывернуть. За свой грош везде хорош.

Женщина рябая и суровая говорила:

— Ты меня бей, ежели я твоя баба, а такого закона нет, от живой жены с девкой связаться.

Мужик шел рядом с нею, грязный и вонючий, молчал и икал.

Прошел опять дворянин свирепого вида, толстый, большой, взъерошенный. Он вопил:

— Вешать! Пороть!

Триродов сказал:

— Кирша, не бойся, — это мертвые слова.

Кирша молча кивнул головою.

Барыня и служанка шли и переругивались.

— Не уравнял Бог лесу. Я — белая кость, ты — черная кость. Я — дворянка, ты — мужичка.

— Ты хоть и барыня, а дрянь.

— Дрянь, да из дворянь.

Очень близко к волшебной черте, видимо, стараясь выделиться из общей среды, прошли изящно одетая дама и молодой человек из породы пшютов. Они еще недавно были похоронены, и от них пахло свежею мертвечиною. Дама кокетливо поджимала полуистлевшие губы и жаловалась хриплым, скрипучим голоском:

— Заставили идти со всеми, с этими хамами. Можно бы пустить нас отдельно от простого народа.

Пшют вдруг жалобно запищал:

— Посюшьте, вы, мужик, не толкайтесь. Какой грязный мужик!

Мужик, видно, только что вскочил из могилы, — едва разбудили, — и еще не мог опомниться и понять свое положение. Он был весь растрепанный, лохматый. Глаза у него были мутные. Бранные, непристойные слова летели из его мертвых уст. Он сердился, зачем его потревожили, и кричал:

— По какому праву? Я лежу, никого не касаюсь, вдруг на, иди! Какие такие новые права — покойников тревожить! Ежели я не хочу? Только до своей земли добрался, — ан гонят.

Скверно ругаясь, качаясь, пяля глаза, мужик лез прямо на Триродова. В нем он слепо чуял чужого и враждебного и хотел истребить его. Кирша задрожал и побледнел. В страхе прижался он к отцу. Тихий мальчик рядом с ними стоял спокойно и печально, как ангел на страже.

Мужик наткнулся на зачарованную черту. Боль и ужас пронизали его. Он воззрился мертвыми глазами — и тотчас же опустил их, не

стерпев живого взора, стукнулся лбом в землю за чертою и просил прощения.

— Иди! — сказал Триродов.

Мужик вскочил и побежал прочь. Остановясь в нескольких шагах, он опять скверно изругался и побежал дальше.

Шли два мальчика, тощие, с зелеными лицами, в бедной одежонке. Опорки на босых ногах шмурыгали. Один говорил:

— Понимаешь, мучили, тиранили. Убежал — вернули. Сил моих не стало. Пошел на чердак, удавился. Не знаю, что мне теперь за это будет.

Другой зеленый мальчик отвечал:

— А меня прямо запороли солеными розгами. Мое дело чистое.

— Да, тебе-то хорошо, — завистливо говорил первый мальчуган, — тебе золотой венчик дадут, а вот я-то как буду?

— Я за тебя попрошу ангелов-архангелов, херувимов и серафимов, — ты мне только свое имя, фамилию и адрес скажи.

— Грех-то очень большой, а я Митька Сосипатров из Нижней Колотиловки.

— Ты не бойся, — говорил засеченный мальчик, — как только меня наверх в горницы пустят, я прямо Богородице в ноги бухну, буду в ногах валяться, пока тебя не простят.

— Да уж сделай божескую милость.

Бледный стоял Кирша. Глаза его горели. Он весь дрожал и повторял:

— Мама, приди! Мама, приди!

В мертвой толпе светлое возникло видение, — и Кирша затрепетал от радости. Киршина мама проходила мимо, белая, нежная. Она подняла тихие взоры на милых, но не одолела роковой черты и шепнула:

— Приду.

Кирша в тихом восторге стоял неподвижно. Глаза его горели, как очи тихого ангела, стоящего на страже.

Опять чужая и мертвая хлынула толпа. Проходил губернатор. Вся его фигура дышала властью и величием. Еще не вполне опомнившись, он бормотал:

— Русский народ должен верить русскому губернатору. Дорогу русскому губернатору! Не потерплю. Не дозволю! Меня не запугаете. Что-с? Кормить голодающих!

И при этих словах он словно очнулся, оглянулся и говорил с большим удивлением, пожимая плечьми:

— Какой странный беспорядок! Как я попал в эту толпу! Где же полиция!

И вдруг возопил:

— Казаки!

На крик губернатора примчался откуда-то отряд казаков. Не замечая Триродова и детей, они промчались мимо, свирепо махая нагайками. Смешались мертвые в нестройную толпу, теснимые казачьими конями, и злорадным смехом отвечали на удары нагаек по мертвым телам.

Седая ведьма села на придорожный камень, смотрела на них и заливалась гнусным, скрипучим хохотом.

## Глава четырнадцатая

Елисавета оделась мальчиком. Она любила это делать и часто одевалась так. Скучна однолинейность нашей жизни, — хоть переодеванием обмануть бы ограниченность нашей природы!

Елисавета надела белую матроску с синим воротником, синие короткие панталоны, выше колен обнажившие ее прекрасные, стройные, загорелые ноги, надела шапочку, взяла удочку, пошла на реку. В этой одежде Елисавета казалась высоким подростком лет четырнадцати.

Тихо было и ясно у реки. Елисавета сидела на прибрежном камне, опустив ноги в воду, и следила за поплавком. Показалась лодка. Елисавета всмотрелась, — подъезжал в лодке Щемилов. Он окликнул:

— Паренек! авось ты здешний, так скажи, милый...

И остановился, потому что Елисавета засмеялась.

— Да никак это товарищ Елисавета? — сказал он.

— Не узнали, товарищ? — с веселым смехом спросила Елисавета, подходя к пристани, куда Щемилов уже причаливал свою лодку.

Щемилов, крепко пожимая Елисаветину руку, сказал:

— Признаться, сразу не узнал. А я за вами приехал. Сегодня к ночи массовка собирается.

— Разве сегодня? — спросила Елисавета.

Она похолодела от волнения и смущения, вспомнивши, что обещала сегодня говорить. Щемилов сказал:

— Сегодня. Авось вы не раздумали, а? говорить-то?

— Я думала, завтра, — сказала Елисавета. — Подождите, захвачу узелок, — у вас переоденусь.

Она быстро побежала вверх, и весел был звук ее ног по влажной глинистой дорожке. Щемилов ждал, сидя в лодке, и посвистывал. Елисавета скоро вышла и ловко вскочила в лодку.

Ехать надобно было через весь город. С берега никто не узнавал Елисавету в ее мальчишеской одежде. Дом Щемилова стоял на окраине города — хибарка среди огорода, на крутом берегу реки.

В доме никого еще не было. Елисавета взяла книгу журнала, которая лежала на столе, и спросила:

— Скажите, товарищ, как вам нравятся эти стихи?

Щемилов посмотрел. Книга была раскрыта на той странице, где были стихи Триродова. Щемилов усмехнулся и сказал:

— Да что сказать? Его стихи революционного содержания — ничего себе. Впрочем, такие стихи нынче все пишут. Ну а прочие его сочинения не про нас писаны. Барские сладости не для нашей радости!

— Давно я у вас не была, — сказала Елисавета, — как у вас все не прибрано!

— Хозяйки нет, — сконфуженно сказал Щемилов.

Елисавета принялась прибирать, чистить, мыть. Она двигалась проворно и ловко. Щемилов любовался ее стройными ногами: так красиво двигались на икрах мускулы под загорелою кожею. Он сказал голосом, звонким от радостного восторга:

— Какая вы стройная, Елисавета! Как статуя! Я никогда не видел таких рук и таких ног.

Елисавета засмеялась и сказала:

— Мне, право, стыдно, товарищ Алексей. Вы меня хвалите в глаза, точно хорошенькую вещичку.

Щемилов вдруг покраснел и смутился, что было так неожиданно, так противоречило его всегдашней самоуверенности. Он задышал тяжело и сказал, смущенно запинаясь:

— Товарищ Елисавета, вы — славный человек. Вы не обижайтесь на мои слова. Я вас люблю. Я знаю, что для вас социальное неравенство — вздор, а вы знаете, что для меня деньги ваши — ерунда. Если бы я был вам не противен...

Елисавета стояла перед ним, спокойная, грустная, медленно вытирая полотенцем покрасневшие от воды руки. Тихо сказала она:

— Простите, товарищ Алексей, — вы правы о моих взглядах, но люблю я другого.

Она сама не знала, как сорвались с ее губ эти странные ей самой слова. Люблю другого! Так неожиданно выдалась внешними словами тайна сердца. А любит ли он, этот другой?

Оба они были смущены. Щемилов геройски одолел свое смущение. Глядя смущенными глазами прямо в ее синие глаза, он сказал:

— Простите, Елисавета, и забудьте. Я недогадлив, дал маху. Не думал, что вы его полюбите. Вы на меня не сердитесь. И не презирайте.

Елисавета ласково сказала:

— Полно, Алексей, вы знаете, как я вас уважаю. Мы друзья, дайте вашу руку.

Щемилов крепко, товарищеским пожатием сжал Елисаветину руку, потом наклонился и поцеловал ее. Елисавета придвинулась к Щемилову и поцеловала его в губы поцелуем спокойным, невинным, сладким, как сестра целует брата. Потом она захватила свой узелок и вышла в сени переодеться в тот чуланчик, где в скрытом под полом сундуке хранилась литература.

В сенях Елисавета встретила Кирилла. Он только что вошел с огорода и, по своей привычке потупясь, спросил, не глядя ей в лицо:

— Паренек, а товарищ Алексей дома?

— Дома, — сказала Елисавета, — войдите, товарищ Кирилл.

Кирилл услышал знакомый голос, поднял глаза, увидел сложенные на голове паренька косы и удивился. Потом он узнал Елисавету и очень сконфузился. Елисавета скрылась в дверь чулана, а Кирилл долго еще топтался в сенях, пыхтел и шарил, в смущении не находя двери в комнату.

Стали приходить и другие: учитель гимназии Бодеев, учитель городского училища Воронок, приезжий агитатор и с ним Алкина.

Елисавета вышла, одетая в простое темно-синее платье.

— Ну, пора, — сказал Щемилов.

Все вышли и сели в лодку. Ехали молча, слегка волнуясь. Был спокоен только один приезжий, — привык. Он посматривал равнодушно по сторонам из-под очков близорукими глазами, курил папироску за папироскою и рассказывал кое-какие новости. Он был молодой, высокий, с тощим лицом и впалою грудью. У него были длинные волосы, прямые, каштанового цвета, и жидкая бородка. Шапка блином, порыжелая на солнце, придавала ему вид мастерового.

Когда вышли из лодки около леса, где назначено было собраться, уже вечерело. От берега надобно было пройти по лесу с полверсты. Вечерний сумрак томился под вечными сводами леса, шуршал и шелестел еле внятными шумами и шорохами, жуткими шепотами таящихся и крадущихся.

Собирались на широкой поляне среди высокого, густого леса. Уже луна стояла высоко на небе, и черные тени деревьев покрывали половину поляны. Деревья стояли такие тихие и задумчивые, словно они хотели вслушаться в слова этих людей, которые сходились к их подножиям. Но они вовсе не хотели вслушиваться, — у них была своя жизнь, и до людей им не было никакого дела. И не было им ни радости, ни печали оттого, что так много в их черной тени собралось юных девушек, сладко влюбившихся в мечту освобождения, и среди них Елисавета, влюбленная в мечту освобождения, мечте освобождения создавшая храм юной страсти, с мечтою освобождения связавшая образ в таинственном доме живущего человека, сладко влюбленная, жутко взволнованная внезапным при-

знанием своей любви к нему, острыми и сладкими словами, — люблю другого.

В черной тени деревьев красивые мелькали огоньки папирос и трубок. Запах табака вливался в свежесть ночной прохлады и придавал ей сладкую пряность. Пряно звучали в ночной тишине молодые, задорные голоса. И людям не было никакого дела до внятных в тишине голосов лесной тайны. Люди были как дома — сидели, ходили, встречались друг с другом, разговаривали. Иногда, если подымался шумный говор, слышались остерегающие окрики распорядителей. Тогда начинали говорить тише.

Здесь было сотни три разного люда — рабочие, учащаяся молодежь, молодые евреи, очень много девиц. Все молодые евреи и еврейки города были здесь. Они волновались больше всех, и речь их чаще всего переходила в страстный гвалт. Так много ждали, так страстно надеялись! Так больно влюблены были в мечту освобождения!

Были здесь и учительницы из колонии Триродова: опечаленная Надежда, горящая восторгом Мария и еще несколько. Были гимназисты и гимназистки. Эти старались держаться развязно, чтобы видно было, что они уже не в первый раз. Были студенты и курсистки. Так радостно взволнованы были юные! Так волновались все собравшиеся! Так сладко были взволнованы мечтою освобождения, так нежно и страстно были в нее влюблены! И не одно здесь было юное сердце, в котором девственная страсть сочеталась с мечтою освобождения, и в восторге освобождения пламенела, пламенея, юная, жаркая любовь, — освобождение и любовь, восстание и жертва, вино и кровь, — сладостная мистерия любви жаждущей и отдающейся! И не одни загорались очи, увидев милый образ, и не одни шептали уста:

— И он здесь!

— И она здесь!

В тени за поляною, где не видят нескромные взоры, нетерпеливые уста в робкий и быстрый слились поцелуй. И отпрянули друг от друга:

— Мы не опоздали, товарищ?

— Нет, товарищ Наталья, еще не опоздали.

Сказано сладкое имя.

— Пойдемте, однако, туда, товарищ Валентин.

Сладкое сказано имя.

К Елисавете подошел человек в картузе, косоворотке черной и в высоких сапогах, с черною бородкою и усами, — лицо незнакомое, и знакомое, и почему-то волнующее. Он окликнул:

— Елисавета, вы меня не узнали?

Узнала, узнала по голосу, вспыхнула, засмеялась, радостно говорила:

— Только по голосу узнала. Борода, усы — совсем не узнать.

— Приклеены, — сказал Триродов.

Они говорили. За своею спиною Триродов слышал шепот:

— Это — товарищ Елисавета Рамеева. У нас в городе она считается первою красавицею.

Триродова почему-то обрадовали эти слова, и обрадовало, что Елисавета их слышала и краснела так, что и в мглистом свете луны это было заметно.

Затесались сюда и сыщики, и был даже один провокатор. Никто из собравшихся, кроме этих субъектов, не знал, что полиции известно о массовке и что лес будет скоро оцеплен казаками.

Пока, до начала массовки, шли разговоры. Сходились группами. Здешние агитаторы заводили разговоры с непартийными рабочими. К приезжему агитатору подводили наиболее интересных для дела людей.

Раздался громкий голос Щемилова:

— Товарищи, внимание. Предлагаю выбрать председателем товарища Абрама.

— Согласны, согласны, — послышались сдержанные голоса.

Товарищ Абрам занял свое место на высоком пне срубленного дерева. Начались речи. Елисавета волновалась, пока не дошла до нее очередь говорить. Было жутко и страшно, что услышит ее Триродов.

Доносились гордые слова, бодрящие лозунги, смелые указания. Была и речь провокатора. Но он выдал себя чрезмерными призывами к немедленному вооруженному восстанию. Раздался чей-то звонкий голос:

— Товарищи, это — провокатор.

Поднялось смятение. Провокатор кричал что-то, оправдываясь. Его выталкивали.

Потом говорил Щемилов, потом приезжий агитатор, — и все возрастало волнение Елисаветы. Но когда председатель сказал:

— Товарищ Елисавета, слово принадлежит вам.

Елисавета вдруг стала спокойною, взошла на высокий пень, служивший трибуною, и заговорила. Ровный, глубокий голос ее разносился далеко. Кто-то откликался в лесу, — проказничал неугомонный зой. Слушал кто-то милый, близкий, — слушали милые, близкие товарищи. Смотрели сотни внимательных глаз, и милые, дружеские взоры, словно скрещенные под щитом копья, держали ее высоко-высоко в чистой атмосфере восторга.

Коротким сном промчались сладкие минуты восторга, — и кончила, сошла в толпу, встреченная приветливыми словами и крепкими пожатиями руки, — ох какими крепкими! — ой, иногда слишком крепкими!

— Ой, товарищ, сломаете! Какой вы сильный!

И радостно улыбается.

— Извините, товарищ, руки у меня пожестче ваших.

И ему забавно.

Кончились речи. Запели. Откликался лес гордым и смелым словам, песням освобождения и восстания. Вдруг оборвалась песня, смутный гул пробежал по толпе. Кто-то крикнул:

— Казаки!

Кто-то крикнул:

— Удирайте, товарищи!

Кто-то побежал. Кто-то говорил:

— Товарищи, спокойствие!

Казаки прятались в лесу, версты за две до места массовки. Многие из них успели изрядно выпить. Сидя вокруг костров, они затянули было веселую песню, очень громкую и не очень приличную. Но офицеры велели молчать. Пришлось послушаться.

Прибежал суетливый шпион; он что-то шептал полковнику. Скоро послышалась команда. Казаки проворно сели на коней, уехали и оста-

вили полупотухший костер. Сухой валежник и трава долго тлели. Начинался лесной пожар.

— Что это? — спросила Елисавета.

Ответил кто-то быстрым полушепотом:

— Слышь, казаки. Где они? Не знать, куда и бежать.

— Казаки от города, — говорил кто-то. — Уходить не иначе как на Опалиху.

Послышались возгласы распорядителей:

— Товарищи, спокойнее. Расходитесь быстрее. Не начинайте столкновения. Дорога на Дубки свободна.

Совсем близко от Елисаветы из-за деревьев показались лошадиные морды, кроткие и тупые, с видящим и непонимающим взором добрых глаз. Толпа молодежи бросилась бежать, увлекая за собою Елисавету. Ее охватило чувство тупого недоумения. Она думала: «Что бежать, — догонят, загонят, куда им надобно!»

Но не было сил остановиться. Все бежали, и она со всеми. Но впереди показался еще отряд казаков. В толпе поднялись вопли и визги. Побежали во все стороны. Казаки широкою цепью рассыпались везде кругом.

Многие успели вырваться из этого круга, — иные с окровавленными лицами, с изорванными одеждами. Других стали теснить в суживающийся круг казацких лошадей. Тогда стало понятно, что казаки сгоняют толпу к середине поляны. Те только, кто успел вырваться из их круга в самом начале, имели надежду убежать. Потом круг все более суживался. Около сотни собравшихся оказались внутри круга. Их погнали в город, грубо подстегивая отстающих нагайками.

Вдали раздалось несколько выстрелов. Начал провокатор, — он выстрелил в небо. Это раздражило казаков, — стали стрелять в бегущих.

Елисавета и с нею Алкина благополучно выскользнули из первого круга. Но везде вокруг слышались окрики казаков. Они остановились, прижимаясь к старому дубу, и не знали, куда идти. Триродов подошел к ним.

— Бегите же, — сказал он, — опасно стоять.

— Некуда, — спокойно сказала Елисавета.

И, как эхо, так же спокойно повторила Алкина:

— Некуда.

— Идите за мною, — сказал Триродов, — кажется, я сумею найти место безопасное.

— Где приезжий? — спросила Алкина.

— Не думайте об этом, — нетерпеливо сказал Триродов, — о нем прежде всего позаботились. Он теперь в безопасности. Идите же.

Он пошел уверенно сквозь кустарник, и они за ним.

Обшаривая лес, во всех направлениях шныряли казачьи патрули. Из-за куста перед бегущими внезапно выросла фигура казака. Он ударил Елисавету нагайкою, но она извернулась на бегу, и ослабленный удар скользнул вдоль ее тела. Казак нагнулся, схватил Елисавету за косу и повлек за собою. Елисавета вскрикнула от боли. Триродов выхватил револьвер и выстрелил, почти не целясь. Казак вскрикнул и выпустил Елисавету. Все трое побежали прочь, пробираясь сквозь колючие кусты. Дорогу им пересекал глубокий овраг.

— Ну вот, — сказал Триродов, — здесь мы почти в безопасности.

Они спустились, — почти скатились, — на дно оврага, царапая руки и лицо, обрывая на себе одежду, — некогда было разбирать дорогу. В одном из берегов оврага, недалеко от его дна, они нашли промытое дождями и закрытое кустарником углубление и там затаились.

— Потом пройдем к берегу, — сказал тихо Триродов, — здесь близко река.

Вдруг сверху послышался треск ломаемых кустов, — револьверный выстрел, — крики. В темноте обозначилась бегущая фигура.

— Кирилл! — позвала Елисавета негромким шепотом. — Бегите сюда.

Кирилл услышал и метнулся сквозь кусты в ту сторону, где прятались. Близко, близко от Елисаветы широко открылись его глаза, усталые, злые. Очень громкий и очень близкий раздался выстрел. Кирилл шатнулся и, грузно ломая ветви кустов, повалился навзничь.

Сверху быстро, точно сваливаясь, бежал спешенный казак. Так близко пробежал, что задетая им ветка ударила по плечу Алкиной.

Но Алкина не шевельнулась и стояла бледная, тонкая, спокойная, плотно прижавшись к почти отвесной стене промоины. Казак нагнулся к Кириллу, повозился над ним, выпрямился, пробормотал:

— Эге, не дышит. Эх ты, парнюга!

И повернулся, чтобы лезть наверх. Когда затих шорох раздвигаемых кустов, Триродов сказал:

— Теперь надо осторожно пробраться по оврагу к реке. Река, вы знаете, делает излучину, вогнутую к городу, — мы выйдем почти против моей усадьбы. Как-нибудь переберемся через реку.

Осторожно, медленно пробирались они в густой заросли на дне оврага. Темным путем шли Триродов и с ним две, его случайная и его роковая, двумя ему посланные Мойрами, Айсою и Ананке.

Влажны стали кусты, и повеяло от реки прохладою. Тогда Алкина приблизилась к Триродову и шептала ему:

— Если вам радостно, что она вас любит, скажите мне, — и я порадуюсь вашей радости.

Триродов крепко пожал ее руку.

Перед ними тихая, тусклая лежала река. За нею ждали их труды и опасности жизни, творимой мечтою освобождения.

Вот поднимается туман над рекою, под луною ворожащею и холодною, — вот туманною фатою фантазии облечется докучный мир обычности, и за туманною фатою неясными встанет очертаниями жизнь, творимая и несбыточная.

## Глава пятнадцатая

Гулким шумом огласились ночные улицы города Скородожа — и затихли. В испуге вскочив со своих теплых постелей и слегка приотвернув шторы, смотрели перепуганные горожане на то, как по темным улицам провели захваченных в лесу. Потом, когда замолк конский топот и гул голосов, обыватели смиренно улеглись и скоро заснули. Лэди Годива была бы довольна людьми столь скромными: и увидели, и не показались, и не помешали.

Улеглись обыватели, бормотали что-то со своими женами. Свободолюбивый буржуа ворчал:

— Спать не дают. Стучат копытами. Ездили бы на велосипедах.

Кошмарная была ночь для многих. Холодным ужасом она всю овеяла жизнь и тяжелую бросила на души ненависть ко всей земной жизни, томящейся под властию горящего в небе Змия, ликующего о чем-то. О чем? О том ли, что все мы, люди на этой земле, злы и жестоки, и любим истязать, и видеть капли крови и капли слез?

Жестокое сладострастие разлито в нашей природе, земной и темной. Несовершенство человеческой природы смешало в одном кубке сладчайшие восторги любви с низкими чарами похоти и отравило смешанный напиток стыдом, и болью, и жаждою стыда и боли. Из одного источника идут радующие восторги страстей и радующие извращения страстей. Мучим только потому, что это нас радует. Когда мать дает пощечину дочери, ее радует и звук удара, и красное на щеке пятно, а когда она берет в руки розги, ее сердце замирает от радости.

После ужасов дороги, после обыска многих отправили в тюрьму. Иных отпустили. Сабурову и Светилович отдали родителям.

Утро взошло над городом тревожное, мутное, злое. Из-за города, из леса, тянуло противно-сладким запахом лесной гари.

Узнали об убитых: Кирилл и другой рабочий, Клюкин, семейный. Рабочие волновались.

Убитых отвезли в покойницкую при городской больнице. Рано утром около покойницкой собиралась толпа, угрюмая, молчаливая, решительная. Преобладали рабочие, их жены и дети. Широкая площадь перед больницею томилась утреннею влажною истомою, — сорная, серая почва, примятые былинки, серые, кислые лавчонки. Косые лучи поднимающегося на небо Змия, подернутые легкою дымною вуалью, падали на хмурые лица пришедших так же равнодушно, как на забор и на замкнутые ворота. Древний Змий — не наше солнце.

Были хмурые лица у стоявших перед замкнутыми воротами. В больницу никого не пускали. Собирались тайно похоронить убитых. В толпе возрастали гневные шумы.

Показался отряд казаков. Они быстро примчались и остановились близ толпы. Сухие, красивые лошади чутко вздрагивали. Всадники были красивые, загорелые, черноглазые, чернобровые; черные волосы, не по-солдатски остриженные, виднелись из-под высоких шапок. Женщины в толпе засматривались на них с невольным любованием.

Толпа шумела, не расходилась. Приходили еще люди, — толпа росла. И уже вся площадь была залита людьми. Казалось, что близко кровавое столкновение.

Триродов утром ездил к исправнику и к жандармскому офицеру. Он уверял, что тайные похороны только усилят раздражение рабочих. Исправник тупо слушал его и повторял:

— Нельзя. Не могу-с.

Он упрямо смотрел вниз, причем его красная шея казалась тугою, вылитою из меди, и вертел около пальца перстень с такою тихою настойчивостью, словно это был талисман, оберегающий от вражьего наговора.

Жандармский полковник оказался понятливее и сговорчивее. Наконец Триродову удалось-таки добиться разрешения на выдачу семьям тел убитых.

Исправник приехал на площадь. Толпа встретила его нестройным, но грозным шумом. Он встал на своей пролетке и махнул рукою. Замолчали. Исправник заговорил:

— Желаете хоронить сами? Ну что же, можете. Только позаботьтесь, чтобы не было ничего такого... лишнего. А впрочем, казаки будут на случай чего. А теперь я распоряжусь, чтобы тела ваших товарищей вам выдали.

## Глава шестнадцатая

Уже высоко сиял пламенный, когда Елисавета проснулась. Она быстро вспомнила все, что было ночью, проворно оделась и через полчаса уже ехала в шарабане к Триродову, томимая каким-то неяс-

ным волнением. Она встретила Триродова у ворот. Он возвращался из города; рассказал ей наскоро о своих переговорах с властями. Елисавета сказала решительно:

— Я хочу видеть семью убитого.

Триродов сказал:

— Я сам не знаю, где это. Нам придется заехать к Воронку. К нему сходятся все сведения.

— А мы его застанем теперь? — спросила Елисавета.

— Должно быть, — сказал Триродов. — Если он дома, мы вместе с ним пройдем.

Они поехали. Пыльная под быстрыми колесами влеклась дорога, открывая унылые виды тусклой обычности. Вздымалась под колесами легкая, взвеянная в знойном воздухе пыль и длинною сзади экипажа влачилась змеею. Высокий, в недостижимом небе пламенеющий Дракон смотрел ярыми глазами на скудную землю. В знойном сверкании его лучей была жажда крови и сияла высокая радость о пролитых людьми каплях многоценного живого вина. Среди обвеянных зноем просторов, уносясь в тесноту городской жизни, Триродов рассказывал скучными обычными словами:

— Рано утром обыски были в нескольких домах. У Щемилова нашли много литературы. Он арестован.

Рассказывал слухи об избиениях в полицейском доме. Елисавета молчала.

Квартира Воронка помещалась в очень удобном месте — между серединою города и фабричными кварталами. На эту квартиру приходили многие, потому что Воронок много работал для местной социал-демократической организации. Главным его делом было — развивать подростков и рабочих и попутно внушать им партийные взгляды и верные понятия о целях рабочего класса.

К Воронку приходили мальчики, его ученики из городского училища и их товарищи и знакомые по семьям и по уличным встречам. По большей части это были пареньки милые, искренние, рассуждающие и понимающие, но непомерно лохматые и необычайно самолюбивые.

Воронок развивал их очень усердно и успешно. Они очень отчетливо усваивали сочувствие к рабочему пролетариату, ненависть к сытым буржуям, сознание непримиримости интересов того и другого класса и кое-какие факты из истории. Каждую свою беседу с Воронком лохматые парни из городского училища начинали неизменно все теми же жалобами на училищные порядки и на инспектора. По большей части они жаловались на пустяки. Они говорили с обидою:

— Форменные значки заставляет носить на фуражках.

— Точно мы — малые ребята.

— Чтобы всякий видел, что идет малыш из городского училища.

— Волосы стричь заставляет, помешали ему наши волосы.

Воронок им вполне сочувствовал. Этим он поддерживал в подростках протестующее настроение. Их друзья, такие же лохматые парни, но не ходящие в школу, жаловались тоже — на родителей, на полицию, на что придется. Но жалобам их все же не хватало того яда и того постоянства, которые школьникам внушались всем строем школы. Воронок раздавал тем и другим книжки копеечной цены, но очень строгие в своей партийной чистоте.

Приходили к Воронку и взрослые рабочие, из молодых. Подбирались тоже почему-то все лохматые, шершавые и такие угрюмые, что казалось, как будто они обижены навсегда и уже навеки утратили способность улыбаться и шутить. Воронок читал с ними книжки посерьезнее и делал объяснения непонятого. Были назначены часы для этих чтений и бесед. Этими беседами Воронку очень удавалось развить своих слушателей в желательном направлении: все партийные шаблоны усваивались ими очень скоро и очень прочно. Давал он им также книги для чтения на дом. Многие сами покупали кое-что.

Таким образом через квартиру Воронка постоянно протекала река книжек и брошюр. Иногда он подбирал целые библиотеки и рассылал их с верными людьми по деревням.

Елисавета и Триродов застали Воронка дома. Он казался малопохожим на партийного работника: любезный, нечистый, он производил впечатление сдержанного, благовоспитанного человека. Он всегда носил крахмальное белье, высокие воротники, нарядный гал-

стук, шляпу котелком, стригся коротко, бородку причесывал волосок к волоску.

Воронок любезно сказал:

— Я с удовольствием пойду с вами.

Он взял тросточку, надел котелок, мельком глянул в зеркало, висевшее в простенке, и сказал опять:

— Я готов. Но вы, может быть, отдохнете?

Они отказались и пошли вместе с Воронком.

Жуткая тишина светлых улиц притаилась и ждала чего-то. Эти три казались чужими среди деревянных лачуг, скучных заборов, на мостках скрипучих и шатких. Хотелось спросить:

— Зачем идем?

Но казалось, что это сближает и делает дружным быстрый стук сердец. Вся картина бедной жизни была здесь во всей скучной повседневности, и те же играли грязные и злые дети, и ругались, и дрались, — шатался пьяный, — и качались серые ведра на сером коромысле на плече серой женщины в сером заношенном платье.

Повседневно скучною казалась нищета этого дома, где на столе, наскоро обряженный, лежал желтый покойник. Бледная баба стояла у изголовья и выла тихо, протяжно, неутомимо. Откуда-то подошли трое ребятишек, беловолосых и бледных, и смотрели на вошедших, — странные, тупые взоры без радости и без печали, взоры, навсегда отуманенные.

Елисавета подошла к женщине. Цветущая, румянолицая, стройная девушка стояла рядом с тою бледною, заплаканною женщиною и тихо говорила ей что-то, — та качала головою и причитала ненужные, поздние слова. Триродов спросил тихо:

— Нужны деньги?

Воронок так же тихо ответил:

— Нет, товарищи хоронят, сложимся. Потом семье понадобятся деньги.

Настал день похорон. На фабриках работы стали. Было ясное небо, и под ним торжественно-шумная толпа, и легкие струйки ладана, пыш-

ное благоухание которого смешивалось с легким запахом лесной гари. Гимназисты забастовали и пошли на похороны. Пришла и часть гимназисток. Робкие девочки остались в своей гимназии.

Дети из триродовской колонии решили идти на похороны. Они принесли два венка — речные желтые травы, еще сохранившие на своих восковых лепестках переливные огоньки ранней влаги. Пришли и тихие дети. Они держались отдельно и молчали.

Вся полиция города была на похоронах. Даже из уезда были вызваны стражники. Как всегда, в толпе вертелись мелкие провокаторы.

Торжественно и спокойно двигалась толпа. Над толпою колыхались венки, — пестрели красные цветы, красные веяли ленты. Вокруг ехали казаки. Они смотрели угрюмо и подозрительно, — были готовы усмирять. Слышалось пение молитвы. Каждый раз, когда затихшее пение возобновлялось, казаки чутко прислушивались. Нет, опять только молитва.

Елисавета и Триродов шли в толпе за гробом. Они говорили о том, что восторгает жаждущих восторга и ужасает жаждущих покоя. Остры были Елисавете все впечатления на острых щебнях пыльной и сорной мостовой.

Длинная была дорога. И строгое, и стройное длилось пение. Потом кладбище, — унылое ожидание на паперти, — поспешное отпевание.

Казаки спешились, но по-прежнему держались тесным кольцом вокруг толпы.

Вынесли гроб из церкви. Опять заколыхались венки. И опять несли долго и пели.

Вдруг усилился женский плач, — женский плач над раскрытою могилою. Учитель Бодеев встал у изголовья. Своим визгливо-тонким, но далеко слышным голосом он начал было:

— Товарищи, мы собрались здесь, у этой братской могилы...

Подошел жандармский офицер и сказал строго:

— Нельзя-с. Прошу без речей и без демонстраций.

— Но почему же?

— Нет, уж очень прошу-с. Нельзя-с, — сухо говорил офицер.

Бодеев пожал плечами, отошел и сказал досадливо:

— Покоряюсь грубой силе.

— Закону, — строго поправил офицер в голубом мундире.

Теснясь у могилы, подходили один за другим и бросали землю. Сырая и тяжелая, земля гулко ударялась о тесные гробы.

Засыпали могилу. Стояли молча. Молча пошли.

И вдруг послышался чей-то голос.

И уже вся толпа пела слова гордого и печального гимна. Угрюмо смотрели казаки. Послышалась команда. Казаки быстро сели на коней. Пение затихло.

За кладбищенскою оградою Елисавета сказала:

— Я хочу есть.

— Поедемте ко мне, — предложил Триродов.

— Благодарю вас, — сказала Елисавета. — Но лучше зайдемте в какой-нибудь трактир.

Триродов глянул на нее с удивлением, но не спорил. Понял ее любопытство. В трактире было людно и шумно. Триродов и Елисавета сели у окна, за столик, покрытый грязноватою, в пятнах, скатертью. Они заказали холодного мяса и мартовского пива.

За одним из столов сидел малый в красной рубахе, пил и куражился. За ухом у него торчала папироска, там, где приказчики носят карандаш. Малый приставал к соседям, кричал:

— Пьян-то кто?

— Ну, кто? — презрительно спрашивал от соседнего стола молодой рабочий.

— Пьян-то я! — восклицал пьяница в красной рубахе. — А кто я, знаешь ли ты?

— А кто ты? Что за птица? — насмешливо спрашивал молодой рабочий в черной коленкоровой блузе.

— Я — Бородулин! — сказал пьяница с таким выражением, точно назвал знаменитое имя.

Соседи хохотали и кричали что-то грубое и насмешливое. Малый в красной рубахе сердито кричал:

— Ты что думаешь? Бородулин, по-твоему, крестьянин?

Рабочий в черной блузе почему-то начал раздражаться. Его впалые щеки покраснели. Он вскочил с места и крикнул гневно:

— Ну, кто ты? Говори!

— По паспорту крестьянин. Запасной рядовой. Так? Только и всего? — спрашивал Бородулин.

— Ну? Кто? — наступая на него, гневно кричал рабочий.

— А по карточке кто я? знаешь? — спрашивал Бородулин.

Он прищурился и принял значительный вид. Товарищи тянули молодого рабочего назад и шептали.

— Брось. Нешто не видишь.

— Сыщик! Вот я кто! — важно сказал Бородулин.

Рабочий в черной блузе презрительно сплюнул и отошел к своему столу. Бородулин продолжал:

— Ты думаешь, я сбился с толку? Нет, брат, шалишь, — я — бывалый. Как ты обо мне понимаешь? Я — сыщик. Я всякого могу упечь.

За соседними столиками прислушивались, переглядывались. Бородулин куражился.

— А в полицию хочешь? — сердито спросил из-за среднего стола купец, сверкая маленькими черными глазами.

Бородулин захохотал и крикнул:

— Полиция у меня в горсти. Вот где у меня полиция.

Посетители роптали. Слышались угрозы:

— Уходи, пока цел.

Он расплатился и ушел. Вдруг стало слышно, что на улице собирается толпа. Елисавете и Триродову из окна видно было, как малый в красной рубахе слоняется взад и вперед по улице, не отходя далеко от трактира, и пристает к прохожим. Слышались его крики:

— Донесу! Арестую! Давай гривенник.

Многие давали — боялись. Каждого встречного задевал Бородулин, — с мужчин сбрасывал шапки, женщин щипал, мальчиков драл за уши. Женщины с визгом шарахались от него. Мужчины, кто поробче, бежали. Посмелее останавливались с угрожающим видом. Тех

Бородулин не смел трогать. Мальчишки толпою бегали сзади, хохотали и гукали. Бородулин бормотал:

— Ты у меня смотри! Знаешь ли ты, кто я?

— Ну, кто ты? — спросил парень, которого он толкнул. — Кабацкая затычка!

Вокруг них собралась толпа. Лица были хмуры и неприветливы. Бородулин трусил, но храбрился и куражился. Он кричал:

— Надо человек двух-трех забрать!

На Бородулина вдруг напали. Молодой, дюжий парень выскочил из толпы. В руке его был громадный булыжник. Парень крикнул:

— Что эта собака тут кочевряжится?

Он ударил Бородулина булыжником по голове. Несчастливо-меток был удар. Что-то мягкое и упругое хрустнуло. Бородулин упал. Его продолжали бить. Тот рабочий, который ударил его булыжником, убежал.

Елисавета и Триродов смотрели из окна. Триродов крикнул:

— Казаки!

Люди на улице бросились во все стороны. На окровавленной мостовой остался растерзанный труп.

## Глава семнадцатая

Много забот доставил Триродову Остров. Триродов не раз возвращался мыслями к обстоятельствам своего знакомства с Островым и к последним своим встречам с ним в Скородоже.

Остров был второй раз у Триродова через неделю после первого своего посещения. Всю ту неделю Остров не мог отделаться от странного чувства неловкости и смущения. В его памяти как-то нелепо путались подробности того посещения и разговора с Триродовым. Почему-то он постоянно забывал, какой сегодня день. Неделя прошла как-то слишком для него быстро. Может быть, это было потому, что за неделю он свел много интересных для себя знакомств. Он даже начал делаться заметным в городе человеком.

Во вторник поздно вечером Остров пришел к Триродову. Ждать ему пришлось недолго. Его тотчас же приняли и провели в одну из комнат первого этажа. Через минуту Триродов к нему вышел. Триродов казался слегка удивленным и спросил несколько принужденно:

— Что скажете, Денис Алексеевич?

Остров сказал сумрачно:

— За деньгами пришел. Получить обещанное вспомоществование от щедрот ваших.

Триродов сказал:

— Я ждал, что вы придете в среду.

Остров свирепо усмехнулся и сказал:

— Зачем же в среду, если можно и во вторник? Или уж очень трудно с денежками расставаться? Обуржуазились, Георгий Сергеевич?

Триродов, казалось, вдруг вспомнил что-то. Улыбаясь слегка насмешливо, он говорил:

— Извините, пожалуйста, Денис Алексеевич. Я думал, что вы придете завтра, как было условлено. Я еще не приготовил для вас деньги.

Острову стало досадно. Его широкоскулое лицо потемнело. Глаза его стали свирепо-красны. Он сказал сердито:

— Вы сказали мне прийти через неделю, — я через неделю и пришел. Мне сорок раз ходить некогда. У меня и другие дела есть. Обещали дать денег, — и давайте. Как ни жалко, а надо раскошелиться.

С каждым словом он все более и более свирепел и наконец застучал дюжим кулаком по стоявшему перед ним белому круглому столику на тонких ножках. Триродов спокойно сказал:

— Сегодня у нас вторник. Стало быть, неделя еще не прошла.

Остров грубо возражал:

— Как так не прошла! Я у вас во вторник и был. Что ж вы, неделю в восемь дней считаете, на французский лад? Так это мне не с руки.

Триродов так же спокойно ответил:

— Вы были у меня в среду. Вот потому я сегодня и не приготовил вам денег.

Остров не мог понять, в чем дело. Он с недоумением посмотрел на Триродова и досадливо сказал:

— Не приготовили! Что их готовить! Вынули из несгораемого шкапа, отсчитали и отдали — вот и вся процедура. Не великие капиталы — сущие пустяки.

Триродов спокойно возразил:

— Ну как для кого. Для меня это вовсе не пустяки.

Остров с грубым хохотом крикнул:

— Нечего бедниться! Подумаешь, сирота казанская! Так мы вам и поверили.

Триродов встал, внимательно и строго посмотрел прямо в глаза Острова и сказал решительно:

— Одним словом, сегодня я не могу дать вам этих денег. Потрудитесь прийти ко мне завтра, приблизительно в такое же время.

Остров нехотя поднялся со стула. У него было такое ощущение, словно кто-то поднял его за шиворот и сейчас поведет насильно к выходу. Остров сказал грубо:

— Только не думайте, что и завтра проведете меня за нос. Я не таковский, чтобы меня завтраками кормить.

Его маленькие глазки засверкали от злости. Широкие челюсти свирепо дрожали. А ноги словно сами собою несли его к выходной двери.

Триродов спокойно ответил ему:

— Нет, я не думаю вас обманывать. Завтра вы получите деньги.

Остров пришел на другой день, опять в тот же час вечером. Теперь его провели в кабинет Триродова. Остров спросил грубо:

— Ну что же, сегодня-то будут деньги? Или опять будем ломать комедь?

Триродов достал из ящика письменного стола приготовленную пачку кредитных билетов, подал ее Острову и сказал:

— Пожалуйста, пересчитайте деньги. Здесь две тысячи.

Остров свистнул и угрюмо сказал:

— Этого мало. Я просил у вас гораздо больше.

Триродов сказал решительно:

— Больше не дам. Этого вам очень хватит.

Глупо ухмыляясь, Остров попросил:

— Может быть, прибавите хоть малость.

— Не могу, — холодно сказал Триродов.

Остров сказал угрожающим тоном:

— С этими деньгами я не смогу отсюда уехать.

Триродов нахмурился и строго посмотрел на Острова. Какие-то новые соображения пришли ему в голову, и он сказал:

— Это не будет для вас лучше. Пожалуй, оставайтесь, но каждый ваш здешний поступок будет мне известен.

— Ну ладно, уеду, — с глупою усмешкою сказал Остров.

Он взял деньги, пересчитал их старательно, спрятал в засаленный карман сюртука и уже встал было, чтобы уходить. Триродов сказал ему:

— Посидите. Поговорим.

В то же время откуда-то из темного угла вышел тихий мальчик в белой одежде. Он стал за креслом Триродова и смотрел на Острова. Его черные широкие глаза на бледном лице наводили на Острова жуткий страх. Остров мешковато опустился в кресло у письменного стола. Голова его закружилась. Потом странное чувство безразличия и покорности охватило его. На лице его изображалась тупая готовность сделать все, что прикажет кто-то сильный, вдруг овладевший его волею. Триродов внимательно посмотрел на Острова и сказал:

— Ну, рассказывайте. Вот вы сами мне сообщите сведения о том, что вы здесь делаете и в чем вы здесь участвуете. Многого сделать вы не успели, но кое-что узнали. Говорите.

Остров как-то глупо хихикнул, дернулся, как на пружинке, и сказал:

— Хорошо-с. Совершенно бесплатно расскажу вам кое-что весьма интересное.

Триродов, не спуская с лица Острова тяжелого, пристального взора, повторил:

— Говорите.

Тихий мальчик не отводил от глаз Острова упорно-вопрошающего взора.

— Знаете, кто убил полицеймейстера? — спросил Остров.

Триродов молчал. Остров говорил, все так же бессмысленно хихикая и подергиваясь всем телом:

— Убил и ушел. Скрылся, пользуясь замешательством окружающих и темнотою, как об этом выражаются в газетах. Полиция его не поймала и до сих пор, и начальство не знает, кто он.

— А вы знаете? — холодным, размеренным тоном спросил Триродов.

— Знаю, да вам не скажу, — злобно сказал Остров.

— Скажете, — решительно сказал Триродов.

И еще решительнее, громким и повелительным голосом сказал:

— Говорите, кто убил полицеймейстера!

Остров отвалился на спинку кресла. Красное лицо Острова покрылось серым налетом бледности. Налившиеся кровью глаза его полузакрылись, как у брошенной полулежа куклы с заводом в животе. Остров сказал вяло, как неживой:

— Полтинин.

— Вам друг? — спросил Триродов. — Ну, дальше говорите.

Остров говорил так же вяло:

— Вот теперь его ищут.

Триродов продолжал спрашивать:

— Зачем Полтинин убил полицеймейстера?

Остров глупо хихикнул и говорил:

— Тончайшая политика! Так, значит, надо. А для чего, этого я вам не скажу. При всем желании не могу. Сам не знаю. Только догадываться осмеливаюсь. А что же могут значить наши догадки?

— Да, — сказал Триродов, — вы этого, пожалуй, и не можете знать. Дальше рассказывайте.

— Теперь это самое дело, — говорил Остров, — для нас очень доходная статья. Прямо — статья в бюджете.

— Почему? — спросил Триродов.

На лице его не было заметно удивления. Остров говорил:

— Есть у нас такой теплый человек, Поцелуйчиков.

— Вор? — коротко спросил Триродов.

Остров усмехнулся почти сознательно и говорил:

— Вор не вор, а плохо не клади. Человек строгий на этот счет.

Глаза Острова приняли откровенно-наглое выражение. Триродов спросил:

— Какое же у него отношение к этой вашей статье дохода?

Остров объяснил:

— А мы его посылаем к местным богатеям.

— Шантажировать? — спросил Триродов.

Остров с полною готовностью отвечал:

— Вот именно. Приходит он, скажем, к толстосуму. Имею, говорит, к вам дело по секрету, большого лично для вас интереса. Оставшись же с негоциантом наедине, говорит — пожалуйте пятьсот рублей. Тот, известно, на дыбы, — как это так? за что такая прокламация? А так-с, говорит, за то за самое. Иначе, говорит, вашего сынка-первенца в тюрьму засажу, ибо могу доказать. Что ваш сынок-первенец имеет касательство к убиению доблестного полицеймейстера.

— Дают? — спросил Триродов.

— Кто дает, кто выпроваживает, — отвечал Остров.

Триродов сказал презрительно:

— Милая компания! Что же вы еще замышляете?

С тем же безвольным послушанием Остров рассказал Триродову, что в их компании замыслили украсть чудотворную икону из соседнего монастыря, сжечь ее, а драгоценные камни, которыми она осыпана, продать. Дело это трудное, потому что икону берегут. Но друзья Острова рассчитывают воспользоваться одним из летних праздников, когда монахи, проводивши именитых богомольцев, подопьют изрядно. Таким образом, на приготовления к этой краже у воров остается больше месяца; это время они намерены использовать на то, чтобы втереться в дружбу к монахам и хорошенько ознакомиться с обстановкою.

Триродов молча выслушал все это, потом сказал Острову:

— Забудьте, что вы мне все это рассказывали. Прощайте.

Остров встрепенулся. Он казался точно вдруг проснувшимся. Не понимая причин своего тягостного смущения, он неловко распрощался и ушел.

Триродов думал, что необходимо предупредить здешнего епархиального епископа о готовящейся краже чудотворной иконы.

Епископ Пелагий жил в том же монастыре, где хранилась чтимая народом икона Божией Матери. В том же монастыре покоились мощи святого старца. К этим святыням на поклонение шли с разных концов России. Поэтому монастырь считался богатым.

Триродов долго думал о том, каким способом известить епископа Пелагия о замышленной краже. Сделать это посредством безыменного письма Триродову было противно. Сказать об этом епископу лично или написать от себя было бы лучше. Но тогда явился бы вопрос, откуда сам Триродов узнал об этом замысле. Ведь может случиться, что его самого заподозрит кто-нибудь в соучастии с преступниками. И без того здешние горожане смотрели на Триродова косо.

Страшно ему было опять впутываться в темную историю. Уже досадовал он на себя за это странное любопытство, которое заставило его расспрашивать о чужих делах Острова. Лучше было бы совсем не знать о преступном замысле. Промолчать же о готовящейся краже Триродов не видел никаких оснований. Он думал, что темные стороны монашеской жизни не могут оправдать злого дела, замышленного товарищами Острова. Притом же последствия этого дела могли быть очень опасны.

Триродов наконец решился ехать в монастырь. «На месте, — думал он, — виднее будет, как осведомить епископа». Но эта поездка была ему так неприятна, что он долго откладывал ее.

## Глава восемнадцатая

Триродов понял, что он полюбил Елисавету. Он знал это чувство — сладкую и мучительную влюбленность. Опять оно пришло и снова расцветило ярко весь мир. А на что он, этот мир, широкий и вечно недоступный, полный воспоминаниями о пережитом, — о пережитых? Но полюбить ее, полюбить Елисавету, — это и значит — полюбить и принять мир, весь мир.

Смущало Триродова это чувство. К недоумениям прошлого, еще не сбытого с плеч, — и настоящего, начатого по странному наитию и

еще не взвешенного, — присоединялось недоумение будущего, новой и неожиданной связи. И самая любовь — не средство ли осуществлять мечты?

Вначале Триродов хотел задавить в себе эту новую влюбленность и забыть Елисавету. Он пытался удалиться от Рамеевых, не бывать у них, — но с каждым днем все более влюблялся. Все неотступнее становились думы и мечтания о Елисавете. Они сплетались, срастались со всем содержанием души. Все чаще вычерчивались карандашом на бумаге то ее строгий профиль, разнеженный юным восторгом освобождения, то ее простой наряд, то быстрый очерк ее плеча и шеи, то узел ее широкого пояса.

Опять и опять жестокая возникала надежда — задавить, раздавить нежный цвет сладкой влюбленности. И вот уже несколько дней Триродов не показывался к Рамеевым. Даже в те дни, когда его по привычке, быстро установившейся, ждали.

Это казалось Елисавете преднамеренным невниманием и обижало ее. Но она продолжала защищать его каждый раз, когда Петр его бранил. Она вызывала все чаще воображением его черты, — глубокий, наблюдающий взор, ироническую, надменную усмешку, бледное лицо, гладко выбритое, как у актера, и такое холодное, точно маска. Так сладко и горько она влюблялась, мерцанием синих глаз сладкую выдавая мечту.

Рамеев заметно скучал о том, что долго не видит Триродова. Он привык к нему очень скоро. Ему приятно было поговорить с Триродовым, иногда поспорить. Раза два заходил он к Триродову и не заставал. Рамеев несколько раз писал приглашения. В ответ приходили вежливые, но уклончивые письма с выражением сожаления о невозможности прийти.

Однажды вечером Рамеев ворчал на Петра:

— Из-за твоей грубости человек перестал бывать.

Петр ответил резко:

— А и пусть не бывает, я очень рад.

Рамеев строго посмотрел на него и сказал:

— Да я не рад. Один интересный человек в этой глуши, да и того мы отпугнем.

Петр извинился. Ему стало неловко. Он один вышел из дому, так, без цели, только бы уйти от своих.

Вечерняя заря горела долго, мучительно не хотела умирать, точно это был последний день, и наконец погасла. Синее, — сладостно-синее, — стало все небо. Только на северо-западе край его прозрачно зеленел. Сквозь высокую синеву дрожали тихие звезды. Луна, давно бледно белевшая в светлой прозрачности, поднялась желтая и ясная. На земле стало почти совсем темно. На берегу реки было прохладно, — после жаркого дня. Пахло гарью лесного пожара, но и этот запах в мглистой прохладе вечера смягчал свою противную, злую горечь. У невысокой, темной плотины купалась зеленоволосая, зеленоглазая русалка, и плескалась хрупкозвучною волною, и в лад плеску струй смеялась звонко.

Петр шел тихо по прибрежной аллее и думал об Елисавете, грустно и лениво думал, — вернее, вспоминал, — вернее, мечтал, — вернее, безвольно отдавался грустной игре нервных сплетений в мозгу. Тихое безмолвие вечера, столь родное ему, говорило ему без слов, но внятно, что строй его души слишком тих и слаб для Елисаветы, такой сильной, прямой и простой.

В нем была маленькая дерзость, — и не было великих дерзновений. Он только верил в Христа, в Антихриста, в свою любовь, в ее равнодушие, он только верил! Он только искал истины и не мог творить, — ни Бога из небытия вызвать, ни диавола из диалектических схем, ни побеждающей любви из случайных волнений, ни побеждающей ненависти из упрямых «нет». И он любил Елисавету! Любил давно, любовью ревнивою и бессильною.

Любил! Какая грусть! Весенняя истома, и радость утренней прохлады, — далекий звон, — слезы на глазах, — и она улыбнется, — пройдет, — милая! Какая грусть! Такое все темное в мире, — и любовь, и равнодушие.

Вдруг совсем близко Петр увидел Триродова. Триродов шел прямо на Петра, словно не видел его; он двигался как-то механически и быстро, как кукла, движимая точно рассчитанным заводом. Шляпа в опущенной руке, — лицо побледнелое, — дикий взор, — глаза

горящие. Слышались отрывистые слова. Он шел так стремительно, что Петр не успел посторониться. Они сошлись лицом к лицу, почти столкнулись.

Триродов вдруг очнулся и увидел, что он не один. На его лице изобразился испуг. Петр неловко посторонился. Триродов быстро подошел к нему, пристально всмотрелся и быстро повернулся спиною к лунному свету. Невольно подчиняясь его движению, за ним повернулся и Петр. Теперь луна глядела прямо на красивое лицо Петра, и в холодных, неживых лучах оно казалось бледным и странным.

Триродов заговорил вздрагивающим, смятенным голосом:

— А, это вы?

— Как видите, — насмешливо сказал Петр.

Триродов продолжал:

— Не ожидал вас встретить здесь. Я принял вас...

Он не кончил. Петр спросил досадливо:

— За кого?

Не отвечая ему, Триродов спрашивал:

— А где же?.. Здесь никого нет. Вы не слышали?

Петр отвечал с досадою:

— Я не так воспитан, чтобы подслушивать. Тем более отрывки поэзии, для меня недоступной.

— Подслушивать! Кто говорит об этом! — живо ответил Триродов. — Нет, я думал, что вы услышали невольно слова, которые показались вам странными, загадочными или страшными.

— Я здесь случайно, — сказал Петр, — иду и не занимаюсь подслушиваньем.

Триродов внимательно посмотрел на Петра, вздохнул, наклонил голову и сказал тихо:

— Простите. У меня так нервы расстроены. Я привык жить среди моих фантазий и в мирном обществе моих тихих детей. Люблю таиться.

— Откуда взялись ваши тихие дети? — спросил Петр, усмехаясь досадливо.

Словно не расслышав, Триродов продолжал:

— Простите, пожалуйста. Я слишком часто принимаю за действительность то, что живет только в моем воображении. Может быть, всегда. Я живу, влюбленный в мои мечты.

В этих словах и в звуке их была такая неизъяснимая грусть, что Петр почувствовал невольную жалость к Триродову. Ненависть его как-то странно поблекла, как поблекнет луна при восходящем солнце.

Триродов говорил тихо и печально:

— У меня так много странностей и диких привычек. Я напрасно прихожу к людям. Лучше мне быть одному с моими невинными тихими детьми, с моими тайнами и снами.

— Почему лучше? — спросил Петр.

— Иногда я чувствую, что люди мешают мне, — говорил Триродов. — Докучают и они сами, и дела их, маленькие, обычные. И что они мне? Одно есть несомненное — только «я». Тяжелое бремя быть с людьми. Они дают мне так мало и за это выпивают всю мою душу, жадные, злые. Как часто уходил я из их общества измученный, униженный, растоптанный. О, какой мне праздник — одиночество, сладкое одиночество! Хотя бы вдвоем.

— Однако все-таки вдвоем! — с внезапною злостью ответил Петр.

Триродов посмотрел на него пристально и сказал:

— Жизнь трагична. Беспощадною силою иронии разрушает она все иллюзии. Вы знаете, конечно, что душа Елисаветы — трагична, и надо большое дерзновение, чтобы приблизиться к ней и сказать ей великое «да» жизни. Да, Елисавета...

Дрожа от ревнивой ярости, вскрикнул Петр:

— Елисавета! А! Почему вы говорите об Елисавете?

Триродов пристально смотрел на Петра. Он спросил медленно, — и так странно-звучен был его голос:

— Вы не боитесь?

— Чего же мне бояться? — угрюмо отвечал Петр. — Я вовсе не трагичный человек. Мой путь мне ясен, и я знаю, кто ведет меня.

— Вы этого не знаете,— возразил Триродов. — Впрочем, Елена мила. Кто боится взять страшное и великое, кто любит сладкие мелодии, для того Елена.

Петр молчал. Какие-то новые — чужие? — мысли роились в его голове. Он прислушивался к ним и вдруг сказал:

— Вы у нас давно не были. А в нашем доме вас так любят. Вас ничем не стеснят. Приходите, когда хотите, молчите или говорите, как вам вздумается.

Триродов молча улыбнулся.

Петр Матов вернулся домой поздно и в смутном настроении. Все уже сидели за ужином. Елисавета взглянула на него так, словно ожидала увидеть другого.

— Опоздал, — смущенно сказал Петр, — забрел далеко, сам не знаю как.

Он сам не понимал, чем смущен. Едва узнал Елисавету, одетую мальчиком, в матросской куртке и коротких панталонах. Она сидела такая стройная и улыбалась рассеянно равнодушною улыбкою.

Елена, краснея почему-то, молча подвинулась, — и какая-то странная робость была в ее движении, — робкое желание. Повинуясь ее желанию, Петр сел рядом с нею. Она смотрела на него ласково, любовно. Ее взоры трогали его. Он думал: «Отчего я не люблю Елену? Или ее только я и люблю? Не странная ли ошибка вялой воли затмила мои глаза?»

Он говорил с нею ласково и нежно, и смотрел на нее, и загорался жаждою новой влюбленности. Словно дивною властью внушил ему кто-то странный там, у речной прохлады, эту новую любовь. Еленино сердце билось от восторга.

## Глава девятнадцатая

После этого вечера Триродов опять стал бывать у Рамеевых, преодолевая свою любовь к тихим одиночествам. Уже не противился он этому неодолимому влечению видеть Елисавету, всматриваться в глубину ее синих глаз, вслушиваться в золотые звоны ее сладких слов, чувствовать дыхание и обаяние ее первоначальной свежей силы. Так весело было смотреть на ее простую одежду, на доверчи-

вую открытость плеч, на легкий загар ее ног, на строгий очерк ее лица.

При Триродове солнечно-желтая Елисаветина глубина претворялась в голубую бездонную высь. Елисавета любила все сильнее и хотела любить, хотела преодолеть несносные преграды.

Рамеев смотрел на Елисавету и Триродова и горел странною, стариковскою радостью. Точно думал: «Вот поженятся, наплодят мне внуков».

Уже определились часы, когда Триродова ждали. Он и Елисавета часто оставались одни. Так сближало их это отъединение вместе от людей, от далеких и от близких. Они уходили куда-нибудь в запущенную глубину сада, под раскидистую сеть светлых осокорей, где нежною горечью благоухал тмин, — и там говорили подолгу.

Точно сам с собою был с Елисаветою Триродов — так просто и откровенно говорил. Так о многом они говорили, точно им надо было весь мир вместить в тесный очерк быстрых слов.

Проходя высоким берегом реки, под широкими тенями могучих осокорей и странных черноkленов, внимая веселому чириканию гомозящихся в прибрежных кустах птиц, говорила Елисавета:

— Сладостны ощущения бытия, полнота жизни и восторга. Точно раскрылось надо мною новое небо, и первый раз цветут на земле фиалки и ландыши, орошенные первою росою, и первый раз милые хозяйки из душистой чаполоти делают майский напиток.

Улыбался печально Триродов и говорил:

— Чувствую великую тягость жизни. Но что сделать? Не знаю, каков удел, где жизнь легка и успокоена.

— А зачем успокоенность и легкость жизни? — возражала Елисавета.— Хочу огня и страсти. Пусть погибну. Сгорю в огне восстания и восторга, — пусть!

— Да, — сказал Триродов, — какие-то в себе самом открыть надо возможности и силы, и тогда будет новая твориться жизнь. Нужна ли она?

— А что надо? — спросила Елисавета.

— Не знаю, — печально отвечал Триродов.

— Чего же вы хотите? — опять спрашивала она.

— Может быть, ничего не хочу, — говорил Триродов. — Кажется, ничего не жду от жизни. И то, что делаю, делаю так, словно тягостный совершаю подвиг.

— Как же вы живете? — дивясь, спросила Елисавета.

Он говорил:

— Я живу в странном и неверном мире. Живу, — а жизнь проходит мимо, мимо меня. Женская любовь, юношеская пылкость, волнение молодых надежд — все это остается навеки в запрещенной области несбывшихся возможностей. Несбыточных, может быть.

Тяжким стуком отсчитывались в Елисаветином сердце темные, пламенные миги молчания. Темная томила досада на эти грустные слова о слабости и унынии, — и не верила она им. А Триродов говорил, словно дразня ее красивою, но бессильною печалью:

— Много труда, мало отрады. Проходит жизнь, как сон, безумный и мучительный.

— О, только бы яркий! только бы он был буйный! — восклицала Елисавета.

Триродов улыбался и говорил:

— Приближаются минуты пробуждения. Приходит старость, тоска томит. И пустая, и бесцельная влачится жизнь к каким-то неведомым пределам. Спрашиваешь сам себя, без надежды найти достойный ответ: зачем живу в этом странном и случайном обличии? Зачем избрал я эту долю? Зачем я это сделал?

— Но чья же вина? — спросила Елисавета.

Триродов отвечал:

— Сознание, созревшее до вселенской полноты, говорит, что вся вина — моя вина.

— И всякий подвиг, — мой подвиг, — сказала Елисавета.

— Так невозможен подвиг! — говорил Триродов. — Невозможно чудо. Хочу и не могу вырваться из оков этого плоского существования.

Елисавета сказала:

— Вы говорите о любви, как о несбыточном для вас. Но у вас была жена.

Грустно говорил Триродов:

— Была. Краткие промчались миги. Была любовь? Не знаю. Страсть, угар — и смерть.

— И опять будет сладостное в жизни, — уверенно сказала Елисавета.

И отвечал ей Триродов:

— Да, иная будет жизнь, но что мне? Быть иным, простым, — ребенком, мальчиком с босыми ногами, с удочкою в руках, с простодушно разинутым ртом. Живут, на самом деле живут, только дети. Им завидую мучительно. Мучительно завидую простым, совсем простым, далеким от этих безотрадных постижений разума. Живы дети, только дети. Зрелость — это уже начало смерти.

— Полюбить — умереть? — улыбаясь, спросила Елисавета.

Она прислушалась к звуку красивых и печальных слов, и повторяла тихо, и слушала тихие слова:

— Полюбить — умереть!

И вслушалась, и его услышала слова:

— Полюбила, — умерла.

Елисавета спросила тихо:

— Как звали вашу первую жену?

И удивилась, — зачем сказала — первую, — одна же была. И, медленно краснея, порозовела вся.

Триродов задумался, не слышал, молчал. Елисавета не повторила вопроса. Вдруг он улыбнулся и сказал:

— Вот и мы с вами чувствуем себя живыми людьми, и что для нас может быть более несомненным, чем наша жизнь, наше ощущение жизни? А может быть, мы с вами — вовсе не живые люди, а только действующие лица романа, и автор этого романа совсем не стеснен заботою о внешнем правдоподобии. Свое прихотливое воображение он преобразил в эту темную землю и из этой темной, грешной земли вырастил эти странные черноклены, и эти могучие осокори, и этих чирикающих в кустах, и нас.

Елисавета смотрела на него с удивлением; потом, улыбаясь, она сказала:

— Я надеюсь, что роман будет интересен и красив. Пусть бы хоть смертью он кончился! А вы сами, скажите, почему вы так мало пишете?

С неожиданною страстностью, почти с раздражением, отвечал Триродов:

— Зачем я стану писать целые томы, пересказывая истории о том, как они полюбили, как они разлюбили, и все это? Я пишу только то, что могу сказать сам от себя, что еще не было сказано. А сказано уже многое. Лучше прибавить свое одно слово, чем писать томы ненужностей.

— Вечные темы, всегда одно и то же, — говорила Елисавета, — разве не они составляют содержание великого искусства?

— Мы никогда не начинаем, — сказал Триродов. — Мы являемся в мир с готовым наследием. Мы — вечные продолжатели. Потому мы не свободны. Мы видим мир чужими глазами, глазами мертвых. Но живу я, только пока делаю все моим.

В эти часы их уединенных бесед Петр забирался куда-нибудь на вышку. Он спускался оттуда иногда с покрасневшими глазами, — от слез или от буйного ветра вершин. Томительно влеклись его дни. Ненависть к Триродову и ревность приступами иногда вновь начинали мучить его.

Петр иногда делал Елисавете неприятные, жалкие сцены. Он любил и ненавидел ее. Убил бы, — но где же ему было убить! Да и ненавидеть до конца он не был в силах, — ни Елисавету, ни Триродова.

Он ближе узнавал Триродова, — и ненависть уже теряла прежнюю остроту, не жгла крапивою злости, как прежде. Он с любопытством всматривался и начинал понимать. Томления бессознательной злости сменялись ясным созерцанием разделяющей пропасти. И от этого еще больше усиливалась тоска.

Он решился уехать; решался, — и раздумывал, и оставался опять; тосковал, метался.

Миша, так тот совсем влюбился в Триродова. Он полюбил оставаться с Елисаветою, чтобы наговориться о нем.

Однажды вечером Петр приехал к Триродову. Так ему не хотелось ехать, такие противоположные в душе боролись чувства! Но по соображениям условной вежливости надобно было.

Опять заспорили: по мнению Петра, религия и культура терпят ущерб от революции. Скучный, ненужный спор! Но Петр не мог удержаться от злых слов против крайностей «освободительного движения».

Он все время чувствовал себя неловко. Хотелось держать что-то в руках, что-то делать. Беспокойство какое-то странно томило. То брал, то выпускал из рук разные мелочи со стола. Взял в руки призму. Триродов вздрогнул. Тихо и невнятно сказал что-то. Петр не расслышал, смотрел с удивлением и неловко повертывал в руках тяжелую призму, удивляясь ее странной тяжести. Триродов нервно вздрагивал. Петр, неловко поворачивая призму, стукнул ею о край стола. Триродов вздрогнул, крикнул что-то невнятно, выхватил призму из рук Петра и взволнованным голосом сказал:

— Оставьте это.

Петр с удивлением смотрел на Триродова. Досада его вырастала. Триродов был, видимо, смущен. Петр, принужденно улыбаясь, спросил:

— Что же это?

— Как вам сказать! — говорил Триродов. — С этим связано... Пожалуйста, извините мою резкость. Мне показалось, что вы уроните эту вещь, а мне не хотелось бы... Это кажется капризом... И, в сущности, это, конечно, совершенно пустое... Так, с этим связано одно очень далекое воспоминание. Право, не понимаю сам, зачем я держу на своем столе эти вовсе не красивые вещи. Но есть воспоминания столь интимные... Вы понимаете... Но мне, право, очень жаль...

Петр слушал в недоумении. Вдруг он догадался, что невежливо молчать так долго, и заговорил, сам почему-то смущаясь:

— Пожалуйста, не беспокойтесь. Я очень хорошо понимаю, что есть вещи... Если вам тяжело или неприятно об этом говорить, то, пожалуйста...

Триродов несвязно и смущенно сказал еще несколько слов: извинялся, благодарил. С облегчением вздохнул он, увидев входящего Щемилова.

Петр перенес свое раздражение на вновь пришедшего и спросил иронически:

— Опять на свободе? Надолго ли?

— Латата задал, — спокойно ответил Щемилов. — Перешел на нелегальное положение.

Петр скоро ушел.

— Сегодня? — спросил Щемилов. — Здесь?

— Да, соберемся, — ответил Триродов. — Он еще не уехал, и есть важные дела и новости. Кое-что надо организовать, кое-что распространить.

— Удобный у вас дом, — сказал Щемилов. — Можно побаловаться? — спросил он, показывая на ящик с сигарами и усаживаясь поуютнее на широком диване. — Удобный, — повторил он, закуривая сигару. — Пока еще не догадываются, а если пожалуют, то все эти входы, и выходы, и закоулки... Очень удобно. И хранить — это не то что у меня в сундучке.

## Глава двадцатая

В городе было неспокойно: готовились забастовки, происходили патриотические манифестации. В окрестностях города ходили какие-то темные люди и разбрасывали по деревням прокламации, очень безграмотные. Эти прокламации угрожали поджогами, если не станут крестьяне бунтовать. Поджигать будут «студенты», уволенные с фабрик за забастовки. Крестьяне верили. В иных деревнях по ночам они ставили караульщиков, ловить поджигателей.

Стал играть заметную роль в городе Остров. Деньги, взятые у Триродова, он быстро промотал и пропил. Опять идти к Триродову он пока не смел, но на что-то рассчитывал и оставался в городе.

Здесь Остров встретил своего старинного приятеля Якова Полтинина.

Кербах и Жербенев выписали из столицы Якова Полтинина и еще двух черносотенцев. Показная цель выписки этой была — установить связь недавно основанного ими и генеральшею Конопацкою местного отдела всероссийского черносотенного союза с центральными организациями. Цель же, которая подразумевалась, но о которой эти почтенные люди не говорили даже друг другу иначе как намеками, была та, чтобы с помощью этих троих устроить здесь патриотический подвиг, — попросту разгром интеллигенции.

Яков Полтинин ввел Острова в семьи патриотов. В городе была компания темных людей, на все готовых. Яков Полтинин ввел Острова и в эту компанию.

В этой-то компании, во время дружеской попойки на квартире у Якова Полтинина, в грязном домишке на окраине города, зародилась мысль украсть чтимую икону из монастыря. Полтинин говорил:

— Драгоценных камней на ней страсть сколько, — бриллианты, яхонты, рубины. Сотнями лет богатство копилось. Матушка-Россия православная усердствовала.

Вор Поцелуйчиков поддакивал ему:

— Никак не меньше, как на два миллиона.

— Ну, приврал, — возражал недоверчиво Остров.

Яков Полтинин с видом знающего говорил:

— Ничего не приврал. Бедно-бедно, на два миллиона, а то и на все три будет.

— А где сбыть? — спросил Остров.

Яков Полтинин уверенно говорил:

— Да я знаю. Дадут пустяки сравнительно, а все-таки с полмиллиона заработаем.

Посыпались кощунственные шутки.

Яков Полтинин давно уже таил мысль устроить нечто грандиозное, от чего заварилась бы каша. Убийство полицеймейстера произвело, правда, сильное впечатление. Но все ж таки это не было нечто столь значительное, как Якову Полтинину хотелось бы. Украсть и уничтожить чудотворную икону — вот это настоящее дело! Яков Полтинин говорил:

— Непременно на социалистов-революционеров подумают. Экспроприация в партийных целях, не без того. Нас никто и подозревать не станет.

— Попам большой подрыв будет, — твердил Молин, бывший учитель, испьянствовавшийся, проворовавшийся, посидевший в тюрьме и лишенный прав.

Друзья стали готовиться к замышленной краже. То один из них, то другой то и дело наведывались в монастырь.

Остров, хотя и сильно пьянствовал, но повадился ходить в монастырь гораздо чаще своих товарищей. В монастыре охотно принимали Острова. Старшим, начальствующим монахам он угодил своею внешнею богомольностью. В монастыре было много пьянствовавших монахов, — и тем был приятен Остров. Монахи склоняли Острова поступить в здешний черносотенный союз. Говорили, что это — дело, угодное Богу. Вели с Островым елейные и патриотические разговоры, и пили, и поили.

Полтинина и Поцелуйчикова тоже недурно принимали в монастыре.

Странные нити отношений ткутся иногда между людьми. Хотя Петр Матов встретил Острова недружелюбно, но Остров сумел завязать знакомство и с ним. Дошло до того, что однажды Петр даже сговорился ехать в монастырь вместе с Островым.

Большим влиянием в городе пользовалась богатая вдова генерала Глафира Павловна Конопацкая, энергичная и властолюбивая дама. Она была самою щедрою жертвовательницею на разные черносотенные предприятия. За ее щедрость ее выбрали председательницею местного губернского отдела всероссийского черносотенного союза. В доме Глафиры Павловны происходили собрания здешнего черносотенного отдела, а также и другого тайного сообщества, которое носило пышное название союза активной борьбы с революциею и анархиею.

Обряд записи в члены союза обставлялся большою торжественностью. Особенно старались привлекать рабочих. Каждому

новому члену выдавался значок, браунинг, немного денег. Усиленно поили водкою.

Про дом Глафиры Павловны местные патриоты говорили:

— Здесь русский дух, здесь Русью пахнет!

После собраний здесь пахло водкою и махоркою. Этот дух усердно выводили, открывая окна летом и усиленно топя печки зимою.

Некоторые из рабочих записывались в эти союзы из корысти, другие по незнанию. Убежденных черносотенцев в рабочей среде было мало. В союз активной борьбы проникли люди, служившие нашим и вашим, вроде Якова Полтинина, а также два-три убежденные революционера. Они брали браунинги и передавали их членам революционных организаций. В союзе заметили это очень поздно.

В гостеприимном, уютном доме Глафиры Павловны наиболее частыми гостями были Кербах и Жербенев. Злые языки даже злословили, сплетая генеральшино имя то с именем Кербаха, то с именем Жербенева. Но это была неправда. Сердце генеральши было занято одним только молоденьким чиновником для особых поручений при губернаторе.

Однажды после обеда у Конопацкой Кербах и Жербенев рассказывали Глафире Павловне об Острове. Начал Кербах. Он сказал:

— Есть у меня, Глафира Павловна, на примете человечек, на которого я хотел бы обратить ваше внимание.

— И у меня есть теплый парень, — сказал Жербенев.

Кербах говорил, не очень дружелюбно посмотревши на перебившего его Жербенева:

— Мой мне поначалу очень не понравился.

Но Жербенев не унимался.

— Да и мне мой тоже не слишком приглянулся вначале, — сказал он.

— С виду он точно разбойник, — сказал Кербах.

Жербенев не отставал.

— Слово в слово, и мой такой же, — объявил он как что-то радостное и приятное.

Кербах говорил:

— Но сердцем он простодушный ребенок и горячий патриот.

— Вот, вот, и мой такой же, — вторил Жербенев.

Глафира Павловна мило улыбалась им обоим.

Раздосадованный Кербах наконец спросил:

— Да вы о ком говорите?

Жербенев ответил:

— Да тут есть такой, как его? Еще мы с вами его как-то раз на пристани встретили. Помните, еще он о Триродове что-то рассказывал.

— Остров? — догадался Кербах.

— Он самый, — сказал Жербенев.

— И я об нем же говорю, — сказал Кербах.

— И отлично! — воскликнул Жербенев. — В одно слово. Так вот, Глафира Павловна, его бы залучить в наш союз. Преполезный человек. О жидовье слышать спокойно не может, — так и зарычит, как пес цепной.

Глафира Павловна решила:

— Конечно, привлечь. Такие люди нам очень нужны.

Так у Острова завязались связи с этим союзом. Остров для него много хлопотал.

Одним из главных занятий черносотенного союза были доносы. Донесли губернатору и попечителю учебного округа о том, что воспитанники Триродова были на похоронах убитых в лесу рабочих.

Колония, основанная Триродовым, давно уже смущала и соблазняла горожан. Доносы бывали и раньше. Теперь Остров сообщил для доноса много сведений, преимущественно измышленных или им самим, или досужими горожанами. Попечитель прислал директору народных училищ приказание расследовать. Губернатор принял свои меры. Так над колониею Триродова сбирались тучи.

Немало стараний прилагал союз и к тому, чтобы возбудить невежественную часть населения против евреев и «интеллигенции».

Настроение в городе было тревожное. Казаки часто попадались на улицах. Рабочие смотрели на них враждебно. Кто-то распускал

слухи, что в городе готовится вооруженное восстание. Из-за ничтожных поводов возникали страшные столкновения.

Однажды вечером в Летнем саду собрались гулять, слушать музыку и куплеты с открытой сцены. Опять вечер был тих и ал. Мимо ограды влеклась серая по ветру пыль, оседая на острых листочках акаций в саду и на светло-лиловых мелких загадках около дороги. Закатное было за нею, за серою влекомою по ветру пылью, розовое и алое небо, — и сочетание серых и алых давало очень приятные для глаза переливы красок.

Большой, красный джинн разломал сосуд с Соломоновою печатью, освободился и стоял за городом, смеясь беззвучно, но противно. Дыхание его было гарью лесного пожара. Но он сентиментально кривлялся, рвал белые лепестки гигантских маргариток и хрипло шептал голосом, волнующим кровь юных:

— Любит, — не любит, — изрубит, — повесит.

Люди не видели его, смотрели на небо и говорили:

— Как прекрасно! Я очень люблю природу! А вы любите природу?

Другие смотрели равнодушно и думали, что все равно. Любители природы хвастались перед ними тем, что любуются на восхитительный закат, тем, что умеют наслаждаться природою. Говорили другим:

— Вы, батенька, сухарь. Вам бы только к зеленому полю поскорее.

Гулянье было, и влеклись люди по сорным дорожкам, в тесноте и толкотне. Очень радовались тому, что им весело. Веселый был гомон, и хихикали девочки, и смешили их гимназисты и чиновнички. В толпе сновали серые чертенята, — а когда шутики-жутики вскакивали к барышням на плечики и засовывали под корсаж за рубашку мохнатые щекочущие лапки, барышни взвизгивали. Они были наряжены красиво и легко, по-праздничному. Очерк их высоких грудей под цветными тонкими тканями дразнил юношей.

На гулянье был казачий офицер. Он подпил, раскраснелся, развеселился, расхвастался:

— Будем резать всех, всех резать!

Купчики угощали, целовали его и кричали ему:

— Режь, сделай милость, режь хорошенечко. Так им, анафемам, и надо. А бабам и девкам сыпь, сыпь горячее.

Увеселения сменялись одно другим, одно другого веселее и глупее, — то в театре, то на открытой сцене: сыграли глупый, но скабрезный водевиль, — пели злободневные куплеты (гром аплодисментов), — визжала шансонетная певица-расторопша, дергала голыми, чрезмерно набеленными плечьми и подмигивала слишком подведенными глазами, — акробатка танцевала на руках, подняв затянутые в розовое трико ноги над головою. Все было так, как будто бы и не было в городе охраны и не разъезжали по улицам казаки.

Вдруг крикнул кто-то в глубине сада.

Темное смятение разлилось в толпе. Многие стремительно бросились к выходу. Иные прыгали через забор. Вдруг от выходных ворот толпа с неистовыми воплями метнулась назад, в глубину сада.

Откуда-то прискакали казаки и, зычно крича, мчались по аллеям сада. Они так скоро явились, точно ждали где-то призыва. Заработали их быстрые плети. Разрывались тонкие ткани на девичьих спинах, и оголялось нежное тело, и красивые, синие и красные на розово-белом цветы-скороспелки, ложились пятна ударов. Капли крови, крупные, как брусника, брызгали в воздух, напоенный вечерними прохладами, и запахом листвы, и ароматами духов. Свирельно-тонкие, звонкие вопли боли вторили тупому, плоскому хлестанию плетей по телам.

Метались, бежали кто куда. Некоторые захватывали лохматых юношей и стриженых девиц. Избили и захватили по ошибке двух-трех барышень из самых мирных и даже почтенных в городе семей. Потом их выпустили.

В пивной, грязной и вонючей, пировали хулиганы. Они радовались чему-то, бренчали деньгами, говорили о будущих получках и весело хохотали. Особенно шумно-весело было за одним столиком. Там сидел знаменитый в городе озорник Нил Красавцев со своими тремя

приятелями. Они пили, пели хулиганские частушки, потом расплатились и вышли. Слышны были дикие их речи:

— Парх бунтует, против царя идет.

— Все забрать себе жиды хотят.

— Хоть бы жидовку зарезать!

— Жидам вся земля перейдет.

Уже темнело. Хулиганы пошли по главной улице города, Сретенке. Было тихо, и только редкие попадались прохожие, да кое-где у калитки стояли, говорили. У ворот своего дома еврейка-вдова сидела, разговаривая с соседом, евреем-портным. Ее дети целою толпою, мал мала меньше, здесь же гомозились и быстро стрекотали о своем.

Нил подошел к еврейке и крикнул:

— Пархатая, молись Богу за царя православного!

— Ну и что тебе надо! — закричала еврейка. — Я тебя не трогаю, и ты себе иди дальше.

— А, так-то! — завопил хулиган.

Широкий нож, блестя в вечерней мгле, поднялся в широко размахнувшейся руке и вонзился в старую. Она быстро и тонко взвыла, — опрокинулась, — умерла. Еврей в ужасе убежал, оглашая ночной воздух жалкими воплями. Дети завыли. Хулиганы с хохотом ушли.

## Глава двадцать первая

Длился зенитный час. Было тихо, невинно, свежо в глубине леса, на берегу оврага, — и внешний зной змеею обессиленною, лишенною яда, только редкими извивами чешуйчатого тела забирался сюда.

Триродов нашел это место для себя и для Елисаветы. Уже не раз приходили они сюда вдвоем — почитать, поговорить, посидеть у обомшалого камня, на котором странным телесным призраком выросла тонкая, зыбкая, кривая рябинка. У этого обомшалого камня, высокая и стройная, так прекрасна была Елисавета, в ее простом коротком платье, с обнаженными, загорелыми руками, с загорелыми стопами дивных ног.

Елисавета читала вслух — стихи. Такой золотой звенел ее голос, змеиными и солнечно-звонкими звуками. Триродов слушал с улыбкою, слегка ироническою, эти хорошо знакомые, бесконечно-милые, глубокие слова, — столь невнятные для жизни.

Она кончила, и сказал Триродов:

— Целой человеческой жизни едва достаточно для того, чтобы продумать как следует одну только мысль.

— Так мы должны избрать каждый для себя одну только мысль? — спросила Елисавета.

— Да, — сказал Триродов. — Когда люди поймут это, человеческое знание сделает такие быстрые успехи, каких еще не видано. Но мы так боимся.

А уже за их спинами близкое таилось злое вторжение грубой жизни. Вдруг Елисавета слабо вскрикнула от неожиданности безобразного появления. Тихо переступая по мшистой земле, к ним подошел грубый, грязный, оборванный человек, — тихо, как лесная фея. Он протянул грязную, корявую руку и сказал вовсе не просительным голосом:

— Дайте, господа, бедному человеку на хлеб.

Триродов досадливо нахмурился и, не глядя на попрошайку, вынул из маленького кармана своей тужурки серебряную монету. В его кармане всегда запасена была мелочь, — на случай неожиданных встреч. Оборванец усмехнулся, повертел монету, подбросил ее, ловко спрятал в карман и сказал:

— Покорнейше благодарю ваше сиятельное благородие. Дай вам Бог доброго здоровья, богатую жену и в делах верного успеха. Только я вам вот что скажу.

Он замолчал и смотрел с миною важною и значительною. Триродов нахмурился еще сильнее и спросил угрюмо:

— Что же вы хотите мне сказать?

Оборванец сказал явно издевающимся голосом:

— А вот что. Книжку вы читали, милые господа, да не ту.

Он засмеялся жалким, наглым смехом. Точно трусливая собака залаяла хрипло, нагло и боязливо.

Триродов переспросил с удивлением:

— Не ту? Почему это?

Оборванец говорил, делая нелепые жесты, и казалось, что он может говорить хорошо и красиво, но притворяется нарочно неотесанным и глупым:

— Слушал я вас долго. Тут за кустиком. Спал, признаться, — да вы пришли. Залопотали, разбудили. Хорошо читала барышня. Внятно и жалостно. Сразу видно, что от души. А только не нравится мне содержание, а также все прочее в этой книжке.

— Почему не нравится? — спокойно спросила Елисавета.

— По-моему, — говорил оборванец, — не тот фасон, какой вам требуется. Не к лицу вам все это.

— Какую же нам надо книгу читать? — спросила Елисавета.

Она слегка улыбалась, словно нехотя. Оборванец присел на один из ближних пней и отвечал неторопливо:

— Да не вам одним только, почтенные господа, а всем вообще, которые в щиблетах лакированных да в атласных платьях щеголяют да на нашу братью поплевывают.

— Какую же книгу? — опять спросила Елисавета.

— Вы Евангелие почитайте, — сказал оборванец.

Он внимательно и строго посмотрел на Елисавету, — всю ее фигуру обвел внимательным взором, от зарумянившегося лица до ног.

— Зачем Евангелие? — спросил Триродов.

Он вдруг стал очень угрюм. Казалось, соображал что-то, и не решался, и томительна была нерешимость. Оборванец отвечал неторопливо:

— А вот затем, что узнаете все очень верно. Мы в раю будем посиживать, а из вас черти в аду жилы тянуть станут. А мы будем на это прохладно смотреть да в ладошки весело хлопать. Занятно будет.

Оборванец захохотал хрипло и громко, но не радостно, точно притворно. Хохот его казался гнусным, ползучим. Елисавета вздрогнула. Она сказала укоризненно:

— Какой вы злой! Зачем вы это?

Оборванец сердито глянул на нее, всмотрелся в ее синие, глубокие глаза, потом опять широко улыбнулся и сказал:

— Что там злой! Вы небось добрые? Злой не злой, — надо быть справедливым. Только я тебя, барин, люблю, — обратился он вдруг к Триродову.

Триродов усмехнулся легонько и сказал:

— Спасибо на добром слове, а только за что вам любить меня?

Он смотрел внимательно на оборванца. Вдруг ему стало страшно и тоскливо, и он опустил глаза. Оборванец не спеша закурил вонючую трубку, затянулся, помолчал и заговорил опять:

— У других господ хари все больше веселые, точно они тебе сейчас только блин со сметаною стрескали или дядюшкино завещание благополучно подделали. А у тебя, барин, завсегда рожа постная. Уж это я за тобою давно приметил. Видно, что-нибудь есть у тебя на душе. Не без того что уголовщинка.

Триродов молчал. Он приподнялся на локте и смотрел прямо в глаза оборванца, пристально, со странным выражением немигающих, повелевающих, упорных глаз.

Оборванец замолчал, точно застыл на минуту. Потом он вдруг заторопился, точно испугался чего-то. Ежась и горбясь, он снял свою шапчонку, обнажая нечесаную, лохматую голову, забормотал что-то, шмыгнул в кусты и скрылся тихо, — как лесная фея.

Триродов мрачно смотрел вслед за ним взором, завораживающим лесные тихие тайны. Он молчал. Казалось Елисавете, что он намеренно не смотрит на нее. Елисавета была страшно смущена. Но, делая над собою быстрое усилие, она засмеялась и сказала притворно весело:

— Какой странный!

Триродов перевел на нее печальные взоры. Он тихо сказал:

— Говорит, точно знает. Говорит, точно видит. Но никто не может знать того, что было.

Ах, если бы знать! Если бы можно было изменить то, что было!

Опять припоминалась Триродову в эти дни темная история с отцом Петра Матова. В эту историю Триродов неосторожно впутал-

ся, и она теперь заставляла его считаться с шантажистом Островым.

Отец Петра, Дмитрий Матов, попался в сети, которые он сам расставлял для других. Дмитрий Матов втерся в тайный революционный кружок. Там скоро узнали как-то о его сношениях с полициею и решили его уличить и убить.

Один из членов кружка, молодой врач Луницын, взял на себя роль изменника. Он обещал Дмитрию Матову, что вручит ему важные документы, уличающие многих. Сторговались за не очень крупную сумму. Место свидания для обмена этих документов на деньги назначили в небольшом местечке вблизи того города, где жил тогда Триродов.

В назначенный час Дмитрий Матов вышел из вагона железной дороги на той станции, где условлена была встреча. Был поздний вечер. Дмитрий Матов был в синих очках, с привязанною бородою, — так условились. Луницын ждал его за несколько шагов от станции и провел в дом, нарочно для этого нанятый в очень уединенной местности.

Там уже был приготовлен ужин. Дмитрий Матов ел с удовольствием и пил много вина. Его собеседник фантазировал что-то о будто бы готовящихся покушениях. Матов мало-помалу разоткровенничался и принялся хвастливо рассказывать о своих связях с полициею и о том, как уже многих и как ловко он выдал.

Дверь в соседнюю комнату была задрапирована обоями. В этой комнате таились трое, Триродов, Остров и молодой рабочий Кровлин. Они подслушивали. Кровлин был сильно взволнован и возмущен. Он вполголоса повторял с негодованием:

— Ах, негодяй! Какой мерзавец!

Остров и Триродов кое-как унимали его. Говорили:

— Молчите. Пусть он все выболтает.

Наконец наглость Дмитрия Матова вывела Кровлина из терпения. Он выбежал из своей засады и закричал:

— Так вот как! Ты выдаешь наших полиции! Сам сознаешься!

Дмитрий Матов позеленел от испуга. Он закричал своему собеседнику:

— Убейте его! Он нас подслушивал. Стреляйте скорее. Его нельзя оставить. Он нас обоих выдаст.

В это время вышли еще двое. Луницын, направив револьвер прямо в лоб Дмитрию Матову, спросил:

— Кого же убивать, предатель?

Понял тогда Дмитрий Матов, что он попался. Но он еще попытался вывернуться, призвав на помощь всю свою ловкость и все свое нахальство. Дмитрия Матова уличали в предательстве. Он сначала оправдывался. Говорил, что он только обманывал полицию, что он вошел с полицейскими в сношения, чтобы узнавать полезные для товарищей сведения. Но лживые слова его тускнели быстро. Тогда он стал умолять о пощаде. Говорил что-то о жене своей, о детях.

Мольбы Дмитрия Матова никого здесь не тронули. Судившие его были непреклонны. Участь Дмитрия Матова была решена. Приговор вынесен был единогласно — повесить.

Дмитрия Матова связали. Уже на шею его накинута была веревка. Тогда Триродов спросил:

— Куда же вы денете его? Вывезти трудно, а оставить опасно.

Луницын сказал:

— Кто сюда придет! Разве случайно. Пусть висит, пока не найдут.

Кровлин сказал угрюмо:

— Зароем тут же в саду, как собаку.

— Отдайте его мне, — сказал Триродов. — Я уберу его тело так, что никто его не найдет.

Остальные охотно согласились. Остров сказал, улыбаясь нахально:

— Химию свою в ход пустите, Георгий Сергеевич? Ну да нам все равно. Только бы казнить вредного человечка, а вы из него хоть скелет себе сделайте.

Триродов достал из своего кармана флакон с бесцветною жидкостью.

— Вот, — сказал он, — этим снадобьем мы его усыпим.

Он впустил тонким шприцем несколько капель жидкости под кожу Дмитрию Матову. Матов слабо вскрикнул и тяжело свалился на пол.

Через минуту перед ними лежало бездыханное, посиневшее тело. Луницын осмотрел Дмитрия Матова и решил:

— Готов.

Один за другим ушли трое. Только Триродов остался с телом Дмитрия Матова. Триродов снял одежду с Матова и сжег ее в печке. Сделал Матову еще несколько впрыскиваний тою же бесцветною жидкостью.

Медленно влеклись долгие ночные часы. Триродов лежал, не раздеваясь, на диване. Плохо спал, томимый тяжелыми снами. Часто просыпался.

В соседней комнате на полу лежал Дмитрий Матов. Жидкость, введенная в его кровь, производила странное действие. Тело равномерно сжималось и высыхало очень быстро. Через несколько часов уже оно потеряло больше половины веса, приняло очень небольшие размеры и сделалось очень мягким и гибким. Но все его пропорции были совершенно сохранены.

Триродов запаковал это тело в большой пакет, завернул пледом и перетянул ремнями. Похоже было на то, что это завернутые в плед подушки. С утренним поездом Триродов уехал домой, увозя с собою тело Дмитрия Матова.

Дома Триродов положил тело Матова в сосуд с зеленоватою жидкостью. Состав этой жидкости был изобретен им самим. В этой жидкости тело Дмитрия Матова еще более сжалось. Оно уже стало длиною не более четверти аршина. Но по-прежнему все его отношения остались ненарушенными.

Потом Триродов изготовил особое пластическое вещество. Облек этим веществом тело Дмитрия Матова. Плотно спрессовал его в форме куба. Поставил этот куб на своем письменном столе. И стоял так бывший человеком и ставший вещью, стоял вещью среди других вещей.

Но все-таки Триродов был прав, когда говорил Острову, что Матов не убит. Да, несмотря на свою странную для человека форму и на свою тягостную неподвижность, Дмитрий Матов не был мертв. Потенция жизни дремала в этой коричневой массе. Триродов не раз уже

думал о том, не настала ли пора восстановить Дмитрия Матова и вернуть его в мир живых.

До сих пор он еще не решался сделать это. Не был уверен, что удастся сделать это без помехи. Для процесса восстановления необходимо было помещение, совершенно изолированное и спокойное, и время немного более года.

В начале этого лета Триродов решился начать процесс восстановления. Он приготовил большой чан, длиною в три аршина. Наполнил его бесцветной жидкостью. Опустил в эту жидкость куб со сжатым телом Дмитрия Матова.

Медленный процесс восстановления начался. Незаметно для глаза стал таять и разбухать куб. Не раньше как через полгода истает он настолько, что будет просвечивать тело.

## Глава двадцать вторая

Соня Светилович была потрясена жестокими, грубыми событиями той ужасной ночи. Она заболела. Недели две пролежала она в беспамятстве. Боялись, что она умрет. Но она была девочка сильная и одолела свою болезнь.

В тяжелом горячечном бреду носились перед бедною девочкою картины кошмарной ночи. Приходили к ней серые, лютые демоны с тусклыми оловянными глазами, свирепо издевались над нею и безумствовали. Некуда было спастись от их гнусного неистовства.

В семье у Светиловичей царило подавленное настроение. Сонина мать плакала, сморкалась и негодовала. Сонин отец много, горячо и красноречиво говорил у себя дома, красиво жестикулировал в своем кабинете при своих друзьях и возмущался. Сонины маленькие братья строили планы мщения. Бонна Сониной младшей сестры, фрейлейн Берта, порицала варварскую Россию.

Возмущались и все знакомые Светиловичей. Но возмущение их принимало только платонические формы. Иных, может быть, оно и не могло принять. Конечно, все более или менее независимые в городе

люди сделали Светиловичам визиты соболезнования. Пришел даже либеральный податной инспектор. Он лечился у доктора Светиловича и посетил его в приемный час, — выразил свое участие, кстати, посоветовался относительно своих недомоганий, но гонорара не заплатил, — ведь это же был визит соболезнования.

Сонин отец, доктор медицины Сергей Львович Светилович, принадлежал к конституционно-демократической партии. Среди своих он считался самым левым. Так же, как и друг его Рамеев, — кадет более умеренных взглядов, — он был членом местного комитета партии.

Доктор Светилович, конечно, не мог спустить полиции ее неправильных действий. Он пожаловался на полицию губернатору и прокурору, написал тому и другому обстоятельные прошения. При этом он более всего заботился о том, чтобы в его прошении не вкралось какнибудь оскорбительных для кого-нибудь выражений.

Доктор Светилович был человек в высшей степени корректный и лояльный. Пусть все другие люди вокруг него в чрезвычайных обстоятельствах растеряются и забывают свои принципы; пусть все вокруг, свои и чужие, друзья и враги, поступают неправильно и незаконно, — доктор Светилович всегда оставался верен себе. Никакие обстоятельства, никакие силы, земные и небесные, не могли бы отвратить его от того пути, который он признавал, в соответствии с разделяемыми им конституционно-демократическими основоположениями, единственно правильным. Вопрос о целесообразности поведения занимал доктора Светиловича весьма слабо. Было бы только принципиально-правильно. А что из этого выйдет, это он возлагал на ответственность тех, кто хотел вести иную линию. Поэтому доктор Светилович пользовался чрезвычайным уважением в среде своей партии. Мнениям его придавался большой вес, и в вопросах тактики отзывы его были непререкаемы.

Через несколько дней после подачи прошений доктором Светиловичем в его квартиру явился полицейский пристав. Он вручил доктору Светиловичу под расписку серый шершавый листок с оттиснутым в левом верхнем углу штемпелем Скородожского губернского прав-

ления и пакет от прокурора. В пакете был вложен согнутый вчетверо белый плотный лист с красиво напечатанным бланком прокурора. И на шершавом сером листке, и на плотном белом бланке излагались, приблизительно в одинаковых выражениях, ответы на жалобы доктора Светиловича. В этих ответах уведомляли доктора Светиловича, что по предмету его жалоб произведено обстоятельное расследование; далее говорилось, что основательность указаний доктора Светиловича на якобы незакономерные действия чинов полиции и на то, что задержанные в лесу девицы были подвергнуты побоям, не подтвердилась.

Наконец Соня поправилась. Домашние и знакомые старались не упоминать при Соне о прискорбных событиях той ночи. Разговор при ней заводили о другом, о чем-нибудь безразличном и приятном, чтобы развлечь бедную девушку. С этою же целью позвали однажды вечером гостей. Кому послали письма, к кому зашел сам доктор Светилович. Проехался он в своей пролетке на паре сытых лошадок и к Рамеевым, и к Триродову.

Приглашая Триродова, доктор Светилович просил его прочесть из своих сочинений что-нибудь такое, что не навело бы Соню на неприятные воспоминания. Триродов на этот раз охотно согласился, хотя избегал читать где-нибудь свои сочинения.

Когда Триродов, собираясь вечером уходить из дому, выбирал цветной галстук, Кирша сказал ему со своею обычною серьезностью:

— Ты бы не ездил сегодня к Светиловичам. Остался бы лучше дома.

Триродов, нисколько не удивленный этим неожиданным советом, улыбнулся и спросил:

— Почему же не ездить?

Кирша держал его за руку и говорил тоскливо:

— Тут нынче вокруг нашей усадьбы все сыщики шныряют. Чего им здесь надо! А к Светиловичу сегодня, наверное, с обыском придут, — уж я это чувствую.

Триродов усмехнулся и сказал:

— Не беда. Мы ко всему этому привыкли. А ты, милый Кирша, уж слишком любопытен, — всегда заглядываешь, куда не надобно.

Кирша говорил невесело:

— Глаза мои видят, и уши мои слышат, — разве я в этом виноват!

В приятной, нарядной гостиной Светиловичей, в неживом свете трех матовых шариков электрических ламп бронзовой люстры казалась мечтательно-красивою зеленовато-голубая обивка мебели ампир. Блестели черные изгибы звучного рояля. Лежали альбомы на столике под длинными листами латаний. Портрет старика с длинными белыми усами улыбался молодо и весело со стены над диваном. В этой милой и как будто бы ничем не омраченной обстановке собрались гости. Говорили много, горячо и красиво.

Собрались преимущественно местные кадеты. Были здесь три врача, молодой инженер, два присяжные поверенные, редактор местного прогрессивного листка, мировой судья, нотариус, три учителя гимназии, священник. Почти все пришли с дамами и с девицами. Было еще несколько студентов, курсисток и подростков из старших классов гимназии.

Молодой священник, Николай Матвеевич Закрасин, сочувствовавший кадетам, давал уроки в школе Триродова. Среди своих собратьев, священников, он слыл большим вольнодумцем. Городское духовенство смотрело на него косо. Да и епархиальный архиерей к нему не благоволил.

Отец Закрасин кончил духовную академию. Он недурно говорил, писал что-то, сотрудничал не только в духовных, но даже и в светских журналах. У него были вьющиеся, густые, недлинные волосы. Серые глаза его улыбались ласково и весело. Его священническая одежда всегда казалась новою и нарядною. Его манеры были сдержанны и мягки. Совсем не похожий на обыкновенного русского попа, отец Закрасин казался скорее католическим прелатом, отрастившим бороду и надевшим золотой наперсный крест. В квартире отца Закрасина было светло, нарядно и весело. По стенам висели гравюры, изображавшие события из священной истории. В кабинете в нескольких

шкапах было много книг. По выбору их было видно, что круг интересов отца Закрасина весьма обширен. Вообще же во всем любил он несомненное, убедительное и рациональное.

Его жена, Сусанна Кирилловна, очень благообразная, полная, спокойная и совершенно уверенная в правоте кадетов дама, сидела теперь неподвижно на диване в гостиной Светиловичей и изрекала истины. Она, несмотря на свои конституционно-демократические убеждения, была настоящая попадья, хозяйственная, говорливая и боязливая.

Сестра священника Закрасина, Ирина Матвеевна, или, как все ее называли, Иринушка, распропагандированная попадьею епархиалка, молоденькая, розовенькая и тоненькая, была очень похожа на брата. Она кипятилась так часто и так сильно, что старшие постоянно унимали ее, ласково посмеиваясь над ее молодым задором.

Был Рамеев с обеими дочерьми, братья Матовы и мисс Гаррисон. Был и Триродов.

Было почти весело. Разговаривали кто о политике, кто о литературе, кто о местных новостях, кто о чем. Сонина мать сидела в гостиной и говорила о женском равноправии и о сочинениях Кнута Гамсуна. Сонина мать очень любила этого писателя и любила рассказывать о своей встрече с ним за границею. На ее столе стоял портрет Кнута Гамсуна с его подписью, предмет большой гордости всей семьи Светиловичей.

У чайного стола в соседней с гостиной маленькой комнате, которую называли буфетною, Соня, окруженная веселою молодежью, разливала чай. В кабинете Сонина отца говорили о том, что возле, в деревнях вокруг города, стало неспокойно. Были поджоги помещичьих усадеб и экономий. Было несколько случаев разгрома хлебных амбаров у деревенских кулаков, скупающих хлеб.

Сонину мать попросили сыграть что-нибудь. Она поотказывалась недолго, но потом с видимым удовольствием подошла к роялю и сыграла пьесу Грига. Потом за рояль сел нотариус. Под его аккомпанемент распропагандированная попадьею епархиалка Иринушка, смущенно краснея, но с большим выражением спела новую народную песенку:

Полюбила я студента
Из далекого Ташкента,
Вышла замуж за него, —
Пировало все село.

Сладку водочку все пили,
Дружно речи говорили,
Как бы барам досадить,
Землю нам переделить.

Зыкнул, рыкнул и ввалился
Вдруг урядник к нам в избу.
— Я на остров Соколиный
Тебя с мужем упеку.

— Ну, милашка, собирайся,
Поскорее одевайся
За хорошие дела
Ждет милашечку тюрьма.

Я ничуть не испугалась,
Даже с мужем не прощалась.
Заступились мужики,
Выгнали его в толчки.

Эта песня была как иллюстрация к разговорам о деревенских настроениях. Она имела большой успех. Иринушку за нее хвалили и благодарили. Иринушка краснела и жалела, что не знает еще другой какой-нибудь песни в том же роде.

Потом Триродов читал свою новеллу о прекрасной и свободной влюбленности. Читал просто и спокойно, не так, как читают актеры. Прочел — и в холодной принужденности похвал почувствовал, как он чужд всем этим людям. Опять, как часто, шевельнулась в душе та же мысль, — зачем иду к этим людям.

«Так мало общего между ними и мною», — думал Триродов. И только утешили улыбка и слово Елисаветы.

Потом танцевали. Играли в карты. Как всегда, как везде.

## Глава двадцать третья

Уже не ждали больше никого. В столовой накрывали к ужину. Вдруг раздался резкий, настойчивый звонок. В переднюю торопливо пробежала горничная. Кто-то в гостиной сказал с удивлением:

— Поздний гость.

Всем стало почему-то жутко. Ждали каких-то страхов, — что вот вдруг вломятся разбойники, что принесут телеграмму с мрачным содержанием, что придет кто-нибудь, запыхавшийся и усталый, и скажет ужасную весть. Но вслух говорили совсем о другом. Дамы соображали:

— Кто же бы это мог быть так поздно?

— Да кто же другой может быть, как не Петр Иваныч!

— Да, он таки любит опоздать.

— Помните, у Тарановых?

Петр Иванович откликнулся, подходя:

— Что вы, Марья Николаевна! Я давно уже здесь.

Марья Николаевна сконфуженно говорила:

— Ах, извините. Так кто же это?

— А вот сейчас узнаем. Будем посмотреть.

Любопытный инженер выглянул было в переднюю и наткнулся на кого-то в серой шинели, стремительно идущего в гостиную. В тихом ужасе сказал кто-то:

— Полиция.

Когда горничная открыла на звонок дверь, в переднюю, теснясь и неловко толкаясь, ввалилась толпа чужих людей — городовые, дворники, жандармы, сыщики, полицейский пристав, жандармский офицер, двое околоточных. Горничная обомлела от страха. Пристав прикрикнул на нее:

— Пошла в кухню!

На дворе оставался отряд городовых и дворников под командою околоточного надзирателя. Они наблюдали, чтобы никто не мог войти или выйти из квартиры Светиловичей.

В квартиру вошло городовых десятка два. Все они были вооружены зачем-то винтовками с примкнутыми штыками. За городовыми жались

три человека гнусной наружности, в штатском. Это были сыщики. У входной двери стали двое городовых. Другие двое подбежали к телефону, — он висел тут же в передней. Видно было, что роли распределены заранее опытным в таких делах режиссером. Остальные толпою ввалились в гостиную. Полицейский пристав вытянул шею и, краснея напряженным лицом с вытаращенными глазами, закричал очень громко:

— Ни с места!

И самодовольно оглянулся на жандармского офицера.

Женщины и мужчины остолбенели на своих местах, словно изображая живую картину. Молчали и смотрели на вошедших.

Городовые, неловко держа ружья наперевес, топоча по паркету неуклюжими сапожищами, ринулись по комнатам. Они установились у всех дверей, смотрели на господ испуганно и сердито, неловко сжимали стволы винтовок и старались казаться похожими на настоящих солдат. Видно было, что эти усердные люди готовы стрелять в кого попало при первом же подозрительном движении: думали, что здесь собрались бунтовщики.

Все комнаты наводнились чужими людьми. Запахло махоркою, потом и водкою. Идя на обыск, многие выпили для храбрости: боялись вооруженного сопротивления.

Жандарм положил на рояль в гостиной объемистый портфель своего полковника. Жандармский полковник, выдвинувшись на середину комнаты, так что свет люстры почти прямо сверху падал на его крутой лысеющий лоб и на его русые пушистые усы, официальным тоном произнес:

— Где хозяин этой квартиры?

Он напряженно притворялся, что не узнает ни доктора Светиловича, ни других. А сам почти со всеми здесь был знаком. Доктор Светилович подошел к нему.

— Я — хозяин этой квартиры, доктор Светилович, — сказал он таким же официальным тоном.

Полковник в голубом мундире холодно сказал:

— Объявляю вам, господин Светилович, что я должен произвести обыск в вашей квартире.

Доктор Светилович спросил:

— Кто же вас на это уполномочил? И где у вас ордер на производство обыска?

Жандармский полковник повернулся к роялю, порылся в своем портфеле, но ничего оттуда не вынул и сказал:

— Предписание у меня, конечно, есть, не извольте беспокоиться. В случае сомнения можете спросить по телефону.

Повернувшись к полицейскому приставу, полковник сказал:

— Потрудитесь собрать всех остальных в одну комнату.

Всех, кроме самого доктора Светиловича, заставили перейти в столовую. В столовой было теперь тесно и неловко. У обеих дверей, — из передней и из гостиной, — и в каждом углу стояли вооруженные городовые. Их лица были тупы, и вооружение их было ненужно и нелепо в этой мирной обстановке, — но от этого положение гостей было еще неприятнее.

Сыщик время от времени выглядывал из двери в гостиную. Он всматривался в лица. На его гнусном, белобрысом лице было такое выражение, точно он нюхает воздух.

В гостиной жандармский полковник говорил доктору Светиловичу:

— А теперь потрудитесь сказать мне, господин Светилович, с какою целью вы устроили у себя это собрание.

Доктор Светилович с ироническою улыбкою отвечал:

— С целью потанцевать и поужинать, больше ничего. Кажется, вы сами видите, что здесь все мирный народ.

Полковник говорил отрывистым, грубоватым тоном:

— Хорошо-с. Известны вам имена и фамилии всех, собравшихся здесь с указанною вами целью?

Доктор Светилович с удивлением пожал плечьми и сказал:

— Конечно, известны! Как же мне не знать моих гостей! Я думаю, и вы многих из них знаете.

Полковник попросил:

— Будьте любезны назвать мне всех ваших гостей.

Он вынул из портфеля лист бумаги и положил его на рояль. Доктор Светилович называл имена гостей, полковник их записы-

вал. Когда доктор Светилович замолчал, полковник спросил лаконично:

— Все?

Доктор Светилович так же коротко отвечал:

— Все.

— Покажите ваш кабинет, — сказал полковник.

Вошли в кабинет и все там перерыли. Перерыли библиотеку, письменный стол. Интересовались письмами. Полковник требовал:

— Откройте шкапы, ящики.

Доктор Светилович отвечал:

— Ключи, как видите, на месте, в замках.

Он заложил руки в карман и стоял у окна.

— Потрудитесь сами открыть, — сказал полковник.

Доктор Светилович возразил:

— Не могу. Я не считаю себя обязанным помогать вам в производстве обысков.

Гордость наполняла его кадетскую душу. Он чувствовал, что ведет себя корректно и доблестно. Ну что ж! — непрошеные гости и сами все открыли, и везде шарили. Околоточный отбирал книги, которые казались подозрительными. Отобрали несколько книг, которые были напечатаны в России открыто и так же открыто продавались. Брали книги совершенно невинного содержания только потому, что в их названиях чудилось что-то крамольное.

Жандармский полковник объявил:

— Переписку и рукописи возьмем.

Доктор Светилович сказал досадливо:

— Уверяю вас, здесь нет ничего преступного. А рукописи мне очень нужны для работ.

— Рассмотрим, — сухо сказал полковник. — Не беспокойтесь, все будет в сохранности.

Потом перерыли все другие комнаты. Рылись даже в постелях, — нет ли оружия.

Вернувшись в кабинет, жандармский полковник сказал доктору Светиловичу:

— Ну-с, теперь потрудитесь показать нам бумаги стачечного комитета.

— Таких бумаг у меня нет, — возразил доктор Светилович.

Полковник сказал очень значительно:

— Так-с! Ну-с, господин Светилович, скажите нам прямо, где у вас спрятано оружие.

— Какое оружие? — с удивлением спросил доктор Светилович.

Полковник отвечал с ироническою усмешкою:

— Всякое, какое у вас есть, — револьверы, бомбы, пулеметы.

Доктор Светилович засмеялся и сказал:

— Никакого оружия у меня нет. Я даже с ружьем не охочусь, — какое у меня может быть оружие!

— Поищем, — многозначительно сказал полковник.

Перерыли весь дом. Конечно, не нашли никакого оружия.

В это время в столовой Триродов читал стихи, свои и чужие. Городовые тупо слушали. Они ничего не понимали, ждали, не раздадутся ли крамольные слова, но таких слов не дождались.

Полицейский пристав вышел в столовую. Все опасливо смотрели на него. Он сказал торжественно, словно возвещая начало полезного и важного дела:

— Господа, теперь мы должны подвергнуть всех присутствующих личному обыску. Пожалуйста, по одному. Вот вы пожалуйте, — обратился он к инженеру.

На лице полицейского пристава изображалось сознание собственного достоинства. Движения его были уверенны и значительны. Было очевидно, что он не только не стыдится того, что говорит и делает, но даже не понимает, что этого следует стыдиться. Инженер, молодой и красивый, пожал плечами, усмехнулся презрительно и пошел в кабинет, куда показывал нескладным движением громадной ручищи с красною ладонью становой пристав.

Попадья и в столовой нашла себе кресло. Но от этого ей не было лучше. Усаживаясь в своем кресле, она дрожала, как слабый студень. Побледневшими губами шептала она распропагандированной епархиалке:

— Иринушка, голубушка, нас ведь обыскивать будут.

Епархиалка Иринушка, тоненькая, свеженькая и красная, как только что вымытая морковка, от испуга двигала ушами, — способность, которой до слез и до ссор завидовали ее подруги, — и что-то шептала попадье.

Околоточный свирепо взглянул на попадью и на епархиалку и прокричал резким, слегка простуженным, похожим на петуший крик голосом:

— Покорнейше прошу вас не шептаться здесь.

Городовые с ружьями насторожились. Они мигом вспотели от усердия. Попадья и епархиалка помертвели от страха. Но епархиалка сейчас же и забыла свой страх, и начала кипятиться. Может быть, даже тем сильнее закипятилась, чем больше была только что испугана. Слезинки блеснули на ее глазах. На лбу и на щеках выступили маленькие капельки пота. Так покраснело лицо, что уже не на морковку, а на мокрую свеклу стала похожа рассерженная девушка. Одна в этой комнате свежо и молодо негодующая, вся занявшаяся темным пламенем гнева, воистину прекрасная в своем простодушном раздражении, она закричала:

— Вот новости! Шептаться нельзя! Что ж, вы боитесь, что мы на вас нашепчем, испортим вас?

Но в это время все кадеты, их женщины и девушки, сидевшие вокруг стола и около стен, в ужасе повернули головы к епархиалке и все вместе зашипели на нее. Они бы замахали на нее руками, кто-нибудь из них зажал бы ей рот, — но никто из них не смел пошевелиться. Они сидели неподвижно, смотрели на епархиалку круглыми от страха глазами и шипели.

Испугалась епархиалочка и замолчала. Только шип был слышен в столовой. Даже городовые заулыбались дружному шипению кадет и кадеток.

Когда отшипели кадеты и кадетки, Иринушка сказала почти спокойно:

— Мы же ничего преступного не шептали. Я только сказала про вас, господин околоточный, что вы — очаровательный брюнет.

Увидев, что сестры Рамеевы смеются, Иринушка обратилась к Елисавете.

— Правда, Веточка, — спросила она, — господин околоточный — очаровательный брюнет?

Околоточный покраснел. Он не мог понять, смеется над ним эта раскрасневшаяся девушка или говорит правду. На всякий случай он нахмурился, молодцевато закрутил свои черные усики и воскликнул:

— Покорнейше прошу не выражаться!

Потом, дома, Иринушку много упрекали и бранили за ее нетактичный, по определению священника Закрасина, поступок. Особенно сильно сердилась попадья. Даже поплакала не раз бедная Иринушка.

Но это было потом. А теперь полицейский пристав и жандармский полковник уселись в кабинете доктора Светиловича, приглашали туда гостей по одному, выворачивали у них карманы и забирали для чего-то письма, записки, записные книжки.

Рамеев был добродушно-спокоен. Посмеивался. Триродов пытался быть спокойным и был резок более, чем это ему хотелось. Женщин обыскивали в спальне. Для обыскивания женщин привели бабу-городовиху. Она была грязная, хитрая и льстивая. Прикосновение ее шарящих рук было противно. Елисавета при обыске чувствовала себя словно запачканною городовихиными лапами. Елена холодела от страха и отвращения.

Обысканных уже не пускали в столовую. Их выпроваживали в гостиную. Почти все обысканные были очень горды этим. У них был вид именинников.

Никого не арестовали. Принялись составлять протокол. Триродов тихо заговорил с жандармом. Жандарм шепотом ответил ему:

— Нам нельзя разговаривать. За нами подлецы шпионы следят, чтобы с кем вольным не говорил. Сейчас донесут.

— Плохо ваше дело! — сказал Триродов.

Полицейский пристав прочитал вслух протокол. Подписал его доктор Светилович, пристав и понятые.

Потом непрошеные гости ушли. А хозяева и гости званые сели ужинать.

Оказалось, что все заготовленное пиво выпито. У кого-то из гостей пропала шапка. Он очень волновался. И все много говорили об этой шапке.

На другой день в городе было много разговоров об обыске у Светиловичей, о выпитом пиве, и особенно много о пропавшей шапке.

О пиве и о шапке немало говорилось и в газетах. Одна столичная газета посвятила украденной шапке очень горячую статью. Автор статьи делал очень широкие обобщения. Спрашивал: «Не одна ли это из тех шапок, которыми собрались мы закидать внешнего врага? И не вся ли Россия ищет теперь пропавшую свою шапку и не может утешиться?»

О выпитом пиве писали и говорили меньше. Это почему-то казалось не столь обидным. Ставя, по нашей общей привычке, существо выше формы, находили, что похищение шапки заслуживает больше протеста, ибо без шапки обойтись труднее, чем без пива.

## Глава двадцать четвертая

Один, как прежде! Вспоминал, милые вызывал в памяти черты.

Альбом, — портрет за портретом, — нагая, прекрасная, зовущая к любови, к страстным наслаждениям. Эта ли белая грудь, задыхаясь, замрет? Эти ли ясные очи померкнут?

Умерла.

Триродов закрыл альбом. Долго он сидел один. Вдруг возникли и все усиливались тревожные шорохи за стеною, словно весь дом был наполнен тревогою тихих детей. Тихо стукнул кто-то в дверь, и вошел Кирша, очень испуганный. Он сказал:

— Поедем в лес, поскорее, миленький.

Триродов молча смотрел на него. Кирша говорил:

— Там что-то страшное. Там, у оврага за родником.

Елисаветины синие очи тихим вспыхнули огнем, а где же она? Что же с нею? И в темную область страха упало сердце.

Кирша торопил. Он чуть не плакал от волнения.

Поехали верхом. Спешили. Жутко боялись опоздать.

Опять был лес, тихий, темный, внимательно слушающий что-то. Елисавета шла одна, спокойная, синеокая, простая в своей простой одежде, такая сложная в стройной сложности глубоких переживаний. Она задумалась, — то вспоминала, то мечтала. Мерцали синие очи мечтами. Мечты о счастье и о любви, о тесноте объятий, с иною сплетались любовью, великою любовью, и раскалялись обе одна другою в сладкой жажде подвига и жертвы.

И о чем ни вспоминалось! О чем ни мечталось!

Острые куются клинки. Кому-то выпадет жребий.

Веет высокое знамя пустынной свободы.

Юноши, девы!

Его дом, в тайных переходах которого куются гордые планы.

Такое прекрасное окружение обнаженной красоты!

Дети в лесу, счастливые и прекрасные.

Тихие дети в его дому, светлые, и милые, и такою овеянные грустью.

Кирша странный.

Портреты первой жены. Нагая, прекрасная.

Мечтательно мерцали Елисаветины синие очи.

Отчетливо вспомнила она вчерашний вечер. Далекая комната в доме Триродова. Собрание немногих. Долгие споры. Потом работа. Мерный стук типографской машины. Сырые листы вложены в папки. Щемилов, Елисавета, Воронок, еще кто-то в городе разошлись по разным улицам.

Не останавливаясь, смазать лист клеем. Осмотреться, — нет никого. Приостановиться. Быстро наложить лист смазанною поверхностью к забору, папкою наружу. Идти дальше... Сошло благополучно.

Елисавета не думала, куда шла, забыла дорогу и зашла далеко, где еще никогда не бывала. Она мечтала, что тихие дети оберегают ее. Так доверчиво отдавалась она лесной тишине, лобзаниям влажных лесных трав предавая обнаженные стопы, и слушала не слушала, дремотно заслушалась.

Что-то шуршало за кустами, чьи-то легкие ноги бежали где-то за легкою зарослью.

Вдруг громкий хохот раздался над ее ухом, — таким внезапным прозвучал ярким вторжением в сладкую мечту, — как труба архангела в судный день, из милых воззывающая могил. Елисавета почувствовала на своей шее чье-то горячее дыхание. Жесткая, потная рука схватила ее за обнаженный локоть.

Словно очнулась Елисавета от сладкого сна. Испуганные внезапно подняла глаза и стала, как очарованная. Перед нею стояли два дюжие оборванца. Оба они были совсем молодые, смазливые парни; один из них прямо красавец, смуглый, черноглазый. Оба едва прикрыты были грязными лохмотьями. В прорехи их рубищ сквозили грязные, потные, сильные тела.

Парни хохотали и кричали нагло:

— Попалась, красотка!

— Мы тебя наласкаем, будешь помнить!

Лезли ближе и ближе, обдавая противно-горячим дыханием. Елисавета опомнилась, вырвалась быстрым движением, бросилась бежать. Страх, похожий на удивление, раскачивал гулкий колокол в ее груди, — тяжко бьющееся сердце. Он мешал бежать, острыми молоточками бил под коленки.

Парни быстро обогнали ее, загородили дорогу, стояли перед Елисаветою и нагло хохотали, крича:

— Красавица! Не кобянься.

— Все равно не уйдешь.

Толкая один другого, они тянули Елисавету каждый к себе и неловко возились, словно не зная, кому и как начать. Похотливое храпение обнажало их белые, зверино-крепкие зубы. Красота полуголого смуглого парня соблазняла Елисавету, — внезапный, пряный соблазн, как отрава.

Красавец хриплым от волнения голосом кричал:

— Рви на ней одежду! Пусть нагишом попляшет, наши очи порадует.

— Легонькая одежка! — с веселым хохотом ответил другой.

Одною рукою он схватил широкий ворот Елисаветина платья и рванул его вперед; другую руку, широкую, горячую и потную, запустил за ее сорочку, и мял, и тискал девически упругую грудь.

— Вдвоем на одну напали, как вам не стыдно! — сказала Елисавета.

— Стыдись не стыдись, а на травку ложись, — хохоча кричал смуглый красавец.

Он ржал от радости, сверкая белыми зубами и пламенными от похоти глазами, и рвал Елисаветину одежду руками и зубами. Быстро обнажались алые и белые розы ее тела.

Страшно и противно было похотливое храпение нападающих. Страшно и противно было глядеть на их потные лица, на сверкание их ярых глаз. Но красота их соблазняла. В глубине темного сознания билась мысль — отдаться, сладко отдаться.

Платье и сорочка, легкие ткани, с еле слышным разрывались треском. Елисавета отчаянно отбивалась и кричала что-то, — не помнила что.

Уж вся одежда на ней была изорвана, и скоро последние упали с обнаженного тела обрывки легких тканей. И в борьбе разрывались с грубым треском лохмотья на тяжело возившихся около Елисаветы парнях, опьяненных своею внезапною наготою. Нагота стремительных тел знойными соблазнами соблазняла Елисавету. Дерзкие бросила им Елисавета слова:

— Вдвоем с одною девкою не справиться!

Она была сильная и ловкая. Парням трудно было одолеть ее. Ее нагое тело извивалось и билось в их руках. Синяя дужка укуса на голом плече смуглого красавца быстро краснела. Капли темной крови брызнули на его голый торс.

— Подожди, стерва, — хрипел парень, — я тебя...

Сильные, но такие неловкие, парни свирепели. Ярила и пьянила чрезмерность сопротивления, и падение разрываемых на их телах лохмотьев, и внезапная нагота их тел. Они били Елисавету, сначала кулаками, потом быстро ломаемыми и оброснутыми ветвями. Острые пламена боли впивались в голое тело — и соблазняли Елисавету жгучим соблазном сладко отдаться. Но она не поддавалась. Ее звонкие вопли разносились далеко окрест.

Уже долго длилась борьба. Уже стала слабеть Елисавета, — и не истощалась страстная ярость свирепых парней. Дикие, голые, с сини-

ми губами перекошенных ртов, с тусклыми огнями налитых кровью глаз, они клонили Елисавету к земле.

Вдруг бесшумною и легкою толпою выбежали на поляну белые, тихие мальчики, легкие, быстрые, как летний дождик. Так быстро метнулись они из-за кустов, — набросились на диких парней и, белые, бесшумные, обступили, облепили, повалили, — усыпили, оттащили в глубину темного оврага. И бессильные распростерлись на жестких травах нагие тела.

От быстрых и бесшумных движений тихих мальчиков сладкое и жуткое объяло Елисавету забвение.

Тяжелым и невероятным сном казалось ей после то, что случилось в темной лесной чаще, эта внезапная и жестокая прихоть взбалмошной Айсы. И в душе надолго угнездился темный ужас, сплетенный с безумным смехом, — ликующая улыбка беспощадной иронии...

Елисавета очнулась. Качнулись над нею зеленые ветки березы и милые, бледные лица. Она лежала на влажной траве, в белом окружении тихих мальчиков. Не сразу вспомнила она, что случилось. Непонятна была нагота, — но не стыдна.

Вот остановились глаза на чьих-то гладко причесанных, темнорусых волосах. Вспомнила — это Клавдия, лицемерно-тихая учительница. Она стояла под деревом, сложив руки на груди, и серыми глазами — не зависть ли мерцала в них? — смотрела на обнаженное Елисаветино тело, — и точно серый паук раскидывал над душою серую паутину тупого забвения и скучного безразличия.

Тихо сказал кто-то из мальчиков:

— Сейчас принесут одежду.

Елисавета закрыла глаза и лежала спокойно. Голова ее слегка кружилась. Томила усталость. Лежала такая прекрасная и стройная, такая совершенная, как мечта Дон Кихота...

Темные влачились миги, и среди них упало с вечереющего неба ясное мгновение. И мгновение стало веком, — от рождения до смерти. Утром на другой день Елисавете ясно вспомнилось течение этой странной и яркой жизни — высокий, скорбный путь, жизнь королевы Ортруды.

И когда, задыхаясь, Ортруда умирала...

Шорох легких ног по траве разбудил Елисавету. Легкие, проворные руки одели ее. Тихие мальчики помогли ей подняться. Елисавета встала, оглядела себя, — светло-зеленый хитон широкими складками обвивал ее тело, усталое тело. Елисавета подумала: «Как дойду?»

И ответом на эту мысль между деревьев показался легкий очерк шарабана. Кто-то сказал:

— Кирша довезет.

Такой знакомый и милый голос.

В странной, чужой одежде Елисавета возвращалась домой. Молча сидела она в шарабане. Триродова она так и не видела. Она хотела вспомнить. Сквозь темный ужас и безумный смех все яснее просвечивало воспоминание мгновенно пережитой иной жизни, — все яснее вспоминалась жизнь королевы Ортруды.

## Глава двадцать пятая

У легкой ограды очарованных печалью и тайною мест стоял тихий мальчик Гриша. Такое бледное, успокоенное лицо, такое тихое мерцание синих, небесно-синих, прохладных глаз!

Вечереющее небо синело, — разливался над миром синий покой, умиряя розовую алость заревого заката. А под синевою высокого покрова летали птицы. К чему же им крылья, — им, таким земным, озабоченным?

За легкую ограду тихого места Гришу манили ландыши благоуханием столь же невинным, как и он сам, синеглазый тихий мальчик Гриша. Точно звал его кто-то за ограду, к этой бедной жизни, томящейся перед ним в закутанной туманною синевою дали, звал томительно и жутко, — и хотелось ему, и не хотелось идти. Томно к жизни звал кто-то темным голосом.

Как же противиться темным зовам? Успокоенное сердце, когда же ты совсем забудешь и навсегда земные томления?

Вот вышел Гриша из-за легкой, расторгнутой легко ограды. Вдохнул в себя резкий, но сладкий внешний воздух. Шел тихо по дороге, узкой и пыльной. Легкие за ним ложились следы, и белая в тихом движении одежда была ясна среди неяркой зелени и серой пыли, — одна ясна. Перед ним легкая, еле видимая, возносилась белая, неживая, ясная луна, бессильная очаровать скучные земные просторы.

Начинался город серый, тусклый, скучный, какой-то развaленный и бессильный, — грязные задворки, чахлые огороды, ломаные плетни, бани и сараи, шершавыми ежами торчащие невесело и некрасиво. На одном огороде у плетня стоял Егорка, одиннадцатилетний мещанкин сын. Что было красным ситцем, стало на нем рваною рубахою, а лицо — ангел в коричневой маске, покрытой пятнами грязи и пыли. Крылья бы легким ногам, — но что же может земля? Только пылью и глиною приникнет к легким ногам.

Егорка вышел поиграть. Он ждал товарищей. Да почему-то нет их. Он остался вдруг один, заслушался чего-то и вдруг всмотрелся. За изгородью стоял незнакомый тихий мальчик и смотрел на Егорку, такой весь белый. Дивился Егорка, спросил:

— Ты откуда?

— Ты не знаешь, — сказал Гриша.

— Ишь ты, поди ж ты! — весело крикнул Егорка. — А может, и знаю. Ты скажи.

— Хочешь узнать? — спросил Гриша, улыбаясь.

Спокойная улыбка, — хотел было Егорка язык высунуть, да передумал почему-то. Разговорились. Зашептали.

Все затихло вокруг, даже не вслушивалось, — словно в иной отошли мир два маленькие, за тонкую завесу, которой никому не разорвать. Так неподвижно стояли березы, — успокоили их тайным наговором три отпадшие силы. И опять спросил Гриша:

— Правда хочешь?

— Ей-Богу, хочу, вот те крест, — живою скороговоркою сказал Егорка и перекрестился мелькающим вкривь и вкось движением сжатых в щепотку грязных маленьких пальцев.

— Иди за мною, — сказал Гриша.

Легко повернулся и пошел домой, не оглядываясь на скудные, скучные предметы серой жизни. Пошел Егорка за белым мальчиком. Тихо шел, дивясь на того, другого. Думал что-то. Спросил:

— А ты, часом, не ангел Божий? Что белый-то ты такой?

Улыбнулся на эти слова тихий мальчик. Сказал, — вздохнул легонько:

— Нет, я — человек.

— Да неужто? Просто мальчишка?

— Такой же, как и ты, — почти совсем такой же.

— Чистюля-то такой? Поди, семь раз на дню яичным мылом моешься? Ишь, босой шлепаешь, как и я, а загар к тебе не липнет, только пылькой ноги заволок.

Пахло откуда-то тихою фиалкою, и был в воздухе сухой запах пыли, и надоедливо носился сладковато-горький дух, гарь лесного пожара.

Мальчики миновали скучное однообразие полей и дорог и пошли в сумрачной тишине леса. Раскрывались поляны и рощи, ручьи звенели в тихих берегах. Мальчики шли по дорожкам и тропинкам, где сладкие росы приникали к ногам. И все окрест преображалось дивно перед Егоркиными глазами, отпадая от ярого буйства злой, но все-таки серой и плоской жизни. Длилось, убегая и сгорая, время, свитое в сладостное кружение милых мгновений, — и казалось Егорке, что забрел он в неведомые страны. Спал где-то ночью, — радостный просыпался, разбуженный влажными щебетаниями птиц, отрясающих раннюю росу с гибких ветвей, — играл с веселыми мальчиками, — музыку слушал.

Иногда белый мальчик Гриша отходил от Егорки. Потом опять появлялся. Егорка заметил, что Гриша держится отдельно от других, веселых, шумных детей, — не играет с ними, говорит мало, не то что боится или сторонится, а как-то само собою выходит, что он отдельно, один, светлый и грустный.

Вот Егорка и Гриша остались одни, пошли вдвоем. Был лесок, весь сквозь пронизанный светом. И все сгущался лес.

Стояли два дерева, очень прямые и высокие. Между ними — бронзовый прут, на пруте, на кольцах, — алая шелковая занавеска. Легкий

ветер колыхал ее тонкие складки. Тихий мальчик, синеглазый Гриша, отдернул занавеску. С легким, свистящим шелестом свились ее алые складки, словно сгорая. Открылась лесная даль, вся пронизанная странно-ясным светом, как обещание преображенной земли. Гриша сказал:

— Иди, Егорушка, — там хорошо.

Егорка всматривался в ясные лесные дали, — страх приник к его сердцу, и тихо сказал Егорка:

— Боюсь.

— Чего ты боишься, глупенький? — ласково спросил Гриша.

— Не знаю. Чего-то боязно, — робко говорил Егорка.

Опечалился Гриша. Тихо вздохнул. Сказал:

— Ну иди себе домой, коли у нас боишься.

Егорка вспомнил дом, мать, город. Не очень-то весело жилось дома Егорке, — нищета, колотушки. Вдруг бросился Егорка к тихому Грише, ухватился за его легкие, прохладные руки, завопил:

— Не гони, миленький, не гони ты меня от себя!

— Да разве я тебя гоню! — возразил Гриша. — Ты сам не хочешь.

Егорка стал на колени и, целуя легкие Гришины ноги, шептал:

— Вам, государям ангелам, от поту лица своего молюсь.

— Иди же за мною, — сказал Гриша.

Легкие руки легли на Егоркины плечи и подняли его от тихих трав. Егорка послушно пошел за Гришею, к синему раю его тихих глаз. Перед ним открылась успокоенная долина и на ней тихие дети. Сладкая роса падала на Егоркины ноги, и радостны были ее поцелуи. А тихие дети окружили Егорку и Гришу, в широкий стали круг и увлекли их в легком круговом движении хоровода.

— Государи мои ангелы, — вскрикивал Егорка, кружась и ликуя, — личики ваши светленькие, оченьки ваши ясненькие, рученьки ваши беленькие, ноженьки ваши легонькие! Ништо я на земле, ништо я в раю? Голубчики, братики и сестрицы, где же ваши крылышки?

Чей-то близкий, сладко-звенящий голос отвечал ему:

— Ты на земле, не в раю, а крыльев нам не надобно, мы летим и бескрылые.

Увлекли, чаровали, ласкали. Показали ему все лесные дива, под пенечками, под кусточками, под сухими листочками, — нежитей лесных маленьких с голосочками шелестинными, с волосочками паутинными, — пряменьких и горбатеньких, — лесных старчиков, — последышей и попутников, — зоев-пересмешников в кафтанах зелененьких, — полуночников и полуденников, черных и серых, — жутико-шутиков с цепкими лапками, — невиданных птиц и зверей, — все, чего нет в дневном, земном, темном мире.

Загостился Егорка у тихих детей. Не заметил, как целая неделя прошла, с пятницы до пятницы. И вдруг встосковался по матери. Точно зов ее услышал ночью, и проснулся тревожный, и звал:

— Мама, где ты?

А кругом тишина и молчание, неведомый мир. Егорка заплакал. Пришли тихие дети утешать. Сказали:

— Так что ж, вернись к матери. Обрадуется. Приласкает.

— А то ни прибьет, — всхлипывая, говорил Егорка.

Улыбались тихие дети, говорили:

— Отцы и матери бьют своих детей.

— Им это нравится.

— Бьют, точно злые.

— Но они добрые.

— Бьют любя.

— У людей это вместе — стыд, любовь, боль.

— Да ты не бойся, Егорушка, — мать.

— Да ладно, я не боюсь, — говорил утешенный Егорка.

Когда Егорка прощался с тихими детьми, Гриша сказал ему:

— Ты бы матери лучше не сказывал, где пропадал столько времени.

— А вот не скажу, — живо ответил Егорка, — ни за что не скажу.

— Ты проболтаешься, — сказала одна из девочек.

У нее были черные, словно бездонные глаза; ее тонкие голенькие руки всегда были упрямо сжаты на груди, она говорила еще меньше, чем другие тихие дети, и изо всех людских слов больше всего нравилось ей слово «нет».

— А вот-то и не проболтаюсь, — спорил Егорка, — а ни вовеки не проболтаюсь, никому не скажу, где был, и тем моим словам ключ и замок.

В тот же вечер, как ушел Егорка с Гришею, мать хватилась его. Кликала долго, браня и угрожая. Не докликалась, испугалась, — «не утонул ли?». Бегала по соседям, плакала, жаловалась.

— Пропал мальчишка. Пропал да и пропал. И ума не приложу, где искать. А не то в реке утонул, а не то в колодец ввалился, пострел.

Кто-то из соседей догадался:

— Жиды поймали, заперли куда ни есть в глухое место, а потом христианскую кровь выпустят и выпьют.

Догадка понравилась. И уже говорили уверенно:

— Никто, как жиды.

— Уж опять это они, проклятые.

— Да уж не без них.

— Уж это такое дело.

И верили. По городу разнесся тревожный слух: евреи украли христианского мальчика. Распространением этого слуха усердно занялся Остров. И уже на базарах поднялись шумные толки. Лабазники и торгаши орали громче всех, подзуживаемые Островым. А он зачем это делал? Знал, конечно, что это ложь. Но он в последние дни занимался провокациею по указаниям местного отдела черносотенного союза. Этот случай пришелся очень кстати.

Полиция принялась за дело. Искали мальчика и не нашли. Зато разыскали еврея, которого кто-то видел около огорода Егоркиной матери. Его арестовали.

Опять был вечер. Егоркина мать была дома, когда Егорка вернулся. Грустный и светлый, подошел он к матери, поцеловал ее и сказал:

— Здравствуй, мама.

Мать накинулась на Егорку с расспросами:

— Ах ты, стервеныш! Где ты был? Что ты делал? Где тебя нечистая сила носила?

Егорка помнил обещание. Стоял перед матерью и упрямо молчал. Мать сердито спрашивала:

— Да где был-то, говори! Жиды тебя, что ли, распинали?

— Нет, — сказал Егорка, — какие жиды! Никто меня не распинал.

Мать яростно закричала:

— Ну подожди ж ты у меня, пострел неоколоченный! Ужо я тебя разговорю.

Она схватила веник, принялась одергивать прутья, сорвала с мальчика его легонькую одежонку. Грустный и светлый, Егорка вскинул на мать удивленные глаза. Вскрикнул жалобно:

— Мама, что ты?

Но уже захваченное жесткою рукою, забилось маленькое, омытое тихими водами тело на коленях свирепо кричащей женщины. Было больно, и тонким голоском вопил Егорка. Мать стегала его долго и больно. Кричала в лад ударам:

— Говори, где был! Говори! Задеру, коли не скажешь!

Наконец бросила, заплакала, завопила неистово:

— За что меня Бог наказывает? Да нет, я из тебя слова-то выбью. Я еще завтра за тебя возьмусь поплотнее.

Не столько болью, сколько неожиданною грубостью встречи был потрясен Егорка. Уже он прикоснулся к иному миру, и уже тихие дети в очарованной долине перестроили его душу на иной лад.

Однако мать любила его. Конечно, любила. Потому со зла и выдрала. У людей это всегда вместе — любовь и жестокость. Им нравится мучить, им сладостна месть. А потом пожалела мать Егорку. Думала, что уже не слишком ли больно порола. И уж без криков подошла к Егорке.

Он лежал на скамеечке и тихо скулил. Потом затих. Мать неловко, шершавыми руками, погладила его спину и отошла. Думала, — заснул.

Утром мать побудила Егорку. Но холодный и неподвижный лежал он на скамеечке, лицом вниз. И уже не казался он светлым, — лежал темным и холодным трупом. И взвыла в ужасе мать:

— Умер! Егорушка, да ништо ты умер! Ох, горюшко, — уж и рученьки холодные.

Метнулась к соседям, весь околоток наполнила визгливым воем, всполошила всех окрест. Любопытные женщины набились в ее дом.

— Только тоненькой вичкой постегала легохонько, — слышался вопль матери, — лег он, мой голубчик, на лавочку, поплакал, затих, заснул, что ли, а к утру Богу душеньку отдал.

Окованный смертным тяжелым сном лежал Егорка, неподвижный и бездыханный, и слушал материн вопль и нестройный гул голосов. И слышал, как мать причитала над ним:

— Всю кровь у него высосали проклятые жиды! Да так ли я его прежде, голубчика моего, парывала! Бывало, попорешь и солью посолишь, и все ничего, — а тут маленькою вичкою, а он, ненаглядный мой светик, ангелочек мой...

Слушал Егорка ее вой и дивился своей тяжелой скованности и неподвижности. Точно стук чужого тела услышал он, — догадался, — на пол положили, мыть. Так хотелось пошевелиться, встать, — не мог. И думал: «Умер, — куда ж теперь меня определят?»

И опять думал: «А что же душа с телом не разлучается? Ни рук, ни ног не чую, а слышу».

И дивился, и ждал. А то вдруг бессильным напряжением воли пытался проснуться от смертного сна, вернуться, убежать от темной могилы, — и опять бессильная никла воля, и снова он ждал.

И слышал звуки отпевания, и вспоминал, как синь дымок от ладана и как пахуч в звенящих тихо взмахах дымного кадила.

## Глава двадцать шестая

Егорку похоронили. Мать повыла над его могилою протяжно и долго и пошла домой. Она была уверена, что мальчишке там будет много лучше, чем на земле, и утешалась. А истинно русские люди, Кербах, Остров и другие такие же, не могли на этом успокоиться. Они распускали злые слухи. Пошла молва:

— Жиды замучили христианского мальчика. Всего изрезали ножами, из крови мацу сделали.

Клеветников не останавливало то соображение, что еврейская пасха была гораздо раньше, чем убежал от матери Егорка.

В городе волновались, — и те, кто верил, и те, кто не верил. Требовали следствия и разрытия могилы.

Елисавета пришла к Триродову днем и оставалась долго. Триродов показывал ей свою колонию. Тихий мальчик Гриша сопровождал их, синими покоями своих глаз смотрел бесстрастно в синие пламена ее восхищенных глаз и смирял знойность и страстность ее волнений.

Ее легкое, просторное платье казалось прозрачным, — так ясны были под ним совершенные очертания тела; были открыты алые и белые розы ее груди и плеч. Загорелые стопы ее ног были обнажены, — она любила нежные прикосновения трав и земли.

Все было как рай, — щебетанье птиц, и детские гамы, и шорох ветра в травах и ветвях, и ропот лесного ручья. Все было невинно, как рай, — нагие встречались девушки, подходили, разговаривали и не стыдились. Все было чисто, как рай. И безоблачно яснело над лесными полянами небо.

Уже когда день клонился к вечеру, Елисавета сидела у Триродова. Они читали стихи. Еще и раньше Елисавета любила стихи. Кому же их и любить, как не девушкам? Теперь она читала их жадно. Целые часы пролетали в чтении, и стихи рождали в ней сладкие и горькие восторги и знойные сны.

Может быть, это было потому, что она влюбилась, и знойные рождались в ней мечты. Влюбилась, новое нашла себе солнце и новый повела вкруг него хоровод мечтаний, надежд, печалей, радостей, очарований и восторгов. И, окрашенный радугою сияний одного светила, был многозвучен и целен этот хоровод, этот пламенный круг стремительных томлений.

В стихи новых поэтов влюбил ее Триродов. Сладостные очарования и горестные разочарования томительно чудились ей в хрупкой музыке новых стихов, написанных сладко и неверно, легких и прозрачных, как те платья, которые она теперь полюбила носить.

Когда так созвучны стали их души, как же им было не любить друг друга?

Были стихи, которые они читали, сладкою мечтою о любви. Триродов говорил:

— Влюбленность говорит миру «нет», лирическое «нет», — женитьба говорит ему «да», ироническое «да». Быть влюбленным, стремиться, не иметь — это лирика любви, сладкая, но обманчивая. Внешним образом противоречит она миру и утаивает его роковой разлад. Быть вместе, обладать, сказать кому-то «да», отдаться — вот путь, на котором жизнь обличит свои непримиримые противоречия. И как быть вместе, когда мы так одиноки? И как отдаться? Спадают маска за маскою, и ужасен раздвоенный лик подлинного бытия. Приходит скука, — и что же ты, влюбленность, ты, которая похвалялась быть сильнее смерти?

— У вас была жена, — сказала Елисавета. — Вы ее любили. Все напоминает здесь о ней. Она была прекрасная.

Ее голос стал темен, и ревнивым огнем зажглись синие зарницы за влагою ресниц. Триродов улыбнулся и сказал печально:

— Прежде чем настала пора прийти скуке, она отошла от жизни. Моя Дульцинея не хотела стать Альдонсою.

— Дульцинею любят, — говорила Елисавета, — но полнота жизни принадлежит Альдонсе, становящейся Дульцинеею.

— А хочет ли этого она, Альдонса? — спросил Триродов.

Нежно зардевшись, говорила Елисавета:

— Хочет, но не может. Хочет, но не умеет. А мы ей поможем, мы ее научим.

Триродов улыбался ласково и грустно. Говорил:

— А он, как вечный Дон Жуан, всегда ищет Дульцинею. И что же ему земная Альдонса, бедная, ужаленная мечтою о красоте?

— Он ее за то и полюбит, — отвечала Елисавета, — что она бедная, ужаленная высокою мечтою о красоте. Союз их будет — творимая красота.

Наступила ночь: сумраки прильнули к окнам и шептались прозрачными, жуткими голосами. Триродов подошел к окну. Елисавета стала рядом с ним, — и точно одним сразу взором оба они увидели далекое, смутное кладбище. Триродов тихо сказал:

— Там его похоронили. Но он встанет.

Елисавета посмотрела на него с удивлением и тихо спросила:

— Кто?

Триродов взглянул на нее, как разбуженный. Сказал так же тихо и медленно:

— Он, еще не живший и непорочный отрок. В теле его все возможности и ни одного свершения. Он как созданный для принятия всякой энергии, которая к нему захочет устремиться. Теперь он спит, зарытый в могилу в тесном гробу. Он проснется для жизни, лишенной страстей и желаний, для ясного видения и слышания, для восстановления единой воли.

— Когда он проснется? — спросила Елисавета.

— Когда я захочу, — сказал Триродов. — Я его разбужу.

Звук его голоса был грустен и настойчив, — как звук заклинания.

— Сегодня ночью? — спросила Елисавета.

— Если вы хотите, — спокойно ответил Триродов.

— Я должна уйти? — опять спросила она.

— Да, — так же просто и спокойно ответил он.

Простились, — она ушла. Триродов опять подошел к окну. Он звал кого-то, чаруя, будил, шептал:

— Ты проснешься, милый. Проснись, встань, приди ко мне. Приди ко мне. Я открою твои глаза, — и увидишь, чего не видел доныне. Я открою твой слух, — и услышишь, чего не слышал доныне. Ты из земли, — не разлучу тебя с землею. Ты от меня, ты — мой, ты — я, приди ко мне. Проснись!

Он уверенно ждал. Знал, что, когда спящий проснется в гробу, они придут и скажут, знающие и невинные.

Тихо вошел в комнату Кирша. Он стал рядом с отцом и спросил:

— На кладбище смотришь?

Триродов молча положил руки на его голову. Кирша говорил:

— Там, в одной из могил, есть мальчик, который не умер.

— Ты откуда знаешь? — спросил Триродов.

Но знал, что ответить, Кирша. Кирша сказал:

— Гриша говорил мне, что Егорка не вовсе умер. Он спит. А он проснется?

— Да, — сказал Триродов.

— И придет к тебе? — спросил Кирша.

— Да, — отвечал Триродов.

— А когда он придет? — опять спросил Кирша.

Триродов улыбнулся. Сказал:

— Разбуди Гришу, спроси его, просыпается ли спящий в могиле.

Кирша ушел. Триродов молча смотрел на далекое кладбище, где темная, тоскуя у крестов, к могилам никла опечаленная ночь.

О, где же ты, обрадованная?

А за дверьми тихий слышался шорох, — домашние двигались тихо у стен, и шептали, и ждали.

Разбуженный далеким, тихим стоном встал Гриша. Вышел в сад, подошел к ограде, стоял с опущенными глазами и слушал. Улыбался, но без радости. Кто знает, тот как обрадуется?

Кирша подошел к нему. Спросил:

— Жив? Проснулся?

Кивнул головою по направлению к кладбищу.

— Да, — сказал Гриша. — Стонет Егорушка в своей могиле, живой, тихий; только-то проснулся.

Кирша, побежал в дом, к отцу, повторил ему Гришины слова.

— Надо спешить, — сказал Триродов.

Он опять почувствовал знакомое издавна волнение. В нем совершались тяжело и неровно приливы и отливы какой-то странной силы. Какая-то дивная энергия, собранная им одному ему знакомым способом, теперь медленно источалась из него. Между ним и могилою, где смертным сном томился отошедший от жизни отрок, пробегал тайный ток, чаруя и пробуждая спящего в гробу.

Триродов быстро спустился по лестнице в тот покой, где спали тихие дети. Легкие шаги его были едва слышны, и холод дощатого пола приникал к его ногам. На своих постелях неподвижно лежали тихие дети и словно не дышали. Казалось, что их много и что спят они вечно в нескончаемом сумраке тихой опочивальни.

Семь раз останавливался Триродов, — и каждый раз от одного его взгляда пробуждался спящий. И встали три мальчика и четыре девочки. Они стояли спокойно, смотрели на Триродова и ждали. Триродов сказал им:

— Идите за мною.

Они пошли за ним, белые, тихие, — и тихий шорох легких шагов влекся за ними.

В саду ждал Кирша, — и рядом с белыми тихими детьми казался земным и темным.

Быстро, как скользящие ночные тени, шли по Навьей тропе, друг за другом, все десять, впереди Гриша. Роса падала на их голые ноги, и земля под ногами была мягкая, теплая и грустная.

Егорка проснулся в могиле. Было темно, немного душно. Голову давила какая-то тяжесть. В ушах звучал настойчивый зов:

— Встань, приди ко мне.

Приступами томил страх. Глаза смотрели и не видели. Трудно дышать. Вспоминается что-то, и все, что вспоминается, страшно, как бред. Вдруг ясное сознание, — ужаснувшая мысль: «Я в могиле, в гробу».

Застонал, забился. Шея, словно сжатая чьими-то пальцами, судорожно сжималась. Глаза широко раскрылись, — и перед ними метался пламенный мрак заколоченного гроба. Звучали наверху тихие голоса, и земля пересыпалась. Мечась в тесноте гроба, томимый ужасом, Егорка стонал и шептал глухим голосом:

— Три жировика, три лесовика, три отпадшие силы!

Калитка на кладбище была почему-то открыта. Триродов и дети вошли на кладбище. Здесь были бедные могилы, — дерновые насыпи, деревянные мостки. Было сумрачно, сыро, тихо. Пахло травою, — тихою мечтою кладбищ. В мглистом тумане белели кресты. Жуткая тишина таилась, и все пространство кладбища казалось полным темною мечтою почивших. Сладко и больно переживались жуткие ощущения.

Нигде так близко не чувствуется земля, как на кладбищах, — святая земля успокоения. Тихо шли все десять, один за другим, груст-

ную, мягкую под холодающими голыми ногами ощущая землю. Остановились около могилы. Тих и беден был маленький холмик, и казалось, что земля плачет, стонет и томится.

Смутно белея в темноте над комьями черной земли, мальчики раскапывали могилу. Девочки тихо стояли, — четыре по четырем сторонам, — чутко вслушиваясь в ночную тишину. Спали сторожа, как мертвые, и мертвые спали, сторожа бессильно свои гробы.

Медленно открылся бедный гробик. Явствен стал тихий стон. Уже в глубине могилы были мальчики. Наклонились к бедному маленькому гробу. Еще землею полузасыпан был гроб, но уже мальчики чувствовали под ногами дрожание его крышки. Крышка, забитая гвоздями, легко поддалась усилиям маленьких детских рук и отвалилась на сторону, к земляному боку могилы. Гроб раскрылся так же просто, как открывается всякий дом.

Егорка уже терял сознание. Мальчики увидели его лежащим на боку. Он слабо зашевелился. Втягивал воздух короткими, точно всхлипывающими, вздохами. Дрогнул. Опрокинулся на спину.

Свежий воздух пахнул в его лицо, как юный восторг освобождения. Вдруг мгновение радости, — и оно погасло. О чем же радоваться? Спокойные и нерадостные склонились над ним.

Опять жить? Стало в душе странно, тихо, равнодушно. Тихо говорил кто-то ласковый над ним:

— Встань, милый, иди к нам, мы тебе покажем то, чего ты не видел, и научим тебя тому, что тайно.

Звезды далекого неба прямо глядели в глаза, — и близкие чьи-то склонились любовно глаза. Протянулись руки, руки, много рук нежных и прохладных, — взяли, подняли, вынули.

Стоял в кругу. Смотрели на него. Руки у него опять сложились на груди, как в могиле, — точно навеки усвоилась привычка. Одна из девочек поправила, распрямила руки.

Вдруг спросил Егорка:

— Это что ж? могилка?

Гриша ответил ему:

— Это твоя могила, а ты с нами будешь и с нашим господином.

— А могила? — спросил Егорка.

— Мы ее засыплем, — отвечал Гриша.

Мальчики принялись засыпать могилу. Тихо дивясь, смотрел Егорка, как в могилу падали комья земли, как рос могильный холмик. Заровняли землю, крест поставили на прежнее место. Егорка подошел, прочел надпись на кресте. Странно было читать свое имя: «Отрок Георгий Антипов».

Год, месяц и число смерти.

«Это я?» — подумал он.

Дивился слабо, — но уже вещее равнодушие заполоняло душу.

Кто-то тронул его за плечо; спросил что-то. Егорка молчал. Казалось, что он что-то понял.

— Иди ко мне, — тихо сказал ему Триродов.

Девочка, которая всегда говорила «нет», взяла Егорку за руку и повела его. Ушли, тою же прошли дорогою. Тишина смыкалась за ними.

С тихими детьми остался Егорка. У него не было паспорта, и жизнь его была иная.

## Глава двадцать седьмая

Триродов возвратился домой. Как возвращаются из могилы, так легко и радостно было ему. Восторгом и решительностью горело его сердце. Сегодняшний разговор с Елисаветою вспоминался ему. Возникала радостная, гордая мечта о преображении жизни силою творящего искусства, о жизни, творимой по гордой воле.

Если возникло то, что было или казалось любовью, зачем противиться ему? Ложь или правда чувства, — не все ли равно? Воля, вознесенная над миром, определит все, как хочет. И над бессилием утомленного чувства властна она воздвигнуть сладостную любовь.

То, что долго взвешивалось на весах сознания, то, что долго и глухо боролось в темной области бессознательного, теперь становилось к ясному решению. И пусть будет сказано «да». Еще раз «да». Для

нового ли крушения? Для светлого ли торжества? Все равно. Лишь бы верить ей, лишь бы она верила ему. А настолько уже они сблизились друг с другом.

Триродов сел к столу. Улыбаясь, задумался ненадолго. Быстро на светло-синем листе бумаги написал:

Елисавета, я хочу твоей любви. Люби меня, милая, люби. Я забываю все мое знание, отвергаю все мои сомнения... я становлюсь опять простым и кротким, как причастник светлого царства, как мои милые дети, — и только хочу твоей близости и твоих поцелуев. По земле, милой нашему сердцу, пройду в простоте и радостном смирении необутыми ногами, как ты, чтобы прийти к тебе, как ты ко мне приходишь. Люби меня.

*Твой Георгий*

За дверьми слышался легкий шорох. Казалось, весь дом был наполнен тихими детьми.

Триродов запечатал письмо. Захотел отнести его сейчас же и положить на подоконник ее открытого окна. Он тихо шел, погружаясь в сумраки леса, — и приникали к его ногам теплые мхи, и орошенные травы, и земля, простая, суровая, милая. Над влажными веяниями ночи и над свежею прохладою с реки поднимался порою снова надоедливый, сладковатый запах лесной гари.

Елисавета не могла заснуть. Встала с постели. Стояла у окна, предавая прозрачным объятиям ночной прохлады знойное, обнаженное тело. Думала о чем-то, мечтала. И все думы и мечты сливались в один хоровод вокруг Триродова.

Ждать ли? Он, усталый и грустный, не скажет сладких слов, чтобы не быть смешным, не получить холодного ответа.

«И зачем ждать? Или не смею, как царица, решать свою судьбу, звать к себе и любви требовать? Зачем стану молчать?»

И решилась: «Скажу сама, — люблю, люблю, приди ко мне, люби меня».

Елисавета шептала сладкие слова, ночному молчанию доверяя тайну знойных мечтаний. Пламенны были черные очи ночной гостьи,

приносящей отравленные соблазнами мечты. Плескучий, тихий смех русалки за осокою под луною сливался с тихим, сладким смехом ночной очаровательницы, у которой пламенные очи, пылающие уста и свитое из белых огней обнаженное тело. Ее пламенное тело было подобно телу Елисаветы, и черные молнии глаз неведомой чародейки были подобны синим молниям Елисаветиных глаз. Она соблазняла и звала:

— Иди к нему, иди. У его ног упади нагая, целуй его ноги, смейся ему, пляши для него, измучь себя для его забавы, будь ему рабою, будь вещью в его руках, — и прильни, и целуй, и смотрись в его очи, и отдайся ему, отдайся ему. Иди, иди, спеши, беги. Вот он подходит, — видишь, это он вышел из леса, видишь, на траве белеют его ноги. Распахни дверь, оставь здесь одежды, беги нагая ему навстречу.

Елисавета увидела Триродова. Так больно и сладко забилось сердце. Она отошла от окна. Ждала. Слышала его шаги на песке под окнами. Что-то мелькнуло в окне и упало на пол. Шаги удалились.

Елисавета подняла письмо, зажгла свечу, прочла синий, милый листок бумаги. Шептала ей ночная очаровательница:

— Он уйдет. Спеши. Ты узнаешь, как сладки первые поцелуи любви. Иди к нему, беги за ним, не ищи скучных покровов.

Елисавета порывисто распахнула дверь на балкон и сбежала в сад по широким его ступеням. Побежала за Триродовым. Крикнула:

— Георгий!

Голос ее был звонким воплем желания и страсти. Триродов остановился, увидел ее, стремительно-белую, всю ясную в ясных лучах луны, — и Елисавета упала в его объятия, и целовала его, и смеялась, и повторяла без конца:

— Люблю, люблю, люблю.

И целовались, и смеялись, и говорили что-то. Были радостны и чисты несмятые, алые и белые розы ее стройного, сильного тела. Все, что они говорили, было свято и чисто. Перед непорочною луною в блистании очей и звезд ночной тишине и ночному мраку они сказали слова, связывающие их в одну чету. Клятва и обряд, не

менее прочные, чем всякие иные. Улыбки, поцелуи, нежные слова — вечный обряд, вечная тайна.

Небо светлело, и новые новым утром пали росы, и отгорел восторг зари, и солнце встало, — и только тогда они расстались.

Елисавета вернулась к себе. Но как уснуть? Пришла к Елене. Елена уже проснулась. Елисавета легла с нею рядом под ее одеяло и говорила ей о любви своей и о своем восторге. Елена радовалась, смеялась, целовала сестру без конца.

Потом Елисавета надела утреннее платье и пошла к отцу, — рассказать ему о своей радости, о своем счастии.

А Триродов, томимый утреннею усталостью, шел домой по холодным росам, — и в душе его были недоумение и страх.

Днем Триродов приехал к Рамеевым. Он привез в подарок Елисавете сделанный им самим фотографический снимок с его первой жены, — на обнаженном теле бронзовый пояс, соединенный спереди спускающимися до колен концами; на черных волосах узкий золотой обруч. Тонкое, стройное тело, — грустная улыбка, — безрадостно-темные глаза.

— Отец знает, — сказала Елисавета. — Отец рад. Пойдем к нему.

Когда Елисавета и Триродов опять остались одни, что-то темное вспомнилось Елисавете. Она опечалилась, подумала, вспомнила, спросила:

— А спящий в гробе?

— Проснулся, — ответил Триродов. — Он в моем доме. Мы откопали его кстати, чтобы спасти мать от угрызений совести.

— Почему? — спросила Елисавета.

Триродов рассказывал:

— Сегодня утром судебный следователь раскрыл могилу. Нашли пустой гроб. К счастию, я узнал вовремя, прежде, чем могли возникнуть новые глупые толки, и дал им объяснения.

— А мальчик? — спросила Елисавета.

— Останется у меня. К матери он не хочет, матери он не нужен, мать получит за него деньги.

Все это Триродов говорил сухим, холодным тоном.

Весть о том, что Елисавета будет женою Триродова, очень различно подействовала на ее родных. Рамеев любил Триродова и потому был рад сближению с ним; немножко жалел Петра, но и радовался, что его неопределенное положение выяснилось и что уже он не будет томиться надеждами, которым не сбыться. Но все-таки Рамеев был взволнован почему-то.

Елена любила Елисавету и радовалась ее радости; любила Петра — и потому радовалась еще более; и так любила, и так надеялась на его любовь, что и жалость ее к нему была ясна и светла. Смотрела на Петра глазами влюбляющими, нежными.

Петр был в мрачном отчаянии. Но Еленины глаза сладко волновали его. Измученное сердце жаждало новой любви и смертельно тосковало по обманувшей надежде.

Миша был странно взволнован. Краснел, чаще обыкновенного убегал на речку поудить, плакал. А то порывисто обнимал Елисавету или Триродова. Он смутно догадывался, что влюбился в Елисавету. Было стыдно и горько. Знал, что Елисавета и не подозревает об его любви и смотрит еще на него как на ребенка. Иногда начинал бессильно ненавидеть ее. Говорил Петру:

— Я бы на твоем месте не вешал носа. Она не стоит, чтобы ты ее любил. Гордячка. Елена гораздо лучше. Елена милая, а та воображает что-то.

Петр молчал и уходил от него. И то хоть хорошо, что не бранился и было с кем отвести душу. Быть с Елисаветою и хотелось Мише, и было стыдно и тяжело.

Мисс Гаррисон не выражала своего мнения. Она уже многим была шокирована и привыкла ко всему здесь относиться равнодушно. Триродов в ее глазах был авантюрист, человек с сомнительною репутациею и с темным прошлым. Спокойнее всех была Елисавета.

Мрачный вид Петра угнетал Рамеева. Захотелось Рамееву утешить его хоть словами. Что ж, люди и в слова верят! Лишь бы верить.

Рамеев и Петр случайно остались одни. Рамеев сказал:

— Признаться, я прежде думал, что Елисавета любит тебя. Или полюбит, если ты крепко этого захочешь.

Петр сказал, грустно улыбаясь:

— Ошибка, стало быть, извинительная и мне. Тем более что у господина Триродова нет недостатка в любовницах.

— Ошибки всем извинительны, — спокойно возразил Рамеев. — Хотя и горьки иногда.

Петр промычал что-то. Рамеев продолжал:

— Но я внимательно наблюдал Елисавету в последнее время. И вот что я скажу, — ты уж меня извини за откровенность, — теперь я думаю, что с Еленою тебе лучше будет сойтись. Может быть, ты и в своем чувстве заблуждался.

Петр горько усмехнулся. Сказал:

— Ну конечно, — Елена попроще. Не читает философских книжек, не носит слишком античных хитонов и никого не презирает.

— Зачем сводить все на самолюбие? — возражал Рамеев. — Почему попроще? Елена вполне интеллигентная девушка, хотя и без претензий на ширину и глубину взглядов, — и она милая, добрая, веселая.

— Мне под пару? — с ироническою улыбкою спросил Петр.

— Ну что ты! — сказал Рамеев. — Да и разве ты, кроме моих дочерей, не можешь выбрать себе в жены любую девушку?

— Где уж мне! — с унылою ирониею сказал Петр. — Но я не вижу надобности настаивать. И с Еленою может повториться то же. Она может найти более блестящего жениха. Да и шарлатанов в духе Триродова на свете немало.

— Елена тебя любит, — сказал Рамеев. — Неужели ты не заметил этого?

Петр засмеялся. Притворился веселым, — или и в самом деле вдруг стало радостно и весело вспомнить о милой Елене. Конечно, любит! Но сказал:

— Да почему ты думаешь, милый дядя, что мне во что бы то ни стало нужна жена? Бог с нею!

— Ты вообще влюблен, как бывает в твои годы, — сказал Рамеев.

— Может быть, — сказал Петр, — но выбор Елисаветы меня возмущает.

— Почему? — спросил Рамеев.

— По многому, — отвечал Петр. — Вот он подарил ей фотографию с его покойной жены. Голая красавица. Зачем это? То, что было интимным, разве надо сделать всемирным? Ведь она для мужа открыла тело, а не для Елисаветы и не для нас.

— Этак ты и многие картины забракуешь, — возразил Рамеев.

— Я не так прост, — живо ответил Петр, — чтобы не сумел разобраться в этом вопросе. Одно дело — чистое искусство, которое всегда святое, другое дело — разжигание чувственности порнографическими картинками. И разве не замечаешь ты сам, дядя, что Елисавета отравилась этим сладким ядом и стала слишком страстною и недостаточно скромною?

— Не нахожу этого, — сухо возразил Рамеев. — Она влюблена, — что ж с этим делать? Если в людях есть сладострастие, то что же сделать с нашею природою? Изуродовать весь мир в угоду ветхой морали?

— Дядя, я не подозревал в тебе такого аморалиста, — сказал досадливо Петр.

— Мораль морали рознь, — ответил Рамеев, словно смутясь немного. — Я не стою за распущенность, но все-таки требую свободы мнений и чувств. Свободное чувство всегда невинно.

Петр язвительно спросил:

— А эти голые девицы там в его лесу, все это тоже невинно?

— Конечно, — сказал Рамеев. — Его задача, — усыпить в человеке зверя и разбудить человека.

— Слышал я его разглагольствования, — досадливо говорил Петр, — и не верю им нисколько, и удивляюсь, как другие могут верить таким нелепостям. Не верю также ни в его поэзию, ни даже в его химию. И все-то у него секреты и тайны, какая-то хитрая механика в дверях и в коридорах. А его тихие дети — этого я со-

всем не понимаю. Откуда они у него? Что он с ними делает? Тут кроется что-то скверное.

— Ну, это работа воображения, — возразил Рамеев. — Мы видим его часто, мы всегда можем прийти к нему, мы не видели и не слышали в его доме и в его колонии ничего, что подтверждало бы городские басни о нем.

Петру вспомнилась вечерняя беседа с Триродовым на берегу реки. Его грустные и властные глаза вдруг зажглись в памяти Петра, — и яд его злобы смирился. Странное очарование приникло к нему, и точно твердил кто-то настойчиво и тихо, что пути Триродова правы и чисты. Петр закрыл глаза, — и предстало светлое видение: лесные нагие девы прошли перед ним длинною вереницею, осеняя его тишиною и миром непорочных очей. Петр вздохнул и сказал тихо, точно усталый:

— Я говорю напрасно эти злые слова. Ты, может быть, и прав. Но мне так тяжело!

Этот разговор все-таки успокоительно подействовал на Петра. Мысли об Елене все чаще возвращались к нему, и все нежнее становились они.

Случилось так, что по какому-то безмолвному, но внятному сговору все старались фиксировать внимание Петра на Елене. Петр подчинялся этому общему внушению и был с Еленою ласков и нежен. Елена радостно ждала его любви и шептала, склоняя к русалочьему смеху тихой реки пылающее лицо и разбившиеся кудри:

— Люблю, люблю, люблю!

А когда оставалась одна с Петром, смотрела на него влюбленно-испуганными глазами, вся вешне-розовая, вся трепетная ожиданием, и каждым вздохом нежной груди под легкою тканью платья, и всею жизнью знойной плоти повторяла все то же несказанное «люблю, люблю, люблю».

И начал Петр понимать, что Елена суждена ему, что волей-неволей полюбит он ее. Это предчувствие новой любви было как сладко ноющая заноза в ужаленном изменою возлюбленной сердце.

## Глава двадцать восьмая

Местная полицейская власть не очень была искусна в уловлении разбойников и убийц. Да и не очень занималась она этим неблагодарным делом. Не до того ей было в те смутные дни. Зато она обратила свое неблагосклонное внимание на триродовскую учебную колонию. Остров и его друзья и покровители постарались об этом.

Вокруг усадьбы Триродова зашныряли сыщики. Они принимали разные личины и старались быть хитрыми и незаметными, но никого не могли обмануть. Скудные разумом, они исполняли свои темные обязанности без вдохновения, скучно, серо, тускло.

Скоро уже и дети научились распознавать сыщиков. Еще издали заметив подозрительного молодца, дети говорили:

— А вон идет сыщик.

Если видели его не первый раз, говорили:

— Наш сыщик.

Из чинов наружной полиции прежде всего наведался в триродовскую колонию урядник. Был он тогда изрядно под хмельком. Это было как раз в тот самый день, когда Егорка вернулся домой, к своей матери.

Урядник вошел во внешний двор колонии, — ворота во двор были случайно открыты. Запах водки вокруг урядника был слышен издалека. Подозрительным взором неопытного соглядатая осматривал урядник сараи, ледник и кухню. Тупо дивился он чистоте двора и опрятности новых построек.

Уже собирался урядник войти в кухню и поговорить с кем-нибудь о том, за чем его сюда послали. Вдруг он увидел молоденькую девушку, здешнюю учительницу Зинаиду. Она неторопливо шла по двору в белой с голубым, короткой, до колен, одежде. У Зинаиды было веселое и простодушное, загорелое лицо. Легко двигались на ходу ее сильные, нагие руки. Казалось, что она, стройная, проносится над землею без усилий, видимых взору.

Невинная открытость невинного тела возбудила, конечно, в полупьяном идиоте гнусные чувства. Да и могло ли в наши темные дни быть иначе? Даже и в рассказе влюбленного в красоту поэта нагота

непорочного тела, словно наглая нагота блудницы, вызывает осуждение лицемеров и ярость людей с развращенным воображением. Строгая нравственность всех этих людей навязана им извне. Она не выдерживает никаких искушений и обольщений. Они это знают и опасливо берегутся от соблазна. А втайне тешат свое скудное воображение погаными картинками уличного, закоулочного развратца, дешевого, регламентированного и почти безопасного для их здоровьишка и для блага их семьишек.

Урядник, увидевши молодую девушку, так легко одетую, погано заухмылялся. Грязная похоть заиграла в его грубом теле под неряшливою, пропотелою одеждою. Он поманил к себе Зинаиду корявым, грязным пальцем. По-идиотски зареготал. Сдвинул на затылок порыжелую шапку.

Молодая девушка подошла к уряднику легкою, свободною поступью. Так ходят царевны свободных стран и милых, увенчанные белыми цветами нагие девственницы, царевны стран, о которых не знает наш век, слишком парижский.

Урядник дохнул на Зинаиду махоркою, водкою и луком и заговорил, погано осклабясь, так что зелень и желтизна его кривых зубов полезли наружу:

— Послушай-ка, размилашечка девица, — ты тут живешь?

Зинаида простодушно дивилась его красным, грязным рукам, его красному, возбужденно-потному лицу, его загвазданным глиною тяжелым сапожищам, всем этим внешним приметам уродства бедной, грубой жизни. От этого уродства так легко и скоро отвыкали здесь, в долине жизни милой, невинной и успокоенной.

Невольно улыбаясь, Зинаида сказала:

— Да, я здесь живу, в этой колонии.

Урядник спрашивал:

— В куфарочках? Или в прачках? Ишь ты, конфетка леденистая!

Он залился тонким, резко-ржущим смехом и уже готовился начать наступательно-любезные действия, — поднял растопыренную коричневую длань и указательным перстом с черною каймою на желтом, толстом ногте прицелился, где бы ему ткнуть, щекотнуть или колуп-

нуть раскрасавицу девицу голоногую, голорукую. Но Зинаида, улыбаясь и хмурясь одновременно, отстранилась от него и сказала:

— Я — учительница в здешней школе, Зинаида Узлова.

Урядник протянул смешливо:

— Ишь ты, учительница!

Он сначала не поверил, что перед ним стоит учительница. Подумал, что веселая кухарочка или прачечка, подтыкавшаяся, чтобы удобнее мыть, стирать, варить, с ним шутит. Но всмотрелся он в лицо, каких не бывает у кухарок, всмотрелся в руки, каких не бывает у прачек, и вдруг начал верить.

Зинаида с удивлением и с любопытством глядела на этого странного, грубо и скверно ласкового человека с болтавшеюся около ног тяжелою шашкою в неуклюжих черных ножнах и спросила:

— А вы кто?

Урядник сказал с большою важностью:

— А я буду здешний полицейский урядник.

Приосанился, приосамился.

— Что же вам здесь у нас надо? — спросила Зинаида.

Урядник спрашивал, зачем-то подмигивая Зинаиде:

— Не к вам ли, раскрасавица, сбежал мальчишка тут один из города? Мать его ищет, к нам в полицию заявила. Ежели он у вас, так надо его предоставить в город.

— Да, — сказала Зинаида, — у нас гостил на этой неделе один городской мальчик. Да только мы его сегодня домой отправили. Теперь он, должно быть, уж у своей матери.

Урядник недоверчиво ухмыльнулся и спросил:

— А не врешь?

Зинаида пожала плечьми. Строго посмотрела на урядника. Сказала с удивлением:

— Что вы говорите! Как можно говорить неправду! Да и зачем же мне говорить вам неправду?

— Кто вас тут знает! — ворчал урядник. — Вам только поверь, так вы наскажете.

— Нет, — повторила Зинаида, — я вам сказала правду.

Урядник важно сказал:

— Ну то-то, смотрите. Ведь мы все равно все узнаем. Так верно домой отправили?

— Домой, к матери, — ответила Зинаида.

— Так, значит, и донесем господину исправнику, — сказал урядник.

Он приврал для важности. Послал его сюда становой пристав, а не исправник. Но для Зинаиды это было все равно. Она привыкла думать больше всего о детях и о своем деле. Грозное наименование полицейской власти не произвело на нее большого впечатления.

Урядник ушел. Он продолжал широко ухмыляться. Несколько раз оглядывался на учительницу. По дороге в город он был весел и рассеян, мечтал грубо и погано. Так мечтают дикари, ютящиеся в серых просторах наших городов, дикари, скрывающиеся под всякими личинами, щеголяющие во всяких одеждах.

Зинаида с тоскою и с печалью смотрела вслед за урядником. Грубые воспоминания о прежних днях оживали в ее душе, полной сладостными утешениями созданного Триродовым иного, блаженного бытия в тихой прохладе милого леса. Потом Зинаида вздохнула, как разбуженная от кошмарного сна полуденного. Тихо пошла она своею дорогою.

Через несколько дней триродовскую колонию посетил становой пристав. У него было такое же понимание и такое же отношение к непорочному миру Просяных Полян, как и у того полуграмотного урядника. Только выражалось это отношение в смягченном виде.

Становой пристав старался быть очень любезным. Он говорил неуклюжие комплименты Триродову и его учительницам. Но, глядя на учительниц, становой улыбался так же погано, как и урядник. Узенькие, калмыцкие глазенки его замасливались. Щеки покрывались кирпичным румянцем.

Когда девушки отошли в сторону, становой подмигнул на них Триродову и сказал вполголоса:

— Цветничок-с!

Триродов строго посмотрел на станового. Становой сконфузился и потому рассердился. Он сказал:

— Я к вам приехал, извините-с, по делу, довольно неприятному.

Оказалось, что он приехал под предлогом переговорить об устройстве положения Егорки. Кстати, он намекнул и на то, что самовольное разрытие Егоркиной могилы может послужить поводом для судебного преследования. Триродов дал становому взятку и угостил его завтраком. Становой уехал в полном восторге.

Приехал наконец к Триродову и исправник. У него было пасмурное лицо и недоступный вид. Исправник прямо заговорил о самовольном разрытии Триродовым Егоркиной могилы. Триродов сказал досадливо:

— Нельзя же было заживо погребенного мальчика оставить, чтобы он задохся в своем гробу.

Исправник возразил сурово:

— Вам следовало сообщить о ваших подозрениях настоятелю кладбищенской церкви. Он бы сделал все, что надо было сделать.

Триродов сказал:

— Сколько же бы времени прошло, пока ходили бы за священником?

Исправник, не слушая, продолжал:

— А так непорядок. Этак всякий станет разрывать могилы, так это что же будет! Он, может быть, грабить полез, а как его поймают, так он заявит, — мне, мол, послышалось, что покойничек жив и в гробу ворошится.

— Вы знаете, — возразил Триродов, — что мы пошли туда не с целью грабежа.

Исправник твердил упрямо и сурово:

— Это — непорядок.

Триродов пригласил исправника к обеду. Взятка исправнику была много крупнее, чем становому. После обильного обеда, выпивки и взятки исправник вдруг стал мягче воска. Он начал распространяться о тягостях и неприятностях своей службы. Тогда Триродов

заговорил с ним об обыске и об избиении в участке учительницы Марии. Исправник побагровел и горячо говорил:

— Верьте чести, не от меня зависело. Творю волю... Новый наш вице-губернатор, простите за выражение, сущий живодер. Тем и карьеру сделал.

Триродов спросил:

— Разве этим можно сделать карьеру?

Исправник оживленно говорил, — и видно было, что карьера нового вице-губернатора очень волнует его чиновничье сердце:

— Помилуйте, это всем известно, — он своего приятеля в пьяном виде зарезал, в сумасшедшем доме сидел, и уж как он оттуда выбрался, уму непостижимо. Поступил по протекции в губернское правление и таким аспидом себя показал, что все диву давались. Живо в советники правления выскочил. Крестьян усмирял. Изволили, может быть, слышать?

— Как не слышать! — тихо сказал Триродов.

Исправник продолжал:

— В газетах об его подвигах печатали достаточно. Кое-что и лишнего прибавили, а ему это только на руку было. Большое на него внимание обратили. Вице-губернатором сделали, так он из кожи вон лезет, еще больше отличиться хочет. В губернаторы метит. Далеко пойдет. Сам наш губернатор его остерегается. А надо вам сказать, что у нашего губернатора крепкая рука в Петербурге есть. А все-таки Ардальон Борисовичу перечить не решается.

— А вы и тем более? — спросил Триродов.

— Помилуйте-с, — говорил исправник, — вы то возьмите во внимание, какое мы теперь время переживаем. Никогда ничего подобного не бывало. Брожение среди крестьян такое, что не приведи Бог. Вот на днях у помещика Хаврюкина экономию разгромили. Все, что можно было унести, все растащили. Скотину себе мужики разобрали. Жалости достойно! Из лучших хозяев в губернии Хаврюкин считается. Крестьяне у него в кулак зажаты были. Так вот они как отплатили ему!

— Как бы то ни было, — сказал Триродов, — а мою учительницу вы все-таки истязали. Это возмутительно.

— Позвольте-с! — воскликнул исправник. — Я лично у нее извинения попрошу. Как честный человек!

Триродов велел пригласить Марию. Мария пришла. Исправник рассыпался перед нею в извинениях и расцеловал ее загорелые руки. Мария молчала. Лицо ее было бледно, и глаза горели гневно.

Исправник опасливо думал: «Этакая и убить не задумается».

Поспешил уехать.

## Глава двадцать девятая

Пожаловала в триродовскую школу и учебная полиция. Приехал инспектор народных училищ.

Местный инспектор народных училищ Леонтий Андреевич Шабалов всю жизнь прослужил в глухих лесных местностях, и потому он был почти совсем одичалый человек. Рослый, дюжий, лохматый, нескладный, он и наружностью смахивал на вологодского или олонецкого медведя. Лицо его обросло густою бородою. Крутые волосы над низким лбом лезли к бровям. Из красного носа, из громадных ушей торчали черные волосы. Спина была широка и сутуловата, как большое корыто.

Служившим в его районе учителям и учительницам Шабалов часто говаривал, произнося слова медленно и сипло:

— Мне, батенька (или «голубушка», если перед ним была учительница), не надобно выдающихся учителей. Я умников да умниц не люблю, модницам и щеголям не потатчик. Главное, батенька, в жизни и в службе — не заноситься. У меня, батенька, выполняй казенную программу и сиди себе смирно, и благо тебе будет. Программу-то учебную составляли люди не глупее нас с вами, так нам с вами о программах мудрствовать не приходится. Так-то, батенька!

Но при всем своем почтении к учебным программам учебное дело Шабалов знал плохо. Вернее сказать, не знал вовсе. Да и не интересовался им. Был даже не очень грамотен. Свое инспекторское место получил он больше в награду за богомольность, патриотизм и правильный образ мыслей, чем за труды по народному образованию.

Служил он в молодости помощником классных наставников в гимназии. Там он исправным посещением служб в гимназической церкви и громогласным чтением «Апостола» обратил на себя внимание старой ханжи-генеральши. Она и выхлопотала ему место инспектора.

Он ничем не мог помочь молодым и малоопытным учителям и учительницам. Посещая школы, он ограничивался только наружным осмотром их да задавал ученикам несколько немудреных вопросов, больше по части благочестия, «любви к отечеству и народной гордости».

Больше всего любил Шабалов собирать слухи и сплетни. Он делал это с большим умением и усердием. Эту его слабость все знали. Потому было много охотников посплетничать и донести. Находились такие даже из числа учителей и учительниц, чтобы подслужиться и выслужиться. Однажды донесли Шабалову, что учителя и учительницы нескольких соседних школ собрались вечером под праздник в одной школе и там пели песни. Всем им он немедленно разослал такие бумаги:

М. Н. П.

РУБАНСКИЙ
Учебный округ

ИНСПЕКТОР
народного училища
1-го района

СКОРОДОЖСКОЙ ГУБ.
16 сентября 1904 г.
№ 2187
г. Скородож

Господину учителю Вихляевского
одноклассного сельского училища
Ксенофонту Полупавлову

До сведения моего дошло, что Вы, Милостивый Государь, 7 сего сентября, вечером, участвовали в устроенном без надлежащего разрешения собрании учителей и учительниц вверенного мне района и вместе с ними пели песни светского и отчасти даже предосудительного содержания. Посему прошу Вас, Милостивый Государь, на будущее время не позволять себе подобных незаконных деяний, не соответствующих званию педагога, предупреждая Вас, что при повторении таковых поступков Вы будете немедленно уволены от службы.

*Инспектор Шабалов*

Другой раз он писал тому же учителю:

При посещении мною школ вверенного мне района обнаружилось, что некоторые учителя и учительницы, в том числе и Вы, Милостивый Государь, выходят из пределов утвержденной для начальных училищ программы, сообщая учащимся сведения из истории и географии, народу не нужные, а потому, в подтверждение сделанных мною лично Вам словесных указаний, прошу Вас на будущее время строго придерживаться установленных программ, предупреждая Вас, что в противном случае Вы будете уволены от службы.

Особенно не нравилось Шабалову участие некоторых учителей и учительниц в местном педагогическом кружке. В городе Скородоже существовал педагогический кружок. Он был основан года три тому назад учителем гимназии Бодеевым и учителем городского училища Воронком. В этом кружке разбирались многие вопросы воспитания, обучения и устройства школ. Эти вопросы интересовали в те годы учащих и родителей, — из тех, конечно, которые способны были заинтересоваться какими-нибудь вопросами. Некоторые сельские учителя и учительницы читали в этом кружке свои доклады. Особенно досадно было Шабалову то, что в этих докладах рассказывалось иногда о кое-каких случаях из жизни школ и о странных выходках учебного начальства. Шабалов захотел уволить дерзких. Уездный училищный совет с ним не соглашался. Произошел продолжительный и неприятный спор. Из этого спора Шабалов не вышел победителем.

Разговаривать с Шабаловым было для Триродова тяжело и неприятно.

Шабалов говорил медленным, скрипучим голосом:

— Вам, Георгий Сергеевич, придется послать ваших воспитанников к нам в город на экзамен.

— Зачем это надо? — спросил Триродов.

Шабалов посмеялся скрипучим, — «хе-хе», — смешком и говорил:

— Да уж надо. Аттестаты дадим.

— Да зачем им аттестаты ваши? — спросил Триродов. — Им знания нужны, а не аттестаты. Ваши аттестаты их не накормят.

Шабалов объяснил:

— Аттестаты нужны для воинской повинности.

Триродов говорил:

— Они будут учиться у меня, пока не окажутся готовыми или к практической деятельности, или к занятиям науками или искусствами. Тогда одни пойдут в технические школы, другие в университеты. Зачем же им ваши аттестаты о знании курса начальной школы?

Шабалов повторял тупо и упрямо:

— Нельзя так. Ваша школа считается, изволите видеть, начальною. Оканчивающим в ней надо дать аттестаты. Как же иначе, посудите сами! А если хотите дальше учить, так вам следует выхлопотать гимназию частную, или реальное училище, или там коммерческое, что ли. А так нельзя. И тогда вам вместо босоножек ваших дешевеньких придется взять настоящих учителей.

Триродов возразил:

— У моих босоножек дипломы и познания такие же, как и у настоящих, по вашему выражению, учителей. Странно, что вы этого не знаете или не помните. А зарабатывают они у меня так достаточно, что дешевенькими назвать их я бы затруднился. Да и вообще мне кажется, что по отношению к частным школам вам, так называемому учебному начальству, достаточно было бы ограничиться чисто внешним, полицейским надзором, исключительно отрицательного характера. Наблюдали бы только, не делаем ли мы чего-нибудь преступного. А до устройства школ какое вам дело? У вас и своих-то школ так мало, и так они плохи, что вам с ними много дела.

Шабалов твердил уныло:

— Да нет, все-таки экзамен надо сделать. Как же это вы не понимаете? И господин директор народных училищ хочет быть у вас на экзамене. А что вы говорите, так у нас есть инструкция от министерства, и мы не можем рассуждать. Наше дело — исполнять.

Триродов сказал холодно:

— Приезжайте сами, если вам надо непременно экзаменовать.

Шабалов подумал. Сказал:

— Ладно, я доложу о вашем желании господину директору народных училищ. Не знаю, как он посмотрит, но я доложу.

Еще немного подумал. Потерся облеченною в синий мундирный сюртук спиною о спинку кресла, — засаленным, полинялым сукном о красивую темно-зеленую кожу, — и сказал:

— Если господин директор согласится, мы назначим день и вам бумажку пришлем, а уж вы нас ждите.

Через несколько дней Шабалов прислал сообщение, что экзамен в школе Триродова назначается тридцатого мая, в десять часов утра, в помещении школы.

Это вмешательство учебной полиции было досадно Триродову. Но приходилось подчиняться.

## Глава тридцатая

У Кирши было в городе много знакомых мальчиков. Некоторые из них учились в гимназии, другие в городском училище. Знаком был Кирша и с девочками местными, которые учились в женской гимназии. Он много рассказывал Триродову о делах и о порядках в этих училищах. Много было в этих делах странностей и неожиданностей.

Особенно интересовала в последнее время Триродова личность директора народных училищ Дулебова. В ведении этого человека числилась и школа, устроенная Триродовым. Числилась, хотя пользы никакой Дулебов школе не приносил. Он совершенно безучастно относился к тем наветам, которые возводились на священника Закрасина, и не защищал его перед епархиальным архиереем. Он и подчиненный ему инспектор народных училищ засыпали Триродова бумагами, требованиями разных отчетов по установленной форме, так что Триродову пришлось приговорить маленького чиновника из казначейства приходить по вечерам строчить всю эту вздорную ерунду. Но ни Ду-

лебов, ни Шабалов ни разу не заглядывали в триродовскую школу. Когда Триродову случалось быть в канцелярии директора, то разговор шел больше о документах учительниц и о других пустых формальностях или о личных отношениях.

Наговоры Острова или его черносотенных друзей встревожили Дулебова. Во избежание неприятностей Дулебов решил воспользоваться первым же случаем, чтобы закрыть школу Триродова.

Директор народных училищ действительный статский советник Григорий Владимирович Дулебов метил на более высокое место в учебном ведомстве. Поэтому он старался зарекомендовать себя выдающеюся трудоспособностью и знанием дела. Усидчивость его была изумительная. Казалось, что он никогда и никуда не торопился. Приемы подчиненных и просителей, бывавшие у него по четвергам от часу до трех, как было написано на бумажке на дверях его канцелярии, на самом деле начинались иногда в одиннадцать утра и продолжались до позднего вечера. С каждым посетителем Дулебов разговаривал неторопливо, вникая в малейшие подробности.

Но Дулебов, конечно, очень хорошо знал, что с одною трудоспособностью, хотя бы и выдающеюся, далеко не уйдешь. Необходимо культивировать связи и отношения. Влиятельных тетушек и бабушек у Дулебова не было. Потому связи и отношения приходилось заводить ему самому. И вот в течение всей своей двадцатипятилетней службы на должностях сначала учителя гимназии и учительской семинарии, а потом директора народных училищ Дулебов непрерывно и умело заботился о том, чтобы вставать в наилучшие отношения со всеми, кто стоял по службе выше его или вровень с ним. При этом старался он не портить отношений и с младшими, — на всякий случай: младшие становятся иногда старше старших; да и в младших оставаясь, могут повредить при случае или оказать пользу.

Никогда не сделать ни одного бестактного поступка — в этом была главная заповедь всей жизни Дулебова. Он очень хорошо знал, что те или иные поступки хороши не сами по себе и что самое главное — это «как там посмотрят». Там, то есть у начальства. Начальство благо-

волило к Дулебову. Ему уже почти обещано было место помощника попечителя учебного округа.

Сообразно своим воззрениям на существо личных отношений Дулебов смотрел и на своих подчиненных. Тем, кто был почтителен к нему и к его жене, он покровительствовал, старался устроить получше. В случае неприятностей таких он защищал, хотя и очень осторожно, чтобы не повредить своему собственному положению. Непочтительных же и независимых Дулебов недолюбливал и ходу им не давал.

Усмотревши восходящее светило в новом вице-губернаторе, только что назначенном на эту должность из советников губернского правления, Дулебов постарался встать и к нему в приятные отношения. Однако с ним Дулебов держался так осторожно, чтобы его нельзя было заподозрить в излишней близости к этому злому, угрюмому и плохо воспитанному человеку и к его вульгарной жене.

Дулебов имел приятные манеры, моложавое лицо и тонкий голос, похожий на поросячий визг. В движениях был он легок и ловок. Никто не видел его пьяным, и в гостях он или не пил совсем, или ограничивался рюмкою мадеры. Он всюду ездил со своею женою. Говорили, что она управляет всеми делами и что Дулебов во всем ее слушается.

Жена директора, Зинаида Григорьевна, была полная, энергичная и сердитая дама. Ее остриженные волосы начинали седеть. Она очень ревниво относилась к своему влиянию и отстаивала его энергично.

По приглашению Дулебова вице-губернатор посетил городское училище. Приглашая вице-губернатора, Дулебов имел в виду, собственно, привезти его в триродовскую школу. Он хотел в случае закрытия этой школы иметь право говорить, что почин закрытия этой школы исходил от губернского начальства, но Дулебов не хотел приглашать вице-губернатора прямо в триродовскую школу, чтобы не могли сказать, что он сделал это нарочно. Поэтому он уговорил вице-губернатора приехать на экзамен в городское училище накануне того дня, который назначен был для экзамена в триродовской школе.

Городское училище стояло на одной из захолустных, грязных улиц. Внешний вид его был очень непривлекателен. Грязный, обшарпанный деревянный дом казался построенным скорее для трактира, чем для школы. Это не помешало Дулебову сказать встретившему его инспектору училища:

— У вас сегодня будет новый вице-губернатор. Я его пригласил к вам потому, что у вас хорошее училище.

Инспектор Потерин, увиваясь вокруг Дулебова и его жены, растерянно говорил:

— Здание у нас уж очень неказистое.

Дулебов ласково улыбнулся и благосклонно отвечал:

— А уж не в здании дело, — самое училище хорошее. Ценится постановка учебной части, а не стены.

Вице-губернатор приехал попозже, часов в одиннадцать, вместе с Жербеневым, который был почетным смотрителем училища.

В училище было напряженное настроение. Учителя и ученики одинаково дрожали перед начальством. Глупые и пошлые сцены с директором в городском училище были Дулебову привычны и не смущали его. И Дулебов, и его жена топорщились от важности. Они получили на днях известие, что назначение Дулебова помощником попечителя — вопрос решенный.

Инспектор Шабалов был в училище уже с утра. Занялся тем, что пристроился к Зинаиде Григорьевне Дулебовой и с неожиданною, грубоватою любезностью оказывал ей разные услуги.

Учитель-инспектор Михаил Прокопьевич Потерин держал себя как лакей. Иногда даже видимо было, как он дрожал перед Дулебовыми. А чего бы, казалось, ему бояться? Он был большой патриот; был членом черносотенного союза. Брал взятки, поколачивал учеников, сильно выпивал, — все ему с рук сходило.

Зинаида Григорьевна Дулебова экзаменовала выпускных учеников по французскому и немецкому языкам. Этим предметам учились только желающие. Уроки французского языка давала жена инспектора Потерина. Она еще не очень хорошо усвоила методу Берлина и глядела на

Дулебова подобострастно. Но втайне была озлоблена — своею бедностью, приниженностью, зависимостью.

Потерин языков не знал. Но он сидел тут же и злобно шипел на отвечавших небойко или вовсе молчавших на вопросы:

— Этакий пень! Остолоп! Дубина!

Дулебова сидела неподвижно и словно не слышала этого усердного шипения и этих грубых слов. Она даст волю своему языку попозже, во время завтрака.

Для начальства и для учителей был приготовлен завтрак. Он стоил много забот и волнений жене Потерина. Стол был накрыт в зале. Здесь в обычные дни возились и дрались на переменах мальчишки. Сегодня их сюда не пускали. Они шумели и озорничали на дворе.

На почетном месте сидела Дулебова, по обе ее стороны вице-губернатор и Жербенев; Дулебов поместился рядом с вице-губернатором. Был подан пирог. Потом разносили чай. Зинаида Григорьевна жучила учительских жен и учительниц. Она любила сплетни. Впрочем, кто же их не любит! Учительские жены сплетничали ей.

Во время завтрака мальчишки, поместившись в соседнем классе, распевали:

Что за песни, что за песни
Распевает наша Русь!
Уж что хочешь, хоть ты тресни,
Так не спеть тебе, француз.

И другие песни в том же духе.

Дулебов обтер лицо правою рукою, — словно кот лапкою умылся, — и завизжал:

— А уж вот слышно, что к нам скоро приедет маркиз Телятников.

Потерин сказал:

— Он не по нашему ведомству.

Но все его лицо перекосилось от ужаса.

Дулебов говорил тоненько:

— Все равно, у него большие полномочия. Он все может.

Вице-губернатор сумрачно глянул на Потерина и сказал угрюмо:

— Он вас всех подтянет.

Потерин помертвел и взмок. Начался разговор о маркизе Телятникове. Заговорили в связи с этим о революционном настроении в той местности.

Везде в окрестных лесах появились революционные прокламации. На дереве срезывали кусок коры величиною с лист бумаги и на это место наклеивали прокламацию. Снять такой лист было невозможно: он заплывал прозрачным тонким слоем смолы. Усердным блюстителям порядка приходилось вырубать или соскабливать ножом преступные места.

Зинаида Григорьевна Дулебова сказала:

— Надо полагать, что это выдумка нашего химика, господина Триродова.

— Конечно, — поддакнула подобострастная сухая девица, учительница немецкого языка.

Зинаида Григорьевна повернулась к Потериной, чтобы оказать особую любезность хозяйке своим разговором, и спросила ее с насмешливою улыбкою:

— Как вам нравится наш пресловутый декадент?

Учительница попыталась понять. На ее тупом, плоском лице появилось выражение испуга. Она робко спросила:

— Это кто же, Зинаида Григорьевна?

— Кто же, как не господин Триродов! — злобно ответила Дулебова.

Злость была по адресу Триродова, но Потерина все же струхнула.

— Ах да, Триродов, как же, как же, — суетливо и растерянно повторяла она и уже не знала, что сказать.

Дулебова язвительно говорила:

— Вот уж, кажется, не скоро рассмеется. Вполне в вашем вкусе.

Потерина покраснела и воскликнула:

— В моем вкусе! Ой, что вы, Зинаида Григорьевна! Вот-то уж, по пословице, царского слугу согнуло в дугу.

Жена учителя Кроликова сказала:

— Да, он всегда смотрит исподлобья и ни с кем не разговаривает. Но он очень добрый человек.

Дулебова метнула на нее злой взор. Кроликова помертвела от страха и догадалась, что надо было сказать не то.

Поправилась:

— Добрый человек на словах.

Дулебова улыбнулась ей благосклонно.

Жербенев говорил Дулебовой:

— А знаете, что я вам скажу? Я таки повидал людей на своем веку, скажу не хвастаясь. И по-моему, это очень плохая примета, что он исподлобья глядит.

— Конечно, — согласилась Потерина. — Вот уж истинная правда!

Жербенев говорил:

— Пусть человек смотрит мне прямо в лицо. А эти — в тихом омуте...

Полковник не договорил. Дулебова сказала:

— Откровенно скажу, не люблю я этого вашего поэта. Не могу я его понять. Какой-то он странный. Что-нибудь есть за ним скверное.

— Все у него подозрительное, — сказал Жербенев с видом человека, знающего многое.

Говорили, что у Триродова и у других ведется сбор денег на восстание. При этом выразительно поглядывали на учителя Воронка. Воронок возражал. Но уже его не слушали. Злые речи о Триродове полились рекою. Говорили, что в доме Триродова притаилась подпольная типография и что там работали не только учительницы, но даже и воспитанники Триродова. Дамы с ужасом восклицали:

— Малыши-то такие!

— Да, вот вам и малыши!

— Нынче нет детей.

Воронок сказал:

— Вот, говорят, при полиции девятилетний сидит.

— Бунтовщик, — свирепо сказал вице-губернатор.

Потерин сказал:

— Да, я вот еще слышал, что один тринадцатилетний мальчишка арестован. Такой маленький поганец, а он бунтует, шалыган!

Вице-губернатор сказал угрюмо:

— Этот с дедом в Сибирь идет.

Воронок весь покраснел и спросил:

— За что же это?

— Смеялся, — угрюмо буркнул вице-губернатор.

Дулебов поспешно и громко спросил Потерина:

— А уж у вас, надеюсь, бунтовщиков нет?

Потерин говорил:

— Нет, сохранил Бог, ничего такого. А только надо правду сказать, уж очень распущенные нонче дети.

Дулебов с покровительственною ласковостью опять сказал ему:

— А уж у вас хорошее училище. Порядок образцовый!

Потерин расцвел. Расхвастался:

— Да уж я умею подтянуть. Держу их строго.

— Спасительная строгость, — сказал директор.

Поощренный этими словами, учитель-инспектор спросил:

— Можно бы и посечь?

Дулебов увильнул от прямого ответа. Отер лицо ладонью, как кошка лапкою, и заговорил о другом.

Начались умилительные воспоминания о добром старом времени. Рассказывали, как, когда и кого секли.

— Секут и нонче, — с тихою радостью сказал Шабалов.

## Глава тридцать первая

После завтрака перешли в учительскую комнату. Курящие закурили. Жена учителя Муралова улучила минуту, когда Дулебова отошла в сторону. Она бочком, осторожно, подобралась к Дулебовой и шепотом рассказывала ей о том, как Потерин берет взятки. Из разговора шепотом выделялись отдельные фразы и слова:

— Заметили, Зинаида Григорьевна?

— А что?

— Наш-то инспектор щеголяет в перчатках.

— Да?

— Перчатки! Желтые!

— А что?

— На взятки.

Зинаида Григорьевна обрадовалась, оживилась. Долго было слышно шушуканье злых баб, и раздавался их змеиный шип-смех.

Потом дамы с Шабаловым и с Воронком пошли кончать экзамен. Дулебов с вице-губернатором отправились ревизовать библиотеку. Их сопровождал Потерин. Все было в исправности. Толстые томы Каткова мирно дремали (пыль на них была стерта накануне). Только вот смирдинские издания сороковых годов заподозрил Дулебов.

— А уж это неудобно, — визжал он, косясь на вице-губернатора. — Нигде в каталогах одобренных книг нет их.

Потерин воспользовался случаем поинсинуировать на учителей. Доносил, что Воронок в церковь не ходит и для каких-то чтений учеников к себе собирает.

— А уж надо с ним поговорить, — сказал Дулебов. — Пригласите его в ваш кабинет, я с ним поговорю. А вы пока покажите Ардальону Борисовичу кабинет учебных пособий.

В кабинете Потерина Дулебов и Воронок долго разговаривали.

— Я не касаюсь ваших убеждений, — говорил директор, — но я должен поставить вам на вид, что вносить политику в школы невозможно. Дети не могут в этих вопросах разобраться. Это их развращает.

Воронок сказал сдержанно:

— Агентурным сведениям не всегда можно верить.

Дулебов слегка покраснел. Сказал досадливо:

— Мы не заводим агентов, но у нас много знакомых. Мы здесь давно живем. Мы не можем не слушать того, что нам рассказывают.

Всех бывших на экзамене почетный смотритель Жербенев пригласил к себе на обед. Только один Воронок отказался. Пришли и приехали и все, кто был в училище, и еще многие, кого Жербенев пригласил по этому случаю. Были Глафира Павловна и Кербах. Обед был долгий и обильный. За обедом и после обеда было много выпито. И все

опьянели. Один Дулебов был трезв. Только слегка разрумянился от ликеров, — он очень их любил.

Члены черносотенного союза воспользовались случаем сказать Дулебову и вице-губернатору злое о Триродове. Заговорили о триродовской школе, — и разговоры были пошлые.

— Фотографией занимается, — большой любитель.

— Зазовет к себе детей, разденет догола и снимает.

— Да у него и в лесу ребятишки нагишом бегают.

— Что ребятишки! И учительницы.

— Голые не голые, а босиком так они постоянно.

Жербенев сказал:

— Как простые бабы.

— Да, — сказал вице-губернатор, — бабы босиком ходят, а это очень безнравственно. Надо запретить.

— Бедные люди, — сказал кто-то.

Вице-губернатор сердито сказал:

— Это — порнография.

И все ему вдруг поверили. Вице-губернатор угрюмо говорил:

— Он на нас жалуется, что будто бы мы его учительницу выдрали. Но это он врет. Это он сам ее выдрал. Нам не нужно девок драть, — это ему нужно, потому что он очень развратный.

Говорили, что Триродов с хлыстами очень дружит. Кербах говорил:

— Лошадей завел, экипажи, а я знаю человека, который его голяком знал. Подозрительно, откуда у него деньги.

Глафира Павловна смотрела на Шабалова и шептала Дулебову:

— Он, я знаю, патриот, но у него ужасные манеры.

Дулебов говорил:

— Он очень глуп и неразвит, но усерден. Если его направлять как следует, то он может быть полезен.

Утром директор народных училищ поехал в триродовскую школу в Просяных Полянах. Поехали еще вице-губернатор и Шабалов. Собрались все в доме дирекции. Уселись в разные экипажи. Все после вчерашней выпивки были еще немного под парами. Среди прекрас-

ной природы вели пошлые, полупьяные разговоры. Все это имело вид прогулки на пикник.

Зинаида Григорьевна Дулебова ехала с Кербахом. Они вели язвительные разговоры. Перемывали косточки всем знакомым. Госпожа Дулебова рассказывала о перчатках Потерина. Потом рассказала о самоубийстве свояченицы другого инспектора. Она утопилась будто бы потому, что боялась, как бы у нее от него не родился ребенок. Потом рассказала, как третий инспектор напился в бане и там подрался с городским головою.

Шабалов ехал с Жербеневым в его коляске. Говорил:

— Закусить бы теперь хорошо.

Жербенев уверенно ответил:

— Там дадут.

Гости были уверены, что их ждут. Зинаида Григорьевна Дулебова говорила:

— Самое интересное припрятано.

Кербах сказал:

— Ну мы разведаем.

Было раннее, свежее утро. Дорога шла лесом. Ехали уже долго. Стало казаться, что без конца повторяются все одни и те же полянки и перелески, холмы, ручьи, мосты. Стали спрашивать кучеров:

— Да туда ли ты едешь?

— Да никак ты с дороги сбился?

— Кажись, туда.

Над домом Триродова видны были две башенки. Они остались вправо. И все никак было не найти дороги. И уже долго плутали. Дороги извивались и разветвлялись. Наконец кучер переднего экипажа остановил лошадей. За ним остановилась и вся вереница экипажей.

— Надо поспрошать кого-нибудь, — сказал кучер. — Вон мальчуган какой-то идет.

Из лесу по дороге шел лет десяти босоногий мальчик. Шабалов закричал ему свирепым голосом:

— Стой!

Мальчик глянул на экипажи. Спокойно продолжал свой путь. Шабалов заорал неистово:

— Стой, паршивец! Шапку сними! Видишь, господа едут, — что не кланяешься?

Мальчик остановился. С удивлением смотрел на этот ряд разнокалиберных экипажей, не снимая шапки. Дулебова решила:

— Да это просто идиот какой-то!

— А вот мы его разговорим, — сказал Кербах.

Он вышел из экипажа и пошел к мальчику, спрашивая:

— Ты знаешь, где школа Триродова?

Мальчик молча показал рукою одну из дорог. Быстро убежал, скрывшись где-то в кустах.

И вот наконец дорога пошла вдоль забора. Все вокруг было пустынно и тихо. Никто не ждал, по-видимому, гостей и не думал встречать их.

Наконец подъехали к воротам в ограде. Осмотрелись. Было очень тихо. Никого нигде не было видно. Шабалов соскочил с дрожек и принялся искать звонок. Госпожа Дулебова, раздражаясь, говорила:

— Да что это такое!

Попытались сами открыть калитку и не смогли. Шабалов закричал:

— Отворите! Черти, дьяволы, чего вы там заперлись, окаянные!

Госпожа Дулебова унимала Шабалова. Шабалов оправдывался:

— Извините, Зинаида Григорьевна. Да ведь досадно. Если бы я приехал, ну подождал бы. Хотя и со мной было бы невежливо, — я им начальник. А то ведь досадно. Высшее начальство пожаловало, а они и ухом не ведут.

Наконец калитка открылась, вдруг и бесшумно. Мальчик в белой рубашке и белых коротких панталонах, загорелый, с голыми ногами, стоял на пороге. Рассерженный Дулебов завизжал:

— Здесь помещается школа Триродова?

— Здесь, — сказал мальчик.

Гости вошли и очутились на лесной лужайке. Три босые девушки неторопливо шли им навстречу. Это были учительницы. Надежда Вещезерова смотрела на Дулебову черными, широкими глазами. Дулебова шептала вице-губернатору:

— Вот, полюбуйтесь. С этой девицей скандальная история была, а он ее взял.

Дулебова знала всех в городе, и особенно хорошо знала всех, с кем случилась какая-нибудь неприятность.

Вышел и Триродов, в летней белой одежде. Он с усмешкою смотрел на пеструю орду гостей.

Гостей встретили вежливо. Но директору не понравилось, что не было никакой почтительности и не заметно было никаких приготовлений. Учительницы были просты, как всегда. Дети и учительницы были босые — и это очень не понравилось Дулебову. Наивности детей раздражали посетителей. Дети простодушно смотрели на посетителей. Некоторые кланялись, другие — нет.

Шабалов крикнул:

— Сними шапку!

Мальчик снял шапку и протянул ее Шабалову. Сказал:

— На.

Шабалов сердито проворчал:

— Болван.

И отвернулся. Мальчик с удивлением смотрел на него.

Дулебову и особенно его жене было досадно, что для них не приоделись и даже не обулись. Вице-губернатор смотрел тупо и злобно. Ему все сразу не понравилось. Дулебов, морщась, спрашивал:

— Неужели они так всегда?

— Всегда, Владимир Григорьевич, — ответил Триродов. — Они привыкли.

— Но это неприлично! — сказала Дулебова.

— Только это и прилично, — возразил Триродов.

## Глава тридцать вторая

В доме на лесной полянке окна были открыты настежь. Щебетание птиц было слышно, и доносились свежие и сладостные запахи цветущих трав. Туда собрались дети, пришли взрослые, и началась

глупая комедия экзамена. Дулебов стал перед образом с краю скамеек, принял величественный вид и воскликнул:

— Дети, встаньте на молитву.

Дети встали. Дулебов ткнул пальцем в грудь черноглазого малыша и крикнул:

— Читай ты.

Этот резкий, тонкий вскрик и это движение пальцем в детскую грудь так были неожиданны для мальчугана, что он вздрогнул и икнул. Кто-то засмеялся сзади. Кто-то зашикал на смешливого. Дулебова переглянулась с Кербахом, пожала плечами и изобразила на своем лице ужас.

Мальчик быстро оправился и прочитал молитву перед учением. Дулебов приказал:

— Садитесь, дети.

Дети сели на свои места, и взрослые важно уселись за стол, по чинам. Посередине вице-губернатор и Дулебов, остальные справа и слева. Дулебова беспокойно оглядывалась. Лицо у нее было очень сердитое. Наконец она сказала басистым, странно для дамы грубым голосом:

— Закройте окна, — птицы кричат и ветер. Невозможно заниматься.

Триродов посмотрел на нее с удивлением. Потом тихо сказал Надежде:

— Закройте окна. Гости наши не выносят свежего воздуха.

Окна были закрыты. Дети с досадливою печалью посмотрели на докучные стекла.

Задана была письменная работа. Для нее прочли рассказец из детской хрестоматии, которую Шабалов привез с собою. Дулебов приказал:

— Изложите своими словами.

Мальчики и девочки потянулись было к своим перьям, но Дулебов остановил их и сказал длинное и скучное наставление, как следует писать заданное сочинение. Потом сказал:

— Пишите.

Дети писали. Было тихо. Написавшие отдавали свои листки учительницам. Дулебов и Шабалов тут же просматривали эти листки. Старались найти ошибки. Но ошибок было мало. Потом была диктовка.

Дулебова все время смотрела угрюмо и моргала часто. Триродов пытался заговорить с нею. Но сердитая дама отвечала так неласково, что Триродов с трудом воздерживался от улыбки. И наконец оставил злую бабу в покое.

После письменных работ Триродов предложил непрошеным гостям завтрак.

— Мы к вам так долго ехали, — визжал Дулебов, словно объясняя, почему не отказывается от завтрака.

Дети разбежались в лесу недалеко и играли. А большие перешли в соседний дом, где приготовлен был завтрак. Во время завтрака разговоры были напряженные и придирчивые. Дулебовы придумывали глупые шпильки и грубые намеки. Их спутники старались не отставать от них в этом. И каждый упражнялся по-своему в злых и колких словах.

Тут же было несколько триродовских учительниц. Дулебова смотрела на них с притворным ужасом и шептала Кербаху:

— У них ноги в земле запачканы.

После затрака вернулись в школу. Расселись на те же места. Начали устный экзамен. Дулебов наклонился к списку и вызвал сразу трех мальчиков. Каждого спрашивали сначала по Закону Божию, потом сразу же по русскому языку и по арифметике.

Все очень придирались ко всему. Дулебов был все недоволен. Он задавал такие вопросы, чтобы из ответов было видно, внушены ли детям высокие чувства любви к отечеству, верности монарху и преданности православной церкви. Одного мальчика он спросил:

— Какая страна лучше, Россия или Франция?

Мальчик подумал немного и сказал:

— Не знаю. Кто где привык, тому там и лучше.

Дулебова язвительно засмеялась. Шабалов наставительно говорил:

— Матушка-Россия православная! Разве можно какое-нибудь государство равнять с нашим! Слышал, как нашу родину называют? Святая Русь, мать-Россия, святорусская земля, а ты — болван, остолоп и свиненыш. Если ты своего отечества не любишь, то куда же ты годишься?

Мальчик краснел. На глазах его блестели слезинки. Дулебов спросил:

— Ну скажи мне, какая вера на свете самая лучшая?

Мальчик задумался. Шабалов злорадно спрашивал:

— Неужели и этого не можешь сказать?

Мальчик сказал:

— Когда кто искренно верует, это и есть лучшая вера.

— Этакий пень! — с убеждением сказал Шабалов.

Триродов посмотрел на него с удивлением. Сказал тихо:

— Искренность религиозного настроения, конечно, лучший признак спасающей веры.

— Об этом мы поговорим после, — строго завизжал Дулебов. — А уж теперь неудобно препираться.

Триродов улыбнулся и сказал:

— Когда хотите. Мне все равно, когда препираться.

Дулебов, красный и взволнованный, встал со своего кресла и подошел к Триродову. Сказал:

— Мне с вами необходимо переговорить.

— Пожалуйста, — с некоторым удивлением сказал Триродов.

— Пожалуйста, продолжайте, — сказал Дулебов Шабалову.

Дулебов и Триродов ушли в соседнюю комнату. Разговор очень скоро принял резкий характер. Дулебов придумывал дикие обвинения. Говорил запальчиво:

— Я много дурного слышал, но действительность превосходит все ожидания.

— Что же именно дурного? — спросил Триродов. — И в чем действительность превзошла сплетню?

— Я не собираю сплетен, — взволнованно визжал Дулебов. — Я своими глазами вижу. Это не школа, а порнография!

Голос его уже совсем перешел на свинячьи ноты. Он стукнул ладонью по столу. Звякнуло золотое кольцо обручальное. Триродов сказал:

— Я вот тоже слышал, что вы — человек сдержанный. Но сегодня уже не первый раз замечаю ваши порывистые движения.

Дулебов постарался успокоиться. Сказал потише:

— Да ведь это возмутительная порнография!

— А что вы называете порнографиею? — спросил Триродов.

— А уж вы не знаете? — с насмешливою улыбкою отвечал Дулебов.

— Я-то знаю, — сказал Триродов. — По моему разумению, всякий блуд словесный, всякое искажение и уродование прекрасной истины в угоду низким инстинктам человека-зверя — вот что такое порнография. Ваша казенная трижды проклятая школа — вот истинный образец порнографии.

— Они у вас голые ходят! — визжал Дулебов.

Триродов возразил:

— Они будут здоровее и чище тех детей, которые выходят из ваших школ.

Дулебов кричал:

— У вас и учительницы голые ходят. Вы набрали в учительницы распутных девчонок.

Триродов спокойно сказал:

— Это — ложь!

Директор говорил резко и взволнованно:

— Ваша школа, — если это ужасное, невозможное учреждение позволительно называть школою, — будет немедленно же закрыта. Я сегодня же сделаю представление в Округ.

Триродов резко возразил:

— Закрывать школы вы умеете.

Скоро гости сердито уехали. Дулебова всю дорогу шипела и негодовала.

— Субъект явно неблагонадежный, — говорил Кербах.

## Глава тридцать третья

Петр и Рамеев приехали к Триродову вместе. Рамеев не раз говорил Петру, что он был очень резок с Триродовым и что это надо чем-нибудь загладить. Петр соглашался очень неохотно.

Речь опять зашла о войне. Триродов спросил Рамеева:

— Вы, кажется, видите в этой войне только политический смысл?

— А вы его разве отрицаете? — спросил Рамеев.

— Нет, — сказал Триродов, — очень признаю. Но, по-моему, кроме глупых и преступных деяний тех или других лиц, есть и более общие причины. У истории есть своя диалектика. Была бы война или не была бы, все равно в той или иной форме непременно произошло бы роковое столкновение, начался бы решительный поединок двух миров, двух миропониманий, двух моралей, Будды и Христа.

— В учении буддизма есть много сходства с христианством, — сказал Петр, — только тем оно и ценно.

— Да, — сказал Триродов, — на первый взгляд немало сходного. Но в существенном эти два учения — полярно противоположны. Это — утверждение и отрицание жизни, ее «да» и «нет», ирония и лирика. Утверждение, «да», — христианство; отрицание, «нет», — буддизм.

— Мне кажется, что это слишком схематично, — сказал Рамеев.

Триродов продолжал:

— Схематизируем для ясности. Настоящий момент истории для этого особенно удобен. Это — зенитный час истории. Теперь, когда христианство вскрыло извечную противоречивость мира, теперь и происходит обостренная борьба этих двух миропониманий.

— А не борьба классов? — спросил Рамеев.

— Да, — сказал Триродов, — и борьба классов, насколько в социальную борьбу входят два враждебные фактора — социальная справедливость и реальное соотношение сил, — общественная мораль, — она всегда статична, — и общественная динамика. В морали — христианский элемент, в динамике — буддийский. Слабость Европы в том и состоит, что ее жизнь давно уже пропитывается буддийскими, по существу, началами.

Петр сказал уверенно, тоном молодого пророка:

— В этом поединке восторжествует христианство. Не историческое, конечно, не теперешнее, — а христианство Иоанна и Апокалипсиса. И восторжествует оно тогда, когда уже дело будет казаться погибшим и мир будет во власти желтого антихриста.

— Я думаю, это не так будет, — тихо сказал Триродов.

— Что же, по-вашему, восторжествует Будда? — досадливо спросил Петр.

— Нет, — спокойно возразил Триродов.

— Дьявол, может быть? — воскликнул Петр.

— Петя! — укоризненно сказал Рамеев.

Триродов слегка склонил голову, словно смутился, и сказал спокойно:

— Мы видим два течения, равно могучие. Странно думать, что одно из них победит. Это невозможно. Нельзя уничтожить половину всей исторической энергии.

— Однако, — сказал Петр, — если не победит ни Христос, ни Будда, что же нас ждет? Или прав этот дурак Гюйо, который говорит о безверии будущих поколений?

— Будет синтез, — возразил Триродов. — Вы его примете за дьявола.

— Это противоестественное смешение хуже сорока дьяволов! — воскликнул Петр.

Скоро гости уехали.

Кирша пришел без зова, смущенный и встревоженный чем-то неопределенно. Он молчал, — и черные глаза его горели тоскою и страхом. Подошел к окну, смотрел, — и, казалось, ждал чего-то. Казалось, что он видит далекое. Темные, широко раскрытые глаза словно были испуганы странным, далеким видением. Так смотрят, галлюцинируя.

Кирша обернулся к отцу и тихо сказал, странно бледнея:

— Отец, к тебе гость приехал, очень издалека. Как странно, что он в простом экипаже и в обыкновенной одежде! Зачем же он сюда приехал?

Слышен был скрип песчинок на дворе под шинами въехавшей во двор коляски. Кирша смотрел мрачно. Непонятно, что было в его душе, — упрек? удивление? ужас?

Триродов подошел к окну. Из коляски выходил человек лет сорока, с очень спокойными, уверенными манерами. Триродов с первого же взгляда узнал гостя, хотя раньше никогда не встречался с ним в обществе. Знал его хорошо, но только по его портретам, по его сочинениям, по рассказам его почитателей и по статьям о нем. В юности завязались было кое-какие отношения через знакомых, но скоро порвались. Даже не удалось повидаться.

Триродову почему-то вдруг стало как-то неопределенно весело и жутко. Он думал: «Зачем он ко мне приехал? Что ему от меня надо? И как он мог вспомнить обо мне? Так разошлись наши дороги, так мы стали чужды один другому».

И было волнующее любопытство: «Увижу и услышу его в первый раз».

И бунтующий протест: «Слова его ложь! Проповедь его — бред отчаяния! Не было чуда, и нет, и не будет!»

Кирша, очень взволнованный, быстро убежал. Жуткое, чуткое ощущение одиночества охватило Триродова липкою сетью, опутало ноги, серым заткало взоры.

Вошел тихий мальчик и, улыбаясь, подал карточку — большой кусок картона и на нем, под княжескою короною, литогравированная надпись: «Эммануил Осипович Давидов».

Голосом, темным и глубоким от подавленного волнения, Триродов сказал мальчику:

— Проси.

Досадливый настойчиво повторялся в уме вопрос, — безответный: «Зачем, зачем пришел? Что ему от меня надо?»

Жадно-любопытным взором глядел он, не отрываясь, на двор. Отчетливые, неторопливые слышал шаги, все ближе, — как будто судьба идет.

Открылась дверь. Вошел гость, князь Эммануил Осипович Давидов, знаменитый писатель, мечтательный проповедник, человек знат-

ного рода и демократических воззрений, любимый многими, обладающий тайною удивительного обаяния, влекущего к нему сердца.

Лицо очень смуглое, явственно нерусского типа. Скорбная черта слегка опущенных в углах губ. Короткая, остро обрезанная, рыжеватая бородка. Волосы рыжевато-золотящиеся, слегка волнистые, остриженные довольно коротко. Это удивило Триродова: на портретах он видел князя Давидова с длинными, как у Надсона, волосами. Глаза черные, пламенные и глубокие. Глубоко затаенное в глазах выражение великой усталости и страдания, которое невнимательный наблюдатель принял бы за выражение утомленного спокойствия и безразличия. Все лицо и все манеры гостя выдавали его привычку говорить в большом обществе, даже в толпе.

Он спокойно подошел к Триродову и сказал, протягивая ему руку:

— Я хотел вас увидеть. Уже давно я слежу за вами и вот наконец пришел к вам.

Триродов, с усилием преодолевая волнение и темную чувствуя в себе досаду, говорил принужденно любезным голосом:

— Я очень рад приветствовать вас в моем доме. Я много слышал о вас от Пирожковских. Вы знаете, конечно, — они вас очень любят и ценят.

Князь Давидов смотрел проницательно, но спокойно, слишком, может быть, спокойно. Казалось странным, что он ничего не ответил на слова о Пирожковских, как будто бы слова Триродова прошли, как мимолетные тени легких снов, мимо него, даже не задев ничего в его душе. А между тем супруги Пирожковские всегда говорили о князе Давидове как о хорошем знакомом. «Вчера мы обедали у князя», «князь кончает новую поэму», просто «князь», давая понять, что речь идет об их друге, князе Давидове. Впрочем, вспомнил Триродов, у князя Давидова много знакомых и собрания в его доме всегда многолюдны.

Триродов спросил гостя:

— Позвольте предложить вам что-нибудь съесть или выпить. Вина?

Триродов нажал кнопку электрического звонка. Князь Давидов говорил все тем же спокойным голосом, слишком спокойным:

— В этом городе живет моя невеста. Я приехал к ней и воспользовался случаем побеседовать с вами. О многом хотел бы говорить с вами, но не успею сказать всего. Поговорим только о наиболее существенном.

И он заговорил, не ожидая ответов или возражений. Пламенная лилась речь, — о вере, о чуде, о чаемом и неизбежном преображении мира посредством чуда, о победе над оковами времени и над самою смертью.

Тихий мальчик Гриша принес чай и печенье и неторопливыми движениями расставлял их на столе, часто взглядывая на гостя, синеглазый, тихий.

Князь Давидов с укором взглянул на Триродова. Сдержанная усмешка дрожала на губах Триродова, и упрямый вызов светился в его глазах. Гость ласково привлек к себе Гришу и нежно ласкал его. Спокойно стоял тихий Гриша, и мрачен был Триродов. Он сказал гостю:

— Вы любите детей. Это и понятно. Ангелоподобные создания, хоть иногда и несносны. Жаль только, что мрут они уж очень на этой проклятой земле. Рождаются, чтобы умереть.

Князь Давидов спокойным движением отстранил от себя Гришу. Положил на его голову руку, словно благословляя мальчика, и отпустил. Гриша ушел.

Князь Давидов перевел на Триродова взор, внезапно сделавшийся тяжелым и суровым, и тихо спросил:

— Зачем вы это делаете?

Он спрашивал с большим напряжением воли, как желающий иметь власть. Триродов улыбнулся.

— Вам это не нравится? — спросил он. — Ну что ж, с вашими обширными связями вы этому легко могли бы помешать.

Тон его слов дышал надменною иронией. Так говорил бы сатана, искушая постящегося в пустыне.

Князь Давидов нахмурился. Черные глаза его засверкали. Он опять спросил:

— Зачем вы все это сделали? И тело злодея, и душа невинного, — зачем все это вам?

Триродов решительно сказал, гневно глядя на гостя:

— Дерзок и труден мой замысел, — но разве я один тосковал от уныния, тосковал до кровавого пота? Разве я один ношу в своем, теле двойственную душу? и два соединяю в себе мира? Разве я один измучен кошмарами, тяжелыми, как вселенское бремя. Разве я один в трагические мгновения жизни чувствовал себя одиноким и оставленным?

Гость улыбался странною, грустною, спокойною, улыбкою. Триродов продолжал:

— Знайте, что я никогда не буду с вами, не приму ваших утешительных теорий. Вся ваша литературная и проповедническая деятельность в моих глазах — сплошная ошибка. Роковая ошибка. Я не верю ни во что из того, о чем вы так красноречиво говорите, прельщая слабых. Не верю.

Гость молчал.

— Оставьте, меня! — решительно сказал Триродов. — Нет чуда. Не было воскресения. Никто не победил смерти. Над косным, безобразным миром восставить единую волю — подвиг, еще не свершенный.

Князь Давидов встал и сказал печально:

— Я оставлю вас, если хотите. Но вы пожалеете о том, что отвергли путь, который я указываю. Единственный путь.

Триродов надменно возразил:

— Я знаю верный путь. Мой путь.

— Прощайте, — просто и спокойно сказал князь Давидов.

Он ушел, — и уже казалось, словно и не было его здесь. Погруженный в тягостное раздумье, Триродов не слышал стука отъезжающего экипажа, и неожиданное посещение смуглого, обаятельного гостя с пламенною речью, с огненными глазами вспоминалось, как полдневная греза, как внезапная галлюцинация.

«Кто же его невеста? И почему она здесь?» — подумал Триродов.

Странная, невозможная мысль пришла ему в голову. Разве Елисавета не говорила о нем когда-то с восторгом? Может быть, неожиданный гость отнимет от него Елисавету, как он отнял ее у Петра?

Было мучительно сомнение. Но Триродов всмотрелся в ясность ее очей на портрете, снятом им недавно, в стройность и прелесть ее тела, — и вдруг утешился. И думал: «Она — моя».

А Елисавета, мечтая и горя, томилась знойными снами. И скучна была ей серая повседневность тусклой жизни. Странное видение, вдруг представшее ей тогда, в страшные минуты, в лесу, повторялось все настойчивее, — и казалось, что не иная, что это она сама переживает параллельную жизнь, проходит высокий, яркий, радостный и скорбный путь королевы Ортруды.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

# КОРОЛЕВА ОРТРУДА

### Глава тридцать четвертая

Обычность, — она злая и назойливая, и ползет, и силится оклеветать сладкие вымыслы, и брызнуть исподтишка гнусною грязью шумных улиц на прекрасное, кроткое, задумчивое лицо твое, мечта! Кто же победит в земных веках? Она ли, отравленная всеми гнилыми ядами прошлого обычность, лицемерная, трусливая, тусклая, облеченная в черную мантию обвинителя, мантию изношенную, покрытую пылью старых книг? Или ты, милая, с розами улыбок на благоуханных устах, ты, роняющая один за другим легкие, полупрозрачные, многоцветные свои покровы, чтобы предстать в озарении торжественной, вечной красоты?

Мы только верим, мы только ждем. Вы, рожденные после нас, созидайте.

Вот уже не серая, не мглистая страна, не наша милая родина, где обычное становится ужасным, а ужасное обыкновенным, — иная страна, далекий край, и там синее море, голубое небо, изумрудные травы, черные волосы, знойные глаза. В этой яркой стране сочетается фантазия с обычностью и к воплощениям стремятся утопии.

Уже на этот скрытый путь по серым, пыльным проселкам, — высокий, радостный и потом скорбный путь королевы Ортруды в счастливом, далеком краю, под лазурным небом, на островах среди лазурных волн. Но все еще путь омраченный и все еще страна не обрадованная.

Эта страна — Соединенные Острова, где царствовала Ортруда, рожденная, чтобы царствовать. Острова, где она насладилась счастием, истомилась печалями, на страстные всходила костры и погибла. На переломе двух эпох горела ее жизнь факелом, горящим напрасно, ког-

да уже солнце близко, и белый свет под землею, и отвращаются от факела людские утомленные взоры, но еще когда солнца нет, и мглистый передрассветный холод объемлет долины.

События в Королевстве Соединенных Островов, некогда знаменитом и сильном, ныне же заключенном в скромные пределы двух групп островов на Средиземном море, уже несколько лет тому назад стали привлекать к себе внимание широких кругов общества в Европе.

Ортруда Первая, королева Соединенных Островов, молодая, прекрасная, очаровательная женщина, не была счастлива в семейной жизни. Легкий шелест наглого скандала, притаившийся в багряных складках ее королевской мантии, уже давно радовал международную публику, жестокое чудовище смеха и злословия.

Ортруда имела редкое счастие наследовать престол еще до своего появления на свет и родилась королевою. Ее отец, король Роланд Седьмой, умер за несколько недель до ее рождения. Смерть его была неожиданная, загадочная. Говорили даже, что он был отравлен.

Партия церковников и крупных землевладельцев возлагала большие надежды на его вдову, королеву Клару, женщину очень преданную интересам церкви, очень набожную, владелицу крупной земельной собственности. Изящные патеры и красноречивые епископы католической церкви были постоянными посетителями королевы Клары. Взгляды ее были строго консервативны. Она всегда стояла на страже добрых нравов и сама усердно предавалась духовным упражнениям, покорно подчиняясь дисциплине отцов иезуитов. Полумонашеская община благочестивых дам и девиц лучшего общества, Дом Любви Христовой, в уединенном квартале столицы, основанная отчасти на ее средства,

находилась под особенным ее покровительством.

Сделавшись после смерти Роланда Седьмого правительницею королевства, королева Клара употребляла постоянно все свое влияние в пользу клерикалов и аграриев. Реакционные министерства были ей радостны; она проливала горькие слезы, когда состав парламента изменялся и вынуждал ее вручать власть буржуазно-радикальному министерству.

Королева-мать тщательно воспитала Ортруду при помощи знаменитых в том королевстве ученых и педагогов. Да и не одна вдовствующая королева заботилась о воспитании Ортруды. Каждое министерство, вступая во власть, принимало на себя вместе с другими национальными делами также и заботу о воспитании Ортруды. Все политические партии, кроме самой непримиримой части социалистов, ревниво следили за тем, как Ортруда воспитывалась. Воспитанию маленькой королевы придавалось особое значение, потому что вражда партий и классов в это время достигла значительного напряжения. Высшие классы жадно цеплялись за то, что осталось от их ветхих привилегий. Буржуазия стала очень сильна, но уже и рабочий класс приобрел влияние на законодательство и политику и добился довольно сносных законов о труде и о синдикатах.

Ничто не было упущено, чтобы образовать из маленькой резвушки с быстрыми черными глазенками и миленьким смугленьким личиком конституционную государыню, любезную и просвещенную. Труд воспитателей не был тяжел. Они имели дело с весьма благодарным материалом. Ортруда обладала способностями и талантами, редкими даже и в высокой среде, — а ведь где же и не быть высоким талантам, как не там, где живут повелители мира и владыки людей? Притом же в вопросах воспитания в этой стране было нечто единящее аристократию и народ: эллинская, мудрая любовь ко всему прекрасному, любовь к человеческому радостно-сильному телу; из этой всенародной, простодушной любви рождались стремление к воспитанию простому, суровому, близкому к природе, к дружеству свободных, чистых стихий.

Веселые, обнаженные дети радовали взоры и сердца жителей Соединенных Островов, и сами они, красивые, стройные, смелые, не испытывали в такой степени, как их европейские соседи, стыдливого ужаса перед своим телом. Смуглое тело Ортруды любило знойные лобзания и пламенные ласки высокого в небесах Змия. Ее сильно дышащая грудь радовалась ветру с лазурного моря и глубокой прохладе морских волн. Ее стройные ноги радостно приникали к изумрудам теплых трав и к хрупкому песку взморий.

Ортруда была красива, умна, добра, талантлива. Живо усваивала она знания, которые ей преподавались, и хотела узнавать еще новое. Она любила искусство и сама хорошо рисовала и писала красками.

Буржуа, сидя в кафе и любуясь последним портретом маленькой королевы или улыбаясь напечатанному в его газете новому анекдоту из ее жизни, говорил:

— Ортруда щедро одарена природою.

Клерикал благочестиво говорил:

— Ортруда щедро одарена Богом.

Придворный льстец говорил:

— Любовь народа окружает счастливое, безоблачное детство нашей возлюбленной королевы.

А народ, как и всякий почти народ в мире, любил всяких детей, простых и знатных одинаково. Любил поэтому и Ортруду.

Наконец королеве Ортруде исполнилось шестнадцать лет.

С великим торжеством, привлекательным для толпы, при стечении народа, в кафедральном соборе столицы, в кругу высоких иноземных гостей, придворной знати, военных начальников и народных представителей, шестнадцатилетняя девушка Ортруда была коронована. Гладко бритый, седой, розовый кардинал в треугольной раздвоенной митре помазал ее лоб сладко благоухающим миром, потом возложил на ее смоляно-черные кудри королевскую золотую корону, сверкающую переливными огнями бриллиантов, изумрудов, яхонтов и сапфиров, — и на плечи Ортруды упала тяжелая багряница, и в маленьких полудетских руках засверкали скипетр и золотое яблоко царской власти. Ортруда по-детски радостно улыбалась.

Жителям столицы и Соединенных Островов надолго остался памятен этот день, не только воспоминанием о пышном торжестве, но и по зловеще-странному совпадению — в этот самый день, в час торжества, жители столицы узнали о первых признаках того явления, которое, все усиливаясь во время правления Ортруды, разрешилось наконец ужаснувшею весь цивилизованный мир катастрофою.

Очаровательная Ортруда в сияющем венце и в тяжелой порфире, конец которой несли за нею шесть раззолоченных камергеров, вышла из собора, осененная балдахином, сопровождаемая блестящим двором. С радостною и благосклонною улыбкою поклонилась она своему народу и потом села в золоченую парадную карету. Восторженные крики толпившегося по пути народа сопровождали Ортруду до дворца. Длинный кортеж великолепных экипажей тянулся за ее каретою. День был ясен. Улыбки Змия переливно играли на золоте и на бриллиантах. Легкий бриз развевал разноцветные флаги. Благоуханием цветов был сладостно напоен воздух радостной столицы, веселого города Пальмы.

Как очаровательное видение, мелькнувшее, обольстившее и скрывшееся, Ортруда исчезла для толпы в дверях дворца. Но люди не расходились. Ждали, что Ортруда еще покажется в королевском одеянии, выйдет на балкон, вознесет над толпою свою нежную, увенчанную красоту. Стояли, глазели, кричали, пели. В толпе шныряли бронзово-загорелые, смуглые, красивые мальчишки, и веселые их смехи и вскрики резали знойный воздух, как звонкие птичьи голоса.

Вдруг на площади раздался крик мальчишки-газетчика:

— Телеграмма! Вулкан дымится!

Толпа бросилась к разносчикам газет. Листки с тревожною новостью раскупались нарасхват. Узнали: на острове Драгонере над вулканом, который давно считался погасшим, сегодня утром показался легкий дым. Толпа волновалась. А при дворе говорили:

— Это не опасно.

— Пустяки.

— Да еще и верно ли?

— Газеты так легко преувеличивают.

— Из-за розничной продажи гонятся за сенсационными новостями.

— Министерство знало это еще рано утром, но, конечно, не придавало никакого значения. Даже не говорили королевам.

— И правильно.

— Но какая бестактность — пустить теперь в продажу эти листки!

— Хоть бы до завтра подождали.

Блестящее течение придворных торжеств не прерывалось. Королева Ортруда три раза выходила на балкон. Ее радостная улыбка и увенчанное блеском короны безоблачное чело очаровали опять толпу и успокоили ее минутную тревогу.

Потом был, как полагалось по церемониалу, торжественный обед у королевы, пышный, с положенными тостами, после которых палили из пушек по многу раз. Юная королева очень устала, потому что должна была сидеть в короне и с порфирою на плечах. Но она улыбалась. Смотрела на принца Танкреда Бургундского и улыбалась.

Ортруда только три дня тому назад познакомилась с ним и уже влюбилась. Она любовалась его высоким ростом, стройным станом, белым тевтонским лицом, синими глазами.

Ах, как сладко быть влюбленною королевою!

И принц Танкред любовался Ортрудою. И он влюбился.

Что-то говорила Ортруде мать, королева Клара. В ответ ей нежно улыбалась Ортруда. Но только одно услышала слово, — милое имя:

— Танкред.

И были многие блистающие очи, — но только синие глаза Танкреда мерцали перед нею.

Потом Ортруда отдыхала одна, мечтая, в тихом сумраке опочивальни. А на улицах веяли флаги, шумел народ, смеялись дети, гремела музыка и танцевали на перекрестках и на площадях. Радовались.

Вечером был у королевы бал. Опять нарядная толпа, и высокие гости, и Танкред между ними, — и опять улыбалась и радовалась Ортруда.

Она танцевала. Сияла радостью, когда порядок этикета дал ей возможность подать руку Танкреду.

В промежутке между двумя танцами королева Ортруда легким движением кружевного веера показала Танкреду место рядом. Он сел, склоняясь к ее плечу, чуть-чуть свободнее, чем следовало бы, и тихо спросил:

— Вы очень устали, ваше величество?

И еще тише сказал, совсем едва слышно:

— Вы очаровательны, Ортруда.

Ортруда вспыхнула, радостно улыбнулась и сказала:

— Да, устала, но не очень. Совсем немножко. И я уже отдохнула. И мне очень весело.

Взглянула прямо в его синие глаза, — влюбленно-стыдливый взгляд. Принц Танкред говорил тихо и нежно:

— Я очень рад, что имел счастие познакомиться с вами.

И опять совсем тихо:

— Милая Ортруда!

Ортруда зарадовалась, засияла улыбками, сказала с детскою живостью:

— О, это я рада этому.

Танкред говорил, и как музыка был его глубокий голос:

— Я особенно рад потому, что это в ваши торжественные дни я узнал вас, увенчанную короною ваших предков. Она так идет к вашим черным, как ночь, волосам.

Шепнул ли совсем тихо? Послышалось ли ей?

— Люблю вас, Ортруда.

Она очень покраснела. Слезинки блеснули на глазах. Притворно-безмятежным голосом она сказала:

— Корона тяжелая и порфира тяжелая. Хорошо, что я сильная. Но мне весело. Я рада. Я не боюсь тяжелого в моей судьбе, на моем королевском пути. Я — королева, я выбираю.

И все тише и тише:

— Я хочу выбрать вас. Я хочу полюбить вас.

И совсем тихо:

— Я вас люблю.

В это время гофмаршал Теобальд Нерита говорил королеве Кларе:

— Кому же, как не вашему величеству, знать сердце вашей дочери? Молодой человек очарован и не скрывает этого.

Тихо ответила королева Клара:

— Очарование здесь взаимное.

## Глава тридцать пятая

Высокие и знатные гости смотрели издали на беседу влюбленных, несколько более долгую, чем следовало бы.

Ни для кого не было в этом ничего неожиданного. Это была приличная, одобренная, предначертанная любовь. Немножко слишком скоро, — ну что ж! Королева Ортруда так еще молода, так наивна, принц Танкред так очарователен. Судьба молодых людей была окончательно решена в эти дни. В конце коронационных торжеств было официально объявлено о помолвке королевы Ортруды и принца Танкреда Бургундского.

В предположенном союзе счастливо сочетались и законы сладостной любви, и суровые требования высшей политики. Принц Танкред был красивый, стройный, надменный молодой человек, командир кавалерийского полка на своей родине. Он много путешествовал, бывал во всех частях света, видел многое и многих. Образование он получил довольно поверхностное, но умел говорить легко, свободно и просто, порассказать о многом виденном и слышанном, о своих приключениях и встречах. Он был очаровательно любезен, когда хотел.

На его родине и во многих иных странах в него влюблялись, и нередко искренно и бескорыстно, многие девушки и женщины, знатные и простые. Мимолетные связи с женщинами всех рас и наций, всякого цвета и всякого состояния еще не утомили ни его сильного тела, ни его души, ненасытно жаждущей и все не находящей любви, а множество приключений под всеми небесами земли закалили его неугомонный характер предприимчивого человека.

Как многие другие, молодые и прекрасные, влюбилась в него и Ортруда. Так открыта была для любви ее юная душа, еще солнечно-ясная, — и она полюбила.

Для династии и для буржуазного правительства в Королевстве Соединенных Островов это казалось очень кстати. Принц Танкред имел обширное родство среди европейских династий. Хотя его лицо и вся фигура носили ясно выраженный германский характер, хотя на тех языках, которыми он владел, он говорил с легким, но все-таки

заметным немецким акцентом, хотя он сам считал себя немцем и гордился славными победами Германии, — но в жилах его текла очень смешанная кровь. Он принадлежал к тому маленькому царствующему народу, который целыми столетиями стоял во главе европейских наций, одинаково близкий всем им и одинаково от всех их далекий, как бы символизирующий единство европейской истории. Члены его легко, как и подобает людям высокой космополитической культуры, переменяли язык, нравы и отечество и в новой обстановке чувствовали себя так же хорошо и свободно, как и в старой, — повелителями людей, верными интересам своей новой родины, насколько они понимали эти интересы. Не было никаких оснований сомневаться и в том, что принц Танкред будет хорошим патриотом в государстве Соединенных Островов.

Свадьба назначена была, однако, только через год после коронования Ортруды. Королева Ортруда была еще так молода. Считали неприличным торопиться. Находили более удобным, чтобы юная королева имела достаточно времени войти в понимание государственных дел до своего бракосочетания. В этом политические деятели видели некоторую гарантию того, что государственные дела не будут решаться под влиянием чужестранца, и двор, по представлению министерства, не мог отказать в этой гарантии.

Этот год длился для Ортруды медленно-сладкою, влюбленно-нежною сказкою. Письма Танкреда радовали ее, — они были частые, остроумные, легкие, нежные, пересыпанные изящно-забавными рассказами. И она писала ему часто, доверчиво открывала ему свои мечтания, рассказывала все, что вокруг нее случалось, что она сама делала. Иногда были встречи, — краткие, всегда при посторонних, но все же солнечно-радостные.

За этот год королева Ортруда ознакомилась с высокою властью, с очаровательною магиею повелевающих, но таких неизбежных, предначертанных слов, с великим могуществом всегда осторожно подсказанных «да» и «нет». И познала королева Ортруда сладости королевской власти и ее тягости. Она скоро научилась понимать, что высокая королевская власть — цепь, гипнотизирующая своим

блеском умы народных множеств, цепь, носимая с горделивою улыбкою торжества, но тяжелая, как монашеские вериги, и так же режущая нежное тело слабой женщины.

Тяжелый призрак власти! Его обманчивый блеск издевался над бессилием коронованной девушки, над ее сентиментальными мечтами о всеобщем благе, над ее наивными намерениями осчастливить свой народ.

Большинство в парламенте в это время, как и во все правление королевы Ортруды, принадлежало партиям буржуазным. Две крупные партии парламентского центра, называвшиеся прогрессистами и радикалами, поочередно сменялись у власти. Но разница между ними была очень малая. Оппозицию составляли с одной стороны небольшая, но буйная группа аграриев, с другой — социалисты; к социалистическим фракциям принадлежали самые образованные и красноречивые ораторы парламента. Их блестящие речи были полны неотразимою убедительностью; в комиссиях они были превосходными работниками, и порою им удавалось кое-что сделать для рабочих, когда осторожные буржуа бывали напуганы манифестациями рабочих и грозным призраком всеобщей забастовки.

Наконец настал радостный для юной королевы день, — королева Ортруда была обвенчана с принцем Танкредом.

Парламент ассигновал Танкреду как принцу-супругу совершенно приличный цивильный лист. Только малая часть оппозиции резко протестовала против этого ассигнования.

В первое время принцу Танкреду было достаточно его цивильного листа, и он не испытывал нужды в деньгах. Но положением своим он скоро стал недоволен.

В конституционном государстве положение принца-супруга очень щекотливо. Народное представительство ревниво охраняет источники высокой власти от тайных, неответственных влияний. Ревниво, но не всегда успешно.

На поверхностный взгляд могло показаться, что после первых легких неловкостей принц Танкред быстро освоился с положением прин-

ца-супруга. Освоился, но в душе не примирился. В политику принц Танкред, по-видимому, не вмешивался. Он даже не входил никогда и на короткое время в кабинет королевы, когда она принимала первого министра или работала с одним из своих секретарей.

С парламентскими деятелями при необходимых встречах при дворе или в обществе принц Танкред держался превосходно. Его обращение с ними было великолепною смесью уверенного превосходства и чрезвычайной любезности. Блистательный пример этой манеры вести себя подавал европейским принцам царственный лондонский джентльмен, издавна признанный законодатель мод и приличий, — и принц Танкред был одним из удачнейших его подражателей.

В день бракосочетания принц Танкред был зачислен в ряды армии королевства Островов. Но и в военной службе вначале принц Танкред не искал видного положения и даже решительно отклонял попытки военного министерства ускорить его карьеру. Казалось, что он вполне доволен тою же, как и на родине, ролью полкового командира и спокойно ожидает своей очереди, чтобы после старших чином полковников получить чин генерала-майора и кавалерийскую бригаду в командование. Служебные свои обязанности он исполнял не очень ревностно, но и не лениво; он держался той благоразумной середины, на которой им были одинаково довольны и подчиненные, и начальники. Офицеры и генералы говорили про него:

— Отличный офицер и славный товарищ.

А иногда, в своем кругу, говорили тихо:

— Он был бы хорошим королем.

Говорили так в те минуты, когда почему-нибудь были недовольны правительством.

Думали, что народ в первые годы был доволен принцем Танкредом. Вернее, население Соединенных Островов было к нему совершенно равнодушно, и простые люди ничего о нем не думали. Да вначале и не было никаких причин к неудовольствию принцем Танкредом, как не было и оснований для народной любви к нему. Но прошли годы, и принц Танкред стал непопулярен.

На это были две причины: его любовные похождения, чрезмерно многочисленные, и его слишком аристократические и реакционные взгляды, которых он не сумел скрыть, да, может быть, и не хотел. Впоследствии присоединилась и третья причина. Его стали обвинять в воинственных замыслах и в том, будто бы он старается внушить королеве и министерству мнение о необходимости заключить союзы с группою великих держав. Это могло привести к войне. Война была в интересах высшего дворянства; буржуазия войны боялась, рабочим война была ненавистна.

Как могла произойти такая перемена в отношениях к Танкреду?

Всегда спокойный и сдержанный в обыкновенном состоянии, принц Танкред имел печальную слабость в товарищеских кружках однополчан или патрициев под влиянием излишне выпитого вина давать волю языку. Кое-какие острые словечки, неосторожно сказанные принцем Танкредом против парламентаризма, получили широкую огласку. По их поводу столичные газеты напечатали несколько сдержанно-укоризненных статей; сдержанных, чтобы не обидеть любимую в народе королеву Ортруду. Но так как она и после нескольких лет жизни с Танкредом все еще была влюблена в него, то эти статьи больно ее ранили. Еще большее огорчение причинил ей сатирический журнал «Sancta simplicitas»; на его страницах был помещен ряд карикатур, в которых узнавали намеки на принца Танкреда.

Положение принца Танкреда становилось двусмысленным, неловким. Прошло десять лет со дня его торжественного въезда в город Пальму, столицу Соединенных Островов, — и он очутился в центре сложной сети запутанных отношений и интриг. Ортруда все еще любила его нежно, с тем большею страстностью, что детей у них пока еще не было. О его любовных похождениях она почти ничего не знала, а если и слышала иногда что-нибудь, то объясняла это минутною прихотью, капризом избалованного жизнью и путешествиями человека. А принца Танкреда его прихоти и капризы разоряли, и он наделал долгов.

Много планов составляли его друзья, чтобы помочь ему распутаться с долгами. Близость принца Танкреда к королеве внушала им

мысль сделать политику орудием личного обогащения и самого Танкреда, и его друзей. Мечтали о постройке сильного флота, о приобретении колоний в Африке; завязывали тайные сношения с честолюбивыми неудачниками в южноамериканских республиках. В консервативной прессе стали появляться статьи об экзотических предприятиях. Несколько богатых аристократов сложились и образовали фонд для покупки и эксплуатации земель в Африке. Были горячие головы, мечтавшие о создании великой империи, которая должна была объединить все народы латинской расы. Более умеренные довольствовались планами домашнего государственного переворота, — парламент распустить, конституцию отменить, Танкреда объявить королем и соправителем Ортруды.

Все эти преступные планы держались, конечно, в строгой тайне. Поэтому Ортруда наслаждалась еще семейным счастьем. Оно омрачалось только все учащавшимися с течением времени приступами странной слабости Танкреда и его непонятного равнодушия к ласкам молодой жены.

Милые женщины, как сладостны ваши ласки! как широк и разнообразен круг ваших очаровательных слабостей и несовершенств! От одной к другой бежал бы неутомимо и к прежним подругам не забывал бы вернуться, — но так мало, так мало у человека сил! Сорок поколений предков, необузданно ласкавших жен, любовниц, пленниц, рабынь, служанок и случайных очаровательниц, как мало, как мало вы оставили сил вашему наследнику!

Так еще счастлива была Ортруда, но уже множились мрачные предзнаменования. Вулкан на острове Драгонере продолжал дымиться с того дня, когда Ортруда была коронована. Легкий, полупрозрачный на лазурном небе дымок над двойною вершиною зеленовато-серой горы не усиливался за эти десять лет, но и не ослабевал. Среди радостного сверкания оранжевых скал, яркой многотонной зелени трав, пурпура и синели пышных цветений, лазури легких волн и ласковых небес, снежной белизны каменных построек и национальных одежд, таилась легкая, слабая, полупризрачная грусть зловещего, серого дыма. Легкий запах гари вмешивался порою в слитное, нежное благоухание роз и лимонов.

Грусть этого предзнаменования была близка Ортруде. Утомленная бессилиями королевской власти, она все чаще искала отдыха в очарованиях искусства, красоты и простой жизни; все чаще удалялась в одно из своих имений, к успокоениям радостной природы. И в милой тишине зловещий, легкий дым.

Еще зловещее предзнаменование: в одиннадцатый год правления Ортруды стал появляться призрак белого короля.

Была таинственная комната в королевском замке, известная под именем опочивальни белого короля. Туда входили редко, только по необходимости, и всегда со страхом. С этою комнатою была связана легенда. Верили, что иногда возникает в ней белый призрак, выходит из нее ночью и, обойдя залы и коридоры старого замка, опять туда возвращается. Это бывает, верили все, в те дни, когда королевскому дому грозит опасность. То был призрак короля Арнульфа Второго, изменнически, из засады убитого в 1527 году, на пятнадцатом году жизни. Убийца, его дядя, захватил престол и царствовал под именем Роланда Пятого. Начатое преступлением, то было бурное и кровавое царствование.

## Глава тридцать шестая

В неисчислимой повторяемости скучных земных времен, опять повторяясь беспощадно, длился багряный, знойный, непонятно почему радостно-яркий день. Он слепил глаза и гнал под соломенные желтые навесы полуобнаженных работников и работниц с полей и плантаций. На пыльных дорогах он воздвигал ярко-фиолетовые мороки, и они стекались к перекресткам, махая призрачными рукавами на бесплотных руках и пугая темноглазых ребятишек, зашалившихся в поле, вдали от дома. Над яркою синевою лазурного моря он поднимал от мглистого горизонта миражи белых башен, оранжевых равнин и стройных зеленозолотых пальм.

Только лес хранил прохладу, тишину и покой. Молодая женщина, очарованная его тишиною, уже давно шла одна в его задумчивых сенях, улыбаясь чему-то и сладко мечтая.

Она была одета в легкий и простой, но красивый наряд, какой носили местные простые женщины. Белое короткое платье с зеленою вышивкою, с широко вырезанным воротом и узкими лямками на плечах, широкими и свободными складками опускалось немного ниже колен и было схвачено под грудью широким поясом, — зеленою лентою, скрепленною на левом боку двойным бантом, продетым в матовую белую квадратную пряжку. Из-под платья был виден шитый ворот тонкой сорочки и ее совсем короткие рукава. Белая с зеленым шитьем и красными бусами повязка обхватывала сложенные на голове смоляно-черные косы молодой красавицы. Легкие сандалии из светлой кожи были прикреплены своими двойными тонкими ремешками к пряжке пояса и висели праздно, оставив ноги молодой женщины открытыми для теплых, ласковых прикосновений родной земли; только узкими розовыми ленточками были охвачены тонкие щиколотки загорелых, легких ног.

Лицо и все манеры молодой женщины обличали ее принадлежность к тому классу, который только правит и распоряжается, не утомляя рук работою, длящеюся до утомления. Привыкшие к раздумьям складочки на коже красиво развитого лба, привычно-внимательный взор, привычно-сдержанная улыбка, налитые соком счастливой жизни плечи, руки, тонкие, легкие пальцы, эластичная кожа которых не знает черных точек от уколов швейной, вечно сердитой иглы, и другие приметы говорили все о том же. Переодевание радовало ее очевидно, как радовал и этот дикий, яркий и мрачный вместе вид природы. Это чувство радостного освобождения от каких-то условных пут и радостной близости к милой земле бросало на ее лицо ясный, счастливый свет.

Узкая тропинка, то мягкая от ярко-зеленых мхов, то рассыпчато-сухая под ногами, вилась совсем, по-видимому, ненужными, слабыми извивами ленивой змеи среди густого, темного, но и в прохладных мраках своих все же яркого леса. Порою она выбегала к подножиям белых и зеленых скал, взбиралась косо на их крутые склоны, то голые, то заросшие колючими, ветвистыми травами с багряными и фиолетовыми цветами, от которых пахло странно и душно, или хитрым

ужом вползала в узкие расселины скал и скользила на дне глубокого провала, сжатого теснотою темных и высоких стен. Порою тропинка почти совсем терялась в гуще диких зарослей, и молодой женщине приходилось пробираться с трудом, отстраняя руками от смуглого, прекрасного лица упрямые ветки буйных на воле кустарников. Если бы не ее зоркая и внимательная осторожность, то не раз были бы поранены ее стройные руки и ноги зазубренными толстыми краями голубовато-зеленых, сочных листьев агав. Но напрасною свирепостью томились их громадные, желтовато-зеленые цветы.

Встречались порою странные цветы с пряным и резким запахом; качаясь на длинных, крепких стеблях, они раскрывали перед молодою женщиною свои багряные, огромные пасти. Их длинные красные и лиловые тычинки напоминали змеиные языки, и казалось, что они источают из себя липкую, ядовитую пыль. Но молодая женщина смело склонялась к этим жутким цветам и вдыхала их душный аромат, хотя кружилась от него голова и кровь стучала тонкими, жидкими молоточками, как ртуть, в виски.

Когда ручей, возникший из плескучих струй под скалою, раскрыл в бассейне из пестрых, золотистых кремней свое прозрачное зеркало, молодая женщина застоялась на его хрупком берегу, наклонившись к изображению своего прекрасного лица, улыбаясь, любуясь яркими розами смуглых щек и улыбающихся нежно уст. И казалось, что вокруг ее безоблачного чела вились мечты жужжащим роем, — мечты о возлюбленном, о милом.

Пошла дальше, за собою оставив звонкий смех холодных струй, мимоходом поцеловавших ее колени. Тропинка подымалась в гору. Все более редкими становились обставшие ее деревья. Все круче поднимались острые ребра молчаливых скал, из-за которых, казалось, кто-то чужой и равнодушно-суровый следил тяжелыми взорами за идущею беспечно и смело красавицею. Был странно резок контраст между ясными, невинными просветами высокой лазури и неподвижною зеленовато-белою мрачностью камня. Молодой женщине было жутко и весело.

Вдали, между деревьями и скалами, блеснуло голубою, узкою, но радостною ленточкою море. Впечатление исхода из иного, древнего

и темного бытия к светлым, звучным очарованиям жизни неотразимо овладело молодою женщиною. Ее слух жадно ловил далекие, еле слышные здесь, на высоте скал, шумы и голоса вечно беспокойных волн милого, непокорного моря. Она пошла прямо к морю, с привычною внимательностью выбирая путь.

Вдруг за скалою на повороте тропы она увидела впереди себя, не очень далеко, три медленно и осторожно подвигавшиеся фигуры. Шли трое мужчин с большими на плечах узлами, по-видимому, тяжелыми, как можно было судить по их тяжело согнутым спинам.

Молодая женщина приостановилась и, прячась за выступом скалы, смотрела на путников. По их медленным движениям, сторожким взглядам по сторонам и по тому, как они выбирали наиболее закрытые снизу, от моря, места, она догадалась, что это — контрабандисты. Она удивилась, что они вышли на опасный свой промысел днем. Движениями осторожными и легкими она пошла за ними, отклоняясь от принятого прежде направления. Прошла за ними с полсотни шагов и вдруг догадалась, что они заметили ее. Нерешительно сделала она еще несколько шагов, остановилась, опять пошла, увлекаемая любопытством, меж тем как рассудок говорил ей, что идти за ними опасно, что следует поскорее удалиться от них, притворяясь, что и не видела их.

Впрочем, чего ей бояться? Но, впрочем, на что же ей смотреть? Пусть эти бедные люди идут куда хотят, — ей-то что за дело! И она повернулась было уходить, но в это время трое контрабандистов вдруг сбросили с плеч свою ношу и остановились, всматриваясь во что-то. В руках их были теперь карабины, которых молодая женщина раньше не заметила.

Вдруг она увидела, что все трое пристально смотрят на нее. Теперь, когда и они, и она стояли, было видно, что расстояние между ними и молодою женщиною гораздо меньше, чем раньше казалось ей. Своими зоркими глазами она различала теперь каждую складку их пыльных одежд. Двое были постарше, с короткими полуседыми бородами; третий, бритый и краснолицый, был помоложе; но глаза у них у всех были одинаково пламенно-жгучи и горели волчьею го-

лодною угрюмостью. Их мрачные лица обвеяли было молодую женщину внезапным, но мгновенным испугом.

«Что же они со мною сделают? — думала она. — Неужели убьют?»

Но любопытство было сильнее страха, — непобедимый инстинкт женщины.

Откуда-то из-за скал, скользя, как изворотливая зеленая на песке ящерица, выбежал четвертый, — совсем еще мальчишка, лет пятнадцати, в заломленной набок шапчонке, украшенной для чего-то петушиным крылом, с исцарапанными икрами проворных ног, с громадными на темном лице белками испуганных глаз. Подбегая к своим старшим товарищам, он бросил им гортанным резким звуком какое-то незнакомое молодой женщине слово, очевидно, на воровском условном языке. Потом, подойдя к ним вплотную, он принялся что-то быстро и тихо рассказывать им, отчаянно жестикулируя, и на его худощавом, подвижном лице смешивались выражения страха, гордости принесшего важную новость и отчаянной решимости драчливого мальчишки. Суетливый и нервный, едва прикрытый лохмотьями изношенной одежды, из дыр которой сквозило тело, он казался похожим на рассерженную чем-то обезьянку. По тому как он вертелся на месте, тыкая пальцем в разные стороны, и по тому круговому движению рукою, которым он закончил свой рассказ, молодая женщина догадалась, что контрабандисты окружены пограничною стражею.

Выслушав рассказ, старший из контрабандистов хлопнул его по плечу широкою ладонью и сказал спокойным, тихим, но внятным голосом, как говорят люди с очень властным характером:

— Молодец, Лансеоль!

Лицо зоркого мальчишки багряно запылало от гордости. Он поправил свою шапчонку, со скромным достоинством отодвинулся шага на два от старших товарищей и, скрестив ногу на ногу, прислонился к стволу чахлой горной пинии в небрежно-красивой позе человека, исполнившего свой долг. Он был маленький, гордый, немножко забавный и трогательный, — и молодая женщина невольно залюбовалась им.

Контрабандисты о чем-то оживленно спорили вполголоса; иногда говор их становился громче, и до молодой женщины долетали обрывки их речей. Но и без этого, по тем свирепым взглядам, которые они бросали на нее, было ей понятно, что говорят о ней.

— Она, что и говорить!

— Если бы она, зачем же она торчит здесь у нас на виду?

— Оплошала, теперь хитрит, — притворяется, что ее дело — сторона.

— Подослали женщину, — ну и народ!

— Говорил я вам, что здешний капитан — пройдоха.

— Ну пусть сунутся.

— А ей нож в горло.

— Зачем убивать зря?

— Вернее. Мертвые не болтают.

День был так ясен, очертания скал и деревьев так отчетливы, душа молодой женщины была так открыта для радостных восприятий от природы, что это неожиданное приключение было для нее как внезапный кошмар в полуденной ясности. Не кажется ли все это? Не слышатся ли ей только эти грозящие речи? И душа ее упрямо не верила страху, даже и тогда, когда контрабандисты вдруг пошли к ней. И она сделала несколько шагов им навстречу.

Трое стали вокруг нее, совсем близко, мальчишка Лансеоль все держался немного позади их. Старший сказал ей:

— Ты нас выслеживала, ты навела на нас проклятых карабинеров, — но ты первая умрешь.

Глаза молодой женщины были прикованы к кинжалам, которые были засунуты за их широкие пестрые пояса. Тускло сверкали их изогнутые широкие рукоятки.

Ах, милое солнце, золотое в лазури! неужели в последний раз ты блистаешь, улыбаясь, надо мною! и не сойду на влажный песок взморий, и в дом мой не вернусь, и милого не поцелую.

И, побледневшими улыбаясь губами, сказала:

— Не убивайте меня, добрые люди, и не делайте мне никакого зла. Я не видела карабинеров и не знаю о них ничего. Я шла своею

дорогою и сбилась с пути. Сама не знаю, как я сюда попала. Но вот я вижу море, — отпустите меня, добрые люди, я спущусь вниз. Клянусь вам спасением моей души, я никому не скажу о том, что встретила вас.

— Болтай себе, — злобно сказал второй контрабандист, угрюмые глаза которого смотрели из-под низкого упрямого лба пристально на молодую женщину, — ты нас не обманешь.

— Я вам пригожусь, — с легкою улыбкою говорила она, — вы всегда успеете меня убить, — один удар кинжала — не правда ли? — но вы увидите, что я спасу вас от карабинеров. Мне достаточно сказать им одно слово, и они уйдут, они меня послушаются.

Уже почему-то опять не было ей страшно, и кинжалы их казались ей бутафорскими, и мрачные лица их только забавными. Она любовалась красивым мальчишкою Лансеолем.

— Карабинеры! — крикнул вдруг Лансеоль и метнул на молодую красавицу свирепый взор, такой забавный, что она весело улыбнулась.

Старый контрабандист схватил ее за руку и потащил за собою. Все спрятались за выступом скалы и чутко ждали. Чувствовалось приближение чужой, грозной силы. Еще никого не было видно, только изредка блеснет на солнце привинченный к карабину плоский нож с двумя остриями.

С двух сторон сразу показались солдаты с наведенными карабинами. Контрабандисты приготовились к стрельбе. Лансеоль вынул кинжал и стал рядом с молодою красавицею. Она повторила:

— Добрые люди, пустите меня подойти поближе к солдатам. Они уйдут, как только меня увидят. Пошлите со мною этого мальчугана с кинжалом, если мне так не верите.

В это время раздался громкий крик:

— Эй вы там, выходите, сдавайтесь, не то плохо будет.

Контрабандисты переглянулись. Быстро заговорили между собою шепотом. Потом старший шепнул что-то Лансеолю — и тот весь насторожился и задрожал от радости.

— Иди, — коротко сказал старший красавице.

Она вышла из-за скалы и осмотрелась. Невдалеке за деревом виднелась чья-то полуспрятанная фигура. Молодая женщина догадалась, что это офицер, махнула белым платком и пошла к нему.

Лансеоль шел за нею, сжимая в руке рукоять обнаженного кинжала. Старый контрабандист крикнул:

— Только что заметишь, сейчас же всади ей нож между лопаток.

— Знаю, — коротко ответил мальчишка, и она почувствовала на своей шее его близкое, горячее дыхание.

Офицер увидел платок, которым еще раз махнула молодая женщина, и вышел из-за своего прикрытия. Он всмотрелся в остановившуюся за несколько шагов от него красавицу, и на лице его изобразилось чрезвычайное удивление и взволнованность. Машинальным движением человека, впитавшего в себя привычки военной дисциплины, он вытянулся и приложил руку к околышу своей форменной черной шляпы с оранжевым галуном: он узнал королеву Ортруду. Улыбаясь, Ортруда приложила палец к губам и потом сказала:

— Капитан, подойдите ко мне.

Капитан молча повиновался. Королева Ортруда сказала:

— Я вижу, вы меня узнали. Но не говорите об этом и не трогайте этих добрых людей. Сегодня они переносят вещи с моего позволения, и я сама внесу за них пошлину. А теперь уведите ваших людей, дорогой капитан. До свиданья, желаю вам счастливого пути.

С застывшим на лице выражением тупого недоумения капитан отправился исполнять волю королевы. Послышались слова команды, и скоро солдаты, уже не таясь, спускались в долину.

— Отчего мы уходим? — спросил молодой лейтенант.

— Так хочет королева, — досадливо отвечал капитан.

— Королева! — с удивлением воскликнул лейтенант.

— Ну да, она была там, — сказал капитан. — Но вы об этом никому не говорите. Хорошие дела, нечего сказать!

Королева Ортруда, весело улыбаясь, вернулась к контрабандистам. Лансеоль шел за нею и ошалелыми от удивления глазами засматривал в ее лицо.

— Видите, добрые люди, — сказала Ортруда, — я сделала, как обещала. Солдаты ушли. Сегодня не вернутся.

Контрабандисты, дивясь, переглядывались и перешептывались. В их глазах отражалось выражение суеверного страха. В горной тишине живописною группою стояли они четверо, и опять королева Ортруда невольно залюбовалась Лансеолем; он глядел на нее глазами, в которых пылало темное пламя внезапной юной влюбленности. Она спросила его тихо и торжественно:

— Милый юноша, ты знаешь, кто я?

Черноглазый красавец отвечал простодушно:

— Ты — добрая волшебница или фея этих гор.

Ортруда удивилась. Остальные трое в лад словам Лансеоля утвердительно кивали головами. Ортруда опять спросила:

— Где же я живу, как ты думаешь, милый Лансеоль?

Мальчишка отвечал:

— Ты живешь на неприступном верху гор, в лазурном гроте. К нему можно добраться, только зная волшебное слово. В этом гроте сто дверей для входа, и все они свободны, и только одна для выхода, да и ту стережет дракон. Кто к тебе придет, тот погибнет заласканный, зацелованный, защекотанный.

Ортруда смеялась. Контрабандисты смотрели на нее. Старший шептал товарищам:

— Хорошо, что она смеется, — это к удаче.

— Лансеоль, — сказала Ортруда, — скажи мне, а ты хотел бы попасть в мой лазурный грот?

— О, — воскликнул Лансеоль, — только позови, а уж я приду!

Смеялась Ортруда.

## Глава тридцать седьмая

Скоро королева Ортруда простилась с контрабандистами и торопливо спускалась вниз к морю. Через полчаса выбранная ею тропинка привела ее на дорогу, которая шла от какой-то приморской деревни

в глубину острова. Улыбчиво и легко вспоминала Ортруда о своем внезапном приключении.

Когда-то, в ранней юности, Ортруда очень боялась смерти, — в те дни, когда еще она не была знакома с Танкредом. Рассказы о кровавых событиях, вычитанные ею из истории ее государства и из старых хроник ее королевского рода, рано приучили ее думать о насильственной смерти. Многие из ее предков были убиты или на войне, или руками восставших и мстителей; и Ортруде такой конец ее жизни не казался невероятным. Темное чувство страха, иногда овладевавшее ею, казалось ей порою зловещим предчувствием.

Любовь смягчила этот темный страх, но не истребила его до конца. Наследственное мужество и гордость королевы заставляли ее не бежать от опасности. Когда предчувствие убийства опять поднималось порою в ее душе, то она ясно сознавала в то же время, что покорно и смело взглянет в глаза неизбежному. Кинжал за ее спиною в руке Лансеоля — это было ее первое испытание, и ей радостно было вспоминать, что через это испытание она прошла бестрепетно.

Утомленная долгою ходьбою и полуденным зноем, она села на большой плоский камень в тени старого дерева с раскидистыми ветвями и светло-зеленою тесною тучею радостной листвы. Смотрела по дороге вверх и вниз и точно ждала чего-то. И как же не дожидаться? В дороге всегда что-нибудь случается.

Вдали по дороге сверху свивались и кружились тонкие облачка пыли. Розово-серый все ближе и ближе придвигался зыбкий и странный, из мечты и праха сотканный призрак. Ортруда внимательно всматривалась в него. Ее зоркие глаза скоро различили, что это быстро скачут, спускаясь к ней с горы, двое всадников. И почему-то было понятно, что не мимо, а к ней.

«Кто?» — быстро подумала она.

И вдруг ей нетерпеливо захотелось, чтобы это был кто-нибудь близкий. Ее сердце на краткий миг сладко замерло в блаженстве радостного ожидания.

«Мой Танкред?»

Но нет, не он.

Все ближе, все отчетливее в полуденной ясности дробится и сыплется по камням сухой топот копыт. Веет над черною шляпою черный вуаль, колышутся складки черной одежды. И кто-то за нею юношески тонкий на быстром и легком скакуне.

Наконец Ортруда узнала наездницу и обрадовалась ей. Это была ее постоянная в последнее время спутница, знойно-красивая девушка, Афра Монигетти. Она принадлежала к одному из древнейших и знатнейших родов страны. Ее предки всегда занимали высокие должности при королевском дворе, а потому и Афра получила почетное придворное звание.

Каприз судьбы рано лишил ее родителей. Она воспитывалась в семье своего дяди, известного профессора здешнего университета, очень умного человека и очень насмешливого, искусно скрывавшего свое странное в культурном человеке пристрастие к сатане под быстро меняемыми личинами холодного скептицизма и едкой иронии. В этом доме Афра перевидала много разных людей и всяких разговоров наслушалась. И теперь она сохраняла многие связи и знакомства в разных слоях общества. Хотя знания у нее были довольно поверхностные, но она интересовалась многим и читала многие книги по религии, философии и общественным наукам. Были многие предметы, любимые ею, и многие, ей ненавистные.

Из людей она любила двух: королеву Ортруду за то, что она ясная и смелая, словно воплотившая в своем теле пламенную душу Светозарного, и доктора Филиппа Меччио, который занимался политикою и стоял во главе республиканской партии. Его она любила «за то, что любила». Ненавидела из людей она одного — принца Танкреда, когда-то и в нее влюбившегося мимоходом. Его искания встретили в ней суровый отпор.

Спутник Афры был пятнадцатилетний Астольф Нерита, сын гофмаршала, мальчишка красивый, страстный и уже влюбленный в Ортруду, — как и прилично было его званию пажа королевы.

Афра стремительно спускалась с горы, и уже Ортруда видела отчетливо, как сыпались по дороге из-под копыт ее коня желтые и розовые камешки и как на бегу раздувались розовые ноздри разгоряченных скакунов. Ортруда пошла навстречу всадникам. Сказала:

— Вот где я. Устала по горам. Одна. И рада очень, что вижу вас.

Афра, остановив тяжело водящего боками усталого скакуна, радостно воскликнула:

— Наконец-то мы вас нашли! А мы уже начали бояться.

Ортруда, улыбаясь не то радостно, не то смущенно, сказала:

— Бог хранит путников. Однако, милая Афра, если бы вы знали, где я сейчас была и что я видела!

Она принялась рассказывать о своем приключении с контрабандистами. Афра слушала ее внимательно и, по-видимому, спокойно, но со сдержанным волнением. Любовалась Ортрудою. Испытывала нетерпеливое желание стать перед Ортрудою на колени и целовать нежно и долго пленительные стопы ее ног, приникнуть к ней близко и в сладком дыхании Ортруды ощутить пламенную душу возлюбленного, Светозарного Гения. Она сошла с коня, бросила повод Астольфу. К ногам Ортруды села. Смотрела снизу вверх в ее лицо, светлыми улыбками легко озаренное, пронизанное сладкими очарованиями исходящей из трепетной плоти прелести.

Астольф, стоя немного в стороне, держал за поводья обеих лошадей. Смотрел на Ортруду сияющими глазами. Завидовал тому мальчишке в горах, который так близко и свободно стоял за ее спиною и даже, может быть, держал ее за тонкий локоть обнаженной руки. Завидовал Афре, которая сидит у милых ног и в милое так близко смотрит лицо. И досадовал на нее, — зачем к Ортрудиным ногам она прижалась и закрыла их складками своего черного платья.

Ортруда сказала задумчиво, вспоминая о Лансеоле, улыбаясь своим воспоминаниям:

— Какой красивый мальчишка! Дикий, страстный, такой ловкий, в своих живописных лохмотьях. И этот острый, блестящий, беспощадный кинжал в его сильной руке. Ах, если бы ты, Афра, видела, как он сжимал рукоятку своего кинжала, как он крался за мною, гибкий, как дикая кошка, какими он смотрел на меня горящими, как у волчонка, глазами, как горячо дышал прямо в мою шею! А потом с какою очаровательною наивностью он рассказывал мне про зачарованный лазурный грот, в котором я живу! И эти

добрые люди, простодушные, как и этот ребенок, думали так же, как и он.

Осторожно, каким-то неверным звуком, точно хитро искушая Ортруду, спросила ее Афра, внимательно и печально глядя в ее мечтательные глаза — глаза истинной царицы зачарованных стран:

— Государыня, а имя того дракона, который стережет ваш лазурный грот, вы знаете? И знаете, чего он хочет? Чего он ждет? Чему он радуется и чего боится?

Не поворачивая к ней головы, глядя прямо перед собою, тихо-тихо, точно сама себе отвечая, сказала Ортруда, улыбаясь печально:

— Дракон, стерегущий так прилежно мой лазурный грот, кто он и чего он хочет? Ах, я не знаю! Но чувствую давно его ровное еще дыхание и роковую его ко мне близость. Тяжелый взор его не смыкающихся ни на одну минуту очей, змеиных очей, все чаще тяготеет на мне. Может быть, близок день, когда моей крови захочет дикий зверь и положит косматую, громадную лапу на мою грудь, и вопьются в мое сердце его когти, острые и беспощадные.

Странно и неверно улыбаясь, тихо и нерешительно сказала Афра:

— Говорят... Вздорные, может быть, слухи... Говорят, народ так беден, так много земли в руках у немногих богатых землевладельцев, рабочие на фабриках и в шахтах получают так мало, — и те и другие мало надеются на парламент! В Пальме говорят все чаще, что возможно восстание. И скоро.

Ортруда слушала молча. Когда Афра остановилась, Ортруда вопросительно взглянула на нее, чувствуя в ее словах недоговоренность. Афра продолжала еще тише и нерешительнее:

— Быть может, эти добрые люди, которых вы сегодня встретили, занимаются иногда тайною перевозкою оружия из-за границы.

— О! — живо воскликнула Ортруда. — В тех мешках, которые я у них видела, не могло быть ружей или пулеметов. Они были для этого слишком малы.

Афра спокойно возразила:

— Могли быть патроны.

Ортруда засмеялась. Сказала:

— Это было бы недурно.

Потом, наклонясь к уху Афры, шепнула:

— Я тоже не очень верю в парламент.

Афра улыбнулась. Ортруда продолжала громко:

— Но этот мальчишка Лансеоль! Его лицо снова и снова вспоминается мне, неотвязчивым наваждением знойной красоты, ранней страсти. О, пусть бы смерть пришла ко мне в таком прекрасном облике, — я сказала бы ей радостно: здравствуй, милая смерть!

— Нет, государыня, — страстно возразила Афра, — не обрадовала бы ее красота того, кто жаждет жизни, так жаждет, как вы и как я.

— Вот мы жаждем жизни, — тихо говорила Ортруда, — и она приходит к нам очаровательная и увлекает нас в сладкое кружение любви и восторга. Но стоит за порогом снова из мертвых воскресший прекрасный обольститель, зовущий к познанию истины. И я зову: о, приди ко мне на заре утренней или вечерней, приди ко мне, Светоносный, озари предо мною мир, дай мне понять вечный сон тихо возрастающих деревьев, и сонную, благоуханную любовь розы, и слепую любовь птиц, — и умереть!

С неожиданною нежностью сказала Ортруда это страшное для людей слово — умереть. И грустны, и нежны были ее глаза.

— Правда, государыня, — полувопросом сказала Афра, — что любовь всегда приводит к нам печаль и легкий призрак смерти. Когда истинно любим, не боимся умереть. И, может быть, их три сестры роковые, — сон, смерть, любовь.

— Да, — сказала Ортруда, — ирония судьбы в том, чтобы это было так.

Ортруда и Афра спустились по дороге почти к самому морю. Тихо шли тихим берегом. Тихо говорили о том, что волнует душу.

Успокоены были волны, и смутный гул их был ровен и благостен. Переливами лазурных красок сияла поверхность моря до тонкой черты горизонта, где иная, светлая, восходила над морем лазурь, объемля мир безмерностью высокой синевы. Зеленовато-белые скалы сверкали на солнце. То убегали от воды, то к самому придвигались пенистому шу-

му легких волн. Ярко белел в синеве морской чей-то близкий, быстрый по легкому ветру парус.

Ортруда говорила:

— Я счастлива, Афра. Мне кажется иногда, что уж я достигла вершины счастья, и уже идти выше нельзя, — некуда и незачем. Сесть бы мне в лодку, наставить бы парус, в открытое море уплыть бы, утонуть бы в лазурной бесконечности, — умереть бы мне теперь, в эти минуты, умереть бы мне безмерно счастливою, любимою, молодою и прекрасною.

И на лице Афры были восторг и страдание.

## Глава тридцать восьмая

За скалою, на повороте дороги, Ортруда и Афра увидели совсем близко деревню. За зеленою листвою деревьев весело краснели ее черепитчатые кровли. Пыль крутилась по дороге порою, а когда она падала, гладкие, крупные плиты деревенской улицы блестели на солнце и казались почти белыми. Вниз от деревни к морю и по другую сторону вверх у скатов скал лепились виноградники. Вдали виднелись островерхие башенки сельской церкви — там, на скале, за домами, — и она казалась легкою, светлою, задумчивою. Казалось, что от нее и к ней были быстрые полеты острокрылых птиц и тревожные их вскрики.

Несколько поодаль от деревни, ближе к берегу залива, стоял красивый школьный домик. Распахнув широко все свои окна, занавесив их от знойных взоров Дракона белизною навесов и стены все изукрасив разноцветным узором изразцов, он казался игрушкою, даром чьей-то прихотливой и щедрой руки. Веселая роща зеленела около школы, закрывая школу от деревни и от пыльной дороги.

В заливе купались дети, перед тем как опять идти в школу после двухчасового обеденного перерыва. Слышны были еще издалека их голоса и серебряно-звонкие смехи. В лазури ясных волн кипело золото их гибких тел, и брызги от их проворных ног были радужною

пеною. Чья-то лодка шла к берегу, качаясь, потому что кудрявый шалун ухватился за ее борт и влез отдохнуть на ее влажном и теплом дне.

В государстве Соединенных Островов, где любили детей очень, школы для них устраивали красивые и удобные. Заботились о том, чтобы в школьных зданиях было много воздуха и света. Двери их никогда не запирались перед родителями и родными школьников, и даже перед посторонними. Когда ожидался интересный урок, то часто и старые приходили послушать. Учебные пособия и книги, какие бывали в школе, не томились в тесных шкапах праздною скукою ожидания того часа в году, когда их достанет учитель: школы были как музеи, — правда, иногда довольно бедные, население Соединенных Островов не было богато, — и были назначены часы, когда можно было смотреть карты и картины, перелистывать справочники и брать для чтения книги.

Да и что же двери и стены! Теплый, мягкий климат Соединенных Островов давал возможность заниматься с детьми чаще на открытом воздухе, чем в стенах, — и рощи около этой школы слышали больше уроков, чем увешанные таблицами стены ее классной комнаты.

Ортруда остановилась на дороге близ деревни. Сказала Афре:

— Этот домик за рощею, мне кажется, школа. Мне хочется зайти в нее. Астольф пока отправится верхом домой и приведет мою лошадь, а мы зайдем в школу. Или нет, Астольф, пусть лучше пришлют коляску.

Астольф вскочил на лошадь и быстро умчался, уводя с собою и лошадь Афры. Афра улыбалась как-то нерешительно. Точно хотела возразить что-то. Но сказала:

— Конечно, отчего же не зайти, если вам это угодно. Вы отдохнете. Если не боитесь неприятных встреч.

— Почему неприятных? — возразила Ортруда. — Я люблю моих добрых соотечественников. Притом же здесь, кажется, некого встретить, кроме детей да их учительницы. Здесь, как и в горах, меня не узнают, и все это будет забавно и весело.

— Да, — сказала Афра, — все равно этикет давно и основательно забыт. Старые дамы в Пальме будут иметь еще один повод для того, чтобы осторожно и почтительно побрюзжать.

— О, что мне до того! — спокойно сказала Ортруда. — Я давно догадываюсь, что титулованные дамы-патронессы Дома Любви Христовой и их почтенные мужья меня сильно недолюбливают.

— Ее величество, — начала Афра.

Ортруда живо перебила ее:

— О, я знаю, что мама любит меня очень. Это в ней уживается — пристрастие ко всему этому ее антуражу и нежная любовь ко мне. А я, милая Афра, люблю простую жизнь и простых людей. Как дочь немецкого пастора, я люблю идиллии.

— Иногда, — возразила Афра. — Но когда бушует буря и молнии пересекаются в небе, тогда в королевском замке просыпается в чьей-то груди дикая душа валкирии; прекрасная женщина, красотою подобная Деннице, бежит, неистовая, разметав свои косы, на верх Северной башни, там сбрасывает свои одежды и стоит нагая, поднявши напряженные стройные руки. Тогда, как и теперь, она меньше всего думает о том, что скажут о ней в Пальме.

— Пусть говорят, что хотят, — спокойно ответила Ортруда. — Как растение чувствует себя хорошо только в своей почве, так и я весела и счастлива совсем только среди моих гор и полей.

Ортруда и Афра были уже совсем близко от школы, как вдруг услышали они, кто-то недалеко от них крикнул:

— Королева!

Точно это было магическое слово, внезапно преобразившее все окрест. Еще никого не было видно, кроме плещущихся в воде детей, но уже чувствовалось, как прозрачная волна смятения обежала тихую дотоле деревню и ее дремотные виноградники и поля. То здесь, то там возникали крики и шумы, кружились топоты бегущих ног, и в легких вздохах ветра чудилась чья-то задыхающаяся торопливость. По деревне из дома в дом бежали радостные крики:

— Наша Ортруда пришла к нам!

— Она там, около школы.

— Она одета по-нашему.

— Она идет пешком, с какою-то знатною барышнею.

— И ноги у нее в пыли.

— Идите скорее, пока она не вошла в школу.

— Сейчас за нею приедет золотая карета.

И бежали по тропинкам, еще издали жадно всматриваясь в Ортруду.

Ортруда сказала досадливо:

— Нас узнали.

— Что же делать! — ответила Афра, слегка улыбаясь. — Такова доля королев. Портреты вашего величества висят во всех школах на самом видном месте.

Скоро на площадке перед школою собралась толпа крестьянок и крестьян. Простодушно глазели, вполголоса обмениваясь впечатлениями. Простосердечно радовались чему-то. Дети, выскочив на песочный берег, быстро накинули на себя свои легонькие одежды и сбежались пестрою толпою к школьному порогу. Знали, что это — королева. Но были веселые, подвижные, крикливые, как шныряющие над ними птицы.

Торопливо пришла, — почти прибежала, — учительница. Это была очень молоденькая, хорошенькая, миленькая и, судя по слишком простодушному лицу, глупенькая девушка. В такой же одежде, какую носят местные крестьянки. Ее темные, с легким золотистым оттенком волосы, схваченные тонкою легкою сетью и едва, наскоро сложенные, были еще мокры, и капли воды, светлые на золотистой, загорелой коже, зыбко дрожали на тонких руках и на подъемах быстрых ног.

Королева Ортруда, сидевшая на скамье у дверей школы, приветливо улыбалась ей. Девушка стремительно добежала, остановилась, низко поклонилась Ортруде и назвала себя:

— Учительница здешней школы, Альдонса Жорис, дочь крестьянина этой деревни.

Она смотрела спокойно и весело и не казалась смущенною. Ортруде нравилась ее спокойная непринужденность и та простодушная откровенность, с которою Альдонса отвечала на ее первые вопросы. Был урок пения, и Ортруда не без удовольствия слушала пискливый и крик-

ливый хорик, в котором недостаток искусства заменялся избытком усердия и детской веселости. Притом же, влюбленная в свои мечты, она едва вслушивалась в детское пение, милое, но несколько смешное, потому что без низких голосов, — она мечтала о Светозарном и еще о Танкреде, которого все еще любила нежно и страстно.

Детей отпустили. Ортруда сказала Альдонсе ласково:

— Где вы живете, милая? Покажите мне вашу квартиру.

Альдонса радостно улыбнулась. Сказала:

— Прежде я жила у моих родителей. Но в прошлом году они умерли, и я живу здесь, при школе. Вот здесь.

Она показала крыльцо на боковой стороне дома. Ортруда и Афра вошли в квартиру Альдонсы. Бедная, чистая, трогательно-простая обстановка.

Ортруда вздохнула от невольной жалости. Ах, зачем не все живут в чертогах! Для чего есть на свете бедные жилища, плохая одежда! И бедность, и несовершенства жизни, зачем вы, когда мать-земля так щедра и плодоносна!

Небогатое население Соединенных Островов не могло тратить на школы много. Королева Ортруда знала, как мало получают сельские учительницы. Почти все они были из местных жительниц и замуж выходили за своих же. Они не были барышнями, приехавшими из городов, чтобы способствовать поднятию народных масс. В государстве Соединенных Островов они жили общею с народом жизнью. И только потому, что школьные дома были поместительнее других зданий, принадлежавших сельским коммунам, школы естественно служили местом собраний и митингов, а в избирательные периоды около них сосредоточивалась агитация политических партий.

Скоро Ортруда различила лежащую на этой бедной обстановке знакомую королеве и издавно привычную ей печать праздничной счастливости. Видно было, что Альдонса старательно убирает свои комнаты, — может быть, для кого-то. В глиняных вазочках, расписанных пестро, но красиво, яркие благоухали цветы. Травы были брошены на пол, и пол был празднично чист, — сама Альдонса прилежно мыла его каждое утро. Белые занавесочки, картиночки на стенах. Светло, бело и розово.

Набожна Альдонса, — как и все крестьяне Соединенных Островов, — в ее комнате образа висят и крестики, — стоит у стены каменная Мадонна, грубо сделанная, но сладко благословляющая на любовь и на печали; в углу темнеет деревянное распятие, — у ног Мадонны, у ног Христа цветы живые и бумажные пестрые гирлянды. На столе книжки, издания Дома Любви Христовой. А вот на кровати из-под подушки зачем же виден прочитанный наполовину роман Пьера Луиса? Ну это, конечно, привез милый, когда ездил в город покупать соль или гвозди.

Краснела, краснела Альдонса, когда жестокая Афра вытащила изпод подушки книжку в желтой обложке и, медленно перелистывая ее, сказала:

— Что-то скажет здешний священник, когда войдет к Альдонсе Жорис и увидит эту книжку?

— Альдонса ее спрячет, — сказала, улыбаясь, Ортруда и спросила: — Ты счастлива здесь, Альдонса?

— О да, ваше величество! — живо ответила Альдонса. — Я здесь очень счастлива. Люди ко мне ласковы. Дети такие милые. И море близко.

Глаза Альдонсы блестели, как блестят они только у влюбленных. Видно было, что слова о детях, о море — это так только, потому что прячется знойный бес сладострастия, за всякие прячется личины. И как было Ортруде, все еще влюбленной, не догадаться о том, что влюбленная стоит перед нею! Ортруда, улыбаясь, спросила:

— У тебя, Альдонса, есть друг, не правда ли? Ведь я угадала верно?

Багряно краснея, улыбнулась Альдонса и еле слышно шепнула:

— Да, есть.

— Кто же он, твой друг? — ласково спрашивала Ортруда.

— Не знаю, — сказала Альдонса.

Напряженно знойным оставался румянец ее смуглых щек. Но все так же радостна была ее улыбка. Ах, счастливы глупые!

— Как же ты этого не знаешь! — спросила Ортруда, дивясь.

И подумала вдруг: «Почему-нибудь скрывает. Глупая!»

Альдонса рассказывала:

— Ко мне приезжает иногда верхом на вороном коне прекрасный сеньор. О, как он меня любит! Как любит! Как ласкает!

И почти шепотом, с трепещущею в голосе страстностью:

— Он зовет меня своею Дульцинеею.

Ортруда багряно вспыхнула.

Как! Почему это имя? такое знакомое ей! из милых слышанное уст!

Ортруда вспомнила, что в последнее время Танкред несколько раз называл ее своею Дульцинеею. А себя сравнивал с Дон Кихотом, — особенно в те минуты, когда развивал перед нею грандиозные планы колониальной политики.

Но почему же и эту девушку ее возлюбленный зовет сладким именем Дульцинеи, прекраснейшей из дам?

Ах, да это потому, конечно, что и она тоже Альдонса, как героиня бессмертного Сервантесова романа, — крестьянская девица Альдонса. Какое забавное совпадение! Но что она говорит, глупая Альдонса! Какими чертами описывает его наружность!

— Он высокий и стройный, такой высокий, каких я никогда не видела. Волосы его светлы, как золото, и глаза его ласковы и сини, как небеса небес.

— Как же зовут твоего друга? — тоскливо спросила Ортруда.

Нахмурила брови. Альдонса робко ответила:

— Он не говорит мне своего имени.

— Отчего? — спросила Ортруда.

— Он не может еще открыться. Надо верить ему и ждать.

— Но неужели ты ничего не знаешь о нем? Из какой он семьи? Где живет? Что делает?

Простодушно улыбаясь, ответила Альдонса:

— Правда, я ничего о нем не знаю.

И видно было, что она ничего не скрывает.

Ортруда говорила:

— А разве ты не спрашиваешь? Как же ты не допыталась у него? Он, может быть, бандит.

— О нет, — с живостью возразила Альдонса, — он — знатный сеньор. Это по всему видно. Но имени своего он не говорит.

Афра сказала холодно:

— Упросили бы.

— О, зачем же! — возразила Альдонса. — Я и так ему верю, — ведь я же его люблю. Он сам скажет, когда придет время. Сначала я приставала к нему, но он очень сердился. И теперь я даже боюсь его спрашивать.

«Какой-нибудь авантюрист!» — подумала Ортруда.

Ее Танкред никогда на нее не сердился.

Афра стояла у окна, спиною к свету, хмурая. Спросила:

— А вы как думаете, кто он?

— Я думаю, — сказала Альдонса, — что он — иностранец, русский революционер, которого ищет полиция. Но скоро там будут у власти социалисты, и тогда мой милый сможет открыть свое имя.

— Вам он и теперь мог бы его открыть, — сказала Афра.

— Нет, — возразила Альдонса, — мы, женщины, так болтливы. И я могла бы проболтаться. И дошло бы до тех, от кого он скрывается.

Ортруда весело смеялась. Глупая девочка, полюбила какого-то беглеца!

Знойно-смуглое лицо Афры было строго, и гордые губы ее не улыбались. Она догадалась, что возлюбленный Альдонсы, — Танкред. Сердце ее болело от жалости к Ортруде. Все в Пальме знают о любовных похождениях Танкреда. С кем он только не сходился! Не знает ничего только одна доверчивая Ортруда.

— Вот его подарок, — с восторгом говорила Альдонса. — Он недавно был у меня и оставил мне это. Скоро он опять придет.

Ортруда рассматривала золотую брошь. Что-то смутно припоминалось ей. Вспомнила. Видела на днях на столе у Танкреда футляр с брошью, такою же, как эта. Держала ее в руках. Подумала тогда спокойно, что это приготовленный подарок для дочери или жены кого-нибудь из слуг Танкреда по случаю какого-нибудь их семейного праздника. Даже и не спросила тогда — забыла, и не было интересно.

А теперь в душе ревнивое подозрение, — чего раньше никогда не бывало.

Ортруда всмотрелась в брошь, сделанную медальоном, нашла глазами пружину, — открыть бы! По влюбленным и испуганным глазам Альдонсы догадалась Ортруда, что там портрет ее милого. Стоит только нажать пружину, — только взглянуть, он или не он.

Вдруг она отстранила брошь. Нет, ей, королеве, неприлично так узнавать чужие тайны.

— Он ласков с тобою, Альдонса? — спросила она.

— О! — воскликнула Альдонса, — если бы вы видели, как он меня ласкает! Как он добр ко мне! Правда, иногда он меня дразнит до слез. А потом утешит.

## Глава тридцать девятая

Ортруда вернулась домой, в старый королевский замок, задумчивая и опечаленная. Хотелось ей хоть ненадолго остаться одной — и не удалось. Хотелось спросить о чем-то принца Танкреда. Но как спросить?

Наконец она рассказала ему о своей встрече с Альдонсой Жорис. Танкред слушал ее с любезною внимательностью, как всегда, смотрел спокойно, улыбался весело, шутил над таинственным женихом простодушной Альдонсы. Синие глаза его были так ясны, вся его высокая и стройная, хотя уже начинающая немного полнеть фигура дышала такою спокойною уверенностью, и голос его был так обычно ровен и ласков, что темные, ревнивые подозрения Ортруды растаяли понемногу легкими облачками под лживыми улыбками высокого, надменно торжествующего Дракона. И как же иначе могло быть? Кто любит, тот верит вопреки всему до конца.

В тихий час обычной послеобеденной беседы принц Танкред опять принялся развивать перед Ортрудою свои великолепные планы, свои дерзкие замыслы. Уже не первый раз говорил он с нею об этом, каждый раз с новыми подробностями, с новыми аргументами.

Влюбленная Ортруда слушала его хитро построенные речи. Порою казалось, что доказательства его неотразимо убедительны и что мысли Танкреда совершенно совпадают с ее собственными мыслями. Порою просыпалась в ней опять благоразумная осторожность конституционной государыни и шептала ей, что рискованные предприятия, к которым так настойчиво склонял ее Танкред, могут привести небольшое и несильное государство Островов к чувствительным поражениям и потерям, к внутренней смуте, и даже к совершенной погибели. Тогда вдруг просыпалась в ней наследственная гордость, и душа ее горела негодованием и стыдом при мысли о том, что ее государство превратится в испанскую или итальянскую провинцию, что из ее старого замка сделают музей для хранения древностей, статуй и картин и что ей самой придется доживать свой век в холодном, сером, шумном, буржуазном Париже, скучая по лазури волн и небес, по знойно-томительным благоуханиям, по роскошно-звездным тьмам, по яростным блистаниям молний в ее милой Пальме.

Она сказала Танкреду:

— Твои планы очаровательны, милый Танкред, но мои Острова так бедны и слабы! К чему нам гнаться за великими державами и заводить большой флот? Для нас это, право, совсем лишняя роскошь.

Танкред воскликнул так страстно, что синие глаза его потемнели:

— О, ты спрашиваешь, зачем нам большой флот! Я знаю зачем! Будь у нас большой флот, я создал бы для тебя, Ортруда, могучую касту твоих рыцарей и воинов, я завоевал бы тебе Корсику и половину Африки, мечом или золотом я приобрел бы для тебя, Ортруда, все латинские республики в Южной и Средней Америке, я освободил бы Рим, вечный Рим, и в соборе святого Петра папа возложил бы на твою голову, на твои смоляно-черные кудри прекраснейшую из земных корон, венец вечной Римской империи. Под твоею державою я объединил бы все латинские страны Старого и Нового света. Пусть тогда мужики во фраках и в цилиндрах, захватившие власть на берегах угрюмой Сены, продолжали бы именовать свое чиновническое государство республикою, — общий восторг латинских рас, возрожденных к новой славной

жизни, заставил бы их чеканить на золоте их монет твой профиль и твое сладкое и надменное имя, Ортруда Первая, императрица вечного Рима. И были бы столицами твоими, Ортруда, Рим, Париж, Мадрид, Рио-Жанейра и наша Пальма. О, я знаю, зачем нам, таким же островитянам, как англичане и японцы, нужен сильный флот.

Ортруда недоверчиво покачала головою.

— Англия, Япония, — сказала она, — великаны сравнительно с нами. И своего великодержавного положения они достигли только очень медленно.

Танкред возразил:

— Потому мы и должны вступить в союз с Англиею. С ее помощью мы достигнем многого. И скоро. На что прежде нужны были века, то теперь в наш торопливый и предприимчивый век достигается годами напряженного труда.

— Англии не нужен наш союз, — сказала Ортруда.

— Чтобы Англия имела основание ценить наш союз, — возразил Танкред, — мы опять-таки должны иметь могущественный флот.

— И воевать? — спросила Ортруда укоризненно.

— Да, если понадобится, — отвечал Танкред, улыбаясь.

По его слегка при этом покрасневшему лицу и радостно заблестевшим глазам было видно, что думать о войне для него приятно.

— Воевать! — повторила Ортруда. — Зачем? Как это странно! О милый Танкред, наш дворец стоит слишком близко к морю, и я боюсь, что снаряды с неприятельских броненосцев разрушат его древние стены и башни.

— Ну что ж! — сказал Танкред. — Этот дворец уже давно следовало бы перестроить, а еще лучше построить бы другой в более удобном месте, где ничьи бомбы не достигли бы его.

— Ни за что! — воскликнула Ортруда. — Как можно трогать этот замок, с которым связано так много исторических воспоминаний!

— Милая Ортруда, — убеждающим голосом говорил Танкред, — неужели мрачный вид этого средневекового замка не наводит на твою нежную, впечатлительную душу тягостного уныния? Эти бесконечные коридоры под низкими сводами, эти узкие винтовые лестницы,

неожиданные тайники, извилистые переходы то вверх, то вниз, эти окна в слишком толстых стенах, то чрезмерно узкие, то непомерно высоко пробитые, круглые, как совиные очи, эти балконы и выступы башен над морскою бездною, в полу которых скользкие плиты, кажется, раздвигались когда-то, чтобы сбросить в волны окровавленное тело, — все это, по-моему, слишком романтично для нашего расчетливого, практического и элегантного века. Это хорошо для музея или чтобы показывать праздным туристам, — но жить здесь постоянно, право же, невесело!

— Я люблю его, этот старый замок, — спокойно сказала Ортруда, — я ни за что не решусь согласиться на какие-нибудь переделки в нем. Я в нем родилась. Он слишком мой для того, чтобы я могла с ним расстаться.

— Одна эта зловещая спальня белого короля чего стоит! — продолжал Танкред. — При всем моем скептицизме я не могу одолеть в себе жуткого чувства, когда иду один мимо этого сумрачного покоя, каменный пол которого кажется еще и теперь сохраняющим старые пятна, — может быть, следы крови несчастного юного короля, предательски убитого в этом коварном замке. Не понимаю, милая Ортруда, за что ты любишь этот мрачный дом.

— Знаешь, Танкред, — сказала, улыбаясь, Ортруда, — говорят, что белый король опять начал ходить. Говорят, что это не к добру.

— Вот, — живо сказал Танкред, — чтобы суеверные люди не говорили вперед таких глупостей, надо оставить совсем и поскорее этот неприветливый замок.

— Но белый король все-таки будет ходить по его коридорам, — сказала Ортруда.

Не понять было по ее лицу, шутит ли она или боится. Танкред сказал с раздражением:

— Пусть он ходит один в пустом замке, если это ему нравится. На его месте я бы сюда и заглянуть не захотел после этой неприятной истории.

— Хотелось бы мне его увидеть хоть один раз, — тихо сказала Ортруда.

Еще тише, призрачно-хрупким голосом из-за темной чащи зеленеющих у террасы миртов, сказал ей кто-то грустный и незримый:

— Ты увидишь его скоро. Он придет...

И еще что-то, но уже невнятны стали слова. Ортруда вздрогнула, оглянулась тревожно, — но никого не было на вечереющей багряно-белой террасе, только она и Танкред. Только легкий ветер с моря шелестел в кустах, точно поспешно убегал кто-то, прячась боязливо, да из сумрачной тишины открытых зал слышен был мерный ход старых часов.

Ортруда посмотрела на Танкреда. Он ничего не слышал. Заметил только ее невольное движение и сказал озабоченно:

— Ты дрожишь, Ортруда. Тебе холодно. Уйдем отсюда. День был нынче слишком зноен, и здесь, над морем, слишком резок переход к ночной прохладе.

Ортруда встала.

— Нет, здесь тепло, — сказала она, — но я устала. Мы уйдем, и пусть придет сюда тот, кто любит сидеть долго на месте, покинутом людьми, и мечтать о жизни прекрасной, мудрой, какой мы еще не знаем.

Танкред посмотрел на нее с удивлением и сказал тихо:

— О моя милая мечтательница!

Они пошли через галерею, где висели портреты членов королевского дома, — длинный ряд старых и молодых лиц, написанных то знаменитыми, то безызвестными художниками. Перед портретом Арнульфа Второго, белого короля, Ортруда остановилась. Сказала:

— Посмотри, Танкред, как изменилось в последние дни лицо Арнульфа. Его румяные щеки поблекли, и лицо его стало печально-серым, точно дым из вулкана осел на нем. И глаза его смотрят не так, как прежде, уже не по-детски весело и смело, — смотри, Танкред, какие они стали мрачные, какие в них угрозы!

— Это от времени выцветает живопись, — сказал спокойно Танкред. — Если бы душа бедного мальчугана переселилась в этот портрет, то мы наблюдали бы другие явления: его глаза, конечно, блестели бы от радости и гордости, глядя на тебя, проходящую перед ним, милая Ортруда!

Не отводя опечаленных глаз от портрета, задумчиво сказала Ортруда:

— Его душа... не знаю... Но его предсмертный стон пережил века. Его глаза, могильною закрытые мглою, но все еще жадные смотреть на земное наше солнце, — его глаза угрожают нам, когда немилостивая судьба готовит нашему роду печали и беды. Вот древний род наш истощается. Может быть, я в нем последняя. Может быть, смерть уже стережет меня. Недаром с самого дня моего коронования стал дымиться этот вулкан. Силы, которые мирно дремали в земле, восстанут скоро, и сердце мое верит зловещим приметам.

Танкред хотел остановить ее нежными словами утешения. Но Ортруда говорила, не останавливаясь, — быстрым, звонко-журчащим ручьем струилась ее речь, и как нежная мелодия была свирельная речь ее вещей печали. И она приникла к Танкреду, влюбленными смотрела на него глазами, вливая страстную и светлую свою душу в обманчиво-ясное, лазурное мерцание его глаз, и говорила:

— Но с тобою, Танкред, ничто меня не страшит!

А он, вечно влюбленный в какую-то всегда новую, неведомую женщину, прижимал Ортруду к своей широкой груди, к сердцу, жаждущему измен, и казался растроганным ею, влюбленным в нее. И говорил:

— Верь мне, верь, верная моя Ортруда, жена моя и царица. Рука моя сильна, сердце мое не ведает боязни. Рыцарский меч мой остер и тяжел, и рукоять его крестообразна. От вражьей силы, здешней и нездешней, тебя защитит твой, Ортруда, верный рыцарь, твой Танкред. Столь же верный, но более счастливый, чем славный Ламанчский рыцарь, прославит он тебя, для света гордая Ортруда, для меня милая Дульцинея, прекраснейшая из дам.

Он обнимал ее охваченный тонким черным шелком стан, и целовал ее легкие руки, и, к ногам ее склоняясь, целовал ее белый атласный башмачок, — а в мечте его стояла перед ним, с круглым улыбающимся лицом, с туго налитою под серым полотном сорочки грудью, простонародно-красивая, босая девушка, простодушная, доверчивая Альдонса.

## Глава сороковая

Ночь настала. Была она душная, знойная, черная. Дышала близостью бури. Звезды казались слишком крупными и горели жутко на черных безднах высоких, слишком высоких небес. В ясном сиянии луны была напряженная печаль. И луна проливала печаль свою на землю, и резкими тенями дрожала бессильная, недвижная земля. И луна проливала печаль свою на море, и, повинуясь холодному очарованию печали, вздымалася морская зыбь миллионами умно ропщущих волн. Все чаще и чаще набегали на луну тучи и убегали, и опять струился лунный свет, зелен и настойчиво печален.

Ортруда стояла у окна вместе в Афрою и смотрела на море. Круглый небольшой зал, где они находились, составлял основание Северной башни. В переднем, выходящем к морю полукружии его массивной стены были пять высоких и узких окон, — среднее из них самое высокое, боковые меньше и меньше. Они доходили до самого пола, который был сложен из громадных плит. За ними, снаружи, висел над морем узкий полукруглый балкон, обнесенный невысокою каменною балюстрадою. Против среднего окна, в заднем полукружии стены, видна была широкая ниша, завешенная темным сукном; коридор за нею вел в опочивальню королевы. По бокам этой ниши две железные двери; за одною из них — узкая круговая лестница в башенной стене приводила несколькими оборотами на верхнюю площадку башни; за другою — такая же лестница вниз.

Разговаривали и прислушивались к морским голосам. Далекий, глухой из-за закрытых окон шум волн возрастал, словно тосковало о чем-то и томилось беспокойное ночное море. Тихо и печально говорила Ортруда, склонив голову на руку, лежащую на тяжелом, темном переплете оконной рамы:

— Моему Танкреду не нравится мой замок. А я его так люблю! Танкред мечтает о славе, о блестящей жизни, о войне. Обо всем, что мне совсем не нужно, что чуждо и враждебно мне. Или мне не следовало царствовать?

— Ты — лучшая из королев всего мира, милая Ортруда, — сказала Афра.

Видно было по ее лицу, что слова Ортруды как-то странно волнуют ее. Казалось, что она с трудом противится желанию сказать что-то Ортруде. Томительная игра противочувствий сказывалась в напряженном выражении ее черных, как ночь грозовая, глаз, в дрожании ее страстно-алых губ. Ортруда, не оборачивая к ней своего печального лица, продолжала говорить тихо, точно сама с собою:

— Танкреду скучно стало в моей милой Пальме. А я все больше приникаю душою к этому старому дому. Если бы ты знала, Афра, как грустно почувствовать, что души любимых не сливаются в одном желании! Если бы он не был со мною всегда так неизменно-нежен, я подумала бы, что он меня разлюбил.

Афра молчала и смотрела на Ортруду с выражением восторга и страдания, и глаза ее были ревнивы, и гневные слова, которых она не скажет, жгли ее губы.

Говорила Ортруда:

— О, если бы Светозарный предстал предо мною! В сверкании молний и в хоре громов сказал бы мне вещее слово! Приближается великая буря с востока, и снова приближению бури радуется мое сердце. Вызов небу брошу снова и, может быть, ныне наконец неложное услышу слово откровения.

— Небеса молчат, — тихо сказала Афра. — Не с них сойдет тот, кто возвестит истину. Из темной бездны поднимется Светозарный.

— Да, — говорила Ортруда, — Демиург утаил от нас истинное знание. В сокровенном своем единстве заключив все ведение и всю мудрость, на неведение он обрек нас, предал нас мукам отчаяния и нищеты духовной, томлению нестерпимому. Из земли, из красной глины, как и первый человек, восстал утешающий мудрый Змий. Он хотел открыть людям истинное знание, — и они испугались, и не отстояли своего рая, и робко бежали во тьму. Афра, во мне пламенная душа, и я хочу говорить с громами и в шуме бурь утвердить мою державную волю.

— А ты не боишься, Ортруда? — искушая и улыбаясь радостно, спросила Афра.

Ортруда повернулась к ней. Смотрела на нее внимательно. Говорила тихо и задумчиво, словно взвешивая каждое слово:

— Боюсь? Может быть. Но и над страхом есть победа. Я побеждаю всегда. Бессильный лежит мир перед моею мыслью. Вечное есть противоречие между моею свободою и роковою необходимостью, которой подчиняется косный мир. Но пусть люди на этой земле остаются во власти законов и долга, — я возношу мою жизнь в мир моей верховной воли.

Горя восторгом и улыбками, воскликнула Афра:

— Ортруда, или ты не знаешь, что в тебе самой обитает Светозарный, которого ты призываешь! Земным образом светлого духа стоишь ты передо мною, Ортруда, и за то я люблю тебя нежно и преданно, и мне сладко целовать край твоей одежды. Ты прекрасна, — ты прекраснее всех живущих на земле, и недаром он, тот, которого ты так безумно и так напрасно любишь, недаром он называет тебя Дульцинеею, прекраснейшею из всех дам. Ты сама знаешь, как ты прекрасна и очаровательна, — ты это знаешь, ты любишь откровенные, правдивые зеркала, ты любишь и зыбкие отражения в поверхности спокойных вод.

Афра склонилась к ногам Ортруды и целовала ее белые башмаки. И, улыбаясь нежно, Ортруда подняла ее и сказала:

— Сладкие и безумные говоришь ты слова, Афра. Ты истощаешь для меня всю свою нежность, — и что же у тебя останется сказать твоему милому?

— Любовь рождает слова неистощимо, — ответила Афра.

Бледным светом вспыхнул темный покой, — вдали сверкнула первая молния. Долгие и медленные прошли секунды, и донеслось далекое рокотание грома. Радостное возбуждение, как всегда во время грозы, опять охватило Ортруду. Она торопливо простилась с Афрою и ушла к себе.

Под легкою рукою Ортруды повернулись бесшумно бронзовые выключатели, — заискрились ограненные покровы электрических веселых лампочек, стало весело, нарядно и уютно в просторной опочивальне, и было странно слышать в ней возрастающие за стеною

голоса яростной бури. Ортруда позвонила. Ловкая молодая девушка проворно и безмолвно раздела Ортруду, откинула одеяло ее постели, переложила со столика у окна на столик у кровати начатый роман и ушла.

Прежде чем лечь, Ортруда раздернула занавеси одного из окон. Легла, смотрела в окно, слушала могучие вопли бури.

После знойного дня налетела на Острова буря, ведьма безобразная, страшная, с разметавшимися косами. Она ревела от злости и от боли, разрывая в неистовых метаниях о скалы и о пальмы свое свинцово-темное, струистое тело. Непроглядный мрак окутывал испуганную землю, дрожащие в ярости волны и ожесточенное небо. Жалобно стонали и трещали деревья, — страх смерти носился над ними. Ветер свистел, миллионы змей неслись в воздухе с яростным шипением. Морские волны шумно бились у подножия королевского замка. Они казались безумно-пьяными от бешенства и от печали. На краткий миг проглатывая тьму, с безумною торопливостью насыщая бешенство желаний, одна за другою быстро вспыхивали синие и зеленые змеи молний. И тогда вдруг страшный гром покрывал все звуки неба и земли — и уносился. Удар за ударом, молния за молниею, повторялись все чаще, все яростнее, все ближе. Казалось, что земля дрожит, что стены замка колеблются.

Ортруда откинула одеяло, сбросила с себя одежды и лежала, томясь и вздыхая. Электрические лампочки бросали равнодушный свет на ее приосененное белым покровом алькова тело. При ярких вспышках молний их близкий, пленный свет, казалось, меркнул, и тело Ортруды словно загоралось зеленоватыми и синеватыми огнями.

Ей было душно, и какое-то странное ожидание томило ее. Быть может, она ждала Танкреда? Она знала, что он засиделся после ужина со своими военными друзьями за бутылкою вина. Придет поздно.

Но вдруг поняла Ортруда, что не его она ждет в эту ночь. Голоса бури звали ее. Дикий восторг внезапно поднял ее с постели. Торопливо закутала она темным плащом свое обнаженное тело, быстро пробежала коридор и в круглом зале открыла дверь на башню.

На узкой лестнице было темно. Только сверкание молний в маленькие окошечки освещало порою часть влажной, покрытой плесенью стены и две-три истертые ступени. Были холодны их каменные плиты под ногами Ортруды. Здесь еще слышнее было яростное неистовство бури. Казалось, что прочные, толстые стены замка непрерывно дрожат. Казалось, что несокрушимая башня трепещет, готовая упасть.

Вот уже нет потолка над головою Ортруды, и вот уже она на верхней площадке. Только невысокий каменный парапет, такой же, как на балконе в круглом зале, ограждает ее от падения в клокочущую ярость морской пучины. Ветер неистово рвет складки ее плаща. Ортруда порывисто развела руки и сбросила плащ. Клубясь и свиваясь черною змеею, он скользнул по камню холодных плит и упал на краю площадки, остановленный преградою парапета.

Широко простирая руки, Ортруда звала Светозарного. Потоки дождя низвергались на нее. Сверкали молнии, и гром гремел над ее головою, — но на высоте над замком и над морем, в полыхании мгновенных пожаров, в диком хоре воющих и гремящих голосов не откликался ей тот, которого она звала.

Знакомый голос назвал ее имя, знакомые шаги услышала она так близко за собою — это был принц Танкред. Он поднял сброшенный ею плащ, закутал ее поспешно и увлек по лестнице вниз. Ортруда, не сопротивляясь, шла за ним. Опять взволнованный ее близостью, он шептал ей нежные слова. Она не слышала его. Печаль томила ее. Она сказала тихо:

— Он меня не услышал. Но он услышит меня.

Танкред наклонился к ней. Он не расслышал ее слов, но почему-то не захотел переспросить ее. Сказал:

— Этот ужасный замок внушает тебе, милая Ортруда, безумные поступки. Невозможно делать то, что ты делаешь.

Вслушавшись в его слова, Ортруда приостановилась и сказала с нежною настойчивостью:

— О, только люби меня, Танкред, люби меня и безумно поступающую, люби меня и восходящую на башню сбрасывать земные одежды и говорить с громами. Люби меня, люби меня, Танкред!

— Ты знаешь, Ортруда, как я люблю тебя, — отвечал Танкред, — ты вся холодная и мокрая.

Ортруда засмеялась.

— Если бы я жила в средние века, — сказала она, — я бы летала на шабаш каждую ночь и во всякую погоду. А днем, молодая и прекрасная колдунья, я бы шла босая по болотным топким тропам собирать чародейные тайные травы. Накликав на страну мою дождь, я шла бы на высокий холм и там кружилась бы в неистовой пляске. И жгли бы меня потом на костре, а я бы выла от нестерпимой боли и смеялась бы. А теперь кто заплетет, кто поведет чародейные хороводы?

— У тебя начинается лихорадка, — сказал Танкред.

Он поднял ее на руки, и понес, и целовал, обнимая. Вдруг, в блеске, вскрикнула испуганная чем-то Ортруда.

Недалеко от Северной башни находилась в королевском замке квартира гофмаршала Нерита. Его сын, Астольф, в эту ночь долго не мог заснуть. Долго вертелся он на своей постели. Сладкая истома мучила его. Мечталось Астольфу прекрасное лицо королевы Ортруды и знойно-ласковая улыбка на нем. Мечтались ему ее обнаженные ноги, лобзаемые лазурною синевою тихих волн. Их легкий загар рождал в душе его стыдливые соблазны. Метался Астольф на душной постели, и уже не раз с уст его срывался невольно легкий стон, и уже не раз быстрые слезы струились по его щекам.

Уже несколько ночей подряд переживал он эти томления. Почему-то вспоминалась ему старая легенда о белом короле. Почти бессознательная хитрость подсказала ему, что если кто-нибудь и увидит, как он пробирается по коридорам к дверям королевской опочивальни бросить взгляд, — один только взгляд, — на спящую Ортруду, то его примут за призрак белого короля и не задержат. И вот, томимый странною тоскою нежных предчувствий, уже не первый раз вставал он в эти знойные ночи с постели и тихо прокрадывался к ее дверям. Но открыть дверь еще ни разу не осмелился и только к ее дыханию прислушивался или к тихому звуку ее речей, когда она разговаривала с Танкредом.

Сегодня Астольф долго ждал, когда в их квартире затихнут шаги и голоса и заснет отец. Уже когда дрожали зыбко в его окне бешеные перемигивания молний, он встал, набросил на себя легкий плащ и тихо вышел в коридор. С бешеным свистом сквозь разбитое стекло окна метнулся ему навстречу холодный вихрь. И холод плит под ногами, и блистание огненных змей, и непрерывное грохотание громов, и шум ветра и волн, — и так трудно идти навстречу этой стихийной злости! Но Астольф, не останавливаясь, пробегал коридор за коридором.

Вдруг близко от себя он услышал шаги, голоса, — Ортрудин голос. Все ближе. Молния вспыхнула. Танкред несет Ортруду. Ревнивою злостью зажглись глаза Астольфа. Ее лицо. Ресницы длинные приподняты, и взор ее на нем, и в глазах ее испуг. Вскрикнула. Он испугал ее!

Астольф бросился бежать.

В глазах Ортруды мгновенно мелькнуло смуглое лицо, жгучие очи. Над многоголосым шумом бури вспыхнул алым, острым лучом яркий вопль Ортруды.

— Что с тобою, Ортруда? — спросил тревожно Танкред.

Опять блеск молнии. Где же он? Исчез бледный призрак с пламенными глазами. Ортруда шептала:

— Белый король стоял передо мною. Лицо его было бледно, и глаза его сверкали черными огнями.

— Что ты говоришь, Ортруда! Ты совсем простужена. У тебя начинаются галлюцинации.

— Нет, милый Танкред, — отвечала спокойно Ортруда, — я видела его ясно. Он стоял здесь, у стены, против меня, и шептал мне что-то.

— Ты больна, Ортруда, — говорил Танкред.

Быстро внес ее в спальню. Позвонил.

— Не беспокой врача, Танкред, — сказала Ортруда. — Я ничуть не больна. А белый призрак... что ж! при блеске молний, может быть, мне только показалось, что стоит кто-то. Мы, женщины, так суеверны, так боязливы.

## Глава сорок первая

Утро после бури взошло над Островами безмятежно-ясное, тихое. Истощив свою внезапную ярость, природа опять улыбалась светло и невинно, как будто бы не было погибших в море людей, она ликовала, сияла, пела неисчислимыми множествами голосов и шумов. Пряные благоухания снова лились в широко открытые окна кабинета, где королева Ортруда занималась делами правления. В благоуханиях яркой радости казались забытыми навсегда гневный гром и яростные блистания полуночной бури.

В кабинете королевы Ортруды было светло, бело, просторно. Королева Ортруда не очень внимательно слушала, что говорил ей первый министр, Виктор Лорена. Да и что бы она могла сказать или сделать вопреки? Ведь она же доверяла этому правительству, как доверяла бы и всякому другому, и называла его своим, как назвала бы и всякое другое.

Почти бессознательно выражая привычными словами свое согласие со всеми предложениями министра, почти машинально подписывая те бумаги, которые по закону требовали королевской подписи, Ортруда думала о своем. С напряжением, почти мучительным, старалась она что-то припомнить. Лицо, которое вчера на краткий миг вспыхнуло перед нею в фосфорическом блистании молнии, припоминалось ей. Знакомые черты мгновенного видения то отчетливо, но разрозненно вставали перед ее полузакрытыми глазами, то убегали в зыбкую мглу неопределенных очертаний. И наконец слились в один ясный образ.

Ортруда радостно улыбнулась. Так это, конечно, мальчишка Астольф Нерита. Странно, что она не узнала его сразу. Но зачем же он приходил? В его непонятном появлении в ночных переходах старого королевского замка не было ли связи с теми слухами, которые возникли недавно, слухами о явлениях белого короля? Может быть, начитавшись старых легенд, наслышавшись от старых слуг в замке всякой небывальщины, встает Астольф по ночам, и ходит сонный, и сам не знает о своих зловещих блужданиях? Душа бело-

го короля не воплощалась ли всегда в теле какого-нибудь юного лунатика?

Забывши совсем, кто сидит перед нею в широком кресле у ее письменного стола, королева Ортруда задумчиво спросила:

— Скажите мне, что же вы думаете обо всем этом?

Подняв глаза на министра, она почти машинально добавила обычное обращение:

— Дорогой господин Лорена.

И сразу спохватилась, — зачем спрашивала его. Слегка покраснела, как-то неуверенно и смущенно улыбнулась и тревожно посмотрела на министра. Но, очевидно, не вышло никакой неловкости. Виктор Лорена и в парламенте отличался находчивостью; он понял вопрос королевы Ортруды в том смысле, что она хочет еще раз услышать его мнение относительно общего политического положения, и принялся с привычным многословием парламентского деятеля развивать свои взгляды. Королева Ортруда молчала и слушала его со спокойным, немного презрительным выражением.

Виктор Лорена был крупный, сильный, очень моложавый, очень самоуверенный человек лет пятидесяти пяти. Сын мелкого провинциального торговца, бывший адвокат, женатый на дочери богатого фабриканта, он был ловкий делатель карьеры. Его сшитый в Лондоне фрак сидел на нем превосходно, цилиндр блестел безукоризненно ровно, его густая, черная, с легкою проседью борода была подстрижена, как у светского парижского модника, — и все-таки во всей его рослой фигуре было что-то неуклюжее и мужиковатое, и в спокойной уверенности, с которою он держал себя здесь, перед королевою, сказывалась какая-то неестественная преувеличенность. Это был настоящий буржуа, чувствующий свое засилие и желающий, чтобы и другие чувствовали его. Вся его повадка всегда очень не нравилась королеве Ортруде. Но тем любезнее она всегда разговаривала с ним.

То, что он говорил теперь, было дифирамбом буржуазии.

— Да, ваше величество, — говорил он, — европейская буржуазия еще не сказала своего последнего слова, еще не исчерпала своего

исторического значения. Что бы ни говорили и ни писали о нас наши враги слева, как и наши противники справа, буржуазия все еще полна жизненных сил и будет с прежним успехом и впредь продолжать исполнение своей великой задачи, высоко держа знамя свободы, обеспечивая каждому из граждан охрану его законных интересов.

Королева Ортруда сказала неопределенным тоном:

— Господин Филиппо Меччио думает совсем иначе. Он предсказывает близкое крушение буржуазного строя. И многие ему верят.

Виктор Лорена пожал плечами и спокойно улыбнулся. Продолжал:

— Да, ваше величество, к сожалению, это правда, что в последнее время социалистическая пропаганда усиливается, число рабочих ассоциаций и синдикатов возрастает чрезвычайно, и химерические идеи социализма становятся весьма популярны в широких слоях народа. Именно широких, — малограмотных и малокультурных. Но все-таки еще не пришло время для установления господства рабочего пролетариата. Да оно и не придет никогда, — я в этом твердо убежден.

Королева Ортруда опять прервала его. Ее глаза смеялись, но на страстно-алых губах ее не было улыбки, когда она говорила:

— А доктор Меччио твердо убежден в том, что социалистический строй неизбежен.

— О да! — воскликнул Виктор Лорена. — Все эти демагоги ораторствуют с видом людей, обладающих несомненною истиною. Они гордо распустили над Европою павлиний хвост якобы научной теории. Но они скромно умалчивают о том, что и наука, и жизнь уже внесли немало опустошений в их первоначальные положения. Лет сорок тому назад они предсказывали, что капиталы и земли будут собираться в руках все меньшего и меньшего количества владельцев. Действительность показала совершенно обратное: и земли, и капиталы быстро раздробляются, число землевладельцев и мелких капиталистов растет.

— Что ж, — возразила королева Ортруда, — теоретические промахи всегда возможны, но они, как мы видим, не подрывают силы этого движения.

— Да, до поры до времени, — сказал Виктор Лорена. — Социализм силен только до тех пор, пока он еще остается в области приятных мечтаний и очаровательных обещаний. Чем более несбыточны эти мечты, чем нелепее и невозможнее эти фантастические обещания, тем охотнее верят им люди, — те нищие духом, которые готовы верить, что улучшения своей участи они добьются не своим личным трудом, не своею личною борьбою за блага жизни, а только таким преобразованием общества, которое обеспечивало бы каждому лентяю существование в обмен за коекакую работу.

— Однако, — тихо сказала королева Ортруда, — одни боятся этого учения, другие ему верят.

— Правительства боятся социализма, — говорил Виктор Лорена, — и совершенно напрасно. Народы ему верят, — но их он в конце концов обманет, как и всякое учение химерическое, более религиозное, чем научное, более возбуждающее надежды, чем опирающееся на строгие доводы разума.

— А все-таки, — сказала королева Ортруда, — эти строгие доводы разума не удержат пролетариат, доведенный до отчаяния, от его выступлений. И кто знает, к чему это приведет нас!

— Выступления пролетариата, — возразил Виктор Лорена, — заранее обречены на неудачу. Современный человек слишком индивидуалист, чтобы поднять бремя социалистического строя. Время скоро покажет народам всю деспотическую сущность этих мечтаний и всю научную несостоятельность этой теории, такой стройной на первый взгляд, и даже, я бы сказал, слишком стройной.

— Итак, — спросила Ортруда, — дорогой господин Лорена, вы настроены оптимистически?

— Да, ваше величество, — со своею обычною уверенностью ответил Виктор Лорена.

— А все это движение, которое мы наблюдаем? — спрашивала опять Ортруда.

— Конечно, — говорил Лорена, — назревает необходимость некоторых перемен, но это вовсе не так опасно, как думают многие мнитель-

ные люди. Положение рабочих в некоторых отраслях промышленности действительно следует улучшить, и мы это сделаем. Вообще, мы пойдем вовремя на минимум необходимых уступок, — и только.

— Стало быть, бояться нечего? — с неопределенною улыбкою спросила Ортруда.

Лорена уверенно сказал:

— Готов поручиться чем угодно, ваше величество, что решительно нечего бояться. Я смотрю прямо в глаза будущему с большими и светлыми надеждами и без малейших опасений.

Королева Ортруда встала. Сказала с любезною улыбкою, одною из тех, которые так привычны, что их даже не замечают:

— Благодарю вас очень, дорогой господин Лорена. Вы совершенно рассеяли все мои сомнения.

Виктор Лорена поцеловал протянутую ему руку Ортруды, почтительно откланялся и ушел. С легкою насмешливою улыбкою смотрела за ним Ортруда. Она думала, что самоуверенность его неумна и что осведомленность его в теориях весьма поверхностна.

Ортруда ненадолго осталась одна. Думы ее были печальны, и душа ее была омрачена. Она томилась темными, но мрачными предчувствиями скорби неутешной. Зенитный час ее жизни был слишком ясен, как перед грозою. Таким безоблачным казался ей доныне облик милого ее Танкреда — лучезарный образ, созданный ее пылким воображением, щедро наделенный всеми достоинствами, которые она хотела в нем видеть.

Светлый лик! И так непонятна в его ярком озарении подстерегающая, по пятам крадущаяся за Ортрудою печаль. Или это — чародейный голос, предвещательный, из темной глубины восходящий?

От королевы Виктор Лорена прошел к принцу Танкреду, — еще накануне получил от него пригласительную записку.

В последнее время принц Танкред все чаще и чаще искал случаев поговорить с Виктором Лорена. Министр от этих встреч не уклонялся и часто по приглашениям Танкреда заходил к нему после докладов у королевы; иногда и перед ними. Всегда для таких приглашений

у Танкреда находился какой-нибудь благовидный предлог, что-нибудь из спортивной или светской жизни. И всегда разговор очень скоро переходил на то, что Танкред принимался развивать снова свои великолепные планы, — об усилении флота, о колониях в Африке и на островах Тихого океана, о союзе с Англиею, о Латинской империи.

Виктор Лорена думал, что понимает, почему принц Танкред так занят мечтами о всех этих странных и опасных авантюрах. Он отлично знал, что Танкред в последние годы все более запутывается в долгах. Танкред влюблялся быстро и часто. Расходы его на любовниц становились наконец слишком велики. Притом же ему приходилось платить многим за молчание, чтобы Ортруда продолжала оставаться по-прежнему в блаженном неведении. Вот эта нужда в деньгах, все возраставшая с годами, и толкала Танкреда к политическим и финансовым авантюрам, и заставляла его не избегать связей с банкирами и с биржевиками. Случалось ему даже иногда в прилично скрытых формах торговать своим влиянием. Поддерживать наилучшие отношения с министерством было для него очень важно.

Лорена никогда не спорил с принцем Танкредом по существу и соглашался на словах со всем, что говорил ему Танкред. При данных обстоятельствах принц Танкред казался ему человеком, полезным для кабинета. Влияния и связи партии, втихомолку группировавшейся около Танкреда, партии военных честолюбцев и шовинистов, входили в расчеты и хитрого министра, который не прочь был воспользоваться тем, что в среде этой партии было немало людей, искусившихся в придворных интригах. Политик осторожный и ловкий, Виктор Лорена был уверен, что на этом, хотя и скользком, пути его не завлекут дальше, чем он сам захочет. Он надеялся, что в обмен на фразы сочувствия и на кое-какие обещания сумеет, по крайней мере, укрепить свое личное влияние в высоких сферах. И потому в разговоре с Танкредом он до небес превозносил его государственный ум. Только уклонялся от всякого решительного шага. Говорил, что к осуществлению этих планов следует приступить очень осторожно. Находил многие трудности и помехи.

## Глава сорок вторая

Королеве Ортруде сказали, что гофмаршал Теобальд Нерита просит принять его. Ортруда с некоторым беспокойством ждала старого гофмаршала, хотя и сама ясно не понимала, что ее смущает. Она очень удивилась, когда увидела вошедшего вместе с ним его сына Астольфа, но ничего не сказала.

Мальчик вел себя с неловкою застенчивостью, которая сразу выдавала его переходный возраст. Он никак не мог воздержаться от того, чтобы время от времени не потрогать едва пробивающихся на верхней губе волосков. На нем была красивая и простая белая атласная одежда королевского пажа, плотно охватывавшая его тонкий стан. Кружевное жабо оттеняло тонкий, легкий очерк его неширокого подбородка. Короткие панталоны открывали высоко его стройные ноги, которые казались спокойно-гордыми.

Глядя на него, Ортруда вдруг опять вспомнила свою вчерашнюю встречу с Астольфом в коридоре во время грозы. Это воспоминание мгновенно смутило ее почему-то. Тридцать шесть поколений высоких предков оставили ей в наследство очень неуравновешенную нервную систему. С тоскливою боязнью сказала она:

— Я боюсь, что вчерашняя буря...

Остановилась. Ждала, что скажет гофмаршал. Но разговор скоро успокоил ее. Нет, в дворцовых садах вчерашняя буря не произвела никаких опустошений. Только в коридорах кое-где выбиты стекла.

Гофмаршал, опустившись в указанное ему королевою Ортрудою кресло, начал говорить о цели своего прихода. Астольф молча стоял рядом с его креслом.

Гофмаршал Теобальд Нерита принадлежал к тому странному, но обычному в этом кругу типу людей, в наружности у которых черты высокого положения и знатной породы как-то удивительно соединяются с чертами верного холопства. Это был высокий худощавый человек, еще не старый, но казавшийся гораздо старше своих лет. Его пергаментно-желтое лицо с крупными морщинами, с седыми отвислыми бакенбардами, с большими, бесцветными глазами было немнож-

ко похоже на физиономию преданной хозяину собаки. Держался он сутуловато, по давней ли привычке к придворным низким поклонам, по старческой ли слабости, как знать! Шитый золотом придворный мундир висел на нем просторно и мешковато. В манере Теобальда Нерита носить его чувствовалась своеобразная непринужденность верного слуги, которому за преданность и долгую беспорочную службу позволены кое-какие маленькие вольности.

Очевидно, в молодости Теобальд Нерита был очень красив. В его прошлом насчитывалось немало романов. Женат он был неудачно. Его жена отличалась дикою необузданностью нрава и чрезмерною страстностью, вырождение знатного и древнего рода явственно сказывалось на ней. Маленькая, тоненькая, смуглая, говорливая, подвижная, как мартышка, она влюблялась без конца в дюжих солдат-гвардейцев, конюхов и смазливых мальчишек. Когда дикие приключения неравных связей утомили ее, она ударилась в мистицизм. Ее страстные мольбы и потоки пролитых ею у ног королевы Клары слез убедили вдовствующую королеву в чистосердечности ее раскаяния. Королева Клара радовалась этому обращению очень.

Года два тому назад Вероника Нерита была назначена начальницею Дома Любви Христовой. Под ее опытным руководством и под высоким покровительством королевы Клары в этом Доме культивировались все виды религиозно-эротической ненормальности. Со времени назначения Вероники Нерита усилилось в значительной степени стремление молодых дам и девиц из высшего дворянства поступать в этот Дом или хотя посещать его. Произошло даже несколько с большим трудом потушенных скандалов.

Гофмаршал говорил королеве Ортруде:

— Может быть, вашему величеству уже известно, что существует с очень давних времен тайный подземный ход из королевского замка к уединенному месту морского берега. Высокая мудрость предков вашего величества подсказала им мысль об этой предосторожности.

— Чтобы удобнее было бежать во время удачного восстания? — спросила Ортруда.

Глаза ее были окутаны черным облаком печали, а губы улыбались привычно-приветливою улыбкою.

— Вообще, на случай всякой опасности, — ответил гофмаршал.

Пергаментно-желтое лицо его оставалось бесстрастным и спокойным, и выцветшие глаза его смотрели по-прежнему тупо и тускло. Если разговор и волновал его верноподданническую душу, то это волнение в его наружности и в его манерах ничем не сказывалось. Недаром он провел всю свою жизнь при дворе.

Ортруда вздохнула слегка и сказала:

— Я думала всегда, что это не более как легенда — рассказы об этом тайном ходе, которого никто никогда не видел.

— Нет, ваше величество, — возразил Теобальд Нерита, — тайный ход действительно существует, и очень недалеко отсюда он начинается. Я ежедневно возношу благодарение Всемогущему, Который осенил ваше величество мудростью и мужеством противостоять всем советам о перестройке замка, хотя эти советы и были очень настойчивы и высоко авторитетны. Благодарение Господу, ход не тронут, и никто его не знает. Тайна подземного хода должна быть известна только царствующему государю и гофмаршалу. И больше никому. Даже самым близким к престолу лицам она не должна быть открываема.

— Суровое правило, — сказала Ортруда.

— Так ведется со времени короля Франциска Первого, — отвечал Нерита. — Предки вашего величества установили, как вашему величеству известно, чтобы должность гофмаршала была наследственною в нашем роде. Это было вызвано не только милостью государей к нашему роду за его заслуги, но и заботою о лучшем сохранении тайны королевского дома. Тайна подземного хода передавалась из рода в род уже много поколений. Я узнал ее от моего покойного отца и должен в свою очередь передать ее моему сыну, который ныне имеет высокую честь быть пажом вашего величества.

— Отчего же я до сих пор не знаю этой тайны? — с удивлением спросила Ортруда.

Если бы гофмаршал Нерита захотел или посмел быть откровенным, то он ответил бы королеве Ортруде, что ее любовь и слепое

доверие к принцу Танкреду, столь понятное во влюбленной молоденькой девушке и в новобрачной, заставляли гофмаршала опасаться, как бы эта тайна не стала известна Танкреду, а от него и другим. Теперь же Нерита надеется на благоразумие королевы.

Но он предпочел сказать другое:

— Простите, ваше величество, это моя вина. Потайной ход — темный, неприятный путь, связанный с многими тяжелыми воспоминаниями. Люди нашего века непривычны к жестоким, кровавым приключениям. Ни у одной из наших женщин уже не поднимется рука вырезать сердце из груди неверного супруга, как это сделала юная королева Джиневра. Поэтому я не решался омрачать первых лет вашего благополучного правления и вашей счастливой супружеской жизни. Теперь же я беру на себя смелость просить ваше величество осмотреть этот ход. Настала пора передать тайну моему сыну, а такая передача, по установленному издавна обычаю, совершается всегда в присутствии царствующего государя.

— А если бы вы, дорогой гофмаршал, — спросила Ортруда, — внезапно умерли раньше, чем успели бы это сделать?

— В моем роде еще не случалось, — с почтительною гордостью отвечал Нерита, — чтобы мы умирали, не исполнив своего долга. Впрочем, есть рукопись, где все это изложено. Она хранится в надежном месте, в ризнице капеллы святого Антония Падуанского, под замком, ключ от которого может быть получен только моим преемником по должности гофмаршала.

— Почему вы избрали именно этот день, милый мой гофмаршал? — с легкою усмешкою спросила Ортруда. — Вы еще вовсе не стары, чувствуете себя, слава Богу, хорошо, ваш Астольф еще так юн. Или вы в самом деле думаете, что этот ход скоро нам понадобится?

Теобальд Нерита посмотрел на королеву Ортруду с выражением скорбной преданности и с суровою торжественностью сказал:

— Когда по коридорам старого замка ходит белый король, мы должны быть готовы ко всему.

Ортруда быстро взглянула на Астольфа, улыбнулась и сказала:

— Может быть, какой-нибудь юный шалун ходит по ночам на свидание со своею милою, а все принимают его за тень белого короля.

Астольф испуганно вздрогнул и покраснел. Он догадался вдруг, что королева Ортруда узнала его вчера. Смотрел на нее умоляющими глазами.

— Так вы думаете, дорогой гофмаршал, — спросила Ортруда, — что надо ждать скоро народного восстания?

— О нет, — возразил гофмаршал. — Мудрые предки вашего величества установили этот обычай на все времена и для всяких обстоятельств. Народ, как всем известно, благоговейно обожает августейшую особу вашего величества, и могут быть опасны только отдельные фанатики, революционно настроенные люди, сбитые с толку нелепыми речами агитаторов.

— От этих случайных нападений защитит меня мой Танкред, — сказала Ортруда.

Лицо ее осветилось доверчиво-радостною улыбкою. Гофмаршал возразил:

— Но мы должны позаботиться и об охране особы принца-супруга.

Ортруда встала.

— Я готова идти за вами, любезный гофмаршал, — сказала она.

Нерита подошел к углу за камином. Всмотрелся в окружающий его орнамент, состоящий из семи рядов красных майоликовых маков, идущих по обе стороны камина. Показал королеве и Астольфу один из них, ничем не отличающийся от других, кроме своего положения, — в третьем ряду направо от камина седьмой цветок сверху.

Нерита нажал средний лепесток цветка. Только тихий шелест, непонятный для не посвященного в тайну, выдал движение скрытой за цветком пружины, но ничто не изменилось в очертаниях рисунка, ничто не сдвинулось с места. В замкнутой поверхности стены было угрюмое, недоверчивое ожидание. Нерита медленно, с легким усилием, вдавил узкую пластинку орнамента в стену и отодвинул ее за камин. Открылась табличка, составленная из восьми квадратных железных пластинок. На каждой пластинке был прикреплен эмале-

вый белый крест, — восемь крестов в ряд. Их нижние концы были длинны, они строго белели на темном железе.

Нерита говорил, обращаясь к Ортруде:

— Кроме имен, данных при крещении и занесенных во все календари, ваше величество, как и все ваши царственные предки, имеете еще тайное имя. Оно занесено только в Книгу, хранящуюся в алтаре замковой капеллы святого Антония Падуанского. Это имя — Араминта. Вот кресты на железных щитах, — каждый из щитов прикреплен к железной длинной полосе с алфавитом. Надо передвигать эти полосы одну за другою, пока на линии, теперь открытой перед нами, не составится это имя.

Ортруда молча наклонила голову. Таинственные приготовления начинали волновать ее. Нерита взялся за первый крест и толкнул его книзу. С легким железным лязгом на место щитка с крестом передвинулся щиток с эмалевою буквою «А». Нерита выдвинул из-за стены сбоку конец стального прута и подвел его под этот щиток, чтобы удержать его на месте. Второй крест под пальцами гофмаршала скользнул вниз, и за ним потянулся длинный ряд щитков с буквами алфавита.

— Вот «Р»! — воскликнула Ортруда.

— Да, ваше величество, эта буква нам нужна теперь, — сказал гофмаршал.

Выдвинул еще дальше тот же прут и укрепил им этот щиток. Потом под его руками вместо третьего креста появилась опять буква «А», вместо четвертого — «М», и так, являясь одна за другою, буквы сложили имя Араминта.

— Ключ к тайной двери сложен, — сказал гофмаршал, — и теперь она в нашей власти. Если вам угодно, ваше величество, положить руку на ваше имя и толкнуть эту надпись вперед.

Ортруда исполнила это. Тогда вся часть стены справа от камина, занятая орнаментом, плавно двинулась под ее рукою в глубину и потом в сторону. Ортруда с тайным ужасом смотрела на зазиявший перед нею черный провал.

Это было начало узкого темного хода. Нерита вынул из кармана ручной электрический фонарь. Перекрестился. Сухие, бледные губы

его двигались, шепча молитву, и в глазах его появилось набожное выражение. Почему-то собачье выражение на его лице стало явственнее. Потом он вошел в темное отверстие стены.

— Прошу вас, ваше величество, последовать за мною, — сказал он негромко.

Он имел вид заговорщика, идущего на опасное и преступное предприятие. Голос его звучал глухо и казался вздрагивающим. Ортруда вошла в дверь. За нею Астольф. Нерита пропустил их вперед, прижавшись к стене, и опять задвинул дверь. Сказал:

— Ваше величество, извольте обратить внимание.

Поднес фонарь близко к стене, — и Ортруда увидела, что на оборотной стороне двери повторяется та же сеть восьми алфавитов. С обеих сторон у этой сети виднелись на высоте среднего человеческого роста две красные руки. Их пальцы указывали на ту линию, где было сложено имя Араминта. Это было как напоминание о возможности всегда вернуться. Но все-таки Ортруде было жутко. Такое впечатление, как будто она отрезана от всего мира.

Нерита шел впереди, освещая дорогу. Он показывал Астольфу и Ортруде все неровности и особенности пути.

Темный и узкий ход часто прерывался потайными дверьми, крутыми поворотами, лестницами вниз, а иногда и наверх. Множеством тайных дверей весь ход разделялся на ряд отдельных, замкнутых камер. Если бы в случае бегства преследователям и удалось открыть тайную дверь в королевском кабинете, то потом им пришлось бы одолеть еще не одну дверь. Притом же некоторые из отсеков потайного хода оканчивались тупиками, а двери из них, незаметные для того, кто не знал их хитрых примет, скрывались где-нибудь в боковых стенах.

Шли долго в темном коридоре, едва озаряемом слабым огоньком ручного фонаря. Астольф с трепетным вниманием следил за всеми движениями отца. Волнение его было очень заметно. Отец порою подбадривал его короткими фразами. Ортруда шла за ними, ощущая в себе внезапно воскресшую душу венчанной изгнанницы. Она с трудом подавляла в себе суеверный страх. Голова ее томно кружилась.

Зыбкий мрак двигался перед ее глазами, и в нем едва различались диковинные предметы подземного мира. Иногда зачем-то железные кольца у стен и ржавые цепи.

Весь этот путь был страшен, как сошествие в ад. Ад безумный, созданный свирепыми людьми. Все здесь казалось странным, чужим, совершенно иным, чем наверху, и в то же время страшно близким и родным. Казалось, что тени давно отживших витают в этом месте и воспоминания об ужасах чудовищного бытия и о беспощадных смертях неизгладимы в их замогильной, неподвижной памяти.

Но над дикими смятениями тоски и суеверного страха в душе Ортруды ликовала буйная радость — обетование иной жизни, не той скучной, которою живем все мы день за днем. Иной жизни, творимой по воле. Жизни, преображающей чертоги пыток в чертоги таинственных, сладостных утех.

Открылась еще одна дверь, — и перед глазами Ортруды возник грот, полутемный, высокий. На дне его — большой бассейн недвижной воды. Над гротом — высокие своды, едва освещенные каким-то непонятно откуда пробивающимся светом. В бассейне, недалеко от берега, стояла небольшая паровая яхта. Ее неподвижный очерк, смутно отраженный в воде, был странен в этом замкнутом гроте.

— А эта яхта? — спросила Ортруда. — Ведь здесь должны быть капитан и матросы?

— Они живут близко, но не здесь, — отвечал гофмаршал. — Люди, которые привели сюда эту яхту и которые на ней служат, еще не знают ее назначения. Но на преданность их можно положиться.

И еще открылась высокая дверь, — хлынули потоки дневного света. И это было как радостный исход из темного бытия. Солнце дневного простора казалось иным солнцем, и море голубело, как река, омывающая берега земного рая.

Ортруде хотелось выйти на берег, — но Нерита поспешил закрыть дверь.

Возвратились из подземелья тем же путем. Но теперь уже Астольф шел впереди, — он хорошо запомнил дорогу. Притом же отец

еще дома заблаговременно рассказал ему все, что можно было сказать о подземном ходе не на месте и без плана.

Весь этот день Ортруда была странно взволнована. Глубинные впечатления рождали в ней страстные мечтания. Ей хотелось уйти опять под эти древние своды, но уже одной, и одежды сбросить, и, в смутной воде подземелья отражая радостно нагое тело, плясать и петь, и в легкой пляске молиться Светозарному Духу. Все, что приходилось Ортруде в этот день делать и говорить, казалось ей скучным, ненужным, и люди напрасными, и предметы странными, — и люди, и слова, и предметы раздражали ее.

Астольф же весь этот день был полон гордыми мечтами. Ходил как ошалелый.

## Глава сорок третья

В этот день Ортруда обедала у королевы Клары вместе с принцем Танкредом. Были приглашены еще только человек пять из наиболее близких ко двору.

Ортруде было скучно. Она уже давно не любила бывать с матерью, хотя королева Клара была с нею постоянно очень нежна. Давно уже Ортруда тяготилась тем лицемерным, сдержанным тоном, который господствовал в доме королевы Клары. А сегодня блестящие нарядности и легкозвучные перезвоны речей и серебра сервизов так больно противоречили глубинным впечатлениям Ортруды.

А вот принцу Танкреду, так тому очень нравились эти каждую неделю бывавшие у вдовствующей королевы полупарадные, полусемейные обеды. У принца Танкреда были свои основательные причины дорожить дружбою старой королевы. Нередко он перехватывал у нее денег. И потому он был с нею всегда почтительно нежен, а иногда просто ласков, с вкрадчивыми манерами избалованного сына. Уж кто-кто, а принц-то Танкред умел очаровывать женщин, и молодых, и старых.

Дружба Клары и Танкреда казалась иногда похожею на флирт. И странно, это не слишком противоречило внешней чопорности и холодности королевы Клары. Эта их дружба особенно усилилась в последние месяцы, когда принц Танкред стал так увлекаться колониальными планами. В замышленных им темных делах хитрая королева Клара могла использовать широко свою склонность к интригам и при помощи своих больших богатств и обширных связей могла достигнуть большого влияния. Потому-то и в разговорах с Ортрудою Клара усердно поддерживала планы принца Танкреда.

За королевским столом были еще кардинал Фернандо Валенцуела-Пуельма, герцог Мануель Кабрера-и-Канто, Теобальд Нерита с женою и Афра.

Какое счастие для нас, людей, что мы так мало знаем!

Не знала королева Ортруда, что этот стройный, выхоленный, изящно одетый старик, герцог Мануель Кабрера, с длинною остроконечною седою бородкою, с изысканными движениями, с томными глазами все еще не унывающего волокиты, уже давно стоит во главе аристократического заговора, который имеет целью свергнуть Ортруду и возвести на престол принца Танкреда. И не знала она, что кардинал Валенцуела, тучный, хитрый, честолюбивый, жестокий старик с мягкими кошачьими движениями, с маленькими, серо поблескивающими глазками, является душою и вдохновителем этих замыслов.

Она безмятежно приняла его благословение, благосклонно улыбнулась герцогу, когда он целовал ее руку, и без всякого горького чувства, хотя и без былого молитвенного настроения, склонив голову, выслушала прочтенную вполголоса и очень быстро кардиналом краткую предобеденную молитву. Но чужие взоры за спиною сегодня странно беспокоили ее. И она досадовала про себя на ненужную парадность обеда.

За креслами королев и Танкреда стояли зачем-то, ничего не делая, королевские в белых одеждах пажи, — граф Джиованни Канто, пятнадцатилетний сын герцога Кабрера, за креслом королевы Клары, Астольф Нерита за Ортрудою и брат Афры, Бартоломео Монигетти, за принцем Танкредом. Они стояли вытянувшись, и под конец обеда

мускулы их стройных ног заметно дрожали от усталости, — но им нравилась их почетная служба, и на лицах их отражалась надменная гордость. Потом они будут хвастаться перед своими школьными товарищами этою высокою честью и пересказывать, что запомнили из застольной беседы, и мальчишки будут им завидовать.

За обедом разговор был сначала спокойно-весел. Вероника Нерита рассказала несколько городских новостей. Потом королева Клара помогла Танкреду завести речь опять о своем. Она вспомнила о несчастии, случившемся на днях в одном из иностранных флотов. Вспомнила потому, что сегодня пришли ответные, очень любезные телеграммы на выражения соболезнования.

Герцог Кабрера сказал:

— Итак, наш Ignis* оказался опять прав, — подводные лодки вовсе не так страшны для эскадренных броненосцев, как это многие легковерные люди думали. В своей последней статье, так интересно, так красноречиво написанной, Ignis доказывает это неопровержимо, и надо иметь слишком предвзятые мнения, чтобы не согласиться с выводами этого превосходного писателя, который, к сожалению, упорно скрывает свое настоящее имя.

Принц Танкред делал вид, что не принимает на свой счет похвал, — но лицо его, слегка покрасневшее, выдавало радость услышанной лести. Всем при дворе было известно, что принц Танкред помещает иногда в военных журналах статьи, подписываясь этим псевдонимом. И все притворялись, что не знают этого. Это давало легкую возможность льстить принцу-супругу неумеренно, но все-таки прилично и с видом независимого суждения.

Танкред спросил:

— Вы, дорогой герцог, согласны с его основными положениями?

С легкою улыбкою на тонких губах Мануель Кабрера отвечал томным голосом, точно это было признание в любви:

— Островное государство, не теряй времени, строй эскадру за эскадрою, приобретай золотом или железом колонию за колонией, и ты

* Огонь (*лат.*)

скоро станешь великою империею. О ваше высочество, эти золотые слова стали моим политическим credo.

Афра сказала безразлично-любезным тоном, обращаясь к герцогу:

— Броненосцы очень дороги, герцог.

С очень любезною улыбкою герцог отвечал ей спокойно и уверенно:

— Денег в Европе много, милая госпожа Афра.

— Платить проценты по долгам очень трудно, — сказала Афра.

— Колонии зато дадут хороший доход, — возразил Мануель Кабрера.

Жадный авантюризм самоуверен.

Кардинал сказал с вкрадчивою мягкостью:

— Колонии в землях неверных открывают святой церкви Христовой новое и благодарное поприще для пропаганды.

И вот заговорили-таки об африканских колониях. Положительно, эти разговоры стали для Ортруды как кошмар неотвязный. Уже у изобретательного Танкреда готов был новый план: основать гавань в Африке, захватить затем как можно больше земель во внутренних областях черного материка, переселить туда возможно больше испанцев и португальцев из Нового Света, не пренебрегая ни метисами, ни мулатами, и таким образом создать прочное ядро для основания Латинской империи.

Афра заметила:

— А вот евреи почему-то в Уганду не поехали. Пожалуй, и испанцы не захотят. Может быть, даже и метисы с мулатами откажутся.

Королева Клара смотрела на Афру гневными глазами. Ортруда вмешалась в разговор.

— Боюсь, — сказала она, — что наши газеты будут очень сильно критиковать все эти планы. Да и заграничная пресса.

— Ах, эти газеты! — воскликнула королева Клара с пренебрежительным выражением. — Большинству из них можно заплатить, — нашим подешевле, заграничным немного подороже, — а неподкупные газеты, к счастью, не влиятельны ни у нас, ни за границею.

— А что скажет парламент? — спросила Ортруда.

— Об этом пусть позаботится господин Лорена, — сказала Клара. — Он ловкий.

Принц Танкред захотел по своей привычке щегольнуть знанием Востока. Он сказал:

— Все эти парламентские дебаты, о, чего они стоят! В России я слышал такую пословицу: один ум — хорошо, два ума — лучше. Это, пожалуй, несколько пикантно для полуварварской страны, где ум никогда не был в большом почете. Но дело в том, что относительно любого парламента в мире я предпочел бы говорить так: один ум — еще небольшая беда, два ума — это уже опасно.

Кардинал, смеясь несколько громче, чем бы следовало, двигал под столом руки, словно аплодируя, и все его тучное тело тяжело колыхалось. Остальные одобрительно улыбались. Танкред говорил, усмехаясь:

— Я это сказал там, в России.

Кардинал сказал:

— Господь вверил государям управление народами и Своею праведною десницею вложил в их руки государственный меч, карающий и грозный.

— Кто-то из государей старого времени сказал, — заговорила Афра, — что кровь убитого врага хорошо пахнет.

На краткое мгновение глаза ее стали мрачны и с угрозою остановились на принце Танкреде. Или это так только показалось Танкреду? Вот уже снова у нее безразлично-любезные глаза, и она ни на кого в особенности не смотрит.

Королева Клара подумала, что замечания Афры бывают иногда очень бестактны. Как жаль, что благосклонность Ортруды к этой плохо воспитанной девочке так велика! А не приглашать Афру неудобно, — королева Клара была очень расчетлива и искусна в деле поддержания хороших отношений и потому не могла не оказывать внимания той, кого так любит королева, ее дочь. Но все-таки Клара решила призвать к себе Афру под каким-нибудь предлогом и сделать ей легкое внушение.

Танкред улыбнулся и сказал:

— В Испании и в России очень любят говорить пословицами. Должно быть, такой способ разговора соответствует низкому культурному уровню этих отсталых стран. В России я записал много пословиц.

Вот я припоминаю сейчас две из них, которые, мне кажется, подходят к предмету нашего разговора. Одна говорит: кто любит женщину, тот ее бьет. Другая: люблю тебя, как свою душу, и трясу тебя, как ветку каштанового дерева.

Ортруда воскликнула с болезненным выражением лица:

— О, Россия! Не говори мне об этой ужасной стране. Я понимаю страшные сказки и легенды, но не имею вкуса к разговорам о страшной действительности, о кошмарах жизни.

Танкред, смеясь, сказал:

— Милая Ортруда, хорошо, что тебя не слышит русский посланник.

— О, — возразила Ортруда, — я, правда, не так много видела русских, как ты, милый Танкред, но из тех немногих, кого я встречала, ни один не хвалил своей страны. Кажется, никто из них не любит родины и не уважает своей национальности.

— Это у них внешнее, — сказал Танкред, — в этой полудикой стране есть много горячих патриотов. Правда, патриотизм выражается у них несколько странно, иногда грубо и жестоко, иногда смешно. Их женщины, например, любят повторять пословицу: на врага брошу все мои шляпки.

А потом разговор перешел на ту же тему, так тяжелую для Ортруды. Но Ортруда уже не возражала больше. Ей было бы печально прямо сказать Танкреду, что она никогда не одобрит затеянных им рискованных предприятий.

Цветы на столе перед нею пахли слишком багряно и пышно. Серый на яркой лазури дымок вулкана припоминался ей и поблекшее на портрете лицо белого короля, и все это наводило на нее истому и грусть.

## Глава сорок четвертая

Вечером у королевы Клары был большой бал.

Как всегда в таких случаях, приглашенные собрались заранее, до часа, назначенного для выхода королев. Во внутренние покои, где отдыхала после обеда Ортруда, порою слабо доносился далекий, легкий

гул голосов и шагов, неприятно раздражая Ортруду. Из открытых окон влекся шипящий звук от непрерывно подъезжавших экипажей.

Как хорошо там, в подземелье, где тьма и мечта, где только редкие капли падают с высокого свода в воду. Ах, зачем же эта жемчужная диадема! И к чему бриллианты и сапфиры надменной звезды!

А там, за торжественно высокими дверьми, ликовало светлое, многоогненное, мраморно-белое, драгоценными камнями переливно блестящее, шуршащее атласами и шелками тихое ожидание в многолюдных залах. Настроение праздничное и радостное многоцветною чешуею наряжало скользящих и ползущих змей коварства и расчета.

В празднично-нарядной толпе виднелись фиолетовые и черные сутаны епископов и прелатов. Блестящие группы придворной знати сверкали обильным золотым шитьем на мундирах. Пестрело разнообразие цветных форменных одежд на генералах и офицерах. Зеленый, оранжевый, красный, голубой, переливались цвета генеральских лент, сверкали осколками ярких радуг драгоценные камни их звезд, блестело золото, и эмаль белела на орденских крестиках. Было видно очень много морских офицеров. Государство Соединенных Островов имело больше адмиралов, чем боевых кораблей. Большинство этих господ всю свою карьеру сделали на суше. Это не мешало им быть осыпанными орденами очень щедро. В первые годы своего правления королева Ортруда пыталась сокращать списки награждаемых. Но этим было обижено так много почтенных, хотя и ничтожных самолюбий, что пришлось от этого отказаться, — и теперь уже Ортруда молча подписывала декреты о пожалованиях.

И придворные, и городские дамы и девицы были в народной одежде, опять введенной королевою Ортрудою при дворе, — белое платье вроде туники, белый с зеленым головной убор, сандалии с белыми лентами.

Чернели фраки членов Палаты депутатов. Этих господ было много, из разных партий, кроме социалистов. Впрочем, приглашения посылались и им. Когда несколько лет тому назад, в регентство королевы Клары, одному из депутатов крайне левой после его резкой антидинастической речи в парламенте не было послано обычного приглашения на

придворное торжество, то это вызвало и запрос в Палате, и дерзкие речи на митингах, и колкие статьи в газетах, не только социалистических, но и радикальных. После того по-прежнему стали приглашать всех.

Одежды членов дипломатического корпуса были разнообразны: только немногие были в черных фраках, большинство же в шитых золотом мундирах разных покроев и цветов. Было тут и несколько крупных финансистов, которые выделялись из элегантной светской толпы напряженною самоуверенностью немного оторопелых лиц и преувеличенною развязностью движений.

Говорили вполголоса. Но кто бы вслушался в этот смутно-беглый говор, для того явственным стал бы легкий шелест сплетни. И больше всего о принце Танкреде.

Перешептывались дамы:

— Вы слышали, Танкред уже охладел к Маргарите Камаи.

— Что ж, слишком пылкая страсть утомляет очень быстро.

— Да у него же и всегда эти перемены скоро происходят.

— А вы не знаете, кто его новая?

— Какая-то крестьяночка, сельская учительница.

— Да что вы говорите!

— Уверяю вас. Да и отчего же нет! Была же у него эта, как ее, что статуи лепит.

— Художница? Да, он любит разнообразие.

— Да с этою художницею, кажется, связь еще не совсем порвана.

— О, он неутомим, этот милый принц!

— И щедр по-королевски.

— Как жаль, что он только принц.

— Но Ортруда — воплощенный ангел.

— О да, она бесконечно мила.

— И ничего не знает, можете себе представить!

— Бедная!

— Да, наш удел — страдать.

Сплетничая о принце Танкреде, теперь всегда упоминали имя Маргариты. Это была его последняя, до Альдонсы Жорис, любовница,

жена графа Роберта Камаи, молодая красавица из Италии. Было пикантно и радовало сплетниц то, что граф Роберт Камаи не скрывал своей радости по поводу этой связи.

Граф Роберт Камаи был тонко расчетливый, цинично-бесстыдный карьерист. Из соображений о карьере он примкнул к заговору против королевы Ортруды, но в любое время готов был бы, чуть только изменись обстоятельства, изменить и принцу Танкреду и выдать с легкой совестью всех своих товарищей по заговору. Он, не стесняясь ничем, льнул к принцу Танкреду, льстил ему неумеренно, оказывал всевозможные услуги, сумел убедить его в своей беззаветной преданности и с его помощью быстро шел в гору. Человек еще молодой, отставной гвардейский капитан, он был уже гофмейстером, а на днях получил должность управляющего личными делами и имуществами принца-супруга.

Было пикантно и то, что с графинею Маргаритою Камаи свела принца Танкреда его прежняя любовница, еще и доныне не утратившая своего влияния на принца вдова маркиза Аринас, Элеонора, дама зрелая очень, но весьма искусно эмалирующая свое все еще прекрасное, белое лицо. Светским сплетницам было уже известно, что маркиза Элеонора начала бояться, как бы связь Танкреда с Маргаритою не окрепла слишком. Элеонора решилась расторгнуть эту связь. Для этого надо было влюбить Танкреда в другую.

И вот милых дам интересовал вопрос: кого выдвинет хитрая вдова на смену слишком страстной Маргариты. Когда в дворцовых залах сегодня в первый раз появилась юная графиня Имогена Мелладо, у многих дам мелькнула мысль: «Не эта ли наивная простушка?»

Маркиза Элеонора Аринас была женщина с богатым прошлым, очень опытная в делах и утешениях любви. Она хорошо знала все тайны любовных отношений, неистощимо разнообразила их и этим до сих пор крепко держала принца Танкреда, несмотря на все его увлечения, которым она же сама, из хитрого расчета, помогала. Она никогда не ревновала, не надоедала Танкреду. Когда он получал от нее пригласительную записочку, то всегда был уверен, что его ждет интересная новость, и никогда не обманывался в своих ожиданиях.

Королеве Ортруде доложили наконец, что все готово к высочайшему выходу. Скользнув глазами по недлинному списку лиц, которые будут сегодня впервые представлены ей, Ортруда подала руку принцу Танкреду.

Она шла как во сне. Дверь за дверью распахивались перед нею, напоминая те двери в милый и страшный подземный чертог. И вот стук о пол жезлом гофмаршала, паденье вдруг шумов и гулов, последняя дверь, — тишина многолюдства и блеска, торжественные звуки музыки.

Как видение многокрасочно блестящее и совершенно ненужное, прошла перед Ортрудою широкая, звучная, церемониально веселая панорама бала. И сквозь нее просвечивали глубинные, отрадные сумраки.

Ортруда говорила по привычке любезные слова, разговаривала с посланниками о том, что может быть приятно каждому из них. С благосклонною ласковостью приняла она первый раз представленную ко двору молоденькую Имогену, дочь маркиза Альфонса Мелладо. Сказала ее отцу ласковые, милостивые слова о том, что Имогена очаровательна. Потом, вспомнив, что дряхлый старик плохо слышит, милостиво подошла к нему близко и у самого его уха повторила:

— Очаровательное дитя! Ее милые черты живо напомнили мне милую маркизу.

Милую покойную маркизу, имя которой вдруг выскочило из памяти Ортруды.

Старый маркиз был очарован и тронут. Молоденькая, нежно красивая и застенчивая Имогена рдела от смущения, радости и девической кроткой гордости. После милостивого приема королевы Имогену заметили. Ей стало весело. Ее легкая грусть об отъезде жениха таяла в блесках, звонах и увлекательных рееяниях танца.

У Имогены уже был жених. Но свадьбу отложили на год. Ее жених уехал на днях в Париж. Он был секретарем миссии во Франции. Дни милой Имогены были закутаны белою фатою сладкой опечаленности, пронизанною розовыми улыбками ожиданий, еще более сладких.

— Имогена, — сказала ей маркиза Элеонора, — вы имеете сегодня большой успех. Принц Танкред очарован вами.

— Я боюсь принца Танкреда, — с простодушною откровенностью сказала Имогена.

Ласково улыбаясь, Элеонора возразила:

— О милое мое дитя, он вовсе не страшен. Он очаровательно любезен. А как он рассказывает! Как много он видел и испытал! Где только он не побывал!

В наивное сердце мечтательной Имогены упали палящие искры любопытства, нетерпеливою отравою приникли к ее легко опечаленной душе. Ничего не сумела сказать, но подняла глаза на хитрую очаровательницу с таким ожидающим выражением, что Элеонора уже обрадовалась первому успеху.

Потом Элеонора подошла к принцу Танкреду. Сказала ему тихо:

— Ваше высочество одержали новую победу. Но это так привычно для вас, что я даже не смею поздравить вас с этим.

— Вы мне очень льстите, милая госпожа Элеонора, — ответил Танкред.

— Графиня Имогена Мелладо уже влюблена, — продолжала Элеонора.

— О, это вам кажется, — у нее жених, — сказал Танкред.

Элеонора засмеялась лукаво.

— Жених далеко! — воскликнула она.

— Я едва заметил эту девочку, — сказал Танкред с равнодушием, почти непритворным. — Бог с нею.

Но в глазах его зажегся мгновенный огонек. Элеонора говорила:

— Она влюблена и потому очаровательна. Ей кажется, что она влюблена в жениха. Ах, эти девчонки еще верят родным, которые их сватают по своим расчетам. Они влюбляются в того, кого им подставят. Но это так непрочно! Притом же он уехал на целый год. Глупый молодой человек!

— Он делает карьеру, — сказал Танкред.

— О, карьеру! — возразила Элеонора. — От человека с его связями карьера не уйдет. Целый год! Да это для нее вечность! Нет, ваше

высочество, она не станет дожидаться так долго господина Мануеля Парладе-и-Ередиа. Мы, южанки, созреваем для любви скоро. Не судите о нас по вашим хладнокровным немкам.

— Скоро, хорошо и надолго, — сказал Танкред. — Мне ли этого не знать!

Элеонора засмеялась. Так осторожно, очень весело и очень легко, чтобы не потревожить своей эмали.

Танкред подошел к Имогене, поговорил немного. Первые, скользящие впечатления, — у нее жуткое любопытство; он легко полюбовался ею. Подумал, что было бы приятно опять увлечь, опять влюбить. Отошел, почти равнодушный, но не раз взглядывал в ту сторону, где была она.

А для Ортруды, как смутный сон, длился блестящий бал.

## Глава сорок пятая

На другой день королева Ортруда велела позвать к себе Астольфа. Нетерпеливо ожидала его. Когда он пришел, радостно взволнованный, Ортруда сказала ему:

— Милый Астольф, я хочу повторить с тобою наш вчерашний урок. Пройдем опять потайной ход вместе. Проверим, сумеем ли мы сами справиться с этим важным делом.

Астольф радостно покраснел. Ортруда, улыбаясь, сказала:

— Надеюсь, что там мы с тобою не встретим белого короля.

Еще багрянее покраснел Астольф, жестоко смущенный словами и веселою улыбкою Ортруды. Он прошептал, стыдливо склоняя голову:

— Вашему величеству не страшен белый король. Тени ваших предков к вам благосклонны.

— А тебе он не страшен? — спросила Ортруда.

— В нашем роду не было трусов, — с застенчивою гордостью отвечал Астольф.

— Так открой же мою потайную дверь, — приказала Ортруда.

Астольф сложил опять ее тайное имя, как вчера складывал его гофмаршал, — и снова открылась никому не ведомая дверь.

И вот опять, преодолев мгновенный страх зазиявшей перед ними черной тьмы, они шли темным подземным ходом по той же дороге, как вчера. Тот же легкий огонек, теперь в руке Астольфа колебавший свой белый, немигающий взор, освещал их путь. Как вчера, было душно, и влажный воздух был неподвижен и оранжерейно тепел. Зыбкая тьма трусливо убегала в углы переходов, и там вздрагивала, и смеялась беззвучно и тупо, и дразнила. Как вчера.

Но сегодня Ортруда и Астольф были одни. Докучной старости не было с ними. Их обоих равно волновало таинственное, темное сладострастие этого уединения. Казалось, что здесь все возможно, все дозволено. Мечтания зажигались в них, и хотелось сделать что-то невозможное для земли, неслыханное на земле.

Но что же ты, бессильная мечта! Боишься ли ты камней, тепло и влажно жестких под их смутно в полутьме белеющими ногами? Или еще не настал твой час ликовать и радоваться?

Наконец Ортруда и Астольф подошли к высокой бронзовой двери, последней перед гротом. Звонкая радость охватила их обоих. Они смеялись, кричали от восторга забавные и простодушные слова, как дети, возились у двери и кричали, звонко смеясь:

— Я открою, я!

— Нет, я!

— Пусти меня, ты не знаешь.

— Знаю, помню.

Наконец Астольф первый нашел и нажал пружину, скрытую в стене между двух больших камней. Со скрипом медленно приоткрылась тяжелая дверь. Открылся грот и узкая дорожка у самой воды. Пробирались осторожно по этой дорожке, Астольф впереди и за ним Ортруда.

Было сыро и еще более душно, и тяжело было дышать. И все здесь было странно и необыкновенно, как в сказке. Небывалым на земле казалось даже освещение, — смешивался слабый свет ручного электрического фонаря с мутною полумглою грота. Электрический фо-

нарь бросал беглые отсветы на стены грота, и они казались темно-красными. И на ногах Ортруды и Астольфа ложился тот же темно-красный отблеск, и казалось, что по темно-огненной они идут дороге и багрово пламенеют оба. Капли воды, которые со звучным в тишине плеском медленно и мерно падали со сводов в воду, казались темно-красными, — точно это капала тяжелая кровь какого-то каменного чудовища. Причудливою, зловещею тенью темнела яхта среди неподвижной воды бассейна.

Ортруда скоро заметила, что вода у дорожки была мелкая. Придерживая платье руками, она вошла в воду. Астольф весело засмеялся и тоже пошел по воде. Жутко-веселый плеск ударился по их коленям. Стало вдруг прохладно, и грудь вздохнула легче.

Плеск воды гулко отдавался в вышине темного свода, вдруг повеселевшего от этих детских шаловливых звуков.

А вот и вторая дверь, громадная, сложенная из двух каменных глыб, полунависших над водою, дверь уже на волю. Она двигалась посредством громоздкого механизма, который требовал малой затраты сил, но зато отнимал очень много времени.

Ортруда и Астольф взялись разом за выточенные из красного дерева ручки громадного вала и быстро вращали его, прислушиваясь к хриплому шелесту влажных песчинок под движущимися тяжело глыбами. Они только немного приоткрыли дверь, — слегка раздвинулись две скалы.

Ортруда и Астольф, по колено в воде, прошли в расщелину этих скал. Они очутились на воле, на узкой полосе берега у подножия гор, облитых пышным багрянцем вечерней зари. Был каменист и пустынен берег, и шумные недалеко плескались волны. Вечереющий, алый свет широкого простора буйно разлился перед Ортрудою и Астольфом, лелея голубеющую в розовых тенях даль морскую. Бодро и свежо пахло морскою солью. Далек и тонок был легкий дымок парохода на резкой алости горизонта, и два-три паруса розово вздували по ветру свои далекие, вольные груди.

Какая радость выйти из тьмы подземной в вольный мир! Какая радость к вольному ветру морскому обратить лицо! И говорить с волною, и смеяться с ветром перелетным!

В небе, безмерно высоком и ясном, как первозданный храм, пылала багряная вечерняя заря, торопясь ликовать и радоваться. И от нее восторгом пустынной свободы зажглась душа Ортруды, пламенея и ликуя. Как опьяневшая вдруг от света и воли, Ортруда далеко вышла к волнам, кипящим белыми брызгами пены, и говорила:

— О светлая тень! Призрак, всегда утешающий! Наконец я вижу тебя! Я вижу тебя, Светозарный!

В тлеющих лучах с неба ее белое платье было как пламень, и алы были ее ноги в пламенеющих плесках волн.

Возникший от пламенеющего запада, великий Дух, в свете которого тают, как легкий, призрачный дым, свирепые драконы мировых солнц, Дух отрадный, имя которому — Светозарный, явился тогда, утешая, королеве Ортруде. Его широкие крылья, осенившие полнеба, пламенели, и ризами его были струящиеся заревые огни, и благостный взор его был безмерно-высокою лазурью. Ортруда, стоя в воде и отдав на произвол играющим волнам край своего легкого платья, простерла руки к Светозарному, и прославляла его, и восклицала восторженно:

— Прекрасный, лучезарный Дух, слава тебе! О, как я счастлива ныне, я, которая тебя жаждала видеть и которая увидела тебя! К свободе и познанию неустанно зовешь ты человека. Ты не ужасаешь его демоническими голосами слепо разъяренных бурь и гневом испепеляющим. Ты, великий, не требуешь ни поклонения себе, ни жертв. Ты не делаешь человека своим рабом, освобождающий всегда, и не топчешь ногами его склоненной головы. Ты не поучаешь его истинам, которые хотят быть вечными, но ветшают с каждым тысячелетием. Ты расширяешь беспредельно и непрерывно горизонты мысли, ты не устанавливаешь догмы и кодекса правил, ты разрушаешь костяные, всегда мертвые оковы вероучений, ты освобождаешь совесть, ты зовешь к неутомимому религиозному творчеству. Каждого, кто к тебе приходит, ты озаряешь светом неслыханной радости и открываешь ему путь беспредельный, путь радостный, путь к тем высотам, где созидаются боги, и еще выше, выше, в эфирные области чистой мысли.

Астольф стоял за нею, пораженный и испуганный. Едва понимал, что она говорит. «Кому же она молится? — подумал он. — Кто же она сама и во что же она верует?»

— Ты — язычница! — воскликнул он.

И душа его томилась печалью и страхом.

Ортруда не слышала его. Продолжала свои молитвы и славословия. Тогда Астольф, объятый ужасом, упал на землю и стал кричать и плакать. И казалось ему, что крылья жестокого, хитрого врага шелестят над ними.

Ортруда услышала наконец его вопли. С кроткою ласкою склонилась она к нему и спросила:

— Что ты, Астольф? О чем ты плачешь?

Недалеко от этого места пастухи пасли коз на узкой лужайке над скалами. Мимо грота проходила лодка с пятью контрабандистами. Все это Ортруда заметила только сейчас. Сказала Астольфу:

— Не кричи, милый Астольф. Эти добрые люди могут нас заметить. А это нехорошо.

Но они уже заметили.

Пастухи увидели, как раздвинулись две скалы, как из расщелины вышли по воде женщина в белом платье и отрок в короткой белой одежде. Страшное явление испугало их. Оцепенев от ужаса, они смотрели, как женщина, колдуя, повелевала волнам и как отрок громкими криками заклинал землю. Когда же чародейка, свершив над водою свои кудеса, повернулась к земле, и пошла по кипящим вкруг ее белых ног волнам, и посмотрела на пастухов, и очаровательно-прекрасною, обнаженною рукою показала на них заклявшему землю отроку, они бросились бежать, спасаясь от дивных жителей подземной глубины. Долго были слышны их нестройные крики в долине за острыми ребрами скал. Потом, вернувшись к ночи в свою деревню, они вспоминали старое предание о лазурном гроте, который открывается только перед народным восстанием.

Пошли с того дня в суеверном народе Соединенных Островов слухи, что близ королевского замка скала над морем раскололась и раскрылась, и белая фея лазурного грота вывела оттуда белого короля, и они

заклинали море и землю, грозными голосами повелевая стихиям. И море целовало их ноги, и земля гулким шумом покорно отвечала им. И гул земли пророчил восстание, и ропот волн предвещал смерть королевы Ортруды, любимой в народе.

Так же и контрабандисты со своей лодки увидели Ортруду и Астольфа. Четверо из них были те самые, которых встретила Ортруда в горах. Суеверные люди узнали ее и испугались. Лансеоль воскликнул:

— Смотрите, дева с гор!

Старый контрабандист посмотрел на него сердито. Проворчал:

— Ну, ты, помолчать не можешь. Видишь, она колдует над морем.

Но был с ними один, которому как-то раз привелось близко видеть царствующую королеву. Он зорко всмотрелся в чародейку и тихо сказал:

— Помилуй нас Бог, да это — сама королева Ортруда или ее двойник. Да будет милость Господня над Островами!

Но суеверная мечта уже не могла расстаться с создавшимся представлением о том, что контрабандисты встретили в горах волшебницу, фею очарованного лазурного грота. И быстро новая сложилась легенда, легенда о том, что над Соединенными Островами царствует чародейница-фея.

Когда Ортруда наклонилась над Астольфом и заговорила с ним, мальчику стало стыдно, что он испугался и плакал. Он поспешно вытер слезы и встал на береговой песок, улыбаясь смущенно.

— Пора идти, — сказала Ортруда.

Они вернулись в грот и опять сомкнули за собою тяжелые створы скал.

Нашли у берега бассейна челнок с веслами и на нем добрались до яхты. Оказалось, что на ней никого нет, как они и ожидали. Но яхта была в полной исправности, и только обильная пыль лежала на меди и на дереве.

Ортруда и Астольф прошли в королевскую каюту. Зажгли огни, — и стало светло и весело, как в домашнем уюте. Яхта была обставлена с тою роскошью, с которою во всех странах содержатся королевские яхты.

Нашли вино, консервы, стаканы. Пили и ели. Ортруда внимательно посмотрела на Астольфа и спросила:

— Скажи мне откровенно, милый Астольф, правда ли, что тайна подземного хода сохраняется?

— Да, ваше величество, это — правда, — сказал Астольф.

— Неужели никто никогда не проговорился? — опять спросила Ортруда.

Астольф улыбнулся, гордый своею близостью к Ортруде и знанием королевской тайны, и говорил:

— Был один только случай. В начале восемнадцатого столетия у одного из моих предков, тоже гофмаршала, был сын Роберт. Ему открыли тайну еще раньше, чем мне, — как только ему исполнилось четырнадцать лет. С радости, что ли, или с чего другого, уж не знаю, он проболтался об этом своему сверстнику, приставленному к нему для услуг и для игр, сыну придворного садовника. Ну конечно, от этой черни добра не ждать! Проклятый мальчишка сказал о подземном ходе своему отцу, а тот испугался и сдуру побежал к гофмаршалу. Дурак, задавил бы сам сына, если боялся, что тот не сумеет молчать. Гофмаршалу что же оставалось делать! Он застрелил Роберта, даже и королю не сказал, чтобы его не расстраивать. А садовника и его сына сейчас же повесили. Никто не знал, за что. Иначе, конечно, нельзя было.

— А тайна? — спросила королева Ортруда.

Она побледнела, слушая этот простодушно-спокойный рассказ.

— Тайна умерла с ними, — спокойно отвечал Астольф.

И так детски безмятежен был его взор.

— И тебе не страшно? — спросила Ортруда дрогнувшим голосом.

— Я не проболтаюсь, — гордо ответил Астольф.

Опечалилась Ортруда, склонила взоры, задумалась. Астольф стал перед нею на колени. Говорил, убеждая:

— Дорогая моя королева, не бойтесь и не сомневайтесь во мне. Я буду всегда вам верен, я свято сохраню вашу тайну, и эту, и всякую, которую вы захотите мне доверить.

Холодно и нежно ласкала Ортруда щеки Астольфа и кудрявую его голову. Астольф дрожал и весь пламенел, и глаза его блистали.

— О милая, милая королева Ортруда! — восклицал он, целуя Ортрудины руки.

Вдруг глаза Ортруды зажглись знойными желаниями и вдруг потускнели. Она с легким стоном схватила Астольфа за горло и сжала его. Он затрепетал — и вдруг порывисто обнял Ортруду. Ортруда оттолкнула его, но без гнева. Прикрикнула:

— Мальчишка, как ты смеешь!

Ударила легонько по щеке. Астольф стоял перед нею жалкий и красный. Она засмеялась. Сказала:

— Знающему тайну прощается многое. Но знающий тайну должен быть скромен.

## Глава сорок шестая

Маркиза Элеонора Аринас решилась еще раз свести принца Танкреда и Имогену. Кстати, было полезно познакомить Танкреда с банкиром Эдуардом Лилиенфельдом, очень богатым человеком с очень темною репутациею. Про него говорили, что прошлое его преступно. Имя его связывали с какими-то скандальными приключениями в Конго. Уверяли, что он разжился на торговле черными рабами. Но все это не мешало ему прочно обосноваться в здешнем обществе и завязать более или менее тесные связи со многими в парламентски-деляческих кругах. Теперь он жаждал связей в высшем свете и мечтал о баронском титуле. Элеонора не постеснялась взять с него крупный куртаж за содействие.

И вот на ближайший свой вечер она пригласила, кроме многих, принца Танкреда, маркиза Мелладо с его дочерью и Лилиенфельда. Были приглашены собственно для Танкреда еще некоторые лица: английский посланник, с которым Танкред был дружен, и знаменитейший в том государстве поэт, который недавно написал поэму о викингах и желал поднести Танкреду экземпляр этой книги, только что вышедшей из печати.

Принц Танкред отправился к Элеоноре охотно.

Салон маркизы Аринас пользовался в столице своеобразною славою, и блистательною, и в то же время несколько подозрительною. Попасть в него первый раз считалось интересно и лестно. Бывать у нее считалось прилично очень, но только чтобы не часто. Вопрос «неужели вы не бываете у маркизы Аринас?» был обиден для самолюбия. Слова «ее всегда встретишь у маркизы Аринас» бросали тень на репутацию светской женщины.

На вторники маркизы Аринас собиралось всегда очень блестящее общество, и настолько разнообразное, насколько это возможно было для того, чтобы оно все же оставалось аристократическим. Преобладали носители древних фамилий, и с ними смешивались министры и влиятельные парламентарии, владельцы очень крупных состояний и знаменитые своими талантами люди. Выбор этих всех чуждых старой знати лиц делался всегда очень строго и всегда с определенным расчетом. Нигде так удобно и прилично не устраивались деловые встречи, как у маркизы Элеоноры.

На обеды и вечера маркизы Аринас принимались приглашения и королевами, — один обед и один бал в течение каждого сезона. В салоне же Элеоноры уже не раз устраивались встречи принца Танкреда с его любовницами. И каждый раз на вечере маркизы Элеоноры бывала какая-нибудь приманка, — пел знаменитый итальянец, декламировала великая актриса, гипнотизер показывал свои удивительные фокусы.

Танкред спросил:

— Чем же вы нас порадуете сегодня, дорогая маркиза?

Она улыбнулась загадочно и отвечала:

— Только танцем. А пока гадание, — гадалка с Востока, из ваших любимых стран.

— Чувствую, что сегодня у вас интересная программа, — сказал принц Танкред.

— Так вот, ваше высочество, не хотите ли погадать?

— Очень охотно.

— Я вас провожу, но только до двери.

— Почему так мало?

— Она требует строгой тайны.

Через анфилады многолюдных и шумных зал подошли к двери, завешенной тяжелою темною портьерою. Принц Танкред вошел один в полуосвещенную комнату.

На полу лежали темные, пестрые ковры. В глубине комнаты несколько ступенек вели на небольшое возвышение, заставленное цветами, так что едва оставалось место для двоих. На узком высоком стуле — что-то вроде треножника — сидела черномазая красавица цыганка, помахивая не достающими до полу тонкими, темными ногами, на щиколотках которых, лениво скрещенных, позвякивали один о другой два золотых обруча. Ее слишком красные губы улыбались равнодушно и мудро, и равнодушно смотрели, полусонно и жутко, ее глаза, странно большие, с неподвижно-страстным черным блеском. На ней была белая тонкая сорочка, красная короткая юбка и черный платок. Танкред взошел на ступеньки.

— Здравствуй, милая.

— Здравствуй, — тихим, низким голосом отвечала цыганка.

— Что же ты мне предскажешь?

— А мне что ж! Что с тобою будет, то и скажу.

— Хорошо или худо?

Цыганка пожала плечами, вздохнула и сказала тихо:

— Кто что ищет, тот то и находит. Дай руку. Левую.

Долго смотрела. Засмеялась гудящим тихо смехом. Заговорила нараспев:

— О, ты будешь великий и знаменитый человек. Воевать будешь, — победишь. Многие мирно тебе покорятся. В большом городе, в древнем, в громадном соборе, седой первосвященник возложит на тебя корону, и она́ будет золотая и железная, и блеск ее алмазов нестерпим будет для взоров. Кто же ты, дивный человек, которого так возлюбила суровая ко многим судьба? На тебе простая черная одежда, но ты не банкир, хотя и будешь богат, и не министр, — хотя и подаешь людям мудрые советы. Скажи же мне свое имя, чтобы я знала, как будут звать императора, увенчанного в вечном городе.

Танкред отвечал шарлатанке:

— Меня зовут Танкред. И это правда, что я — не банкир и не министр. Я — генерал.

На лице цыганки ничто не изменилось, и ярко-красные губы ее двигались, как во сне, когда она говорила:

— Танкред — красивое имя. В нем тебе счастие. Мудры были твои родители, когда назвали тебя так.

Танкред вынул кошелек, достал несколько золотых монет и протянул их цыганке. Но она отстранила их медленным движением голой руки и тихо сказала:

— Подержи у себя мое золото. Оно счастливое. И пусть оно растет в твоих счастливых руках. Когда слова мои сбудутся, я приду за ним, и ты дашь мне семь миллионов золотых лир. И не пожалеешь. До свидания, мудрый воин Танкред, — до дня твоего воцарения в вечном городе.

Принц Танкред вышел, слегка взволнованный и смущенный. Слишком яркий после полумрака у гадалки свет бальной залы заставил его щурить глаза. Элеонора пытливо посмотрела в его лицо.

— Ну, что она вам сказала, ваше высочество? — спросила она с оттенком фамильярности, простительной старому другу.

Танкред засмеялся:

— Не решусь сказать, что именно. Поверить ей, так очень хорошо.

Элеонора сказала с обещающею улыбкою:

— Сейчас будет танец, один из тех, которые принято называть танцами будущего.

— А кто танцует? — спросил Танкред.

— К сожалению, не могу сказать даже вашему высочеству. Это большой секрет. Да, сказать по правде, я и сама не знаю.

— Почему? Ведь мы же увидим плясунью!

— Вы не увидите ее лица.

В большой белой зале была воздвигнута эстрада, затянутая серовато-зеленым сукном. С трех сторон эстрада была задрапирована сукнами того же цвета. Оркестр был скрыт за эстрадою, на хорах. Звуки музыки были томны. Догорание душного дня чувствовалось в них. И первые, далекие звуки приближающейся грозы.

Хозяйка провела Танкреда к одному из средних кресел в первом ряду и сама села рядом. Справа от Танкреда оказалась Имогена Мелладо.

Было жуткое ожидание и шелест слухов о том, кто и что будет танцевать. Знали наверное, из слов Элеоноры, что это не профессиональная танцовщица, а дама или девица из общества.

Принц Танкред слегка склонился к Имогене и спросил очень тихо:

— Что вы больше всего любите?

— Ночь, звезды, — отвечала Имогена, — темноту и в ней огни.

Шевельнулись складки сукна в заднем углу эстрады. Чья-то белая рука раздвинула их, — и мелькнуло вдруг на однообразно-ровном фоне сукна смугло-белое с легкими переливами розовато-темных перламутров тело. Девушка в черной маске, очаровательно стройная и нежная, приблизилась к рампе. Начался странный, из мечты и воспоминаний творимый, танец.

Танкред спросил:

— Вам нравится, Имогена?

— Какая прекрасная! — тихо ответила она.

Смотрела с удивлением. Танец неизвестной плясуньи оживил в ее душе мечты и страхи ее, когда она засыпала, сладко и горько мечтая о женихе. Мечты о далеком, о милом выражали задумчивые позы и грациозные, медленные движения неведомой плясуньи.

Остановилась, голову на руку склонив... Вдруг страшный удар грома разбудил ее... Несколько тревожных поз, стремительный танец смятения и ужаса...

Развились волосы неведомой плясуньи, и бились в быстром беге по ее нагим плечам светлые волны волос.

Ветер стремительным холодом обвевал ее горячее тело. Ее глаза горели, как огни изумрудов. Ноги ее дрожали от внезапного холода.

Наконец она опомнилась. Осмотрелась. Пошла куда-то, дрожа от холода и от медленного страха. Долго блуждала и все не могла найти своей двери. Все скорее шла. Побежала.

Много дверей было вдоль ее бега. Но ни одной она не могла отворить, — все были заперты крепко. Наконец одна из них уступила отчаянным усилиям.

Остановилась. Робко прислушивалась. Тихо пошла по коврам.

Что-то опять испугало ее, и она бросилась бежать. Упала.

Лежит... Рукоплескания... Вдруг вскочила. В легком беге скрылась за стремительно распахнутою складкою драпировки.

Гости делали всевозможные предположения. Кого не называли! Спрашивали Элеонору. Но она сама не знала. Говорила:

— Я никогда не видела ее, иначе как в черной маске.

Или, может быть, только притворялась, что не знает? Тонкая улыбка скользила по ее губам.

Как-то незаметно для них обоих, Танкред и Имогена очутились в полутемной, очень удаленной гостиной. Танкред первый раз остался наедине с Имогеною. Оба они были взволнованы откровенною красотою плясуньи.

Танкред спросил:

— Расскажите мне о вашем детстве.

Имогена послушно говорила. Потом Танкред заговорил с нею об ее женихе.

— Господин Парладе-и-Ередиа очень милый молодой человек, достойный любви.

— О да! — с восторгом сказала Имогена.

— Скромный, храбрый, красивый, умный.

Имогена молча улыбалась и благодарными глазами смотрела на Танкреда.

— Он должен вас очень любить.

— Он очень любит меня.

— Однако уехал.

Блеснули слезинки на глазах Имогены. А Танкред говорил:

— Не огорчайтесь. Вернется. А вам не досадно, зачем он уехал?

Имогена смотрела как жалкий, беспомощный ребенок. Конечно, ей было досадно. Разве он не мог отказаться от этой должности? Любим только раз в жизни. Она шепнула:

— Что ж делать!

— Он вам часто пишет?

— Почти каждый день.

— Почти! И вы?

— Да, ваше высочество.

Слезы в голосе. Танкред любовался ее смущением. Спросил опять:

— Вы очень скучаете?

— Да, немножко.

Старалась казаться храброю. Танкред продолжал:

— Я уверен, что соблазны парижской жизни его не коснутся. Он будет думать только о вас. А вы о нем. Быть верною — так трогательно. Цепи любви неразрывны. Кто любит, тот невольник. Хоть и не любит человек цепей, но эти носит сравнительно охотно.

Сердце Имогены дрогнуло от легкого страха. Говорят, что француженки так очаровательны и так умеют увлечь.

Танкред продолжал дразнить ее. Хвалил ее верность, его достоинства. Яд его иронии вливался в ее сердце, и оно горело и болело. Ирония пронимает до конца и вскрывает противоречия. Сладостная верность жениху претворялась в рабство. Его достоинства претворялись в смешное и мелкое.

Имогена заплакала. Танкред утешал. И утешил чем-то, какими-то словами, по-видимому ничтожными, но ей вдруг сладкими. И сердце ее уже влеклось к Танкреду, уже в нее влюбленному нежно. Странно и больно спорили в ней противочувствия, и это дульцинировало ее внезапное влечение к празднично-прекрасному принцу Танкреду и альдонсировало ее обыкновенную, дозволенную, будничную любовь к жениху, секретарю миссии в Париже господину Мануелю Парладе-и-Ередиа.

А Танкред, вечно изменчивый Танкред! Он уже чувствовал в себе кипение новой страстности, влюбленность в Имогену, девушку с фиалковыми, невинно-страстными глазками, с легким звонким голосом.

Нельзя было слишком длить это свидание. Танкред вышел из гостиной один. Были танцы, но он сегодня не танцевал. Ему представили

Лилиенфельда. Танкреду понравилась уверенная и почтительная манера банкира.

Потом устроилась карточная игра, очень крупная. Лилиенфельд сумел проиграть Танкреду солидный куш и оставил игру, ссылаясь на жестокую мигрень, вывезенную, по его словам, из Африки. Откланиваясь принцу, он пригласил его к себе на охоту, и Танкред любезно принял приглашение.

После ужина, за которым пили много, в кабинете покойного маркиза собрался тесный кружок близких к Танкреду. Дам не было. Разговоры стали вольны. Заговорили о ревности. И вдруг стало как-то неловко. Ломая неловкость развязностью, заговорил граф Роберт Камаи:

— В наше время дико и несовременно ревновать жену. Я не против ревности, но ревновать жен — это уж слишком наивно.

— Порядочные люди ревнуют любовниц, — сказал гофмаршал Нерита.

— Да, — продолжал Камаи, — всякий имеет любовницу для себя, жену для других, — для дома, для семьи, для общества, для имени, для друзей и для ее любовников.

Танкред засмеялся.

— Это остроумно! — воскликнул он.

Смеялись и другие. Вдруг Танкред нахмурился.

Спросил:

— Вы не делаете исключений?

— Увы, нет, — спокойно ответил Камаи.

— И для моей жены? — спросил Танкред притворно-спокойным голосом.

Граф Камаи усмехнулся тонко и сказал:

— Наша августейшая повелительница живет не для вашего высочества, а для государства. Дела правления заботят государыню гораздо больше, чем любовь супруга и его зыбкая верность. И для вашего высочества это хорошо.

— Почему? — принужденно улыбаясь, спросил Танкред.

За графа Камаи отвечал герцог Кабрера.

— Потому, — сказал он, — что женщины на наших островах несдержанны в гневе и очень ревнивы. И притом они ловко действуют навахою или нашею древнею дагою.

Танкред сегодня пил больше обыкновенного и потому стал слишком откровенным. Он говорил:

— Быть мужем королевы! О, это — слишком большая роскошь. Муж королевы, но не король.

— Почет высокого положения без его тягостей и ответственности, — сказал герцог Кабрера.

— Почет! Быть только производителем династии!

— Разве этого мало? — спросил Кабрера.

Танкред продолжал:

— Положение королевской жены гораздо лучше. Она делит с королем его титул и его почести. Она коронована. Не понимаю, где был мой ум, когда я согласился на эту блестящую комбинацию.

Граф Камаи с любезною улыбкою царедворца сказал:

— Как бы то ни было, решимость вашего королевского высочества дала нам редкое счастие видеть порою в нашей среде и пользоваться высоким обществом столь обаятельного джентльмена.

Танкред возразил:

— Мой милый граф! Если бы я не знал хорошо, что вы ко мне всегда одинаково добры, я назвал бы вас льстецом.

— Ваше высочество, поверьте...

Танкред с живостью перебил его:

— Нет, не хвалите меня. Теперь это лишнее. Мне совсем не это надо. Я очень расстроен.

— Имейте терпение, ваше высочество, — сказал Кабрера, — вы окружены верными друзьями. Все устроится.

Танкред пожал его руку. Сказал:

— Мне надо денег. Я не могу жить на эти гроши. Государство напрасно скупится.

— Конечно, — сказал герцог, — если государство последует мудрым советам вашего высочества, то оно сторицею вернет свое, хотя

бы и дало вашему высочеству возможность вести самый блистательный образ жизни.

— И меня утомило мое двусмысленное положение, — сказал Танкред.

— Его можно изменить, — значительно сказал Кабрера. — Стоит захотеть.

Герцог Кабрера сидел, откинувшись на спинку кресла, и ронял серый пепел толстой сигары на зеленый ковер. Его острые, серые глаза смотрели вдаль с пророческим, вдохновенным выражением. Тонкий, стройный, решительный, от опьянения румяный и смелый, он и в самом деле казался умелым делателем королей. Танкред смотрел на него с доверчивым уважением. Сказал:

— Мне не нравится, сказать по правде, что Ортруда заигрывает с радикальною сволочью.

Граф Камаи сказал с легкою ирониею:

— Это — мудрая политика.

— Это может кончиться худо, — сказал Кабрера, — и мы возлагаем все наши надежды на бдительность, патриотизм и мудрость вашего высочества.

Все они, спасающие отечество, были пьяны, и языки их ворочались не совсем свободно.

## Глава сорок седьмая

Афра пришла в редакцию журнала «Вперед». Она знала, что найдет там Филиппа Меччио.

В редакции шла обычная будничная работа. Афра прошла полутемным коридором мимо редакционных комнат к кабинету главного редактора.

Юркий смуглый мальчишка, похожий на цыганенка, улыбаясь широко, отчего его большой рот казался еще больше, сказал ей:

— Доктор Меччио занят и никого не принимает, но уж об вас, милая барышня, я ему скажу.

Постучался в дверь, приоткрыл ее и крикнул:

— Госпожа Монигетти!

— Очень рад, войдите, — раздался из-за двери звучный голос, в точных акцентах которого ясно отражался решительный, деятельный характер.

Афра вошла в кабинет. Дверь за нею захлопнулась твердо и точно, словно решительным характером главного редактора было загипнотизировано все здесь.

Филиппо Меччио сидел в кабинете один, — человек, которого любила Афра и который любил ее с тою несколько суровою, неловкою застенчивостью, с которою относятся к женщинам очень чистые и очень увлеченные работою люди. Они встречались часто, но поцелуи их были невинны, и любовь их была чиста.

Некрасив, смугл, быстр в движениях, более ловок, чем силен, с неприятным подстерегающим выражением слишком умных глаз, с неприятно резким очерком губ, с излишне отчетливыми морщинами на красивой крутизне лба, с голосом, отлично звучащим на площади и в парламенте, но неприятно сильным в комнате, сверкающим, как лезвиями остро отточенных кинжалов, резкими, точными ударениями, — таков был человек, которого любила Афра, человек, у которого было много фанатически преданных ему друзей, поклонников и поклонниц, человек, в которого влюблялись страстно и безнадежно прекрасные девушки, очарованные блеском его неожиданных взоров и пламенною страстностью его речей.

Доктор медицины Филиппо Меччио, признанный глава своей партии, был рожден быть трибуном. Прирожденный демагог, он лучше всего чувствовал себя перед толпою, слушающею его речь, хотя бы то была враждебная ему компания самодовольных, сытых мещан. Речи его покоряли рабочую толпу; они зажигали в трудящемся люде живую веру, — и немного стоили в печати. Его жест, его взгляд, его внезапный сарказм — вот от чего дрожали и бледнели его политические враги, вот от чего горели восторгом сердца его единомышленников. Говоря парламенту или толпе, он не вдавался в изысканные утончен-

ности. То, что он говорил, в устах другого могло бы показаться избитым, банальным. Но когда Филиппо Меччио в тысячный раз повторял, что частная собственность на орудия производства должна быть уничтожена, казалось, что в громе и в молнии рождается новый закон, изведенный из трепетно-пламенеющей души человека, который страданиями непостыдной, славной жизни и тяжкими усилиями мысли стяжал познание непреложной истины.

Филиппо Меччио отличался железным самообладанием. Сегодня утром он говорил на митинге телефонисток и имел бурный успех. С цветами, с восторженными криками провожали его девушки до редакции. Теперь цветы благоухали в стеклянных и глиняных вазах, на столах, на полках, на подоконниках, а Филиппо Меччио был невозмутимо-спокоен, точно овация милых девушек нисколько не взволновала его.

Перед Филиппом Меччио лежала груда писем. Он поздоровался с Афрою и продолжал читать письма. Сказал Афре:

— Хорошие вести с механических заводов. Рабочие организованы и готовы к действиям.

— Как вы любите мучить! — сказала Афра.

— Чем? — с удивлением спросил Меччио.

— Филиппо, когда я ни приду, вы все заняты, — сказала Афра. — Вы совсем не обращаете на меня внимания!

— Милая Афра, я так занят! — сказал Меччио. — Но я очень люблю, когда вы приходите. В моей конуре становится светлее.

— Но вы так мало со мною разговариваете, — жаловалась Афра. — И никогда не зовете меня сами. Хоть бы в часы отдыха звали меня.

— Когда же мне отдыхать, милая Афра! Готовятся важные события. Настала пора для организованного выступления пролетариата.

Но он быстро сложил письма, непрочитанные в одну пачку, прочитанные в другую, спрятал их, отдельно каждую, и сел рядом с Афрою на диване, в спокойной позе отдыхающего человека. Он казался усталым, лицо у него было рассеянное, и видно было, что он все еще думает о своей работе.

Афра вздохнула. Он посмотрел на нее, и выражение сдержанной страстности мгновенно мелькнуло в его внезапно оживившихся глазах. Он взял ее руку и долго целовал ее. Спросил:

— Которые же цветы — ваши?

— О Филиппо, вы их даже не заметили!

Она взяла лежавший на диване рядом с нею букет и сказала:

— У вас сегодня такое множество цветов. Если вы позволите, я соединю розы из этих двух ваз в одну вазу, а мои поставлю в другую.

— Отлично! — весело сказал Меччио. — Меня влечет к вам обаяние вашей девственности. Я удивляюсь, как вы сохранились среди всех соблазнов высокой среды.

Афра, с заботливою осторожностью перемещая цветы, спросила:

— Неужели вы считаете необходимым вооруженное восстание?

— Нет, — сказал Меччио, — мы его не хотим.

— Зачем же вы к нему готовитесь?

— Зачем? Оно не то что необходимо, — оно, к сожалению, неизбежно.

— Вы в этом уверены?

— Да. Рабочие достаточно сорганизованы в своих синдикатах. Как ни борется правительство против того, чтобы чиновники соединялись в синдикаты, но кое-где оно должно было уступить. Синдикаты учителей и учительниц существуют беспрепятственно. Недавно мы добились регистрации синдиката почтово-телеграфных служащих и телефонисток. Но организация — еще не все. Настало время добиться экспроприации орудий производства. Пора действовать. Если бы на сцене были только капиталисты да рабочие, — говорил Меччио, — вопрос разрешился бы просто победою тех или других или компромиссом. Но к услугам западноевропейского капитала есть организованное в его интересах буржуазное государство — сила большая и нам враждебная. Капитал не уступит без отчаянной борьбы, и государство поможет ему всеми своими силами. Оно будет защищать то, что называют порядком, против того, что оно назовет бунтом. Оно двинет к фабрикам и шахтам полицию и войска. Полицейские будут разгонять наши собрания и не постесняются пустить в ход кулаки,

и палки, и даже оружие. Если наши окажут где-нибудь сопротивление этому насилию, то правительство объявит ту местность в состоянии восстания, назначит военного губернатора, и тогда на место наших собраний явятся войска. Если мы не разойдемся, войска начнут стрелять, и нам останется на выбор или покорность, или гражданская война.

— А если забастовка будет течь мирно, — спросила Афра, — и рабочие не станут оказывать сопротивления полиции и войскам?

— Техника дела известная, — продолжал Меччио. — Правительство во что бы то ни стало попытается сорвать забастовку и вызвать вооруженное восстание в надежде залить страну кровью и ужаснуть рабочих. Для этого ему достаточно подослать несколько провокаторов. Они сделают два-три выстрела в войска, и солдаты поверят, что перед ними — враги.

— Вы забываете, Меччио, что королева Ортруда не согласится на то, чтобы ввести военное положение, — сказала Афра.

Меччио спокойно ответил:

— Воля доброй королевы не устоит перед яростью трусливого буржуазного парламента. В крайнем случае ее убьют или свергнут. Нет, Афра, мы должны быть готовы ко всем случайностям. Всеобщая забастовка, вооруженное восстание, захват пролетариатом власти — вот этапы нашего пути.

— А желтые синдикаты вас не беспокоят?

— Пустяки! Наш центральный комитет решил набирать боевые дружины. И это исполняется в большой тайне.

Афра сказала, улыбаясь:

— Филиппо, вы так откровенны со мною! Вы знаете, что я близка к Ортруде.

— От наших организаций, — возразил Меччио, — Ортруде лично и ее семье не угрожает ни малейшей опасности. В этом я вам ручаюсь. Пусть она занимается своею живописью безбоязненно, — мы ничего не имеем против того, чтобы ее милые пейзажи, в которых так много настроения, и ее изображения нагих дев, которые она пишет с настоящим искусством, приобретались и впредь для национальной галереи.

Афра улыбаясь сказала:

— Я вспомнила сейчас забавную встречу с одною простушкою. Она при всей своей болтливости все же не могла выболтать тайны только потому, что и сама не была в нее посвящена.

Рассказала об Альдонсе Жорис.

— Это, конечно, Танкред, — с негодованием сказал Меччио. — Этот авантюрист никому не дает спуску. Но скоро он сломит себе голову.

— А моей болтливости вы, Филиппо, не боитесь? — спросила Афра.

— Болтайте, Афра, сколько хотите, — отвечал Меччио, — я уверен, что, предупреждая ваших друзей, вы не скажете им того, чего говорить им не надо. Но о том, что народ готов восстать, говорите им. Мы и в парламенте громко говорим большинству: если вы не совершите немедленно крупных социальных реформ, то неизбежно вооруженное восстание. Об этом же говорят те тысячи книжек, которые мы бросаем в народ. Народ доведен до отчаяния, — повторяйте своей высокой подруге почаще эти простые и страшные слова.

— Ортруда их запомнила, — сказала Афра. — Но что же она может сделать!

— Так и мы, — сказал Меччио, — ничего не можем. Ход событий неотвратим. Мы только облегчаем течение событий. Доставка оружия, Афра, — это большая тайна, — идет успешно. Кроме того, мы устроили в горах свой завод для выделки холодного оружия. Славные оттуда выходят клинки! Нам удалось устроить склад оружия под боком у королевского замка.

— Зачем так?

— Нашлось безопасное место. Один раз наши, правда, оплошали. Солдаты совсем было окружили их, но, если поверить их спутанному рассказу, их спасла какая-то горная фея, черноокая царица лазурного грота.

Афра отвернулась к окну. Делала вид, что увидела на улице что-то интересное. На лице ее отражалось колебание. Меччио продолжал:

— Эти люди очень суеверны. Не знаю, что им там показалось. Опасный промысел! Понятно, что контрабандисту трудно сохранить душевное равновесие. На что вы там смотрите, Афра?

Подошел к окну. Сказал:

— Вот один из отрядов нашей армии.

Открыл окно. С улицы доносилось пение: женские голоса пели международный гимн. По улице шли босые девушки и женщины в простонародной одинаковой одежде. Лица у них были праздничные, на одежде и в волосах у них было много цветов, и в руках у некоторых были флаги с какими-то изображениями и буквами.

— Женщины, которых вы видите, — объяснял Меччио, — члены двух синдикатов, телефонисток и сельских учительниц. Они празднуют регистрацию синдиката телефонисток.

Афра спросила:

— Почему у них одежды одинаковы и ленты одного цвета?

Меччио засмеялся. Сказал:

— К стыду моему, должен сознаться, что нашим агитаторам помогают народные суеверия. Слухи о гроте, который открылся, о белом короле — все это нам на руку. Люди, о которых я вам сейчас рассказывал, очень подробно описали наряд своей горной покровительницы. Это им было нетрудно сделать, работа фантазии была невелика, любая крестьяночка могла послужить им моделью. Но так как они вообразили, что горная фея стоит за рабочий люд, то вот точь-в-точь по их рассказу стали одеваться девушки и женщины, сорганизовавшиеся в синдикаты: зеленая с красным вышивка — листья и цветы гвоздики, — зеленая лента вместо пояса, белая матовая пряжка, на голове повязка белая с красными бусами, и сандалии, как у горной феи, подвешены к пряжке пояса.

— Одежда, которую любит носить Ортруда, — нерешительно сказала Афра.

Посмотрела на Меччио спрашивающим взглядом. Меччио сказал:

— Я догадываюсь, что вы хотите сказать, милая Афра. Но пусть это останется секретом капризной королевы. У нее нет детей, и она забавляет себя, как может. А для нас приятнее волшебная царица лазурного грота. Эта невинная сказка ничему не повредит. Сельские учительницы нам очень полезны. Они так близки к народу.

— Но ведь они малообразованны, — сказала Афра, — и, мне кажется, по большей части очень недалекие люди.

— Это — не беда, — возразил Меччио. — Есть слишком тупые, тех мы не трогаем. А она, ваша Ортруда, все еще влюблена в своего Танкреда?

— Влюблена, как прежде, но уже начинает его понимать, — тихо сказала Афра.

— А знает что-нибудь об его похождениях, об его мечте быть королем?

— Нет.

— Отчего вы не откроете ей глаза?

— Пусть узнает не от меня. Женщины ненавидят тех, кто приносит им такие новости. А мне будет больно, если она меня невзлюбит. Его заговор, — кто это может доказать!

— Этого господина я бы с удовольствием повесил, — сказал Меччио. — Честолюбивый авантюрист, игрок не очень честный и похотливый немец. Но надо сознаться, что Танкред для нас в некотором смысле человек полезный. Его политика и его донжуанство очень роняют династию в глазах буржуазии и в глазах рабочих. Теперь мы решились выступить опять против этого господина. Вот я прочту вам статью.

Меччио достал из письменного стола несколько узких, пронумерованных листков. Афра спросила:

— Надеюсь, не об его любовных делах?

— И об этом.

— Филиппо, зачем!

— Афра, моя милая, я долго повиновался вам в том, что касалось этих его отношений. Но есть пределы для всего. Пока он побеждал в своем кругу, нам до этого не было никакого дела. Мы хорошо знаем, чего стоит показная добродетель блестящих семейств. Но он добрался наконец до работниц. Это уж нельзя стерпеть.

Меччио прочел Афре свою статью против Танкреда.

Она была пропитана ядом убийственно-метких сарказмов. Глаза у Афры зажглись безумною ненавистью. Она сказала, молитвенно складывая руки:

— Вставьте еще вот это, милый Филиппо!

И подсказала Меччио несколько язвительных фраз. Меччио засмеялся. Сказал:

— Вы беспощадны, Афра. Ваши слова я с наслаждением вставлю. Вам я могу сказать без ложной скромности, без хвастовства и без лести: я умею поражать врага отравленными стрелами, но ваши сарказмы и в моей гневной статье не покажутся тусклыми.

Афра покраснела от удовольствия и гордости и, быстро наклонившись, поцеловала руку Меччио.

## Глава сорок восьмая

Связь банкира Лилиенфельда с принцем Танкредом быстро и успешно прогрессировала. Лилиенфельд сделался членом Общества африканской колонизации — верный путь к благосклонности Танкреда — и внес в кассу Общества крупную сумму. Сделал большое пожертвование Дому Любви Христовой, чтобы заслужить благосклонность и покровительство королевы Клары.

Лилиенфельд спешил воспользоваться временем, пока африканские планы Танкреда еще не получили большой известности в финансовых кругах Европы. Он рассчитывал составить на этих аферах колоссальное состояние.

Очень большие деньги он дал на подкуп газет и влиятельных членов парламентского большинства. Многие газеты стали агитировать за флот, колонии и союз с великою державою. В финансовой комиссии парламента создалось такое настроение, что казалось возможным крупное ассигнование на флот.

При встречах с Танкредом Лилиенфельд втягивал принца в игру и проигрывал ему большие деньги. Принц Танкред уже заговаривал с Виктором Лорена о пожаловании Лилиенфельду баронского титула за его благотворительность, — Лилиенфельд сумел довести до сведения Танкреда свои заветные мечты быть бароном. Лорена отвечал принцу, что надо подождать, когда Лилиенфельд сделает еще более

крупное пожертвование на общеполезное и не возбуждающее споров дело. Лорена говорил:

— Ему ничего не стоит дать несколько миллионов на основание института для воспитания мальчиков в духе идей вашего высочества, для создания касты воинов. Мы назовем этот институт спартанского воспитания Лакониумом Ортруды Первой и принца Танкреда.

Танкреду понравилась эта мысль.

— Да, — сказал он весело, — хорошо, если он догадается.

Лорена улыбнулся.

— Я позабочусь, чтобы он догадался.

В газете «Вперед» появился ряд очень дерзких статей против принца-супруга. Никогда еще в печати не было таких резких, открытых обвинений против Танкреда. Говорилось прямо об его авантюризме, угрожающем интересам государства, и об его безнравственном поведении.

Буржуазная печать, подкупленная на деньги банкира Лилиенфельда, сперва замалчивала эти статьи, потом начала выражать резкое негодование на то, что осмелились оклеветать принца-супруга. Но в обществе эти разоблачения произвели впечатление большого скандала. Они дошли до королевы Ортруды, хотя довольно случайно. Случилось это так.

В Северной башне Ортруда стояла перед начатым полотном, выписывая нежно-смуглое тело стоящей на возвышении молодой девушки, одной из обитательниц Дома, управляемого женою гофмаршала. Вероника Нерита стояла рядом с Ортрудою и разговаривала с нею вполголоса.

Непонятно из каких побуждений, — может быть, просто в порыве психопатической злости, — Вероника Нерита рассказала Ортруде об этих статьях, да заодно и о том, что художница Сабина Фанелли была любовницею Танкреда.

— У меня есть с собою эти номера, — говорила она, — я захватила их на случай, если вашему величеству угодно будет ознакомиться с новою презренною выходкою этих разбойников, не останавливающихся ни перед чем.

Ортруда сказала с некоторою принужденностью:

— Благодарю вас, милая Вероника. Вы очень любезны. Пожалуйста, оставьте эти листки у меня. Я их посмотрю потом.

Оставшись одна, Ортруда прочла статьи Филиппа Меччио. Каждое слово было как удар бича. Ортруда была возмущена, испугана. И плакала, и смеялась, как в истерике. Она не очень верила намекам на любовные похождения Танкреда. Да и что для любви всепрощающей и всему до конца верящей случайные, легкомысленные измены! Но то, что сказано об его замыслах, было ужасно. Сомнения томили ее.

Или это — правда? Или это — клевета? Кто скажет! Как узнать! Но лучше знать наихудшее, чем томиться неизвестностью. Ортруда вспомнила имя художницы, о которой говорила Вероника. Зажглась любопытством ее видеть. Хотя не верила и словам Вероники. Думала, что это, если и было, только минутная прихоть Танкреда. Почти готова была покровительственно улыбнуться этой шалости.

То, что эта женщина была скульптором, навело Ортруду на мысль заказать ей свое изваяние и подарить его Танкреду. Решила послать к ней своего секретаря, Карла Реймерса. Но почему-то медлила долго.

Ко дню рождения королевы Ортруды набралось, как всегда, очень много писем и прошений о пособиях, стипендиях, зависящих лично от нее, и о разных других милостях. Все эти бумаги проходили через руки Карла Реймерса. Пришлось Ортруде работать с ним более обыкновенного. Трудолюбие и отличные способности этого человека, которого раньше она почему-то почти не замечала, теперь были приятны ей. Это был высокий, стройный, белокурый молодой человек, один из немногих, вывезенных Танкредом.

Ортруде нравилась та тихая, нежная почтительность, с которою обращался к ней Реймерс. В его глазах она прочла восторженное обожание и поняла наконец, что он влюблен в нее. Ей было жаль молодого человека, — конечно, он знает и сам, что любовь его безнадежна, — и она обращалась с ним с грустною ласковостью. И не

торопилась отнять руку, когда он, приходя или уходя, приникал к ней долгим под шелковисто-мягкими усами поцелуем.

Виктор Лорена посетил принца Танкреда перед докладом у королевы и сообщил принцу, что министерство решило привлечь к судебной ответственности редактора газеты «Вперед» за клевету на принца-супруга и что сегодня он испросит на это высочайшее разрешение. Танкред решительно воспротивился этому. Он говорил:

— Дорогой господин Лорена, дело касается лично меня, и я имею в нем право голоса. Я решительно против этого во всех отношениях неудобного процесса.

— Простите, ваше высочество, — сказал Лорена, — министерство тщательно обсудило этот вопрос и не видит иного выхода.

— Это будет только горший скандал, — говорил Танкред, волнуясь.

— Но что же делать! Республиканцы пользуются этими слухами во вред и династии, и правительству.

— На такие выходки лучший ответ — презрение.

— Но здесь замешан интерес всего государства.

— Да, — с досадою говорил Танкред, — если бы у вас в руках были средства заткнуть глотку этому бандиту! Он наговорит на суде Бог весть чего, и все это разойдется по всей стране.

Лорена сказал со своею обычною уверенностью:

— На суде мы сумеем доказать, что это все — клевета. У нас, слава Богу, есть средства влиять на судей.

— Тюрьма увеличит его популярность и не прибавит моей.

— Я передал ее величеству мнение вашего высочества, — сказал Лорена. — Но я очень боюсь, что указываемый вами путь может повести к падению кабинета.

В конце своей аудиенции Лорена сообщил королеве о статьях Меччио и о решении министерства.

— Но, ваше величество, — сказал он, — его высочество принц Танкред не желает суда.

— Почему? — тихо и печально спросила Ортруда.

Лорена передал все, что сказал Танкред. Ортруда помолчала. Спросила:

— Что же вы думаете, дорогой господин Лорена?

Лорена слегка пожал плечами. Сказал:

— Не могу скрыть от вашего величества, что исполнение желания его высочества поставит министерство в затруднительное положение.

— Я согласна с министерством, — сказала Ортруда. — Нельзя оставлять без опровержения такие возмутительные клеветы. Они тем более опасны, что Меччио так популярен. А с принцем Танкредом я сама поговорю.

И, отдаваясь течению своей мысли, забывая, что перед нею чужой ее печали, равнодушный человек, сказала тихо, тихо, как про себя:

— Пусть выяснится истина.

Имогена не выходила из мыслей Танкреда. Влюбить ее в себя стало его мечтою. Он неотступно следил за нею. Вокруг него уже давно сорганизовалась сеть шпионства. Его агенты говорили ему о каждом шаге Имогены. Он узнал, что сегодня она будет у королевы, и прошел к Ортруде после приема первого министра. Кстати же, ему хотелось поскорее выяснить отношение Ортруды к делу о клевете.

Ортруда сказала ему:

— Милый Танкред, я так огорчена за вас. Я понимаю ваши благородные побуждения, но я хочу заступиться за вас, хотя бы и против вашей воли.

— Милая моя Ортруда, взвесьте последствия.

Был долгий спор. И он был так горяч, что казался ссорою. Первою в их жизни ссорою.

Ортруда видела, что Танкреду неприятна ее настойчивость, но непобедимое упрямство владело ею. И было в ней чувство, страшное ей самой, похожее на злорадство.

Танкред вышел из кабинета королевы Ортруды. У него был деланный, рассеянно-скучающий вид. Он умел носить маску.

Увидел Имогену. Молодая девушка ожидала приема у королевы. На днях ей пожаловано было придворное звание, и она приехала благодарить королеву.

Танкред стал говорить ей любезности. Она краснела. Тихо подошел гофмаршал Нерита. Шепнул:

— Простите, ваше высочество. Ее величество ждет графиню Мелладо.

Танкред улыбнулся;

— Простите, Имогена, я вас задержал.

Пожал ее руку. Отошел. Имогена прошла к Ортруде. Астольф мрачно смотрел вслед уходящему Танкреду. Афра подошла к нему. Спросила:

— Ты не любишь его, Астольф? Этого прекрасного принца?

Астольф пылко воскликнул:

— Прекрасный принц! Ну, я не нахожу прекрасным этого немецкого верзилу.

— Неужели? — с легкою улыбкою спросила Афра.

Астольф гневно говорил:

— Пусть бы он ушел к своим возлюбленным. У него их так много. С Ортрудою ему скучно. Старый королевский замок ему противен. Он чужой здесь.

Афра слушала его и хмурила брови. Улыбнулась. Спросила:

— Да ты ревнуешь, милый Астольф? Правда, ревнуешь? Ты влюблен в нее? Признавайся, маленький ревнивец.

Смеялась тихо, плещущим, как струйки, смехом. Астольф ярко покраснел. Он весь дрожал, как тоненькая пальмочка на прибрежье, колеблемая знойным сирокко. Крикнул:

— Я, я! Вы смеетесь надо мною, жестокая Афра! О, я ревную! Я — только мальчишка, смешной и жалкий!

Он заплакал от стыда. Крупные слезы забавны были на его смуглых щеках. Они щекотали его губы. Он отвернулся. Афра пожала его руку крепким товарищеским пожатием. Привлекла его к себе. Он упрямо отбивался.

— Я тоже ревную, — тихо сказала она.

Покраснела. Опустила глаза. Принужденно засмеялась.

— К кому? — с удивлением спросил Астольф.

Молчала. Краснела. Улыбалась.

— Ты влюблена в него! — воскликнул Астольф. — В того иностранца!

— Нет! — воскликнула Афра. — Конечно, нет. Что ты придумал, Астольф!

— Так что же это?

— Мне больно, что она его любит, и я ревную.

— И ты ее любишь? — удивленно спросил Астольф.

Афра молчала.

— Слушай, Афра! — сказал Астольф.— Я ему отомщу. Я познакомился с мальчишкою Лансеолем и с Альдонсою Жорис. Я выпросил у королевы ее ленты и показал их Лансеолю. Он поверил, что я — посланец горной феи, и слушается меня. Когда Танкред поедет к своей возлюбленной, Лансеоль его выследит и даст мне знать, и я наведу на него королеву.

— Безумный мальчишка, не делай этого! — вскрикнула Афра.

Астольф взглянул на нее сердито и убежал.

## Глава сорок девятая

Танкред испытывал все более нетерпеливую влюбленность, страстное желание обладать невинною душою и прелестным телом Имогены. Решился ехать к ней, застать ее наедине. Придумал хитрость. Как-то после обеда, раскуривая сигару, он сказал герцогу Кабрера:

— Дорогой герцог, отчего я уже так давно не встречал у вас маркиза Мелладо? Неужели он всегда сидит дома?

Сквозь фиолетовый дымок сигары он бросил на герцога быстрый взгляд и слегка усмехнулся. Герцог понял Танкреда с полслова. Сказал:

— Да, маркиз давно у меня не был. Но я надеюсь, что он приедет ко мне пообедать во вторник на той неделе.

И вот во вторник на следующей неделе Танкред собрался ехать к вечеру в замок Мелладо, лежавший в нескольких километрах от столицы, если ехать берегом, и еще ближе, если сесть на лодку и переправиться через залив близ королевского замка. Но утром во вторник Танкред вспомнил, что в этот день его ждет графиня Маргарита Камаи. Танкреду стало досадно. Вдруг эта говорливая и страстная женщина, звонко лепечущая и піявочно целующая, стала ему противна. Но какое-то странное любопытство, не то жестокое, не то страстное, влекло его к Маргарите. И Танкред заехал к ней.

Маргарита бросилась ему навстречу с преувеличенною ласковостью. Она, как всегда при нем, была радостно оживлена. Танкред был очень рассеян. Он досадовал на самого себя, зачем заехал. Не хотелось ласкать ее, не хотелось отвечать на ее ласки, глядеть на ее улыбки, слушать ее щебетание. И не знал, о чем и говорить с нею. Только светские привычки удерживали от слишком холодных ответов. И вдруг ему захотелось уйти поскорее. Сказал:

— Прости, моя милая птичка, дорогая моя Маргарита, я тороплюсь на заседание Комитета Лиги ревнителей обновления флота. Я рад был бы просидеть с тобою долго-долго. Но я должен уехать от тебя.

— Так скоро! — воскликнула Маргарита. — Танкред, вы шутите!

— Правда, милая моя золотая рыбка.

— Нет, это невозможно! — сказала Маргарита. И голосом избалованного ребенка: — Я вас не пущу. Извольте остаться и приласкать меня.

Танкред с унылою упрямостью повторял:

— Увы, ненаглядный мой цветик, алая моя роза, мне очень надо ехать, — это — очень важное дело, государственный интерес.

Маргарита не пускала его, и хваталась за его руки, и просящими жадно глазами заглядывала в его лицо. Вдруг она догадалась, что у Танкреда есть другая возлюбленная, и закричала, становясь вдруг грубою и вульгарною:

— А, вы отправляетесь на свидание!

— Милая Маргарита, какие мысли приходят в вашу причудливую головку!

Маргарита кричала запальчиво:

— Не думайте, что вам удастся меня обмануть. Я все знаю!

— Что вы знаете? — досадливо спросил Танкред. И, смягчая тон: — Милая Маргарита, я не знаю, что вы хотите сказать.

Она заплакала.

— О, вы смеетесь надо мною! Я вам надоела. Но я все, все узнаю, вот вы увидите.

Противна была Танкреду унизительная сцена ревности — косые взгляды, шипящие речи, некрасивые слезы. И эти угрозы, такие глупые! Точно она имеет какие-то права!

Со всеми одно и то же! Одна Элеонора не делает сцен.

Пришлось изворачиваться, лукавить, ласкать нехотя. И вдруг разгорелся понемногу сам...

Но все-таки скоро ушел.

Едва закрылась за ним дверь, радостное возбуждение от его ласк вдруг оставило Маргариту.

— Ушел! — мрачно шептала она.

Подошла к окну. Опершись рукою на раскрытую раму окна, смотрела, как он сел в коляску.

Кинул взгляд в ее окно. Улыбнулся, поклонился. Веселые огоньки сверкали в его глазах. Она смеялась, казалась веселою. И думала: «Я выслежу его, я не отдам его никому».

Она подошла к легкому, белому на золоченых ножках столику, где лежала в футляре на розовом бархате подаренная сегодня Танкредом брошь, — золотой изогнутый треугольник, осыпанный бриллиантами, отягченный подвесками из яхонтов и жемчугов. В порыве злости Маргарита схватила красивую вещицу. Захотелось бросить ее на пол, наступить каблуками, топтать, топтать. Вся дрожа, Маргарита осторожно вынула брошь из футляра, положила ее бережно на стол, футляр бросила на ковер и, громко визжа от ярости, принялась топтать его.

Плавный бег слегка покачивающейся на рессорах коляски и фиолетово-синий дым сигары убаюкивали Танкреда. Он погрузился

в приятную задумчивость. Явь отошла, все стало как сон. Рощи пальм, померанцевых и апельсинных деревьев показались вдруг необычными, сказочными. Серою дымкою далеких воспоминаний подернулась яркая лазурь небес. Вспомнились бесконечные равнины Восточной Европы. Танкред дремотно думал: «Может быть, я сплю, утомленный скудною скукою скованной жизни, — грежу, бледный мечтатель, над задумчивым берегом тихой русской реки, где смолою пахнут сосны, и моя Ортруда — только мой сон, приятный и недолгий. Проснусь утром, в хмурую осень, и увижу в окна бледное северное небо, и улыбнусь моим мечтам о короне вечного Рима».

И вдруг открыл глаза. Ласково-синее небо, благоухание лимонных цветов, внизу полукруг радостно-лазурного моря, дорога ровна и широка над многоцветными, многотонными, оранжевыми, палевыми, фиолетовыми камнями крутого склона и песками морского берега. Паруса розовеют солнцем, гордые ветром, и, точно углем на голубое брошенные легкие штрихи, тонкие дымки далеких пароходов.

Цыганка-гадалка стоит у дороги и ярко смеется, белыми сверкая зубами, сама темная, вся загорелая, в лохмотьях красной юбки, босая, с растрепавшеюся по ветру косою.

Танкред остановил кучера. Узнал цыганку. Та самая, что гадала ему о короне вечного Рима. Он подошел к цыганке.

— Здравствуй, милая. Погадай мне опять, удачен ли будет для меня этот день.

Цыганка смеялась. Говорила гортанным, картавым, красивым звуком:

— По твоей дороге назад не ходить. Чего тебе бояться! Пусть она узнает.

— Кто узнает? — спросил Танкред.

Смеялась цыганка.

— Горная фея, царица лазурного грота, узнает, кого ты любишь.

И вдруг скользнула, как ящерица, и исчезла в расщелине зеленовато-белых скал, — точно упала по крутизне обрыва.

Танкред поехал дальше. Думал: «У Имогены глаза как фиалки в горах. Она чистая, как царица лазурного грота».

Вот и замок, и вокруг него парк за железною оградою с медными шифрами на решетке и с медными остриями наверху. У ворот на скамейке сидел седой привратник в очках. Читал газету. На шум колес и стук копыт встал. Всмотрелся. Снял шляпу.

— Маркиз дома? — крикнул Танкред.

Привратник с низким поклоном сказал:

— Его сиятельство изволили выехать и вернутся к ночи.

— Досадно. А графиня Имогена?

— Молодая графиня в саду у залива.

Танкред легко выпрыгнул из коляски. Подумал, что не следует входить без доклада. Но быстро отогнал эту мысль. Прельщала надежда поразить Имогену внезапным появлением.

Спросил привратника:

— Я не очень в пыли, мой друг?

— Если позволите, ваше высочество.

Старик быстро принес щетку.

— Благодарю. Довольно. Я найду сам графиню Имогену. Не трудитесь меня провожать. Я знаю дорогу.

Сунул старику золотую монету. И быстро пошел по миртовой аллее.

Из домика у ворот вышла старуха, жена привратника. Шептала ему с укором:

— Лучше бы ты ядовитого змея двенадцатиголового к ней пустил.

Старик посмотрел на нее мрачно. Махнул рукою. Проворчал:

— Все равно не спрячешь. Жених-то далеко. А этот все подберет.

Танкред быстро шел по аллеям, напоенным томными ароматами. Улыбчивая уверенность легко играла в нем.

Сад был широко зелен и тенист. Раскинулся по самому берегу залива, оставляя неширокую береговую полосу. Здесь море было мелко.

Легкий ветер гнал легкие волны к берегу. Кончался час прилива, и волны готовы были убежать за дальние отмели и плескались не-

шумно. И плескуч был смех волн и смех Имогены, и громкие слышались в шумах волн вскрики мальчика.

У самых волн играли с ветром и с водою Имогена и брат ее, кудрявый, веселый, маленький шалун Хозе. На песке были брошены игрушки Хозе и куклы Имогены. Имогена и Хозе так заигрались, что не слышали шагов Танкреда. Шалили, брызгались водою. Смеялись звонко.

Танкред остановился за деревьями и долго любовался Имогеною. Были милы ее улыбки, ее легко мелькающие в солнечных лучах руки, ее легко загорелые, высоко приоткрытые ноги.

И вдруг Имогена увидела Танкреда. Она жестоко смутилась. Вскрикнула слабо. Ей еще нравились детские забавы и шалости, игры и куклы, и, как и все очень юные, она стыдилась игры и игрушек. И было стыдно, что у нее разметались косы. Она торопливо вышла на песочный берег, быстро оправляя платье и прическу.

Заметив ее смущение, Хозе притих. Всмотрелся по направлению ее взора. Сказал:

— Чужой офицер! Да какой он большой!

Танкред подошел к Имогене. Весело поздоровался. Говорил:

— Простите, что я так неожиданно. Я уже давно хотел посетить маркиза. Жаль, что его нет дома. Но не хочется уезжать так скоро. Позвольте поболтать с вами, милая Имогена.

Они сели на скамье у самой воды. Хозе рассматривал принца. Он не долго дичился и скоро уже весело болтал с веселым, ласковым гостем. Танкред спросил:

— Кем ты будешь, Хозе?

— Я буду офицером.

— Каким же ты хочешь быть офицером? кавалеристом? или моряком?

— Я буду моряком. Буду плавать далеко-далеко.

— Весело плавать?

— Очень весело!

— И воевать будешь?

— Да. Я завоюю Африку, а потом весь свет.

— Это хорошо. А куда же ты сейчас пойдешь?

— Мне надо домой. Меня ждет мой учитель.

Мальчик ушел. Танкред и Имогена остались одни. Танкред чувствовал то волнение, которое всегда овладевало им в моменты его признаний. Вдохновение любви опять осенило его.

Вечер был великолепный, горящий, — словно все радовалось умиранию свирепого Дракона. Ритмичные вздохи морской глубины, могучие вздохи доносились на берег, радуя и волнуя душу. Небо пламенело — кровью смертельно раненного Дракона, зноем его безжалостного сердца, пронзенного насквозь.

Танкред взглянул на Имогену быстро и сказал:

— Имогена, я хочу рассказать вам сегодня о моей первой любви.

Так робко, так нежно глянула на него Имогена. Зарделась так, что слезинки блеснули. Шепнула что-то. Танкред, нагибаясь к ней близко, говорил тихо:

— Вы, Имогена, спрашиваете, почему теперь? Так как-то. Не знаю наверное. И что мы все знаем, мы, люди, о том, чего хотим?

— Знает только Бог, — с набожным выражением сказала Имогена.

Танкред слегка улыбнулся и продолжал:

— Я знаю только то, что это так надо. Вот я уже знаю историю вашей первой любви и за то расскажу вам о моей.

И ничего не сказала Имогена. Не нашла слов. Так по-весеннему счастливо, с таким свежим, сладким ожиданием замерла, боязливый на Танкреда и влюбленный обративши взор. Танкред подождал ее ответа. Помолчал немного. Слегка нагибаясь, глянул в ее фиалковые, испуганно ожидающие глаза. Спросил ее тихо и ласково:

— Хотите, Имогена? Рассказать?

И легонько нажал рукою еще острый локоть ее смуглой тонкой руки. Тихо-тихо сказала Имогена, — тихо, как шептание струйки у берега:

— Скажите.

Голова ее опускалась все ниже, на глаза набегали слезы, — счастливые слезы, — и смуглое, нежное лицо ярко пламенело под лобзаниями усталого, бессильно издыхающего, вечернего Змия.

— Моя первая любовь! — мечтательно воскликнул Танкред. — Как давно это было! Восемнадцать лет прошло с тех пор.

Имогена быстро глянула на него и радостно улыбнулась. Танкред, ответно улыбаясь, опять пожал ее тонкую руку.

— Да, Имогена, — говорил он голосом, полным волнения, — ровно столько лет, сколько вам теперь. Вы скажете, случайное совпадение. Нет, Имогена.

Что-то вдохновенное и торжественное послышалось в голосе Танкреда. Широко раскрытые фиалковые глаза Имогены поднялись на Танкреда с удивлением и со страхом.

— Я был очень юн, и так невинен, и так влюблен... Она умерла.

— Умерла, — тихо повторила Имогена.

Плечики ее дрогнули, — хрупкие, тонкие. Маленькая такая.

— Умерла, — повторил еще раз Танкред.

Казалось, что плеск волн повторял грустное слово, отраженное бесконечно в тихом умирании заката.

— Но я не верил ее смерти.

— Не верили? О, Танкред! Но ведь ее похоронили?

— Ее похоронили, да, — но я ждал. Ждал чуда. О, Имогена, я был слишком юн тогда. Я не мог бороться с волею династии, с волею правительства моей страны. Она не была рождена принцессою. О, она могла бы родиться богинею! Такая же невинная, такая же трогательная прелесть, как ты, Имогена!

Имогена вздрогнула, низко склонила голову, и лицо ее нежным пламенело румянцем.

— Я ждал, — продолжал Танкред.

— Ее? Из-за гроба?

— Да, милая Имогена. То была юношеская мечта, скажете вы. Но я верил в нее свято. Потом я много путешествовал, я узнал много тайн, доныне все еще неведомых бедной европейской науке, и то, что было безумною мечтою моей юности, стало потом сознательным убеждением. И я стремился жадно к лазурным берегам, потому что я поверил в переселение душ.

— Боже мой, что вы говорите! — воскликнула Имогена. — Разве не грех — такое языческое убеждение?

— Какой же грех, Имогена! — возразил Танкред. — Когда является любовь, движущая миры, тогда тает грех, как воск, и меркнет святость. Я знал, Имогена, что любовь, такая пламенная, такая чистая любовь, моя любовь, ее любовь, не может быть слабее смерти.

Имогена робко сказала:

— Смерть от Бога всемогущего и милосердного.

Склонила голову и набожно перекрестилась. Танкред отвернулся, чтобы скрыть улыбку.

— Этого я не знаю, Имогена, — говорил он тихо, точно смущенный тем откровением, которое готов был передать трепетно внимавшей ему девушке, — но я знал, что ее чистая душа переселилась в девочку, рожденную в час ее тихой кончины, в девочку, родившуюся на этом блаженном берегу.

— Как вы могли это знать?

— Я это знал, потому что я видел этот дивный берег, я видел его в таинственном видении в час ее тихой смерти.

— Этот берег? — с благоговейным ужасом спросила Имогена.

— Да. И эти волны, и эти пальмы, и каждый камень на этом берегу, и этот очерк белых, дальних скал. И когда я увидел тебя, о Имогена, тебя на этом берегу моих сладких снов, пророческих снов, я понял, что это — ты, что в тебя переселилась ее чистая, светлая душа и наполнила тебя своею дивною прелестью. И вот час свидания настал, Имогена, моя Имогена, — и мы вновь узнали друг друга, потому что на небесах наши души сочетал неразрывным союзом праведный Бог.

— Танкред! — тихо воскликнула Имогена.

Сладостный восторг пьянил ее простодушное сознание. Огни восхищения пронизали ее невинное тело. Она доверчиво и нежно прижалась к Танкреду.

Торжество достигаемой победы и любви, творимой по воле, наполнило душу Танкреда, — опять восторг творимого счастия пламенел в душе этого неутомимого искателя любви. Но им самим вызванные, овладели его душою нежность и умиление и, наивные, как девочки, мешали грубому торжеству страсти.

Невинны были их поцелуи, и, сладким забвением покрытый, отошел от их взоров вечерний, тихий мир земли.

## Глава пятидесятая

Танкред и Имогена стали видеться часто. Всегда тайком, в местах уединенных. Случались с ними при этом приключения, довольно опасные для Имогены. Не раз уже Имогена близка была к тому, чтобы возбудить подозрения старого отца. Но с утонченною хитростью, которая свойственна юной влюбленности, она постоянно умела находить правдоподобные объяснения для своих частых отлучек и опаздываний. Переживаемые ею теперь страхи и опасности придавали острую, еще неизведанную дотоле прелесть ее жизни.

Так сладко и жутко было отдаться возлюбленному! И жизнь ее тогда разделилась между новою тоскою стыда и раскаяния и новою радостью страсти.

Имогена была у исповеди и каялась со слезами искреннего раскаяния. Ее духовник, пожилой иезуит, человек жестокий и сладострастный, наложил на нее тяжелую эпитимию. Но не требовал от нее, чтобы она забыла свою грешную любовь. После иезуитской дисциплины Имогена долго стояла на коленях на каменном, холодном полу капеллы и радовалась тому, что ее любовь не отнята от нее.

И грешила опять, и каялась снова, радуя иезуита послушанием в исполнении всех налагаемых им на нее покаянных упражнений.

В голове маркизы Элеоноры Аринас зрели темные, опасные, коварные планы. Она давно уже взвешивала в уме, выгодно или невыгодно для нее будет вызвать ссору королевы Ортруды с принцем Танкредом, открывши королеве измены Танкреда и его преступные замыслы. И решила, что скорее это будет выгодно: ускорит назревающие события и заставит Танкреда действовать решительно. Элеоноре казалось, что взбалмошная Маргарита Камаи как нельзя лучше годится для этой цели. Элеонора осторожно наводила Маргариту на

мысль о том, что у Танкреда есть новая любовница и что это — графиня Имогена Мелладо.

Впрочем, Маргарита и сама сумела выследить новую страсть Танкреда. Бешеная жажда мести зажглась в ней. Она стала распускать в обществе слухи о связи Танкреда с Имогенок. При встречах с Имогеною она говорила ей колкости, издевалась над застенчивою девушкою, чуть не доводила ее до слез.

Однажды Маргарита приехала к Имогене. Произошла тяжелая сцена. Маргарита сказала прямо:

— Графиня Имогена, я знаю все. Не отпирайтесь. Вы — любовница принца Танкреда.

Имогена вспыхнула.

— Я... Что вы говорите? — растерянно лепетала она.

— Оставьте его, — говорила Маргарита, — или вам будет худо. Я ни перед чем не остановлюсь. Все узнают ваш позор.

Сыпала угрозы за угрозами. Потом от угроз перешла к униженным мольбам. Рассказывала, как она любит Танкреда. Как он любил ее.

Имогена плакала и не знала, что говорить, что делать. Отчаяние и ужас владели ею.

В ту ночь она не заснула ни на минуту и плакала, плакала. Но когда пришел час идти на свидание с Танкредом, пошла. Притворялась веселою, чтобы Танкред не догадался. И сама ему ничего не сказала.

Маргарита решилась нажаловаться на принца Танкреда королеве Ортруде. Сама додумалась в ревниво-бессонные ночи, и коварные внушения Элеоноры помогли, ободрили, дали силы не отступить перед осуществлением этой мысли. Написала королеве письмо с просьбою принять.

Ортруда прочитала это письмо медленно и внимательно. Какое-то острое предчувствие пронизало ее. Графиня Маргарита Камаи всегда была неприятна Ортруде. Но не было никакой причины отказать ей в приеме. Хотя и с большою неохотою, Ортруда все-таки назначила день и час приема.

Маргарита надела установленный наряд. Тщательно осмотрела себя в зеркало и осталась довольна своим матово-бледным лицом и горящими черными глазами.

И вот королева Ортруда и Маргарита остались одни. Маргарита была смущена и взволнована больше, чем ожидала. Здесь, в старом королевском замке, перед лицом любезной Ортруды, которую она так долго обманывала, ее вдруг охватил мистический, от древних поколений наследственно перешедший благоговейный страх, внушаемый носителями высокой власти. Этого страха Маргарита не могла преодолеть. Руки ее, красивые на белом шелке платья, робко, как у девочки, дрожали.

Маргарита лепетала несвязно, сбивчиво, называя имена Танкреда, Сабины, Элеоноры. И сначала нельзя было понять, что она хочет сказать. Наконец Ортруда поняла, что она говорит о любовных похождениях Танкреда. То, о чем уже слышала Ортруда, о чем она и сама догадывалась, не придавая этому большого значения, охотно готовая все это извинить. Какие-то мимолетные связи с продажными, полупродажными и готовыми продаться женщинами.

Ортруда сказала брезгливо:

— К чему мне знать все эти приключения! Пока мы очень юны, мы ждем от наших возлюбленных чуть ли не ангельских совершенств. Но я — не девочка.

Но Маргарита продолжала, — и вот Ортруда слышит что-то новое. О невинных. О девах. Об отчаянии опозоренных семейств. Об Имогене Мелладо.

— Вы говорите неправду, графиня! — гневно сказала Ортруда. — Уйдите от меня. Я вам не верю. Не хочу и не могу верить.

Маргарита бросилась к ногам Ортруды. Рыдая, говорила:

— Государыня, ради Бога, выслушайте меня. Вы должны мне поверить! Спасением моей души клянусь, что я сказала правду.

— Уйдите! — повторила Ортруда.

— Вы мне поверите, ваше величество! — восклицала Маргарита.

— Никогда! — решительно сказала Ортруда.

Маргарита встала. Посмотрела прямо в лицо Ортруде. На ее губах пробежала дерзкая улыбка. Маргарита сказала:

— Государыня, не верность к вам заставляет меня говорить вам это, а иное чувство. О, я — гадкая, презренная!

— К чему такое самоунижение! — презрительно сказала Ортруда.

Маргарита заплакала. Продолжала:

— Не верность, о нет, — ревность, ревность привела меня к вашим ногам. Ревность измучила меня, поймите, государыня, — ревность!

Бешеным криком вырвалось это слово из груди рыдающей Маргариты.

— Что вы говорите, безумная женщина! — воскликнула Ортруда.

— Я была любовницею принца Танкреда, — тихо, но решительно сказала Маргарита.

— Неправда! — с ужасом сказала Ортруда.

Маргарита засмеялась. Жутким казался этот внезапный переход от слез и рыданий к смеху. Бледное до синевы лицо Маргариты дрожало мелкими судорогами. Страх и торжество изображались на нем в странном, безобразном смешении. Дрожащими руками она вытащила из-за ворота своего белого платья связку писем. Протянула их Ортруде. Сказала:

— Почерк, знакомый вашему величеству.

И опять слезы хлынули из ее глаз.

Ортруда торопливо читала письма. И было страшно, и было стыдно. Маргарита Камаи, эта пустая, болтливая, неумная женщина! Ей расточал Танкред эти нежные слова!

Ортруда бросила недочитанные письма на стол. Глядя на Маргариту гневными глазами, она говорила задыхающимся голосом:

— О, как счастливы простые женщины! Отчего я — не рыночная торговка! Отчего я не могу избить вас, бить, кусать, царапать! А, вы — моя соперница! И даже бранного слова я не смею сказать вам, ужасная женщина, вам, с которою я делила, сама того не зная, ласки моего Танкреда. О, что мне теперь до того, что я — королева!

Маргарита, смеясь, и плача, и ломая руки, стояла на коленях перед Ортрудою и говорила:

— Вон там, на столе у окна, лежит дага. Она остро отточена. Возьмите ее, пронзите ею мою грудь, — пусть умру, пусть умру я у ваших ног. О, как королева Джиневра, убейте меня!

Ортруде стало стыдно своего гнева, своей несдержанности.

— Извините, графиня, — сказала она, — я сказала вам что-то ненужное. Но вы понимаете, что ваши слова не могли меня обрадовать. Встаньте, графиня.

Но опять гнев овладел Ортрудою. Широкий, прямой клинок даги дразнил ее взоры. Она схватила левою рукою узорную, рогатую рукоятку даги. Маргарита порывисто запрокинула голову, открывая горло. Кричала:

— Сильнее, одним ударом, вот сюда!

Ее длинная шея трепетала от крика. И точно чья-то чужая рука влекла Ортруду к этому трепетному горлу. Ударить, увидеть кровь!

Бледная и дрожа, Ортруда подошла так близко, что ее колени прижались к животу Маргариты. Взяла правою рукою под затылок голову Маргариты и смотрела в ее лицо сверху вниз.

Бледное некрасивою, меловою бледностью лицо Маргариты исказилось выражением предсмертного ужаса. Ее отведенные за спину руки судорожно вздрагивали и вытягивались, и вся она словно застыла в своей отдающейся позе.

Ортруда опомнилась. Дага упала на ковер.

— Идите, — задыхающимся голосом сказала Ортруда, — идите скорее.

Маргарита поцеловала край ее платья и вышла торопливо. Радость возвращения к жизни охватила ее, и она бежала быстро по холодным плитам сумрачных зал.

Ортруда долго сидела перед письмами Танкреда. Казалось ей, что она ни о чем не думает. Опять взяла она эти красивые, ароматные, отравленные ядом измены листки. А это письмо как сюда попало?

Дорогой граф!

— Зачем же я его читаю?

Но вдруг смысл слов стал страшен ей. С холодным ужасом она перечитала эти строки:

Ваши мысли о том, как опасна слабость носителя верховной власти, я вполне понимаю. Но мы должны прежде всего иметь в виду благо государства. Если обстоятельства потребуют, я готов предоставить себя в распоряжение государства и сумею подавить в себе личные пристрастия.

И в конце письма:

Эти беглые, случайные строки сожгите.

Ортруда порывисто подошла к окну. Распахнула его. Сказала, и выражение глаз ее было безумно:

— Господин Меччио, вы правы. Мой Танкред — изменник!

Грусть тяготела над Ортрудою, неотступная, как все усиливающийся на далеком острове дым вулкана.

Мысль о любовницах Танкреда язвительно мучила Ортруду. Вот, значит, она была для Танкреда только одною из многих! На части мелкие, как сор, была разделена его любовь!

Ортруда, отдавшая ему всю свою гордую и страстную любовь, чувствовала себя жестоко обманутою. Пусть бы он сказал ей прямо, что разлюбил ее. Она бы поняла его. Было бы горько, но что ж! Над сердцем нет закона. Но обманывать, ласкать ее, теми же нежными и сладкими называть ее словами, как и тех, других! Какое гнусное притворство!

Он притворялся влюбленным в нее, потому что она — королева, потому что связь с нею дает ему высокое положение. Он притворялся влюбленным в нее, чтобы тем легче обмануть ее, и, лаская ее, лелеял мечты воцариться на ее престоле и окружал себя людьми, ненавидящими ее. Какая низость! Разбитая и даже обманутая лю-

бовь была бы только грустью или ненавистью. Но ее чувства были так мучительно сложны!

Как счастливы простые, глупые, некрасивые! Те, кого не стоит так хитро обманывать.

Гордость королевы и красавицы была оскорблена в Ортруде. Это порою приводило ее в неистовое бешенство. Так трудно было сдерживаться, притворяться! Хоть бы забыть!

Маргарита почти каждый день доставляла ей в анонимных письмах новые сведения о замыслах и делах Танкреда. И презрение к Танкреду возрастало в Ортруде.

Но она долго таила ото всех свое горе. Какая-то суровая гордость долго мешала ей говорить с Танкредом об его изменах. Но она чувствовала, что уже совсем не любит его. В сердце ее зрела ярая ненависть к нему. И, как ни таила свои чувства, не могла не быть к нему холодна. Как чужая.

Старалась быть одна. Молилась своему сладко воображенному ею Светозарному.

— Ты, Светозарный, что скажешь мне? Прислушиваюсь к тайному твоему голосу в моем сердце и знаю, — я обречена. Путь мой неизбежен. И ясен мне.

Чтобы остаться одною, Ортруда часто спускалась в свое подземелье.

Ах, эта жизнь! Только моя жизнь! Уйти бы к иным мирам! В иное бытие.

Искала в темных переходах новых выходов из своего подземелья. И нашла их, выходы в город. Выходила одна на улицы и на дороги и смотрела на людей, — какие они, как живут, что думают.

Вот по дороге шла толпа просто одетых, радостных женщин и девушек. Ортруда спрашивала их:

— Милые, куда вы?

Отвечали охотно:

— На митинг.

Ах, сказать бы:

— Меня с собою возьмите.

Дымок парохода вился над морем. Океанский пароход.

— Куда?

— В Нью-Йорк, с эмигрантами.

Ах, на нем бы уплыть далеко!

Одевшись скромно, черною вуалью закрывши лицо, шла на собрания рабочих. Слушала, что говорили их ораторы. Уходила неузнанная.

## Глава пятьдесят первая

Ортруда взошла на башню вечером и стояла там долго. И казалось ей вдруг, что жизнь ее — только страшный сон, начавшийся очаровательно. И что Ортруда только снится ей, сначала такая счастливая и теперь такая несчастная. И что она сама — счастливая, смелая девушка в далекой стороне, которая идет куда хочет, и делает что вздумает, и любит пламенно и счастливо. Как в ясновидении, предстала перед нею тихая река в том краю, о котором рассказывал часто ее Танкред, и над рекою Елисавета.

Вдруг ее мечтания были прерваны. Она услышала за собою звуки знакомых шагов. Оглянулась. Перед нею стоял Танкред. Ортруда вздрогнула. Ненависть синею молниею зажглась и задрожала а ее быстром взоре. Ненавистью, как болью от пчелиного жала, зажглось ее сердце. О, в какую ненависть претворяешься ты, жестокая любовь!

Ортруда опустила глаза. Руки ее дрожали. Танкред спросил:

— Что вы здесь делаете одна, Ортруда, так поздно? Я сейчас был у вас.

Ортруда холодно ответила:

— Я знала, что вы ко мне придете. Потому я и здесь.

— Но я не понимаю, однако, почему...

Танкред нежно и осторожно склонился к Ортруде и вкрадчиво-ласковым голосом говорил:

— Ортруда, милая, вы так стали холодны ко мне. Заслужила ли этого моя любовь?

Были противны Ортруде вкрадчиво-нежные звуки его голоса. Как не замечала она раньше, что этот голос лжив! Ортруда воскликнула:

— Вы, Танкред, меня любите! Вы мне это говорите опять! О Танкред, вы любите многих так же, как меня.

— Ортруда! — воскликнул Танкред. — Что вы говорите!

Он был смущен неожиданностью и прямотою обвинения. Ортруда сказала спокойно:

— Я хочу сказать вам, принц Танкред, что я вас ненавижу.

Так приятно было это сказать, что ей стало легко и почти весело. Точно жалящая змея упала, отвалилась от измученного сердца, и нежная приникла к нему прохлада.

— Ортруда, что вы говорите! — повторил растерявшийся Танкред.

Ортруда стремительно пошла вниз по лестнице, кинув Танкреду:

— Идите за мною, если вам угодно.

В круглом зале она подошла к большому столу у восточного окна. Она гневным движением выдвинула один из ящиков стола, — так быстро, что ушибла палец о перламутр и золото его врезок. Вынула из ящика пакет, перевязанный узкою голубою ленточкою, и гневно протянула его Танкреду.

— Что это? — спросил со смущением Танкред.

Ортруда говорила:

— Возьмите этот портрет с вашею нежною надписью, — спрячьте его, сожгите, отошлите по принадлежности, как хотите. И эти письма.

— Как они к вам попали?

Ортруда смеялась, точно хотела плакать. Брови ее хмурились, и глаза были темны.

— Как вы небрежны с такими вещами! О Танкред, неужели вы всегда были таким!

Танкред бормотал:

— Это — пустяки, которые не должны вас огорчать нисколько. Забавы в пьяной компании. Шутки, которым никто не придает значения.

Ортруда сказала:

— Не трудитесь оправдываться, принц Танкред. Я вас ненавижу и говорю это вам прямо и откровенно, как подобает женщине моего положения. Так же прямо, как сказала когда-то, что люблю вас. Это был день сладкого обмана, и в этом обмане я жила, как во сне, много лет. Теперь мой сон окончился, меня разбудили. Я смотрю на вас и говорю вам — я вас ненавижу. Вы недостойны иных чувств.

— Прежде вы думали иначе! — сказал Танкред.

— Принц Бургундский, — говорила презрительно Ортруда, — я боюсь, что вас подменили в тех полудиких странах, где вы так долго путешествовали и откуда вывезли ваши политические убеждения, ваши личные вкусы. В вас течет, конечно, не благородная тевтонская кровь, а кровь монгольская, рабская кровь, кровь обманщика и изменника!

Она смотрела на Танкреда глазами, горящими знойно, и дрожала от гнева и презрения.

— Вам было вверено мое самолюбие, — вы его не пощадили. А я, наивная девочка, принцесса гордого рода, рожденная королевою, я мечтала...

— Вы всегда мечтаете, — угрюмо сказал Танкред.

— Я мечтала долго о вас. Я надеялась, что ваш воинственный вид, ваша осанка тевтонского рыцаря знаменуют обитающий в вас геройский дух. Я мечтала, что вы будете моим господином, гордым, прекрасным, превосходящим во всем обыкновенных людей. И даже меня. Потому что ведь я — только слабая женщина. Мне по силам только взяться за королевский меч, за меч моих предков, — а нести его... Но вы не смогли быть моею силою, — вы захотели быть только высокопоставленным авантюристом.

— Ортруда! — воскликнул Танкред. — Вы несправедливы ко мне. Вы забываете...

— Ничего не забываю. Только случайно вы делали достойное дело.

— Вы говорите слова, которые не забываются, — сказал Танкред с видом оскорбленного достоинства. — Или вы не понимаете сами, что говорите. Я, конечно, виноват перед вами, но ваш гнев — выше меры моих прегрешений перед вами. Каких бы случайных женщин я ни це-

ловал, я любил только вас. Чего же вы теперь хотите? Какого искупления моей вины перед вами?

Медленно и спокойно отвечала ему Ортруда:

— Я хочу, чтобы вы меня освободили.

— Ортруда, вы хотите со мною развестись? — с удивлением спросил Танкред.

— Да! — решительно сказала Ортруда.

— Ортруда, взвесьте последствия, — говорил Танкред убеждающим голосом. — Ведь это — скандал на весь свет.

— А вы боитесь скандала? — презрительно спросила Ортруда.

— Я берегу вашу честь. И мою, — надменно ответил Танкред.

Он был бледен и зол.

— В нашем положении, — начал было он после краткого молчания.

Ортруда нетерпеливо прервала его:

— Да, в нашем положении есть и другой выход. Разводы бывали и бывают во многих династиях, и самых гордых. Но я знаю — вы цепко держитесь за ваше положение.

— Оно меня тяготит.

— И это знаю.

— Подумайте, Ортруда.

— Нет, теперь уже поздно передумывать. Я решила. Я сама начну это дело. Развод — или смерть.

— Вы хотите, чтобы я умер? Вам достаточно сказать одно слово.

— Я не скажу этого слова, принц Танкред, и вас прошу не говорить жалких слов. Прощайте.

Ортруда оставила его одного. Ушла на высокую башню, — склонясь над белым камнем парапета, всматриваться в широкие лазурные дали моря и небес и мечтать.

И мечтала опять, что ей только снится страдающая жестоко Ортруда. Мечтала о далеком, неярком, милом крае, где над тихою рекою стоит ее дом. Живет ее милый. Приветливы с нею друзья. Мечтала о том, что она в далеком краю счастливая Елисавета и что ей в долгом сновидении снится высокий, вначале радостный и потом скорбный путь королевы Ортруды.

Когда в близких к Ортруде кругах стало известно ее решение развестись с принцем Танкредом, то были пущены в ход все способы отвратить ее от этого намерения. С положением принца Танкреда было связано очень много разнообразных интересов.

Вдовствующая королева Клара вложила слишком много денег в кассу Общества африканской колонизации. Она любила свои деньги и не хотела их терять. Так как развод, неизбежно связанный с выездом Танкреда из государства Соединенных Островов, грозил этому предприятию, и без того рискованному, полным крахом, то Клара была очень взволнована намерением Ортруды. Она горячо убеждала Ортруду отказаться от этой мысли, молила ее, плакала перед нею.

Клерикальная партия теряла бы в Танкреде сильного друга и покровителя. Мирились с его еретическими мнениями, — их всегда можно было объяснить вывезенными с Востока сказками, которым сам Танкред не верит серьезно, и ценили весьма его автократические убеждения, полезные для церкви, которая считалась господствующею в государстве Соединенных Островов, — для католической церкви. Князья этой церкви любили видеть в народах земли стадо, которое надо пасти. Они заинтересовали этим вопросом в желательном для них смысле папу, и он прислал королеве Ортруде ласково-увещательное письмо.

Для Виктора Лорена и его партии это намерение королевы было неожиданностью. В первое время Лорена еще не сообразил, как следует к этому отнестись. Для кабинета не было оснований особенно дорожить Танкредом. Чрезмерность его любовных похождений, раздражавшая многих, и его долги уже давно начали беспокоить Виктора Лорена. Но все-таки надо было иметь время, чтобы подготовить будущее, осмотреться, найти второго мужа, приятного Ортруде и удобного для буржуазии. Вообще, надо было хотя бы затянуть дело, чтобы выиграть время. И Лорена отговаривал Ортруду. Говорил ей:

— Его высочество имеет большие связи в нашей стране. Решение вашего величества так неожиданно. Если ваше величество не измените этого решения, то, по крайней мере, необходимо подготовить общественное мнение. Необходимо выждать хоть некоторое время.

— Сколько времени? — резко спросила Ортруда.

— Хоть год. Или хоть полгода.

Ортруда засмеялась и ничего не сказала.

Буржуазия была скандализована толками о любовных увлечениях Танкреда. Возмущалась. Но было не очень серьезно это лицемерное возмущение. Перевешивало другое обстоятельство. Буржуа, сначала боявшийся войны, постепенно, под влиянием статей подкупленной прессы, начинал думать, что большой военный флот, колонии за морями и связанное с этим быстрое увеличение производства товаров и товарообмена будет для него весьма выгодно. Крушение планов Танкреда теперь уже вряд ли бы понравилось буржуазии. В то же время владельцы фабрик и заводов и многочисленные держатели акций были очень сильно заинтересованы в том, чтобы Танкред сохранил свое положение.

Вожаки парламентского буржуазного большинства были уже давно подкуплены акциями Общества африканской колонизации, и потому в парламенте преобладало настроение, сочувственное принцу Танкреду.

Сам Танкред не уставал возобновлять попытки примириться с Ортрудою. Все эти попытки только усиливали ее презрение к нему. Но открывшаяся перед нею пустота жизни вдруг ужаснула ее, и она не спешила приводить в исполнение свое намерение. Ждала чего-то, замкнув свои дни в очарованный круг мечтаний.

Непрочность положения принца Танкреда побуждала его друзей, аристократов и аграриев, подсчитывать шансы на свержение с престола королевы Ортруды. Заговорщики думали воспользоваться нарастающим возбуждением рабочих, провоцировать вооруженное восстание раньше, чем рабочий пролетариат успеет достаточно сорганизоваться, поставить во главе войск с неограниченными полномочиями принца Танкреда, разгромить пролетариат и окружить таким образом Танкреда лживым ореолом спасителя отечества от дерзких покушений врагов порядка, посягающих на священные права частной собственности.

Давно уже ткавшаяся паутина шпионства и провокации опутала страну Островов.

Настали неспокойные времена. Речи ораторов на публичных собраниях становились все пламеннее. Словно дым вулкана горячил сердца и туманил головы.

## Глава пятьдесят вторая

В охотничьем замке банкира Лилиенфельда после позднего ужина разговаривали принц Танкред, Лорена и герцог Кабрера. Танкред говорил:

— Ничего нет на свете милее женщин, но нет и ничего опаснее. Безумная Маргарита! Она наделала мне хлопот.

— С Божиею помощью, — сказал Кабрера, — все обойдется к лучшему, и ревность графини Камаи только ускорит ход исторических событий.

Лицо у Танкреда оставалось мрачным. Он говорил:

— У русских простых людей флирт начинается ударами ладонью по спине и кончается часто убийством. А, это хорошо! Право, смерть хорошо все на свете устраивает. Убивший освобождается от обузы, убитый — от всего зараз.

— И от ревности, — тихо вставил Кабрера.

— Обе стороны в выигрыше. Хорошо!

— А вот что не очень хорошо, — сказал Лорена, — революция почти неизбежна.

Но лицо первого министра оставалось совершенно спокойным.

— Революция? — угрюмо говорил Танкред. — Ну что же, чем скорее, тем лучше. Мы теперь сильнее, чем в старину Бурбоны: у тех не было пулеметов.

— Да, — сказал Лорена, — народ еще не организован. Восстание потонет в потоках крови, — и затем для нашего поколения этого урока будет совершенно довольно. Второй раз не захотят.

— Нет, — со свирепым выражением на прекрасном, как у гневного демона, лице сказал Танкред, — надо усмирить их так, чтобы и внуки их это помнили. Знаете, я опять на днях видел ту цыганку. Она

сказала мне: иди, иди, Танкред, куда задумал, — дело кровью будет прочно.

— Чье дело, Танкред? — спросил кто-то чужой, беззвучным, но внятным Танкреду голосом.

Танкред вздрогнул, оглянулся. Никого не было.

— Я стал очень нервен, — сказал он. — Этот дым из вулкана нехорошо на всех действует.

В этот же день и в этот же час Афра была у Филиппа Меччио и слушала его беседу с друзьями.

— Итак, — спросила она, — вы, Меччио, считаете, что народ готов к восстанию?

— Не знаю, — сказал Меччио, — к чему готов народ. События уже не подчиняются нашей воле. Восстание неизбежно, и мы попытаемся победить.

Старый друг и старый противник Меччио Фернандо Баретта сказал:

— Вы стоите на ложной дороге. Вы хотите овладеть властью и воспользоваться готовыми организациями общественного порядка и властвования. Порядок, никуда не годный, вы хотите заменить порядком значительно получше, но той же, по существу, породы. Слабый хочет сытости, сильный свободы и безвластия. Вы хотите передать всю силу общественной организации в руки слабых, а сильные будут положены вами под пресс. Вы готовите человечеству плохую будущность.

— А вы чего хотите? — спросила Афра.

— По-моему, — отвечал Баретта, — овладевать властью не стоит. Как будущая мораль будет моралью без долга и без санкции, так и будущее общество организуется без договоров, без обязательств.

— Милый друг, — сказал Меччио, — мы уже не имеем времени для того, чтобы вдаваться в такие соображения об очень отдаленном будущем. Мы должны сделать попытку овладеть государственными организациями и орудиями производства, — и мы эту попытку сделаем.

И в то же время Ортруда в своем покое говорила Карлу Реймерсу:

— Расскажите мне что-нибудь о себе, дорогой господин Реймерс.

Слушала рассеянно. И опять спросила:

— Чем же вы живете? Мечты ваши о чем? о ком?

Карл Реймерс что-то говорил влюбленное и страстное. Ортруда почти не слушала. Только музыкою был его голос. Почти не слушая, она говорила:

— Моя мечта, создающая миры и бессильная создать счастие в мире!

— Мечта сильна только надеждами, — сказал Реймерс.

— Я думаю иногда, — говорила Ортруда, — что мы пришли из неведомого мира, чтобы воссоздать его на земле из материалов нашего земного переживания. Но тот неведомый мир так велик! В нем бесконечность возможностей. Что же наша одна бедная жизнь! Человек на земле живет как зверь. Он знает только свои интересы, и не знает истинной любви, и трепещет перед всякою бурею. Все это очень грустно, господин Реймерс.

Реймерс сказал:

— Человек идет трудным путем от зверя к совершенствам и зверя одолевает в себе.

— Так мы будем ангелоподобны. Возведем и самый грех в святость.

— А если этот грех — любовь?

Она молчала.

Где же ты, сладкая любовь?

Бедная страстность, сжигающая тело! Или это и есть любовь? И другой не надо?

Вдруг, как бы решившись на что-то, Ортруда спросила:

— Дорогой господин Реймерс, вы знаете Сабину Фанелли?

— Я встречался с нею, ваше величество, — отвечал Реймерс.

— И ваше впечатление?

— Как художник она очень талантлива. Как человек — очаровательна. Как женщина — прелестна. Она из мелкой буржуазии, но весь склад ее мысли и чувства как у аристократки.

Ортруда сказала с улыбкою:

— Вы хвалите ее так систематично, что, видно, она не в вашем вкусе.

— Систематичность, ваше величество, от характера моей нации.

— Я дам вам к ней поручение. Повидайтесь с госпожою Фанелли и скажите ей, что я хочу дать ей заказ. Пригласите ее ко мне как можно скорее.

Настал назначенный час, — и Сабина Фанелли стояла перед королевою Ортрудою. Внимательно смотрела королева Ортруда на эту художницу, которая также была любовницею принца Танкреда.

Сабина Фанелли была пышнотелая, волоокая красавица, с неподвижною манерою держать себя. У нее был низкий, красивый лоб и классический профиль, и вся она была как античная статуя. Платье на Сабине Фанелли было белое, того народного покроя, который был принят при дворе, а от двора распространился и на общество. Ноги, едва видные из-под платья, были без сандалий.

Сабина Фанелли не понравилась королеве Ортруде. Но все-таки любезная Ортруда сказала несколько комплиментов ее искусству.

Королева Ортруда говорила:

— Я хочу просить вас, госпожа Фанелли, сделать для меня скульптурную группу.

— Я буду очень рада, — сказала Сабина Фанелли.

Королева Ортруда чувствовала, что под наружным спокойствием Сабины Фанелли таится волнение, и все ярче ненавидела и презирала эту любовницу ее Танкреда.

— В группе, — говорила королева Ортруда, — надо изобразить меня и еще одну молодую девушку. Мысль этой группы такая: я была погружена в сон счастливого неведения. Вы, госпожа Фанелли, конечно, знаете, какие счастливые сны навеваются блаженством неведения. Какое счастие! И как страшно после этого сна пробуждение! Вы, госпожа Фанелли, конечно, знаете, что глаза спящих в неведении рано или поздно раскроются. И я просыпаюсь в ужасе. Надо мною прекрасная, юная, невинная. Но ее лицо для меня страшно. Почему — вы не знаете?

Сабина Фанелли говорила что-то. Королева Ортруда слушала ее рассеянно. Спросила:

— Вы можете начать завтра?

— Да, ваше величество, — ответила Сабина Фанелли.

Королева Ортруда пристально и строго посмотрела на Сабину Фанелли и сказала:

— Но, госпожа Фанелли, помните, что принц Танкред не должен знать об этом.

Сабина Фанелли, вдруг сильно покрасневшая, сказала:

— Я не встречаюсь с его высочеством.

Королева Ортруда презрительно улыбнулась. Эта художница, кажется, вздумала обидеться! Тем хуже для нее! Ледяным тоном молвила королева Ортруда:

— Я хотела сказать, — и потому прошу вас совсем никому об этом не говорить, госпожа Фанелли.

Опять ясность томного дня, медленно возрастая, томила королеву Ортруду. В одном из ее покоев широкое открытое окно давало много света. На потолке вился странный узор. Цветы, умирая, томно благоухали в вазах. Королева Ортруда полулежала на низком, широком ложе. Перед нею стояла графиня Имогена Мелладо, тихая, спокойная. На ее нежных ногах были заметны легкие полоски — следы от ремней только что снятых сандалий.

Королева Ортруда улыбалась, глядя на Имогену. Такая ласковая, безмятежная была улыбка. А в душе королевы Ортруды бешено бились гнев, тоска, боязнь. Но недаром Ортруда так тщательно была воспитана для высокой королевской доли, — наука светского любезного притворства была усвоена королевою Ортрудою в совершенстве. И так приветлива и ласкова казалась Ортрудина улыбка, что Имогена, стоя перед королевою, радостно улыбалась.

Долго молчала королева Ортруда, — медлила начать разговор. Она думала досадливо: «Чем эта девочка могла пленить Танкреда? Тонкая, очень смуглая, маленькая, большеротая. Глаза хороши. Да что! красива!»

Королева Ортруда легла поудобнее и протянула ноги. Ласковым движением стройной руки она молча показала Имогене скамеечку у своих ног. Имогена села. Королева Ортруда ласково привлекла Имогену к себе и тихо похлопывала по щеке. Сказала нежно:

— Милая Имогена, вы такая молодая и прекрасная, и приятно смотреть на вас. Кажется, что вы счастливы и что вы достойны счастия. Должно быть, вы не откажетесь сделать то, о чем я вас попрошу.

Имогена робко и радостно сказала:

— О государыня, все, что прикажете, и все, что в моих силах.

Внимательно всматриваясь в нее, спросила королева Ортруда:

— Все сделаете?

— Да, ваше величество, все, — сказала Имогена.

Улыбалась королева Ортруда слегка насмешливо и говорила неторопливо и спокойно:

— Неосторожно дано вами обещание, Имогена. Но если вам не захочется его исполнить, я не стану на этом настаивать.

Имогена сказала:

— Этого и не надо, государыня. Послушание государям — наша семейная добродетель.

Королева Ортруда сказала, с улыбкою глядя на смущенную Имогену:

— О, это мне хорошо известно. Вы знаете, конечно, Имогена, что я люблю искусство?

— Да, — ответила Имогена, — знаю, государыня.

Королева Ортруда медленно говорила:

— Я заказала Сабине Фанелли скульптурную группу из мрамора. Группа должна состоять из двух нагих женских фигур. Моделью для одной из этих фигур буду я. Для другой фигуры мне нужна наилучшая модель — прекрасная девушка, самая красивая и нежная, какую только может создать прихотливое воображение. Прекрасная, одним словом, как вы, милая Имогена.

Имогена стыдливо краснела. Королева Ортруда спросила:

— Вы согласитесь постоять перед Сабиною Фанелли несколько раз вместе со мною?

— Охотно, государыня, — легко краснея, сказала Имогена.

Королева Ортруда встала. Поднялась и Имогена.

— Идите за мною, — сказала королева Ортруда.

Обстановка мастерской почему-то смутила Имогену. Это была большая красивая комната с верхним светом, очень высокая и очень светлая. На стенах были развешаны этюды. Везде видны были начатые картины. Непривычный запах, непривычная мебель — все было ново для Имогены, и ее неловкая смущенность забавила королеву Ортруду.

Сабина Фанелли была уже там. Королева Ортруда сказала:

— Вот я вам привела другую, госпожа Сабина Фанелли. Графиня Имогена Мелладо.

Со странным выражением на лице смотрела королева Ортруда, как две возлюбленные принца Танкреда любезно здороваются одна с другою. Знают ли они обе, что они соперницы? Королева Ортруда сказала, обращаясь к художнице:

— Я хотела подарить вашу работу принцу Танкреду. А теперь не знаю. Может быть, мне захочется оставить ее у себя.

Сабина Фанелли смущенно сказала:

— Конечно, его высочество очень ценил бы этот подарок.

— Бесценный, благодаря вашему искусству, — возразила королева Ортруда. — Можно и начинать? — спросила она.

— Да, государыня, — ответила Сабина Фанелли.

Королева Ортруда сбросила хитон. Осталась нагая. Имогена робко спросила:

— Я тоже должна буду раздеться?

И покраснела ярко. Ее смутила мысль, что она будет стоять нагая вместе с женою того человека, которого она любила. Королева Ортруда холодно сказала:

— Да, милая Имогена, разденьтесь. Сюда никто не войдет. Никто вас не увидит, кроме этого высокого неба.

Пока Имогена с помощью Сабины Фанелли снимала свои одежды, королева Ортруда легла на приготовленном ложе. Томным сладострастием дышало ее тело. Сабина Фанелли положила Имогену

рядом с королевою Ортрудою. Имогена приподнималась на локте и смотрела в лицо только что проснувшейся Ортруды.

Это была странная, жестокая игра взглядов. Королева Ортруда видела, что Имогена испугана. И вдруг в лице Имогены произошла странная и страшная перемена. Ее фиалково-голубые глаза зажглись демонскою злобою, и рот искривился и покрылся пеною. Вопль угрозы и злобы вырвался из груди Имогены. Волосы ее стали косматы, как у молодой ведьмы, и она тяжело навалилась на грудь королевы Ортруды.

## Глава пятьдесят третья

Все чаще и чаще дымился вулкан на острове Драгонере, все гуще и гуще становились дымные, фиолетово-серые над его тупо раздвоенною, зеленовато-бурою вершиною тучи. Все дальше разносилось тяжелое дыхание вулкана над синими волнами широкого моря, и уже легким серовато-золотистым пеплом все чаще плыли над веселою, шумно-яркою Пальмою его зловещие вздохи, и все чаще несли они обещание несчастий и смерти многих, обещание воплей и слез. С многоуханными ароматами пальмских широких садов все чаще смешивались дымно-горькие запахи: они были странно похожи на слащаво-горькие запахи лесного пожара в равнинах далекой России.

Жители Соединенных Островов сначала были очень обеспокоены этими зловещими признаками. Потом прошло несколько месяцев, когда на Островах мало думали о вулкане. Случилось это отчасти потому, что к медленному пробуждению вулкана все привыкли, — но более потому, что внимание островитян было в то время слишком отвлечено событиями, которые быстро созревали под мглистым дымом жестокого, коварного вулкана.

Дела людские в эти дни перед стихийною бедою были еще безумнее и злее, чем всегда. Над всею страною нависли, как тучи грозовые, вражда и злость. Они заражали помыслы и желания людей и бедную волю их направляли к достижениям жестоким. Это зловещее влияние

вулкана сказывалось неотразимо на всем королевстве Соединенных Островов. Некий злобный демон рассыпался мелким бесом по всей той стране.

Самая природа здесь, казалось, изменилась. Резкие краски ее поблекли под легкою пепельною дымкою, раскинутою вулканом по всей стране, но ароматы и все запахи усилились, и цветы в садах и на полях благоухали с бешеною страстностью.

Жители Соединенных Островов стали непомерно возбужденными и нервными. Уличная толпа все чаще казалась сборищем пьяных, хотя пили в те дни почему-то меньше, чем прежде. Всякий спор легко переходил в ссору, а ссоры часто оканчивались убийствами.

Мужья стали чрезмерно ревнивы, строгость родителей возрастала непомерно, и семейная жизнь у многих омрачалась безумными жестокостями.

Во всей стране развелось множество всякого рода необыкновенных людей: ясновидящих, блаженных, теософствующих и наставляющих. Появилось одновременно много поэтов, из которых большая часть была объявлена гениальными. Только немногие скептики говорили, что через пять лет будут забыты все эти новоявленные гении. Печатные же отзывы об их поэмах и романах пестрели такими пышными выражениями:

«Никогда еще мир не видел...»

«Во всей Европе не найдется...»

«Начало двадцатого столетия будет названо эпохою (имярек)».

Газеты завели отдел «самокритики», — и отзывы этих поэтов о себе самих были еще великолепнее, чем похвалы критиков профессиональных. Один поэт назвал себя «юным богом», и что Аполлон и Дионис были только его предтечи. Третий превзошел их обоих заявлением, что он — «сверх-я». Четвертый, самый ловкий, согласившись со всеми, расхвалив их всех и еще некоторых других выше семи небес, сказал, что все эти определения очень остроумны, но что, серьезно говоря, это он является главою новой литературной школы.

Польщенные, но и смущенные собратья его согласились с ним, но в душе с этим не могли примириться. Однажды общим скопом они возве-

ли его будто бы для интимного, но торжественного увенчания лаврами на самую высокую скалу над морем и оттуда низвергли его в шумящие, опененные волны. Разбиваясь о ребра острых камней, цепляясь за кусты золотыми кудрями, низвергаемый поэт вопил неистовым голосом:

— Нет, весь я не умру. Позор, позор завистникам!

Правду о смерти своего собрата поэты решили было держать в тайне, но скоро проболтались. Их судили, и суд похож был на торжество: зал суда пестрел дамскими нарядами. Оправдали всех, и дамы осыпали оправданных цветами.

Возникали многие странные, фанатические секты. Их догмы и ритуалы были иногда так необычайны, что сатанисты и люцифарианцы перед этими новыми сектантами чувствовали себя почти верными чадами вселенской церкви.

Женщины, особенно начинающие увядать, — усерднее обычного посещали храмы. В черных, грубых власяницах, надетых на голое тело, они с воплями и с рыданиями распростирались на холодных плитах церковного пола. В экстазе самообвинения, разрывая на себе одежду, они настойчиво требовали для себя таких жестоких бичеваний и каялись в таких чудовищных прегрешениях, что сладострастные патеры порою умирали от разрыва сердца на порогах своих исповедален. Иные стыдливые дамы, чтобы без помехи участвовать в этих неистовствах, закрывали свои лица черными кружевными масками.

На улицах городов и сел все чаще встречались шумные, нестройные процессии кающихся, мужчин и женщин. Полуобнаженные, окровавленные, они жестоко бичевали самих себя и друг друга. И здесь у иных стыдливых женщин лица были укрыты масками, но многие считали это грехом и ни своих лиц, ни тел не закрывали.

Вопли и движения этих кающихся были неистовы и порою даже соблазнительны. Но полиция не всегда решалась разгонять или забирать их: опьяненные жестокими самобичеваниями, фанатики готовы были вступить в кровавую драку со всяким, кто помешал бы их вакханалии. Да и боялись того, как бы в числе взятых женщин не оказа-

лись дамы очень знатные или даже одна из королев. Впрочем, многие в те безумные дни стяжали себе славу пострадавших за веру.

Многие сходили с ума. Непомерно увеличилось число преступлений и самоубийств. Молодые люди стали необузданно сладострастны.

С роковою неотвратимостью приближались грозные, смутные дни революции. Все шумнее и многолюднее становились народные собрания, все пламеннее звучали на них речи демагогов, и все более непримиримые предлагались и принимались на них постановления. Уже буйные сборища рабочих нередко вступали в столкновения с полициею и с войсками. Бешеные демоны, летящие в тонком дыму вулкана, багряня зори, золотою желчью обливая полдневные выси, ярили кровь мужей и жен и безумили юных девушек и мальчишек. Безумные были дни и кошмарные ночи. И уже для всех в той стране стала ясною неизбежность вооруженного столкновения.

Лукавые политики в министерстве Виктора Лорена давно уже учитывали шансы восстания. И Виктор Лорена шел спокойно навстречу готовящимся событиям. Он был уверен в победе правительственных войск над вооруженными рабочими, — и потому провоцировал рабочих к мятежу, чтобы не дать времени усилиться их организациям. Его тайные агенты втирались во все рабочие организации и громче всех проповедовали необходимость немедленного восстания.

Свои коварные замыслы Виктор Лорена таил от королевы Ортруды. Но о многом она догадывалась сама. Коварство властолюбивого министра было ненавистно королеве Ортруде. Но что она могла сделать? Бессилие власти ощущать, говорить «да» и «нет» готовым решениям, — только.

Виктор Лорена втайне питал широкие замыслы. Пусть бы революция и удалась. Виктор Лорена был уверен, что она только заменит монархию республикою; в республике же, — думал он, — будет господствовать буржуазия, и она не отвернется и тогда от своего испытанного вождя. И уже Виктор Лорена все чаще мечтал о посте президента республики.

В прежние годы похождения принца Танкреда казались Виктору Лорена неудобными для правительства. Теперь же он думал, что в этом отношении чем хуже, тем лучше. Пусть лицемерные буржуа и простодушные пролетарии возмущаются сколько хотят, — даже и крушение древней династии застанет Виктора Лорена готовым ко всему.

В то же время около принца Танкреда все теснее сплачивалась тайная партия людей, замышлявших при помощи армии и флота свергнуть с престола королеву Ортруду, провозгласить Танкреда королем и насильственно изменить конституцию в пользу магнатов и аграриев. В этой партии было много военных честолюбцев и шовинистов. Все они мечтали о войнах, о завоеваниях, о славе, богатстве и власти. Было здесь много дам высокого общества, клерикальных взглядов. Сама королева Клара думала, что она будет влиятельнее, если Ортруда будет не царствующею королевою, а только королевою при муже, как и она.

Маркиза Элеонора Аринас подстрекала принца Танкреда к решительным действиям. Но Танкред был осторожен. Он искусно вдохновлял провокацию, окружил королеву Ортруду сетью шпионства и торопил события, а сам держался так, чтобы на него не падало подозрение.

Графа Роберта Камаи сначала приводило в ярость охлаждение принца Танкреда к Маргарите. Граф Камаи боялся, что положение его стало непрочным. Но скоро он успокоился. Он знал так много о принце Танкреде, что Танкред принужден был по-прежнему покровительствовать ему. На всякий случай граф Камаи, изменник и разбойник в душе, человек глубоко бесчестный, приберегал коекакие документы, чтобы в подходящий момент, если это окажется выгодно, предать принца Танкреда. Одним из таких документов было письмо к нему Танкреда, то самое, которое хитрая Маргарита сумела украсть и вложила в любовные письма, переданные ею королеве Ортруде.

Может быть, Виктор Лорена был не совсем прав в своей уверенности. Организация власти и силы была далеко не так уж совершен-

на, как первому министру казалось. В последние дни обнаружилось, например, несколько случаев покражи оружия и снарядов из казенного арсенала. Несомненно было, что кто-то из чинов арсенала был подкуплен организаторами восстания. Представители парламентской оппозиции уже не раз указывали на взяточничество и подкупность администрации. И в печати, и в парламенте говорили, что армия вооружена плохо, что интенданты и поставщики грабят казну, что броненосцы не годятся для боя, что военные секреты не оберегаются достаточно строго. Но министерство имело прочное большинство в парламенте, а ловкость Виктора Лорена помогала ему опровергать довольно убедительно самые неопровержимые сообщения.

И шансы на успех восстания были также не очень малы. Правда, широкие массы рабочих еще недостаточно были сплочены; правда, крестьяне и рабочие не были объединены и представляли два различные класса с разными интересами и устремлениями и с неодинаковою поэтому идеологиею. Но все-таки для организации восстания было сделано многое, и все сделано было умно и систематично.

Крупную роль в организации играли женщины, учительницы, телефонистки. В организации были люди разных общественных положений, примкнувшие к движению по самым разнообразным побуждениям. Были тут люди науки, вовлеченные в движение теоретическим интересом. Были фантазеры и изобретатели новых социальных систем. Были светские люди, из любопытства занимавшиеся политикою; они смотрели на революцию, как на вид спорта, опасного, но тем более захватывающего. Были представители городской интеллигенции, побуждаемые добротою, жалостью к эксплуатируемым, бескорыстием, чувством справедливости, любовью к ближнему и другими мотивами столь же идеалистической природы. Были сентиментальные барышни, сочувствующие бедным рабочим, потому что это так трогательно. Были пришедшие сюда потому, что в их кругу это было в моде. Были религиозные и мистически настроенные люди, жаждавшие наступления царства Божия на земле. Были возненавидевшие европейскую цивилизацию и жаждавшие опрощения. Были люди с прекрасными дипломами, но без должностей, инженеры, химики,

агрономы, врачи и вообще всякого рода неудачники. Были обманувшиеся честолюбцы, не нашедшие в обществе того места, которое бы соответствовало их притязаниям, и рассчитывающие занять выдающееся положение. Были озлобленные и обуреваемые жаждою мести. И много было людей, объединенных с рабочими общностью интересов; только они и были действительно полезны для движения.

Манифест, перед восстанием выпущенный центральным комитетом союза революционных организаций, составлен был в ясных и простых выражениях и содержал в себе небольшое число основных требований. Революционеры требовали созыва конвента с целью настаивать на республике и на социализации земель и капиталов.

Личная популярность Филиппа Меччио, поставленного во главе революционного союза, была также немалою порукою за успех восстания. У Филиппа Меччио было много приверженцев и поклонниц в разных слоях общества.

## Глава пятьдесят четвертая

Жизнь королевы Ортруды была в эти дни тяжко закутана дымным облаком. Ее душа томительно колебалась на страшных качелях противочувствий: то она стихийно и злобно радовалась наступающей грозе, — то, земная, дневная, все же еще человеческая, робко ужасалась ее приближению, ее роковым предвещательным голосам. Как и другие женщины, королева Ортруда порою облекалась власяницею и, укрыв лицо маскою, устремлялась в кровавое безумие улиц — вопить и метаться, предавая тело мукам.

Все чаще приникал к королеве Ортруде безумно-яростный бес жестокого сладострастия и медлительно пытал ее горькими истомами. Вместе со всеми юными и сильными в ее стране жаждала бедная, оставленная своим Танкредом, — своею высокою мечтою о герое-муже, — королева Ортруда любострастных утешений. Уже влюбленная давно в красоту людскую, Ортруда вдруг ощутила в себе

душу гетеры, душу изменчивую, страстную и равнодушную. Но темные кошмары томили ее, и все чаще уходила Ортруда в подземные чертоги Араминты, в лазурный грот, где тихие, милые дремлют воды. В подземные чертоги убегала Ортруда все чаще, потому что кошмары ее были рождены багровыми сквозь дым лучами очей Дракона, кровавые, жестокие кошмары.

Мысли и мечтания бедной Ортруды все чаще и чаще обращались к влюбленному в нее Карлу Реймерсу. Все милее день ото дня становился Ортруде образ белокурого, тихого германца с мечтательными ласками задумчивых глаз. В нетерпеливом желании объятий и поцелуев все чаще и чаще казалось ей, что она полюбила Карла Реймерса.

Полюбила ли? Разве не одна в жизни любовь? Разве можно любить второго? Разве не вечен в сердце образ Первого Избранника? Полюбить другого — не значит ли открыть свое сердце для всех возможностей и неожиданностей? Не значит ли это — стать блудницею и выходить на распутия, звонко клича пылких юношей и любострастных старцев?

Но что же из того? Что же так устрашает бедное сердце тоскующей Ортруды? Разве быть гетерою — не сладчайший во все времена удел женщины? Разве этим не побеждает она скудной ограниченности бедного человеческого бытия в пределах этой ничтожной жизни?

Так многими вопросами испытывала свое сердце и свою судьбу бедная королева Ортруда. Она не могла найти на свои вопросы верного ответа и томилась. Иногда становилось ей страшно чувствовать, как возрастает ее влечение к Карлу Реймерсу. Тогда она пыталась бороться с этим влечением.

Но как же ей с ним бороться? Бедное сердце женщины, как же ты можешь победить свою темную, коварную Очаровательницу, неизбежную свою Подругу и Госпожу?

Иногда королева Ортруда старалась не видеть Карла Реймерса или хоть реже встречаться с ним. Иногда же, не уклоняясь от этих встреч, она пыталась победить свою и его любовь резкостями, отпугнуть ее злыми взглядами и жесткими словами.

Как и во всяком ином тесно очерченном кругу, при дворе быстро замечают всякие мелочи. И вот скоро там стали догадываться, стали предполагать большее, чем было на самом деле. Осторожная, злая сплетня, обвитая клеветою, уже ползла, шипя, по темным переходам старого королевского замка.

Когда намеками сказали об этом и принцу Танкреду, он был рад. В измене королевы Ортруды думал он найти оправдание для своих измен и верный щит от людского злословия.

Краем огромного, тихого сада при королевском замке шли, разговаривая, Афра Монигетти и Карл Реймерс. Широкая, мглисто-золотая даль морская открывалась перед ними. На белой мраморной скамье над обрывом они сели, — и Афра сказала вдруг, без связи с тем незначительным, что было сейчас содержанием их дружеской беседы.

— Послушайте, Реймерс, — не ходите к королеве Ортруде.

Карл Реймерс посмотрел на Афру недоверчиво и спросил:

— Вы это говорите мне по поручению ее величества?

— Нет, — отвечала Афра. — Я сама вижу, что Ортруда страдает. Не ходите к ней. Не волнуйте ее вашею близостью, вашими словами, вашими взглядами. Ваши глаза слишком сини и обманчиво-тихи, ваши речи, такие глубокие и нежные, полны сладкого яда.

Карл Реймерс улыбнулся невесело и сказал:

— Милая Афра, у вас мужская душа.

Афра улыбнулась. Она не удивилась ничуть неожиданности этого ответа. Сказала спокойно:

— Да, господин Реймерс, вы, кажется, правы. Я бы хотела быть воином. Или, еще лучше, оратором. Зажигать сердца мужчин и очаровывать женщин.

Карл Реймерс насмешливо улыбался. Он отвечал досадливо:

— Никто не хочет быть тем, чем создала его природа. И королева Ортруда не довольствуется высокою долею царствовать над этою прекрасною страною. Она ищет утешений, доступных и множеству других людей. Во всем ищет она страстной, телесной любви и красоты. Вот она обладает талантом живописца. Она влечется к милым

соблазнам красоты нагих тел и так очаровательно их изображает. Как же ей жить без любви, без страсти! Жизнь без любви — для нее смерть.

Афра внимательно выслушала Карла Реймерса. Помолчала немного. Вздохнула легко и сказала:

— Да, все это верно. Но вы, дорогой господин Реймерс, все-таки оставьте Ортруду. Вы не можете любить ее так, как она вас полюбит. Для вас эта любовь — только краткий эпизод в вашей жизни. Для нее эта игра может окончиться трагическою развязкою. Душа у нее стихийная, как это море, которое она так любит. Она не в мать.

Карл Реймерс спросил недоверчиво:

— Вы думаете?

И, словно сам себе отвечая на этот вопрос, сказал решительно:

— Страстные обе, они — одной породы.

— Нет, Ортруда не в мать, — повторила Афра. — У королевы Клары страстность счастливо сочетается с холодным темпераментом делового человека. Это спасает королеву Клару от трагедии любви. Королева Клара простодушно думает, что ее связи то с одним, то с другим — только грех, легкий и приятный. Согрешит она, потом покается перед духовником, перенесет эпитимию, легкую, как и самый грех, получит отпущение, — и опять готова грешить. Ей легко.

Карл Реймерс выслушал эти слова с легкою улыбкою и сказал:

— Да, конечно, ей-то легко. Все грехи королевы Клары перейдут на королеву Ортруду. Ортруда за них ответит перед Богом и перед людьми.

Афра спросила с удивлением:

— Почему Ортруда?

Карл Реймерс с тихою, недоброю улыбкою отвечал:

— По жестокому закону наследования. Кто принимает наследство, тот берет на себя и долги. Да и так мы все часто берем на себя чужие грехи, чужую вину, — вернее, чужую казнь.

Афра тихо сказала:

— Это жестоко, если это так.

Карл Реймерс возразил:

— Но это справедливо. Впрочем, утешьтесь, милая Афра. Мои отношения к королеве Ортруде имеют совершенно платонический характер. Я очень надеюсь, что она все еще любит принца Танкреда. Я люблю ее больше, чем свое счастие, и за ее спокойствие я готов пожертвовать всем.

Однажды утром королева Ортруда пригласила к себе Карла Реймерса. Она занялась с ним своею деловою корреспонденциею и денежными делами. Старалась придать своему голосу деловую сухость. Но лицо королевы Ортруды багряно рдело, и тусклые огни таились в черной глубине ее глаз.

Внезапно королева Ортруда сказала:

— Господин Реймерс, мне очень не нравится...

Остановилась, вздохнула глубоко. Карл Реймерс почтительно ждал.

— Ваша самоуверенность, — докончила королева Ортруда. — Вы не хотите или не можете скрывать то, что должно было бы навсегда остаться только вашею тайною. Язык ваших взоров, слишком красноречивых, делает меня участницею того, в чем не должно быть моей доли. Я не хочу этого, и долг мой — запретить вам. Вы не должны лелеять в своей душе мечты, которым не суждено осуществиться.

Карл Реймерс выслушал королеву Ортруду, покорно склонив голову, и тихо сказал:

— Простите, государыня, дерзость моих благоговейных мечтаний. Я ничего не жду, ни на что не надеюсь. Услышать изредка хоть только шелест вашего платья — и то было бы для меня величайшим счастием, о каком я только мог бы мечтать.

Королева Ортруда слушала Карла Реймерса, и странное смущение отражалось на ее лице. Она сказала:

— Я с удивлением вижу, как я слаба и нерешительна. Вы говорите мне то, чего вы не должны были говорить, — а я! Я спокойно слушаю то, чего не должна была слышать, и не нахожу в себе сил остановить вас. Как это странно! Надо было бы давно кончить это. Нам с вами давно следовало расстаться.

Карл Реймерс сказал еще тише:

— Не гоните меня, государыня.

Королева Ортруда, словно прислушиваясь к каким-то голосам, которые звучали в ней, быстро говорила:

— Но я не могу вас отпустить, Карл Реймерс. Я люблю вас. Люблю.

Тихим стоном вырвались эти слова. Королева Ортруда порывисто встала и поспешно вышла. В смущении и в восторге смотрел за нею Карл Реймерс.

В сладостный час внезапного смятения сказала королева Ортруда Карлу Реймерсу, что любит его. И сама о себе думала Ортруда, что полюбила Карла Реймерса. Но не отдавалась ему.

Ортруда знала, что не отдается ему только теперь, до того времени, когда уж ей будет все равно. Но и не отдаваясь Карлу Реймерсу, королева Ортруда вела с ним долгий, странный поединок. Отравленная горьким дымом вулкана, вся распаленная сдержанною чувственностью, Ортруда играла с Карлом Реймерсом опасные игры, и были эти игры подобны зыбким пляскам на краю зияющих бездн.

Иногда вдруг, среди делового доклада, королева Ортруда порывисто вскакивала со своего кресла, подходила к Карлу Реймерсу, обнимала его нежно и целовала его, шепча:

— Милый, милый, как я люблю тебя! Никого еще я так не любила.

Карл Реймерс целовал побледневшее лицо с полузакрытыми глазами, ее трепетные руки, обнимал ее, — и вдруг она освобождалась из его объятий, отходила быстро к своему месту за столом, и уже лицо ее опять было холодно, и глаза ее были сухи. Муки ее страстных поцелуев еще жгли Карла Реймерса, и, как сквозь дымный сон, слышал он ее равнодушно-звонкий голос:

— Будьте любезны продолжать, господин Реймерс.

Муками вожделения томила его Ортруда, и казалось, что она мстит кому-то за что-то и не знает, как вернее и лучше отомстить.

Иногда ночью королева Ортруда призывала Карла Реймерса и вела его в сад. Быстро мелькали из-под складок черного хитона ее смутно белеющие на желтом песке дорожек ноги, и смутно белели ее плечи,

и ее стройные руки двигались беспокойно, словно лунный свет сообщал им тоску своего легкого очарования, — и тихий голос королевы Ортруды звучал, колыша тишину знойной ночи. Быстро шли они навстречу шумным голосам вечно ропщущего моря.

Там, над обрывом, где бездны двух небес, небесной ясной лазури и морской шумной глубины, мерцали при луне, печально ворожащей, Ортруда сбрасывала вдруг на землю свой черный хитон и нагая стояла перед Карлом Реймерсом. Как мраморное изваяние, стояла она перед ним и говорила ему сладкие, нежные слова — о любви, о смерти, о бедной судьбе человека, обреченного на скудный удел одинокого бытия. Ортруда рассказывала Карлу Реймерсу свои мечты о счастии далекой, милой Елисаветы, любящей и любимой.

Истомленный жестоким и сладким соблазном, Карл Реймерс бросался к Ортруде, восклицая:

— Ортруда, жестокая, милая, царица моя!

Она легко отстраняла его, движением нежным, но сильным, и убегала, скрываясь белою, легкою тенью во тьме. Один, усталый и тоскующий, возвращался Карл Реймерс домой.

Муками бессильной ревности томила иногда его жестокая Ортруда. В тихий час предвечерний, когда легкий пепел далекого вулкана набрасывал на яркую резкость желтых и зеленых скал нежно-золотистый флер, шла, улыбаясь, Ортруда на берег моря с Карлом Реймерсом и с Астольфом. Остановившись где-нибудь на песчаном берегу уединенной бухты под скалами, она говорила:

— Как обаятелен этот вечер! Золотисто-зеленоватый свет струится над дивною лазурью морскою, и она вся покрыта легкою пепельно-золотою дымкою. Очаровательная стихия для рождения истинной красоты! Но где же юное божество, выходящее из смеющихся вод, радующее взоры человека мерцанием нагого, прекрасного тела, подобного во всем телу человека, но только обвеянного счастием, радостью и славою! Но что же я! Вот он, мой юный бог! Астольф, — говорила она дрожащему от нетерпения радости отроку, — сними свои одежды и войди в ту милую воду, чтобы утешить нас созерцанием чистой красоты.

Астольф радостно повиновался. Вода с прохладною ласкою плескалась о его смуглое, горячее тело, и по его гибким членам, казалось, бежал, из черных глаз лучась, золотисто-пепельный смех легкого стыда и непорочного веселья. Ортруда радовалась и смеялась. Потом вдруг она сбрасывала свои легкие одежды и, распростертая на тонком, сухом песке, звала к себе Астольфа. Он робко подходил к ней. Капли воды дрожали, переливаясь многими огнями, на его смугло-золотистой коже, и отблески многоцветного перламутра мерцали на ней. Астольф становился на колени, и Ортруда привлекала его к себе. Она говорила Карлу Реймерсу:

— Господин Реймерс, смотрите, какой он красивый! Как восхитительно сочетаются тоны моего тела и его тела, — как тела нимфы-матери и отрока-героя.

И ласкала Астольфа, и целовала его.

Без конца разнообразила королева Ортруда муки ревности, всеми ими томя Карла Реймерса. Ортруда часто рассказывала Карлу Реймерсу, как она любила принца Танкреда, как Танкред любил ее.

— О, теперь уж он не такой! — насмешливо и лукаво говорила она. — Может быть, он и никогда не был таким. Мы ждем от возлюбленного невесть каких совершенств и ошибаемся. Но пусть, пусть! И ошибаться сладко, когда любишь так, как я любила моего Танкреда.

## Глава пятьдесят пятая

Влеклись дни, тяжелые, горькие, закутанные дымным облаком. Как тягостный сон, пережила их королева Ортруда. Легкий дым далекого вулкана все больше окутывал ее, делал ее нервною, беспокойною. Толкал на безумные поступки.

Тяжкие, дымные дни, дни кошмаров и безумств! Как сон проходили они, только изредка принося краткие, сладкие, отравленные часы отрад. Мелькали милые порою образы, и любимые склонялись над Ортрудою лики; в безумных ласках руки сплетались, и уста из милых

уст мгновенно-острые пили отравы. Милые лики сменялись, как призрачные аспекты единого, возлюбленного навеки. Светозарного.

Карл Реймерс, мечтательно-синий взор.

Страстный отрок Астольф, трепетно-смелый.

Девственная Афра, глубокий взор и темный.

Иногда догадывалась королева Ортруда, что Карла Реймерса удерживает около нее не только любовь, но и честолюбие. И кто знает, что сильнее! В своих деловых докладах королеве Ортруде Карл Реймерс обнаруживал большое знакомство с людьми и с делами. Осторожные, но настойчивые советы Карла Реймерса наводили иногда королеву Ортруду на мысль об его заинтересованности во многих предприятиях. Он приобрел несколько участков земли. Однажды обе королевы и принц Танкред приняли его приглашение провести три дня в его вилле на острове Ивисе. Он был дружен с Афрою, и с Виктором Лорена, и с многими другими, очень разными людьми.

Незадолго до этих дней министр финансов, недовольный неудачею какого-то мелкого своего проекта, заговорил об отставке. Виктор Лорена, сообщив об этом королеве, советовал ей сделать некоторые перемены в распределении портфелей. В числе возможных кандидатов на освобождавшийся пост министра земледелия он назвал и Карла Реймерса.

Королева Ортруда удивилась и сказала:

— Но ведь Карл Реймерс не депутат. Удобно ли нарушать для него издавна установившуюся традицию?

Виктор Лорена отвечал:

— Это нетрудно устроить. Мы проведем его в парламент, а временно этот портфель можно поручить министру торговли.

В конце доклада королева Ортруда, следуя обычаю, поручила Виктору Лорена передать министру финансов, что ей будет приятно, если он останется. Он остался, и вопрос о министерском портфеле для Карла Реймерса сошел с очереди.

Честолюбие, бедная слабость! Что же Ортруде до его слабостей! Разве не вправе она выбирать только лучшее в человеке, отбрасывая остальное? Разве она не королева, не госпожа жизни?

Любила Ортруда Карла Реймерса — и решилась наконец не противиться этой любви, отдать его ласкам это бедное тело, вечно жаждущее ласк.

Что же! Ведь только несколько сладких минут, похищенных от жизни, и потом опять тоска, и дым, и пепел.

Тяжелые дни переживала и Афра. Она готова была все сделать для Ортруды, потому что любила ее. Но не знала Афра, как спасти Ортруду от опасностей, окружавших ее со всех сторон. Афра видела, что клубок хитрых интриг все теснее опутывал королеву Ортруду. Ненависть знати стерегла каждый шаг Ортруды, и молва разносила о ней чудовищные небылицы. Уже начинали говорить о безумии королевы Ортруды. О необходимости учредить регентство.

Афра готова была все сделать для Филиппа Меччио, потому что любила его. Знала, что он избран командовать войсками революции. Готова была бежать с ним вместе на остров Кабреру, где должно было начаться восстание. Но как оставить Ортруду! Притом же Афра слишком ясно понимала положение вещей, чтобы не видеть, как мало надежд на успех революции.

Так любовь к Ортруде и любовь к Филиппу Меччио мучили Афру неразрешимыми противоречиями.

Любила. Была очарована всеми нежными и страстными чарами, которыми владела королева Ортруда, и вместе с нею призывала Светозарного, Денницу радостную и кроткую. Но видела Афра, что смертельно ранена душа Ортруды, усталая, обремененная наследием тридцати семи поколений, господствовавших над людьми, — ранена смертельно и погибает.

Любила. Очарована была всеми страстными, пламенными чарами, которыми владел Филиппо Меччио, и вместе с ним ожидала пришествия в мир мятежного духа, вечного врага господствующих сил. Видела, что характер его — смесь детской искренности и сатанинского честолюбия. Не хотела всматриваться в его слабости, — но все же больно чувствовала их.

Иногда казалось Афре, что любовь Филиппа Меччио к ней неглубока и ненадежна; порою даже свирепая ревность зажигалась в ее

душе. А иногда опять Афре вспоминались черты его рыцарски-верной души. Сладостные надежды боролись с горькими предвещаниями, — и Афра тосковала, и дни ее длились, черные, дымные, горькие.

Наконец на острове Кабрере вспыхнула революция. Быстро сформировавшиеся отряды инсургентов соединились в стройные батальоны, отлично вооруженные; пушки, спрятанные где-то в горах, были соединены в грозные батареи. Образовалось целое войско, и во главе его стал Филиппо Меччио.

Почти весь остров в первые же дни был во власти восставших. Только на юге, около крепости, небольшой округ был занят отрядом правительственного войска.

На других островах положение было неопределенное. Во многих городах происходили волнения. Была объявлена всеобщая забастовка. Почта, телеграф, железные дороги едва работали, да и то во многих местах приходилось ставить солдат на места забастовавших. В горах появились отдельные отряды инсургентов. Бандиты пользовались общим замешательством, и дороги стали опасны даже близ больших городов и крепостей.

Во многих местах радостно ждали прибытия войск Филиппа Меччио. В обществе революция была популярна. Опасались, — а многие и радовались, — что скоро и около Пальмы появятся отряды республиканской армии. Ходили слухи, что число восставших с каждым днем сильно увеличивается.

Правительство торопливо собирало войска для посылки на Кабреру. Главнокомандующим на Кабрере был назначен принц Танкред. Королева Ортруда с удовольствием подписала декрет об этом назначении: она была рада, что этот ненавистный человек хотя на время оставит ее замок.

Чтобы выиграть время для сосредоточения армии и чтобы обмануть восставших, Виктор Лорена вел с ними переговоры, явные и тайные. Открыто он обещал амнистию, если восставшие сложат оружие. Тайно, через своих агентов, торговался и давал понять, что не очень дорожит сохранением существующего строя. Не скупился на коварные обещания, исполнять которые не думал.

Тайные агенты министерства старались внести раздор в среду революционеров — и это им отчасти удалось.

Министерство в Пальме решило предложить парламенту несколько радикальных законопроектов. Это уменьшало шансы революции, потому что успокаивало значительную часть недовольных и колеблющихся. В то же время Виктор Лорена рассчитывал, что парламент, послушный ему, сумеет достаточно испортить эти законопроекты. Хитрые буржуа, господствовавшие в парламенте, быстро поняли истинную цену этого внезапного радикального законодательства и не сердились на своего министра.

Королева Ортруда видела, что Виктор Лорена лукавит. Это было ей тягостно, особенно теперь, в дни восстания. Ортруда говорила, что надо созвать национальный конвент с правами учредительного собрания. Она говорила:

— Прочное успокоение возможно только в том случае, если народ сам решит свою судьбу.

Министерство не соглашалось. Виктор Лорена говорил королеве Ортруде, что теперь главная задача власти только в том, чтобы усмирить восстание. Королева Ортруда не имела возможности настаивать на своем, — вызвать в смутное время министерский кризис она не решалась, да и никто в этом парламенте не взял бы на себя поручения составить министерство, которое могло бы созвать учредительное собрание. Но в разговорах с Виктором Лорена королева Ортруда очень часто возвращалась к этой мысли, и потому первый министр стал наконец опасаться, как бы королева не назначила внепарламентский кабинет из людей непартийных, которые согласились бы слепо исполнять ее повеления.

Виктор Лорена сказал однажды, принимая начальника тайной полиции:

— Королева Ортруда слишком уверена в том, что простой народ ее любит и что он всегда будет стоять за нее. Дай Бог, чтобы она не ошиблась в своей уверенности.

Намек был понят. Тайная полиция была отлично выдрессирована и знала свое дело превосходно. Было наскоро устроено бутафорское

покушение на королеву Ортруду. Казенный провокатор нашел дурака, семнадцатилетнего мальчишку, фабричного рабочего, и внушил ему, что полезно совершить манифестацию против монархии.

Однажды вечером на открытие благотворительного базара в пользу осиротелых солдатских семейств ждали королеву Ортруду. Дом городской ратуши был ярко иллюминован и украшен национальными флагами. На улице толпились любопытные, и мальчишки шныряли и возились в толпе. Когда у подъезда ратуши остановилась коляска королевы Ортруды, молодой человек в черной блузе, протолкавшись через толпу, выкрикивая какие-то мятежные слова, выхватил из кармана маленький, плоский револьвер, которым снабдил его провокатор, и выстрелил, целясь между лицом королевы Ортруды и спиною кучера. Произошло смятение, на стрелявшего набросились, как водится, и стали было его бить, но дюжие полицейские и жандармы окружили его и отвели в тюрьму.

Чтобы он не проговорился, в ту же ночь в тюрьме он был задушен, — по официальной версии, повесился.

Произведено было множество арестов, и заварилось дело о небывалом покушении на королеву Ортруду.

Центральный комитет союза революционных партий заявил, что покушение на убийство королевы Ортруды не входило в их планы. Многие открыто обвиняли министерство в провокации. Министерство же воспользовалось этим покушением и боязнью инсургентов, чтобы объявить столицу в осадном положении.

Обвиняемых в заговоре против жизни царствующей королевы предали военному суду. Военный суд постановил приговор, которого от него ждали. Но королева Ортруда даровала жизнь приговоренным к смертной казни.

Королеву Ортруду покушение не испугало. Едва только развлекло. Она не верила в его серьезность. А если бы и убили, — разве теперь смерть была бы ей страшна!

Изменчивый принц Танкред, влюбившись в графиню Имогену Мелладо, охладел к Альдонсе Жорис и бросил ее. Только прислал ей сколько-то денег, — достаточно, чтобы это считалось хорошим при-

даным для деревенской невесты. Бедная Альдонса вообразила, что ее милый не посещает ее потому, что ушел к восставшим. Она слышала, что русские любят сражаться за чужие интересы, о милом же своем думала она, что он, кажется, русский, из далекой, северной холодной страны, где люди богаты, глупы, жестоки и великодушны.

Альдонса бросила свою школу и пробралась на остров Кабреру. Там она служила в революционном войске сестрою милосердия, как и многие другие народные учительницы.

Альдонса все порывалась попасть на передовые позиции — найти бы своего милого. Она думала, что он, отважный, конечно, всегда там, где всего опаснее. Устроить это, конечно, было нетрудно. Ее послали, куда она хотела. В одной стычке, неудачной для восставших, Альдонсу захватили солдаты принца Танкреда.

Был вечер. По дороге близ главной квартиры принца Танкреда вели Альдонсу. Руки ее были зачем-то связаны, и бедное платье изорвано. Солдаты были угрюмы и молчаливы. Жесткие камни пыльной дороги и зной догорающего дня томили Альдонсу.

По дороге, поднимая столбы серо-багровой пыли, мчалось навстречу конвою несколько всадников в пестрых, красивых мундирах. Солдаты взяли ружья на караул. Альдонса подняла глаза. Ее милый, в блестящей одежде, в каске с зелеными перьями, мчался мимо. Альдонса вскрикнула:

— Мой милый, спаси меня!

И бросилась было к нему. Но быстро промчались мимо кони, и не взглянул на Альдонсу ее милый. Солдат грубо схватил Альдонсу за плечо.

— Что ты кричишь! — злобно сказал он Альдонсе. — Принц Танкред не помилует бунтовщицу. Видишь, он и смотреть на тебя не хочет.

— Принц Танкред! — с ужасом повторила Альдонса.

В тот же вечер ее привели в дом, где сидели за длинным столом три офицера — военно-полевой суд. Альдонса почти ничего не говорила, да и офицерам было неинтересно тянуть допрос.

Утром рано Альдонсу повесили.

Торжество восставших было недолгое. Скоро между их вождями начались раздоры, и это пагубно отражалось на ходе восстания.

Были раздоры из-за тактики. Было личное соперничество вождей. Даже из-за программы дальнейших действий ожесточенно спорили.

Филиппо Меччио был слишком популярен, и это во многих честолюбцах возбуждало ревнивую зависть. Опасались его диктатуры и всеми способами старались ограничить его права главнокомандующего народным войском.

Военные действия пошли бестолково. Начальники революционных отрядов получали противоречивые приказания то от главнокомандующего Филиппа Меччио, то от военного совета, то от главного штаба. Это их сбивало, конечно, и они не знали, кого же слушаться.

Начали замечать, что движения отрядов и намерения инсургентов становятся раньше времени известными в штабе принца Танкреда. Нападения, которые инсургенты хотели произвести внезапно, встречали отпор как раз там, где накануне еще разведчики не находили правительственных войск. Стало очевидно, что в лагере инсургентов были изменники. Подозревали, что тайные агенты министерства занимают даже высокие посты в штабе, но уличить не удавалось никого.

Все всех стали подозревать, и от этого дела пошли еще хуже.

Наконец выяснилось, что и в стране революция не имеет достаточной поддержки, что восстание начато раньше времени. Пролетариат оказался слабым, разрозненным, плохо сорганизовавшимся. С каждым днем увеличивалось в стране число желтых синдикатов из хозяев и рабочих-штрейкбрехеров.

## Глава пятьдесят шестая

Правительственные войска сосредоточились наконец вблизи главного республиканского лагеря. Солдатам было разъяснено, что перед ними коварный внутренний враг, который дерзко посягает на целость государства и желает заменить законную власть властью беззакон-

ного произвола. Этот враг убивает верных слуг правительства. Он припас ружья и пушки против верных, храбрых солдат. Из-за этого внутреннего врага солдатам приходится нести труды и подвергаться опасностям военного положения.

Эти внушения озлобляли против инсургентов значительную часть солдатской молодежи. Но все-таки несколько десятков солдат дезертировали в горы к восставшим. Были и еще солдаты, готовые при удобном случае перейти на сторону революции. При их содействии лагери правительственных войск почти каждый день обильно снабжались мятежными воззваниями. На многих впечатлительных юношей, особенно из тех, которые были пограмотнее, действовали слова прокламаций.

Главный штаб, заметив это брожение умов, решил поскорее дать битву мятежникам, — и вот однажды рано утром, когда из-за гор встало солнце и зажгло в недосягаемых высях лазури оранжево-золотой дым, началась решительная битва.

Вожди инсургентов до последнего часа все еще надеялись на то, что распропагандированная часть войска перейдет на их сторону. Но день битвы не оправдал этих надежд, дисциплина оказалась сильнее убеждений, и с самого же начала для опытного глаза было видно, что перевес на стороне армии принца Танкреда.

Правительственное войско охватило с трех сторон лагерь революционеров, опиравшийся на труднопроходимый горный хребет. Открыли сильный артиллерийский огонь по всем позициям инсургентов. Сильный, но малодейственный. Снаряды плохо попадали, а попадавшие в цель плохо поражали, потому что многие не разрывались. Войска были плохо обучены, командиры были неопытны и неискусны, а материальная часть очень исправна была только на бумаге.

Наконец принц Танкред послал солдат в атаку, прямо в лоб. Солдатики полезли по склонам и уступам гор, и многие были убиты меткими выстрелами таящегося в скалах противника. Наконец сошлись вплотную. Обе стороны сражались — врукопашную — одинаково храбро и одинаково нелепо.

Танкред бесцельно гарцевал на своем вороном коне по дорогам около своего штаба, выслушивал донесения офицеров, посланных

с поля битвы и сумевших добраться до августейшего главнокомандующего, и отдавал уверенным и повелительным тоном приказания, случайно дельные и случайно нелепые. Некоторые из этих приказаний передавались по назначению; их исполняли кое-как или вовсе не исполняли, и то и другое совсем случайно.

Когда принц Танкред приближался к тем местам, где порою ложились, взметая дымную пыль, снаряды неприятельских пушек, кто-нибудь из приближенных говорил ему:

— Ваше высочество, вы должны беречь вашу драгоценную для государства жизнь.

Принц Танкред притворялся огорченным, удалялся быстрою рысью от опасных мест и говорил:

— Делать нечего! Предоставим славу подвигов иным, счастливейшим.

Ему отвечали:

— Вашему высочеству принадлежит слава победы над врагами отечества.

Опять та же цыганка встретилась утром Танкреду. Под горною сосною стояла она, глаза ее дико блестели, худощавые щеки были смугло-ярки, и ветер веял складки красной юбки у ее бронзово-темных, стройных ног. Увидев Танкреда, она засмеялась громко и сказала:

— Кого хочешь, того и победишь.

Танкред бросил ей несколько золотых монет. Они легли в пыль, а цыганка убежала.

К концу дня революционное войско было разбито. Немногие уцелевшие бежали в горы. Правительственные войска заняли позицию, усеянную трупами отважных.

Тем и кончилась революция. Парламент вотировал благодарность принцу Танкреду за спасение отечества. Он возвратился в Пальму с великим и шумным торжеством. Все население столицы вышло к нему навстречу. Только не было королевы Ортруды. Затем начались беспощадные репрессии. Трусливый буржуа жестоко мстил врагам за минуты своей слабости.

Военные суды действовали быстро и безжалостно. Не прошло и недели, как число повешенных и расстрелянных насчитывалось многими сотнями. На жителей восставших местностей наложены были тяжелые контрибуции. Несколько деревень было сожжено. Самоуправление коммун заменилось военно-административным управлением.

Филиппо Меччио скрылся в горах. Это омрачало радость принца Танкреда.

— Его необходимо взять живого или мертвого, — настаивал он.

Как в эти темные дни ненавидела Афра принца Танкреда! Как больно разрывалось ее сердце между любовью к Филиппу Меччио, которого ищут, чтобы осудить и убить, и любовью к королеве Ортруде, которая томилась здесь, бессильная узница власти!

Королева Ортруда спросила ее однажды:

— Афра, ты знаешь, где скрывается доктор Филиппо Меччио?

— Знаю, — сказала Афра.

С грустною нежностью сказала ей Ортруда:

— Передай ему, что если его возьмут и приговорят... ну все равно, к чему бы ни приговорили, я намерена его помиловать. Моей бедной власти достаточно будет для этого. Ты сможешь передать ему это?

— Смогу, — отвечала Афра.

Хотела благодарить, — и даже не могла. Только заплакала молча. И, лаская, утешала ее Ортруда.

Проходили дни и недели. Филиппо Меччио был еще неведомо где. Остров Кабреру наводнили войсками, все берега острова стереглись тщательно, но все-таки не были уверены в том, что Филиппо Меччио не сумеет бежать за границу.

И вот наконец назначили за его поимку премию — двадцать тысяч лир тому, кто доставит его живого. Как всегда в таких случаях, нашелся предатель. Он проник к Филиппу Меччио под видом друга и потом открыл его убежище врагам.

Ночью дом в узкой, высокой долине меж гор, где скрывался Филиппо Меччио, был окружен солдатами. Было тихо и темно. Горные

низкорослые пальмы молчали и слушали. В теплом, влажном воздухе рождались какие-то смутные шорохи. Кто-то спал в этом доме, кто-то стерег чей-то покой, дремля на пороге за входною дверью.

Солдаты прятались за стволами деревьев, за кустами. Предатель шепнул командиру роты:

— Вот окно той комнаты, где сегодня спит Филиппо Меччио.

Капитан, пожилой человек с желтым, нервным лицом, с громадными черными усами, сердито проворчал:

— Какое мне дело до этого окна! Кончайте ваше дело, дон Рамиро, если вы хотите его кончать.

Предатель молча пожал плечами. Он подошел к окну. Прижался к стене и постучался в стекло окна. Потом он легкою тенью скользнул в двери. Приоткрылась узкая щель. Сказан пароль, — и предатель в доме.

— Плохие вести, — шептал в доме предатель Филиппу Меччио, — отряд войск идет сюда. Кто-то выдал. Надо бежать.

— Куда? — спросил Филиппо Меччио.

— Я проведу вас в безопасное место, — шептал предатель.

— Хорошо. Идем, — сказал Меччио.

Вышли из дому. Было темно и странно. Чудилась чья-то злая, чужая близость, шорохи возникали и гасли, и чуждые природе вмешивались в ночной влажный воздух тусклые запахи.

— Здесь кто-то есть? — тихо спросил Филиппо Меччио.

Предатель исчез куда-то. Блеснул на траве узкою полоскою свет потайного фонаря. Чужой, насмешливый голос произнес:

— Доктор Филиппо Меччио, вы арестованы.

Филиппо Меччио схватился за револьвер и выстрелил, не целясь. Какие-то темные фигуры замаячили вокруг. Быстрая схватка, возня на месте. Острая боль в левой руке, точно от удара кинжалом. Чей-то сильный удар выбил из рук Филиппа Меччио револьвер.

— Сопротивление бесполезно, — тихо сказал тот же насмешливый голос.

Яркий свет факелов наполнил площадку перед домом.

— Вы ранены? — спросил капитан.

Кровь текла узкою струею по левому рукаву черного сюртука Филиппа Меччио. Он взглянул на свою левую руку, улыбнулся и сказал спокойно:

— Вы находите, капитан, что дальнейшее сопротивление бесполезно? Я с вами совершенно согласен. Позвольте мне поздравить вас и ваших доблестных товарищей с успехом этого ночного дела.

Капитан досадливо отвернулся. Солдаты хмуро молчали. Кто-то молодой сказал в стороне:

— Солдаты делают, что им велят. Долг службы. Мы не рассуждаем, а повинуемся.

— Мы присягали королеве и конституции, — сурово сказал капитан.

Военный врач быстро и ловко перевязал рану Филиппа Меччио. Рана оказалась неопасною.

Филиппа Меччио отправили в Пальму. Таково было решительно выраженное желание королевы. Принц Танкред хотел бы судить его на месте и повесить немедля. Но Виктор Лорена не хотел давать принцу Танкреду слишком многого и склонился перед волею королевы Ортруды. Как и всегда, впрочем: королева Ортруда умела быть конституционною государынею и свое личное влияние употребляла редко и осторожно. И всегда успешно.

На пути Филиппа Меччио в Пальму не раз собирались толпы. Слышались сочувственные возгласы.

Конвойные солдаты угрюмо и сдержанно молчали. Глупые солдаты! Они не очень-то гордились своею победою.

Филиппа Меччио посадили, как водится, в тюрьму, за крепкие затворы. С ним обращались хорошо и старались поместить его в наилучшие условия. Но все-таки у него в каземате было скверно — затхлою сыростью веяло от стен; узкое окно за решеткою высоко у потолка пропускало мало света. Где-то мышь скреблась; капля за каплею падала в углу с сырого потолка; за дверью надоедливо-гулко звучали тяжелые шаги часового, — и с противным ржавым скрипом изредка открывалась железом окованная дверь.



24 Ф. Сологуб, т. 4

Кто-то пытался перестукиваться через стену, — но Филиппо Меччио думал, что это — казенный шпион, и ничего не ответил. Долго и настойчиво стучался назойливый сосед — и наконец затих.

Филиппо Меччио сидел, погруженный в свои думы. Не очень верил он в переданное ему еще на воле Лансеолем, мальчишкою-контрабандистом, обещание королевы, но не боялся и смерти. Тягостно было думать о крушении дела, о гибели многих товарищей.

Приходил к Филиппу Меччио следователь, хитрый, злой старик. Старался лукавыми вопросами и лживыми сообщениями об уже сделанных признаниях выведать что-нибудь о сообщниках, еще не обнаруженных. Филиппо Меччио был с ним очень вежлив, но не говорил ни о ком.

— Могу рассказывать только о себе, — не раз решительно заявлял он. — Каждый пусть говорит за себя.

Пускали к нему только трех лиц, кроме следователя. Прежде всех пустили врача, который лечил его рану. Потом Афру. Милы были ему беседы с нею и утешительны. Ведь и сильные люди нуждаются в утешении, как маленькие и слабые. Потом стали допускать и адвоката.

Предварительное следствие длилось недолго. Недолог был и суд, — военный. Председатель суда, седой, суровый генерал с наружностью замаринованного Дон Кихота, вел допрос слишком по-военному, обрывал бесцеремонно и свидетелей, и адвокатов и словно торопился куда-то. Его усердной солдатской душе казалось, что дело уже предрешено и много разговаривать не к чему.

Во время допроса свидетелей Филиппо Меччио сказал несколько презрительных слов о предателе.

— Это к делу не относится, — резко прервал его председатель.

Филиппо Меччио был холодно-вежлив с судьями и очень спокоен.

— Храбрый человек, — сказал про него в совещательной комнате председатель.

Без долгих дум, — суд совещался семь минут, — Филиппо Меччио был приговорен к смертной казни через расстреляние. Но суд постановил просить королеву о смягчении участи осужденного и о замене казни пожизненным заключением в крепости.

Филиппо Меччио рассеянно слушал монотонное чтение приговора и улыбался.

Пока еще не было известно, что ответит королева Ортруда на ходатайство суда, и эти немногие часы были наполнены страстною борьбою из-за судьбы Филиппа Меччио. Принц Танкред, ликовавший при известии о поимке Филиппа Меччио, был возмущен просьбою суда о помиловании его.

— Нет, этого не будет! — гневно восклицал он. — Министерство не должно допустить такого безумного поступка.

Чтобы уничтожить впечатление этого неуместного, по мнению принца Танкреда, ходатайства, он требовал кассации приговора и передачи дела в другой состав суда, более надежный. Генерала же, председательствовавшего в суде, — говорил принц Танкред, — необходимо немедленно уволить в отставку.

Принц Танкред долго разговаривал об этом с Виктором Лорена. Убеждал его требовать от королевы, во имя высших интересов отечества и во имя блага народного, чтобы она отклонила ходатайство суда. Первый министр отвечал неопределенно. Принц Танкред стал сердиться и угрожать, намекая на близость переворота. Но Виктор Лорена не смутился. Он не верил в успех придворного заговора.

— Помилование — прерогатива короны, — спокойно ответил он принцу. — Королева выслушает совет министра, но что бы затем ни было, примет ли ее величество этот совет, отвергнет ли его, во всяком случае министерство поступит неправильно, если уйдет в отставку из-за вопроса о личной судьбе одного из осужденных судом.

Принц Танкред досадливо и нетерпеливо говорил:

— Неужели вы не сумеете внушить королеве, что помилование этого разбойника только поощрит анархистов к покушениям? Несомненно, что это помилование подвергнет опасности ее собственную жизнь. Еще не забыто покушение на нее. Только твердость правительства спасет от повторения таких злодейств.

Виктор Лорена тонко улыбнулся. Сказал:

— Наша всемилостивейшая государыня наследовала доблестный дух своих предков. Опасности, грозящие ее жизни, не остановят ее от

исполнения того, что она сочтет своим долгом. Я надеюсь, что Бог оградит королеву от второго покушения на ее драгоценную жизнь. Благородный характер государыни побуждает ее верить заявлениям революционных партий, что преступник послан не ими. Я даже боюсь, что государыня таит в себе такие мысли об этом деле, которые ей слишком горько было бы поверить кому-нибудь. Проницательность и мудрость королевы не избавляют ее иногда от ошибок суждения.

Друзья принца Танкреда интриговали всячески против помилования Филиппа Меччио. Но их бессильные попытки запугать королеву Ортруду только презрение рождали в душе ее. А буржуазия требовала помилования Филиппа Меччио, чтобы не обострять положения. Побежденный, он казался не страшным.

Виктор Лорена принес королеве Ортруде приговор военного суда. Она вопросительно посмотрела на министра. Он молчал. Она решительно надписала на приговоре:

Дарую полное помилование доктору Филиппу Меччио.

*Ортруда*

Так же молча Виктор Лорена взял из рук королевы Ортруды этот, столь обыкновенный с виду, лист бумаги, скрепил его своею подписью и положил его на боковой столик, куда откладывались бумаги после доклада их королеве.

Когда Виктор Лорена встал, чтобы откланяться королеве Ортруде, она сказала ему:

— Дорогой господин Лорена, я хочу увидеть доктора Филиппа Меччио и поговорить с ним. Мне кажется, что я могу услышать от него много интересного. Надеюсь, вы не будете возражать?

Виктор Лорена сказал:

— Простите, ваше величество, я боюсь, что свидание королевы с только что помилованным государственным преступником произведет на общество недолжное впечатление.

Королева Ортруда решительно сказала:

— Я непременно хочу его увидеть. Если вы боитесь недолжного впечатления, то мы устроим это втайне.

— Да, государыня, если вам так будет угодно, — сказал Виктор Лорена. — В этом случае вашему величеству особенно удобно будет обойтись даже и без содействия господина Карла Реймерса, так что беседа, которою вам угодно будет осчастливить доктора Филиппа Меччио, будет иметь исключительно частный характер. Госпожа Афра Монигетти — невеста доктора Филиппа Меччио. Она может, конечно, передать господину Меччио частное приглашение вашего величества.

— Я так и сделаю, — сказала королева Ортруда.

В тот же день Афра передала Филиппу Меччио, что королева Ортруда хочет видеть его, что королеве интересно побеседовать с ним и что королева будет рада, если он найдет время для совершенно частной беседы с нею. Содержание же этой беседы, каково бы оно ни было, не должно подлежать оглашению.

Филиппо Меччио внимательно выслушал Афру. Это приглашение его не удивило. Он был достаточно опытный политик для того, чтобы уже ничему не удивляться и всем, по возможности, пользоваться. Но он задумался. Нахмурился. В уме складывались доводы за и против, а чувство гордого пролетария настойчиво говорило: «Не надо. Не ходи. Будь непримирим».

Афра спросила его:

— О чем же вы думаете, милый Филиппо? Ведь это свидание вас ни к чему не может обязать.

Филиппо Меччио улыбнулся и сказал:

— Я стараюсь понять, зачем это понадобилось королеве Ортруде.

— Да, ей надо видеть вас, милый Филиппо, — тихо сказала Афра.

— А мне это не надо, — сказал Филиппо Меччио. — О чем я буду говорить с главою враждебной нам власти? Пользы это не принесет, а на партию произведет дурное впечатление.

Афра возразила:

— Партии нет дела до ваших частных встреч. И можете ли вы вперед сказать, что не извлечете никакой пользы из этого свидания?

— Правда, Афра, не могу, — сказал Филиппо Меччио. — Положим, это аргумент довольно слабый. Но я подумаю. Я вижу, что вам это будет приятно. И я рад буду сделать вам приятное, если это в моих силах и не против интересов моего дела.

Филиппо Меччио раздумывал недолго. Он ничего не сказал своим друзьям, взял решение на свою ответственность. На другой же день Афра получила от него ответ. Филиппо Меччио выразил согласие явиться к королеве, когда ей это будет угодно.

## Глава пятьдесят седьмая

День, назначенный для свидания доктора Филиппа Меччио с королевою Ортрудою, был ярко-багряным: вулкан на Драгонере дымился сильно в этот день, и дым его виден был издалека. Небо смешало глубокую лазурь с оранжевою пламенностью и казалось ликующим ярко и злорадно. Шумные волны, пламенея, плескались на яркую желтизну прибрежных скал.

Образ Светозарного весь день носился перед очарованными зловещею красотою природы глазами королевы Ортруды. Взойдя на башню королевского замка, она открыла грудь Светозарному и молила его о пламенной, прекрасной смерти. Потом в подземный сошла Ортруда чертог Араминты и, погрузив обнаженные ноги во тьму и холод вод подземного грота, молила духа гор о смерти, о смерти огненной и прекрасной.

Мысли и мечты о смерти весь день владели душою королевы Ортруды. Теперь, после измены принца Танкреда, уже не боялась Ортруда смерти. В иные минуты даже радостна была Ортруде мечта о смерти. В подземных чертогах Араминты Ортруда казалась сама себе бестелесною тенью, блуждающею в мертвом царстве. И с вершины своей одинокой башни она смотрела на мир, как на мир чужой и далекий.

Афра провела Филиппа Меччио через свою квартиру во дворце в сад королевского замка. Они прошли над высоким берегом моря,

где мглистая, голубовато-желтая легко золотилась широкая даль, и спустились в прохладу строгих, прямых аллей. Афра спросила:

— Вам нравится здесь, в этом саду, Филиппо?

Филиппо Меччио прямо и даже резко ответил, словно он готов был к этому вопросу:

— Нет, Афра, совсем не нравится.

— Почему? — спросила Афра.

Ее удивил этот неожиданный ответ. Филиппо Меччио отличался всегда изысканным, тонким вкусом, любил природу, любил искусство и понимал его. Афра смотрела на Филиппа Меччио с ожиданием. Он улыбнулся и сказал:

— Будем благодарны природе и людям. Солнце здесь, как везде, прекрасно, недоступно и справедливо, — и, как везде, цветы благоухают. Это все хорошо. Только это. И все же не нравится мне здесь, хотя здесь и солнце, и цветы, и на тонкий песок аллеи ложатся легкие следы милых ног моей Афры.

Афра спросила:

— Почему же вам здесь не нравится, милый Филиппо?

Филиппо Меччио отвечал:

— Потому что в этом саду не орут и не возятся толпы уличных сорванцов. Слишком скучно здесь, милая Афра, слишком тихо для городского сада. Где нет детей, этих милых, вечно беспокойных, забавно-злых зверенышей и чертенят, там плохо. Скупое, эгоистичное довольство греется там, замкнувшись от света. Жестокие зубы его всегда готовы растерзать дерзкого нарушителя его несправедливого, одинокого покоя.

Афра тихо покачала головою и сказала:

— Вы эстетику хотите подчинить соображениям моральной природы. А разве эстетика должна подчиняться этике?

— Между этими двумя сестрицами большая дружба, — сказал Филиппо Меччио. — Кто обижает одну, тот заставляет плакать и другую. Интимного искусства в наши дни нет и быть не может, как не должно быть и закулисной, тайной политики.

Афра сказала:

— Высокое искусство — искусство для немногих.

Филиппо Меччио возразил:

— Нам-то что до этих немногих! Пусть они услаждаются тепличным искусством, — мы идем с толпою. А самосознание толпы растет. Толпа перестает быть чернью и превращается в народ. Вот потому искусство и должно быть всенародным, как всенародною должна быть политика. Народ хочет быть не только господином в политике, но и покровителем искусств.

— Хочет, но может ли? — спросила Афра.

Филиппо Меччио уверенно возразил:

— Сможет. Кто хочет, тот и может. А самолюбивые жрецы искусства должны знать, что искусство, которое не хочет быть всенародным, вырождается. И этот сад почти совсем хорош, но чего ему недостает? Веселой толпы, и чтобы подвыпивший в праздник рабочий сел под этою гордою пальмою, обнимая свою краснощекую невесту, и чтобы городские мальчишки и девчонки вместе со своими самострелами, аэропланами, куклами и мячиками внесли сюда немножко беспорядка и много новой, вольной, своеобразной красоты. Впрочем, я готов говорить на эту тему без конца, особенно с вами, Афра, а, может быть, королева уже нас ждет.

— Королеве Ортруде понравилось бы то, что вы теперь говорите, — сказала Афра.

Филиппо Меччио невесело сказал:

— Что ж! Знатным господам иногда нравятся плебейские вольные речи. Это кажется им пикантно.

Афра улыбнулась, сказала:

— Я скажу королеве, что вы здесь.

И ушла. Филиппо Меччио остался один в павильоне, где был розовый полумрак, молчание таилось и прохлада. Нежно дрожало в воздухе что-то, словно пел в вышине невидимый хор эфирными голосами. Где-то близко лепетала влажная, брызгая, струя фонтана. Небо сквозь высокие окна мерцало оранжевым сводом, бросая золотистые блики на глубокую зелень деревьев сада и на голубые кисти агератумов.

Филиппо Меччио задумался и не услышал легкого на песке аллеи шелеста шагов королевы Ортруды и Афры. Они вошли в павильон обе, тихие, и глубокий, золотой голос Афры назвал негромко его имя. Филиппо Меччио встал. Афра представила его королеве и ушла.

Королева Ортруда и Филиппо Меччио остались одни. Привычным движением тонкой руки королева Ортруда указала Филиппу Меччио легкий белый стул у окна и сама села недалеко. Было легкое замешательство. Ни Ортруда, ни Филиппо Меччио не нашли сразу, что сказать, и молча смотрели друг на друга. Наконец королева Ортруда сказала:

— Я хотела вас видеть, господин Меччио, или, вернее, слышать.

Филиппо Меччио молча поклонился. Королева Ортруда продолжала:

— Я бы хотела услышать от вас, господин Меччио, что побуждает вас действовать так непримиримо и так враждебно относиться к современному строю. Я надеюсь, что вы будете со мною совершенно откровенны.

Филиппо Меччио сказал с обычною своею уверенностью:

— Мне легко будет оправдать надежду вашего величества, — я никогда не говорю, иначе как откровенно.

Королева Ортруда улыбнулась и сказала:

— Я вас слушаю, господин Меччио. Если вы будете говорить мне так же откровенно, как вы говорите вашим обычным, восторженным слушательницам, то и я, как любая из них, так же внимательно выслушаю вас. Хотя, может быть, и не решусь аплодировать.

Филиппо Меччио говорил долго. Сегодня он был особенно красноречив, но хотя он и старался здесь отрешиться от приемов митингового оратора, это ему плохо удавалось, и его пафос казался иногда излишним в этих красивых стенах, расписанных легкими фресками, перед этою спокойно-внимательною женщиною, привыкшею к бесстрастному обсуждению государственных вопросов.

Наконец Филиппо Меччио замолчал. Королева Ортруда задумалась. Спросила:

— Вы хотите республики?

Филиппо Меччио спокойно отвечал:

— Да, государыня.

Королева Ортруда спросила:

— Разве для народа не все равно, какая форма правления в государстве?

И так же спокойно ответил Филиппо Меччио:

— Не совсем все равно.

Королева Ортруда говорила:

— Мне кажется, что вы, господин Меччио, очень ошибаетесь в самом основном. Вы соединяете социализм с республикою и с революциею. Но ведь социализм есть результат чисто хозяйственных явлений.

Филиппо Меччио сказал:

— Мы сделаем из республики предисловие к социалистическому строю.

— Вы думаете, — спросила королева Ортруда, — что завоевание республики может улучшить жизненное положение пролетариата?

Филиппо Меччио отвечал:

— Конечно, нет. Но республика даст более удобную почву для завоевания социального строя, и вот почему.

Филиппо Меччио аргументировал долго и остроумно. Королева Ортруда выслушала его внимательно. Улыбнулась. Аргументы слабые, как и все другие аргументы! Она сказала решительно:

— А я вам все-таки говорю, господин Меччио, — не учреждайте республики. Это ни к чему не приведет. Никакие написанные на бумаге права не придадут силы слабому.

Филиппо Меччио возразил:

— Мы хотим повторить опыт, который в других странах бывал иногда удачен. Богатые чужим опытом, мы постараемся избежать чужих ошибок.

Королева Ортруда сказала:

— Вы знаете сами, господин Меччио, что во многих случаях республика бывает только замаскированною монархиею.

Филиппо Меччио спокойно ответил:

— Мы позаботимся о том, чтобы этого не было.

Королева Ортруда говорила:

— В лучшем случае это будет рабская зависимость немногих сильных, которые часто правы, от большинства слабых, которое почти всегда ошибается.

— Это все-таки лучше, — возразил Филиппо Меччио, — чем рабская зависимость большинства, у которого свои интересы в единении масс, от немногих, интерес которых в господстве над массами.

— Интерес всякого человека в господстве, — сказала королева Ортруда. — Но господствуют только сильные. Они и законы дают, и права устанавливают. Только в силе — основание всякого права. Если великодушие сильных наделит слабого правами, как он сможет этими правами воспользоваться?

— Что же делать слабым? — спросил Филиппо Меччио.

— Умирать, — тихо ответила королева Ортруда.

Она помолчала немного и продолжала:

— Я скоро умру. Престол мой будет праздным. Изберите опять короля, человека, не рожденного царствовать, но достойного этой доли. Изберите гения, поэта, — из иной, далекой страны, — хоть из Америки или из России.

Филиппо Меччио спокойно возразил:

— Мы предпочтем республику.

Долго еще они говорили. О разном. Королева Ортруда упомянула имя Карла Реймерса. Филиппо Меччио спокойно сказал:

— Карл Реймерс обманывает вас, государыня. Как и многие другие.

Чувство, похожее на мгновенный испуг, охватило королеву Ортруду. Она спросила:

— А вы знакомы с Карлом Реймерсом?

— Да, мы с ним встречаемся иногда, — сказал Филиппо Меччио.

И многое рассказывал он о Карле Реймерсе. Из его холодных, спокойных слов перед королевою Ортрудою открывалось холодное, расчетливое честолюбие Карла Реймерса. Грустные глаза ее наполнились слезами. Она сказала:

— В сущности, господин Меччио, вы не открыли мне ничего такого, чего бы я не знала раньше. В некоторых случаях он меня обманывал, вы говорите? А кто же не обманывал нас, царствующих? Так было во все времена.

Смерть была в сердце королевы Ортруды, — улыбка на ее лице.

Филиппо Меччио был тронут задушевною грустью ее слов. Королева Ортруда протянула ему руку и сказала:

— Прощайте, господин Меччио. Я очень благодарна вам за то искусство и за ту откровенность, с которьми вы изложили мне ваши мысли. Мы враждуем внешне, как поставленные вы там и я здесь. Но как люди мы можем смотреть друг на друга без злобы. И о вас я сохраню приятные воспоминания. Я рада, что моя милая Афра любит вас. Возьмите от меня эту розу, — я знаю от Афры, что вы любите цветы.

Филиппо Меччио был очарован и тронут. Королева Ортруда простилась с ним и ушла. Он один возвращался по вечереющим аллеям. Королевский сад теперь казался ему прекрасным, и в просторах этого сада таилась для него величавая, торжественная грусть.

Филиппо Меччио не зашел к Афре. Он вышел на улицу, — и вдруг его настроения переменились. Словно кто-то беспощадный вылил из его души, как из широкой чаши, сладостный напиток очарования и заменил его холодною водою трезвых мыслей.

Пальмские улицы были веселы и шумны, как всегда. На широких бульварах, нарядные и бедно одетые, все казались радостными. Уличные легкие столики кафе были заняты смеющимися господами и щебечущими дамами. Никто не думал о вулкане на далеком острове, о вулкане, дым которого делал небо золотисто-синим. Никто не грустил об убитых. Никому не вспоминались пожары далеких деревень, насилия над беззащитными, слезы и вопли жен и дев и лес виселиц. Эти люди забыли свое вчера и не знали своего завтра.

Филиппо Меччио почувствовал, как умирает в его душе очарование сладких Ортрудиных улыбок. Он думал: «Между ними и нами слишком широкая разверзлась бездна, и трупы погибших исчезли в ней бесследно. Нет мира между ними и нами и никогда не будет.

Если же они, в минуты сентиментального размягчения, заговорят о примирении, — что ж! мы воспользуемся этим только для того, чтобы выиграть время. А время за нас».

В тот же вечер королева Ортруда пригласила Карла Реймерса. То была их последняя беседа.

— Я перестала вам верить, господин Реймерс, — холодно сказала королева Ортруда.

Отчаяние Карла Реймерса не тронуло Ортруду. Разлука была решена.

В сердце своем чувствовала королева Ортруда, что умерла ее любовь к Карлу Реймерсу, — что и не было этой любви, что это был только призрак любви. Все в жизни королевы Ортруды стало призрачно и мглисто, все окуталось в облак дымный, все пеплом развеялось. И только в тихих чертогах Араминты была прохлада, и утешающая тень, и голубая мечта о далекой, счастливой Елисавете.

## Глава пятьдесят восьмая

Скоро нежная графиня Имогена Мелладо принцу Танкреду наскучила. Письма его к Имогене с острова Кабреры были нежны, но кратки. Вернувшись в Пальму, принц Танкред посещал Имогену все реже и наконец оставил ее совсем.

Имогена неутешно тосковала. Она все боялась чего-то и плакала. Не смела никому открыть своего горя. Догадывалась, что отец знает. Но он молчал и был печален, и это еще более угнетало Имогену.

В это время внезапно вернулся из Парижа, взяв отпуск на два месяца, жених Имогены, молодой Мануель Парладе-и-Ередиа. Он приехал раньше, чем его ждали дома и у Мелладо.

В Париже Мануель Парладе получил несколько безыменных писем из Пальмы. В них сообщалось, в выражениях откровенных и грубых, что Имогена полюбила принца Танкреда, что принц Танкред часто посещает ее и что об их связи уже знает вся Пальма.

Безыменные письма были делом ревнивой Маргариты. Она еще надеялась так или иначе вернуть к себе принца Танкреда и думала, что Мануель Парладе поспешит повенчаться с Имогеною и увезти ее в Париж.

Мануель Парладе не поверил этим письмам ни на одну минуту и с презрением бросил их в огонь. Да и как было им поверить! Письма от Имогены, правда, приходили к нему не так часто, как в первое время после их разлуки, но все-таки были нежны, как и раньше. Правда, очень кратки были иногда эти милые письма, но Мануель Парладе объяснял это себе однообразием жизни Имогены в доме старого отца. Не о чем писать, и не пишет. Да и сам Мануель Парладе не очень-то любил писать письма. И некогда было, — так много, если не дел, то развлечений, удовольствий, интересных встреч, светских вечеров и веселых ночей.

Не поверил Мануель Парладе злым рассказам, но смутное беспокойство все же торопило его на родину.

В первый же день, полный нетерпеливого восторга, мечтая об Имогене сладко и влюбленно, он поехал из Пальмы в замок маркиза Мелладо. Быстро мчал его легкий автомобиль. Быстро проносящиеся мимо, полуприкрытые пепельно-золотою дымкою виды широких морских прибрежий казались Мануелю Парладе очаровательными. Безумное благоухание кружило ему голову и навевало сладостные мечты. В шуме волн и в шелесте свежей листвы слышалось ему милое имя, а лазурь небес, облеченная в золотистый багрянец, напоминала фиалковую синеву глаз Имогены и смуглую багряность ее щек.

Старый маркиз Альфонс Мелладо принял Мануеля Парладе приветливо. Но он казался печальным и утомленным. Мануелю Парладе показалось, что он сильно постарел за эти несколько месяцев, пока они не виделись.

После нескольких минут обычного, незначительного разговора о родных и друзьях, о последних новостях светской жизни в Париже и в Пальме в гостиную вошла Имогена. Маркиз Мелладо сейчас же поднялся со своего места. Сказал:

— Простите меня, дорогой Мануель. Я устал и плохо чувствую себя сегодня. Позвольте оставить вас с Имогеною.

Он ушел. Имогена проводила его грустным, боязливым взглядом и робко подошла к Мануелю Парладе. Мануель Парладе, целуя руки Имогены, говорил:

— Как я рад, что опять вижу тебя, милая Имогена!

Имогена принужденно улыбнулась.

— Давно из Парижа? — спросила она.

Мануелю Парладе показалось, что Имогена словно испугана чем-то и очень смущена. С ловкостью благовоспитанного светского человека он пытался привлечь ее непринужденною болтовнею. Все более и более удивляла его Имогена своею молчаливостью, бледностью, подавленными вздохами. И тем, что она так похудела, даже немножко подурнела, и оттого стала еще более милая. Мануелю Парладе жаль было ее. И глаза у нее были с таким выражением, точно она недавно много плакала. Наконец Мануель Парладе спросил ее тревожно:

— Имогена, дорогая, что с тобою?

— Со мною? Нет, ничего, — тихо ответила Имогена.

Глаза опустила, отвернулась стыдливо. Тихо по зеленым коротким травам ковра и по его рассыпанным алым розам подошла к рояли, приподняла черную, блестящую над клавишами крышку и дрожащими смуглыми пальчиками взяла несколько беглых аккордов. Потом стала перед роялью, как виноватая, склонила голову и перебирала желтую ленту пояса. Улыбалась смущенно и жалко, дышала прерывисто. Бросила ленту, прислонилась спиною к доске рояли и руками делала маленькие, неловкие жесты. Сказать что-то хотела и не решалась.

Мануель Парладе подошел к Имогене.

— Что ты скрываешь от меня, милая Имогена? — спросил он.

Заглянул ласково и тревожно в ее фиалково-синие глаза, опущенные опять к ровной мураве ковра. Имогена смущенно отвернулась. Ее лицо покраснело, как у ребенка перед плачем.

Мануель Парладе расспрашивал Имогену нежно и осторожно — что с нею? что ее огорчает? любимая кукла сломалась? или его она раз-

любила? Он целовал ее тоненькие, смуглые, смешные ручонки, привыкшие к забавным детским жестам. Имогена горько заплакала, по-детски громко, и вдруг все лицо ее стало мокро от слез.

— Милый Мануель, я недостойна вас! — горестно воскликнула она.

— Дорогая, милая Имогена, что вы говорите! — в ужасе восклицал Мануель Парладе. — Или случилось с вами что-то страшное?

Плача, говорила Имогена:

— Я очень нехорошая. Я скрывала мою вину от вас. О, какая нехорошая! Вот я вам все расскажу.

Горько плача, рассказала ему Имогена о своей измене, о кратком своем счастии и о своем горе.

— И вот оставил, бросил, забыл меня!

Такими словами закончила Имогена свой простодушный рассказ. С ужасом и с тоскою смотрела она на побледневшее лицо Мануеля, надменно-прекрасное молодое лицо, на котором боролись гнев и отчаяние.

— Ты мне изменила! — воскликнул Мануель Парладе. — Ты обманула меня, Имогена!

Имогена, рыдая, стала перед ним на колени. Восклицала:

— Убейте меня, милый Мануель! Я не стою того, чтобы жить на этом свете, чтобы смотреть на это солнце. Убейте меня и потом забудьте, простите мне то горе, которое я вам причинила, и будьте счастливы с другою, более достойною вас.

Тронутый слезами и мольбами бедной Имогены, Мануель Парладе поднял ее, нежно обнял и утешил, как мог. Восклицал:

— Бедная Имогена, ты не виновата. Не ты виновата. Я отомщу ему за тебя!

В мрачном отчаянии ушел Мануель Парладе от Имогены. Ему казалось, что жизнь его разбита навеки, что счастие для него невозможно, что гордое имя его предков покрыто неизгладимым позором.

Опять быстро мчал его легкий автомобиль, резкими металлическими вскриками сгоняя с дороги чумазых, черномазых ребятишек и возвра-

щающихся с работ грубо-крикливых, неприятно хохочущих женщин и девушек в белых грязных одеждах. Быстро проносившиеся мимо, полуприкрытые пепельно-золотою дымкою виды широких морских прибрежий казались Мануелю Парладе страшными картинами страны отверженной и проклятой. В безумном благоухании роз кружилась его голова, и тоскою сжималось сердце. В шуме волн и в шелесте листвы слышались ему слова укора и проклятий. Яркая лазурь небес, облеченная в золотистый багрянец, распростирала над ним трепещущую, пламенную ярость.

Гневная, торопливая решимость умереть быстро созрела в Мануеле Парладе. Пусть злое солнце совершает свой ликующий в небесах путь, сея на землю жгучие соблазны и распаляя кровь невинных, глупых девочек, — Мануель Парладе уже не выйдет навстречу его смеющимся лучам!

Он написал несколько писем родным и друзьям и уже готов был умереть. Уже последние, предсмертные мысли бросили на его душу торжественный свет великого успокоения. Не прощая жизни и не досадуя на нее, уже чувствовал он холод в своей душе и покой и в последний раз, прощаясь, смотрел, как чужой, на привычную обстановку кабинета, не жалея любимых с детства вещей.

Но его мрачный вид и его суровое молчание заставили домашних опасаться, что, потрясенный изменою невесты, он лишит себя жизни, — и за Мануелем следили. Навязчивые и милые домашние враги, всегда мешающие гордым намерениям!

Графиня Изабелла Альбани, старшая сестра Мануеля Парладе, вошла в его кабинет в то время, когда он заряжал свой револьвер.

— Что ты делаешь, Мануель, безумный! — воскликнула она и бросилась к нему.

Мануель Парладе поспешно выстрелил себе в грудь. Рука его от торопливости и смущения дрогнула.

— Не мешай мне умереть! — воскликнул он, стреляя.

Пуля пробила грудь слева от сердца, задела левое легкое, роя в теле темный путь вверх и влево, засела сбоку, между ребрами, и, утративши всю свою силу, уже не могла пробиться еще на сантиметр, чтобы

выйти на свободу из влажного, горячего плена. Мануель Парладе тяжело упал на руки подбежавшей сестры и лишился сознания.

Весть о несчастном случае с молодым Мануелем Парладе быстро разнеслась по городу. Узнала об этом и бедная Имогена. Ей сказала утром девушка, помогавшая ей одеваться. Острая боль пронизала сердце Имогены, и она почувствовала вдруг, что опять любит Мануеля.

В отчаянии бросилась Имогена к отцу. Она упала к ногам седого старика, простодушно-детским, отдающимся движением простирала к нему трепещущие руки, испуганная, горько презирающая себя и свою жизнь, и кричала:

— Это я во всем виновата! Негодная, порочная, проклятая я!

Старый маркиз Альфонс Мелладо поднял Имогену и обнял ее. Руки его дрожали, и слезы струились из мутных синих старческих глаз на изрытые морщинами смуглые щеки и на седые усы. Он утешал Имогену нежно и горько бранил ее. Его ласковые слова исторгали из ее фиалково-синих глаз потоки слез и стыдом пронзали ее сердце, — его суровые укоры были радостны ей. Целуя дряхлые отцовы руки, умоляла Имогена:

— Накажи меня жестоко, меня, проклятую! Убей меня или заточи меня в монастырь! В подземную темницу посади меня, где бы я не видела света, голоса людского не услышала бы никогда! Но только теперь позволь мне идти к Мануелю, молить, чтобы хоть на минуту пустили меня к моему милому. А не пустят, — хоть постоять на улице у порога его дома, посмотреть на окна, за которыми он лежит. И потом вернусь и возмездия буду ждать покорно.

Старый маркиз благословил Имогену и отпустил ее к Мануелю Парладе.

## Глава пятьдесят девятая

В тоске и в страхе стояла Имогена у дверей спальни Мануеля Парладе. Графиня Изабелла Альбани укоризненно и ласково смотрела на Имогену. За нежно любимого брата готова была бы графиня Изабелла острый нож вонзить в грудь легкомысленной девочки, и по-

вернуть нож в ране, и окровавленное тело бросить на землю, и топтать его ногами. Но сердцем любящей женщины Изабелла так понимала Имогену, так жалела ее, что сама охотно пошла к Мануелю просить его, чтобы он простил Имогену.

Имогена, горько плача, целовала ее руки и говорила:

— Я знаю, что не стою того, чтобы вы пожалели меня, и той милости не стою, о которой молю. Но вы все-таки будьте милосердны ко мне, сжальтесь над бедною грешницею, дайте мне только взглянуть на него, только взглянуть!

Графиня Изабелла сказала Имогене ласково и строго:

— Войдите, Имогена, но не волнуйте его ничем. Сегодня вы останетесь с ним только недолго, — он еще совсем слаб. Держите себя спокойно, не плачьте. Все идет хорошо. Не отчаивайтесь. Врачи говорят, что он встанет, — но теперь ему вредно волноваться.

Обрадованная Имогена лепетала:

— Бог наградит вас за вашу доброту, милая Изабелла. Я буду совсем тихая и сниму здесь мои сандалии, я войду к нему босая, и уйду скоро, и плакать не стану.

Тихо ступая легкими ногами по безуханно-прекрасным розам ковра, в полумраке прохладного покоя подошла Имогена к постели Мануеля Парладе и тихо, тихо стала на колени у его ног. Глаз не поднимая, едва только смея дышать, молитвенно сложивши руки, долго стояла на коленях Имогена. Услышала тихий голос Мануеля.

— Имогена! — едва слышно позвал он.

Тогда приподняла голову и молящий сквозь ресницы устремила взор на бледность его лица. Мануель Парладе лежал неподвижно и спокойно глядел на нее. Тихо говорила Имогена:

— Милый Мануель, это — я, Имогена. У ваших ног ваша Имогена. Вам лучше сегодня? Правда лучше, Мануель?

— Да, — тихо ответил ей Мануель.

Имогена осторожно подвигалась, не поднимаясь с колен, ближе к его лицу и говорила:

— Я дам вам пить, если вы хотите. Но вы, милый Мануель, ничего не говорите, только покажите мне глазами, и я догадаюсь, пойму.

Я буду хорошо служить вам, — правда, — и вы не гоните меня, пожалуйста, милый Мануель.

Побледневшие губы Мануеля сложились в легкую улыбку. Его правая рука, лежавшая сверх белого покрывала, сделала легкое движение к рукам Имогены.

— Милая, — тихо сказал он. — Глупенькая! Только не плачь.

— Я не буду плакать, — сказала Имогена и заплакала. — Я не буду плакать, — повторила она, плача, — это только так, немножечко. Я сейчас перестану.

— О чем же ты плачешь, глупая? — тихо спросил Мануель.

— Простите меня, — говорила Имогена. — Я люблю вас, а не его. То был только сон. Злой сон, потому что вулкан на Драгонере так странно и страшно дымился, и тонкий пепел плыл по ветру, и точно недобрая вражья сила освободилась из глубоких недр земли и внушала людям злое. Это был только сон, — и все то время, пока вас, милый Мануель, не было здесь, было для меня как одна долгая ночь, тревожная, багряно-красная ночь. Ах, какой злой, тяжелый сон! — сказала Имогена, прижимаясь мокрою от слез щекою к краю его постели.

— А теперь моя Имогена проснулась? — спросил Мануель.

— Да, — сказала Имогена. — Солнце мое восходит надо мною, и сон мой развеялся по ветру серым пеплом. И солнце мое красное — вы, Мануель!

Протянула к нему обнаженные, трепетно-тонкие руки и тихо приникла пылающим лицом к белой прохладе его покрывала. Высокий узел черных кос расплелся, его заколы с мягким стуком упали на ковер, и черные косы, развиваясь, до полу свесились.

Мануель Парладе видел легко вздрагивающие, худенькие, полудетские плечи Имогены и смущенно успокоенные, полуприкрытые складками белого платья стопы ее ног.

Рана Мануеля Парладе, хотя и тяжелая, оказалась неопасною. Скоро он встал. Имогена опять была счастлива, потому что Мануель простил ее измену и был с нею ласков, как прежде.

Мануель Парладе простил Имогене, но не принцу Танкреду. К Танкреду он пылал ненавистью и жаждою мести. Решился вызвать принца на поединок. Два старые друга семьи Парладе, генерал Гверчино и сенатор граф Мальконти, согласились быть его секундантами. Они обратились к принцу Танкреду с письмом, в котором сообщали, что господин Мануель Парладе-и-Ередиа считает себя лично оскорбленным его королевским высочеством и что он поручил им быть его представителями в этом деле чести, а потому они просят его королевское высочество указать им тех лиц, с которыми они могли бы вступить в переговоры.

Ответа пришлось ожидать недолго. На другой же день генерал Гверчино получил письмо от одного из адъютантов принца Танкреда. В этом письме по приказанию принца сообщалось, что исключительное положение принца-супруга не позволяет его королевскому высочеству принять вызов на дуэль; притом же поединки запрещены законами государства, и принц Танкред, в силу своего высокого положения, не считает возможным подать такой пример неуважения к повелениям закона.

В городе быстро узнали и о вызове на поединок, посланном Мануелем Парладе принцу-супругу, и об отказе принца Танкреда дать удовлетворение оскорбленному. Это произвело впечатление громкого скандала.

Та часть высшего общества, которая сохраняла гордую независимость древних патрицианских родов, была оскорблена поступком принца Танкреда. Здесь находили, что Мануель Парладе имел право послать вызов принцу, и думали, что только монарх и его наследники по прямой линии могут уклониться от вызова на поединок. Несколько надменных аристократов, принадлежавших к тайной партии за принца Танкреда, вышли из этой партии; они говорили, что человек, запятнавший свою честь отказом от поединка, недостоин носить корону Соединенных Островов.

Статьи оппозиционных газет наполнены были беспощадно-язвительными сарказмами и выражениями негодования. «Святая простота», злой еженедельник политической и социальной сатиры, поместил

ряд карикатур и презрительных стихотворений. Песенка против Танкреда, помещенная в этом еженедельнике, стала популярною и распевалась в кабачках и на бульварах.

В газете Филиппа Меччио писали: «Исключительное положение не помешало высокопоставленному господину оскорблять добрые нравы и нарушать мир честных семейств. Когда же оскорбленный позвал его к ответу, чтобы с оружием в руках защитить свою честь, тогда высокопоставленный ловелас, дрожа перед грозным призраком смерти, вспоминает о своем высоком положении и о всех сопряженных с ним удобствах. Он бежит и прячется под порфирою своей жены, которая все еще не решается выбросить за дверь неверного супруга. Там, в убежище укромном и тихом, он чувствует себя в безопасности.

Мы принадлежим к числу принципиальных противников дуэли, — говорилось дальше в этой статье. — Всякий, кто признал, что право выше силы, должен признать, что дуэль в современном демократическом обществе никого ни в чем не может убедить и что она не способна восстановить ничьей чести. Человек бесчестный таким и останется, он ли убьет, его ли убьют. Мы только думаем, что господин, навлекший на себя гнев и презрение всей страны, лучше сделает, если оставит навсегда пределы наших прекрасных Островов. Это будет лучше и для нас, и для него самого. Можно подумать, что сама природа возмущается его пребыванием среди нас и потому пробуждает дымный гнев нашего старого, давно дремавшего мирно вулкана».

В том же номере газеты была напечатана история любви принца Танкреда и сельской учительницы Альдонсы Жорис, история, так мрачно окончившаяся, но не смутившая Танкреда.

Принц Танкред был в бешенстве. Он потребовал, чтобы Мануеля Парладе судили за покушение на убийство члена царствующего дома. Но Виктор Лорена не соглашался на это. Он говорил:

— Конечно, дуэль запрещена законом, но институт дуэли пользуется уважением общества. Суды нашего государства никогда не рассматривали вызов на дуэль как покушение на убийство. Во всяком

случае, не только вызов на дуэль, но и приготовления к дуэли не наказуются по нашим законам: наказуемы только убийство на дуэли и нанесение ран. Притом же от имени вашего высочества дан был ответ вызвавшему. Хотя и отрицательный, он все же устраняет возможность смотреть на вызов как на попытку к убийству. Ведь с убийцами не разговаривают.

## Глава шестидесятая

Карл Реймерс почувствовал, что любит Ортруду верно и навсегда и не может пережить разрыва. Ему стало страшно жить. Казалось, легкий дым вулкана заволок перед ним облаком дымным все возможности жизни. Карл Реймерс решился умереть.

Как-то вдруг пришла к нему утешительная мысль о самоубийстве. Как и у многих других, вместе с окончательным решением умереть спокойствие осенило душу, и мелочи и смута жизни отошли.

Предсмертные мысли Карла Реймерса носили чувствительный характер. Он вспоминал о своей родине, о матери. О жене, маленькой, пугливой креолке, умершей несколько лет тому назад. Рано утром он поехал на кладбище и побыл недолго в склепе, где была ее могила и где было еще место и для него самого.

Последний свой день Карл Реймерс провел на людях, с друзьями и со знакомыми. Разговаривал с ними весело, и разговоры были самые обыкновенные, всегдашние. Так как никто еще не знал о его разрыве с королевою Ортрудою, то все были особенно ласковы с ним, как с баловнем счастия.

Тоска, угнездясь где-то под сердцем, весь этот день томила Карла Реймерса, но он скрывал свою тоску. Весь город объехал, словно прощаясь. Посетил многих. Обедал в ресторане в веселой компании адвокатов, инженеров, банкиров и дам. Вина почти не пил. К вечеру простился со всеми и ушел. Его не удерживали, — думали, что он идет к королеве Ортруде, и, не завидуя, радовались втайне его счастию, — великодушные друзья!

Улицы Пальмы были шумны, как всегда. Легкий дым далекого вулкана бросал на их перспективы золотисто-серую, нежную дымку.

Карл Реймерс остался один. Уже быстро темнело. Он вышел на приморский бульвар. Море веяло в его лицо теплым дыханием. Скамья под тонкою пальмою напоминала ему о чем-то. Он сел. Призадумался.

Прошло с полчаса. Какой-то резкий звук, примчавшись издалека, разбудил Карла Реймерса. Он быстро огляделся вокруг. Почти никого не было вблизи. Только на скамейке, шагов за двадцать от него, сидели, весело и тихо болтая и тихонько смеясь, двое — студент в широкой шляпе и девушка в черной косынке — влюбленная парочка. Да еще подальше полуголый нищий примостился на скамейке и спал.

Карл Реймерс простым, спокойным движением вынул из бокового кармана маленький, красивый, как игрушка, револьвер, поднес его к виску и выстрелил.

Звук выстрела привлек прохожих. Собралась толпа. Карл Реймерс был уже мертв.

В городе говорили много о причинах этой внезапной смерти. Друзья принца Танкреда сделали из этого события предлог для ожесточенных нападок на королеву Ортруду.

Им отвечали напоминанием о покинутой принцем графине Имогене Мелладо и о повешенной Альдонсе Жорис.

Врачи, конечно, удостоверили, что Карл Реймерс застрелился в припадке внезапного умоисступления. Хоронили его торжественно. Знаменитый публицист произнес на его могиле прочувствованную речь. Знаменитый поэт прочитал превосходное стихотворение, и оно произвело потрясающее впечатление на присутствовавших. Было много девушек, принесших цветы. Смерть из-за любви всегда волнует молодое воображение.

Через несколько дней после похорон Карла Реймерса королева Ортруда облеклась в глубокий траур, чтобы посетить его могилу.

Как всегда, Ортруда прошла через подземные чертоги Араминты. Она была одна. На улице она опустила на лицо густую черную вуаль. Взяла наемный экипаж до кладбища.

Тоскуя, вошла она в каменные ворота. Тоскуя, шла среди могил.

Аллея кладбища мирною своею тишиною отвеивала грусть Ортруды. Какая успокоенность там, в земле!

Ортруда нашла кладбищенскую контору. На скамье у входа в дом сидели, разговаривая, несколько сторожей с галунами на воротнике и на рукавах. Они встали, увидевши подходящую к ним нарядную в черном даму. Ортруда сказала:

— Покажите мне могилу Карла Реймерса.

— Я знаю, — сказал угрюмый старик. — Это в моем участке. Недавно хоронили. Как же, знаю!

Взял ключи, повел Ортруду. Бормотал:

— Рядом с женой положили. Не очень-то он долго о жене сокрушался. Королеве Ортруде приглянулся. Да королева его разлюбила. Не вынес, бедняга, застрелился. Много на его могилу дам ходит. Цветы носят. Нужны ему цветы!

Скрипел, пересыпался сухой песок под ногами Ортруды, скрипела, сухо пересыпаясь в ее ушах, старческая воркотня. Ах, сказка города — любовь королевы Ортруды! Сказка, чтобы рассказать с полуулыбкою, легкая, забвенная сказка — вся жизнь королевы Ортруды! Пройдет легким дымом, словно только приснилась кому-то, — синеокой, далекой, счастливой Елисавете.

Прямы, расчищены дорожки. Цветы у могил. Кирпичные склепы, как нарядные дачки, в зелени прячутся. У них узкие окна, у них железные двери, над железными дверьми благочестивые надписи из святой книги да имена, полузабытые близкими; за дверьми мрак и молчание.

Остановился старый, сказал:

— Здесь. Шли, шли да и пришли.

У входа в склеп Карла Реймерса цвели красные цветки кошенильного кактуса — красные, как только что пролитые капли благородной крови. Ортруда цветок сорвала, палец уколола, — капля крови на бе-

лом пальце красная выступила. Маленькая капелька крови за всю его любовь, за всю кровь его!

Старик долго гремел ключами и ворчал тихонько что-то. Наконец он подобрал ключ и открыл дверь. Сказал Ортруде:

— Войдите. Осторожнее — дверь низкая. Пять ступенек вниз. Я тут близко побуду, подожду.

Ортруда одна спустилась в прохладно-влажный сумрак склепа, — и холодны были ступени.

Две каменные плиты рядом. Одна засыпана свежими цветами. Золотые буквы сложились в его имя, из-за цветов едва видны.

Долго стояла, безмолвно тоскуя, Ортруда над гробницею Карла Реймерса. Она вспоминала о своей любви, об его любви. Казалось ей, что проклятие чье-то тяготело над этою любовью.

Те радости и утехи жизни, которые Танкред брал шутя, отчего она не могла брать с такою же безмятежною легкостью?

И за что она отвергла его, осудила? Так поспешно осудила, словно спеша уйти от него. Куда уйти? К кому, к чему?

Его честолюбие? Его интриги? Перед бледным ликом смерти, под черным покровом печали, как все это казалось ей теперь ничтожным! И думала она: «У Карла Реймерса была нежная и гордая душа. На высоту хотел взойти он, чтобы оттуда господином и победителем смотреть на широко синеющие дали жизни и мечтать о прекрасном и высоком, недоступном вовеки. Но не хотел он скупо и мелочно торговаться с жизнью. Когда она его обманула, когда она посмеялась над ним, он спокойно и гордо ушел».

Шептала Ортруда:

— Прости меня, как я тебя прощаю.

Стала на колени, склонилась к его могильной плите, заплакала и шептала:

— До свидания в лучшем мире.

Слезы падали на холод камня. И, как этот камень могильный, холодна и спокойна была душа Ортруды.

Опустивши черную вуаль на лицо, Ортруда вышла на аллею кладбища. Ясно было вокруг и тихо. Синевато-золотая вечерняя грусть смиряла душу.

Старик, бренча ключами, из-за могил подошел к Ортруде. Бормотал:

— Долго ждал, а все-таки дождался. Да мне что ж! Я все равно при деле, — посмотрю, поправлю. Я не заглядываю в дверь, как другие.

Ортруда молча положила старику в руку золотую монету и пошла к воротам.

Спокойная и холодная, возвращалась домой Ортруда.

Старик долго смотрел вслед за нею. Смотрел на золотую монету, качал головою и думал: «Должно быть, это сама королева Ортруда. Приходила поплакать, помолиться, побыть с милым».

Он поплелся домой, тряся дряхлою головою.

Сидя опять на скамье со своими товарищами, он долго бормотал что-то невнятное. Лицо его было желто и строго. Молодой могильщик сказал:

— Скучно что-то стало! Хоть бы ты, старина Хозе, рассказал нам про старые годы.

— Старина Хозе! — ворчливо ответил старик. — Хозе, ты думаешь, простой человек? Хозе служил самой королеве Ортруде, отворял ей двери опочивальни.

Молодые люди смеялись. Но старик сказал строго:

— Над старым Хозе не надо смеяться. Старый Хозе умрет сегодня. Старый Хозе знает больше, чем надо.

Перестали смеяться и смотрели на старого с удивлением. Старик, тяжело шаркая подошвами пыльных башмаков, пошел в свою каморку. Там он положил золотую монету к ногам деревянной Мадонны в белом кисейном платье.

— Старый Хозе служил самой королеве Ортруде, — тихо говорил он Мадонне. — Сама милостивая королева Ортруда подарила старому Хозе золотую монету. Моли Господа Бога, Пресвятая Дева, за грешную душу королевы нашей Ортруды.

Изнемогая от сладкого восторга, чувствуя, как вся сила оставляет его, старый Хозе склонился на пол к ногам деревянной Мадонны в белом кисейном платье, вздохнул глубоко и радостно, как засыпающий тихо ребенок, — и умер.

Говорили потом суеверные могильщики:

— Старый Хозе был праведник. Прекрасная дама в трауре приходила возвестить час его смерти.

## Глава шестьдесят первая

После смерти Карла Реймерса мысли о смерти стали привычными Ортруде. Часто останавливалась королева Ортруда перед портретом белого короля и всматривалась в изменившееся, словно покрывшееся серым пеплом из далекого вулкана лицо убитого мальчика.

Спокойно думала Ортруда: «Умру. Умру и я».

И не могла жалеть умершего.

Темная страстность томила ее, словно внушенная дымною страстностью старого вулкана.

Полюбила Астольфа. И эта любовь представлялась ей почему-то как еще одна ступень к смерти.

Кратким сновидением мелькнули дни ее любви к Астольфу — и погасли.

И к Танкреду не было той острой, злой ненависти, как прежде.

Светозарному молилась все чаще в эти дни Ортруда, — то на высокой башне гордого замка, то на широком морском берегу.

На краткие минуты отвеяло легким ветром дымный полог от Островов, где томилась королева Ортруда, — и стали ясны для нее опять впечатления тихого бытия.

В ясный час предвечерний, надевши белый простой наряд, вышла Ортруда на морской берег. Она села на невысокую мраморную скамью у морских волн. Склонилась просто и спокойно, к легким стопам стройных ног опустила обнаженные руки, такая гибкая, такая милая, как нимфа тихих вод, случайно принявшая тяжелый человеческий облик. Сняла свои сандалии и пошла вдоль берега. Мелкий песок, согревающий нежно, пересыпался, слегка вдавливаясь под тихими стопами ее легких ног.

Случайно и принц Танкред вышел один в этот час на берег. Они встретились. И были оба смущены.

Ортруда сказала кротко, как давно уже не говорила она с Танкредом:

— Я скоро умру. Может быть, меня убьют. Может быть... ах, да мало ли как смерть приходит!

— Ортруда, — начал Танкред.

Ортруда остановила его повелительным движением руки и продолжала:

— Тогда у вас, принц Танкред, будут большие шансы на корону моих милых Островов. Но подумайте много, прежде чем принять эту корону. Надеть корону легче, чем носить ее. Она очень тяжелая, принц Танкред. У вас обширные замыслы. Время покажет вам, что было в них суетного и ложного.

Принц Танкред жестоко смутился. В его голове заметались пугливые, короткие мысли: «Кто проболтался? кто выдал? кто мог это сделать? кому это могло быть выгодно?»

Он сказал с нескрываемым волнением:

— Милая моя Ортруда, отгоните от себя эти мрачные мысли. Я виноват перед вами, правда. Я знаю, что недостоин вас. Но годы проходят, время охлаждает безумный пыл необузданной страстности. Клянусь вам, я исправлюсь.

Тихо и просто спросила Ортруда:

— Зачем это вам?

Танкред воскликнул:

— Клянусь вам, Ортруда! Спасением моей души клянусь, что я буду вам верен.

Ортруда молчала. Загадочно улыбалась. Смотрела на Танкреда с неизъяснимым, волнующим его выражением.

— Ортруда, — страстно говорил Танкред, — будем опять любить друг друга нежною, умудренною любовью, будем опять кроткими и милыми, как дружно играющие дети, в забвении жизненной суеты и прозы.

Он целовал тонкие руки Ортруды. Она молчала и не отнимала от его губ своих рук, — и они казались усталыми и робкими, — бедные

руки рано утомленной жизнью королевы! И нежно обнимал ее Танкред, и уговаривал долго и нежно.

Ах, эти слова, столько раз повторенные!

Улыбнулась Ортруда, так печально, так нежно, как умирающая улыбается в ясном небе, догорая, заря. Спросила Танкреда:

— Вы так хотите, милый Танкред?

— О милая Ортруда, — воскликнул Танкред, — хочу ли я счастия, жизни, солнца, хочу ли я вашей улыбки, Ортруда!

— Хорошо, — сказала Ортруда, — будем нежны друг к другу во что бы то ни стало. Перед лицом жизни и под холодным взором смерти будем нежны и кротки. Для каждого из нас когда-нибудь наступит ночь, когда наши мертвые придут к нам.

— Что вы говорите, Ортруда? — спросил Танкред.

Не понимал ее слов, ее настроения, ее внезапной мягкости. Тяжким было ему бремя притворства. Ортруда смотрела на него спокойно и нежно и говорила тихо:

— Будем нежны, будем божественно-незлобны. Наш земной удел — измена.

Не понимал ее Танкред, — но он знал слова, — так много слов очаровательных и нежных. Он говорил:

— Верность, Ортруда, клянусь вам, верность в измене. Мы изменяем, потому что очаровываемся призраками давних переживаний, но мы всегда верны, потому что связаны цепью пережитых жизней.

Ортруда улыбнулась. Глаза ее были печальны и кротки. Она говорила тихо и медленно:

— Мы неверны, как дети, и невинны, как боги, как это небо, как эти волны. Подобна стихиям душа человека, изменчивая и чистая, сотканная из стихий, всегда невинных.

— О, я понимаю вас, Ортруда! — притворно-искренним голосом воскликнул Танкред.

— Не знаю, понимаете ли вы меня теперь, — сказала Ортруда. — Надеюсь, Танкред, что вы поймете меня когда-нибудь. А теперь для вас, для вас, Танкред, у этих дивных волн, с этими смеющимися волнами, под этим ликующим солнцем, зажженная его золотыми лучами,

среди зеленеющей лазури волн и голубой лазури неба я спляшу танец зыбкой изменчивости и сладкого забвения.

С этими словами Ортруда подошла к той же мраморной скамье у морских волн. Она сняла с себя свои одежды и положила их на скамью. Посмотрела, любуясь нежно, на свое тело и пошла нагая по мелкому песку к берегу. Когда первая волна плеснулась об ее стройные ноги, Ортруда остановилась, и засмеялась, и начала легкую пляску. Она плясала у воды, — то отбегала от волны, то опять бежала за волною. Она плясала и хлопала мерно ладонь ладонью маленьких рук. Волны плескались о ее тонкие милые ноги, холодные волны, равнодушные к бедной земной красоте и одной только покорные высокой Очаровательнице, грустными очами вздымающей грудь океанов. И был еле видим уже занесенный над миром серп Очаровательницы, — а солнце еще ликовало, склоняясь устало и томно к черте темно-синей, к вечному кольцу роковому.

В это время тихо и плавно, как легкое полуденное явление из мира призрачного бытия, из-за розовато-серого утеса выплыл розовый на ясном свете солнечном парус — и показалась рыбачья легкая лодка. В ней сидели двое юношей и мальчик. Они засмотрелись на милую плясунью, играющую с волнами. Залюбовались стройностью ее обнаженного тела. Смеялись радостно и звонко. Рукоплескали, радуясь солнцу, волнам, и зыбкой, милой пляске, и легкости прелестных ног.

Налетел порыв внезапного ветра. Склонился бело-розовый парус. Край лодки черпнул воду.

Лодка опрокинулась.

Перестала плясать Ортруда. Стояла на песке прибрежном и в ужасе смотрела на хлопающий по волнам парус, на людей, которые бились в волнах, пытаясь плыть к берегу, и на далекую ладью, которая уже спешила им на помощь.

— О, — сказала Ортруда, — несчастная какая стала теперь я! И смех мой губит.

— Не плачьте, Ортруда, — сказал Танкред, — людей спасут.

Людей спасли. Но не утешилась королева Ортруда.

И опять надвинулся мрачный, дымный полог, и легкий пепел закружился на берегу.

## Глава шестьдесят вторая

Вскоре после этого кардинал, архиепископ Пальмский, монсиньор Фернандо Валенцуела-Пуельма, обратился к королеве Ортруде с просьбою о приеме: он имел надобность переговорить с нею о весьма значительных предметах. День приема был немедленно назначен Ортрудою.

Это посещение кардинала было решено в кружке заговорщиков за принца Танкреда. Люди, замышлявшие свергнуть с престола королеву Ортруду, находили полезным, чтобы потом можно было говорить:

— Королеву Ортруду предупреждали, что ее поведение вызывает неудовольствие в народе. Она была глуха к добрым советам, и вот она пожинает, что посеяла.

Посещение кардинала было неприятно королеве Ортруде. Она не любила этого лукавого старика. Но она приняла его любезно, как и подобало его высокому положению в церкви. Королева Ортруда сразу поняла по выражению лица кардинала, что он скажет ей что-то неприятное. Таким неискренним и напряженным было выражение румяного лица этого князя церкви, тучное тело которого свидетельствовало о его любви к благам жизни. Хитрая, притворно-льстивая улыбка змеилась на чувственно-алых губах кардинала. Голос у него был тихий, змеино-вкрадчивый. Так крокодил ласково и тихо говорил бы, если бы ему надо было словами улещать свои жертвы, прежде чем полакомиться ими. Острый взор блестящих глаз сверкал порою из-за полуопущенных ресниц. Кардинал говорил:

— Бог изменяет течение времен. Предкам вашего величества церковь говорила от лица всемогущего Бога.

Кардинал сделал значительную паузу, и королева Ортруда спросила:

— А вы, ваше преосвященство?

— Конечно, и я также, — ответил кардинал, — но я прибавлю к моим представлениям вашему величеству и новый аргумент.

— Какой? — спросила королева Ортруда очень тихо и спокойно.

В ее улыбающихся устах краткость этого вопроса, произнесенного небесно звучащим голосом, не казалась нелюбезною. Кардинал говорил:

— Народ, наш добрый и благочестивый народ, недоволен некоторыми прискорбными вольностями в поведении вашего величества.

— Да? Неужели? — спросила королева Ортруда.

Легкая, очаровательно-любезная улыбка смягчила слегка насмешливый тон ее слов. Кардинал продолжал:

— Говорят в народе, что эти вольности, — простите, государыня, — оскорбляют добрые нравы.

Королева Ортруда спокойно сказала:

— Я вижу, что вы хотите говорить со мною о нравственности.

— Да, — сказал кардинал, слегка наклоняя голову. — И я льщу себя надеждою, что ваше величество послушаетесь голоса святой матери нашей, церкви.

Королева Ортруда холодно спросила:

— Вы хотите, чтобы я послушалась голоса церкви в том, что относится к моему поведению? И чтобы я признала, что поступаю дурно?

Удивление и неудовольствие слышались в звуке ее голоса. Кардинал ответил:

— Да, государыня. Ваши поступки, к сожалению, бывают иногда столь смелы, что переходят уже в область запрещенного правилами доброй нравственности.

— Например? — спросила Ортруда.

Лицо ее было спокойно, и уже улыбки не было на ее губах. Кардинал помолчал немного и с легкою запинкою заговорил:

— Верующих смущает, государыня, ваша близость с Афрою Монигетти. Дочь открытого врага и хулителя святой церкви Христовой, она унаследовала его ненависть к христианству. Говорят, что она, несмотря на свою молодость, оказывает дурное влияние на ваше величество и обучает вас нечестивому ритуалу.

Королева Ортруда сказала просто и спокойно:

— Я люблю Афру.

— Это очень жаль, — говорил кардинал. — В интересах церкви и государства и в ваших собственных интересах вашему величеству было бы лучше расстаться с этою прекрасною аморалисткою, и расстаться как можно скорее.

— Зачем? — гневно спросила королева Ортруда.

Кардинал торжественным голосом ответил:

— Чтобы не навлекать на себя праведного гнева Господня. Пути Господни неисповедимы, но и слабый разум человеческий, просветленный благочестием и верою, различает иногда признаки Божьего гнева и Божией милости. Неплодие женщин бывает иногда указанием на немилость Всевышнего. Народ ропщет, что все еще нет наследника престола.

Презрительная улыбка легла на алые губы королевы Ортруды. Холодно глядя прямо навстречу острому блеску глаз кардинала, она спросила:

— Что еще хотите вы поставить мне в упрек?

Кардинал говорил:

— Верующие смущены также и основанием учебно-воспитательного заведения, названного Лакониумом, где все проникнуто языческим духом и где нагие отроки и девы, как говорят, воспитываются вместе до такого возраста, когда эта откровенная близость может быть уже опасною для их нравственности. Говорят и о многом другом.

— А именно? — холодно спросила королева Ортруда.

Придавши лицу выражение смущения и неловкости, выражение, вовсе не идущее к его благодушной, румяной сытости, кардинал говорил, понижая голос:

— Говорят, что королева собирает женщин и девиц и пляшет вместе с ними голая, как вавилонская блудница. Говорят, что, не довольствуясь для этих неистовых забав залами замка, королева выходит на морской берег и обнаженная пляшет там при народе.

Гневно краснея, сказала королева Ортруда:

— Пусть говорят! Пусть лучше говорят о моих радостях, чем о моем горе и о моих слезах.

Кардинал возразил:

— Тела первых людей в раю были наги, но в нынешнем греховном состоянии рода человеческого нагота тела соблазнительна и безнравственна.

— Почему? — спросила королева Ортруда. — Если я сниму одежды и нагая моему народу явлюсь, почему это нехорошо? Я люблю мою красоту и готова радовать ею всех.

Кардинал сказал сурово:

— Это осуждено Богом и людьми.

Королева Ортруда, насмешливо улыбаясь, спросила:

— Богом, создавшим это тело?

Кардинал говорил тоном наставника:

— Изгнавши праотцов из рая, Бог повелел им носить одежды, потому что, совершивши грех, они познали стыд.

Королева Ортруда возражала:

— Простодушные люди в жарких странах, люди, которых мы называем дикими, ходят же голые и не стыдятся этого, хотя чувство стыда не чуждо им.

— Так, государыня, — ответил кардинал, — но цивилизация приучила людей из стыдливости носить одежды и стыдиться наготы. Соблазны обнажения осуждаются, таким образом, и Богом, и людьми.

— И людьми! — воскликнула королева Ортруда. — Да разве люди бестелесны! Не потому ли и соблазняет их нагота, что они привыкли носить одежды? Тайною привыкли люди облекать свое тело, и мысли, и дела свои, но противна истине тайна. Только злое дело и порочная плоть боятся света.

Кардинал говорил:

— Люди считают наготу соблазнительною. Правы они или нет, — все равно. Важно то, что нагое тело является для многих источником соблазна. О соблазне и в Писании сказано: если око твое соблазняет тебя, вырви его. Сказано там: горе миру от соблазнов. И особенно повелевается оберегаться от того, чтобы соблазнять малых, детей и простонародье, по своей психике подобное детям. Если кто соблазнит

единого из малых сих, лучше было бы ему, если бы он с тяжелым камнем на шее был брошен в воду. Таково относительно соблазнов учение Христа, и так оно сохраняется святою церковью Христовою.

Королева Ортруда сказала:

— Каждый думает по-своему. Меня нагота не соблазняет; она меня только возбуждает и веселит, как вино, — и я хочу наготы и красоты телесной.

Кардинал возразил:

— Выше наших хотений стоит наш долг. За добрые дела мы ждем награды, а злые дела навлекают на нас кару.

— Какая же она бедная и слабая, ваша мораль! — презрительно сказала королева Ортруда. — Нет, моя свободная мораль не знает санкций и обязательства. Добрая природа создала меня невинною, и узы ваши способны только исказить черты природной, милой чистоты.

С видом сердечного сокрушения ответил кардинал:

— Если бы идеи, развиваемые вашим величеством, к несчастию, восторжествовали, то это повело бы к полному упадку морали и религии.

Королева Ортруда сказала решительно:

— Нет, в моей свободе я вижу обещание расцвета морального и религиозного творчества. Насилие в вопросах морали немыслимо. Если вы принуждением заставите людей быть нравственными, — какая же будет цена этой нравственности?

— Вы ошибаетесь, государыня, — возразил кардинал, — мораль основана всегда на понятии долга, в понятии же долга неизбежно присутствует элемент принуждения. Человек всегда слаб и немощен, — святая церковь указывает ему верные пути к спасению.

— Было время, — сказала королева Ортруда, — когда и я подчинялась указаниям церкви и смирялась под суровою дисциплиною моего духовника. Но теперь я не хочу предуказанных путей, и властолюбие служителей церкви стало мне ненавистным.

Кардинал сказал, как поучающий:

— Но иначе невозможно спастись и войти в царство небесное.

С досадою ответила ему королева Ортруда:

— Я и не хочу спасаться в вашем смысле этого слова. Я не хочу воскресения, мне не надо рая. Хочу жить свободно и свободно умереть.

На лице кардинала изобразился ужас, точно он услышал страшное кощунство. Он сказал, крестясь благоговейно:

— О ваше величество! Это — слишком смелые слова. Да сохранит нас Бог от того, чтобы эти речи услышал кто-нибудь из ваших подданных.

Королева Ортруда горячо говорила:

— Лучше я буду грешницею по своей воле, чем склоняться под вашею ферулою. Я слишком выросла для этого. Я не хочу, чтобы меня пасли. Между мною и моим Богом нет и не должно быть никакого посредника.

Кардинал сказал строго и внушительно:

— Вы проповедуете лютеранство, государыня!

Королева Ортруда засмеялась.

— О нет, — живо сказала она. — Я очень далека от этих благочестивых ересей.

— И даже, государыня, — с выражением ужаса говорил кардинал, — говорят о вашем люциферианстве!

— Ни лютеранкою, ни люциферианкою, — сказала королева Ортруда, — я хочу быть только человеком. Свободным человеком.

Кардинал снисходительно улыбнулся и сказал:

— Но вы, государыня, не только человек. Вы — королева и вы — женщина!

Королева Ортруда спросила с удивлением:

— А королева — не человек?

— Кто имеет верховную власть над людьми, — говорил кардинал, — тот более чем человек. Он к ангелам приближен, и благие мысли внушает ему Бог. Человек прост и покорен; он боится строптивой мысли, и за всю свою преданность и малость он требует от своих вождей и повелителей только величия. Короли не должны никогда забывать, что они более чем люди.

— И что им большее позволено? — спросила королева Ортруда.

— И область позволенного, и область запрещенного, — ответил кардинал, — для них шире, чем для других людей, потому что вся сфера их деятельности шире.

— Если так, — сказала королева Ортруда, — то церкви ли судить меня! О том, хороша ли я как королева, может судить только мой народ в его целости.

— Короли призваны подавать высокие примеры своим народам, — сказал кардинал. — Короли судят, народы повинуются. Не дай Бог, чтобы в нашей стране стало наоборот.

Королева Ортруда повторила:

— Пусть меня судит мой народ. Не надо мне иного судии, и не хочу иного.

— Народ осудит, — строго сказал кардинал.

— Вы позаботитесь об этом? — презрительно спросила королева Ортруда.

Кардинал смиренно склонил голову и сказал:

— Мой долг — говорить то, что повелевает закон святой церкви Христовой.

Королева Ортруда встала.

— Я очень жалею, — сказала она, — что наш разговор не указал ничего, на чем я могла бы согласиться с вами.

Кардинал с видом благочестивого сокрушения благословил королеву Ортруду и ушел. Он и не ждал иных последствий от этой беседы: раскаяние королевы Ортруды было бы чудом, и о таком чуде кардиналу не хотелось молиться. Это чудо не было нужно для тех интересов, которые заботили кардинала.

Скоро слухи об этом разговоре стали распространяться в народе.

## Глава шестьдесят третья

Разрыв принца Танкреда с Имогенею Мелладо оживил надежды графини Маргариты Камаи. Она стала вновь добиваться сближения с принцем Танкредом. Но принц Танкред уже опять увлекся новою

красавицею, молодою еврейкою с томными глазами и ленивым гортанным говором, женою инженера, добивавшегося какой-то концессии в Африке. С этою красавицею познакомила принца Танкреда опять все та же маркиза Элеонора Аринас на одном из своих вечеров. Весь отдавшись новым чарам, принц Танкред был совершенно холоден к Маргарите. Ее бестактная навязчивость угнетала Танкреда.

После одной неприятной встречи с Маргаритою принц Танкред приехал днем к королеве Кларе. По легким, едва уловимым признакам королева Клара поняла, что принца Танкреда что-то волнует. Она спросила:

— У вас опять какая-нибудь неприятность, милый Танкред?

Принц Танкред грустно улыбнулся, вздохнул и ответил:

— Графиня Маргарита Камаи чрезмерно надоедает мне. Она очень навязчива, но не очень умна. Она не хочет понять, что все на свете кончается.

Королева Клара просто и спокойно сказала:

— Пусть ее убьют. Она вредная и злая женщина и может сделать вам еще много затруднений.

Жестокая по природе, королева Клара без ужаса думала об убийствах. Она была уверена, что цель оправдывает средства.

Принц Танкред улыбнулся спокойно, поцеловал руку королевы Клары и заговорил о другом. Участь Маргариты Камаи была в эту минуту решена. В тот же вечер начальник тайной службы при принце Танкреде получил должные указания.

На другой день королева Клара пришла исповедоваться в капеллу своего дворца. Мил и радостен был теплый мрамор колонн, улыбалась венчанная золотом мраморная Мадонна, и с мудрою благосклонностью умирал на черном кресте желто-белый Христос. Светлая тишина благостно наполняла капеллу, — и только двое были в ней, патер и королева. С сердечным воздыханием и со слезами, утопая коленями в мягкой упругости красной бархатной подушки, королева Клара говорила молодому, красивому иезуиту:

— Я дала злой совет с благою целью. Возлюбленного сына моего принца Танкреда, столь ревностного к процветанию святой церкви,

преследует грешною любовью графиня Маргарита Камаи. В минуту слабости моего любезного сына Маргарита обольстила его злыми очарованиями. Когда же он раскаялся и отверг ее, она не смирилась и не последовала его благому примеру. Она распускает о Танкреде злые, лживые слухи, она поссорила его с королевою Ортрудою, и от этого положению Танкреда грозит большая опасность. Я даже боюсь, что принц Танкред, этот верный и преданный сын церкви, будет вынужден покинуть нашу бедную страну, и святая церковь на Соединенных Островах лишится своего доблестного защитника. А это особенно печально в наши дни, когда семена неверия и мятежа так усердно сеются врагами церкви и государства. И вот я дала совет убить эту злую, нечестивую женщину. На моей душе будет великий грех, но этим грехом я освобожу от злой распутницы и принца Танкреда, и ее несчастного, обманутого мужа и послужу славе церкви нашей.

Легкий стыд и сладострастный, как всегда на исповеди, приятно волновал королеву Клару. Сладострастие томило ее жгучими и пряными своими соблазнами. Разжигая в душе своей подобие страха, с притворным сокрушением кающейся грешницы смотрела королева Клара на красивое, строгое лицо духовника с пламенными черными глазами.

Духовник говорил ей:

— Всемилостивый Господь Бог наш видит с высоты небес сердца и помышления наши и оценивает дела людей по их намерениям. Вменяя ни во что даже и добрые дела еретиков, неверных и иных врагов церкви, Он милосерден к прегрешениям верных чад церкви Христовой, и особенно милостив к тому, кто и греха не убоится для наивящей славы Божией. Неложно сказано: только тот спасет свою душу, кто погубит ее. За помышление злое я наложу на вас эпитимию и разрешу вам грех, благая же цель злого дела милосердным Богом будет зачтена вам в заслугу.

Злые мысли носились в те дни по воздуху, словно демоны вулкана торопливо сеяли их в смятенные сердца людские.

Вечером королева Ортруда, уже влюбленная в Астольфа Нерита, призвала его к себе. Лаская, она спрашивала его нежно:

— Милый Астольф, ты любишь меня?

— Люблю, — страстно сказал Астольф. — Люблю, — повторил он и от восторга и от волнения не знал, что еще сказать.

— Все для меня сделаешь? — спросила королева Ортруда.

Она побледнела, и робкая мольба звучала в ее голосе. Астольф, трепеща от счастия, говорил:

— Все, все для тебя сделаю! Только скажи.

Королева Ортруда внимательно и тревожно смотрела на него. Какое-то злое внушение, еще неясное ей самой, мучительно томило ее. Она спрашивала себя: «Что могут сделать для меня эти руки? Руки преданного, унаследовавшего верность многих поколений слуги?»

В памяти королевы Ортруды вдруг возник ненавистный образ графини Маргариты Камаи. Ярко и больно ожила в душе королевы Ортруды память того дня, когда отняли от Ортруды счастливое ее неведение, когда узнала она об изменах ее Танкреда, когда навеки затмился для нее облаком дымным и смрадным светлый, солнечный образ ее героя.

Королева Ортруда обняла Астольфа, прильнула к его уху, шепнула едва слышно:

— Убей графиню Маргариту Камаи.

И, отклонившись от Астольфа, сказала вслух:

— Отомсти за меня, Астольф. Отомсти!

Астольф задрожал. Королева Ортруда отошла от него и у зеркала поправляла свои волосы. Пальцы ее рук слегка вздрагивали, погружаясь в ночь темных кос. Астольф смотрел на нее в ужасе. В зеркале видела королева Ортруда его побледневшее лицо, его напряженный взор. Черные глаза Астольфа казались ей огромными; две фиолетово-оранжевые тени темнели под ними, и тяжелые брови, черные, сходились, морща смуглость лба тенями раздумчивых складок.

Королева Ортруда печально вздохнула. Говорила тихо, отрывисто, словно задыхаясь:

— А, ты не хочешь! Не хочешь! Конечно, это — грех. И не надо, если не хочешь. Я думала, ты меня любишь. Я думала, ты меня хочешь. Но ты не хочешь.

Лицо Астольфа озарилось темною радостью, и злые огни жестокой воли зажглись в глубине черных пламенников его зардевшегося темным румянцем смуглого лица.

— Хочу, хочу! — воскликнул он.

Королева Ортруда говорила:

— Если ты это сделаешь, я буду твоя. Ты будешь приходить ко мне всегда, когда захочешь, и будешь делать со мною все, что хочешь. А я научу тебя радостным играм и забавам любви. Я подарю тебе дни светлых ожиданий и ночи легкого счастия, если ты сделаешь это для меня.

Астольф, улыбаясь, погруженный в сладкую задумчивость, смотрел на королеву Ортруду. Она обняла его и тихо спросила:

— Милый Астольф, ты боишься греха?

Целуя ее похолодевшую от волнения щеку, сказал Астольф:

— За тебя, Ортруда, я и душу погубить готов.

— Грех на мне, — говорила королева Ортруда, — я тебя посылаю.

Недолгою была быстрая смена чувств и мыслей в душе Астольфа, — и уже думал Астольф, что за один ласковый взгляд королевы Ортруды стоит отдать все радости жизни, и самую жизнь, и все утешения светлого рая.

— Да, Ортруда, — сказал Астольф, — я сделаю это.

Как тогда королева Ортруда, он приник к ее уху и тихо-тихо прошептал:

— Я убью графиню Маргариту Камаи. Я отомщу за тебя.

Отойдя от королевы Ортруды, чтобы видеть ее обрадованное, нежно улыбающееся лицо, Астольф сказал громко:

— В эту же ночь.

И уже он был в восторге, что исполнит волю королевы Ортруды. Словно мгновенная зараза, охватила его душу ненависть к злой Маргарите Камаи, которая омрачила печалью его добрую, милостивую госпожу королеву Ортруду.

Была ночь, темная, благоуханная, жаркая. Раздражающим пряным запахом крупных белых и оранжевых цветов полон был влажный воздух.

Астольф один шел по дальним улицам столицы, по одежде похожий на простого мальчишку, который возвращается из города в рыбачью слободу под Пальмою. В складках широкого пояса он прятал небольшой, узкий, с обеих сторон острый кинжал. Он не боялся, что его узнают, — улица в тихом приморском предместье Пальмы, где стоял окруженный широким садом дом графа Камаи, была тиха и безлюдна.

В эту же ночь около дома графа Камаи бродил наемный убийца, поджидая часа, когда все вокруг совсем затихнет. Его подкупили на убийство графини Маргариты Камаи тайные агенты принца Танкреда.

Это был один из тех потерянных людей, которые шатаются утром в гавани, а вечером сидят в тавернах, ища более или менее легкого заработка и не брезгая ни воровством, ни убийством. При помощи таких людей нередко сводились слишком запутанные счеты, и непримиримая вражда порою разрешалась предательским из-за угла ударом кинжала. Профессиональная этика этих бездельников была очень строга. Они не выдавали никогда своих нанимателей. Впрочем, и искушений к тому почти не бывало, — убийцы эти попадались совсем редко. Полиция на Островах более любила следить за анархистами и социалистами, чем за убийцами и ворами. Воры и грабители были даже выгодны для низших полицейских агентов, — при дележе награбленного перепадало и блюстителям порядка.

Разбойник уже собирался приступить к своему делу. Вдруг он услышал легкий звук шагов по плитам тротуара к увидел тихо подходившего к дому мальчика, лицо и ноги которого смутно белели в темноте. Разбойник отошел от дома. Он знал свое ремесло, прятался искусно, и потому Астольф не увидел его, подходя к дому графа Камаи. Разбойник ждал, когда мальчик пройдет мимо, и удивился, увидевши, что Астольф остановился у этого же дома.

Астольф стоял у калитки, ведущей в сад, и соображал, как удобнее перелезть через железную решетку. На всякий случай он взялся за ручку калитки, попробовать, не откроется ли она.

Разбойник, притаившись за выступом стены соседнего дома, размышлял: «Кто же это? Мальчишка, которого послали воры на

разведку, а при удаче и на промысел, — или слишком молодой любовник?»

Астольф радостно удивился: калитка в сад оказалась не замкнутою на ключ. Об этом заблаговременно позаботились организаторы убийства. Они зазвали садовника и его помощника в кабачок, притаившийся в одном из узких, грязных переулков близ торговой гавани, и так подпоили обоих, что ленивые слуги забыли о своих обязанностях. Когда кабачок поздно ночью закрывался, оба они уже были мертвецки пьяны. Собутыльники кое-как вытащили их из кабачка, взвалили на плечи, отнесли подальше, к каким-то загородным пустырям, и там оставили их мирно спящими в канавке под забором.

Разбойник неотступно следил за Астольфом и прокрался за ним в сад.

Астольф тихо шел вдоль темного дома по теплым росам трав, чтобы его ноги не оставили следов на тонком песке аллей. Он смотрел, где удобнее проникнуть в дом. Одно окно показалось ему закрытым неплотно. Астольф влез на выступ стены и толкнул раму. Она открылась. Астольф пробрался в дом. За Астольфом влез в то же самое окно и разбойник.

По темным комнатам осторожно шел Астольф. Он не знал расположения комнат, и потому раза два или три пришлось ему возвращаться назад. Не подозревал Астольф, что за ним крадется убийца.

Вот и спальня графини Маргариты, и в глубине против окон — кровать. Огонек зеленой лампады мерцал слабо и бросал на все предметы неверный, коварный свет. В теплой темноте, напоенной пряными благоуханиями изысканных духов, слышалось ровное дыхание Маргариты.

Астольф осторожно подвигался вперед. Он задел какой-то легкий стул у окна. Ножки стула с легким шумом передвинулись по скользкому паркету. Маргарита проснулась и спросила сонным голосом:

— Это ты, Роберто?

Астольф ответил тихо, голосом сдавленным, глухим от волнения:

— Это — я.

Решительно и быстро Астольф подошел к кровати, напряженно всматриваясь в белевшуюся на ней смутно женщину, полуприкрытую легким белым покрывалом.

— Спать не даешь, — ворчала Маргарита.

Астольф, держась за рукоять кинжала и дыша возбужденно и часто, наклонился над Маргаритою. Она лежала на спине, закинув под голову тонкие, смуглые руки. Лицо ее с полузакрытыми глазами казалось бледным и неживым.

Вдруг темный страх резко и зло схватил Маргариту за сердце. Глаза ее широко раскрылись, черные, чернее, чем ночь, — и она всмотрелась в чужое, в полутьме наклонившееся над нею лицо. В горле, словно сдавленном чьею-то рукою, стало сухо. Маргарита спросила тревожно:

— Кто это?

Хриплый голос ее был тих, — липкий страх заливал горло, душил грудь и мешал языку двигаться. Чужой молчал. Огромные глаза его были беспощадны. В движении его рук около пояса было что-то непонятное, страшное.

Маргарита сделала порывистое движение, чтобы подняться. Но Астольф выхватил кинжал из ножен и быстрым движением слева направо разрезал ее горло. На руки Астольфа брызнула теплая, липкая влага. Маргарита слабо забилась и вдруг словно застыла. Слышалось прерывистое хрипение, — но и оно скоро затихло.

Разбойник стоял, таясь в углу.

Астольф торопливо и осторожно убегал. На коврах темных комнат были бесшумны его быстрые ноги.

Разбойник подошел к постели. Тело Маргариты холодело.

— Сделано чисто, — еле слышно проворчал разбойник. — Смелый чертенок!

Разбойник принялся осторожно шарить в этой комнате и рядом, ища, что бы можно было захватить ценного и некрупного. Острый, трусливый огонек потайного фонаря шмыгал по полу и стенам, как огненный призрак лукавой домашней нежити.

Потом разбойник выбрался из дому тем же путем.

## Глава шестьдесят четвертая

Вечерние горели огни, и краски всех предметов при огнях изменились, жесткими стали, томящими взор. Королева Ортруда смотрела на ярко-красный цветок в волосах камеристки Терезиты, на ярко-смуглый румянец ее щек, на ее дебелую шею, слегка изогнутую вперед, — и все тяжелое, сильное, ловкое тело молодой вдовы рождало в душе Ортруды странную зависть.

«Забыла Терезита своего мужа, бравого сержанта, — думала королева, — и другие утешают ее. И жизнь для нее легка».

Спросила:

— От кого, Терезита, этот цветок в твоих волосах? Милый подарил?

Ответила Терезита, — и непривычною печалью звучали низкие звуки ее голоса:

— Сегодня память королевы Джиневры.

Села у ног королевы и говорила тихо:

— Любила, — и убила. Посмела убить.

Тихо сказала Ортруда:

— Нельзя убивать того, кого любила.

Терезита смотрела в лицо королевы Ортруды, и жалость была в глазах Терезиты и преданная любовь. И тихо, тихо сказала Терезита:

— Пошли меня, милая королева, — я вырежу его сердце и принесу его тебе на конце кинжала.

Ортруда встала. Сказала сурово:

— Я знаю, ты меня любишь. Но этого не надо.

Приподнялась Терезита, стояла на коленях и с тоскою смотрела в лицо королевы Ортруды. Ортруда сказала:

— Иди.

Поздно вечером королева Ортруда была одна. Тоска томила ее, тоска воспоминаний и предчувствий.

Королева Ортруда думала о том, что умрет графиня Маргарита Камаи. Древняя, жестокая душа, разбуженная в ней, трепетала от злой радости и от звериной, дикой тоски, — душа королевы Джиневры, цар-

ствовавшей за много столетий до Ортруды. И вспомнила королева Ортруда жестокую повесть жизни королевы Джиневры.

Как и Ортруда, королева Джиневра унаследовала престол своего отца и была обвенчана с чужестранным принцем. Этот принц, как и Танкред Ортруде, изменял Джиневре. И, как Ортруда, долго оставалась Джиневра в счастливом неведении. Однажды застала королева Джиневра своего мужа в объятиях одной из придворных дам. Обезумев от ревности и от гнева, королева Джиневра вонзила свой кинжал в сердце вероломного мужа и злую разлучницу тем же умертвила кинжалом.

Рыцари и монахи, друзья убитого принца, низвергли Джиневру с престола и судили ее, и свиреп был приговор их. Джиневру вывели нагую на площадь и беспощадно бичевали на том месте, где стоит ныне ее статуя. Плакали многие в толпе, жалея любимую королеву, но вступиться не посмел никто. Потом Джиневру заточили в монастырь, где злая игуменья подвергала ее жестоким истязаниям и унижениям. Но вскоре Джиневра была освобождена оттуда своими друзьями и еще долго и со славою царствовала.

Душа, прошедшая весь пламенный круг любви и злобы, нестерпимых страданий и высокого торжества, душа Джиневры оживала теперь в груди королевы Ортруды. Думала королева Ортруда: «Вот путь мой, — ступень за ступенью к смерти. Настанет скоро день, — умру и я под кинжалом убийцы. Или казнят меня за что-нибудь по приговору революционного трибунала, — и отрубленная острым ножом гильотины голова моя упадет в пыль торговой площади. Что ж, умру спокойно».

Раздался легкий стук в дверь. Странно и жутко прозвучал он в ночной тишине древнего замка.

— Войдите, — сказала королева Ортруда.

Терезита открыла дверь, впустила Астольфа и скрылась. Но успела заметить королева Ортруда выражение свирепой радости на угрюмом лице верной служанки.

Вошел Астольф, бледный и радостный, в той же простой, короткой одежде, в которой проник он в дом графа Камаи.

Королева Ортруда задрожала. Смешанное, темное чувство охватило ее. Страх перед убийцею, любовный восторг перед ним, кровавое сладострастие, ненависть к убитой, радость мести, тоска о злом деле — все в сердце королевы Ортруды смешалось в какую-то дьявольскую, пряную, горькую смесь. Широко открытыми глазами смотрела королева Ортруда на подходившего к ней Астольфа. В руке Астольфа было что-то, обернутое в белый платок, в белый с темными пятнами платок.

Королева Ортруда спросила:

— Что это?

Голос ее был страстно звучен, и тонкие руки ее дрожали. Уже знала королева Ортруда, что она увидит сейчас, знала, что покажет ей Астольф.

Астольф неторопливо развернул платок и показал королеве Ортруде кинжал. На лезвие кинжала темнели свежие пятна крови. Тихо сказал Астольф:

— Я убил графиню Маргариту Камаи.

На лице его изображалась дикая радость.

И уже спокойно улыбалась королева Ортруда, и радостно смотрела на Астольфа и на его кинжал. Астольф зарделся вдруг, устремил на королеву Ортруду нетерпеливый, страстный взор и сказал ей нежно и дерзко:

— А когда же мне будет награда, милая Ортруда?

Королева Ортруда улыбнулась нежно и грустно. Шепнула:

— Награжу. Не бойся.

Она взяла Астольфа за плечи и привлекла к себе. Целовала лицо Астольфа. Целовала его руки.

И долго в тот вечер, и страстно королева Ортруда целовала и ласкала Астольфа.

Когда Астольф ушел, королева Ортруда долго не могла заснуть и сидела, мечтая нежно и жестоко. И думала королева Ортруда: «Вот и еще одна ступень к моей смерти — Астольф, отрок с окровавленными по моей воле руками».

Шептала:

— Что скажешь мне ты, Светозарный?

Утром нашли в постели труп графини Маргариты. По-видимому, убийство совершено было с целью грабежа. Было украдено несколько драгоценностей и сколько-то денег. Но граф Роберт Камаи был уверен, что это — дело агентов принца Танкреда. Никому не говорил он о своих подозрениях, но таил жажду мести.

Об убитой жене граф Камаи не очень сокрушался. Любовные связи между ними уже давно порвались, а строптивый характер Маргариты нередко бывал причиною неприятных размолвок и ссор. Но в этой женщине граф Камаи терял верную пособницу его карьере, — и еще не мог он учесть, как эта смерть отразится на его положении.

Конечно, граф Камаи притворялся, что он убит горем.

Весть о смерти графини Маргариты Камаи быстро разнеслась по городу. Почему-то все в городе говорили, что графиня Камаи убита по приказанию принца Танкреда. И никого это не удивляло.

Говорили одни:

— Так ей и надо!

Говорили другие:

— От этого человека чего же иного можно было бы ждать!

Друзья принца Танкреда уверяли, что это — дело анархистов. Никто, конечно, не верил.

Общая уверенность в том, что в убийстве графини Маргариты Камаи замешан принц Танкред, была так велика, что полиция и судебные власти не особенно усердствовали в расследовании дела. Было сделано, по-видимому, все, что предписывается для таких случаев законом, — но все это делалось только формально, и сыщики не проявили свойственной им проницательности.

По приказу судебного следователя арестовали садовника и его помощника. Но ни один из них не мог сказать ничего путного о людях, которые их напоили. Не могли указать даже таверны, где они пьянствовали, и сбивались в числе своих собутыльников.

Садовник говорил:

— Было их двое, оба с черными бородами.

Его помощник говорил:

— Нет, их было трое, — двое черных и один рыжий, в очках.

Садовник говорил:

— Рыжий в очках пришел позже.

Его помощник спорил:

— Позже пришел четвертый, бритый.

Тогда предположили, что эти сообщники-убийцы были искусно загримированы.

Дело заглохло бы понемногу. Но им занялись оппозиционные газеты. Какому-то ловкому репортеру посчастливилось даже открыть наемного убийцу. Из этого, конечно, ничего не вышло, — разбойнику дали еще денег и помогли эмигрировать в Аргентину.

С того дня каждый вечер Астольф приходил к королеве Ортруде, и они проводили вдвоем долгие часы, радостные для Ортруды и проникнутые жутким ужасом.

С образом Астольфа соединялось для Ортруды всегда представление о Смерти.

Ах, прекрасный образ Смерти для королевы Ортруды, — влюбленный в нее страстно и пламенно паж королевы Астольф! Лицо у него прекрасное и темное, лицо веселого мальчишки, загоревшего под солнцем; глаза у него черные и пламенные, глаза того, кто убивает; одежда у него белая и короткая, одежда пажа, который приходит услужить прекрасной даме; ноги у него обнаженные и стройные, ноги, чтобы легко и бесшумно под облаком дымным страшный пройти путь, из которого принесет верный капли крови королеве Ортруде, — кровь королевы Ортруды.

И ласкала Астольфа королева Ортруда, и, лаская, обнажала его тело, стройное, тонкое тело милого убийцы. Вся отдавалась ему, все одежды свои отбросив, нагая приникала к страстной теплоте его тела, — тело и душу предавая умерщвляющему нежно.

Астольф переживал тогда минуты сладчайших восторгов. Ярки и многоцветны были его мечтания — о бесконечности счастия с Ортрудою, для Ортруды. Сосуд многоценной крови, обнаженное тело королевы Ортруды радовало взоры Астольфа. О, это тело, которое так наслаждается и так страдает! и так услаждает, и так мучит! И этот

трепет дыхания в груди и в горле под яркими поцелуями жадных губ! И эта кровь, которую так страшно пролить и которой так жаждет душа умерщвляющего! И этот жуткий страх, и этот зыбкий стыд!

Смотрела на Астольфа королева Ортруда, любуясь, — и вдруг стыдно становилось Астольфу того, что они обнажены. Он прятался за тяжелыми завесами. Но был радостен и легок этот внезапный стыд.

Смеялась его стыду Ортруда, смеялся и он. Легким, зыбким смехом разрешался легкий, зыбкий стыд. И они играли и резвились, как шаловливые дети.

Иногда утром уходили они на берег моря и там, как дети, у воды смеялись и радовались, и чего-то искали в воде, и находили что-то. И плескуч был шумный смех волн, вечный смех стихии, и широк был ясный простор поднебесный.

Для королевы Ортруды готов был Астольф совершить всякое безумное и опасное дело и без конца умножать преступление. Не раз спрашивал он королеву Ортруду:

— Хочешь, Ортруда, для тебя я убью принца Танкреда?

Улыбалась королева Ортруда и говорила:

— Не надо, мой милый. Принц Танкред не уйдет от своей судьбы.

Однажды королева Ортруда привела Астольфа в огороженный высокою стеною участок королевского сада около ее мастерской. И сказала Ортруда Астольфу:

— Здесь, среди этих деревьев, под этим высоким небом я напишу картину, и ты будешь для нее моделью. Красота твоя будет жить в веках.

Астольф радостно покраснел. Королева Ортруда сказала:

— Разденься, Астольф.

Астольф радостно и поспешно повиновался. Королева Ортруда рассказала, как ему надо стоять. Нагой отрок с флейтою в опущенной руке прислонился к пальме и задумался. Тело его было прекрасно, — тело, созданное для игры, пляски и бега.

Охваченная волнением работы, Ортруда быстро зарисовала его фигуру, торопясь взяться за кисть. Застенчивый, тихий, стоял Астольф, — и застенчивая, тихая мечта мерцала в черной тьме его широких глаз.

Выражение застенчивости перенесла Ортруда и на картину. Нагой и смуглый, как живой возникал он под ее уверенною, нетороплививою кистью.

Было тихо. Ничей нескромный, враждебный взор не мешал творчеству любви и красоты, и никто не говорил темных, тусклых слов.

Дракон небесный смеялся в багряно-голубой вышине, словно он знал, что будет. Но он не знал. Только творческая мечта поэта прозревает неясно дали незаконченного творения.

Вероника Нерита скоро узнала, — конечно, позже посторонних, — о связи ее сына с королевою Ортрудою. Тщеславная женщина радовалась этому чрезмерно. Она думала, что связь с королевою принесет их семье большие милости и выгоды. Уже она распустила яркие павлиньи перья высокомерия и думала, что все матери в Пальме завидуют ей.

Но старый гофмаршал Теобальд Нерита не радовался. Он думал, что королева Ортруда огорчена открытием любовных похождеиий ее мужа и потому ищет забвения и развлечения в мимолетных связях то с одним, то с другим, — что она будет влюбляться еще во многих, постоянно томимая разожженною в ней страстностью, но никого надолго не полюбит, — что ее увлечение Астольфом будет так же кратковременно, как и ее связь с Карлом Реймерсом, — и что конец этого нового ее увлечения будет так же печален.

Старый гофмаршал позвал к себе сына и говорил ему строго:

— Берегись, Астольф, ты стоишь на опасной дороге.

Астольф угрюмо смотрел вниз, багряно краснел и упорно молчал. Теобальд Нерита продолжал:

— Говорю тебе, Астольф, послушайся меня, избегай королевы Ортруды. Смотри, чтобы и с тобою не было того же, что с Карлом Реймерсом. Королева Ортруда любит красивых. Найдется человек красивее тебя и более подходящий к ней по возрасту.

Астольф молчал упрямо, и уныло склоненное лицо его не выражало ничего, кроме скуки.

Теобальд Нерита досадливо говорил ему:

— Что же ты молчишь? Скажи что-нибудь. Или сказать тебе нечего, и ты сам сознаешь, как нелепо твое увлечение?

Тогда Астольф поднимал на отца упорный взгляд широких глаз и говорил коротко:

— Ортруда меня любит, и я люблю Ортруду. Я не могу жить без Ортруды. Для Ортруды я готов на все.

Гофмаршал, покачивая головою, говорил:

— Глупый! Только и знаешь твердить: Ортруда, Ортруда, люблю, люблю. Скоро бросит тебя твоя Ортруда.

Астольф улыбался и отвечал отцу:

— Не знаю. Пусть бросит, если захочет. Пусть будет что будет. Теперь я счастлив. А потом хоть умереть, мне все равно.

Отец горько упрекал Астольфа.

— Не жалеешь ты старого отца, — говорил он. — Ты еще так молод. Тебе надо учиться.

Астольф отвечал угрюмо:

— Я учусь.

— Как ты учишься! — говорил Теобальд Нерита. — Голова у тебя набита глупыми мечтами, только Ортруда у тебя на уме. Не до книг тебе теперь. Хоть и тяжело мне будет на старости расставаться с тобою, но я все-таки отправлю тебя на днях доучиваться в Италию или во Францию.

Астольф отвечал решительно и резко:

— Ни за что не уеду отсюда. Лучше в море брошусь.

По мрачному блеску его глаз видел отец, что Астольф не задумается сделать, как говорит.

Такие разговоры повторялись часто и нередко заканчивались бурными сценами.

И другие невзгоды скоро стали омрачать счастие Астольфа.

## Глава шестьдесят пятая

Афра томилась в эти дни странною, жестокою ревностью. И раньше досадовала Афру любовь королевы Ортруды, сначала к принцу Танкреду, потом к покойному Карлу Реймерсу. Относительно принца

Танкреда эта ревнивая досада находила себе оправдание еще и в том, что Танкред обманывал королеву Ортруду, и в том, что он был ненавистен Афре. Любовь королевы Ортруды к Карлу Реймерсу жалила Афру больнее, и уже Афра понимала истинную причину этого темного чувства. И вот теперь нестерпимо горька стала Афре любовь королевы Ортруды к этому красивому, страстному мальчишке.

Уже давно поняла Афра, как сильно то странное чувство, которое привязывает ее к королеве Ортруде и которое влечет ее нежные уста к целованию Ортрудиных ног. Но только теперь эта неясная дотоле влюбленность в королеву Ортруду зацвела в Афре багряным цветом. Любовью разжигалась в ее сердце ревность, — ревностью еще пламеннее разжигалась любовь.

Одиноко переживала Афра свои ревнивые муки, гордо скрывая их ото всех. Да и кому же о них рассказать? Разве самой Ортруде пожаловаться? Но какая же в том польза! Да еще и поймет ли королева Ортруда признания Афры? Может быть, только удивится этой неожиданной страсти, может быть, только улыбнется.

Но все-таки порою Афра не могла удержаться и невольно проявляла свою ревность — неловкостью движений, смущенностью взглядов, и даже иногда неожиданно-резкими словами, вызывавшими недоумевающий взор королевы Ортруды.

Тихий вечер, мглисто-золотой и алый, плыл над землею, облелеянною теплою влагою. Солнце быстро склонялось к закату. Королева Ортруда и Афра одни шли медленно по ясным аллеям королевского сада. Как тихий сон все было вокруг них. Земля и трава казались синевато-красными в скользящих косвенно и низко лучах багряного заката. Листва деревьев окрасилась пепельно-голубыми и сероватыми тонами.

Восхищенными глазами смотрела Афра на королеву Ортруду и любовалась ею, идущею тихо в багряных лучах заката. И знала Афра, что нежная мечта в душе королевы Ортруды зажжена образом милого пажа Астольфа, и потому так мечтательно мерцают глаза тоскующей Ортруды. Тихою тоскою и ревнивою грустью полно было смятенное сердце Афры.

Королева Ортруда сказала:

— Посмотри, Афра, какая здесь красная земля и какая здесь угрюмая зелень! Словно кровавый дождь прошел здесь недавно и еще не выпила крови пресыщенная земля.

Афра отвечала:

— Сквозь легкий дым и пепел вулкана так багрово светит солнце. Твоя белая одежда, Ортруда, вся пламенеет, как багряница.

Образы убитых и умерших опять вставали в душе королевы Ортруды. Больно и горько ожили воспоминания дел порочных и жестоких. Какая грусть!

— Мы несчастны и порочны, — говорила королева Ортруда, — и земля наша залита кровью. Но придут иные поколения, — на земле будут жить счастливые, чистые люди.

Утешающая мечта, тебя зовут настойчиво, тебя творит печаль!

— Они придут, эти счастливые, чистые люди, — сказала Афра, — только потому, что мы живем. И они будут такими, какими мы их воображаем, потому что это наша воля хочет воплощения нашей мечте.

Радостно развивая радостное оправдание зла и несовершенств нашей жизни, говорила королева Ортруда:

— Так, Афра, это верно и радостно. Всю звериную злобу первобытной, дикой земли мы изжили, а тех, кто приходит после нас, мы, хотя и злые сами, увлекаем в наше устремление от зверя к божеству. Жестокую нашу душу мы преобразим в дыхание ароматов, потому что смрад наших дел сгорит в огне наших непомерных страданий.

— Все, что мы можем дать будущим, — сказала Афра, — это наша суровая и прекрасная работа, подвиг нашего устремления.

Королева Ортруда сказала с мечтательною улыбкою:

— О чем я мечтаю всегда, это о воспитании суровом и прекрасном.

— Путь сурового и прекрасного воспитания один, — сказала Афра, — в простодушной телесной наготе.

— В моем Лакониуме, — говорила Ортруда, — мальчики и девочки будут жить вместе, всегда нагие, как первые люди в раю. Кардинал жестоко упрекал меня за это.

Афра улыбнулась презрительно и сказала:

— Он не может и не хочет понять, что земной рай не в прошлом, а в будущем человечества. Нагие отроки и девы будут невинны и простодушны, как первые люди в раю, и нагота их будет целомудренна.

— Рай — сад, насажденный людьми, — тихо сказала королева Ортруда.

Солнце коснулось мглистой черты горизонта. Багровым и унылым стал его догорающий свет и грустные наводил мысли. Королева Ортруда призадумалась. Спросила:

— Афра, а что мы скажем, если в их душах зажжется страстность? И если сладострастие затлеется в их крови?

— Разве это страшно? — сказала Афра. — Я верю в целительные силы природы. Пусть сладострастие и похоть зажгутся, когда придет жестокая, страстная пора. В жестокости истощится сладострастие, суровое станет радостным, и, истощаясь в жестокости, само себя умертвит сладострастие. Разум человечества, вечно ведущий его вперед сквозь мрак и облак дымный к незакатному свету Истины, верховный Разум, которому мы поклоняемся и служим, светозарный и благостный, говорит нам, — и неложно его слово, — что экстазы пламенные есть и будут для очищений человека.

Опять обрадованная слушала Афру королева Ортруда, и опять милая в ее душе зажглась мечта и радостная.

— Как прекрасен Астольф! — мечтательно сказала королева Ортруда.

Жестокая! Она и не знала, какою болью сердечною ужалили эти слова Афру, так утешавшую ее в этот мглисто-тихий вечер.

— Ты любишь, Ортруда, этого мальчишку? — спросила Афра.

Голос Афры был сурово-жесток, и ревнивая злость зажглась в ее глазах.

— Люблю, — сказала Ортруда. — Люблю так, как еще никого никогда не любила. Словно полюбила в первый раз и в первый раз узнала, что значит любить. Но почему ты так опечалилась, Афра?

Почему ты спросила меня об этом таким гневным голосом? Почему так бледно и сурово твое лицо?

Афра молчала. Ревнивые слезы блеснули на ее ресницах.

— Ты ревнуешь? — печально спросила Ортруда. — Какая же ты глупая, Афра! Ведь я же и тебя люблю. Разве чувство наше не свободно? Разве душа у нас не широка, как мир? И даже больше мира она и вмещает в себя все творимое ею по воле. Я люблю тебя, Афра. А ты меня любишь?

Королева Ортруда нежно склонилась к Афре и целовала ее жаркие щеки, ее влажные от слез глаза.

— О милая Ортруда, как я люблю тебя! — воскликнула Афра.

И целовала руки и лицо королевы Ортруды. И к ногам Ортруды склонилась Афра, милые лобзая стопы.

Солнце скрылось; быстро темнело. Бесшумно и внезапно, в белой одежде пажа, подошел к ним Астольф. Он бродил задумчивый и грустный по аллеям, где сумрак сгущался, и увидел королеву Ортруду и Афру только тогда, когда подошел к ним совсем близко.

Увидел Астольф их поцелуи, слова любви услышал. И убежал, ревниво плача, и звук быстрых ног его по песку дорог был подобен плеску и шороху легких волн на песчаном берегу морском.

Недолго наслаждался Астольф счастием любви. Испуганный страстными ласками королевы Ортруды, отравленный легкими дымами далекого вулкана, скоро затосковал Астольф.

Нежность королевы Ортруды к Афре постоянно распаляла его тоску. Астольф зажегся жестокою ревностью. Он вспомнил тот разговор с Афрою, когда она говорила, что любит королеву Ортруду.

Ревность, преждевременная любовь, угрызения совести — все эти фурии терзали страстного мальчика.

Убитая им графиня Маргарита Камаи не давала теперь покоя Астольфу. Иногда по ночам она приходила к нему, — стонать на пороге комнаты, где он спал. Иногда Маргарита легкою тенью скользила мимо Астольфа в темных переходах древнего замка, зыбким смехом дразнила Астольфа и говорила ему:

— Зачем же ты убил меня? Королева Ортруда тебя разлюбила.

А королева Ортруда все сильнее с каждым днем чувствовала в себе влечение к Афре. И отрадные слова великой нежности были наконец сказаны.

Чувства Астольфа к Афре двоились: он ненавидел Афру за то, что ее любит Ортруда, — но и любил Афру, потому что и Ортруда ее любит и еще потому, что в самой Афре было для него какое-то очарование.

Картина, изображавшая Астольфа, была окончена.

— Тебе нравится, Астольф? — спросила королева Ортруда.

— О да! — воскликнул Астольф.

— В этой картине есть большой недостаток, — сказала Ортруда.

— В ней нет никакого недостатка! — возразил Астольф. — Она прекрасна.

— В самом замысле картины есть недостаток, — говорила Ортруда. — Юному мечтателю недостает девы. Я напишу вас обоих, тебя и Афру.

На другой день Астольф и Афра стояли в том же уединенном саду королевы Ортруды, — перед юным мечтателем явилась первозданная дева, улыбалась ему, и он смотрел на нее нерешительно и робко, потому что она звала его от его мечтаний к неведомым ему творческим совершениям. Он был более удивлен и восхищен, чем обрадован, — прекрасна была первозданная дева, но что-то в ее взорах страшило.

Смуглое тело Афры восхищало Ортруду еще более теперь, чем тело Астольфа. Оно было законченнее, совершеннее. Астольф понимал это и томился ревностью.

— Смотри на нее, как влюбленный, — сказала ему королева Ортруда.

Астольф отвечал досадливо:

— Я в нее не влюблен, — она толстая.

Афра смеялась, и смех ее досаждал Астольфу.

— Ты ошибаешься, Астольф, — сказала Ортруда, — правда, она не такая тонкая, как ты, но ведь она не мальчик.

Ортруда сказала Афре:

— Завтра утром приди одна. Я задумала еще картину, где ты одна будешь мне моделью.

— А как же эта картина? — спросил Астольф,

— Кончу, не бойся, — улыбаясь, сказала Ортруда.

Астольф ушел опечаленный.

Ортруда была с Астольфом в этот вечер очень ласкова. Но Астольфу казалось, что это из жалости.

Опять был вечер, и снова трава и земля стали багряны. Погруженный в грустную задумчивость, тихо и одиноко шел Астольф по тенистым аллеям дворцового сада. Мглисто-золотое солнце склонялось к далекому шуму волн. Багряная мгла разливалась в сумрак сада. Воспоминания о ночном убийстве опять горько томили Астольфа. Чей-то докучный голос, скучный и однозвучный, шептал за его спиною:

— Зачем же ты убил бедную Маргариту? Ортруда тебя разлюбила.

Чьи-то легкие шаги чудились Астольфу, — он оборачивался, но никого не было. Неприятно-резкий крик какой-то птицы преследовал Астольфа. Астольфу казалось иногда, что он опять слышит за собою предсмертный хрип Маргариты.

Астольф знал, что ему некуда бежать от этих призрачных преследователей, оставивших прохладный покой небытия только для того, чтобы измучить Астольфа.

Вдруг он увидел Альдонсу. Испуганная короткая мысль метнулась в его голове: «Как же Альдонса здесь? Ведь ее повесили».

Краснощекая, дебелая, такая красная и толстая, какою никогда не была Альдонса при жизни, она смотрела прямо на Астольфа и беззвучно хохотала, вся сотрясаясь от смеха. Сначала Астольф увидел только одно ее лицо. Он удивился, что лицо Альдонсы видно так низко над мглою тихих трав. Но потом Астольф различил в багряной мгле и всю Альдонсу. Присев на корточки над клумбою, она поливала цветы.

С удивлением и с ужасом смотрел на нее Астольф. Но он преодолел свой страх, подошел к Альдонсе близко и спросил:

— Зачем ты здесь, Альдонса? Что ты здесь делаешь? Кто пустил тебя в этот сад?

Резким, злым голосом, похожим на зловещий крик черной птицы, ответила ему Альдонса:

— Тебе-то что! Меня повесили, и я теперь хожу, куда хочу. Меня не зарежешь.

Астольф воскликнул, крестясь:

— Именем Господа заклинаю тебя — исчезни!

Вдруг исчезла Альдонса, словно растаяла, словно и не было ее. И только оставила в душе Астольфа странную тоску.

Дивясь и тоскуя, возвращался Астольф домой. Он думал: «Приходила за мною, звала меня. Образ грубого бытия показала мне, чтобы я понял, что жить не надо. Да, — думал Астольф, — надо любить, мечтать, творить, — а жить на этой земле не надо».

Вся жизнь Астольфа стала теперь одним предсмертным томлением.

Такая милая, радостная жизнь, — неужели отвергнуть ее? Такая прекрасная земля, — неужели оставить ее? Легкий, такой сладостный воздух земной жизни, — неужели перестать дышать им?

Наконец Астольф решился умереть. Он думал, тоскуя: «Умру самовольно, но не так, как умер Карл Реймерс. Никто не узнает, что я сам себя умертвил, — и не упрекнут за мою смерть жестокие, злые люди милую мою, хоть и неверную Ортруду».

Был вечер, королева Ортруда ждала Астольфа, — и не дождалась.

Неясно тоскуя и томясь, Ортруда тихою тенью блуждала из комнаты в комнату. На столе у ее постели, увидела она, белело что-то, выдаваясь углом из-под книги. Ортруда подошла. Это было письмо.

Горькое предчувствие сжало ее сердце. Прочла письмо. Так, это от Астольфа. Только две строчки.

Ты уже не любишь меня, — как же мне жить!

И больше ни слова. Даже подписи не было.

Испуганная Ортруда послала спросить, не болен ли Астольф. Но дома о нем ничего не знали. Знали только, что он уехал с товарищами на прогулку в горы.

К ночи принесли его труп, — и с ним печальный, сбивчивый рассказ.

Мальчики остановились обедать на высокой лужайке над скалою, откуда видны были далеко берега Острова и море. Все были веселы. Вдруг — несчастный случай. Астольф подошел слишком близко к обрыву, чтобы посмотреть на морской берег внизу. Обернувшись на голоса товарищей, он сделал неосторожное движение и сорвался со скалы. Его подняли уже мертвым, с разбитою о камни головою.

Опять гроб, и опять надгробное рыдание.

В гробу Астольф лежал бледный, прекрасный, осыпанный белыми, благоуханными цветами. Королева Ортруда приходила плакать над ним и не таила своей печали.

Теобальд Нерита казался помешавшимся от горя. Вот грустный конец древнего, славного рода! Кто же теперь наследует ключи королевского замка и тайну подземного хода?

Вероника Нерита рыдала над гробом своего сына слишком театрально. Ее жалели, но к сожалению о ней у многих примешивалась презрительная усмешка. Вероника Нерита была еще очень моложава, и траур удивительно шел ей к лицу. К удивлению многих, через несколько дней она умерла от тоски по сыну. Говорили, что Вероника Нерита отравилась.

## Глава шестьдесят шестая

Вулкан на острове Драгонере дымился все сильнее и сильнее. Прежде выдавались все-таки дни, и даже целые недели, когда дым над его тупою, раздвоенною вершиною истончался, таял и вовсе исчезал. Теперь же вулкан дымился постоянно. Уже много столетий безмятежно дремавший, изредка только испускавший немного дыма и пепла, вулкан дивил теперь упорством и продолжительностью своих

темных, дымных вздохов, неистощимостью своего медлительного гнева.

Вблизи, из города Драгонеры и с берегов острова, дым вулкана казался густым и черным. Казалось, что он заволакивает тупую вершину горы словно черною, мохнатою шапкою, над которою, далеко откинутое по ветру, веет длинное, черное перо, вырванное из крыла гигантской, живущей в облаках птицы. Издали этот дым представлялся легким и тонким, как и раньше.

На пространстве всего государства Соединенных Островов стали заметны в воздухе странные, неприятные изменения. Все явственнее различался разлитый над всею страною горьковатый запах. Дни стали тусклыми, и недолгие зори пылали багряно, румянцем умирающих. Многоцветные прежде пейзажи Островов окрашивались сначала в оранжевые тона, а теперь становились тускло-сероватыми.

На острове Драгонере начались угрожающие явления — подземные гулы, легкие сотрясения почвы. У подножия вулкана и на его склонах несколько домов обвалились. И уже люди в деревнях этого острова и в городе Драгонере стали бояться извержения вулкана. Тогда великое беспокойство охватило испуганных жителей Драгонеры, быстро сменив их прежнюю беспечность.

Припоминались и перетолковывались на все лады старые рассказы о городах, засыпанных пеплом вулканов. В газетах печатались статьи об известных в истории землетрясениях и извержениях вулканов.

Школьники торжествовали: взрослые охотно слушали теперь их рассказы по учебнику и со слов старательных учительниц о Геркулануме и Помпее, о Содоме и Гоморре, о поглощенной океаном великой Атлантиде, о раскопках на месте древних городов, и даже, кстати, о всемирном потопе, о столпотворении вавилонском и об изгнании первых людей из рая.

В семьях только и разговору было, что о вулкане. Эти разговоры усиливали общее угнетенное, тревожное настроение. Семейная жизнь стала невыносимою. Женщины плакали. Мужчины ссорились с ними и друг с другом и предавались отчаянному распутству.

Мальчики — народ всегда и везде беззаботный и легкомысленный — ленились и проказничали напропалую. Каждую ночь целыми толпами они тайком удирали из родительских домов и бежали к вулкану, чтобы к восходу солнца пробраться поближе к широким краям кратера. Возвращались они оборванные, грязные, с обожженными руками и ногами, и родители дома нещадно били их.

Девочки нервничали, плакали и влюблялись в распустившихся мальчишек, которые казались им теперь большими героями. Взрослым было не до того, чтобы заботиться о детях. Угнетенные страхом родители о них почти забывали, и даже учителя и учительницы в школах просиживали целые часы в учительских комнатах, вкривь и вкось рассуждая о вулкане.

Скупые крестьяне, владельцы виноградников, расположенных на склонах горы, не знали, что им теперь делать. Корысть приковывала их к наследственным, возделанным трудами многих поколений садам на плодородной почве склонов вулкана, страх гнал прочь. Но куда идти? Переселяться на другие острова? Для этого надо продать свою землю и дома, а кто теперь станет покупать землю на склонах просыпающегося вулкана? А если кто и купил бы, так разве только за полцены.

Патеры устраивали в Драгонере процессии, чтобы усиленными молитвами умилостивить разгневанное Небо. Набожные женщины молили святую Агату смирить гнев старого вулкана.

Местные газеты еще более усиливали тревогу. Газетчики радовались лишнему заработку: в газетах каждый день печатались известия о состоянии вулкана и статьи по этому поводу. Газеты выходили поэтому в сильно увеличенном объеме, и тираж их возрос еще более, чем это бывало во дни войны, мятежа, сенсационных судебных процессов или иных скандальных происшествий.

Тревожно стало на улицах и на площадях Драгонеры. Уличные ораторы свирепо громили патеров и первого министра. Доставалось заодно от них и королеве Ортруде, и принцу Танкреду.

Часто из-за ничтожных причин возникали уличные драки. Опять начались стычки рабочих с полицейскими.

Часто собирались митинги и в городе Драгонере, и в селах этого острова. На этих митингах принимались самые свирепые резолюции. Правительство обвиняли в том, что оно не принимает никаких мер.

В газетах и на митингах требовали казенных субсидий на выселение, требовали принудительного отчуждения и раздачи земельных участков на других островах желающим выселиться с опасного острова. Газета Филиппа Меччио особенно энергично настаивала на выселении. В этой газете, кроме статей агитационного характера на тему о вулкане, были помещены превосходно разработанные планы расселения жителей угрожаемого острова по всей стране Островов.

Правительство не торопилось предпринимать что-нибудь. Виктор Лорена очень хорошо понимал, что вулкан опасен. Но что же могло сделать министерство? Бюджет и так был обременен расходами на флот и на экзотические предприятия. Для крупных радикальных мер в казначействе не было денег. Да и опасались, что покупка государством у частных владельцев земли может стать началом национализации или социализации земли. Думали, что стоит сделать только один шаг в этом направлении, чтобы движение со стихийною силою охватило всю страну.

В парламенте Драгонера не имела влиятельных заступников; все депутаты от Драгонеры принадлежали к оппозиции.

Королева Ортруда настаивала на том; чтобы приняты были необходимые меры. Виктор Лорена давал ей уклончивые ответы. Наконец Ортруда потребовала, чтобы совет министров немедленно занялся вопросом о том, как помочь жителям опасного острова. Королева Ортруда сказала решительно:

— Этот вопрос я считаю неотложным. Если министерство и парламент думают иначе, то я найду необходимым осведомиться о мнении народа. Я принуждена буду в таком случае поручить составление кабинета и производство выборов в новый парламент господину Филиппу Меччио. Доктор Меччио имеет готовую программу мер помощи жителям Драгонеры.

Виктор Лорена спокойно возразил:

— Я и мои товарищи во всякую минуту готовы предоставить свои портфели в распоряжение вашего величества. Но я считаю своим долгом представить вам, государыня, как неудобно и опасно производить именно в это время рискованные опыты переустройства государства.

Королева Ортруда сказала гневно:

— Так всегда говорят люди, которым хочется, чтобы все осталось по-прежнему. В спокойное время они уверяют, что реформы не нужны и что народ благоденствует, потому и спокоен. Когда же народ начинает волноваться, тогда говорят, что надобно дождаться успокоения и только потом дать реформы. А дождутся успокоения, хотя бы ценою крови, тогда начинается опять та же песня.

Виктор Лорена почтительно выслушал королеву и продолжал:

— Правительство и парламент стараются действовать согласно интересам и воле народа. Я не сомневаюсь в том, что и новые выборы пошлют в парламент прежнее большинство. Если ваше величество и призовете к власти Филиппа Меччио, он все равно у власти не удержится. Страна не желает опасных социалистических опытов. Доктор Меччио тем менее может рассчитывать хотя бы на случайное и временное большинство в парламенте, что в последнее время в его воззрениях произошел заметный поворот от социализма к синдикализму. В его газете на днях была помещена статья, в которой пространно и остроумно доказывалось, что только синдикалистское движение чуждо парламентской грязи.

— Как бы то ни было, мы не можем бездействовать, — сказала королева Ортруда.

— Поверьте, государыня, мы и не бездействуем, — возразил Виктор Лорена. — Правительство вашего величества весьма озабочено этим вопросом. Мы не считаем возможным принимать недостаточно обдуманные решения. Но, согласно повелению вашего величества, если вы не утратили ко мне и к моим товарищам доверия, я не позже как через сутки представлю вам отчет о мерах, которые может принять нынешнее правительство.

Виктор Лорена почему-то никогда не думал о том, что Филиппо Меччио может оказаться во главе правительства. Из слов Ортруды он заключил, что господству буржуазии грозит опасность. Виктор Лорена не сомневался, что Филиппо Меччио в должности первого министра не остановится даже перед правлением внезаконным. «Во всяком случае, — думал Виктор Лорена, — Филиппо Меччио поспешит использовать ту статью конституции, которая предоставляет короне в чрезвычайных обстоятельствах, когда парламент не заседает, право принимать чрезвычайные меры и издавать декреты, имеющие силу закона до рассмотрения их парламентом. Если эта статья была до сих пор полезна только для реакционно настроенных слоев общества, то, несомненно, может наступить момент, когда она окажется пригодною и для демократии».

Виктор Лорена понял, что необходимо принять если не действительные меры, то хотя видимость мер помощи жителям Драгонеры.

Между тем по всему государству Соединенных Островов разливалось томительное беспокойство.

В селах распространялись нелепые слухи. По большим дорогам и по проселкам шатались юродивые, блаженные и пророки. Было из них несколько человек, искренно уверовавших в святость своей миссии. Большинство же было ленивые, своекорыстные шарлатаны. Отрастивши себе длинные бороды и взявши в руки громадные посохи, они собирали вокруг себя легковерных и рассказывали всякие ужасы. С их слов стали настойчиво говорить, что вскоре вся страна Островов погибнет под волнами.

Города волновались еще больше. И в них было немало таких, которые поверили в нелепые предсказания о том, что все Острова покроются морем. Особенно легковерны, как всегда, были женщины.

Богатые и состоятельные люди многие бежали за границу. Даже и те, кто не верили в погибель всей страны, боялись, что в случае несчастия на Драгонере страна будет наводнена толпами бездомного, голодного люда и что начнутся тогда грабежи и убийства. Многие от страха сходили с ума.

В Пальме было еще беспокойнее, чем в других городах. И здесь происходили частые уличные волнения. На улицах и площадях ни днем ни ночью не смолкали шумные гулы. В домах ни днем ни ночью не стихали женские вопли и детский громкий плач. Сердце прекрасной страны томилось, тоскуя.

Что ни день, устраивались крестные ходы. То здесь, то там с громкими визгами и с диким воем проходили неистовые процессии кающихся. На площадях и в общественных залах раздавались вдохновенные, — а иногда и нескладные, — проповеди новоявленных пророков и пророчиц. Они грозили гневом Божиим и призывали к покаянию.

Даже радикальные газеты иногда юродствовали и помещали странные пророческие статьи о том, что скоро погибнет под волнами преступная столица, веселый город Пальма.

Среди смуты и волнения была в простом народе суеверная надежда на королеву Ортруду. Говорили:

— Если королева Ортруда захочет, она заворожит вулкан, и он успокоится. Она может. Стоит только ей захотеть.

Скептики спрашивали:

— Если королева Ортруда может это сделать, отчего же она до сих пор ничего не сделала?

Верующие в королеву Ортруду отвечали им:

— Тоскует королева наша Ортруда об измене своего мужа, и темным гневом томится сердце бедной королевы. Потому и послушный ей вулкан дымится, потому и небо облаком дымным заволакивается. Но вот полюбит королева Ортруда другого, утешится, радостная поедет к вулкану и заговорит его.

Королева Ортруда думала грустно: «Бедный мой народ! Глупые люди, и взрослые как дети! Как они боятся смерти! Ничтожные, — и они хотят быть свободными!»

Облак дымной печали опять сгустился над королевою Ортрудою. Суеверный ропот народа и голос его безумных надежд дошли до нее. И думала она: «Что они хотят, то и сделаю. Пойду к вулкану, зачарую его или сама умру».

После смерти Астольфа мысль о смерти стала приятна королеве Ортруде.

После смерти Астольфа кто же еще остался у королевы Ортруды? Сколько еще смертных ступеней осталось ей пройти?

Афра осталась королеве Ортруде. Афра утешала Ортруду.

Вот еще одна ей осталась ступень к смерти — юная дева Афра. И с образом Афры тяжелое забвение скорбей опустилось облаком дымным на королеву Ортруду. И под облаком дымным тускло горела багрово-мглистым солнцем ее нежность к Афре. Каждый поступок Афры восхищал королеву Ортруду. Она не уставала хвалить Афру и находила тысячи поводов к этому. И каждое слово Афры приводило Ортруду в восторг.

Но знала Ортруда, что и Афра умрет. Думала Ортруда, что со смертью Афры последнее придет к ней освобождение, и с диким нетерпением ждала этой смерти, чтобы последнее свое совершить на этой земле дело — доброе или злое, не все ли равно! — подвиг любви к этому бедному, жалкому народу.

Говорила Афре королева Ортруда, нежно ее целуя:

— Будь со мною, не оставляй меня, иди за мною.

Тихо отвечала Афра:

— Люди осудят наш союз великой нежности и дружбы. Они не поймут его. Одни назовут его грешным, другие — порочным.

Гневно восклицала королева Ортруда:

— Грех! Порок! Не все ли мне равно, что скажут о нас злые люди!

Афра говорила улыбаясь:

— Добрые люди!

— Глупые, — возражала Ортруда, — ничтожные рабы живых или мертвых. Только мертвые слова умеют они повторять.

## Глава шестьдесят седьмая

Виктор Лорена исполнил желание королевы Ортруды. На совете министров было суждение о вулкане. На следующее утро Виктор

Лорена явился к королеве Ортруде сообщить ей о решении совета — назначить ученую комиссию на Драгонеру для исследования вулкана.

Королева Ортруда улыбалась насмешливо и грустно. Невольною была ирония тихой ее улыбки. И тихо сказала она:

— Поздно.

Виктор Лорена, пожимая плечьми, сказал:

— Что же иное можем мы сделать?

— Надо выселить на другие острова всех, кто живет около вулкана, — сказала королева Ортруда. — Газеты говорят об этом много и подробно.

— Для этого нужны многие миллионы, — возразил Виктор Лорена. — Пока мы не получим заключения комиссии, мы не можем знать, необходимо ли расходование этих миллионов или их лучше сберечь для расходов, более производительных.

Королева Ортруда спросила:

— Значит, господин Лорена, мы должны ждать?

— Ждать, ваше величество, — отвечал Виктор Лорена. — Это единственное, что мы можем сделать в данном положении.

— События не ждут, господин Лорена, — грустно сказала королева Ортруда.

На другой день в Правительственном указателе был напечатан королевский декрет о назначении комиссии для исследования вулкана на острове Драгонере. В декрете выражалась уверенность королевы Ортруды в том, что ученые и знаменитые члены комиссии оправдают ожидания страны и доверие королевы быстрым и внимательным исполнением порученного им столь важного, ответственного дела.

В том же декрете перечислены были имена призванных в состав комиссии. Председателем комиссии назначался директор Океанографического Института, член Пальмской Академии наук, профессор Пальмского университета, доктор физики Арриго Аргенто. Это был весьма посредственный ученый, но тщеславный интриган. Он занимал выдающееся положение в академическом мире Пальмы, был

украшен многими орденами, и уже давно говорили, что он при первом случае будет министром.

Членами комиссии назначены были профессора и члены Академии: европейски знаменитый астроном, прославившийся превосходными исследованиями кратеров и цирков на Луне и атмосферы на Венере, — добросовестный, но очень глупый геолог, — юркий враль и карьерист, профессор химии, — и еще несколько человек, которые были ни талантливы, ни бездарны, — серые. Большинство членов комиссии были глупые, тупые педанты. Но все они были очень самоуверенны и думали, что их наука ставит их выше всего мира.

Проводы им устраивали торжественные, с банкетами, речами, цветами и овациями.

Королева Ортруда милостиво приняла членов комиссии и удостоила их любезного разговора. От такого благосклонного приема у этих господ долго кружилась голова и на всю жизнь осталась благодарная тема для рассказов.

Виктор Лорена дал большой парадный обед в честь членов комиссии. На обеде были министры, многие члены парламента и дамы.

После обеда Виктор Лорена улучил удобную минуту и отвел в сторону председателя комиссии.

— Дорогой господин профессор, — сказал ему Виктор Лорена, — внимание всей страны устремлено теперь на вас. Я уверен, что это поручение даст вам случай осенить новыми лаврами ваше знаменитое имя. Благодарное отечество не забудет ваших заслуг.

Все это можно было бы сказать и во всеуслышание. Арриго Аргенто понимал, что самое главное будет впереди. На всякий случай он ответил Виктору Лорена:

— Я чувствую себя весьма польщенным, что ваш выбор, глубокоуважаемый господин министр, остановился именно на мне. По мере моих слабых сил и ничтожных познаний...

— О, вы слишком скромны, — прервал его Виктор Лорена.

Он выразительно пожал руку профессора и многозначительным тоном сказал:

— Ваше назначение — успокоить народ.

Ловкий делатель ученой карьеры превосходно понял, что вот именно в этих словах заключается вся программа предстоящей ему деятельности. «Успокойтесь», — вот это маленькое, глупенькое слово надо было завернуть в пышное одеяние наукообразной аргументации.

Арриго Аргенто сказал:

— Мы приложим все старания, чтобы выполнить наше назначение как можно лучше. Вы можете быть совершенно уверены в этом, дорогой господин министр.

Ученая комиссия скоро отправилась на остров Драгонеру.

Педантская важность профессоров была очень забавна. По странному совпадению все они были в очках, все желты лицом, все бриты. На пароходе все они явились в серых крылатках и в черных сомбреро. Каждого профессора провожала до пристани жена и молодой красивый приват-доцент, начинающий ученую карьеру. С каждым профессором село на пароход еще по одному приват-доценту, но эти молодые ученые были как на подбор безобразны.

Каждый профессор что-нибудь забывал на пристани, и когда пароход отчалит, то то один, то другой ученый принимался кипятиться, требуя, чтобы пароход вернулся к пристани. В затруднительном положении ученого собрата каждый раз принимали участие все профессора и приват-доценты на пароходе и все провожавшие на пристани. Поднимался неистовый гвалт, и для каждого профессора пароход пятили к пристани. Один особенно рассеянный профессор заставил проделать это дважды.

Когда уже наконец пароход удалялся от берега, и уже нельзя было различить, которым кто на пристани машет белым платком, разнесся среди ученой братии слух, что один из подающих надежды уродливых приват-доцентов забыл на пристани портрет своей невесты. Несчастный молодой человек не смел кипятиться. Он молча плакал, роняя слезы за борт, чтобы не забрызгать ими кого-нибудь из профессоров. Его патрон, добрый селенограф, вскипятился за него, вскипятил всех ученых, — и пароход вернули еще раз.

Потом весь ученый мир на пароходе рассматривал внимательно портрет невесты приват-доцента. Над приват-доцентом тонко и ост-

роумно подшучивали, употребляя при этом преимущественно латинские и греческие выражения или термины физико-математических наук. На лице приват-доцента блуждала счастливая улыбка, а тонкий нос его от недавно пролитых слез был красен.

Комиссия наконец уехала совсем, и скоро дым парохода потонул за горизонтом.

И в народе, и в обществе с большим нетерпением ждали, что скажет комиссия. Была большая наклонность к розовым надеждам. Казалось невозможным, чтобы такое блестящее собрание людей науки не оказало действительной помощи и защиты бедным, простым людям.

В кабачках распевались куплеты очень жизнерадостного содержания.

Едва успела комиссия высадиться в Драгонере, как уже пошли разные слухи о деятельности комиссии, — нелепые в народе, странные и бестолковые в обществе. Многие думали, что ученые сумеют починить вулкан, — запаяют его, что ли, или зальют чем-нибудь. При дворе легкомысленно подшучивали над манерами ученых, над их близорукостью и рассеянностью.

Все согласно говорили, что комиссия усердно работает на месте. С утра выезжают из города к вулкану с целыми ворохами инструментов, возвращаются к вечеру с целыми грудами наскоро набросанных чертежей, заметок и вычислений, за обедом говорят только о своей работе и сидят еще над своими бумагами до поздней ночи.

Пока работала комиссия, было сравнительно спокойно в стране. Даже пророки призатихли на время, и в церквах было не так много исповедующихся женщин.

Через три недели комиссия возвратилась в Пальму, и опять на пристани собралась толпа, — хоть взглянуть на ученых. У членов комиссии был очень самодовольный вид, и лица у них были настолько веселы, насколько могут быть веселыми ученые физиономии.

Возвращение комиссии подновило волнение в стране. Все жадно ждали, что же скажут ученые. Комиссия же, конечно, пыталась успокоить народ. Помнили завет первого министра. Ведь под этим внушением и все их работы на месте шли.

Репортеры газет осаждали членов комиссии, — и получали самые успокоительные сведения. Председатель комиссии покровительственно похлопывал журналистов по плечу и говорил:

— Ничего опасного не будет, можете быть уверены. В нашем докладе это обосновано совершенно точно. Так что уж вы, молодой человек, отложите надежду отличиться красноречивым описанием землетрясения, извержения и тому подобных напастей.

И смеялся с видом человека очень остроумного.

Астроном уверял:

— Я вам вот что скажу — никакого извержения абсолютно быть не может. Вы меня спросите, на чем я основываю мой вывод? А вот на чем: края кратера на Драгонере совершенно такие же, как и края лунных кратеров. Есть и много других черт сходства, и ни одной — заметьте, прошу вас, ни одной! — черты различия. Что же наука знает относительно лунных кратеров? На Луне извержений не бывает, и единственный наблюдавшийся случай изменения видимого очертания лунного кратера было бы величайшею ошибкою объяснять как следствие извержения. Стало быть, нечего ждать извержения и на Драгонере. Кажется, это ясно и неопровержимо? Так вы и напишите в вашей уважаемой газете.

Геолог говорил:

— Я вполне разделяю мнение моих уважаемых коллег о невозможности извержения вулкана. Я скажу вам даже более. Произведенные мною исследования убеждают меня, что извержение вулкана, если бы оно и произошло, не было бы опасно для жителей. Лава потекла бы, несомненно, по тому склону горы, где нет поселений, и благополучно излилась бы в море.

Профессор химии говорил:

— Строго говоря, извержение вулкана уже произошло, и теперь оно кончается. Извергнуты тучи дыма и пепла, много шлаков и немножко лавы, которая стынет в морщинах горных склонов. Больше ничего и быть не может. Стало быть, для жителей этого прекрасного острова нет ни малейшей опасности.

— Ни малейшей опасности! — согласно утвердили и остальные члены комиссии.

Уже на следующее утро после возвращения членов комиссии в номере Правительственного указателя был напечатан краткий отчет комиссии — мнения отдельных ее членов, обстоятельно обоснованные, и сводка этих мнений. Все это должно было составить увесистый том, и для скорости его печатали сразу в нескольких типографиях по частям. Шрифты немножко разнились, но зато единогласие утешительных выводов достигнуто было полнейшее.

Виктор Лорена торжествовал. Обманутые люди толпились около типографий. Первые экземпляры отчета раскупились нарасхват, и вскоре понадобилось второе издание. Печатные труды пальмских академиков и профессоров никогда еще не пользовались таким блистательным успехом.

Доклад комиссии возбудил общую, по-видимому, радость. Только немногие скептики не разделяли ее, но в первые минуты голоса их не были слышны.

Членов комиссии чествовали парадными обедами. По представлению министерства королева пожаловала всем им ордена. Все они стали очень популярны. Стало очень модным, устраивая вечера, балы и обеды, приглашать членов комиссии. Поэтому даже уродливые приват-доценты сделали кое-какую экономию в расходах на стол, но зато разорялись на предметы туалета. Дамы осыпали академиков и профессоров цветами, милые девушки, особенно из учащейся молодежи, в них влюблялись. Поэтому каждому из профессоров жена устраивала сцены. Каждый из уродливых приват-доцентов в самом непродолжительном времени уже оказался женатым.

По случаю радостных известий по всему пространству Островов давались народные праздники, спектакли, игры. На стенах домов развевались флаги, как в дни больших национальных торжеств. На улицах и на площадях устраивались вечером и ночью публичные балы, и молодежь весело плясала на мостовой.

В кабачках распевались насмешливые куплеты против боязливых. А иногда, впрочем, пелись и веселые куплеты из «Святой простоты» против ученых фокусников, дымоглотателей, профессоров черной и белой магии.

Слава имеет и свои неприятные стороны. Господину Арриго Аргенто и его ученым коллегам досаждали уличные мальчишки. Сорванцы стали приветствовать членов комиссии восторженными криками:

— Да здравствуют лудильщики вулкана!

— Да здравствуют паяльщики гор!

— Да здравствуют глотающие дым и пепел!

Иные из этих глупых мальчишек всерьез принимали крупные заголовки в газете Филиппа Меччио и в «Святой простоте». Другие просто дурачились. Унять же их было невозможно, — полицейские стыдились связываться с детьми.

А вулкан дымился все сильнее, и жители Драгонеры не разделяли всеобщего восторга.

Газета Филиппа Меччио напечатала резкий протест против заключений комиссии. По словам этой газеты, излишний, вредный для народа оптимизм комиссии навеян внушениями правительства. Правительство боится плюнуть в карман расчетливому буржуа и потому не решается организовать выселение с острова Драгонеры.

Возникла тревожная полемика, в которую скоро были вовлечены и все газеты, и все ученые общества. Казенная и рептильная печать яростно нападала на газету Филиппа Меччио и на другие органы социалистической и демократической прессы. Свирепо обвиняли наемные писатели свободных в том, что они возбуждают тревогу в народе, чтобы для своих партийных целей воспользоваться народными волнениями.

## Глава шестьдесят восьмая

Поздно вечером королева Ортруда, Афра и Терезита спустились потайным ходом в чертоги Араминты. Было весело и жутко и Афре, и Ортруде. Дикою веселостью опьянил их смелый, мятежный их замысел.

Босые шли они по холоду камней, облеченные в длинные белые хитоны. Их путь освещался красноватым светом фонаря, который

несла перед ними Терезита. На грубо-красивом лице верной служанки отражались радость и гордость тем, что королева Ортруда доверила ей на днях тайну подземного хода. Ее сильное, стройное тело было обнажено. В руках у Ортруды и у Афры были две корзины с только что срезанными алыми розами. Афра говорила радостно:

— Теперь мы одни. Дверь, зачарованная тайною твоего имени, Араминта, отделяет нас от всего чуждого нам мира.

Здесь было уединенно и глубоко, как в мрачной глубине душевной человека. Воистину, иной здесь был мир и иная творилась жизнь. Только отрадное, темное небо инобытия смотрело в ограду высоких темных стен. Над ними, сошедшими в таинственную глубину, иное простиралось небо, и солнце иное озаряло их, кроткое светило Лучезарного.

Радостно и тревожно было в душе Ортруды и в душе Афры. И в радость их вмешивались горькие, грустные слова — земным радостям не верила королева Ортруда.

Афра сказала:

— Ты радостна, но как будто и опечалена чем-то, милая Араминта.

Королева Ортруда грустно и нежно глядела на Афру и говорила ей:

— И ты, милая Афра, обманешь меня, изменишь мне, уйдешь от меня. С иным человеком уйдешь от меня или с нею, с вечною Сестрою. Одна смерть не обманет.

— Милая Ортруда, — говорила Афра, — я верна тебе навеки.

— Ты — моя верная подруга и верная спутница моя в этих темных чертогах, — говорила Ортруда, — но вернейшая из подруг — смерть. Смерть не обманет. Только смерть.

Радостно и грустно звучал голос королевы Ортруды, темными отражаемый отголосками в темных высотах древнего свода.

Афра тихо повторила:

— Смерть не обманет!

Была старая келья в далекой глубине подземного чертога, близ ворот, ведущих из грота на морской берег. Это был выложенный камнем склеп в каменных стенах чертога. Каменные, широкие ступени

древней пещеры опускались к самой воде подземного грота, против места, где дремала королевская яхта.

Королева Ортруда и Афра с помощью Терезиты устроили на днях в этой пещере храм Светозарного. Они принесли туда предметы тайного культа и ритуала. Теперь они спешили к этому капищу. На его каменном, холодном пороге ждала их подошедшая к капищу раньше Терезита. Она стояла неподвижно, и красные струи дымного огня перебегали по ее смуглому телу.

Королева Ортруда и Афра здесь остановились. Терезита сняла с них белые хитоны и положила их на камень у порога. Красота их смуглых тел, открытая под этим дивным, темным сводом глубинной прохладе, восторгала Ортруду и Афру, как никогда на земле. Они говорили одна другой восторженно-нежные, сладкие слова.

Радостные вошли они в склеп, и за ними вошла и остановилась у порога безмолвная Терезита. Черный кубический камень у западной стены осыпали они алыми розами.

Семь подсвечников стояли за черным камнем. Красные семь свеч зажгла королева Ортруда. И тогда красноватым мерцанием свеч озарилась воздвигнутая над черным камнем статуя нагого отрока. Ее белый мрамор затеплился алостью живой плоти.

Потом в золотой чаше разожгли они угли и на них пролили ароматы. Благоуханный дым закутал всю пещеру. Королева Ортруда сказала:

— Жертвенный камень готов, и фимиам курится, и мы обе наги, и стоит за нами у порога готовая служить нам безмолвно, безропотно и покорно. Час исполнения настал. Начнем мистерию. Совершим то, для чего мы пришли сюда, к этому алтарю.

Афра спросила:

— Кто же из нас, милая Араминта, будет жертвою и кто жрицею?

— Я жрица, — сказала Ортруда. — Я вонзаю нож, я проливаю кровь, а ты, Афра, невинная, чистая дева, ты будешь жертвою моею, и твоя кровь прольется во славу Светозарного. Сильные руки той, которая за нами стоит, удержат тебя. Жертва ты моя и моя царица. Я пролью кровь твою, и по слову моему она, безмолвная и покорная,

муками твое измучит тело, и тогда я перед страданием твоим склонюсь и ноги твои буду лобзать, как послушная рабыня.

Афра сказала:

— Да будет так, как хочешь ты, Араминта.

Она легла на черный камень алтаря, обратив лицо к ногам воздвигнутого за алтарем нагого отрока. Радость и страх начертаны были на ее прекрасном лице, и уста ее дрожали предчувствием воплей, но улыбались, и уже слезы из ее струились глаз, но восторгом сияли ее глаза. Тогда по знаку королевы Ортруды приблизилась Терезита к черному камню и положила на Афру свои тяжелые могучие руки...

Когда Ортруда и Афра возвратились наверх, радость горела в сердцах их.

Нежная привязанность к королеве Ортруде не умерщвляла в душе Афры любви к Филиппу Меччио, — быть может, даже разжигала эту любовь еще сильнее. Чем нежнее была с Афрою королева Ортруда, тем сильнее влекло потом Афру к Филиппу Меччио. Страстная и всегда невинная природа томила ее жаждою простого, немудрого, верного счастия, даруемого жене мужем.

Каждый раз после того, как Афра встречалась с Филиппом Меччио, она рассказывала об этом королеве Ортруде. И это всегда вызывало вспышки бешеного гнева в Ортруде.

Молчать об этих встречах не хотела гордая Афра. И какое-то странное, сладострастное желание вызвать гнев королевы Ортруды заставляло Афру быть всегда откровенною.

Королева Ортруда в ревнивой ярости даже била иногда Афру. Потом, томясь раскаянием и стыдом, Ортруда склонялась перед плачущею Афрою и целовала ее ноги и руки.

И от Филиппа Меччио не хотела скрывать Афра своей нежности и своей дружбы с королевою Ортрудою. Филиппо Меччио не раз уговаривал Афру, чтобы она оставила Ортруду. Печально, но твердо говорила ему Афра:

— Я не могу оставить ее, милый Филиппо. Она очень несчастна, и у нее нет другого друга, кроме меня.

Филиппо Меччио страстно говорил:

— Оставь ее, Афра, беги из этого проклятого старого дома, где, кажется, и самые стены пропитаны ядом порочных страстей. Оставь королеву Ортруду, иди ко мне. Разве меня ты уже не любишь? — спрашивал он.

Грустно и радостно говорила Афра:

— Верь мне, милый Филиппо, я люблю тебя.

Дивясь, спрашивал ее Филиппо Меччио:

— Как же это? Ты, Афра, меня любишь, а ее не можешь оставить! Что же это значит?

— Да, не могу ее оставить, — говорила Афра. — Что ж мне делать! Я сама не понимаю своего сердца.

Филиппо Меччио резко говорил:

— Это — разврат. Стыдись, Афра! Победи в себе это порочное чувство.

Простодушный демагог не понимал всех странных капризов женской души.

Афра горячо возражала:

— Свободу чувства нельзя называть развратом. Разврат рождается только скованным чувством.

В эти дни часто и много говорили они о свободе чувства, о широте любви. Говорила Афра:

— Так бедна, так ограниченна природа человека. Мы жаждем без конца расширять ее, питая и умножая все источники радостной, свободной жизни.

— Да, такое стремление у человека есть, — говорил Филиппо Меччио. — Но мы жизнь нашу расширяем в наших социальных устремлениях.

Афра возражала:

— Душе человеческой тесно в оковах общественности. Только в своих интимных переживаниях восходит душа к вершинам вселенской жизни. И только освобожденная от власти всяких норм душа создает новые миры и ликует в светлом торжестве преображения.

К удивлению своему, почувствовал Филиппо Меччио, что он ревнует. Только теперь понял он, что любит Афру неизменною, послед-

нею любовью, что не может жить без нее, что не отдаст ее ни другому возлюбленному, ни ее нежной подруге.

Как всегда и как у всех, ревность пробудила в душе Филиппа Меччио лениво дремавшую любовь. Десятки планов строил он, чтобы оторвать Афру от королевы Ортруды, и все они казались ему неверными, не достигающими цели. Наконец он остановился на самом безумном и решился применить опасное средство. Он замыслил погрузить Афру в гипнотический сон, выдать ее за умершую и увезти из королевского замка. Потом, надеялся Филиппо Меччио, вырванная из отравленной атмосферы этой безумной жизни, Афра не захочет вернуться к ее соблазнам и тревогам.

Друг Филиппа Меччио, доктор медицины Эдмондо Негри, согласился помочь в этом Филиппу Меччио.

Афра вдруг стала чувствовать себя очень плохо. Постоянная грусть овладела ею. Сердце ее томительно сжималось и замирало. Только грустные мысли приходили к ней и меланхолические мечты. Эти странные состояния были непривычны для нее, и она не могла понять, отчего это с нею.

Сначала думала она, что в этом сказывается злое влияние чертогов Араминты и таинственных в глубине его обрядов. Но потом увидела Афра иную связь и как-то слабо и бессильно удивилась ей. Афра заметила, что особенно слабою всегда чувствует она себя после встреч с Филиппом Меччио.

Однажды Афра познакомилась у Филиппа Меччио с доктором Эдмондом Негри. Афра знала очень многих в Пальме, но Эдмонда Негри раньше не встречала. Он учился где-то за границею и долго там жил. В Пальму вернулся он недавно. С Филиппом Меччио его соединяла старая дружба.

В этот вечер Афра вернулась домой позже обыкновенного и была в очень нервном состоянии. Темный, настойчивый взгляд доктора Эдмонда Негри неотступно преследовал ее. Она прислушивалась к каким-то тайным голосам в своей душе и мучительно старалась припомнить что-то.

«Чего он хочет?» — почему-то спрашивала себя Афра.

Точно ей непременно надо было узнать и исполнить его волю.

На другое утро Афра долго не выходила из своей спальни. Было уже поздно, когда наконец служанка решилась войти к Афре. Но не могла ее добудиться. Афра не дышала, и тело ее было холодное. Как будто случайно в это время Филиппо Меччио зашел к Афре. Он по телефону вызвал своего друга. Доктор Эдмондо Негри удостоверил смерть от паралича сердца.

И вот сказали королеве Ортруде, что Афра умерла. Острою жалостью больно сжалось сердце Ортруды. Спрашивала себя королева Ортруда: «Последнее ли это горе посылает мне беспощадная судьба? Или без конца будет мучить и терзать меня, пока наконец не измучит меня до смерти? О, скорее бы уже свершался неизбежный удел!»

Королева Ортруда билась в отчаянии, рыдая и вопя. И вдруг свирепая радость освобождения охватила Ортруду. Стыдно было нестерпимо за эту радость. Но не могла победить ее Ортруда. Чувствовала она, что вот теперь уже она совсем свободна от жизни земной, милой, но безумной и напрасной.

После Афры смерть уже была желанна Ортруде. Ортруда была влюблена в смерть, как влюбляются в милого. Смерти жаждала Ортруда, как жаждут соединения с милым. Не потому ли и к Афре была она так нежна, что милым образом смерти проходила перед нею Афра?

Вести о вулкане радовали королеву Ортруду как обещания пламенной смерти. Порою кошмары тоски наваливались на ее грудь, — но это жестокими кошмарами томила ее уже ненавистная ей жизнь.

И настала для нее пора умереть.

## Глава шестьдесят девятая

Опять настала ночь, утешающая нежно. Королева Ортруда спустилась в чертог Араминты. Перед нею шла ее верная, молчаливая служанка Терезита, покорная, обнаженная, как рабыня. В одной руке Терезита держала зажженный фонарь с желтыми стеклами, в другой — плетеную корзину с белыми и желтыми только что срезанными розами. Холодны

были камни под ногами Ортруды и Терезиты. Впереди слышался им глухой плеск воды о темный каменистый берег. Темное чувство, похожее на страх, томило королеву Ортруду. Она знала, что мертвые, близкие сердцу, придут к ней в эту ночь. Радовалась этому Ортруда, но и боялась.

На пороге темной пещеры Терезита остановилась. Она поставила фонарь на выступ скалы, опустила к порогу корзину с розами и медленно сняла с королевы Ортруды одежду, шепча слова заклинаний. Смутно в полумгле мерцая желтыми отсветами от фонаря, легла белая одежда Ортруды на камень у порога.

Королева Ортруда сказала тихо:

— Останься здесь, Терезита. Я войду одна.

Терезита покорно склонила голову. Она стала у порога и неподвижными глазами, в которых затаился страх, смотрела в глубину капища, готовая прийти к королеве Ортруде по ее первому зову. Ее крепкая, смуглая грудь, прижимаясь к скале, согревала холодный камень; левая рука, согнутая в локте, лежала на выступе скалы, а правая была опущена вдоль тела.

Королева Ортруда взяла фонарь и корзину с розами и вошла в пещеру, где так еще недавно совершила она таинственный обряд над телом Афры.

Прекрасное тело Афры! Где оно теперь? И что с ним? Черный камень у западной стены еще хранил их дар, уже завядшие розы. Посредине камня стояла золотая чаша, и по обеим ее сторонам два хрустальные сосуда с ароматами; за чашею, на золотом блюде, лежали угли, — их принесла нынче днем Терезита.

Свежими розами осыпала черный камень королева Ортруда.

Перевитые черным крепом стояли за черным камнем у стены семь серебряных подсвечников. Свечи в них были черные, — их вставила нынче днем Терезита.

Королева Ортруда зажгла черные свечи. Желтым, тусклым огнем горели они. Их мерцание струилось по смуглому телу таящейся у порога и жутким блеском дрожало в ее глазах, упорно приковавших свой пристальный взор к телу королевы Ортруды. От этого струящегося

по телу Терезиты мерцания еще более черным и таинственным казался мрак за порогом пещеры.

Над черным камнем темная статуя нагого отрока тускло мерцала в озарении свеч. Был ее мрамор желт и печален.

Обнаженная стояла королева Ортруда перед черным камнем. Ее охватывала сумрачная прохлада склепа, и на своем теле чувствовала Ортруда неподвижный взор таящейся у порога.

Ортруда бросила в золотую чашу несколько углей, разожгла их и медленно, капля за каплею, вылила на них из обоих хрустальных сосудов благоуханную жидкость. Багряным жаром теплились угли, согревая широкую чашу и вея теплом в лицо Ортруды.

Дым благоуханий заволок пещеру. Едва виден за облаками плывущего в воздухе дыма стал очерк рабыни у темного порога.

Королева Ортруда совершила мистерию Смерти одна. Слова говорила и ответа ждала.

Темный голос звучал над Ортрудою:

— Настала ночь, когда мертвые твои придут к тебе и скажут тебе то, чего ты не знала.

И приходили один за другим.

Первый предстал перед Ортрудою Карл Реймерс. Грустен был его взор и отуманен. Чувство сильнее любви и неведомое людям отражалось в глубоком взоре его очей. Карл Реймерс говорил:

— Мы не знаем, что любим. Мы не знаем, как любим. Что найдем, отвергаем и к недостижимому стремимся вечно. Но смерть успокоит.

Прислушивалась к его спокойным словам королева Ортруда, — но все глуше звучали слова, и прошел мимо черного камня Карл Реймерс, и скрылся во тьме. И бессильно упали простертые к нему руки Ортруды.

Пришел милый паж Астольф. Одежда его была белее нагорного снега, но на руках его была кровь, и ноги его были покрыты пылью и забрызганы кровью. Астольф говорил:

— Я не жил. Я только хотел, только мечтал, только любил, — и что же мне еще надо! Не печалься обо мне, милая Ортруда.

И он исчез, — и не пыталась удержать его Ортруда. Проходили иные. Альдонса прошла, простая, веселая, как прежде. Сказала:

— Милая моя Дульцинея, к тебе приходила я, твоя Альдонса, и ты меня не узнала. Узнаешь ли ты хоть теперь тайну, соединяющую нас навеки?

Прошел старый Хозе. Что-то бормоча, он бренчал ключами, ища того, который нужен, и, когда нашел, засветился радостною улыбкою и говорил тихо, как там, на кладбище:

— Бедная королева Ортруда, золотую монету ты мне подарила, и твое золото положил я к ногам Непорочной Девы. Ты чаруешь и убиваешь, бедная госпожа земная, но сокровища твои невредимы, а злое твое отвеется вечным ветром.

Прошла Маргарита Камаи. На ее горле кровью точилась черная, длинная рана. Было залито кровью белое на Маргарите платье. Но Маргарита улыбалась и говорила:

— Любви не зальешь и кровью, бедная королева Ортруда.

После всех пришла бледная, прекрасная Афра. Она ничего не говорила. И неясен был облик Афры, словно облеченный туманом.

Распространился в народе слух, что извержение вулкана произойдет седьмого июня. Жители Драгонеры толпами бежали с острова, переполняя пароходы и лодки. В Пальме и в других городах появились тысячи выходцев. Было много бедняков. Их кое-как устроили на средства частной благотворительности. Кое-что дало и правительство.

Множество пароходов и яхт кружилось около острова Драгонеры. Большая часть их близко к берегу не подходила. Их пассажиры были преимущественно любопытные туристы. Им хотелось полюбоваться извержением вулкана — редкое зрелище и великолепное.

Однако предсказанный день прошел благополучно. Приспешники Виктора Лорена торжествовали. Многие жители Драгонеры стали возвращаться на свой остров, отчасти потому, что поверили в безопасность вулкана, главным же образом, конечно, потому, что брошенные в страхе дела и корысть влекли их домой.

Думала королева Ортруда: «Настал мой срок идти к вулкану, заворожить его навеки, мою верховную власть над буйною распростереть стихиею. Или ничего не может человек, даже и увенчанный, против стихийных злых сил? Спрошу, что скажет мне Афра. Мертвые знают».

Королева Ортруда пришла к Афре. Холодная и бледная лежала в постели Афра.

«Отчего же ее не положили в гроб?» — подумала Ортруда.

Но никого не спросила она ни о чем. Не все ли равно!

Королева Ортруда наклонилась к неподвижному, похолодевшему лицу милой ее подруги. Сказала тихо, но с великою жаждою ответа:

— Милая Афра, я поеду к вулкану, я взойду на его вершину и дымный гнев его зачарую словами последней моей любви и великого моего отчаяния. Скажи мне на прощанье хоть одно слово.

Бледные уста Афры разомкнулись, — и одно только слово расслышала королева Ортруда:

— Иди.

Могильно-глух был тихий голос Афры. Тихо сказала ей Ортруда:

— Милая полусмерть моя, образ смерти истинной, прощай!

Королева Ортруда поцеловала бледные уста Афры и вышла.

В соседней комнате встретился ей Филиппо Меччио. Он низко поклонился королеве Ортруде. Казалось, что он хочет сказать что-то. Но королева Ортруда не заметила этого. Она быстро и молча прошла мимо Филиппа Меччио, ответив на его поклон любезною, но почти бессознательною улыбкою. Может быть, королева Ортруда даже и не узнала Филиппа Меччио.

Вернувшись к себе, королева Ортруда написала короткое письмо Виктору Лорена. Извещала его о том, что она хочет посетить остров Драгонеру и что поедет послезавтра. Просила Виктора Лорена сообщить об этом народу.

Запечатавши письмо, Ортруда велела, чтобы его немедленно доставили первому министру.

Виктор Лорена был очень встревожен этим письмом. Гибель королевы Ортруды при извержении вулкана вовсе не входила в расчеты

Виктора Лорена. Как и многих других, доклад посланной на Драгонеру комиссии почти убедил его в том, во что ему так хотелось верить. Но возможность катастрофы все же была для него совершенно ясною. Уж если суждено было совершиться этому ужасному несчастию, то, по расчетам Виктора Лорена, все же было бы лучше, если бы в это время еще царствовала на Островах королева Ортруда, любимая народом.

Вообще, Виктор Лорена дорожил королевою Ортрудою по многим причинам. Даже и потому, между прочим, что ее увлечения и ошибки, как и промахи принца Танкреда, могли быть использованы им при случае.

Виктор Лорена явился в королевский замок в тот же день вечером, не в урочное время. Королева Ортруда приняла его немедленно. Она сдержанно улыбалась, глядя на его восторженное лицо. Она так и ожидала, что Виктор Лорена станет отговаривать ее от поездки к вулкану.

Виктор Лорена говорил непритворно-взволнованным голосом:

— Нельзя не преклоняться перед теми великодушными чувствами, которые побудили ваше величество принять это чрезвычайное решение. Но я позволю себе просить ваше величество, во имя высших интересов государства и династии, отложить исполнение этого намерения. Положение дел в настоящее время совсем не таково, чтобы в таком чрезвычайном акте могла представляться необходимость. Осуществление этого решения привлекло бы общее внимание и внушило бы мысль о чрезвычайной важности положения. Притом же совершенно невозможно подвергать опасности драгоценную жизнь вашего величества.

Противно было королеве Ортруде лицемерие министра, и с досадою слушала она его. Она спросила:

— Скажите, дорогой господин Лорена, на этом острове очень опасно?

Виктор Лорена ответил:

— Опасности почти никакой нет, ваше величество. Но даже и слабой тени опасности достаточно, чтобы это побуждало меня самым

настойчивым образом просить вас, государыня, отказаться от этого великодушного решения.

— Стало быть, дорогой господин Лорена, опасности совершенно нет? — спросила Ортруда.

Уклончивы были пространные объяснения Виктора Лорена. Но королева Ортруда настаивала:

— Дорогой господин Лорена, я хочу знать ваше определенное мнение, насколько опасен вулкан.

Наконец Виктор Лорена сказал:

— Даже и ученые могли ошибиться. Я лично думаю, что некоторая, — скажем, довольно большая, — возможность опасности есть.

— Так я поеду, — сказала королева Ортруда. — Я думаю, что ошибались не ученые, — ошиблись мы с вами, господин министр. А теперь народ ждет от нас только одного, — чтобы я заговорила вулкан и моею верховною властью отвратила от острова опасность.

Виктор Лорена посмотрел на королеву Ортруду с большим удивлением и с осторожною почтительностью сказал:

— Ваше величество, конечно, не разделяете народных суеверий.

Королева Ортруда улыбнулась и сказала:

— Конечно, дорогой господин Лорена. Но зато какое будет торжество для науки и для династии, если я вернусь благополучно и если извержения вулкана не произойдет! Итак, это решено окончательно. Я еду.

Виктор Лорена прямо от королевы Ортруды поехал к морскому министру. В ту же ночь был отдан приказ флоту идти к острову Драгонере.

Флот был застигнут этим приказом в полной неготовности. Кое-как собрались к местам командиры и команды, кое-как наладилась спешная, но нелепая работа, — и только через несколько дней морские тяжелые посудины могли ползти к Драгонере.

От морского министра Виктор Лорена поехал к королеве Кларе, просить ее, чтобы она отговорила королеву Ортруду от поездки к вулкану. Это была, конечно, почти безнадежная попытка. Виктор Лорена знал, что королева Ортруда выслушает королеву-мать, но не послушается ее.

Принц Танкред смеялся над вулканом и над теми, кто опасался извержения. Он говорил:

— Глупо было бы не верить целой комиссии таких ученых, знаменитых людей.

Все-таки ехать к вулкану принц Танкред вовсе не хотел. Но и оставаться в Пальме, когда его супруга, царствующая королева, едет к опасному острову, было неприлично и неловко. То обстоятельство, что разрыв между королевою Ортрудою и принцем Танкредом был всем известен, только усиливало эту неловкость.

Поэтому принц Танкред притворился больным. Конечно, у него оказалась инфлуэнца. Эта любезная болезнь всегда к услугам желающих.

Королевская яхта была, — если не считать еще яхты в тайне грота, — единственным кораблем во всем флоте Соединенных Островов, всегда готовым к плаванию. Эта яхта в назначенный час утром остановилась против замка и блестела на лазури волн, как нарядная белая игрушка из стали.

Королева Ортруда еще раз пришла к Афре проститься с нею. Афра лежала белая, холодная. Уже ни одного слова не услышала от нее королева. И ушла спокойная, холодная, как уходила она от могилы Карла Реймерса.

Королева Ортруда взошла на яхту. Ее свита была невелика.

— Пусть едет только тот, кто хочет, — говорила вчера королева Ортруда гофмаршалу Теобальду Нерита.

Многие, узнав решение королевы Ортруды, заблаговременно оставили Пальму, выискавши какие-то благовидные предлоги. Поехали с нею иные из храбрости, свойственной большей части этого народа, иные потому, что были обмануты выводами комиссии и не верили в извержение, иные потому, что это были тупые рабы этикета.

С королевою Ортрудою, ко всеобщему удивлению, поехала и королева Клара. Это было тем более удивительно, что королева Клара до дня отъезда выказывала большой страх перед вулканом. Она очень настойчиво уговаривала королеву Ортруду не ехать. Теперь же, взойдя на яхту, королева Клара была совершенно спокойна.

При дворе и в обществе строились многие предположения о том, зачем поехала на Драгонеру королева Клара. Одни говорили:

— Королева Клара любит дочь и не может расстаться с нею в минуту такой великой опасности.

Другие говорили:

— Королева Клара едет из тонкого расчета.

Возражали:

— Какую выгоду можно извлечь из этой безумной поездки?

Но сторонники такого мнения говорили:

— Королева Клара очень хитрая. Она не сделает лишнего шага. Уж наверное она рассчитывает на что-нибудь.

Третьи говорили:

— Едет просто по глупости. Верит в комиссию этого шарлатана Арриго Аргенто.

Четвертые говорили:

— Суеверна королева Клара. Она поверила в деревенские бредни о том, что королева Ортруда имеет силу над вулканом.

## Глава семидесятая

Королевская яхта, белая морская красавица, слегка покачиваясь на волнах, трепеща легкою дрожью от поспешной работы мощных машин, быстро подвигалась вперед. Перед нею за горизонтом медленно вырастало багрово-черное облачко дыма над Драгонерою. Легкий, еле видимый пепел носился в воздухе, ложился на одежду королевы Ортруды и ее спутников, — и от него небо красиво и нежно золотилось при солнце.

Попадалось много других пароходов — с туристами. Серые дымки этих пароходов кружились вокруг неподвижно-багрового дыма из вулкана.

По мере того как приближалась королевская яхта к Драгонере, с каждым часом все усиливались грозные признаки. Серее ложился пепел, и густое, мрачное стало доноситься грохотание подземного

грома. Тревожное настроение на яхте все возрастало. Лица спутников королевы Ортруды были как притворно-любезные маски.

Королева Ортруда пригласила своих спутников к завтраку и к обеду. Ее любезная веселость только внешне оживляла их. Они были полны того страха, который почти невозможно скрывать, и только немногие остались до конца совершенно спокойны. А королева Ортруда была даже весела, как уже давно не бывала веселою.

После обеда королева Ортруда разговаривала с Теобальдом Нерита. Она сказала:

— Дорогой гофмаршал, я заметила, что за нашим обедом было как будто меньше приборов, чем во время завтрака.

Теобальд Нерита уныло сказал:

— Когда яхта вашего величества остановилась, чтобы взять почту, в это время несколько человек высадилось. У них оказалась такая жестокая морская болезнь, что они продолжать путешествие не могли.

Королева Ортруда с улыбкою опросила:

— Сбежали?

Гофмаршал так же уныло ответил:

— Да, ваше величество. Эти люди боятся смерти.

Королева Ортруда ласково говорила, пожимая руку Теобальду Нерита:

— А мы с вами ее не боимся, — не правда ли, дорогой гофмаршал? Кто потерял так много, как вы и я, дорогой господин Нерита, тот не может боятся смерти.

Теобальд Нерита, преданный и растроганный, молча поцеловал руку королевы Ортруды, маленькую, нежную, жестокую руку. Королева Ортруда, грустно улыбаясь, сказала:

— А эти бедные беглецы! Как им будет стыдно, когда мы живы и невредимы вернемся в Пальму! Мы посмеемся над ними.

Теобальд Нерита сказал печально:

— Им будет еще стыднее, ваше величество, если мы не вернемся.

— Мы вернемся, — улыбаясь, сказала королева Ортруда.

Ночью, когда уже королева Ортруда спала, яхта подошла к Драгонере и стала на якоре в гавани.

Королева Ортруда вышла на берег рано утром. Пристань была убрана национальными флагами по случаю прибытия королев. На берегу перед пристанью выстроилась рота армейской пехоты с развернутым знаменем. На правом фланге роты стояли неподвижно за ротным командиром высокий и худой полковник и тучный маленький бригадный генерал.

С пристани город Драгонера, окутанный багрово-золотистою дымкою, казался таким же красивым, как и прежде. Его белые каменные небольшие дома раскидывались широким амфитеатром в глубине бухты. Сады у каждого дома, как и прежде, цвели бело и ароматно. Город казался мглисто-пасмурным, но оживленным, как всегда.

Как и прежде, галдели у пристани смуглые мальчишки. Вся их одежда состояла из коротких рваных штанишек. Густые, курчавые, черные волосы защищали лучше шапок их головы от зноя. Они шалили у воды или ожидали у пристани приезжих, чтобы отнести ручной багаж до гостиницы.

Ревели серые, мохнатые ослы, навьюченные чем-то. Чем-то озабоченные люди сновали по ярко-белой на солнце, шоссированной дороге вверх в город и вниз к гавани. На козлах экипажей, присланных для королев и для их свиты, гордо сидели кучера. Длинные тонкие бичи торчали в их обтянутых белыми перчатками руках. Лакированные белые цилиндры на них были блестящи, как всегда.

А там, над городом, грозным призраком тяготел вулкан. Он лежал в глубь острова, поодаль от берега, немного восточнее города. Словно ревнуя и завидуя людям и вечно созидающему творчеству их, вулкан построил над собою громадный город из дыма. В черный цвет этого дыма вмешивались багровые, пламенные цвета. Казалось, что в этом городе в вышине творится жизнь, злая, враждебная человеку. Казалось, что бешеные демоны там снуют и куют тяжелое, угрожающее что-то.

В воздухе носилось много пепла, и оттого воздух казался горьким и душным. Был аромат цветущих роз странно влит в горькое томле-

ние легкого дыма, еле видного над морем, похожего на поднявшийся с волн морских зыбкий туман рассветный.

На пристани королеву Ортруду встретил местный губернатор, высокий, худой старик в раззолоченном мундире. У губернатора были стеклянно-мутные глаза табачного цвета и такого же цвета борода, узкая, длинная. Колени губернатора странно гнулись, и он весь казался зыбким и трепетным.

Дочь губернатора, худенькая молодая девушка с матово-бледным лицом и прозрачными светло-голубыми глазами, неловко делая реверансы, поднесла королевам цветы. Обласканная королевами, она застенчиво краснела и отвечала на их вопросы с пугливою готовностью послушной девочки.

Королева Ортруда обратилась к губернатору с милостивыми вопросами, сначала о нем самом, о его службе, о его семье и потом о городе и об острове Драгонере.

Разговаривая с королевою Ортрудою, губернатор как-то странно шевелил ушами под своею расшитою золотым галуном треуголкою. Казалось Ортруде, что он весь холодеет при мысли о неизбежности катастрофы.

Губернатор рассказал королеве Ортруде, что жители города и острова в большом беспокойстве. Страх вулкана действует на людей очень дурно и развивает в них самые низкие наклонности и страсти. На острове участились случаи воровства и разбоев, бесстыдных дел и убийств. Тюрьмы переполнены, суд завален делами.

Подали экипажи. Королевы Ортруда и Клара в открытой коляске проехали в город.

Странный вид имели улицы и площади, дымные, полутемные. Дома стояли серые от пепла. Было душно, и трудно было дышать.

Смятение царило в городе. Жители Драгонеры казались обезумевшими. Они неистовствовали на улицах. Было много пьяных. Юродивые и пророки расхаживали по улицам.

В одном месте встретилась длинная вереница бормочущих старух. Они шли одна за другою, раскачиваясь. Бормотание их сливалось в неясный, тусклый гул. Надетые на них длинные, черные хламиды с большими капюшонами казались от пыли серыми.

Мальчишки, грязные уличные оборвыши, необузданно безобразничали. Никто их не унимал. Завидев экипажи с господами и дамами, они разбегались в ворота домов и в переулки и оттуда выкрикивали какие-то нелепые слова на местном диалекте. Не разобрать было, просили они чего-то, или приветствовали королев, или дерзкие кричали им слова. Смельчаки подбегали к королевскому экипажу и кричали:

— Сольди! Сольди на хлеб!

Губернатор бросал им медные монетки, из-за которых они принимались драться.

И в Драгонере было много верующих в могущество Ортрудиных чар и в ее власть над вулканом. Слышались иногда из толпы крики, по большей части женские:

— Спаси нас, королева Ортруда! Зачаруй вулкан поскорее, пока его дым еще не выел нам глаза!

Королева Ортруда была рада, когда среди этого смятения и гвалта она добралась наконец до губернаторского дома, где были приготовлены покои для обеих королев.

Прежде всего королева Ортруда пригласила к себе на совещание представителей самоуправления и правительственной власти. Они собрались в зале губернаторского совета и заняли места за длинным столом, на котором лежало красное сукно с золотою бахромою.

Королева Ортруда села на кресло с высокою спинкою, стоящее перед узким концом стола. За креслом королевы висела прикрытая балдахином картина местного живописца. На этой картине была изображена королева Ортруда в короне и в порфире.

Все здесь было похоже на тот небольшой зал королевского замка, в котором собирались министры, когда королеве угодно было самой председательствовать в их совещании. Только вместо самоуверенного и всегда спокойного Виктора Лорена справа от королевы сидел жалкий, растерявшийся старик.

Королева Ортруда с любопытством наблюдала этих господ. Ее поразило их чрезвычайное смятение. Они не могли скрыть его даже и при королеве.

Местный комендант, тучный бригадный генерал, вздыхал тяжело и шумно, как по команде. Каждый раз после этого он испуганно и виновато взглядывал на королеву Ортруду.

Мэр города Драгонеры, местный купец, маленький, сухонький, ершистый старичок, ехидно улыбался, ерзал на кресле и кстати и некстати говорил:

— Не могу скрыть от вашего величества, что я — республиканец.

В петлице его фрака краснела ленточка ордена, недавно пожалованного ему. Королева Ортруда милостиво улыбалась ершистому старичку и любезно говорила:

— Различие наших взглядов, господин мэр, надеюсь, не помешает нам поработать вместе на благо дорогого моему сердцу, как и вашему, населения этого города.

Ершистый старичок вставал, прижимал руки к сердцу и низко кланялся королеве; при этом его тяжелое кресло брякало о пол передними ножками.

Муниципальные советники были бледны, глупы и безгласны. Чиновники были бойчее, но говорили вздор. Речистее всех оказался председатель местного суда. Так как он обладал, кроме красноречия, еще и долею здравого смысла, то все остальные слушали его с трепетным вниманием.

И вот королева Ортруда совещалась с этими растерявшимися людьми о том, что надо делать в виду грозящих обстоятельств. Приходилось говорить так, словно не было в стране ни конституции, ни парламента, ни министерства, ни даже газетных статей и общественного мнения. Перед грозящею, давно предвиденною катастрофою все люди на этом острове были поставлены в такое странное положение, что казалось, будто спасение их зависит только от них самих и будто связей с остальным государством у них нет.

Решено было принять немедленно меры к удалению жителей города и сел на другие острова или, по крайней мере, на западный, далекий от вулкана, берег острова Драгонеры.

Королевскую яхту королева Ортруда приказала предоставить для женщин и детей. Скоро яхта была переполнена народом и ото-

шла в Кабреру. Ей было приказано, высадив там людей, спешить обратно.

Наскоро нанимали, где было можно, пароходы. В городе шли торопливые сборы: люди жалели оставить свои пожитки.

Королева Ортруда послала телеграмму Виктору Лорена с требованием прислать военные корабли для перевозки жителей города. Через час Виктор Лорена ответил: «Все распоряжения отданы. Надеюсь, завтра утром эскадра будет в гавани Драгонеры».

Королева Клара в это время посещала местные церкви и потом богадельню и тюрьму, где именем королевы Ортруды, освободила всех, кого было возможно освободить. С оставшихся под стражею тяжелых преступников сняты были кандалы.

Собравшихся господ королева Ортруда пригласила к своему завтраку. Ершистому мэру она сказала:

— Надеюсь, господин мэр, что различие наших мнений не помешает вам и достопочтенным муниципальным советникам выпить вместе со мною вина за благополучие прекрасного города Драгонеры.

Отказаться от королевского приглашения было неловко. Притом, — решил ершистый старичок, — королева Ортруда — прежде всего очаровательно любезная дама; завтрак же в королевском дворце ни к чему не обязывает. Да и расходы на королевский стол оплачиваются государством, стало быть, принять участие в королевской трапезе не вредно и республиканцу.

Успокоенный всеми этими соображениями, мэр повеселел и за столом оказался интересным собеседником. Подбодряемый любезными вопросами королевы Ортруды, он рассказывал о местных делах очень занимательно.

## Глава семьдесят первая

После завтрака королева Ортруда приказала подать коляску, — хотела ехать к вулкану. Напрасно губернатор, комендант и мэр согласно уговаривали ее не делать этого. Она решительно сказала:

— Я для того и приехала сюда, чтобы взойти к самому краю кратера.

Королева Ортруда села в коляску вместе с губернатором. Она взглянула на окна и стены губернаторского дома. Белые когда-то стены красивого дома над морем были теперь тускло-серы от золы и от пепла.

В одном из окон королева Ортруда увидела лицо своей матери. Королева Клара плакала горькими слезами и крестила Ортруду.

Тяжелою тоскою сжалось сердце бедной королевы Ортруды. Так захотелось вернуться в милую Пальму, на гордую башню старого королевского замка.

Королева Ортруда сказала сурово, ни к кому не обращаясь:

— Пожалуйста, скорее!

Губернатор сделал знак рукою, и коляска помчалась по улице, ведущей за город и к вулкану. Перед коляскою королевы пустили взвод конных карабинеров, а сзади ехало еще несколько экипажей с лицами ее свиты, с местными чиновниками и с мэром Драгонеры.

За экипажем королевы Ортруды долго бежали толпы каких-то воющих людей. И опять долго слышались безумные женские вопли:

— Спаси нас, королева Ортруда!

Путь к вулкану был тяжел. Дышать становилось все труднее — от пепла и от дыма, который делался гуще и гуще. Песок дороги был смешан с теплым пеплом. От этого он был вязок; колеса экипажей втягивались в него, как в жидкую резину, и еле двигались.

Потом пришлось ехать верхом. Тучный комендант, садясь на лошадь, упал в обморок. Пришлось уложить его в коляску и отправить обратно в город.

Дорога различалась с трудом. Дым клубился. Все пламеннее и багровее были его мерные колыхания, и они были похожи на дыхание гигантского зверя, смрадное дыхание, веющее прямо в лицо поднимающимся к его мрачному логовищу. Становилось ясно, что дальше опасно ехать.

Королева Ортруда настаивала:

— Вперед как можно дальше.

И вот уже подъехали к вулкану совсем близко. Лошади стали метаться, испуганные, задыхающиеся. Королева Ортруда и ее спутники сошли с лошадей и прошли еще с полсотни шагов. Лошадей пришлось отвести вниз к экипажам. Губернатор сказал:

— Дальше опасно.

Королева Ортруда быстро пошла вперед. Теобальд Нерита не отставал от нее, — только один он. Королева Ортруда сказала ему:

— Милый гофмаршал, я очень благодарна вам за то, что вы проводили меня так далеко. Но дальше я должна идти одна.

Теобальд Нерита остановился. Но когда королева Ортруда отошла шагов на пять вперед, он тихо пошел за нею, стараясь оставаться все время в одном и том же расстоянии от нее.

Вся закутанная облаком дымным, багрово-черным, королева Ортруда подошла к краю кратера. Когда она открыла рот, чтобы говорить, густой дым втеснился в ее легкие и заставил ее кашлять мучительно-долго, так что в виски стучала кровь и багряно стало в глазах. Но, тяжким усилием преодолевая тяжесть дыма, воскликнула королева Ортруда:

— Силами неба и земли заклинаю тебя, вулкан, — уйми свое неистовство, утиши свой гнев, замолкни и народу моему не грози!

Трижды повторила королева Ортруда свое заклинание. Но не внимал вулкан словам королевы Ортруды, и чары ее были бессильны. Ничто не изменилось вокруг, не дрогнул и не рассеялся облак дымный.

Королева Ортруда умолкла и стояла в бессильной печали. Нестерпимый жар охватывал королеву Ортруду. Раскаленный камешек покатился откуда-то из дымной тьмы к ее ногам. Королева Ортруда чувствовала, что сейчас упадет, задыхаясь. Оставаться здесь дольше было невозможно. Надо было и ей возвращаться.

Возвращаться, подвига своего не свершив!

Тяжело дыша, медленно приблизился к ней Теобальд Нерита.

Полная мрачного отчаяния, королева Ортруда вернулась к своим спутникам. Она была бледна и еле дышала. Казалось ей, что какая-

то тяжелая, горячая влага влилась в ее поднятую дымным вздохом грудь и стоит там неподвижно, свинцовою тяжестью наливая все жилы. Кто-то суетился вокруг королевы Ортруды. Ее подняли на руки и посадили в коляску.

В состоянии, близком к обмороку, ничего не видя и не помня, королева Ортруда возвращалась в город. Сквозь дымный туман багрово-красные огни города метнулись ей в глаза. Повеял с моря ветер, брызнули капли дождя.

В городе, близ моря, дышалось легче. А улицы были еще мрачнее, чем днем. Все, кто могли, выбирались куда-то. Унылое оживление было на освещенных электрическими фонарями и все же темных улицах.

Было уже совсем темно, когда королева Ортруда вернулась в губернаторский дом. Весь вечер она деятельно распоряжалась отправкою женщин и детей на пароходы. Но пароходов было еще мало, и удалось отправить только немногих.

Королевы ужинали с губернатором и с гофмаршалом Теобальдом Нерита. К ночи всеми овладело странное, вялое настроение. Не хотелось говорить и есть, каждое движение было неприятным. Ужин длился в угрюмом молчании, прерываемом короткими вопросами и ответами.

Ночь была душная и черная. Мрачно горели свечи, тускло мерцая в пепельной мгле. Окна были закрыты. Гул моря сливался с гулом города, глухим сквозь стекла запертых окон.

Прощаясь с губернатором, королева Ортруда сказала ему:

— Я надеюсь завтра дать возможность всем выбраться отсюда. Завтра вечером, надеюсь, и мы с вами будем иметь возможность оставить это угрюмое место.

Сказавши эти немногие слова, королева Ортруда почувствовала себя усталою, точно после длинной речи.

Губернатор говорил что-то несвязное. Он благодарил за что-то, а сам был зелен и казался полумертвым.

Неспокоен и томен был сон королевы Ортруды. Она часто просыпалась.

Душная, дымная ночь пугала Ортруду. Какие-то насмешливые, злые, хитрые голоса будили ее. Они требовали от нее чего-то, чего она не могла сделать.

Тревожно просыпаясь, Ортруда звала на помощь. Слабо и хрипло звучал ее голос. Никто не приходил к ней. Терезита спала в соседней комнате, — но сон ее был как черное подобие смерти. Тяжелый сон лежал над всем задыхающимся городом.

Темное чувство одиночества отяготело над Ортрудою. Казалось ей, что с самого рождения своего никогда еще не была она столь одинока.

Жестокие, жуткие кошмары наваливались на королеву Ортруду. Это — мертвые приходили иногда. Не могла различить королева Ортруда, наяву ли она их видит или во сне. Сны ее с явью мешались, и кошмары с действительностью.

Иногда картины сна так были безоблачны-ясны и так живы, словно тяжелое колесо времени повернулось назад и словно опять минувшие дни переживает королева Ортруда. Дни, которым, казалось, уже не будет возврата никогда.

Вот милый берег лазурного моря опять возник перед нею. На тихом берегу, под ярким сверканием оранжевых и фиолетовых скал, только двое — она и Астольф. На ней белое платье местной крестьянки. Розовыми ленточками перевязаны над тонкими стопами ее ноги, — как тогда, там, в горах.

Астольф в белой одежде. Его черные кудри вьются, его стройные ноги обнажены. Нежным шепотом попросил Астольф:

— Дай мне эти ленточки, Ортруда.

Улыбаясь ему нежно, говорила королева Ортруда:

— Сними сам и возьми.

Астольф нагнулся к ее ногам и развязал ленточки. Он жал тонкие стопы ее ног и нежно целовал их. Она склонилась поцеловать его, — но он смотрит на нее испуганньми глазами. Чей-то подземный голос, гулко-звучный, спрашивает:

— Безумная Ортруда, отчего же ты не у вулкана?

Чьи-то цепкие пальцы впились в горло королевы Ортруды. Это — Маргарита Камаи. Глаза ее зелены и ненавидят, и ноздри дрожат от бешеной злобы.

Проснулась королева Ортруда. Душный вокруг нее мрак и дымный запах. Тяжело дышать.

## Глава семьдесят вторая

Настало утро, и было оно еще страшнее, чем ночь.

Сквозь все скважины рам в окна губернаторского дома пробивался багровый дым. Из-за густого дыма едва видно было медленно восходящее над мглисто-серыми деревьями парка багровое, тусклое солнце. Оно не разгоняло тьмы и к ужасам мрака прибавляло ужас багрового пламени в небесах.

В это утро, вскоре после восхода солнца, началось извержение вулкана. Из кратера внезапно вылетел громадный сноп пепла и камней и рассыпался над городом. Затем начался непрерывный лет раскаленных добела камней, продолжавшийся несколько часов. Страшный грохот возрастал с каждою минутою. Город вдруг огласился криками, воплями, визгом, рыданиями. Вой ветра на улицах был подобен звериному вою. Но скоро он стих.

Королева Ортруда вскочила с постели неодетая и бросилась к окну. Она была бледная, точно серый пепел лежал на ее лице. С усилием открыла она дверь и вышла на балкон.

Даль улиц была красновато-серою от пепла. Воздух, казалось, сгущался медленно, но постоянно. Сухая, острая пыль проникала всюду. Казалось, что от нее гибнет город.

С болью, острою и резкою, входил воздух в грудь королевы Ортруды. Дым жег ее горло и глаза.

Небо, — но не было уже неба над погибающим городом. Низко, над самыми кровлями, ползли дымные тучи, оседая к земле. Из серых, клубящихся над городом дымных туч падали горячие камни, крупные и мелкие, падали частые, как град. Один из них ушиб и обжег плечо королевы Ортруды.

Сквозь тяжелый грохот и скрежет вулкана прорезывались яркие, как звуки гобоев, ужасные вопли испуганных, погибающих людей.

Смятение на улицах возрастало. Толпы полуобнаженных людей, темные сквозь пепельную мглу, бежали мимо губернаторского дома. Движения их были тяжелы, как бег во сне, когда тяжелеют ноги. Задыхаясь, люди падали на камни и умирали. Бегущие за ними падали на корчившиеся тела и на трупы и, бессильные подняться, выли хрипло и прерывисто.

Удушающий, непроглядно-густой дым буро-черною змеею медленно, злобно полз по улице. Голова его была белая, с огненными десятью глазами. Огненные языки его то возникали радостно красные, то дымно прятались опять за белыми, широкими губами.

Город погибал, задыхаясь в дыму.

Если бы чей-нибудь демонский взор проник сквозь пепел и дым, он увидел бы страшные картины агонии задыхающегося города.

На улицах и на площадях лежали убитые камнями, точно брошенные кем-то в торопливом движении. Было много погибших детей. Жалкие валялись среди пепла и камней их темные, голые трупики. Везде лежало много полуголых и голых тел. На иных горели, тускло тлея и смрадно дымясь, лохмотья одежды. Иногда и самые тела людей занимались медленным, измятым дымною пеленою огнем.

Через трубы каминов, через щели рам проникал в комнаты липкий, горячий пепел и просеивался белый, удушающий дым. Многие, застигнутые врасплох, погибали в домах. Тьмою полны были еще уцелевшие жилища, и было в них смятение приближающейся гибели и сознание безвыходности.

Смерть была как спасение.

Многие дома обваливались. Было много убитых обломками балок и камнями в домах и около.

Женщины, боящиеся и жалкие, как большие, но слабые дети, погибали в бессильных муках. Иные ползли по улицам, — около земли было меньше дыма. Иные в отчаянии бились головами об стены.

Вопли ужаса носились над городом. Ужас витал в домах и вне их. Дети, задыхаясь, вопили тоненькими, жалкими голосками. Больные задыхались в своих кроватях.

Были самоотверженные или горящие любовью к милым. Они пытались спасать из-под обломков и развалин и погибали сами. И были такие, которые, спасаясь, в слепом ужасе били и душили слабых. Примеры гнусного эгоизма и высокие героические подвиги самопожертвования можно было бы наблюдать рядом.

Метались и не знали, куда бежать. Море, потрясенное подземным толчком, яростно бросало волны на берег, сметая неосторожных. Остров весь был в дыму и в пепле, и раскаленные из вулкана камни осыпали весь остров и море вокруг.

Что было еще в городе живым, все было полно отчаянием близких над ужасными полуобугленными телами погибших милых или над развалинами, откуда сквозь грохоты и ужасы с неба рвались их безумные, глухие вопли. Ужасающие грохоты опять торопили бегство от милых трупов.

Повсюду возникали пожары. Медленный, дымный огонь, зажженный раскаленною злобою вулкана, пробивался сквозь пепел, но снова пепел падал, и огонь трусливо таился под серыми личинами пепла, от этого еще более злой. Скрытый жар пожаров становился невыносимым. Он стягивал кожу на лице, и в глазах было ощущение сухости и резкой боли.

И уже на всем городе лежал удушающий дым. Он заползал в квартиры и душил спрятавшихся в чуланы и подвалы.

Многие бросились в церкви. Одни думали молитвою вымолить спасение, другие хотели умереть с молитвою перед алтарем Божиим. Многие надеялись, что спасут свою жизнь под массивными сводами храмов.

Велико было смятение в церквах. Мольбы смешивались с богохульством. Фанатические патеры горячо молились, дерзновенно требуя чуда. Вопли молящихся были странно громки. Женщины бились в истерике.

Сквозь окна церквей падали громадные обломки. Рушилось неудержимо все — кровли домов и стены, памятники, церкви. Патеры,

молящиеся в церквах среди грохота обвалов, словно обезумели. Они не хотели спасаться, и молитвенные вопли их были ужасны и дики.

Со своего балкона не видела всего этого королева Ортруда. Только грохот за дымною тучею да неистовый хор воя и визга слышала, да мечта рисовала ей ужасные картины.

Хриплый голос Терезиты позвал королеву Ортруду. Ортруда бросилась назад, в комнаты, Терезита кое-как закрыла за нею дверь. Поспешно что-то надевала на Ортруду и вела ее куда-то.

Была робкая надежда спастись где-нибудь за толщею стен. Напрасная надежда!

Стекла окон треснули. В окна ползли пепел и дым, серые, косматые, липкие чудовища. Хватали за горло, душили.

Кровавый, багровый туман клубился вокруг Ортруды. Кровь, отравленная угаром, тяжело стучала в жилах ее шеи. Глаза королевы Ортруды, налитые кровью, видели все вокруг в багровом тумане. В ушах тяжелые, мягкие бухали шумы. Грудь, задыхаясь, не успевала дышать. Руки судорожно хватали дымный воздух. Речь Ортруды стала хриплым шепотом.

В одной из комнат королева Ортруда встретила губернатора. Он был бледен и шел шатаясь — искал королев. На нем была серая, может быть, от пепла, домашняя куртка. Королева Ортруда сказала ему:

— Уберите эту мебель!

— Ваше величество! — бормотал губернатор. — Куда же убрать!

И не знал, что сказать еще. Тихо сказала королева Ортруда:

— Мне душно!

Быстро слезы текли по ее щекам. Жалкий лепет срывался с ее губ. Руки судорожно комкали и рвали на груди тонкую ткань. Королева Ортруда пошатнулась. Она уже почти задохлась. Губернатор и Терезита поддержали ее. Но припадок удушья прошел. Беззвучны были ее рыдания.

— Я умираю, — тихо шептала она. — Умираю. Оставьте меня. Спасайтесь.

Губернатор взял ее под руку и вел куда-то вниз. Комната с грузными сводами, без окон, словно в подвале, озарилась красноватым све-

том электрических лампочек. На столе под зеркалом стояли зажженные свечи. Пол комнаты был сложен из больших, уже неровных от времени плит.

Губернатор говорил королеве Ортруде:

— Прилягте на диван, ваше величество.

Королева Ортруда прошептала:

— Вот я уже умираю!

Изнемогая, она легла на диван. Вокруг темнело. Электрические лампы погасли. Только свечи тускло освещали комнату.

Губернатор сидел в кресле неподвижно. Дыхание его было тяжело и шумно. Вдруг голова его низко склонилась. Он умер.

«Вот сейчас умру и я», — думала королева Ортруда.

На полу близ ног королевы Ортруды сидела Терезита. В полузабытьи слабо мечась, бормотала она несвязные слова и сильными пальцами теребила и рвала на высокой, тяжело дышащей груди складки одежды.

Маргарита Камаи легла на королеву Ортруду, зияя в ее глаза своею кровавою раною. Маргарита сжимала грудь Ортруды своею тяжелою, словно каменною грудью и сжимала горло Ортруды темною, дымною рукою, глядела в ее глаза дымными глазами и шептала:

— Умрешь и ты.

И вдруг исчезла, рассыпавшись ярким калейдоскопом красок.

Королева Ортруда вскочила в ужасе и сделала шага три вперед, мимо сидевшего неподвижно в кресле мертвого старика. Колени ее подогнулись. Она медленно свалилась на пол, роняя распущенные косы, и приникла щекою к плитам пола. Резкая судорога сотрясла все тело королевы Ортруды и опрокинула ее на спину.

Лицо королевы Ортруды восковело. Нижняя челюсть отпала и опять сомкнулась с резким стуком зубов. Это повторилось несколько раз, все слабее с каждым разом. И словно застыла, — погибла королева Ортруда. Глаза ее остались открытыми и стекленели.

В это время вошла откуда-то королева Клара. В полутьме она опустилась на пол, вгляделась в лицо лежащей и закричала хрипло:

— Ортруда! Ортруда!

Не отвечала мертвая королева Ортруда. Королева Клара в отчаянии билась над холодеющим телом дочери.

Словно разбуженная криком королевы Клары, Терезита вскочила на ноги. Задыхаясь от дыма, чувствуя приближение смерти, в слепом ужасе бросилась она бежать куда-то. На пороге она упала и умерла.

Теперь уже никого не было около королев.

Чувствуя приближение смерти, молилась отчаянными словами королева Клара. Она кричала в тоске и в ужасе:

— Возьми и меня, проклятая смерть!

Закутанные горьким дымом, были хриплы вопли королевы Клары. Она задыхалась. Теряя сознание, она тяжело упала на пол, рядом с трупом королевы Ортруды.

Тусклый свет свеч под дымом тлел, еле видный. Погасли и свечи.

Королева Клара умирала. Она хрипела тяжело и шумно. Уже ничего не сознавала. Повернулась на спину. Вытянулась. Стукнулась головою о камни пола. Лицо ее стало как воск.

Налет пепла на лицах королев увеличивался и стал как две серые маски.

Так, оставленные всеми, среди задохшихся верных, умерли обе королевы. Неподвижно лежали они обе. Дым все тяжелее сгущался вокруг них. Пепел легко осыпался на их распростертые, полуобнаженные тела. Медленно заносило их пеплом.

Замолкли последние голоса людей, и мрачное в грохоте обвалов молчание пришло и стало в королевском доме над поверженными трупами королев. В соседних покоях обваливались потолки. Но там, где лежали обе королевы, — странная прихоть случая! — все осталось цело.

Тяжкое грохотание было во дворце и окрест. Но некому было его слушать. Молчание царило в грохотах и в стихийном яростном вое.

Все, оставшиеся в городе, умерли. И уже не слышно было людских голосов. Мертвый город томился мертвым сном.

Те, кто успел выбраться из города, бежали к морскому берегу. Отчаяние и ужас вопили в их толпах. Многие из беглецов гибли по дороге, задохшись от дыма, отравленные тяжелым воздухом или уби-

тые камнями. Но не спаслись и те, которым удалось добраться до порта.

Почти одновременно с началом извержения вулкана произошло несколько подземных толчков о дно морское, — первый минуты через две после начала извержения и еще три или четыре с промежутками от одной минуты до двух. С каждым толчком громадная волна плескалась на берег, сокрушая пристани и легкие постройки для товаров. Бушующие волны с неистовым ревом прядали одна за другую на берег.

Вид моря с дороги из города в порт был ужасен. Безветренные, страшны были волны. Ничем не гонимые, яростно бились они о прибрежные скалы. Яростный рев прибоя заглушал порою свирепые грохоты вулкана.

Неосторожно приблизившиеся к острову корабли разбивались и тонули. В этом ужасном крушении погибло много матросов, любопытных туристов и смелых газетных сотрудников, посланных жадными до сенсаций редакциями. Несчастным так и не удалось познакомить свою публику с подробностями этой редкой, удивительной картины.

Громадные волны внезапно метались навстречу бежавшим из города. Слабые тонули, сильные пытались плыть и погибали также.

Никто из бывших в Драгонере в это утро не нашел себе спасения.

## Глава семьдесят третья

В Пальме был слышен издалека гул катастрофы. Море волновалось, и небо над Пальмою было пепельно-багровое. Возникшие неведомо откуда в Пальме носились смутные слухи о гибели города Драгонеры. Все настойчивее говорили о том, что обе королевы погибли.

Тревога в Пальме росла. На улицах собирались взволнованные, шумные толпы. Перед министерством внутренних дел, где жил Виктор Лорена, и перед морским министерством происходили враждеб-

ные демонстрации. Веяли красные и черные флаги. Слышались яростные речи внезапно возникших ораторов, перемежаемые диким воем и ревом беснующейся толпы. В окна величественных зданий летели камни. Звон разбитого стекла покрывался ликующим хохотом растрепанных баб и девчонок и свистом полуголых мальчишек.

К вечеру слух о смерти королев усилился. Точных сведений не было. Это доводило толпу до бешенства. Говорили, что министерство знает истину, но скрывает ее от народа. Уличные ораторы приглашали толпу вздернуть министров на фонарь. Пришлось на помощь полиции призвать войска. Несколько батальонов пехоты стояли под ружьем во дворах министерских зданий.

Но министерство еще ничего не знало: телеграф с Драгонерою не работал.

Наконец в Пальму пришло известие о катастрофе. Телеграммы из Кабреры известили о том, что город Драгонера разрушен при извержении вулкана, что там много убитых и что происшедшим одновременно моретрясением около Драгонеры потоплено много кораблей. О судьбе королев не было ни слова.

Эти телеграммы были немедленно отпечатаны и раздавались народу. Раздача телеграмм утишила волнение народное ненадолго. Всю ночь на пальмских улицах были шумные толпы. Настроение было мрачное, подавленное.

К утру были расклеены по городу афиши успокоительного содержания. В них министерство уверяло, что были приняты все меры к спасению королев. Министры, конечно, сами не верили тому, в чем хотели уверить народ. Да и никто им не верил. Толпа рвала на части лживые афишки.

В тот самый час, когда королевская яхта с королевою Ортрудою отошла от Пальмского замка, направляясь к Драгонере, — Филиппо Меччио вывез Афру, погруженную в летаргический сон, из ее комнат в замке.

Афру перевезли в городок Сольер на северо-западном берегу Майорки. Из этого города был родом Филиппо Меччио. В Сольере Афру

поместили в доме сестры Филиппа Меччио, бывшей замужем за местным нотариусом.

Афра проснулась в тот же вечер, как ее привезли в этот дом. Двое суток она пробыла в тяжелом состоянии полусознательности, похожем на состояние дрессированного человекоподобного животного. Афра одевалась и ходила, разговаривала любезно и весело, даже выходила из дому, но смотрела тупо и все сейчас же забывала. Потом в ее памяти ничего не осталось от этих двух темных дней.

Совсем пришла в себя Афра только в вечер после извержения вулкана. Первый, кого она сознательно увидела, был Филиппо Меччио. Афра сказала с удивлением:

— Как странно! Вот вы, Филиппо, и это я, но все вокруг неожиданно чуждо и ново. Что же это, Филиппо?

Филиппо Меччио ответил ей:

— Это город Сольер, о котором я вам рассказывал много. Мой родной город.

— А это — ваш дом? — спросила Афра.

— Милая Афра, — ответил Филиппо Меччио, — мой дом еще не достроен. Здесь вы находитесь в доме у моей сестры. Надеюсь, вам здесь понравилось.

— Я очень рада, — ответила Афра, — что вижу вас, милый Филиппо. Но как же я попала в Сольер? И где королева Ортруда? Что с нею?

Филиппо Меччио спросил осторожно:

— А не кажется ли вам, милая Афра, что королевы Ортруды и не было никогда, что она вам снилась и что этот сон не повторится?

— Ах, Филиппо! — воскликнула Афра. — Сны, которые нам так сладко снятся, действительнее самой жизни. Но я догадываюсь, почему вы об этом говорите, — моя бедная Ортруда погибла.

— Будем надеяться, что ее спасут, — сказал Филиппо Меччио. — Королева была в Драгонере накануне извержения и пыталась спасать жителей. Бесчестное правительство оставалось в безопасности в Пальме. Ортруда была великодушная, смелая женщина. Но она была

слишком молода для такого высокого поста. И не ее вина, что волею избирательной машины возле нее был поставлен этот подлец Виктор Лорена.

— Моя Ортруда погибла! — тихо сказала Афра.

И заплакала горько. Утешая, целовал ее нежно Филиппо Меччио.

В эти страшные дни любовь щедрою рукою рассыпала свои чарующие цветы. Кто не любил, влюблялся. Кто уже любил, в том еще сильнее разгоралось пламя страсти. Имогена и Мануель Парладе, Афра и Филиппо Меччио — слаще и радостнее стала им любовь их, цветущая под сумрачным небом общенародного бедствия.

Извержение к ночи прекратилось, грохот вулкана затих, рев моря стал стихать, и уже рано утром на другой день многие отправились на пароходах к Драгонере.

Всем военным кораблям приказано было идти к Драгонере и оказать помощь.

Еще неизвестно было, кто погиб, — но уже во многих семьях царила предвещательная, никогда не обманывающая тоска. Казалось, вся Пальма, такая веселая и беззаботная в обычные дни, охвачена была тягостным томлением.

Только принц Танкред, прикованный к постели притворною болезнью, предвкушал ликующую радость, которую принесет ему весть о смерти королевы Ортруды. Принц Танкред не сомневался в том, что Ортруда умерла, и был уверен, что путь к престолу для него чист. Но Танкред должен был лицемерить, выказывать тревогу, делать взволнованное и грустное лицо.

Его друзья сочувственно твердили:

— Бедный принц! Он страдает сильнее всех нас.

Был, впрочем, краткий срок, когда лицо принца Танкреда стало взволнованным непритворно: разнесся слух, что королева Ортруда спаслась и на миноноске прибыла в Кабреру. Было несколько минут радостной надежды в обществе. Думали, — если спаслась королева, то могли спастись и другие.

Но скоро опять стали говорить, что королева Ортруда погибла и что миноноска нашла на берегу Драгонеры только обугленный труп королевы. Никто не знал, откуда идут эти слухи.

Тревога росла. Толпа бушевала на улицах. Были кровавые стычки, насилия и убийства. Нападали на дам, одетых нарядно, срывали с них пестрые шляпки и цветные ткани, и побитые, помятые модницы спасались с трудом. Особенно яростны к нарядным дамам были дамы с центрального рынка, торгующие зеленью и рыбою.

В министерстве спорили о том, что делать. Министры растерялись и говорили, что надо подать в отставку. Один Виктор Лорена был спокоен. Он говорил:

— Уличные зеваки покричат и успокоятся. Ну подадим мы в отставку, — но кто же назначит новый кабинет? У королевы Ортруды нет наследников, некому быть регентом, и потому теперь мы являемся единственною законною властью в стране.

И министерство решило остаться на месте.

Политики и биржевики спекулировали на катастрофе. Курс государственных займов понизился немного и твердо стоял на этом уровне. Зато бумаги промышленных и колониальных предприятий стали предметом жестокой спекуляции. Эти бумаги то повышались стремительно, то так же стремительно падали, в зависимости от того, высоко или низко оценивались биржею шансы принца Танкреда на корону.

Биржа кишела, как муравейник. На улицах было необычайное смятение.

В самый день смерти королевы Ортруды в кружке единомышленников принца Танкреда уже зашел разговор о его кандидатуре на престол. Собравшись у постели мнимобольного принца, господа, злоумышлявшие против королевы Ортруды, выражали притворную скорбь. Они даже довольны были королевою Ортрудою: ее гибель спасла их от опасностей задуманного ими переворота. Теперь восхвалять ее достоинства им было не так уж трудно.

Герцог Кабрера говорил:

— В этом ужасном мраке, объявшем нашу страну, единственный луч радостной надежды, это — вы, ваше королевское высочество.

Кардинал тихо промолвил:

— Бог устраивает все к лучшему.

И с молитвенным смирением потупил хитрые глаза.

Принц Танкред посмотрел на него с неудовольствием. Ему показалось, что это уже слишком. Но ловкий архиепископ продолжал, нисколько не смущаясь:

— Так и болезнь вашего высочества, повергавшая нас в глубокую скорбь, явно послана Богом, чтобы спасти нам эту драгоценную жизнь.

Принц Танкред возразил:

— Что ж моя жизнь! Теперь мы должны думать только о том, как спасти наше дорогое отечество, а моя жизнь принадлежит е́му.

Наконец и сам Виктор Лорена в сопровождении морского министра и еще двух членов кабинета взошел на миноносец и отправился к острову Драгонере. Быстрый ход миноносца позволил ему приблизиться к городу в числе первых.

Виктор Лорена и его спутники стояли на верхней рубке и в бинокли осматривали город Драгонеру. Они казались опять налетевшими, неугомонными туристами, которым любопытно посмотреть на невиданное зрелище. Город Драгонера издали казался мало пострадавшим. Но когда вошли в гавань, то увидели полную картину разрушения.

Миноносец остановился на якоре. К берегу были посланы шлюпки. На одну из них сел и Виктор Лорена. Расчетливо-храбрый, очень спокойный, хорошо владеющий собою человек, он подавил в себе жуткую тревогу опасностей. Теперь он казался отважным и юношески смелым.

Его отговаривали от поездки в город. Говорили:

— Пусть сначала матросы почистят дорогу и укрепят стены в тех местах, где они угрожают падением.

Виктор Лорена решительно сказал:

— Теперь я должен быть впереди всех на опасном месте.

Он делал эффектные жесты и искусно произносил эффектные слова. Это производило сильное впечатление.

Виктор Лорена высадился не без труда, так как берег был завален обломками пристаней, амбаров, лодок и грудами каких-то мелких поломанных вещей. Слои сажи и пепла лежали на всем. Виктор Лорена и его спутники через пять минут были уже совсем черны от пепла. Они пошли в город, увязая в пепле. Но уже скоро пришлось вернуться к берегу.

Послали расчищать путь. Матросы работали усердно. Наконец по расчищенному шоссе можно было добраться до города.

Многие дома казались снаружи совершенно целыми. Но все в городе было засыпано камнями и пеплом. Неживые улицы были загромождены какими-то бесформенными обломками. Жутко было прислушиваться к царящему в городе унылому безмолвию.

Город имел зловещий, мрачный вид, — город мертвых. Страшные картины разрушения и смерти попадались на каждом шагу. Повсюду лежали трупы, полузасыпанные пеплом, обгорелые, с посиневшими лицами. И везде был смрад гниющих трупов. Людей не было нигде.

Виктор Лорена и его спутники медленно подвигались по улицам. Во многих местах приходилось прорывать рвы в пепле.

Так как многие полуразрушенные дома грозили падением, то приходилось подвигаться вперед с бесчисленными предосторожностями.

Наконец добрались до губернаторского дома.

Понижая голос, как говорят в доме, где есть покойники, кто-то сказал:

— Королевы остановились здесь.

Виктор Лорена тихо ответил:

— Будем надеяться, что королевы живы.

Он почтительно и грустно приподнял шляпу и наклонил голову.

Фасад губернаторского дома был полуразрушен. Стекла уцелевших окон были разбиты, и осколки их кое-где странно и тускло блестели в полуобгорелых рамах. Кровля с правой стороны, ближайшей к вулкану, была цела, с другой стороны — обвалилась.

Послали в дом солдат саперов. Прошло около часу томительного ожидания. Виктор Лорена нервно постукивал тростью по камням, курил папиросу за папиросою и ходил взад и вперед на небольшом пространстве наскоро расчищенной улицы. Его спутники уселись на каких-то обломках. Разговаривали пониженными голосами, и почему-то все о неинтересных мелочах пальмской жизни.

Наконец молодой поручик доложил Виктору Лорена, что потолки и стены в ближайших комнатах губернаторского дома укреплены, что найдены трупы двух служителей и что работы в дальнейших комнатах продолжаются.

Виктор Лорена вошел в дом.

Груды извести и мусора валялись повсюду. Воздух был тяжел и противен. Известковая пыль набиралась в легкие и в ноздри. Дышать было тяжело, точно тяжелая тоска давила грудь. Был неподвижен запах тусклого, сдавленного тления. Два найденных трупа лежали в стороне, на каких-то досках.

У всех на уме был один тревожный вопрос:

— Где же королевы?

Чтобы проникнуть дальше, в глубину дома, пришлось еще долго и осторожно работать, разбирать развалины и груды камней и пепла. Подняли еще несколько измятых и полузасыпанных пеплом трупов. Ничего не нашли в верхних покоях дома, где могли быть комнаты, отведенные для королев. Наконец спустились вниз, в коридоры и помещения полуподвального этажа. Работали с факелами и с фонарями.

Дверь одной комнаты была полуоткрыта. У ее порога увидели распростертое на каменном полу тело мертвой женщины. Узнали камеристку Ортруды, Терезиту. Предвещательное волнение охватило всех. Эта умершая у порога женщина казалась трогательною жертвою преданности. Здесь, конечно, должна быть и ее госпожа.

Тело Терезиты положили на носилки и вынесли. Тогда Виктор Лорена и его спутники молча переступили порог.

В этой комнате с низкими, грузными сводами воздух был еще более тягостен и смраден, чем в других покоях этого дома. Было очень темно. Виктор Лорена тихо и отрывисто приказал:

— Осветить.

И в ту же минуту, словно предупреждая его приказание, по стенам комнаты метнулись отблески внесенных солдатами фонарей. Кто-то сказал негромко:

— Здесь.

Ряд огней по обе стороны Виктора Лорены развернулся полукругом, освещая страшное и жалкое зрелище. На полу лежали полунагие тела обеих королев, покрытые серым, липким слоем пепла. Над ними в кресле виден был сухой и тонкий труп губернатора.

Солдаты осторожно подняли тела королев. Их положили на носилки и бережно вынесли на улицу. Там, в странном сверкании солнечных, косых на закате лучей, сквозь тусклую, серую пыль тела обеих королев были так же недвижны и жалостны, как и тела других умерших.

В толпе солдат и чиновников громко рыдал кто-то, преданный и взволнованный. И у других лица стали грустны и глаза влажны.

## Глава семьдесят четвертая

Невозможно было в короткое время похоронить множество трупов. Смрад от их гниения мешал оставаться в городе. Виктор Лорена и его спутники спешили поскорее выбраться отсюда.

И вот обе королевы в тяжелых, свинцовых гробах, и гробы их на той же нарядной яхте, которая привезла их на остров разрушения и смерти. Неторопливо двигалась яхта, — быстро бежал по морю, обогнавши ее, миноносец с министрами.

На другой день яхта, везущая тела королев, остановилась перед Пальмою. Ярко и сквозь радужно-серую дымку легкого пепла сиял близкий к зениту пламенный Змий, ликующий и смеющийся. В его сиянии эта стройная яхта рядом с другими кораблями казалась туманно-легкою морскою красавицею. Траурные флаги на ее мачтах веяли весело и гордо.

Толпы народа уже с утра ждали на морском берегу. Уже с утра готовы были траурные колесницы для перевезения тел в капеллу королевского замка.

Когда поставлены были на колесницы два гроба, в толпе слышны были вопли и рыдания. Пышное зрелище стало мистериею народной скорби.

Совет министров собрался в тот же день, когда Виктор Лорена вернулся в Пальму.

Утром в Правительственном указателе появилось официальное извещение о смерти королевы Ортруды Первой и вдовствующей королевы Клары и о том, что, согласно конституции, управление государством приняло на себя министерство впредь до принесения присяги новым королем или регентом государства.

Трагическая гибель королев произвела чрезвычайное впечатление в государстве и везде в мире, где читаются газеты. Героизм, с которым встретила смерть королева Ортруда, был бы очень полезен для династии, если бы у королевы оставался ребенок. Но наследника престола не было.

Печаль была в народе непритворная. Траур носили все, — вся страна покрылась трауром печали. Печально-торжественные службы совершались в церквах перед затянутыми крепом алтарями. И были слезы жен и дев, и слезы Афры, и слезы Имогены.

Красивою казалась даже и притворная печаль принца Танкреда. Змий, в небе пылающий, прекрасен и сквозь грозовые тучи. Так и змея, умеющая чаровать, красива и в облаке скорби, — змея земная.

Печальное событие было на руку принцу Танкреду, потому что интрига за него уже была очень развита.

В день погребения королев была напечатана в газетах и расклеена по городу прокламация принца Танкреда, озаглавленная: «Моему любезному народу». Принц Танкред изливался в красноречивых выражениях скорби, растерзавшей его сердце. Он сердечно благодарил народ за любовь, которая окружала его супругу и государыню, покойную королеву Ортруду Первую, при ее жизни, посвященной неусып-

ным трудам и заботам о благе народа. Благодарил всех и за участие в его скорби. Заявлял, что готов служить государству и стране, которую считает своею второю родиною, так же преданно и верно, как служил раньше, в славное царствование возлюбленной и незабвенной королевы Ортруды Первой.

Это заявление все поняли в том смысле, что принц Танкред выставляет свою кандидатуру на вакантный престол.

Министерство объявило, что необходимо приступить к избранию короля, и для этого, согласно конституции, назначило выборы в новый парламент, который имел бы на то полномочия от населения Соединенных Островов.

Началась усиленная агитация за избрание в короли принца Танкреда. За него стояло несколько влиятельных групп населения. Прежде всего за него были аристократы, кроме тех, кого оскорбляли его любовные похождения. В агитации участвовали усерднее всех знатные дамы. Маркиза Элеонора Аринас развернула все свои таланты закулисных интриг и тайных влияний. За принца Танкреда была значительная часть войска и так называемая военная партия. Особенно преданы были принцу Танкреду моряки. Они ждали для себя славы и почестей, которые они добудут в войнах. Принца Танкреда поддерживала крупная буржуазия, заводчики, биржевики и финансисты и его многочисленные кредиторы. Сильная клерикальная партия была также за принца Танкреда. За него же были и многие простаки либеральных взглядов, очарованные его любезностью.

Пока еще не было известно, как отнесутся великие державы к кандидатуре принца Танкреда. В Пальме даже боялись иностранного вмешательства. Говорили, что многие державы опасаются агрессивных замыслов принца Танкреда.

К Островам двигались с разных сторон эскадры нескольких держав. Английский крейсер вошел в одну из гаваней на Кабрере. Посланники в Пальме ежедневно собирались, совещаясь.

В народе принц Танкред был явно непопулярен, и потому его избрание не казалось несомненным. Приверженцы принца Танкреда побаивались, что в стране восторжествует республиканская идея. Но

все-таки сильно надеялись на раздор между социалистами и синдикалистами.

Оппозицию события захватили врасплох. Притом же в ней не было того единства, которое обеспечивало бы необходимую согласованность действий.

Отсутствие единства обусловливалось различием интересов оппозиционных групп населения: интеллигентного пролетариата, рабочих и крестьян; к оппозиции же примыкала значительная часть мелкой буржуазии. Поэтому оппозиция делилась на три основные группы, боровшиеся между собою: синдикалисты, социалисты и радикалы, приверженцы буржуазной республики или парламентарной монархии. У каждого течения были свои газеты, свои клубы. Каждая партия устраивала митинги. Положение было очень сложное и неопределенное. Ни одна партия не имела большинства в стране. Республиканская идея была скомпрометирована неудачею восстания.

По мере того как приближались выборы в новый парламент, усиливалась и предвыборная агитация. Определилось четыре течения: за избрание в короли принца Танкреда, за буржуазную республику, за социалистический строй и за синдикатские коммуны.

Агитация республиканцев сосредоточивалась преимущественно в селах и в небольших городах. В больших городах больше внимания привлекали споры синдикалистов и социалистов.

Буржуазная радикальная партия сначала высказывалась за избрание короля, но не принца Танкреда. Впрочем, не отвергала и мысли о республике. Были долгие споры на тему: республика или монархия?

Комитет радикальной партии, после долгих споров, кто за республику, кто за принца Танкреда, решил, что удобнее выбрать короля, но не Танкреда. Не знали, однако, кого противопоставить принцу Танкреду. Долго и внимательно перебирали всех европейских принцев либеральных взглядов. Почти все казались опасными. Иные принцы казались слишком военными людьми. У других слишком было большое родство. Принцы свергнутых династий могли вовлечь Соединенные Острова в неприятные отношения с их родными странами.

Прошел слух, что посланник одной великой державы выставил кандидатуру одного из сыновей азиатского эмира или хана. Но эта кандидатура почему-то никому не нравилась. Говорили, что этот кандидат любит сажать людей на кол и что он не может обойтись без большого гарема.

Склонялись к республике.

В газетах и на митингах в Пальме возник спор по основному вопросу о власти в обществе. Что делать с нею?

Одни стояли за то, чтобы захватить власть в государстве и доставить господство пролетариату. Другие, наоборот, находили необходимым уничтожить всякую общественную власть путем ее игнорирования и путем свободной организации общественных служб.

Друзья Филиппа Меччио стояли за провозглашение республики, чтобы сделать вторую попытку овладения властью в пользу социалисти-че-ского переворота. Сам Филиппо Меччио не высказывался определенно. Его симпатии к синдикализму очень усилились, и в партии на него стали уже глядеть подозрительно.

Синдикалистская газета «Дружно вперед», издававшаяся под редакциею доктора Эдмонда Негри, уже давно и настойчиво развивала мысли о том, что власть государства должна быть совершенно уничтожена и что отношения между свободными людьми следует заново построить на таких основаниях, которые были бы лишены элемента принудительности.

В день погребения королев состоялось в Пальме много людных и оживленных собраний синдикалистов и социалистов. Собирались преимущественно в рабочих предместьях. Казалось, что этот день, отмеченный собраниями всех оппозиционных партий, символизировал в сознании их членов пышное погребение останков отжившего буржуазного строя.

Собрание синдикалистов, после недолгих прений, вынесло резолюцию за уничтожение государственной власти и за восстановление самодержавия автономной личности, властной или вступать в общественные договоры с другими людьми, или оставаться вне всякой общественной организации.

Синдикалисты оказались довольно сильными в прекрасной стране Соединенных Островов. К этой партии примкнуло большинство интеллигентного пролетариата и значительная часть рабочих тех производств, где требуется большая степень умственного развития и специальных навыков и знаний. Этой партии весьма симпатизировал и доктор Филиппо Меччио. Впрочем, он еще продолжал оставаться в составе центрального комитета социал-демократической партии.

Другие главари социал-демократов уже давно были настроены недружелюбно к Филиппу Меччио. Для этого, кроме обычного в людях, по слабости человеческого сердца, недоброжелательства слабейших к сильнейшему, были и более основательные и достойные причины, как в теоретических колебаниях Филиппа Меччио, так и в его поступках. О беседе Филиппа Меччио с королевою Ортрудою скоро узнали. За эту встречу его очень упрекали и в партии, и в обществе. Одно время упорно держались слухи о том, что Филиппо Меччио принужден уйти из партии. Центральный комитет социал-демократов опроверг эти слухи, когда они стали повторяться и в печати. Но все же положение Филиппа Меччио в центральном комитете было довольно неприятное.

В широких же слоях общества и в народе в эти дни, несмотря ни на что и как бы вопреки всем толкам о его ошибках, очень возросла популярность Филиппа Меччио. Самые колебания его привлекали к нему сердца многих. В нем видели не человека программы, а человека живого дела. Женщины с особенною страстностью оправдывали его визит к покойной государыне как поступок рыцарский по отношению к женщине.

В лавочках и у разносчиков газет продавались портреты Филиппа Меччио. На открытках он был изображен в десятках поз. В кабачках пели куплеты, прославлявшие его прошлое. В салонах и на общественных собраниях повторяли его «слова», более или менее острые, — а многие из этих словечек никогда не были им сказаны. Дошло до того, что старые анекдоты и выдумки новейших остроумцев все без исключения приписывались одному Филиппу Меччио. Ежедневно в разных концах Пальмы и в других городах происходили многолюдные и шумные манифестации в честь Филиппа Меччио.

Каждый день собирались толпы народа перед домом, где жил Филиппо Меччио. Ему приходилось выходить на балкон и говорить речи. Каждый день в двери его квартиры стучались толпы девушек и женщин, приносящих ему цветы, — и были тут и праздные нарядные барышни, дочери адвокатов и инженеров, и быстроглазые, просто одетые работницы, учительницы и студентки, и скучающие дамы, и труженицы, которым некогда скучать.

## Глава семьдесят пятая

В то же время и в Пальме, и вне столицы начались частые манифестации против принца Танкреда.

Одна из этих манифестаций в Пальме была особенно бурною. Толпы рабочих со своими женами и дочерьми шли из предместий по улицам и кричали:

— Долой Танкреда!

— Пусть он убирается из Пальмы!

На площади, где стоял памятник королевы Джиневры, перед зданием парламента сошедшиеся с разных сторон толпы соединились. Мальчишки сложили костер у самого подъезда парламента и на нем сожгли портреты принца Танкреда. Девушки и женщины с хохотом и песнями плясали вокруг этого костра.

Отсюда толпа двинулась прямо к королевскому замку, где жил принц Танкред.

Министерство послало против манифестантов отряд войска. Недалеко от королевского замка солдаты преградили дорогу манифестантам.

Мерный строй и звуки барабанов произвели не особенно сильное впечатление. Толпа остановилась. Но не расходились.

Приказов разойтись толпа не слушала.

Среди солдат поднимался угрюмый ропот. Генерал, командовавший отрядом, нашел, что необходимо скорее кончать. Он тихо сказал своему адъютанту:

— Открыть по мятежникам огонь.

Адъютант почтительно выслушал приказ. Потом, нервно сжимая левою в белой перчатке рукою узду своего красивого вороного коня, он приблизился к батальонному командиру, который стоял на тротуаре у стены чьего-то дома за рядами своих солдат, и передал ему приказание генерала.

Раздались звуки рожка, предупреждавшего, что будут стрелять. В толпе смеялись. Были уверены, что стрелять не посмеют.

Тогда послышалась команда. Но солдаты стояли неподвижно и команды не исполняли.

Офицеры были смущены. Генерал пришел в ярость. Кричал:

— Расстреляю!

Но очевидно стало, что никакой дисциплины нет и что солдаты в рядах не менее опасны, чем рабочие в толпе.

Ряды солдат расстроились. Передние смешались с толпою. В толпе слышались дружелюбные крики:

— Да здравствует армия!

— Да здравствует народ!

Солдаты братались с рабочими. Менялись медными образками. Целовались. Молодые работницы осыпали солдат цветами.

В королевском замке принц Танкред, облеченный в свой мундир дивизионного генерала, украшенный звездами, орденами и медалями, здешними и иностранными, беседовал с друзьями. Принц Танкред и его друзья лихорадочно ждали событий.

Сюда же приехал Виктор Лорена и еще несколько министров.

Ожидание выстрелов было напряженным. Принц Танкред то и дело посылал адъютантов узнать, не началась ли стычка солдат с манифестантами.

Смутные гулы из города рождали в замке смятение. Наконец стали приходить вести о том, что случилось на площади королевы Джиневры и на улице перед королевским замком. Сначала это были какие-то неопределенные слухи. Потом стали получаться донесения адъютантов. Наконец явился комендант города. Его доклад произвел потрясающее впечатление.

Ждали, что толпа нападет на замок. Генералы горячились. Они предлагали самые крайние и крутые меры — пустить в ход артиллерию, залить возрождающийся мятеж потоками крови.

Министры были осторожны. Виктор Лорена говорил:

— Рабочие не вооружены. Это — простая манифестация, правда, неприятная, но вовсе не опасная. Покричат и разойдутся. А завтра полиция и комендант примут надлежащие меры.

Виктор Лорена один был спокоен. Остальные стали подумывать о бегстве.

Был смутный говор, что из замка есть подземный ход. Но никто не знал тайны чертогов Араминты. Принц Танкред гневно восклицал:

— Я говорил тогда! Меня не послушались, — и вот результат налицо. Надо без всякой пощады разделаться с этою сволочью, повесить этого разбойника Меччио.

Граф Роберто Камаи сказал самоуверенно:

— Мы одолеем!

В душе его была тихая злорадная злость. Он был бы рад, если бы толпа ворвалась в замок и убила принца Танкреда.

Герцог Кабрера упорно молчал. Его серое лицо бледнело, ничего не выражая, кроме страха.

Меж тем толпа хлынула на площадь перед дворцом. Долго раздавались угрожающие крики. Но напасть на замок не решались. К ночи разошлись.

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

# ДЫМ И ПЕПЕЛ

### Глава семьдесят шестая

Триродов с очень большим вниманием читал газетные известия о трагических событиях в королевстве Соединенных Островов. Стал даже выписывать пальмские газеты и книги и потому занялся испанским языком.

Многие мысли приходили к Триродову в это время и мечтания. И порою далеко уносили его эти мечты. Ему рисовалась отчетливо близкая возможность мирного приближения к совершенно иному строю общества.

Роль личности в истории казалась Триродову навсегда и прочно определенною.

Толпа только разрушает. Человек творит. Общество сохраняет.

В толпе разнуздан зверь. Свободно творящий человек ненавидит зверя и умерщвляет его. Общество свободных людей есть колыбель нового человека, который уже не захочет быть ни господином, ни рабом, не захочет приносить жертв ни власти, ни собственности. Он не захочет ограничивать своей и чужой свободы, потому что он поймет до конца великую силу людского свободного единения. В этих единениях свобода каждого возрастает с возрастанием свободы другого, потому что упразднены аппетиты к власти, свойственные праздному меньшинству. Уже и теперь идеи солидарности становятся все сильнее в жизни людей.

Социалистический строй представлялся Триродову неизбежною ступенью в развитии культурного общества. Триродов думал, что это будет только переходом к синдикализму, а через него к совершенно свободному строю.

Триродов думал, что опыт покажет неизбежность социалистического строя, опыт же покажет и его временную, переходную природу.

Триродов думал, что следует сделать этот опыт. Он думал, что для этого можно воспользоваться государством Островов. Это государство по своей небольшой величине, по своему изолированному островному положению и по некоторым особенностям своей природы и быта казалось Триродову подходящим предметом для эксперимента.

Теперь, когда престол королевства Соединенных Островов стал свободен, заманчива была для Триродова мечта посадить на этот престол человека, чуждого династическим расчетам, человека не из расы принцев. Кто же мог быть этим человеком?

«Кто хочет, тот может, — думал Триродов. — Стоит только сильно, по-настоящему хотеть».

И решился Триродов сделать попытку взойти на престол Островов, овладеть наследием королевы Ортруды, к перевитому лаврами терновому венку поэта прибавить таящий в себе такие же терния золотой и алмазами блистающий венец короля.

Надобно было сказать об этом Елисавете. Уже Триродов привык все открывать своей Елисавете, ничего от нее не утаивать, с самого начала посвящать ее во все свои намерения.

Их обоих радовала очень эта доверчивая, наивная близость.

Елисавета и Триродов переживали сладкое и жуткое время. Это были дни всеми признанной и потому немножко смешной узаконенной влюбленности, счастливое и ужасное состояние жениха и невесты. С каждым днем влюбленность их возрастала.

Говоря о своей будущей жизни, Триродов и Елисавета строили прекрасные, широкие планы. Они хотели свои мечты, желания и убеждения воплотить в жизни и сотворить для себя жизнь прекрасную и свободную.

В этом тусклом, тяжелом городе свободная, прекрасная жизнь представлялась невозможною. Было стремление у обоих уйти. Уйти, как можно дальше, туда, где жизнь складывается по-иному.

Все это было как приближение к наивному раю — раю, которого не было у Триродова в детстве.

Детство Триродова прошло почти безрадостно. Ему казалось порою, что он никогда не был ребенком. Или и навсегда остался он ребенком, — застенчивым, простодушным, погруженным в мечтания свои и в свои затеи.

Вечером Триродов пошел к Елисавете.

Он с легким волнением думал о том, что скажет ему Елисавета. Знал почему-то, что скажет ему Елисавета. Знал почему-то, что она станет с ним спорить. И ему стало досадно.

Это была первая в его отношениях к ней досада. Но милая, родная природа так нежно и так сурово успокаивала его.

Поля и леса были тихи. Запахи их были легки и сладостны. Даже изредка слышный горьковатый запах лесной гари был мил.

Солнце склонялось уже низко. Длинны становились тени. Стволы сосен словно облиты были золотою смолою.

Трава была нежно-мокрая, мягкая, радостная, — милые ласки матери-земли сырой доверчиво открытым ногам человека. В долинах, внизу, вдоль речек и ручейков, туман поднимался, нежен, и радостен, и полупрозрачен. Неясные очертания его напоминали ему о минувшем, о невозвратном. Первая жена нежно вспомнилась. Что бы она ему сказала теперь? Сказала бы:

— Делай, что придумал, воплощай свою мечту.

Недалеко от дома Рамеевых, на лесной, по вечернему теплой лужайке Триродов встретил Елисавету. Она шла одна. Ее синие глаза были радостны, ее босые ноги радовались росам влажных трав.

Они говорили. Как всегда, о многом, о разном. Заговорил наконец Триродов и о смерти королевы Ортруды.

Елисавета грустно и кротко жалела погибшую королеву. А Триродова так увлекали его замыслы, что нежной жалости не было места в его сердце. Он говорил о том, что будет, о возможностях политической и общественной жизни там, среди счастливой природы Островов.

Широкие перспективы рисовал Триродов. Он сказал:

— Король может сделать многое в этой счастливой стране.

Елисавета возразила:

— Да, если выберут настоящего человека.

— Выберут меня, — сказал Триродов.

Елисавета с удивлением посмотрела на него. Спросила:

— Тебя? Почему?

Триродов, улыбаясь ее удивлению, отвечал:

— Только потому, что я этого хочу. Я решился выступить кандидатом на престол этого королевства.

Как ни необыкновенно было то, что говорил Триродов, но Елисавета ни на одну минуту не остановилась на мысли о том, что это невозможно. Почему-то уже привыкла она верить в силы и в волю Триродова, — и если он чего-нибудь захочет, то почему же этому и не сбыться? Но самое намерение это ей не понравилось. Она заспорила.

— Какая странная, неожиданная мысль! — говорила она. — Зачем тебе это?

Триродов сказал:

— Я этого хочу. Разве это не достаточный мотив? И все то, что я думаю о будущем человечества, о его завтрашнем дне, оправдывает мою решимость идти к источникам власти, чтобы сделать попытку хоть сколько-нибудь ускорить неизбежное течение событий. Поступая так, я не самовольничаю, — я сливаю свою волю с волею множеств и с Единою миродержавною Волею.

Елисавета говорила:

— А здесь, в России, разве мало дела? Так все неустроенно вокруг нас, и народ дичает быстро в диких условиях злой, безумной жизни.

Триродов возражал:

— Пойми, Елисавета, что там более готова почва, и там полезнее будут люди, как я, наклонные к мечтам и утопиям, страстно пожелавшие мечту претворить в действительность. Все, что в жизни прекрасно, становилось действительным через мечту и через волевое напряжение. Судьба дает мне в руки могучий рычаг, и я должен за него схватиться.

Елисавета сказала:

— У власти там должен стать пролетариат.

— Да, — сказал Триродов, — но теперь у власти могли бы стать только интеллигентные вожаки пролетариата, сочувственники, не вышедшие из рабочей среды, а потому и мало ее понимающие. А я по моим душевным устремлениям, отчасти и по моему происхождению и воспитанию — истинный пролетарий. Так случайно, что у меня деньги есть.

Елисавета спросила:

— Но и ты — чужой для них всех. В лучшем случае ты будешь только бесполезным сочувственником.

Триродов упрямо говорил:

— Судьба влечет меня. Я хочу быть королем. И я буду им. Хотя бы уже для того, чтобы не выбрали Танкреда. Чтобы преодолеть, победить, сделать по-своему, над миром случайностей вознести знак моей воли. Чтобы расширять жизнь, умножать ее.

Елисавета повторила свой вопрос:

— Но тебе-то самому зачем нужна эта корона?

Триродов сказал улыбаясь:

— Кому же и носить венцы, как не поэтам!

Елисавета сказала тихо и так уверенно, как будто это был приговор судьбы:

— Это — невозможно.

Казалось, что Елисавета одарена жестоким предвидением Кассандры, что невозможность его замысла видна ей. Триродов сказал решительно:

— Я должен царствовать! Тот, кто знает верный путь, должен быть увенчан.

Елисавета говорила:

— Это заблуждение. Меня пугает узость этой мысли.

— Да, — сказал Триродов, — пусть это и заблуждение, и узость мысли. Но и то заблуждение, что я живу здесь, томлюсь в этом пределе, словом, что я — Георгий Триродов. И в этом еще большее, на мой взгляд, заблуждение.

Елисавета спросила:

— Почему?

— Потому, — говорил Триродов, — что прикованность вселенского самосознания к такой ничтожной точке поистине ужасна.

Он говорил долго и страстно.

Наконец Елисавета была полуубеждена. Она сказала нерешительно:

— Конечно, я понимаю, что можно сделать и этот опыт.

И потом, более решительно и смело, она сказала:

— Я буду с тобою везде, куда ты пойдешь, и никогда тебя не оставлю.

Елисавета обняла Триродова и прижалась головою к его груди. Он целовал ее и ласкал, но ему было грустно. Он видел, что и полусогласие Елисаветы ненадежно, что многие еще будут между ними споры. А споры были для него тягостны.

Равнодушие Елисаветы было горько Триродову. Обезволивало его.

Был узел противоречий в том, что Елисавета — его невеста.

Елисавета сказала:

— Как странно, что ты этого хочешь! Ведь ты же не ищешь славы?

Триродов с удивлением посмотрел на Елисавету. Этот порядок мыслей теперь был для него совершенно чужд. Он переспросил:

— Славы? Зачем же мне слава?

Елисавета покраснела почему-то и сказала нерешительно:

— Слава влечет к себе многих. Должно быть, в ней есть какой-то сильный соблазн.

Триродов говорил досадливо:

— А кто славен? Певица кабацких песен, сладкий тенор, претенциозный романист, человек, сделавший крупный скандал, человек, создавший вокруг себя удачливую рекламу. Чего она стоит, эта слава, вырванная у тупой, злой толпы! С каким злорадством ловят люди вести о каждом неловком шаге того, кто вознесен ими! и как они грызут и травят вознесенного, когда пошатнется его утлый пьедестал! Нет, мне славы не надо.

Тихо сказала Елисавета:

— Есть чистая слава.

Но мечтательная кротость ее синих глаз говорила, что Елисавета думает теперь о чем-то ином.

Триродов видел, что Елисавету больше занимают мысли о их будущей жизни вдвоем, чем об его внезапных планах. Он спросил:

— Ну, что у вас дома?

Елисавета сказала тихо и радостно:

— Я сегодня опять разговаривала с Петром об Елене, и довольно долго. Потом с Еленою мы говорили о нем.

Триродов спросил:

— И что же он?

С улыбкою тихой грусти сказала Елисавета:

— Петр не может простить мне мою невольную измену. Но теперь он очень увлечен Еленою. У него более ясное настроение. И Елена рада очень. Когда я уходила, я хотела позвать ее с собою. Но она разговаривала с Петром. И мне кажется, что этот разговор будет для них обоих значительным.

Триродов сказал:

— Они будут счастливы.

Он улыбался. В его мечтах быстро пробегали картины приличного счастия буржуазной четы. Елисавета говорила:

— Но здесь ему все-таки тяжело. Он собирается уехать. Летом хочет проехать по Норвегии и по Англии, а зимою поселиться в Петербурге.

Триродов спросил:

— А как же Елена?

Ему казалось, что Елена не может оставаться одна, не прилепившись к кому-нибудь, — только женщина, только чья-то дочь, сестра, жена, мать.

Елисавета ответила:

— Я думаю, что ей тоже хочется с ним уехать.

Помолчав немного, она сказала, словно угадывая, что думает Триродов, — может быть, потому угадывая, что он пристально смотрел на нее:

— Конечно, Елена не может оставаться одна. Ей всегда надо опираться на кого-нибудь.

Триродов и Елисавета дошли до ограды рамеевского сада. Здесь они простились нежным поцелуем, долгим-долгим, и расстались.

Туманные дали немого мира перед Триродовым томились, томя, тая свои несказанные думы.

Триродов шел домой и думал: «Как о том, чего нет, думает Елисавета о моем замысле. Почему?

Может быть, королева Ортруда — только мой сон?»

На душе Триродова опять стало тяжело и темно. Лицо его стало пасмурно и грустно. Но усилием воли он победил грусть и вернул себя к радости мечты и побеждающей немоту мира воли.

Опять мечты его стали радостными, и яркими, и торжествующими над пространствами и временами.

И точно кто близкий сказал ему:

— Во что бы то ни стало!

## Глава семьдесят седьмая

Когда на траве весело-росистой и ласково-прохладной Елисавета и Триродов шли тихо и говорили о наследии королевы Ортруды, — в это время в далекой беседке рамеевского сада под тенью кленов над обрывом реки сидели Елена и Петр. Они глядели влюбленными глазами на ало горящее небо заката, слушали тонкий писк быстро пролетающих над ними в небе птиц и говорили о своем.

Петр и Елена в последние дни очень сошлись. Между ними обнаружилось большое сходство во взглядах, настроениях, во всей их духовной атмосфере. Им было легко и приятно, когда они оставались вдвоем. Всегда у них находились неистощимые темы для разговора. Даже неловкости не было молчать, глядя друг на друга, улыбаясь чему-то своему, должно быть, очень милому, что поется в душе, словами не сказавшись.

Петр почему-то еще не решался признаться самому себе, что уже он полюбил милую Елену. Странная гордость, неумная досада все еще кипели в нем, и уже ненужная, уже мертвая ревность все еще томила его. Он стыдился понять и признать, что его чувство к Елисавете не было глубоким и роковым и что оно легко уступит место новой легкой влюбленности, которой предстоит та же случайная судьба, — или укрепиться навсегда в узаконенном союзе, или растаять легким дымом, если не будут заказаны золотые кольца с нарезанными именами.

Петру казалось, что из его положения возможен только один исход — уехать подальше, рассеяться, в ярких, шумных переживаниях иной жизни в иных местах потерять память обо всем, что здесь так больно и так сладостно переживалось им.

Легкое качание быстрых морских пароходов, волны каждое утро новых вод, но снова и снова и вечно те же — берега задумчивой, прекрасной Норвегии, ее светлые дожди, ее тихие городки в глубине извилистых фиордов и на ее севере солнце багровое светлой июньской полуночи, — и потом шумные города Англии, ее зеленые поля и веселые перелески, черный дым и гулкий грохот ее фабрик, и тишина ее воскресений, и многое иное, утешительный калейдоскоп дорожных впечатлений и встреч с теми, кого никогда уже не увидишь, — потом Петербург, осень, работа со свежими силами и с бодрым духом, разнообразные интересы сезона, — все это уже несколько дней предчувственно жило в его душе и манило его радостною надеждою забвения.

Сегодня утром рано Петр пришел в кабинет к Рамееву и рассказал ему, что собирается уехать. Долго, неясно и сбивчиво говорил Петр о своих огорчениях и еще больше о том, куда поедет, что там увидит и как это на него подействует. Говорил так, словно в душе его диковинною четою сошлись и мирно беседовали пылкий отвергнутый любовник и расчетливый буржуа, озабоченный состоянием своего здоровья и тщательно обсуждающий вопросы своего питания и комфорта.

Рамеев выслушал Петра внимательно и спорить с ним не стал. Думал Рамеев, что будет, пожалуй, лучше и для самого Петра, и для других, если он немного проветрится.

Только одно сказал Рамеев Петру, когда уже Петр встал уходить:

— Ну а Елене ты уж это сам скажи.

Петр сумрачно ответил:

— И скажу.

И сам удивился, зачем придал этому ответу такое выражение, словно хотел сказать, что скажет, не побоится.

Да, вот скажет, не побоится, — однако целый день прошел, и не случилось сказать. И вот вечером они сидят одни и говорят. От реки веет прохлада, очаровательно синеют и дымятся дали, — все тихо.

И видит Петр, что уже теперь надобно рассказать о своих планах Елене, нельзя дольше медлить и скрывать.

Петр думал сначала, что это выйдет очень просто, — подойдет он как-нибудь к Елене и скажет ей:

— На днях я уеду.

Елена удивится, спросит:

— Куда?

Он расскажет. Она поймет, что так надо, что Петр не может оставаться здесь после всего случившегося.

Но каждый раз, как Петр подходил к Елене, он чувствовал странную, тягостную неловкость.

Поймет ли Елена, что так надо? А может быть, опечалится Елена? Или даже заплачет?

Петр представлял себе, как Елена плачет тихонько, стыдливо закрываясь руками и не жалуясь ни на что, — и неловко ему становилось. Жалко было милую Елену.

Оказалось, что совсем не так просто и легко рассказать. Рассказал даже Елисавете сначала, в тайной надежде, что она передаст Елене.

Елисавета спросила:

— А Елене ты еще не говорил?

Пришлось сказать:

— Нет, еще не было случая.

Елисавета улыбнулась. Покачала головою. Сказала тихо:

— Как же, скажи уж и ей. Она тебя очень любит. Ей будет обидно узнать о твоем решении от других.

Петр хмуро спросил:

— Что ж тут для нее обидного?

Елисавета повторила:

— Она тебя любит.

Петр хотел было прямо попросить Елисавету, чтобы она все-таки взяла на себя передать это известие Елене. Но, пока думал, как бы убедительнее это сказать, уже Елисавета ушла. Надо, надо сказать Елене.

Петр подходил к этому с разных сторон. Он начал с намеков и недомолвок.

Сначала Елена не понимала всех этих обиняков. Но наконец стала она догадываться, что Петр хочет сказать ей что-то неприятное.

Елена испугалась. Притихла вдруг. Смотрела на Петра глазами оробелого ребенка. Улыбка поблекла на ее алых губах. В углах ее рта затаилось легкое дрожание.

Теперь почему-то Петру необходимость уехать отсюда уже не казалась такою очевидною. Он перебирал свои доводы, и каждый казался ему сомнительным.

Петру стало досадно. Он подумал, что воля должна преобладать над внушениями робкого и всегда колеблющегося рассудка.

Ведь он же решился! Нельзя же брать свое решение назад только потому, что приходят минуты слабости и сомнений! Только потому, что простодушной девочке, которую он развлекал своею болтовнею, будет без него несколько дней не так весело. И если даже она поплачет, то ведь это все же не так значительно, чтобы из-за этого отменять свои решения.

Нет, надо быть твердым. Нельзя жалости давать такую власть над своим сердцем и над своею волею. Надо сразу оборвать эту липкую паутину сожалений и сочувствий, чтобы не запутаться в ней окончательно.

Петр собрал все свое мужество. Притворно-веселым голосом принялся он рассказывать Елене о своих планах.

Елена слушала Петра молча. Ее молчание подвешивало тяжелые грузики к каждому его слову. Заговорил-то он оживленно и быстро,

а потом все медленнее шла речь. Как-то трудно слово за словом выговаривалось.

Петр замолчал. Смущенно крутил он в пальцах папироску, но не закуривал ее.

Елена отвернулась и низко наклонила голову. Петр бросил на Елену сбоку быстрый взгляд. Ее уши и щеки ярко рдели.

Петр осторожно принагнулся к ее лицу. Елена плакала. Петр почувствовал, как сердце его дрогнуло.

Петру стало радостно и грустно. Он обнял Елену за плечи и спросил:

— О чем же ты плачешь, милая Елена?

Всхлипывая по-детски, по-детски вытирая слезы ладонями слегка загорелых рук и лицо пряча в тени клена, Елена сказала:

— Противный какой! Зачем же ты едешь? Другого времени не нашел, как теперь.

Петр сказал:

— Так что ж! Отчего же мне и не поехать? Я увижу много нового и интересного.

Елена прошептала:

— А я как же?

Петр растерянно сказал:

— А ты? А что ты?

Тихо сказала Елена:

— Я тебя люблю.

И заплакала еще сильнее.

Еще радостнее стал Петр. На смущенном лице его была радость и смятение быстрых улыбок. Радость ярко пела в его душе, когда он весело говорил:

— Милая Елена, да ведь об этом не плачут.

Елена сказала горестно:

— Нет, плачут. Плачут глупые девочки, которые любят и которых никто не любит.

Петр спросил:

— Кого же это никто не любит? Ведь и я тебя люблю, Елена.

Елена тихонько вскрикнула, засмеялась, зарадовалась, охватила шею Петра быстрыми, горячими руками, голыми, стройными, и целовала его лицо, орошая его забавными слезинками. Она говорила:

— Как же ты один поедешь, противный!

Петр ответил весело:

— Так и поеду. Возьму чемодан и поеду.

Елена спрашивала:

— А тебе будет скучно без меня? Или ты меня позабудешь? разлюбишь? Будешь веселиться с другими девчонками?

Петр говорил, смеясь:

— Не позабуду. Не разлюблю. Буду скучать и плакать.

Елена воскликнула с радостным укором:

— Ну какой ты! Смеешься! Хочешь от меня отделаться? Так вот же, — и я поеду с тобою. И, пожалуйста, не спорь.

Петр весело говорил:

— Хорошо, если тебя дядя отпустит, так в Норвегию и в Англию я тебя возьму, уж так и быть. А осенью сюда привезу.

Елена настаивала:

— Нет, я и в Петербург с тобою поеду.

Петр спросил:

— А что ты будешь делать в Петербурге?

Елена с легким вздохом сказала:

— Учиться. Дело известное, — поступлю на какие-нибудь скучноватые курсы и буду прилежно изучать филологию. Правда, прилежно.

## Глава семьдесят восьмая

Ночь была опять с Триродовым, — спокойная, мудрая подруга, покровительница одиноких, неторопливых дум.

Один Триродов сидел у себя за большим письменным столом в своем кабинете. Он долго думал о своем замысле. И наконец решился приступить к его исполнению.

Триродов взял большой лист синей, плотной почтовой бумаги. Уже не было колебаний в уме Триродова. Сердце его билось спокойно, как всегда. Как всегда, стройно и спокойно развертывались его мысли.

Триродов писал первому министру королевства Соединенных Островов о своем желании выступить кандидатом на вакантный престол королевства.

Внимательно и долго обдумывал Триродов мотивы своего выступления. Он писал не торопясь всю ночь. Несколько раз переписывал свое письмо. Почему-то приятен был Триродову легкий, стройный звон французских фраз.

Настало утро, легкое, благоуханное, росистое. В открытые окна кабинета повеяло раннею, свежею радостью. Свет электрических свеч побледнел в розовеющем быстро очаровании зари. В саду и в вышине поднялся ликующий птичий щебет и гомон.

Триродов сам пошел в почтовую контору, в город. Шел легко и быстро, обгоняя неторопливые по дороге серые телеги со спящими мужиками и румяно-хмурыми бабами, везущими в город на продажу свой нехитрый товар. Телеги громыхали, подымая облака серой, сорной пыли. Лошади, лениво ступая, косили умные глаза на перегонявшего их человека в светлой одежде. Пахло дегтем и гарью.

В городе, около лавок и на базарах, уже толпились и шумели кухарки и хозяйки, перенося с места на место вороха пыли и груды тусклых слов.

В почтовой конторе, как всегда, пахло противно. Было душно, накурено, наплевано, насорено. Люди стояли все больше грязные, оборванные. У нескольких окошечек стояло по длинному хвосту, и в каждом хвосте шипело много злости и нетерпения.

Наконец и Триродов добрался до окошечка и подал свое письмо.

Чиновник, подслеповатый, вялый молодой человек, долго и внимательно рассматривал конверт. Потом стал перелистывать какую-то трепаную справочную книжонку.

Триродов нетерпеливо спросил:

— Ну что же? В чем дело? Я и так здесь долго стою.

Чиновник нерешительно сказал:

— Не знаю, можно ли принять.

Триродов спросил с удивлением:

— Да почему же может быть нельзя?

Чиновник вялым, тягучим голосом говорил:

— Да не знаю. Как-то не приходилось никогда к таким лицам. Да вы с ним знакомы?

Триродов сказал с досадою:

— Еще бы, закадычные друзья! Да вам-то какое дело?

Чиновник спросил:

— Это у вас деловое письмо? По делу то есть, я спрашиваю?

Триродов сказал:

— А этого вам не надо знать.

Чиновничек долго еще сомневался, вертел конверт, ворчал что-то. В хвосте роптали.

Сидевшая за окошечком рядом маленькая, полненькая девушка с веселыми, карими глазами улыбнулась, углубляя на своих щеках забавные ямочки, и посоветовала чиновнику:

— Да вы спросите у Никифора Петровича. Он, верно, знает.

Триродов смотрел на нее и думал, что много веселости надо иметь в душе для улыбчивости в этом тусклом, сорном и зловонном месте. Или уж очень привыкла?

Чиновничек жалобным голосом позвал:

— Никифор Петрович, взгляните, пожалуйста, можно ли принять.

Подошел другой чиновник, постарше, внимательно оглядел конверт, посмотрел из-под очков, вскинув их на лоб, на Триродова и авторитетно решил:

— Конечно, можно.

В тот же день Триродов написал и послал еще несколько писем в Пальму.

День кончался, знойный, душный. С раннего утра на горизонте лежали мглисто-лиловые тучи. За далеким синим лесом бегло и странно вспыхивали молчаливые, бледно-голубые зарницы. Мгла синела

на дне ярко-зеленых долин. Над черными и желтыми полями тянулись горьковато-сладкие, дымные запахи.

Уже близко к закату было солнце, когда пролились потоки дождя и гроза пронеслась над вершинами триродовского сада. Потом тишина легла на долины, и невозмутимая в небесах настала ясность.

Триродов был один. Он сидел, запершись, в своем кабинете. Не хотел никого видеть. Только ждал Ее, в том или ином облике приходящую, ту, истинного имени которой он не знал. Да и кто знает Ее таинственное имя?

Триродов любил быть один. Даже томления темного одиночества вкрадчиво прельщали его. Даже истомные, горькие сожаления и печали одиноких часов были ему иногда сладостны несказанно. То были печали, более сладостные, чем шумная радость земная, дневная, обычная.

Теперь, в тишине замкнутого покоя, странное чувство ожидания томило Триродова. В чем была радость обещания, еще не знал он, — но ждал нетерпеливо. Когда гроза пронеслась, и молнии отблистали за высокими окнами, и громы отгремели в вышине над кровлею, и отшумели в саду потоки дождевые, знал Триродов, что теперь скоро придет Она. Знал, что Она любит ясность и тишину после гроз.

Триродов ждал опять, что первая жена его придет к нему. Ждал, что она что-то ему скажет опять, что-то забытое, милое беспредельно, единственно-истинное, память о чем давно утрачена в легкомыслии беглой, бедной жизни, но без чего и жить нельзя. Он ждал, что придет к нему первая, лунная, уже таинственная ныне. Такою некогда в стране далекой была первому человеку его весенне-милая, его лунно-грустная и все же отвергнутая им Лилит, та, которая была с ним раньше Евы, дневной и знойной.

Разве не вечно повторяется для каждого человека все та же история, раз навсегда созданная некогда его творческою мечтою!

Всегда человеку даются две жены, и даются ему вечно две истины. Как эти две истины, неслиянные и нераздельные, вечно враждебные одна другой и вечно в тайном, неведомом союзе одна с другою, так и две жены человека всегда враждуют одна с другою. Только

изредка какой-нибудь одной из них дается понимание их извечной, роковой близости. Первая жена — лунная мечта Лилит, обвеянная тишиною и тайною, подобными тишине и тайне могилы. Это — вечная Сестра, родная и далекая, таинственная Подруга, неведомая Спутница, всегда зовущая его в далекий путь. Вторая ему жена — солнечная, голубая, золотая Ева, Елисавета. Это — вечная Любовница, чужая, но близкая, Госпожа его дома, Мать его детей, всегда влекущая к его успокоению.

Две вечные истины, два познания даны человеку.

Одна истина — понимание лирическое. Оно отрицает и разрушает здешний мир и на великолепных развалинах его строит новый. К радостям этого нового мира вечно влечется слабое сердце человека. Но еще никто из рожденных на земле не прошел до конца по высокому, блистающему мосту над черными безднами, мосту, ведущему к адамантовым воротам этого неведомого мира.

Ты, Единственный, вновь рожденный, не будешь ли Ты счастливее всех живших?

Другая истина — познание ироническое. Оно принимает мир до конца. Этим покорным принятием мира оно вскрывает роковые противоречия нашего мира, уравновешивает их на дивных весах сверхчеловеческой справедливости и, так взвешенный, такой легкий, предает мир тому, кто его навсегда разрушит.

Равно изменяет изменившему ей человеку лунная, тихая Лилит. Уходит рано от человека говорящая миру вечное «нет». Уходит она к иным мирам и к Жениху иному, ликующему за пределами, недостижимыми для дерзания человека.

Если ее опять долго, и страстно, и с великою властью зовут, так неохотно она приходит. И говорит человеку:

— В роковой час отошел ты от меня. Холодным поцелуем со мною простился ты на роковом перекрестке, где так темно, холодно и страшно. В темную ты зарыл могилу мое бедное тело. Забывая изо дня в день, ты забыл меня. Что же ныне ты мой покой тревожишь? Жестокий! Не сам ли ты холодной смерти отдал меня? Зачем же ты зовешь меня ныне? Что могу сказать тебе я, отошедшая от этого мира, где уже нет для меня ни удела, ни радости?

Так говорит она, лунная Лилит. И не хочет прийти.

Но ныне пришла она к Триродову. Всесильные вызвали ее чары, чары его желаний. Не могла она сопротивляться этим чарам его, потому что он знал многие тайны.

Он многими силами владел, расторгающими узы пространств и времен. Знал многое. Если же не знал он того, что наиболее надо знать человеку, то не в этом ли роковом незнании лежит проклятие для всякой человеческой мудрости!

Вместе с отцом своим ждал ее и Кирша. Кирша нетерпеливо, как и Триродов, хотел, чтобы его мама пришла к нему.

Зачем Кирша хотел этого? И сам не знал. Так бедное детское сердце томилось, ужаленное желанием, зараженное жаждою желаний странных и таинственных.

Не хотела она прийти, но пришла и говорила с Триродовым. Говорила с ним долго. Лунные, странные были рассказывала она ему, о неживом и вовеки недоступном слова живые для него слагая.

Жутко и отрадно было Триродову слушать ее. О своей судьбе спрашивал он ее. Спрашивал ее об Елисавете.

Улыбалась она, как давно когда-то, и говорила. Тихие слова утешения и печали говорила она ему. Не поймет этих слов тот, кто их сам не знает, кто сам не слагал их в долгие часы ночных раздумий.

И с Киршею, со своим мальчиком, говорила она.

Жалела его? Не жалела? Радовалась ему? Как знать!

Такая нежная, такая тихая прильнула она к Кирше. Утешала его.

И тихие слезы его струились.

И ушла. И уже как будто и не было ее. И опять все обычным стало вокруг.

После лунной и после мертвой живая, дневная пришла к Триродову. Пришла к нему Елисавета его, вечером поздно. Глаза ее были влажны и сини. Была роса дольных трав на ее нагих стопах. В руках ее благоухали цветы, раскрывающие свои ароматы ночью. Для него собирала она эти цветы.

Вместе с Триродовым обходила Елисавета его дом. В час ночных раздумий весь дом его обошла с ним она. Словно обозревала она вместе с ним весь круг замкнутой жизни.

Тихо вошли они в большой белый зал. Он был освещен через окно луною. Тускло мерцали высокие зеркала в простенках. Портреты отражались в них, и лица портретов казались внимательными и живыми. Низы широких колонн казались ярко-белыми, а их неосвещенные верхи смутно белели в полусумраке под высоким потолком.

Тучи пронесшейся грозы тяжело упали к синеве горизонта. Пустыня высоких небес была ясна и тиха. Луна светила в эту ночь как-то необычайно ярко, печально и настойчиво.

В печальных, неживых лунных лучах тихие дети вели в этом зале свой тихий, грустный хоровод. Такое легкое было движение их, что беглому взгляду цепь детей являлась неподвижною и неживою. Словно это был только ряд очаровательно-красивых поз, нарисованных кем-то на темном занавесе.

Пройдет краткий миг, — и вдруг исчезнет, растает занавес, и другой возникнет вдруг на его месте. Те же на нем видны фигуры, только несколько в ином повороте. Бесконечным казалось это медленно-томное, жуткое кружение.

Лица тихих детей казались бледными, — может быть, потому, что так луна светила. В лунном свете иногда был матово ясен блеск их глаз. Странен был очерк их едва улыбающихся, едва дышащих губ.

Елисавета долго смотрела, бледнея, на тихий ночной хоровод, — и стало ей наконец страшно. Робко глядя на Триродова, она сказала ему:

— Пусть они перестанут. На них страшно смотреть. Пусть они уйдут спать.

Триродов ласково и грустно улыбнулся и ответил Елисавете:

— Нет, лучше мы отсюда уйдем. Им мешать не следует. У них своя жизнь. Они сами знают свой каждый срок. В их не нарушенной жизнью невинности много вещего ведения, для нас недоступного.

Триродов и Елисавета ушли. Легкий шорох слышен был за ними — шелест белых одежд и ритмичный плеск белых ног. Свивался и развивался зачарованный хоровод. Казалось, что тихие дети даже и не ви-

дели приходивших к ним людей, и не слышали их шагов, гулких в тихом сумраке белой залы.

Елисавета дрожала и быстро шла. Страх ее был подобен могильному холоду, тонкому и неотразимому.

В эту ночь Триродов много говорил с Елисаветою о тех тайных силах, которыми он овладел. В эту же ночь он открыл Елисавете тайну, от тьмы небытия отведшую в тишину инобытия его тихих детей...

## Глава семьдесят девятая

Елисавета была у Триродова днем. Они рассматривали альбом с изображениями его первой жены, сделанными самим Триродовым. Первая жена, лунная, нагая Лилит. Улыбается она неизменною навеки улыбкою, бедная, тихая Лилит, всегда отвергнутая и вечно неутешно тоскующая.

Ее тихая, чистая, обнаженная красота снова вливала в душу Триродова волнующее желание вечно юной, живой, обнаженной красоты. Было опять в душе его неодолимое желание увидеть обнаженную дневным лучам, ярких очей Дракона не стыдящуюся, невинно-радостную красоту Елисаветы.

Триродов говорил улыбчиво слушавшей его Елисавете:

— Елисавета, я люблю твое тело. Я хочу опять увидеть его. Я хочу видеть его всегда, как милое тело моей Лилит.

Елисавета молчала. Улыбалась нежно. Сладостные мечтания томительно волновали ее. Вся душа ее занялась тусклым огнем страстного желания.

Триродов сказал ей:

— Елисавета, если хочешь обрадовать меня, пойдем со мною наверх. В той башне для меня работает солнце. Там оно послушно запечатлевает на стекле избранные по воле образы.

Елисавета покорно встала. Она поднималась легко, быстро и уверенно по узкой винтовой лестнице. На темных дубовых ступеньках мелькали из-под короткого платья загорелые Елисаветины ноги. Та-

кие милые были эти легкие стопы, потому что на них слабо темнела легкая пыль земных дорог.

Триродов шел за Елисаветою. Вместе поднялись они на башню. Здесь хранились у Триродова все приспособления для светописи, — дивного ремесла, столь близкого к искусству.

Триродов тихо спросил:

— Милая Елисавета, ты знаешь, чего я хочу от тебя?

Елисавета так же тихо сказала:

— Да, знаю. И я сделаю охотно все, что ты мне скажешь, милый.

Триродов и Елисавета опять были вдвоем.

Душный, багряный тяжко длился и дымился дневной, змеиный час.

Они тосковали, грустили, печалились.

Такая темная предстояла, угрожая, жизнь! Такие тяжелые развертывала она воспоминания! Ужасом обвеивала широкие просторы нашей земли.

Триродов уныло говорил:

— Тесен, несносен для нас этот наш мир. Бедный мир, где люди сами на себя куют оковы. О Елисавета, знаешь ли ты блаженную землю Ойле?

Елисавета тихо сказала:

— Знаю. Знаю по твоим словам.

Триродов спросил:

— Хочешь ли ты на Ойле?

Восторгом зажглись синие зарницы Елисаветиных очей, и она радостно сказала:

— Да. С тобою всюду.

И опять спросил Триродов:

— Хочешь? В земных пределах — одна секунда, а там проживем целый век и насладимся утехами дивной жизни. Хочешь ли?

Елисавета смотрела на него, радостно улыбаясь, и решительно сказала:

— Да, хочу. И хоть бы умереть для этой земли. Секунда, вечность, — не все ли равно?

Тихо и торжественно сказал Триродов:

— Так, мы решились.

Молчание, — минута земного, темного молчания легла между ними, злая, враждебная, — как некий демон прошел между ними, мрачными взглянув очами.

И земное, скучное сказано слово:

— Когда?

Вздохнула Елисавета и тихо сказала:

— Когда хочешь. Когда ты хочешь.

Триродов спросил:

— Сегодня ты можешь?

Елисавета молча склонила голову. Триродов говорил:

— Если ничто тебе не помешает, то сегодня ночью, у меня. Светила небесные благоприятны в эту ночь нашему замыслу, и гороскоп ойлейской жизни нашей будет светел ныне.

Они расстались, — простились нежно, как навсегда, поцелуем невинным и долгим.

Готовились оба в молчании и тишине к таинственному переселению.

Медленно и томно влеклись дневные и вечерние часы.

И вот уже стемнело, и настала отрадная, милая ночь. Все спали.

Только тихие дети, перед тем чтобы спать, пришли еще раз покачаться на качелях, полюбоваться на милую луну, светило успокоенной жизни.

Елисавета тихо вышла из дому, одетая мальчиком.

Росистые травы лобзали прохладным, влажным лобзанием ее голые выше колен ноги.

Пришла. Триродов сам открыл ей двери. Спросил:

— Ты готова?

Стоя перед ним на пороге его дома, бросая резкую тень на сыроватый песок дорожки, тихо сказала Елисавета:

— Да.

И опять спросил Триродов.

— Не боишься?

Отвечала:

— Нет.

Наивно и просто звучали ответы, — как милая детская речь. Триродов сказал:

— Иди за мною. Со мною ничего не бойся.

Она покорно шла за ним, улыбаясь, радостная и взволнованная и такая легкая на крутых ступеньках. Высокая, узкая лестница привела их в горницу на вышке, где Елисавета еще ни разу не была.

Это была небольшая площадка высокой башни, все стены и потолок которой были из стекол в бронзовых рамах. Сквозь эти стекла видно было почти все небо, — и звезды казались яркими, крупными, и казалось, что их бесконечно много.

Посредине стоял круглый стол красного дерева, несколько более высокий, чем привычно видеть, на странно изогнутых ножках. На столе — несколько флаконов разной величины, но все очень причудливой формы, напоминая химер Парижского собора. Все наполнены разноцветными жидкостями. В одном флаконе — ярко-красная жидкость, словно кровь, вся насквозь пронизанная огнем. В другом — голубая, легкая, дымная на поверхности, просвечивающая фосфорическими мерцаниями. В третьем — золотисто-желтая, струящаяся, легкая, как жидкое и веселое пламя. В четвертом — ярко-зеленая, плотная, непрозрачная и вся словно ядовитая и злая. В пятом — мутно-опалового цвета с перламутровыми переливами. И еще несколько других с жидкостями то ярких, то блеклых цветов, более или менее прозрачными.

Флаконы были расставлены широким, неправильным кругом, — а в их кругу стояла чаша, широкая, строгих очертаний, прозрачно-голубого стекла, — широкая, как мир.

Неторопливо вливал в чашу Триродов содержимое флаконов, опоражнивая один за другим. Разноцветные огоньки, синие, красные, зеленые, желтые, голубые, вспыхивали в глубине чаши, лобзали ее широкие края и потухали.

Резкие и странные благоухания подымались от чаши. Смешиваемые жидкости шипели и пенились. У Елисаветы кружилась голова от

этих ароматов и от этого шипения и кипения хаотически бродящих в мирообъемлющей чаше сил.

Но вот, когда уже из последнего флакона последняя капля упала в чашу, вдруг прояснел и успокоился дивный состав. И стал он так спокоен, бесцветен и прозрачен, что ярко и отчетливо стал виден мелкий чеканный рисунок, которым сплошь была покрыта внутренность чаши. И с жадным любопытством всматривалась Елисавета в подробности удивительного рисунка. Они изображали столь разнообразные картины человеческой жизни в разных странах, что казалось, целой жизни не хватит для того, чтобы все это внимательно рассмотреть.

Радостно взволнованы были оба и руки их дрожали, когда погрузился в жидкость серебряный, кованый ковш, весь сплошь покрытый таким же удивительным чеканом, и зачерпнул таинственного напитка.

Они стояли один против другого и, чередуясь, пили из одного ковша.

Елисавета сказала:

— Может быть, там живут существа, которые нас не поймут, и мы не поймем их.

Стало опять грустно. Но только на краткий миг. И опять загорелась вещая радость.

И уже до дна был выпит напиток, зачерпнутый ковшом из чаши. Земная жизнь тускнела в их памяти.

На мягком ложе у стеклянной стены лежали они рядом, и возрастание восторга было им, как стремительный полет в беспредельные дали.

Они проснулись вместе на земле Ойле, под ясным Маиром. Они были невинны, как дети, и говорили наречием новым и милым, как язык первозданного рая.

Сладкий, голубой свет изливал на них дивный Маир, благое солнце радостной земли. Были свежи и сладки вновь все впечатления бытия, и невинные стихии обнимали невинность тел. В могучих ощущениях радостной жизни на миг забылось все земное.

Все в этом мире было созвучно и стройно. Люди были как боги и не знали кумиров.

Жизнь была светла и полна.

И не возвращаться бы на эту землю! Такая прекрасная была земля Ойле, и такой радостный над нею свет изливался от Маира и от семи тихих лун.

Полноту блаженства познали прекрасные существа, населявшие землю Ойле, очаровательную землю с безмерно широкими горизонтами под безмерно высоким небом. Прожили с ними свой век, не долгий и не короткий, насытивший волю к жизни, Елисавета и Триродов. И только там почувствовали они, как прекрасен человек. Там, на милых берегах светлого, голубого Лигоя.

Вся их юность была сладкою тоскою желаний. Мечты вырастали — благоуханные цветы. Благостная царила над ними богиня Лирика, покровительница совершеннейшего из искусств, — искусства не воплощенной во внешних образах мечты, — и совершеннейшей жизни — жизни без власти и без норм.

Но познание раскрывало им тайну мира, — в мистическом опыте явлена была им необходимость чуда, и в науке — невозможность его.

Пришла великая царица Ирония, вторая из богинь дивного мира, и сняла с него покровы, один за другим.

Обнажилась великая печаль, неизбежная противоречивость всякого мира, роковое тождество совершенных противоположностей. И тогда предстала им третья, и последняя, и сильнейшая из богинь дивного мира, утешающая последним, неложным утешением, Смерть.

Тогда возникло в них обоих торопливое желание возвратиться на темную землю. Странные для них, забывших свою земную родину, рождались в них мысли и желания об иных мирах, казавшихся забытыми, — о мирах, где разрешена и оправдана роковая противоречивость мира.

Может быть, и все обитатели светлой земли Ойле были, подобно Елисавете и Триродову, только гости с темных планет, на краткий миг освобожденные из ужасных оков смерти и времени.

Торопил кто-то возвратом. И вот они вернулись на землю. Было темно и страшно. Удивленные, они узнали обстановку, — и опять проснулась, сильнее прежнего, ненависть, жгучая, злая ненависть к здешнему.

Прожили век на Ойле, — а на земле прошла одна секунда.

И опять будет длиться эта земная, злая жизнь! О, не надо, не надо этой жизни, этой земли! Уничтожить ее? Умереть? Уйти с нее?

Или отчаянным усилием воли преобразить эту земную, темную жизнь?

Преобразить?

В городе становилось все тяжелее и мрачнее. Говорили в интеллигентских кружках, что готовится погром. Были буйные столкновения на улицах. Около усадьбы Триродова иногда появлялись казачьи разъезды. И в то же время умножились грабежи и убийства.

Прежняя кошмарно-тяжелая жизнь грозилась всюду окрест своими уродливыми страхами. В душе была усталость — великое утомление раньше подвига — и как же с такою усталостью в душе мечтать о чуде преображения!

## Глава восьмидесятая

Зелен и простодушен был поутру широкий сад. Весело осенял он дом Триродова, где таились мудрость его, и ведение, и печаль. Еще травы на лугах и под кустами были росисты. Слышны были птичьи голоса и детский смех.

Хрупкий песок извилистых дорожек радостно принимал следы легких Елисаветиных ног. Солнечно-желт был цвет ее легкого, красивого платья. Как утренняя прохлада, легки были ее улыбки.

Елисавета и Триродов, разговаривая тихо, шли неспешно в саду. Они приблизились к оранжерее.

Елисавета посмотрела на Триродова. Смущение отразилось на ее вдруг зардевшемся лице. И смущенное, оно столь же было прекрасно.

Триродов наклонился к Елисавете, тронутый очаровательностью ее милого смущения. Он ласково спросил:

— Елисавета, ты хочешь что-то сказать мне?

Елисавета улыбнулась. С выражением застенчивой неловкости, перебирая длинные ленты желтовато-белого пояса, она сказала:

— Мне никогда не случалось осмотреть подробно эту оранжерею. А мне кажется почему-то, что там очень много интересного. Может быть, ты покажешь ее мне сегодня.

Триродов сказал:

— Если хочешь, войдем. И мне странно думать, что я тебе до сих пор не показал всего в моей оранжерее. Да, в ней ты увидишь немало занимательного.

Они вошли в оранжерею через ее широко раскрывшиеся перед ними тяжелые двери. Эти двери были сделаны из вставленных в стальные рамы толстых стекол. На Елисавету пахнуло оранжерейным влажным теплом и теплыми ароматами замкнутого в себе, цветущего мира.

В оранжерее было влажно и тепло. В ней работали дети — мальчики и девочки — и несколько учительниц. Загорелые тела их весело и ярко выделялись в голубоватом воздухе оранжереи на свежей, темной зелени буйных трав, раскидистых кустов и широколистых деревьев. Это было как замкнутый прекрасный сад, далекий от нечистого людского взора и освещенный каким-то особенно приятным и мягким светом.

Надежда Вещезерова подошла к Елисавете. Она говорила с Елисаветою о чем-то. Было видно, что Надежда не думает о своей наготе, забывает о ней. Невинны и простодушны были ее улыбки и непорочен взор ясных глаз.

Лицемерно-шумная Ирина тоже подошла, и говорила, и смеялась. Притворялась, что и она не думает о том, что тело ее обнажено. В глазах ее бегали робкие, нечистые огоньки. Щеки ее вспыхивали. Руки делали неловкие, ненужные движения. Но скоро спокойный взор Триродова погасил ее смущение. И она, как Надежда, стала вновь невинною и радостною, подобная цветку, возникшему цвести и радоваться.

Странные приспособления оранжереи опять, как и прежде, когда только мельком видела их Елисавета, удивляли ее. Она не уставала спрашивать. Триродов подробно отвечал на ее вопросы.

Оранжерея имела громадные размеры. Гордый дворец владетельного князя легко мог бы поместиться под ее высоким стеклянным куполом. Этот мощный купол издали, из-за реки, казался синеющим на просторе неба вторым, малым небом.

Поверхность сада к оранжерее понижалась. Оранжерея стояла в лощине. Поэтому из-за высоких каменных стен триродовской усадьбы ее громадный купол с полей и с дорог был почти совсем не виден.

Наружный вид оранжереи представлял собою точное подобие громадного полушара, опрокинутого на землю площадью большого сечения, или, может быть, громадного шара, наполовину вдавленного в землю. Эта точность очертаний придавала всему зданию впечатление гигантской постройки, исполненной с великим напряжением сил.

Остов оранжереи состоял из массивных стальных, слегка изогнутых брусьев. Одни из этих брусьев поднимались от земли и сходились в вершине купола. Они были похожи на меридианы громадного глобуса. Другие брусья, спаянные с первыми в местах пересечения, обвивали оранжерею кругами, лежащими параллельно земле, подобно кругам, параллельным экватору. Поперечники этих кругов постепенно суживались кверху.

На первый взгляд казалось странным, что под оранжереею не видно было фундамента. Присмотревшись, можно было заметить, что брусья стен оранжереи продолжались в земле. Впечатление вдавленного в землю шара было не обманчиво. Оранжерея и в самом деле была устроена в огромном шаре. Нижняя половина этого шара, зарытая в землю, была точно такой же величины и формы, как и верхняя.

В эти стальные рамы, из которых сплетались стены оранжереи, были вставлены толстые, изогнутые наружу, зеленовато-голубые стекла. Они были очень малопрозрачны. Стоящему около оранжереи почти совсем не видно было того, что там делается. Только если долго

и внимательно всматриваться, маячили перед глазами какие-то неясные очертания. Изнутри же хорошо было видно все наружное. Солнечный свет, проникая сквозь эти стекла, смягчался и, нисколько не теряя своей силы, становился очень приятным и легким для глаз.

Эти стекла были очень тверды. Удары самых разрушительных артиллерийских снарядов не причинили бы им никакого вреда. Даже стальные брусья в стенах оранжереи для прочности были залиты этим же стеклом. Состав стекла изобрел сам Триродов. Секрет его никому еще не был известен.

Почва оранжереи казалась продолжением почвы сада. Но это была насыпная земля. Вся поверхность внутри оранжереи состояла из однообразных бугров. Они были похожи на отрезки шаровой поверхности. Казалась странною их однообразная правильность. Но объяснялась эта правильность строением оранжереи.

Площадь оранжереи представляла сумму платформ, построенных из стали. Каждая платформа имела вид точного шарового отрезка. Все вместе они могли бы составить полную поверхность шара.

Все эти холмы соединялись между собою заложенными в земле могучими шарнирами. Покоились шарниры на системе стальных сложенных дуг. Эти дуги в развернутом виде напоминали бы систему меридианов и параллельных кругов на глобусе. Осью для них служил длинный массивный стальной брус, поднимающийся из середины оранжереи к той точке в куполе, куда сходились восходящие брусья стен оранжереи.

Если бы привести в действие шарниры и связанную с ними систему стальных дуг, то вся площадь оранжереи была бы превращена в шаровую поверхность, утвержденную на вертикальной оси. Этот шар повис бы на своей мощной оси, как малая планета, внутри своей хрустальной, сталью скованной сферы.

Сходясь один с другим, холмы оранжереи своими основаниями образовывали правильные шестиугольники. По этим шестиугольникам шли ровные песочные дорожки. Этими дорожками всю оранжерею можно было обойти, не поднимаясь на холмы. На вершинах холмов в разных местах оранжереи было устроено несколько бассейнов

различных очертаний. Глубоко вделанные в землю, обсаженные деревьями и кустами из теплых стран, они похожи были на пруды и озера.

Снаружи оранжереи вилась по земле, как гигантская змея, длинная, толстая цепь. Ее гладкие стальные звенья были залиты тем же стеклом, какое было и в стенах оранжереи. Громадный гранитный шар прикован был на конце этой цепи. Он лежал на дворе против окон из кабинета Триродова. Назначение этого шара было — увеличить диаметр всей системы и по возможности уменьшить скорость ее вращения вокруг общего центра тяжести.

Когда Триродов объяснил Елисавете устройство оранжереи, Елисавета сказала:

— Если я правильно поняла, можно из этой оранжереи сделать малое подобие земли. Только та будет разница, что атмосфера здесь замкнется твердым хрустальным небом и это небо повиснет на стальных переплетах.

Триродов сказал:

— Да, это верно. Двери можно затворить совсем плотно. Тогда воздух внутри оранжереи не будет выходить наружу.

Стеклянная тумба была врыта в землю под высокою, стройною пальмою. Триродов подошел к этой тумбе и сказал:

— А вот в этом стеклянном цилиндре заключен стальной рычаг. Он соединен с могучею машиною внутри оранжереи. Машина всегда заряжена и готова к действию. При помощи этого рычага можно пустить машину в ход. Тогда она приведет в движение шарниры всех платформ. Платформы передвинутся, и площадь моей оранжереи обратится в шаровую поверхность.

Елисавета спросила:

— И мы тогда упадем на ее стеклянное дно?

Триродов сказал:

— Да, упадем, если, конечно, не догадаемся стать на такое место оранжереи, которое придется наверху. Чтобы никто не мог повернуть этого рычага, он прикрыт цилиндрическим футляром. Футляр сделан из такого же стекла, как в этих стенах. Ключ от футляра хранится

у меня, а сломать это стекло никто на земле пока не сумеет, кроме меня.

Елисавета продолжала спрашивать, как прилежная ученица:

— Все эти сложные приспособления, конечно, очень дороги. А воспользоваться ими в наших земных условиях нельзя. К чему же они? Ведь первая же попытка обратить оранжерею в шар погубит все ее растения и обратит все это в бесформенную кучу земли на стеклянном дне.

Говоря так, Елисавета уже почти догадывалась, какой будет ответ. Смелость этого дерзкого замысла уже радовала ее несказанно.

Триродов говорил:

— Машина будет пущена в ход только тогда, когда вся эта оранжерея отделится от земли и удалится на известное расстояние. Тогда все предметы в оранжерее перестанут тяготеть к земле. Они потеряют весь свой земной вес. Тогда и наступит время обратить оранжерею в шар. Если затем придать этому шару вращательное движение такой скорости, которую можно наперед вычислить, то мы получим маленькую планету. Мы можем жить на ней, или по воле нашей вернуться к земле, или перенестись на Луну.

Елисавета сказала:

— Но ведь на Луне совсем нет воздуха. Потому жизнь там невозможна.

Триродов отвечал:

— Если мы попадем на Луну, мы попытаемся там сделать воздух и удержать его.

Елисавета спросила:

— Как же можно удержать воздух на Луне? Он рассеется.

Триродов говорил:

— Я думаю, что возможно изменить время обращения Луны вокруг оси. Таким способом можно снова оживить эту мертвую планету. Для людей недурно будет получить эту очень далекую колонию, более далекую, чем Новая Зеландия, и на этой новой земле построить новый мир. А пока разве не приятна возможность уйти от этого мира, где поэты проповедуют ненависть к людям иной

расы, где груды накопленных богатств гниют, в то время как люди умирают от голода?

— Значит, ты собираешься, — начала Елисавета.

Триродов сказал:

— Да, в случае надобности я хочу переселиться на Луну. Если одна мечта обманет, я устремлюсь к другой. Мне мало одной жизни, — я хочу творить для себя многие иные. Пусть люди, если хотят, идут со мною. Если они меня оставят, я могу обойтись и без них.

Елисавета тихо сказала:

— Я тебя не оставлю.

Так же тихо ответил ей Триродов:

— Я это знаю.

И почувствовали они оба, что эти слова их — обет неразрывной верности, клятва священная пространствам и временам. Торжественное настроение осенило их обоих. Им казалось, что сердца их бьются, созвучные пламенному сердцу миров.

Мимо них проходили невинные, прекрасные девы. И сказала им радостная Елисавета:

— Сестры мои, я счастлива.

Они смотрели на нее, улыбались ее радостной улыбке и ее нестыдливо-обнаженному телу и проходили мимо.

И отгорела минута восторга. И опять заботы подошли, и томили темные сомнения.

## Глава восемьдесят первая

Елисавета спросила:

— Как же победить притяжение земли? И тела, и сердца наши притягивает жестокая, но все ж таки милая нам земля. И если победим, то как спастись от междупланетного холода и от влияния злых солнечных лучей, от которых здесь спасает нас воздух земного шара?

Триродов сказал:

— То, что я знаю о механизме тяготения, поможет мне, я думаю, победить притяжение земли. От междупланетного холода и от солнечных злых лучей придется защищаться вот этими стеклянными стенами. Они и построены с расчетом на это.

Елисавета сказала:

— Может быть, потому-то в этой оранжерее такой приятный, мягкий свет. Солнце кажется здесь таким же ярким, как и снаружи, но вовсе не злым, — доброе светило невинного мира, где радость и нет стыда.

Триродов пожал ее руку и сказал:

— Да, ты угадала верно. Конечно, солнечный свет будет более знойным, когда мы оставим атмосферу земли, но не более знойным, чем на поверхности земли. Чтобы победить притяжение земли, мне представляются два пути. Я еще не решил окончательно, который из них выбрать. Первый путь — разложить молекулярные силы на поверхности стеклянных стен. Второй — воспользоваться психическими силами отживших. Эти силы не уничтожаются смертью. Они непрерывно одухотворяют природу, превращая материю в энергию. Природа, вначале грубая и безжизненная, из века в век становится все более одухотворенною и тонкою. Я расскажу тебе кое-что о первом пути. Всю математическую сторону моих соображений я пока оставлю в стороне. Потом, если ты захочешь, я покажу тебе мои выкладки и помогу тебе разобраться в них. Да они и не особенно сложны. Не сложны и соображения, от которых я иду.

Елисавета любила математику и знала в ней немало. Но теперь она ничего не сказала об этом и только промолвила скромно:

— Я постараюсь понять.

Триродов продолжал:

— С чего бы нам начать? Да вот хоть с морских приливов и отливов.

Елисавета сказала:

— Они зависят от притяжения Луны.

Триродов говорил:

— Разберем это. Многое объясняется словом «притяжение». Как и людей будто бы влечет друг к другу, так и тела будто бы тянутся одно к другому. Но что же такое это притяжение? Действие на расстоянии, не правда ли?

Елисавета отвечала:

— Да, конечно, действие на расстоянии. Так и в мире духовном людей влечет одного к другому через бездны разделяющей их самозамкнутости.

Триродов продолжал:

— Пример, известный каждому школьнику: яблоко, оторвавшееся от своей ветки, падает на землю. Почему?

Послушно, как ученица, отвечала Елисавета:

— Потому, что земля его притягивает.

Триродов говорил:

— Падение яблока и в самом деле происходит так, как будто бы земля его притягивает. Притягивает — и притянет. Яблоко достигнет земли. Здесь, в земле, находится будто бы причина его движения. Здесь яблоко может успокоиться. Его действие идет к цели — достигнуть земли. Оно, видимо, целесообразно. Таким образом, кажется, что причина действия помещена в конце пути, проходимого телом. Кажется, что прежде должно совершиться действие, — движение, — и уже только потом наступит причина,— энергия земли притягивающей поглотит энергию стремящегося куда-то яблока. Не правда ли, тут есть какая-то странность?

Елисавета сказала:

— Да, я смутно чувствую здесь какое-то противоречие в понятиях.

Триродов продолжал:

— Надо поискать, нет ли у нас другого, более приемлемого объяснения. Действие на расстоянии невозможно, — оно немыслимо и невероятно.

Елисавета спросила:

— Почему невероятно? Ведь оно же существует.

— Да, — сказал Триродов, — существуют явления, которые мы объясняем действием силы тяготения.

Елисавета сказала:

— Магнит же притягивает на расстоянии. Значит, действие на расстоянии возможно.

Триродов возразил:

— Тела притягиваются к магниту не потому, что в магните и в намагниченном теле есть новая сила, сила притягивает. Вернее, что намагниченное тело теряет часть своих свойств и между ними — свойство отталкивать эти тела.

— Как бы умирает, — сказала Елисавета.

Триродов говорил:

— Да, некоторые тела льнут к магниту, как мухи к трупу животного в лесу. Живые тела отгоняют от себя все, что им мешает двигаться. Если мы представим два отдельные, ничем взаимно не связанные тела, то их взаимодействие мы можем представить только в форме толчка. Тела не могут притягиваться одно к другому. Для этого у отдельных тел нет органов. Тела могут только приталкиваться друг к другу какою-нибудь постороннею силою.

Елисавета возразила:

— Но ведь тела не отдельны. Они связаны средою, в которую погружен весь мир.

— Да, — говорил Триродов, — вселенная наполнена совершенно. Атомы материи представляют собою многосложные системы энергий. Распадаясь, атомы освобождают скованные внутри них энергии и расточают их на громадные пространства. Каждый атом, если бы он рассеялся совершенно, освободил бы чрезвычайно большое количество энергии. Вся вселенная состоит из этой совокупности стремящихся во все стороны бесчисленных энергий, из того, что прежде называли эфиром. Весь живой и свободный эфир не имеет никакого ощутимого для нас веса. Но в то же время он тверже и несокрушимее диаманта. В тех местах, где столкнулись большие количества энергий, образовались материальные атомы. Представим, что некогда существовал только один материальный атом в беспредельности эфира. Такой атом подвергался бы действию со всех сторон устремленных энергий. Поэтому он был бы в постоянном равновесии.

Елисавета сказала:

— Состояние его было бы блаженством невозмутимого покоя.

— Да, — сказал Триродов, — он был бы центром мира, средоточием всех мировых энергий. Если бы он был при этом же существом разумным и свободным, то он был бы разумным и свободным абсолютно. Он мог бы расточить свою энергию на созидание своего мира по своей воле. Мы же, люди, застали мир в его теперешнем состоянии. Мир ныне организован в пассивные массы материи, состоящей из атомов, и в активные токи энергий, творимых медленным, незаметным для нас умиранием атомов. И потому мир состоит из множества стремящихся во все стороны тел разного размера и из бесчисленного множества со всех сторон повсюду стремящихся энергий. Каждое тело испытывает со всех сторон направленные на него толчки. Движение каждого тела направлено всегда по равнодействующей их сил. Где скопляются более или менее значительные массы материи, там-то и происходит это замечательное явление, напрасно истолкованное в том смысле, что тела притягиваются одно к другому. Сквозь тела токи мировой энергии передаются сравнительно слабо, тем слабее, чем масса и объем тела значительнее. Поэтому относительно мировой энергии каждое тело действует как заслон. Если меньшее тело помещено близ большего, то большее тело заслоняет его от толчков с той стороны, которою меньшее тело обращено к большему. Остальные толчки, конечно, суммируют свое действие так, что меньшее тело приталкивается ими к большему.

Елисавета сказала:

— Следовательно, тяготение на земле неустранимо. В нем суммируется влияние всей вселенной. Кто же может овладеть силою, равною тяготению всего мира?

Триродов отвечал:

— Чтобы устранить тяготение к земле для какого-нибудь предмета, необходимо создать для него заслон от вселенной. Такой заслон я нашел в одном изобретенном мною сплаве. Пластинки из этого сплава заключены в металлические коробки и помещены на вершине моей оранжереи. Впрочем, их можно передвинуть, куда понадобится. Сто-

ит теперь только открыть крышку одной из этих коробок, чтобы защищенная пластинкою часть поверхности оранжереи перестала ощущать мировое тяготение. Тогда вся оранжерея оттолкнется от земли и будет двигаться по направлению к центру пластинки. В движении по междупланетному пространству мой корабль будет слушаться движений этой малой пластинки, как слушается руля земной корабль. Теперь ближайшая задача моя в том, чтобы создать из этой оранжереи шар, подобный земному шару, и так же, как Земля, способный быть жилищем человека.

Елисавета спросила:

— А воздух для этой малой Земли?

Триродов сказал улыбаясь:

— Будет и воздух.

Елисавета спросила:

— А двигательная сила где найдется, чтобы дать шару вращательное движение?

Триродов сказал:

— Это мы сделаем при помощи веществ, подобных радию, которые я изготовляю из энергий живых и полуживых тел.

## Глава восемьдесят вторая

Виктор Лорена жил в доме министерства внутренних дел. Это было одно из самых больших зданий в Пальме. Из его окон открывался красивый вид и на морской берег, и на старый королевский замок.

Однажды утром в громадном, очень светлом служебном кабинете первого министра, перед столом в углу за окном, поодаль от стола, где сядет сам министр, сидел его личный секретарь. Это был делающий блестящую карьеру молодой человек, томный и презрительный, с четырьмя проборами на голове. Под его глазами темнели два фиолетовые пятна, и казалось, что у его сросшихся бровей сидит бабочка, распластав темно-фиолетовые крылья.

Господин Лоренцо де ла Рика-и-Кандамо просматривал для доклада Виктору Лорена его официальную корреспонденцию. Одно письмо вызвало неудержимый хохот молодого человека. Это было письмо Георгия Триродова.

Когда вошел Виктор Лорена, господин де ла Рика-и-Кандамо мгновенно сделался серьезен, как истинный государственный человек. С томною почтительностью он докладывал Виктору Лорена содержание полученных писем. Некоторые читал целиком. В конце доклада молодой секретарь засмеялся и подал Виктору Лорена письмо Георгия Триродова. Сказал:

— Это письмо, ваше превосходительство, я позволил себе оставить под конец, для развлечения. Дерзко, но забавно очень.

Виктор Лорена быстро и нервно прочитал письмо Триродова. Однако оно не позабавило первого министра. Он досадливо бросил письмо на стол и с возмущением сказал:

— Что за наглость! Что-то совершенно неслыханное и невероятное!

Виктор Лорена встал со своего кресла. Вся фигура его выражала крайнюю степень раздражения. Он быстро, грузными шагами заходил по кабинету, словно забывши о своем молодом секретаре. Привычка ходить взад и вперед, когда что-нибудь раздражало мысль, была у Виктора Лорена, как у многих других, больших и маленьких людей.

Это неожиданное письмо почему-то дало толчок длинному ряду соображений в голове Виктора Лорена. Он бормотал что-то себе под нос и жестикулировал. Вдруг он засмеялся и стал насвистывать веселый мотив из модной оперетки. Он сказал тихо:

— Неплохо придумано. Ей-Богу, неплохо.

И уже какие-то замысловатые комбинации начали складываться в его уме. Он бормотал:

— Кто знает! Кто знает! Все может пригодиться в свое время. Как я раньше не догадался! Если бы его не было, его бы следовало придумать.

Внезапно остановившись перед молодым человеком, Виктор Лорена спросил:

— А кто он, этот странный господин, претендующий на корону наших Островов?

Секретарь сказал:

— Не знаю, ваше превосходительство. Он в этом письме называет себя писателем — беллетристом и поэтом. Но, насколько мои слабые познания позволяют судить о литературе, его имя в Европе неизвестно. Прикажете справиться? — спросил молодой человек уже деловитым тоном.

Уже ему стало неловко за свое легкомысленное отношение к письму, которым заинтересовался первый министр. Четырехпроборный молодой человек хотел всегда стоять на высоте государственного понимания дела. Теперь он сообразил, что ему следовало справиться частным образом в русской миссии прежде, чем докладывать письмо. Там, конечно, знают, что это за господин и кто за ним стоит. Молодой человек с четырьмя проборами думал: «Не может того быть, чтобы за этим неожиданным человеком никто не стоял».

Виктор Лорена спокойно сказал:

— Да, справьтесь. И, пожалуйста, поскорее и пообстоятельнее. Но, конечно, вы сами понимаете, что справиться следует не от моего имени.

С этими словами Виктор Лорена отпустил молодого человека. Когда Виктор Лорена остался один, он еще долго не мог отделаться от мыслей об этом внезапном письме. Улыбался и думал: «Кто автор этого странного письма? Сумасшедший или гений? Шарлатан и авантюрист или восторженный мечтатель? Может быть, юный, вдохновенный, голодный поэт с длинными волосами, с горящими взорами, сочиняющий на своей мансарде прекрасные поэмы, которых никто не читает, и грандиозные социальные системы, о которых никто не хочет слышать? Отчего бы и не напечатать этого письма! В сущности, для нас это совершенно безвредно. Какие же у него могут быть шансы? Кто за ним может стоять? Никому не ведомый человек. Может быть, даже не вполне нормальный. Конечно, следует узнать о нем все подробности. И, пожалуй, из его странной выходки удастся сделать недурное орудие против принца Танкреда. На всякий случай.

Чтобы не очень заносился этот чужеземец. Чтобы не воображал, что он незаменим. Можно будет с ним поторговаться».

Послышался стук в дверь, легкий, знакомый. Виктор Лорена оживился. Сказал весело:

— Войдите!

Уже он знал, что это его жена. Он любил делиться с нею своими новыми планами. Ценил ее практически-ясный ум и редкую в женщине способность хранить тайны. И теперь радовался возможности поговорить с нею о таких соображениях, которые нельзя было доверить никому другому. Ему стало еще веселее, когда в строгий, деловой кабинет вошла элегантно одетая, моложавая, красивая дама. Виктор Лорена с удовольствием поцеловал ее тонкую матово-бледную руку. Сразу же рассказал о письме Триродова.

Госпожа Лорена была тонкая и хитрая интриганка. Она была очень осведомлена в министерских делах и очень их понимала. Теперь она быстро оценила положение. Она слушала молча и понятливо. Улыбалась, и улыбка ее показывала, что она вполне одобряет все, что муж ей говорит.

Виктор Лорена любил иногда «пофилософствовать». Он говорил:

— Как часто бывает, что в наши замыслы внезапно вторгается нечто совершенно чуждое и непредвиденное! В чем же состоит долг реального политика? В том, очевидно, чтобы всегда иметь в виду возможность появления этого неожиданного фактора и всегда быть в состоянии сделать из него шанс для себя. Умный человек не только пользуется обстоятельствами, — он их создает.

Госпожа Лорена с улыбкою влюбленного восхищения сказала:

— Золотая голова!

Благодаря за комплимент, Виктор Лорена опять поцеловал ее руку и говорил:

— Так и мы создадим шанс для себя из выступления этого самоуверенного, таинственного незнакомца. В сущности, мы переживаем переходное время в более широком смысле, чем думают. Тот ли, другой ли король будет, — он провалится на первых же порах. Его царствование будет, в сущности, только междуцарствием, только временем перехода.

Госпожа Лорена спросила:

— Перехода к республике?

Об этом уже не первый раз говорил Виктор Лорена со своею женою. Мысли о возможности учреждения республики уже давно занимали их обоих.

Виктор Лорена говорил:

— Понятно, к буржуазной республике. Роль буржуазии в истории далеко еще не доиграна до конца. Мы сумеем учредить республику и упрочить ее.

Тщеславная женщина вся засветилась гордостью и надеждою. Она с восторгом сказала:

— И ты, мой Виктор, — первый президент республики!

Виктор Лорена самодовольно улыбнулся. С выражением осторожной скромности он сказал:

— Ну об этом еще рано думать.

Госпожа Лорена, радостно улыбаясь, возразила:

— Но уже пора мечтать.

Улыбаясь сдержанно, Виктор Лорена сказал:

— Ну мечтать, пожалуй, можно. Друзья у нас есть, и друзья верные, потому что это — дружба по расчету. Только не надо болтать. Но ты у меня не проболтаешься, я знаю. В тебе я уверен.

Госпожа Лорена поцеловала мужа в лоб и тихо вышла из кабинета, гордая и приветливо улыбающаяся чиновникам. Честолюбивые мечты кипели в ее душе.

В зале у одного из громадных окон госпожа Лорена остановилась, мечтая. Из-за тяжелой занавеси, отдернутой к простенку, она смотрела на черневшие невдали мрачные стены королевского замка. Уже она воображала торжественные приемы в залах этого надменного чертога, где водворится она, парадные обеды и блестящие балы. Сдержанная улыбка застыла на губах госпожи Лорена. Ей казалось, что она чувствует в своей груди душу леди Макбет.

Виктор Лорена с несколько преувеличенною живостью нажал белую пуговицу, притаившуюся в зеленой пасти бронзового дракона.

Вошедшему на звонок лакею он велел пригласить секретаря. Четырехпроборный молодой человек еще не успел уйти в свою квартиру, помещавшуюся в том же доме, и потому явился немедленно. Он не был удивлен тем, что его опять призвали. Он уже привык к беспокойному нраву слишком деятельного министра.

Но господин Лоренцо де ла Рика-и-Кандамо очень удивился, когда первый министр заговорил с ним опять о странном письме. Виктор Лорена сказал, протягивая письмо секретарю:

— Возьмите это письмо и отдайте напечатать его в Правительственном указателе. Позаботьтесь, чтобы оно пошло завтра же.

Четырехпроборный молодой человек попытался было возражать. Он сказал почтительно:

— Это странное письмо? Смею спросить ваше превосходительство, зачем предавать его огласке?

Первый министр тонко улыбнулся и благосклонно отвечал:

— Затем, чтобы нас не обвинили в сокрытии от народа того, что обращено к нему. Могло случиться, что господин Триродов писал о том же и еще кому-нибудь в Пальме. Нехорошо будет, если его обращение появится сначала в оппозиционных газетах. Будем же действовать честно и открыто. Теперь самому народу принадлежит решение его судьбы. Наша обязанность — ничего от него не утаивать.

Виктор Лорена посмотрел прямо в глаза четырехпроборному молодому человеку. Господин де ла Рика-и-Кандамо улыбнулся понятливо. Но он все же не понимал, зачем это понадобилось первому министру.

На другой же день в Пальмском Правительственном указателе появилось письмо Триродова. Не было прибавлено никаких пояснений. Газеты перепечатали это письмо.

Первые дни неожиданное выступление Триродова почти не обращало на себя ничьего внимания. Газеты Островов ограничились тем, что перепечатали письмо Георгия Триродова и прибавили к нему от себя несколько равнодушных, коротких примечаний. Жители Остро-

вов прочли, как все другое, и это письмо, и эти примечания. Почти не думали и не говорили об этом, занятые совсем другими соображениями. И казалось поначалу, что это письмо пройдет так же бесследно, как и всякий другой случайный курьез.

В бюро социал-демократической партии кто-то спросил:

— Кто этот Георгий Триродов?

Филиппо Меччио в недоумении пожал плечами, улыбнулся и сказал:

— Понятия о нем не имею. Надо, однако, справиться, на всякий случай. Я уже послал о нем запрос одному моему русскому другу в Лондоне господину Радомеру.

Фернандо Баретта пренебрежительно сказал:

— Вздор какой-нибудь!

Филиппо Меччио возразил:

— В политике ничем не надо пренебрегать. Все может пригодиться.

Через несколько дней в одном из пальмских литературных журналов появилась небольшая статья о Триродове. Автор биографии писал: «Георгий Триродов, малоизвестный широкой публике, но талантливый, утонченный русский поэт, обратил на себя внимание знатоков и ценителей изящной литературы новеллами и стихами причудливой формы и психопатического содержания. Он ведет уединенный, странный образ жизни, владеет большим состоянием, занимается воспитанием покинутых родителями детей, и до сих пор ничто не давало возможности думать, что он интересуется общественными и политическими вопросами.

Конечно, — писал дальше автор статьи, — и эта внезапная кандидатура чужеземного писателя на один из древнейших и знаменитейших в Европе престолов — одна из многих эксцентричностей русского декадента. И те, кто поддерживают эту кандидатуру, едва ли многого добьются».

Одна только в Пальме газета аграрной партии «Поля и леса» отнеслась к кандидатуре Триродова очень нервно. Она поместила у себя по этому поводу насмешливую передовую. Дала краткие сведения о Триродове. Не очень верные, но изложенные довольно хлестко. Находила смешными и выступление Триродова, и самую его фигуру. Ав-

тор статьи говорил: «Трудно отнестись к этому курьезному выступлению, иначе как с презрительною усмешкою. Не стоит и задаваться вопросом о том, кто захочет поддержать этого развязного человека, дерзнувшего поставить свое темное имя против имени, блистающего славою, против имени, которое на устах у всех в пределах нашего государства и за пределами его. Разве только одни лохмотники могут обрадоваться выступлению этого господина. Люмпен-пролетариат, пожалуй, найдет, что это — самый подходящий для него король. Мы же видим в этом письме только возмутительно-дерзкую выходку, очевидно, рассчитанную на сочувствие всякой революционной международной сволочи. Мы относимся к этой выходке с самым резким осуждением и негодованием. Те политические деятели, которые нашли возможным выдвинуть этого темного человека, трусливо прячась за его спиною, по-видимому, не отдают себе отчета в том, насколько их поступок бестактен и бесцелен; постыдность же этого поступка они, очевидно, не в состоянии учесть».

Политики правой и центра в парламенте прочли эту резкую статью с большим неудовольствием.

Граф Камаи говорил:

— Какая бестактность! Дразнить сволочь, зачем? Наглую выходку надо было замолчать. Не следовало бы даже и печатать это письмо.

И прибавлял значительно:

— Это мнение разделяет и его высочество.

Гораздо более внимания уделили письму Триродова в Париже и в Лондоне, где также подумали, что за Георгием Триродовым кто-то стоит, какая-то крупная сила. Газеты сделали из этого письма свою очередную сенсацию и заинтересовали Триродовым публику. В те дни случилось, что не было иной, более близкой и острой темы для газетных сенсаций. Потом заговорили об этом и в других европейских центрах.

Писали сначала, что это — интрига русского правительства, как всегда, неумелая. Потом принялись искать иных вдохновителей.

## Глава восемьдесят третья

Отъезд Петра Матова в дальние страны откладывался со дня на день. Все находились предлоги для отсрочки. Дела какие-то. Да и Елена не торопила. Ей больше нравилось здесь. В далекие страны ее не тянуло. А Елисавете вдруг захотелось ехать далеко, увидеть благословенную природу теплых стран, яркие краски небес, цветов и морей, жгучие взгляды и солнечные улыбки. И мечта о королевстве Соединенных Островов уже стала ей приятною.

Тем временем Петр посещал всех своих знакомых в городе и в его окрестностях. Он прощался с ними перед своею поездкою за границу.

Петра всегда занимали религиозные вопросы. Поэтому у него было много знакомых среди духовенства. Он был хорошо принят у местного епархиального архиерея и у его викария. Со многими духовными и светскими богословами Петр Матов вел оживленную переписку.

Однажды утром в праздник Петр Матов поехал в подгородный монастырь к епархиальному архиерею. Воспитанники триродовской колонии в это же время отправились в прогулку на целую неделю. Одним днем на этой неделе Триродов решился воспользоваться для поездки в монастырь.

Триродовские воспитанники сами решили прогулку. Сами выработали ее маршрут. Конечно, следуя усвоенной в колонии привычке, всю дорогу и дети, и учительницы прошли босиком. Потому они мало уставали. Таскающие грузы на своих ногах не знают, как легко бегут освобожденные от тесных сжатий ноги.

На обратном пути дети предполагали посетить монастырь. Триродов выбрал тот день, когда дети были в монастыре. Это был один из весенних праздников, и в этот же день в монастырь отправился и Петр.

Триродов сел рано утром на пароход.

Монастырь, где жил летом епархиальный епископ, был расположен на реке Скородени, немного ниже города. Туда была проведена от города электрическая железная дорога. По ней бойко бегали окрашенные в желтую краску вагоны. Скородожцы почему-то прозвали эти веселенькие вагончики кукушками. Но удобнее и приятнее летом

было ехать в монастырь на пароходе. От городской пристани до монастырской пароход пробегал в полчаса. Горожане пользовались этими легкими пароходиками очень охотно. Кто ехал помолиться, кто погулять. Иные, взойдя на пароход, направлялись прямо в буфет и там сидели, не выходя, пока не добежит пароход до своей конечной пристани, верстах в пятнадцати от города.

Случилось, что на одном пароходе с Триродовым в монастырь ехал и Остров со своими приятелями. Он старательно прятался от Триродова. Но таки встретились.

Томимый странным беспокойством, Триродов словно чувствовал близость чего-то злого и враждебного. Он порывисто ходил из конца в конец по палубе и в каютах. Наконец совсем неожиданно и для себя, и для Острова встретил его.

Остров залебезил перед Триродовым. Борода его на ярком утреннем солнце казалась рыжею.

Триродов тихо спросил его:

— Воровать?

Остров отвечал с нелепыми ужимками:

— Хе-хе, молиться Богу. Извольте обратить внимание, как раскупается религиозно-нравственная литература. Утешительно.

На передней палубе парохода книгоноша, сухонький старичок с седенькою козлиною бородкою, в картузе с длинным плоским козырьком, в громадных в серебряной оправе очках, выкрикивал:

— «Суд Божий», листок и книжка две копейки. О том, как молодой человек из красных и жидов совершил кощунство. С картинкою. Очень поучительно.

Около книгоноши толпились простецы. Долго рассматривали картинку и потом покупали назидательную книжку.

Остров юлил около Триродова. Говорил притворно-сладким голосом:

— Не оскудевает вера в народе. Как ни стараются кое-какие господа, а вера-то все крепка. Не прикажете ли, Георгий Сергеевич, для вас куплю эту книжечку? Любопытно-с!

Триродов сказал сухо:

— Не надо, благодарю вас.

Какой-то подвыпивший спозаранку мастеровой, молодой и костлявый, передернул широкими плечами под темным в полоску пиджаком, глянул на Триродова угрюмо и сказал:

— Господам не требовается.

Триродов поспешно отошел. Остров подмигнул на него и тихо сказал мастеровому:

— Химик, господин Триродов. Ученейший человек! Ума палата. А в Бога не веруют.

Мастеровой сказал еще угрюмее:

— Лягушек жрут и кислород пускают.

Триродову противно было соседство с Островым. Он вышел на первой пристани у окраины города. Здесь был большой сад, именуемый Летним. В саду близ пристани стоял Дружковский народный дом. Оттуда если и не попадешь на пароход, так можно было добраться до монастыря на электрической кукушке.

Заодно Триродову хотелось познакомиться с деятельностью местного попечительства о народной трезвости. Что делают здесь благотворители? Триродов знал, что попечительство о народной трезвости имеет бесплатную читальню. Эта читальня приютилась в здании местного народного дома.

Народный дом был выстроен на пожертвования местного богача купца Дружкова. Этот почтенный деятель разбогател на торговле хлебом. Он считался во многих миллионах. Любил почет, выбирался всегда на видные в городе должности, за благотворительность имел чины и ордена.

Под старость Дружков пожелал последовать примеру американца Карнеджи. Ему захотелось прославиться на всю Россию, увековечить свое имя, а заодно и насолить своим сыновьям. Они прогневали его женитьбою на бесприданницах. Дружков начал тратить свои миллионы на учреждение больниц, богаделен, школ, библиотек. Все эти учреждения должны были носить его имя. Особенно щедро давал он на здешний народный дом.

Сыновья Дружкова всполошились. Они заговорили о его расточительности. Хлопотали об учреждении над ним опеки. Пытались поса-

дить его в сумасшедший дом. Но хитрый старик разрушал все их козни. Уж очень много у него было сильных связей и знакомств.

А все-таки истратить очень много Дружков не успел. Внезапно умер. В городе говорили, что он отравлен сыновьями. Говорили так настойчиво, что тело покойного Дружкова вынули из могилы и вскрыли. Следов яда не оказалось.

Дружковский народный дом по завещанию основателя перешел к местному земству. Но в нем распоряжалось всем попечительство о народной трезвости. Попечительницею дома была Глафира Павловна Конопацкая, молодящаяся вдова генеральша.

Учительницы, желавшие угодить влиятельным в их мире людям, бесплатно работали в народном доме и в попечительстве. Они следовали примеру своего начальства. Местный директор народных училищ Дулебов и его жена часто посещали Дружковский народный дом. Особенно деятельно работала там госпожа Дулебова.

Дулебовы дорожили отношениями к Конопацкой. А у себя смеялись над нею и злословили. Как водится.

Триродов подходил от пристани к народному дому. В это время Глафира Павловна Конопацкая ехала в своей коляске мимо народного дома к поздней обедне в монастырь. На пароходе со всеми ей было противно. Она говорила:

— Мужиков много. Скверно пахнет. У меня нервы так слабы.

Конопацкая была в белом нарядном платье. Белая шляпа с розовыми мелкими цветками, белые перчатки, белый зонтик, белые цветы у пояса — совсем как невеста. Пахло от нее дорогими, но противными духами. С нею сидел Жербенев в белом кителе с погонами отставного полковника.

Они увидели Триродова в Летнем саду, на площадке перед народным домом. Жербенев сердито заворчал:

— Господин Триродов в народный дом припожаловали. Что ему здесь понадобилось еще?

Конопацкая всмотрелась в Триродова. Заволновалась. Сказала с волнением:

— Для пропаганды, конечно.

Жербенев сказал тихо:

— Боюсь, что вы правы, как всегда. Идет поганить святое место, бунтовать наших барышень.

Конопацкая, бледнея и краснея, говорила:

— Я не могу, Андрей Лаврентьевич, как хотите. Это выше моих сил — проехать мимо, когда я вижу, что этот ужасный человек входит в дом, где идет наша святая работа. У меня сердце не на месте. Я выйду.

Жербенев сказал:

— И я с вами.

Они оба пошли в народный дом. Триродов уже был там. Он быстро шел по залам просторного, красивого, светлого здания, направляясь в читальню. Конопацкая и Жербенев тихими шагами крались за ним. Им захотелось подслушать его крамольные слова.

Триродов пока ни с кем не заговаривал. Он шел, окидывая беглым взглядом стены. На деревянном кронштейне стоял бюст Гоголя. Один только раз Триродов остановился у висевшей на почетном месте скрижали, чтобы прочесть начертанные на ней слова о наказании по всей строгости закона участников аграрных беспорядков.

Против входа в партер театра в двух комнатах помещались книжная торговля и читальня. В первой комнате продавались дешевые брошюрки. Здесь было много сказок и нравоучительных историй. В читальне были такие же дешевенькие и по большей части плохонькие книжонки. Газеты выписывались только реакционного направления: «Свет», «Московские ведомости», «Душеполезное чтение», «Досуг и дело», «Скородожский черносотенный листок», еще несколько таких же из столиц и из соседних губерний.

Триродов перебирал газеты в читальне. Он спросил зеленолицую барышню в очках, сидевшую за прилавком:

— Вы здесь каждый праздник?

Барышня уныло ответила:

— Нет, мы по очереди. Сегодня я дежурю до четырех часов, а моя товарка поддежуривает до двенадцати.

Она показала остреньким подбородком на другую барышню, которая копошилась у книжного шкапа, близоруко обнюхивая книжки. У этой поддежуривающей была повязана платком левая щека с флюсом. Пахло от нее карболкою и нафталином.

Триродов спросил дежурную барышню:

— Можно взглянуть на каталог?

Унылая барышня равнодушно и вяло проговорила:

— Каталога еще нет. Каталог есть только у попечительницы. Мы так помним.

На лице ее все явственнее проступало выражение скуки. Триродов сказал:

— У вас, барышня, хорошая память. А есть у вас сочинения Пушкина?

Скучающая барышня принялась перечислять:

— «Сказка о рыбаке и рыбке», «Полтава», «Борис Годунов», «Капитанская дочка», «Песня о купце Калашникове». Нет, — поправилась она, — это уж из Лермонтова.

Триродов спросил:

— А полное собрание Пушкина есть?

Скучающая барышня посмотрела на него с удивлением. Отвечала:

— Нет. Зачем же? Для нас это не требуется.

Триродов продолжал спрашивать:

— А из новых писателей есть кто-нибудь? Например, что-нибудь Горького?

На лице дежурной барышни изобразился ужас. Роняя выражение привычной скуки, она покраснела, заморгала часто, как обиженная, и воскликнула:

— Горького? Ой, нет! Как можно!

Барышня, пахнущая нафталином, быстро подошла к своей товарке. Унылая дежурная в ужасе шептала ей:

— Горького спрашивают!

За полуоткрытою дверью слушали Конопацкая и Жербенев. Переглядывались. Конопацкая сказала зловещим шепотом:

— Вы слышали? Нет, я больше не могу.

Они вошли в читальню. Жербенев остановился у дверей. Знаком подозвал к себе барышень. Зашептался с ними. Конопацкая поспешно подошла к Триродову. Она заговорила с любезною улыбкою:

— Какая приятная встреча! Я очень польщена, Георгий Сергеевич, что вы захотели нас посетить. Я вам все покажу. Ведь вы знаете, я здесь попечительница.

Триродов улыбался и благодарил. Он сказал:

— Хотелось бы и в читальне, и в книжном складе видеть более широкий выбор.

Глафира Павловна бледнела от злости. Но, помня долг попечительницы-хозяйки по отношению к гостю, она говорила ему тоном любезного объяснения:

— Ах, помилуйте, Георгий Сергеевич, поверьте, мы знаем, что делаем. Темному русскому народу только это и надо.

Триродов возразил:

— Маловато. Одних душеспасительных книжек народу недостаточно.

Глафира Павловна закипятилась. Она взволнованно спрашивала:

— А что же прикажете ему давать? Революционную литературу?

— Зачем же революционную? — сказал Триродов. — О такой литературе другие позаботятся, а вы...

Конопацкая, перебивая его, кричала:

— Нет, простому народу нельзя давать революционную литературу! Нас за это закроют, как вашу школу хотят закрыть. Мы не можем этим рисковать. Это было бы против нашей совести, против наших убеждений. Рабочие и так волнуются, потому что на фабриках везде агитаторы.

Жербенев, нашептавшись с обеими девицами, подошел к Глафире Павловне. Барышни остались у дверей. Они стояли вытянувшись, как солдатики в юбках. Их раскрасневшиеся лица с вытаращенными от усердия глазами казались разом поглупевшими и взмокшими. Нафталин и карболка, смешавшись с запахом духов Конопацкой, благоухали нестерпимо.

Глафира Павловна повернулась к Жербеневу и говорила с тою же запальчивостью:

— Вот, извольте радоваться! Господин Триродов требует, чтобы мы давали народу революционную литературу, чтобы мы обучали рабочих забастовкам. Как это вам понравится!

Триродов, улыбаясь, возражал:

— Извините, Глафира Павловна, — ничего подобного я не говорил.

Конопацкая заговорила потише:

— Да и вообще мы заботимся. Напрасно вы нас в чем-то обвиняете. Посмотрите на наш театр, на танцевальный зал, где мы делаем вечера для портних и горничных. И они очень ценят наши заботы о них.

Из окна было видно, что к пристани подходит пароход от города. Триродов воспользовался этим, чтобы проститься с Конопацкою и с Жербеневым.

Конопацкая шипела вслед ему:

— Я совсем расстроена. Ужасный человек.

Триродов опять сел на пароход. Скоро золотые главы монастырских церквей показались на высоком берегу.

## Глава восемьдесят четвертая

Как это часто бывает у русских рек, и здесь один берег был высокий, холмистый, другой низкий, плоский. На высоком берегу леса росли. На низком были поемные луга.

Монастырь, как водится, стоял на высоком берегу. Его златоглавые храмы, каменные дома, холеные сады и мощенные крупным синевато-серым камнем дворы раскинулись на крутых склонах берега и на его переходящей в равнину вершине, среди старого, задумчивого леса. Из монастырских келий и садов открывались красивые виды на извилистую, быструю реку Скородень. За рекою синели в широкой дали поля, деревни, перелески, поблескивали золотыми искрами кресты дальних церквей.

Белая каменная ограда окружала весь монастырь, спускаясь до самой реки по склонам двумя многоуступчатыми рукавами, — словно обнимала всю монастырскую усадьбу. У самой ограды снаружи стоял каменный корпус монастырской гостиницы. Видно было еще несколько деревянных домов, — какие-то ларьки, лавочки, дачки.

По шоссе пыль дымила, блестели рельсы, порою шипела и звенела электрическая кукушка и, остановившись против ворот обители, выжимала из себя людей в котелках, канотьерках, картузах, в шляпках и в платочках. У ворот стояло много экипажей.

Триродов поспел к концу обедни.

В тот же день рано утром и воспитанники Триродова пришли в монастырь. Все дивило, но не все радовало их.

В этом месте уединения и молитвы внимание странно обращалось на вещи, на прочные постройки, на черные клобуки и шелковые рясы монахов, на кружки для сбора денег у ворот и у дверей, на вкусные запахи из пекарен и кухонь. А монахи, — на кого из них ни посмотришь, сразу видно, что монастырь богат. Под дорогими, нарядными рясами угадывались телеса откормленные, полные. Лица почти у всех румяные. Постников бледнолицых мало встречалось.

На паперти собора толпилось много богомольцев. Не вместились все в храм. В дверях была давка. Иные старались протолкаться внутрь, другие выходили. Было видно больше стариков, чем молодых. Больше женщин, чем мужчин. Было много детей. Дети толкались больше всех, шныряя туда и сюда без устали, или вовсе беспризорные, городские и слободские, или забытые на время озабоченными чем-нибудь монастырским родителями.

И у храма, и у ворот было много нищих. Да и богомольцы многие на нищих были похожи. Многие, пришедшие издалека, в пути питались подаянием. Почти все они были очень грязные сами и очень грязно одеты в какое-то рванье. Пахло от них отвратительно. Многие были покрыты язвами и болячками.

Сквозь эту смрадную, жалкую толпу хотел Триродов пробраться в храм. Ему посчастливилось. Приехал вице-губернатор с женою. Он

угрюмо поздоровался с Триродовым. Усердные городовые принялись расчищать для него дорогу. За ним прошел и Триродов.

Когда Триродов вошел в храм, обедня уже близилась к концу. Служил викарный епископ Евпраксий. Он делал возгласы гремящим голосом и порою вздыхал так громко, что бабы начинали плакать от умиления, а дамы улыбались и крестились. Певчие пели умилительно. Протодьякон потрясал воздух низкими звуками своего пока еще не пропитого баса.

В церкви было много света. Белые стены с воздушно-легкою живописью радовали взор. Близ алтаря стояла чудотворная икона. Ее золотая риза сверкала игрою драгоценных камней. Изумруды и яхонты на ней были слишком крупны. Знатоки говорили, что все эти камни невысокого достоинства, что они плохо обработаны и что настоящая цена их много ниже того, что о них думали.

Было в церкви много губернских дам. Купцы и купчихи. Чиновники в мундирах. Впереди, перед солеею, было попросторнее. Но все-таки и здесь было душно, дымно от ладана и приторно-ароматно от дамских духов. Сзади, где простецы теснились, было нестерпимо душно, томно и вонюче. Серые армяки и сбитые лапти источали кислый запах.

В стороне стояли монахи. Казалось, что они углублены в молитву. Но они все видели, что делалось в церкви.

Триродовские дети и учительницы их стояли в церкви близ клироса, одетые красиво, босые. Все на них глядели неодобрительно. Многие посмеивались, перешептывались.

Конопацкая шептала вице-губернатору:

— Что же это такое, Ардальон Борисович! Ведь его школу закрывают, так как же это он сюда привел всю эту ораву? Это — демонстрация!

Вице-губернатор отвечал сердитым полушепотом:

— Последние дни доживают. Он говорит: это — все сироты, идти им от меня некуда, а в ваши приюты я их не отдам.

— Какой нахал! — почти громко воскликнула Конопацкая.

— Да и места нигде нет, — продолжал вице-губернатор. — Мы с Дулебовым придумали так: пусть он дает деньги на содержание

приюта, а начальницу и учительниц Дулебов назначит от себя. Так он не хочет, написал попечителю. Только ничего не добьется, по-нашему будет.

Под конец обедни потянулся ряд гладких монахов, генералов, купец — церковный староста и две дамы, нарядные, в черном, и кислые, все с кружками и с тарелками для сбора пожертвований. В алтаре в это время совершалось святейшее Таинство, — наитием движущего миры Духа отдельные частицы холодного вещества приобщались Единой Вселенской Жизни и претворялись в истинное Тело и в истинную Кровь, предлагаемые верным и верующим. А в толпе пробирались сборщики и мешали молиться. И звенели монеты, падая одна на другую.

Триродовские ребятишки положили на каждую тарелку и опустили в каждую кружку по копейке. У них были с собою свои собственные деньги, и они знали, что просящему надобно дать.

Обедня кончилась. Долго толкались, подходя к кресту и к архиерейскому благословению. Со слезами и со вздохами преклонялись перед чудотворною иконою. Чего-то ждали, надеялись на что-то. На блюдо у иконы деньги падали, звенела монета о монету.

Многие пошли в другой храм. Он назывался холодным. Служили там редко. Там стояла гробница со святыми мощами. На гробнице лежал, до полу свешиваясь, златотканый покров. У образа над гробницею ярко лампада горела, и от множества зажженных в двух серебряных высоких подсвечниках желтоватых восковых свеч было ярко, тепло и умилительно. Была тишина благоговейная над гробницею. Смирялись перед нею сильные и злые и склонялись головами до холодного каменного пола. Проходили один за другим. Звенели монеты, падая на блюдо на златотканом покрове.

Триродов долго ходил по широким, просторным дворам монастыря. Разговаривал с кем придется. Чужие разговоры слушал.

Как-то странно переплетались слова о Божьей воле со словами о житейских делишках. И все были только слова об устроении этой темной, смрадной жизни. Не было слов о мире чаемом и вожделенном, подобных тем словам, какие слышал Триродов у раскольни-

ков и у сектантов. Мир, лежащий во зле, обстал монашескую обитель, тихую некогда пустынь, и дышал на нее ежедневною своею злобою и тусклою своею заботою.

Видно было немало полицейских, жандармов, сыщиков. Триродов подошел к одному филеру, лицо которого было ему знакомо. Спросил тихо:

— Следите? За богомольцами-то? Стоит ли?

Филер засмеялся и с откровенностью, возможною только в русском, сказал так же тихо:

— Помилуйте, нельзя же! Где святыня, там и враг рода христианского близок. Чуть где соберутся простые люди, там и они — мутить.

Прошли мимо два монаха, — здешний, дородный и веселый, и из чужого монастыря, унылый и суетливый. Здешний говорил:

— У нас кормят, слава Богу, превосходно, можно сказать. Благоуветлив отец эконом.

Гость жаловался:

— А у нас и скудно, и плохо. Отец игумен изрядно скупенек. Правда, и сам постник...

Прошли, и уже не слышно было их слов.

На дворе монастыря у самых ворот стоял небольшой, но поместительный каменный флигель, двухэтажный, выкрашенный белою краскою, с зеленою кровлею, с зелеными железками подоконников. Первый этаж этого флигеля был занят двумя лавками. Видно было, что там торговля идет хорошо. Поминутно открывались двери обеих лавок, пропуская входящих и выходящих. Были там и триродовские дети. Триродов зашел в обе лавки.

В одной из этих лавок были крестики, очень разные по величине, виду и материалу, — золотые, серебряные и только позолоченные и посеребренные, — из дерева пальмовые, кипарисовые и липовые, — из уральских цветных камней, яшмы, малахита, кварца, горного хрусталя, топаза и аметиста, — с цепочками и без цепочек; иконы и иконки, писанные на дереве монастырскими иконописцами, в ризах и без риз, и резные из черного блестящего дерева, привезенные из Иерусалима; медальоны с образками; Библии, Евангелия, Псалтири, часословы,

молитвословы, жития святых, история обители сей и ее олеографические виды, с разных мест снятые; открытки с видами обители; книжки религиозного и наставительного характера; свечи восковые разных величин, желтые и посветлее, простые и обвитые фольгою; ладан в кусках и в зернах; масло лампадное галлипольское простое для возжигания в лампадах и оно же освященное от мощей, для врачевания недугов, в малых запечатанных сургучом стеклянных сосудиках; лампады разных величин, на цепочках и на медных подставочках, что привинчиваются под киоту; картинки на темы из библейской и церковной истории, лубочные и цинкографические; четки из дерева разных цветов, из цветных камней, из стекла и из бус; пояски плетеные и вязаные; посохи священнические и много иных подобных предметов.

За прилавком сидел упитанный монах в шелковой рясе. Суетились два послушника с иконописными лицами.

Триродов приобрел здесь один предмет, который был ему нужен, но о котором он почему-то забывал.

В другой лавке продавались снеди и пития монастырского происхождения, все очень вкусные: мед с монастырской пасеки, липовый светлый и сладкий, гречишный темный и горьковатый, и с других цветов собранный, особо каждого аромата, и еще мед цветочный смешанный, мед в сотах и мед чистый; коврижки и пряники медовые; хлеб монастырский черный, вкуса необычайно приятного, хлеб ситный, хлеб из просфорного теста; квас монастырский вкуса усладительного чрезвычайно; ягоды сушеные — земляника, малина; ягода в сахаре — вишня, клюква подснежная; варенье ягодное, яблочное, грушевое и ореховое; пастила ягодная и яблочная; грибы сушеные, на нитку низанные, грибы соленые и маринованные в банках; сушеные яблоки; сахар постный плитками; овощи сушеные и много другой постной, но вкусной снеди.

Продавал все эти прелести веселый, румяный монах, маленький и толстый. Он щурил глазки, посмеивался и покрикивал на своих подручных, двух очень молоденьких послушников, таких же, как он, веселых.

Нельзя было и здесь не сделать покупок. Триродовские воспитанники, случившиеся здесь, забрали все эти вещи, — уложить на подводу, которая их сопровождала.

Над вторым этажом того же дома висела вывеска, золотом по черному фону — «Скородожские известия». Там помещалась редакция ретроградной газеты, которая в последнее время усиленно занималась черносотенною агитациею. Эта газета была основана недавно на доброхотные даяния местных купцов-патриотов. Стоила она дешево, три рубля в год. Поэтому, хотя интеллигенция и рабочие презирали эту газетку, у нее все же нашлось много подписчиков.

Выйдя из второй лавки, Триродов подумал: «Не зайти ли в эту редакцию?»

И уже пошел было к крыльцу, но вдруг увидел, что с другой стороны к тому же крыльцу подходят Жербенев и Остров. Второй раз встречаться с ними не захотелось Триродову. Он пошел опять по двору. Опять смотрел и слушал.

Какой-то замухрышка-городовой говорил приезжим крестьянам:

— У нас — усиленная охрана. Теперь я кажинного могу убить из леволвера, и никаких свидетелев против меня не примут.

Мужики и бабы молча вздыхали.

## Глава восемьдесят пятая

Преодолевая свойственную ему любовь к молчаливым созерцаниям, Триродов разговорился с каким-то послушником. Оказалось, что он — певчий. Это был молодой человек с желтоватыми длинными волосами, высокий и худой. Он сказал:

— Бойкие у вас дети, воспитанники-то ваши.

Триродов засмеялся.

— Чего ж им не быть бойкими!

Послушник говорил:

— Видно, не заколочены. И такие, видать, дружные. А вот у нас в архиерейском хоре здорово бьют.

Триродов спросил:

— Кто кого бьет?

Послушник словоохотливо рассказывал:

— Да регент у нас больно строгий в архиерейском хоре, Гулянкин, Геннадий Иваныч. Он малолетних певчих страх как бьет. Певчих малолеток у нас всего четырнадцать. Младшему лет девять, старшим лет по пятнадцати.

Подошли и малолетки певчие. Жаловались, опасливо поглядывая по сторонам. Одеты они были в черных суконных блузах, довольно поношенных.

Послушник говорил:

— Кулак у Геннадия Иваныча увесистый. А то ремнем начнет лупцевать, — снимет с себя пояс ременный да пряжкой и зажаривает. А то ногою двинет. А побольше вина — розгами секут.

Высокий кудрявый мальчик, показывая на своего товарища, сказал:

— На днях вот ему Геннадий Иваныч пряжкою руку до крови рассек. Как саданул со всего размаху!

Посыпались рассказы, такие чуждые и странные для Триродова, словно рассказы о жизни на какой-нибудь иной, страшной и мерзкой планете.

— А вот вчера такой случай был: Мишка Горбухин зашалил, — он у нас самый маленький, — вот этот.

Девятилетний карапуз краснел и хмурился.

— Геннадий Иваныч его так хватил кулаком, что он упал на пол. Геннадий Иваныч подумал, что это он нарочно упал, так он ему ногой как даст в бок, аж мальчишка так и зашелся. Да еще такую матерщинку загнул, что уши затыкай.

— Нет у нас ни одного мальчика, которого бы он не бил.

— То кулаком, то дягой.

Триродов спросил:

— Что такое дяга?

Объяснили:

— А так он пряжку зовет.

Рассказывали с одушевлением:

— Скажет: «А ну-ка, поди-ка сюда, я тебя дягой!» — и начнет свою расправу.

—А в квартире-то у нас какая грязь: сор, пыль и на полу, и на столах, на скамейках, на окнах!

— В бельишке, в одежде, во всем терпим недостаток.

— Белье рваное, в заплатках.

— Штанишки — надеть стыдно.

— Многие койки без простынь стоят.

— Валяемся, как свиньи.

— Вот уж жаркая погода, а мы все в черных суконных блузках и в черных фуражках.

— Прошлый год в июле все болели коростой.

Все это говорилось без особенной злости, как дело привычное. Триродов сказал:

— Вы бы жаловались архиерею.

Мальчики засмеялись как-то невесело. Кто-то из них уныло сказал:

— Были глупы, жаловались сдуру.

Триродов спросил:

— Ну и что же?

Мальчики покраснели. Стыдливо хихикали и смотрели в сторону. Молодой послушник говорил:

— Милостивая резолюция вышла — жалобщиков всех высекли да еще заставили у регента прощенья просить, на коленках стоя. А кому не нравится, те вон поди. А куда пойдешь? У родителей — бедность непокрытая, а есть и вовсе сироты.

Мальчики стыдливо и робко смеялись. Вдруг они замолчали и по одному стали отходить. Словоохотливый послушник торопливо попрощался с Триродовым и пошел с видом человека, торопящегося по делу. Их всех спугнуло приближение Петра Матова.

Триродов сказал Петру:

— Не нравится мне здесь.

Петр сделал сухое, холодное лицо, как будто слова Триродова задевали его. Спросил:

— Почему не нравится? Здесь все так благоустроено.

Триродов говорил спокойно:

— Слишком по-земному все здесь. Хозяйственно, зажиточно.

Петр хотел возразить что-то, и видно было, что на языке его шипят злые, резкие слова. Но в это время к Петру подошел келейник в новеньком синем подряснике с перламутровыми пуговками, тонкий как жердочка, очень молодой, почти мальчик. На лице его изображался избыток смирения. Усмиряя скрип ревучих сапог, он поклонился Петру низко и сказал:

— Его преосвященство, преосвященнейший владыка Пелагий просят вас пожаловать к нему пообедать. И вас также, господин Триродов, — сказал он с таким же низким поклоном.

Петр Матов и Триродов вместе пошли к епископу.

Епархиальный епископ Пелагий был хитрый и злой честолюбец. А казался он добродушным и любезным, привыкшим к светскому обществу человеком. Он покровительствовал местным черносотенным организациям. Очень был благосклонен к Глафире Конопацкой. По его внушению нынче осенью в квартире Конопацкой организовался издательский кружок. Этот кружок выпустил несколько брошюр и листовок. Иные были вроде той, что продавалась на пароходе. В других содержались проповеди на современные темы. Продавались эти книжонки дешево. Иногда раздавались даром. Рассылались по школам. В короткое время по всей губернии расползлась эта литература.

Гостиная епископа Пелагия была полна гостей. В ожидании выхода владыки, отдыхавшего после обедни, гостей занимали сановные монахи. Вели тихие разговоры.

Был здесь викарный епископ Евпраксий, с большими странностями человек. Противоречивые черты сочетались в нем. Он был одновременно жестокий деспот и вольномыслящий. Когда он был еще архимандритом и ректором семинарии, его жестокость вызвала к нему ненависть семинаристов. В печку в его квартире подложили бомбу. Она взорвалась. Печку разнесло. Но никто не был ранен. На Евпрак-

сия это событие сильно подействовало. Говорят, что с того времени он совершенно изменился.

Он был вдохновенно-красноречив. Высокого роста, с пламенными черными глазами, с гривою черных волос, с толстыми красными губами, он производил большое впечатление, — обаятельный и нелепый человек.

Был наместник архимандрит Марий, известный черносотенец. Это был молодой монах, фанатик, сухой и черный. Он имел репутацию аскета.

Был вице-губернатор. Около него увивался директор народных училищ Дулебов. Жена Дулебова вела любезный разговор с вице-губернаторшею, вульгарною, толстою бабою. Когда Триродов вошел в гостиную, обе четы воткнули в него восемь округленных от злости глаз, сделали две пары безобразных гримас, похожих на восемь флюсов, и отвернулись.

Триродов не очень удивился, увидев среди гостей и Острова. Какие-то дамы и Жербенев благосклонно разговаривали с ним.

Во время обеда велись тихие речи, но злые.

Епископ Пелагий заговорил с Триродовым о воспитании. Оказалось, что все присутствующие злы на учащуюся молодежь. Вкруг стола зашипели злобные, укоризненные речи:

— Распущены!

— Развращены!

— Забастовки придумали!

— Точно мастеровые!

— Плохо учатся!

— Совсем не учатся!

— Не мимо сказано: неучащаяся молодежь.

— С детства набалованы. В школах и в гимназиях.

— Не секут в школах — напрасно.

Когда речь зашла о телесных наказаниях, у гостей у многих стали радостные, оживленные лица. Епископ Пелагий спросил Триродова:

— А вы как наказуете провинившихся?

Триродов спросил:

— Да зачем же мне их наказывать?

Вице-губернатор угрюмо сказал:

— Вы поощряете всякую гадость. За то мы вашу школу и закроем.

Триродов, улыбаясь, сказал:

— А я ее опять открою, если не здесь, то в другом месте.

Вице-губернатор грубо засмеялся и сказал:

— Ну уж нет, это вам не удастся. Одно только мы и можем для вас сделать, передать вашу школу в непосредственное заведование дирекции, и уж дирекция назначит от себя весь педагогический персонал.

Его жена ухмылялась. Епископ Пелагий наставительно сказал:

— Детей следует сечь. Весьма похваляю телесные наказания, весьма.

Триродов спросил:

— Почему, ваше преосвященство?

Епископ Пелагий говорил:

— Жизнь для детей и подростков так еще легка и беззаботна, что они были бы не приготовлены к суровому подвигу жизни, если бы иногда не претерпевали приличествующих этому возрасту мучений. Притом же молодости свойственна опасная наклонность заноситься и мнить о себе высоко. Даже о Боге забывает легкомысленная юность. В телесном же наказании дана человеку вразумительная мера его сил. Указывается, что не все ты можешь, что хочешь.

Триродов сказал:

— На все это есть совсем другие способы. Да и не так опасны эти детские свойства. Чем выше взята жизненная цель, тем легче достигнуть хоть чего-нибудь.

Епископ Пелагий пожевал неодобрительно сухими губами и продолжал:

— Гордыня обуевает иного подростка. А высечь его, — розги сломят его гордыню и укажут подростку его место.

Вице-губернатор угрюмо сказал:

— Конечно, надо пороть. Что же об этом спорить! Не по головке же гладить всяких негодяев. Вот у нас на днях на пароходе какой-то

гимназистишка подсел к пианино да и давай «Марсельезу» отжаривать. И ничего с ним нельзя было сделать. Исключили из гимназии, только и всего. А он и рад на собаках шерсть бить.

Епископ Пелагий, обращаясь к Триродову, сказал:

— Я знаю, вы скажете, что мы высказываем черносотенные мнения. А позволю вас спросить, что лучше, черная или красная сотня?

Триродов улыбнулся и промолчал. Вице-губернатор ворчал:

— Сказать-то, видно, нечего. Да вот, дайте срок, мы вам всем хвосты пришпилим.

Епископ Пелагий, сделав значительную паузу и обведя всех присутствующих строгим взором черных глаз, сказал внушительно:

— Что до меня, то я горжусь наименованием черносотенца. И даст Бог, черная сотня восторжествует на святой Руси нашей, на благодатном нашем черноземе.

Триродов сказал:

— Деятельность этих несчастных, темных, озлобленных людей может вызвать в городе погром, избиение интеллигенции. Уже хулиганы начали нападать в городе на прилично одетых людей.

Епископа Пелагия не смутили эти слова. Он говорил:

— А что такое погром? Гнев Божий, гроза, очищающая воздух, зараженный тлетворным духом буйственных и лживых учений.

Викарный епископ Евпраксий шумно вздохнул и сказал:

— Несущие свет миру бывают избиваемы и гонимы. Так было, господин Триродов, так будет. Но свет одолеет тьму.

Петр Матов все это время упорно молчал.

Разговор с епископом Пелагием произвел на Триродова угнетающее впечатление. И опять он пожалел о том, что узнал от Острова о намерениях его сообщников. Но затеянное дело надобно было довести до конца.

Когда гости стали расходиться, Триродов попросил у епископа Пелагия позволения переговорить с ним наедине. Пелагий пригласил Триродова в кабинет.

Сначала был не особенно приятный разговор о священнике Закрасине.

Пелагий говорил:

— Вы, Георгий Сергеевич, и батюшку себе под цвет подобрали.

Триродов возражал:

— Отец Закрасин — добрый и усердный пастырь.

— А зачем с мужиками беседует? Разъясняет им, чего и сам не понимает, — о какой-то якобы конституции. Подбивает крестьян против помещиков, против полиции.

Триродов долго убеждал епископа в том, что его сведения основаны на лживых доносах. Пелагий плохо верил, но все-таки кое в чем Триродову удалось его убедить. Наконец Пелагий решил:

— Потерплю еще некоторое время. Но пусть он знает, что чаша долготерпения моего готова переполниться.

Тогда Триродов рассказал Пелагию, что он видел нынче сон, который показался ему достойным внимания. Он видел, как ночью какие-то люди тайком выносят из монастыря чудотворную икону.

Пелагий подумал и сказал:

— Благодарю вас, Георгий Сергеевич. Икона охраняется хорошо, и бояться нам нечего. Бог не попустит совершиться злому делу.

Триродов спросил:

— Разве сны не от Бога? Разве в снах не дается указаний?

Пелагий строго посмотрел на Триродова и сказал:

— Каждому дается указание по вере. Ваш сон, если он внушен свыше, знаменует предостережение о душе вашей, из коей, как из небрегущей о святыни обители, враг рода человеческого готовится похитить святое сокровище ее. Блюдите, да не сможет враг исполнить злое намерение свое, бодрствуйте, и молитесь, и с прилежанием прибегайте к святой церкви Христовой, и, с Божиею помощью, посрамлен будет хищник.

## Глава восемьдесят шестая

Меж тем, по случаю праздника, в садах и на лугах под монастырем уже начиналось великое пьянство.

Бывший учитель Молин подружился с келейником викария Евпраксия. Пока Евпраксий сидел у Пелагия, его простоватый келейник показывал своему новому другу квартиру Евпраксия. Случилось так, что Евпраксий забыл дома свои золотые часы. Молин сумел-таки отвести глаза келейнику. Украл часы. И поспешил проститься. Говорил:

— Пора уходить. А то как бы твой барин не вернулся. Чужого увидит — тебя облает.

Келейник обиженно поправил:

— Владыка, а не барин. И он у нас не пес — не лает.

На дворе Молин отыскал своих. Сказал:

— Бодрилки выпить, братцы, пойдемте на лужок.

Друзья вышли из монастыря. На лужайке пили водку. Монахов близко не было. Молин огляделся и из-под полы показал друзьям золотые часы. Послышались возгласы удивления и восторга:

— Ого!

— Вот так штука!

Завистливый восторг друзей радовал Молина. Он хвастался перед друзьями:

— У викарного слямзил! Его келейник со мной заговорился, я ему ловко глаза отвел.

Яков Полтинин грубо упрекал Молина:

— Экий ты, братец, дуботолк! А еще ученый называешься.

Молин смешливо сказал:

— Чего лаешься, балда! У монахов деньги не свои.

Яков Полтинин говорил:

— Да пойми, что сегодня этого не надо было делать. У нас большое дело на руках, а мы на такой ерунде можем влопаться.

Молин грубо хохотал и оправдывался:

— Ничего. Дурачье и бестолочь. Ничего не заметят.

Кража иконы была налажена в тот же вечер. Под конец дня, когда солнце клонилось к закату, последние гости уехали. А вина осталось еще много. Монахи разошлись по своим кельям. Потом они по три, по

четыре человека собирались в той, в другой келье. Была великая попойка. Монахи перепились.

В соборе с вечерни остались вор Поцелуйчиков и пятнадцатилетний мальчишка Ефим Стеблев, сбившийся с толку, но зато научившийся воровать и пить водку сын сельского учителя. Спрятались за большой образ в темном углу собора. Было тесно, неудобно и страшно. Когда послышался стук закрывающейся двери, у воров сердца захолонули. Они знали, что, кроме них, никого нет в этом громадном соборе, но все-таки смутный страх заставлял их жаться в тесном углу и разговаривать шепотом.

Когда совсем стемнело, они вышли и принялись за работу. Поцелуйчиков разбил локтем стекло чудотворной иконы. Осторожно вынули тяжелую икону из киота. Работали тихо, при слабом свете восковой свечи.

Было тихо и темно. Темнела высь безмолвного собора. Точно вздыхал кто-то в тишине, и вздохи эти были глубоки и темны.

Молин стерег снаружи. Он лег на скамейку близ собора и притворился заснувшим.

Подошел пьяный монах-сторож. Молин завел с ним беседу.

Монах пьяным голосом спрашивал:

— Отчего ты не в гостинице?

Молин отвечал:

— На вольном воздухе вольготней.

Монашек благодушно бормотал:

— Вольготней, это ты верно говоришь. Если бы кто-нибудь мне поднес!

Молин вытащил припасенную на всякий случай сороковку. Выпили. Поговорили. Монах, казалось, не собирался уходить. Темная злоба на монаха поднялась в темной душе Молина. Он грубо сказал:

— Смотри-ка, отец святой, в соборе огонек светится. Никак, воры забрались.

И сам думал: «Увидит, — задушу руками. Сколько живу, чего со мной ни случалось, а человека еще не убил. Вот эту мразь укокошу».

Монах бормотал:

— Зенки налил, пьяница. Какой тебе там огонек! Наше место свято.

Наконец пьяный монашек ушел, бормоча что-то, икая и пошатываясь. Пусто и тихо стало на темном монастырском дворе. Молин постучался в окно собора.

Тем временем Поцелуйчиков и Стеблев взломали ящик выручки, где продавались свечи. Забрали груды монет. Напихали их себе в карманы, за пазуху. Стеблев снял с себя рубашку. Завязали рукава, затянули веревкой ворот. Вышел мешок хоть куда. Насыпали туда денег. Потом разбили стекло в окне, икону, завернутую в полотенце, выбросили на двор и сами вышли.

Так же просто, как воровали, и убежали воры. Спустились по монастырскому саду к реке, таща с собою закутанную икону. У реки в кустах была с утра припрятана лодка, в которой сидели Остров и Полтинин. Воры скрылись в ночной темноте.

Кража иконы была обнаружена только на другой день утром. Рано на рассвете сторожа-монахи отперли собор — прибрать. Подошли к иконе, — и вдруг, раньше сознательной мысли, страх ударил их свинцовыми плетьми. Бросилось в глаза отсутствие иконы, — поломанная перед нею решетка, — осколки стекол на полу, — выдвинутый ящик денежной выручки. Всюду видны были следы воров.

Было раннее, тихое утро, такое радостное и чистое, что проснувшемуся рано и вышедшему в поля от жилья далеко хотелось плакать от умиления. Низко стояло солнце, и светило оно не жарко и благостно. Росою трава была обрызгана. Переливно, многоцветно росинки смеялись. Ранний холодок был весел и свеж. Все, все в природе невинно и молодо радовалось. Только монахи были в тоске и в отчаянии. С тихими, смятенными возгласами они метались по монастырю.

В монастыре поднялся страшный переполох.

Со вчерашнего дикого перепоя у монахов, почти у всех, болели головы, было томно и тошно. То, что они услышали, разбуженные вдруг гулом и плачем, и то, что увидели они, поспешно прибежавшие в собор, было им не то сон, не то явь, не то искушение дьявольское.

Испугались, глазам не верили. Переговаривались смятенно:

— Что теперь делать?

— Беда!

— Дожили!

— Господне попущение.

До начальствующих монахов новость докатилась не сразу и пришла уже насыщенная жалкими словами и страшными подробностями. Сказали сначала отцу эконому. Потом наместнику. Наконец епископу Пелагию.

Пелагий сразу вспомнил вчерашнее предостережение Триродова. Он склонил голову и несколько минут сидел молча. Наконец он решил:

— Полиции надо сказать.

Отец эконом по телефону говорил с исправником. И слышно было, как растерялся, как испуган был исправник. Долго не хотел верить. По телефону же доложил вице-губернатору.

Вице-губернатор угрюмо закричал:

— Проспали! Теперь-то чего же зеваете? Отправляйтесь немедленно в монастырь. Да прокурору не забудьте доложить.

Исправник помчался в монастырь.

Полицейские чины, особенно старшие, были обозлены и испуганы. Ждали себе начальнических нагоняев. Из-под носу украли!

В монастыре было шумное смятение. Богомольцы весь день толпились и шумели. Словно вдруг потеряли уважение к святыне. И почти не сыпали даров, и покупали мало. Монахи имели суровый и смущенный вид. Говорили сдержанно:

— Божье попущение.

— За наши грехи.

— Вернется Владычица — милостив Бог!

Духовный совет собрался и совещался долго. Епископ Пелагий был гневен. Стучал посохом в пол.

Собор оцепили солдатами и стражниками.

В городе только и разговоров было, что о краже в монастыре. Интеллигенты обсуждали с общих точек зрения. Верующие плакали и обвиняли всех, кого только можно было хоть как-нибудь связать с этим делом. Говорили:

— Не к добру!

— Проклятые!

— Последние времена.

Неверующие издевались над верующими и над монахами. Кощунственны и нестерпимо грубы были их глупые шутки. Колеблющиеся умы, наклонные к умствованиям и рассуждениям, были страшно потрясены. Злобно пьянствовали и пьяно философствовали.

В простом народе быстро и далеко разнеслась злая весть о пропаже чудотворной иконы. И впечатление от этой вести было тупое и злое. Дивились:

— Да как руки у злодеев не отсохли!

Объясняли:

— За грехи наши Бог попустил.

В отчаянии слагали легенды.

— Не украли! Сама ушла, матушка. Прогневалась на монахов.

— Потом объявится.

Полиция усердно искала икону. Всеми чувствовалось, что дело будет иметь большие последствия.

Ночь после кражи в монастыре близилась к концу. В равнинах уже светало, а лес был еще по-ночному темен и чуток. В доме, в котором ютились Яков Полтинин и Молин и который они называли своею дачею, — в лесной лачуге, ждали воров две бабы, любовницы Якова Полтинина и Молина, черноглазая и смуглая, похожая на монахиню Раиса и жирная, курносая и чуть-чуть рябая Анисья. Связаны они были со своими сожителями не любовью, а только пьяною похотью и участием в разных темных делах. Их сожители их презирали, держали в страхе и часто били. Обе бабы их ненавидели и не хранили верности к ним. Ненавидели и одна другую и нередко, оставшись вдвоем, дрались. Но чаще старались подводить одна другую под побои своих любовников.

Обе они были пьяные. Напились водкою со скуки, поджидая своих повелителей. И стали ссориться. Грызлись упрямо, тупо и зло.

Порою принимались они драться. Но водка разморила их, и настоящей, хорошей драки не выходило. Обменявшись несколькими

звучными пощечинами, они расходились. Свирепо посматривали одна на другую, поджидая удобной минуты опять сцепиться.

Любовница Молина Анисья льнула к Острову. За это Молин уже не раз принимался ее бить. Любовница Якова Полтинина Раиса тайком сплетничала Молину на Анисью. Потому боялась ее и злилась. Боялась еще и потому, что Анисья на днях выследила свидание Раисы с одним из монахов.

Анисья говорила:

— Вот ужо про твоего Мардария все Якову Сергеичу скажу.

Раиса вскрикивала:

— Глаза выжгу!

Анисья посмеивалась и отвечала:

— Еще кто кому раньше!

Воры тихо пробирались в темном лесу. И только тихий огонек между деревьями, утешая, маячил в глазах, — тут, близко! Несли икону, завязанную в полотенце.

Когда еще подходили к дому, услышали визгливые голоса баб. Заворчали:

— Галдят наши гимназистки, как бабы на базаре.

— Ведь сказано им, чтоб тихо сидели.

— Драть их надо, мерзавок!

Сдержанный, тихий смех и грубые, жестокие шутки зашелестели среди воров.

Дошли, постучались. Тихий стук в окно заставил вздрогнуть заспоривших баб, уже собравшихся было опять подраться. Раиса пугливо спросила:

— Кто там?

Послышались из-за окна грубые голоса и смех:

— Эй, хозяйки, отворяйте ворота.

— Встречайте...

— Мы вам принесли...

Нахально, пьяно и визгливо засмеялись бабы. Они открыли дверь, и в затхлый воздух лачуги ворвались голоса пришедших. Грохот сапог, шум голосов, — точно великое множество ввалилось. А и всего-то было пятеро.

Молин раскутал полотенце и положил икону на стол. Заблестела ее золотая риза в тусклом свете керосиновой жестяной лампы, висящей на стене, засверкали ее разноцветные камни.

Бабы дрогнули, но пересилили страх. Хохотали. Тыкали грязными пальцами в золото ризы. Тупая, глупая радость играла на лицах пьяных людей. Злые шутки их были отвратительны.

Зажгли свечи, чтобы виднее было. Ругаясь и толкаясь, воры принялись обдирать камни и золото. Смотрели на скорбный, темный от времени лик и смеялись. Пили водку и пиво. Яков Полтинин командовал:

— Бабы, печку топить, живо. Камешки нам, а икону в огонь. Топор неси, Раиса...

Грохочущий хохот покрыл его слова. Анисья возилась около большой русской печки, пьяно пошатываясь. Раиса принесла топор. Яков Полтинин поставил икону на пол и, придерживая ее левою рукою, принялся рубить ее топором.

— Твердое дерево, хорошее, — похваливал Яков Полтинин. — Ну, Ефимка, подбирай.

Ефим Стеблев подобрал куски иконы и понес их к печке. У него были испуганные и глупые глаза, а губы его пьяно и нагло ухмылялись. Скоро в печи пылало пламя. Чистые, небесно-ясные огни бегали по раздробленному святому лику. Икона пылала. Лупилась краска. Искорки перебегали.

Молин крикнул:

— Ну, ребята, делить!

Остров посмотрел на него сердито и сказал:

— Делить так делить. А впрочем, дело не к спеху. Сперва хлебной слезы можно выпить.

Молин настаивал:

— Только, чур, делить поровну.

Остров грубо захохотал и крикнул:

— Как не так! Не жирно ли будет! Скажешь, пожалуй, что и Ефимке столько же, как мне?

Ефим начал было:

— Ведь я в церкви...

Но Остров посмотрел на него так злобно, что мальчишка оробел и отошел к бабам. Раиса шептала ему:

— Ну что, корова тебе язык отжевала, что ли?

Молин свирепел. Кричал на Острова:

— Тебе, что ли, больше! Ты что за архимандрит?

Яков Полтинин грозно сказал:

— А кто придумал? Нам с Островым три четверти пополам, а вы делите остальное.

Вор Поцелуйчиков, смирный с виду и чахлый человечек, вдруг заволновался и закричал:

— Не согласен! Всем поровну делить. В петлю-то мы за вас лезли с Ефимкой.

Осмелел и мальчишка. Стоя сзади Молина, кричал:

— Поровну делить! Подавайте мне мою долю!

Остров прикрикнул на него:

— Ты, щенок, не суйся! Ты у нас вроде как в ученье, тебе полной доли не полагается.

Спорили все злее и яростнее. Уже не сдерживали голосов и кричали во всю глотку. В споре приняли участие и женщины. Назуживали мужчин. Молин закричал:

— Не хотите делить по-братски, так и донести можно.

Все вдруг замолчали. Молин спохватился. Забормотал смущенно:

— Право, стоило бы. Только что...

Бабы завыли в один голос:

— Донесет, погубит наши головы!

Яков Полтинин крикнул:

— А, доносить! Братцы, бей его!

И он вместе с Островым бросились бить Молина. Молин отбивался; Поцелуйчиков трусливо семенил вкруг сцепившихся и тонким голосом покрикивал:

— Доносить! Да что же это, братцы! Да за это убить мало!

Ефим жался в углу и дрожал от страха.

Анисья притащила топор и сунула его Якову Полтинину. Яков Полтинин свирепо крикнул:

— Башку снесу!

Он взмахнул топором. Удар пришелся прямо по голове Молина. Раздался мягкий хруст черепа. Молин тяжело упал на пол.

Трое воров молча отошли от окровавленного трупа. Смятение испуга пронеслось по избе. Анисья завизжала:

— Убили!

Яков Полтинин грозно крикнул на нее:

— Молчи, сволочь! Того захотела?

Раиса укоряла ее:

— Ай да баба! Сама топор сунула, а теперь воешь.

Остров и Полтинин быстро вытащили Молина из избы. Ефим и Поцелуйчиков вырыли глубокую яму. Молина бросили в нее и зарыли. Вернулись в избу. Уже без спора поделили деньги на четыре равные части. И потом сели ужинать.

Полтинин мрачно сказал:

— Издох не пожравши. Ну да туда и дорога. Сам виноват.

Остров посмотрел на Ефима, гнусно хихикнул и сказал:

— Боюсь, проболтается мальчишка.

Ефим похолодел от страха. Но быстро сообразил, что страх может его погубить. Развязно сказал:

— Нашли дурака! Либо вздернут, либо на каторгу пошлют. Нет, братцы, нам всем молчать надо. Вы лучше о бабах подумайте.

Взоры всех уставились на баб. Анисья заревела. Раиса презрительно улыбнулась и сказала:

— Я-то болтать не стану, а за Анисью не поручусь. Молинская лахудра.

Анисья закричала:

— Да побойся ты Бога! Не я ли на него топор принесла! Опостылел он мне, окаянный!

Полтинин выпил стакан водки и сказал невесело:

— Не скули. Убивать никого из вас не станем. Что руки марать! Не маленькие, понять можете, — денег много. Будете молчать — купчихами будете, проболтаетесь, — по миру пойдете.

Бабы успокоились. Ефим усмехался нагло, радуясь, что отвел от себя беду. Он был уверен, что воры так или иначе изведут Анисью. Ну а Раиса уцелеет, — хитрая.

Он не знал, что в эту же ночь, под утро, четверо, сговорившись, задушат его и Анисью. Его долю отдадут Раисе. Останется сплоченная шайка — четыре надежные товарища.

## Глава восемьдесят седьмая

Прошло несколько дней. Совершались в Скородоже самые обыкновенные у нас события. У Рамеева, как у деятельного члена кадетской партии, сделали обыск и при этом ничего не нашли опасного и преступного; но, как водится, захватили письма и кое-какие книги. Никого это не удивило и не взволновало особенно — дело привычное.

А вот что вызвало много толков.

Вице-губернатор и исправник возвращались из уезда вместе — ездили кого-то усмирять. Поздно вечером ехали они в город близ усадьбы Триродова. Было пустынно, темно. Леса и перелески обступали дорогу.

Вице-губернатор спросил:

— А это что там наверху огонь виден? Это уж не нас ли выслеживают?

Исправник поглядел в ту сторону, куда показывал вице-губернатор, и сказал:

— А это на башне, Ардальон Борисыч, у нашего химика Триродова.

Вице-губернатор угрюмо спрашивал:

— Какая такая башня?

Исправник объяснял:

— А как же, это у него над домом две башни построены. Очень хороший вид оттуда открывается — река, поля, город, все как на ладошке видно.

Вице-губернатору это не понравилось. Он заворчал:

— Что за башни! Точно дворец. Он там сидит, может быть, и все в подзорную трубу выслеживает. Надо запретить, — пусть снимет башни. Это против строительного устава.

Исправник тоскливо думал: «Чего только не придумает! Опять мне придется путаться».

Вдруг из гущи невысоких кустов раздались выстрелы. Вице-губернатор диким голосом закричал:

— Чур меня, чур! Наше место свято!

И быстро сунулся вниз. Лошади помчались. Ямщик гнал во всю мочь. Было страшно, что голоса в экипаже вдруг замолкли.

Ямщик остановил своих лошадей только в городе, на площади, у полицейского управления. Оказалось, что исправник убит. Вице-губернатор, тяжело раненный, лежал без сознания, свалившись ничком с сиденья на дно коляски.

В этот вечер Триродов вышел на дорогу. Он сделал один длинную прогулку. Тоска томила его. Он быстро шел. Уже возвращаясь, вблизи своего дома он увидел экипаж. Услышал выстрелы.

Коляска промчалась перед ним. Бледное лицо ямщика пронеслось мимо Триродова. В коляске различил Триродов грузную фигуру исправника. Казалось, что он едет один.

Триродов вернулся домой, погруженный в глубокую задумчивость. Угрюмая Еликонида встретила его у ворот. Спросила:

— Что, батюшка, стреляли, никак?

Триродов отвечал:

— Стреляли, старая, — в исправника стреляли.

Убийство исправника обсуждалось в городе на все лады.

На другое утро Триродов и Елисавета сидели в беседке над рекою в рамеевском саду. Триродов рассказал Елисавете о своей вечерней встрече. Он сказал:

— Пожалуй, будут меня подозревать.

Елисаветины синие глаза потемнели. Она сказала:

— Я чувствую, что могла бы убить.

Триродов усмехнулся. Он вынул из кармана записную книжку, достал вдетый в ее корешок карандаш и на столбике беседки начертил, немного выше головы, небольшой круг. Тихо сказал:

— Да будет место, очерченное мною, кругом смерти.

Голос его звучал как заклинание великой силы. Потом, обратившись к Елисавете, сказал:

— Вице-губернатор ранен. Нажми эту очерченную мною, но незримую кнопку, и он умрет.

Елисавета решительно встала. Воскликнула:

— Пусть умрет злой!

И протянула руку. Но, когда уже палец ее был близок от очерченного места, она побледнела и рука ее упала. Тихо сказала Елисавета:

— Нет, не могу убить человека.

Триродов, улыбаясь, смотрел на нее. Он ласково взял ее руку и сказал:

— Я испугал тебя, чтобы дать тебе возможность заглянуть в свою душу. Ты не можешь убить, да и мое заклинание на этот раз бессильно. Нажимай это место сколько хочешь — на судьбе человека это не отразится. Теперь, когда ты это знаешь, попытайся еще раз.

Елисавета спросила:

— А если он умрет?

Триродов отвечал:

— Если и умрет, то не от того, что ты сделаешь.

Елисавета опять протянула руку к жуткому кругу и опять не смогла тронуть его. Покраснела и сказала:

— Нет, не прибавлю моей воли к угасанию чужой жизни. Не мне дано убивать.

На улицах города Скородожа появилось вдруг много диких, полуодетых, грубых людей, почти всегда пьяных. Прежде эти люди таились в трущобах на окраинах города. Особенно много их ютилось по краям Навьего поля, за кладбищем. Теперь они стали смелы и дерзки и заполонили весь город. Днем бесчинствовали, ночью воровали. Иногда поколачивали гимназистов.

Буржуа, трусливый и скупой, жаловался:

— От хулиганов житья не стало.

Гимназистам разрешили ходить в партикулярном платье, чтобы хулиганы на них не нападали.

Оборванцы лезли на гулянья, на главную улицу города, в Летний сад. Приставали к буржуям кадетской наружности. Требовали денег. Говорили:

— Жрать нечего. Даже на водку нет.

Буржуям это не нравилось. Они пытались молча пройти. Оборванцы ругались. Стращали полицией. Говорили:

— Вот дадут нам три дня сроку, мы вас всех перережем, и вас, и ваших гимназистов-забастовщиков.

Кадеты, рассказывая об этом своим знакомым, восклицали:

— Можете представить!

Эсдеки злорадствовали.

Для охраны прислали в город казаков. Несколько купцов встретили их угощением: поднесли хлеб, колбасу и чай. Но буржуа и казаками был недоволен. Преступные же элементы населения, чувствуя, что не до них, пользовались обстоятельствами. Участились случаи грабежа. Часто стали насиловать женщин и девиц.

Через несколько дней после экзамена в школе Триродова он получил такую бумагу:

М. Н. П.
РУБАНСКИЙ
учебный округ

ДИРЕКТОР
народных училищ

СКОРОДОЖСКОЙ ГУБ.
19 июня 19** года.
№ 2136
г. Скородож

Доктору химии.
отставному коллежскому асессору
Георгию Триродову

Его Превосходительство Господин Попечитель Рубанского учебного округа предложением от 12 сего июня за № 19 233, последовавшим в разрешение представления

моего от 2 сего июня за № 2007, уведомил меня, для надлежащего исполнения, что он считает необходимым учрежденную и содержимую Вами, Милостивый Государь, в имении Вашем при деревне Просяные Поляны Скородожского уезда школу с приютом для детей обоего пола, ввиду обнаружившегося вредного направления означенной школы, закрыть и педагогический персонал оной уволить от занимаемых им должностей с 12 сего июня. Вследствие сего предлагаю Вам, Милостивый Государь, выданное Вам разрешение на открытие и содержание вышеназванной школы-приюта возвратить немедленно по получении сего в мою Канцелярию для представления его в Канцелярию учебного округа.

*Директор Г. Дулебов*
*Письмоводитель Влад. Петренко*

Когда Елисавета пришла в тот же день к Триродову, он показал ей эту бумагу. Она сказала:

— Надо жаловаться в министерство.

Триродов спокойно сказал:

— Из этого ничего не выйдет.

Елисавета спросила:

— Что же ты будешь делать? Ведь нельзя же так оставить!

Триродов отвечал:

— Поговорю с маркизом Телятниковым. Он на днях сюда приедет. А если он не заставит отменить это распоряжение, то придется взять детей в оранжерею и, может быть, отвезти на Луну.

Близ города Скородожа стояло село Непогодово. Близ села находилась усадьба Кербаха. Туда похаживал иногда Остров. Нередко, когда Кербах был в городе, Остров наведывался и в село. Там было неспокойно.

В окрестностях этого села повсюду горели усадьбы землевладельцев. Поджигали крестьяне. Горели хлеб, амбары, скот. В то же время разбрасывались и приколачивались к стенам волостных и сельских правлений прокламации, иногда печатные, иногда переписанные самими крестьянами с печатных. Ходили по рукам и жадно прочитывались прокламации и брошюрки. Было немало и литературы «всамделишной», написанной грамотеями из местных крестьян. Это было все не очень грамотно, но очень сильно, резко и гневно.

Экономия Кербаха (так он называл свое имение) лежала в самой середине земель села Непогодова. Она клином врезалась в надельную и в усадебную землю крестьян. Даже церковь была охвачена с двух сторон владениями Кербаха. В церковной ограде было двое ворот; из них одни выходили на общую дорогу; другие ворота вели на экономическую землю; они всегда были на запоре.

Сам Кербах редко бывал в этом имении. Он купил его года три назад по случаю, очень дешево. Говорили, что имение на самом деле принадлежит какому-то еврею, а Кербах — только подставное лицо. Всем в экономии заведовал управляющий Лещук, деловитый и бойкий выходец из южных губерний. Мужики часто жаловались на него Кербаху, но безуспешно.

В начале июня сгорела в имении Кербаха рига, в которой сложен был инвентарь. Через день в том же имении сгорела большая каменная конюшня. Погибло несколько лошадей. Еще дня через два одновременно сгорели две дачи. Мужики разбили винную лавку. Перепились. Было радостно, весело и драчливо. Окружили дом Кербаха. Подожгли дом. Дом сгорел дотла. Веселое и жаркое пламя радовало поджигателей. Рояль, зеркала, мебель крестьяне вытащили из усадьбы и разбили на улице.

Поджоги и убийства разливались по всей губернии. Воинской силы было недостаточно. Губернатор посылал в столицу тревожные телеграммы. Ему ответили, что отправлены войска и что наконец едет в Скородож маркиз Телятников, облеченный большою властью.

Маркиза Телятникова уже давно ждали в городе Скородоже с трепетным страхом. Обширная власть и те легенды, которыми окружено было знаменитое имя маркиза, заставляли сердца властителей городских замирать и сердца обывателей наполняли любопытством и ужасом.

Наконец в конце июня маркиз Телятников приехал. Его с большим торжеством встречали на пристани. Собрались все городские и губернские власти, гражданские и воинские, — все в па-

радных мундирах. Было много суетливости и волнения среди властей.

Маркиз Телятников водворился в губернаторском доме. Он принимал офицеров, чиновников и горожан. Делал визиты.

Все в городе подтянулось.

## Глава восемьдесят восьмая

Его светлость, член Государственного совета, сенатор, почетный опекун, генерал-адъютант, генерал от кавалерии, маркиз Эраст Эрастович Телятников был очень старый и очень влиятельный человек. Недавно ему исполнилось сто шестьдесят лет. Он прослужил отечеству и престолу более ста пятидесяти лет и все еще не помышлял об удалении от дел.

Маркиз Телятников был красивый, видный старик с осанкою и приемами старого вельможи. Для своих весьма преклонных лет он превосходно сохранился и казался лет на сто моложе. Каждый день он ел болгарскую простоквашу и выпивал в неделю по две склянки пелевского спермина. Но если всмотреться в него хорошенько, то легко было увидеть, что очень многое в нем искусно подделано.

Правый глаз его блестел, как фарфоровый. Зубы все были необычайно белы и ровны. Парик пригнан был великолепно и превосходно расчесан. Морщины на лице были очень искусно растянуты, и кожа притягивалась пружинками, скрытыми под париком. Этот способ растягивания морщин маркиз Телятников узнал лет семьдесят тому назад от военного министра графа Чернышева. Поэтому до сих пор маркиз сохранял благодарную память об этом государственном деятеле.

Для стройности стана маркиз носил корсет. Походка у него была деревянная. При каждом шаге был слышен отчетливый стук каблуками. Движения маркиза были точны и отчетливы, точно каждый жест выделывался машиною.

Маркиз Телятников родился в 1745 году. Ему было только семь лет, когда его, по обычаю того времени, записали рядовым в Семеновский полк. Первый офицерский чин он получил в 1762 году.

В 1782 году он был произведен в генерал-майоры. Чин генерал-лейтенанта маркиз Телятников получил в 1790 году и в генерал-аншефы был произведен в 1797 году. Сенатором маркиз был с 1793 года, а в 1812 году он был назначен членом Государственного совета.

Министром он был несколько раз и занимал почти все министерские посты. Он отлично справлялся и с финансами, и с путями сообщений, и с народным просвещением, и с военным ведомством, и с ведомством иностранных дел; был не самым плохим министром юстиции и превосходным министром внутренних дел. Чего-чего другого, а уж энергии-то, потребной для этого высокого поста, и непоколебимого бесстрашия было у него хоть отбавляй.

Носимый им титул маркиза был капризом императрицы Екатерины Второй. Эраст Телятников был флигель-адъютантом императрицы и ее фаворитом. Хотя фавор его продолжался только семь недель, но и после того милый маркиз не утратил расположения великой государыни. Когда праздновался пятидесятилетний юбилей его состояния в генеральских чинах, маркиз Телятников получил титул светлости. Но он не пожелал именоваться князем, — остался маркизом из благоговения к памяти великой императрицы.

Среди крестьян, бывших крепостных маркиза Телятникова, сложилось о нем немало диковинных сказаний. Эти сказания распространились далеко. Например, говорили, что маркиз давно уже умер, и даже был похоронен, но вышел из могилы, — земля его не приняла, потому что много на нем смертных грехов. Слух этот пошел, должно быть, оттого, что маркиз Телятников время от времени погружался в глубокий сон, подобный смерти.

Так как, по остроумному выражению одного из лиц очень влиятельных, на Россию надвигалась пугачевщина, то маркиз Телятников, как видевший настоящего Пугачева, был облечен громадными,

хотя и не очень определенными полномочиями, и послан в те места, которые казались особенно опасными.

Маркиз Телятников приехал в город Скородож, между прочим, и затем, чтобы повидать Триродова и поговорить с ним по секрету о новых способах сохранения жизни. Маркиз Телятников думал, что у Триродова есть жизненный эликсир. Поэтому в первый же день велел пригласить к нему Триродова на завтрак.

Триродов посетил маркиза Телятникова. В это время маркиз был очень занят: он просматривал бумаги и, чтобы не заснуть над ними, сосал конфекты, привозимые ему ежедневно из Харькова от Пока. Поэтому он принял Триродова несколько рассеянно, поговорил с ним несколько минут, принимая его то за губернатора, то за прокурора, то за испанского посла, и наконец отпустил, не сказавши, зачем Триродов ему понадобился. Но через два дня, к общему удивлению, маркиз отдал Триродову визит.

На этот раз маркиз Телятников был очень внимателен и благосклонен к Триродову. С большим удовольствием обозрел его дом и любовался видами с высокой башни. Они долго разговаривали. Оказалось, что маркиз знавал многих предков Триродова. В долгом разговоре перебрали всю родословную. Вспоминая прадеда Триродова, маркиз Телятников с видимым удовольствием говорил:

— Я и сам — вольтерианец.

Но сейчас же, вспомнив, что дед Триродова был женат на своей крепостной, маркиз с неодобрением говорил другое:

— Белая и черная кость очень между собою различны.

Триродов сказал:

— Простому народу плохо жилось в дни вашей молодости, ваша светлость.

Маркиз строго спросил:

— А теперь ему хорошо жить?

— И теперь плохо, — сказал Триродов, — а тогда было еще хуже.

Маркиз Телятников возразил:

— Где плохо, а где и хорошо. Умный помещик видел в крестьянине рабочую силу и заботился об его благосостоянии.

Триродов сказал:

— Было среди помещиков много жестоких деспотов и насильников. Страшно читать о их зверствах.

— Да, — согласился маркиз, — были звери. А теперь их нет? Вот эти дамочки свирепые, что одна другую кислотою обливают, глаза друг дружке выжигают, маски свои уродуют, — это не звери? Девку на конюшне выдрать или сопернице навек лицо обезобразить — что слаще?

Триродов сказал:

— Да ведь за это теперь и судят.

Маркиз сделал презрительную гримасу.

— Какой это суд! — сказал он. — Оправдывают. Да и в старые годы не одни помещики — и из крестьян были живодеры. Приказчики, бурмистры, старосты больше утесняли мужика, чем господа природные. А теперь кто жесточе всех бьет? Кто детей да жен смертным боем колотит? Погромы кто устраивает? Кто конокрадов до смерти заколачивает? Мужики. Насильников, правда, надо было раньше обуздать. Но и народ рано освободили, и глупо. Без опеки оставили. Разорились все.

Маркиз Телятников подумал и вдруг заявил:

— Кормить голодающих — безнравственно.

Триродов спросил с удивлением:

— Почему, ваша светлость?

Маркиз сказал:

— Кормильцы-то эти одною рукой кормят, другою прокламации раздают. Я это строго-настрого запрещу, все эти фармазонские столовые.

Триродов возражал. Маркиз не слушал, — задумался о чем-то. Тогда Триродов заговорил о своем. Сказал:

— Чиновники здешние меня преследуют.

— Чиновники? Я их презираю, — сказал маркиз Телятников.

Триродов рассказал маркизу Телятникову о том, как администрация решила закрыть его школу и приют. Маркиз выслушал и спросил:

— А детей куда?

Триродов пожал плечами и сказал:

— Не знаю.

Маркиз лаконически промолвил:

— Спрошу.

Триродов спросил:

— Может быть, ваша светлость, найдете возможным сказать, чтобы мне разрешили опять открыть эту школу?

Маркиз Телятников, не задумываясь, сказал так же коротко:

— Скажу.

И вставил кстати свое любимое выражение:

— В России все можно. Надо только все доделывать до конца. Я и от своих подчиненных так требую. Не доделает — покараю, переделает — сильно защищу.

Потом маркиз заговорил о жизненном эликсире. Он говорил:

— Умирать не хочется. Я бы еще пожил. Старость — лучшее время жизни. Живи себе да живи.

Триродов обещал изготовить снадобье для продления жизни. Но сказал:

— Должен предупредить, что я не могу поручиться за последствия.

Маркиз полюбопытствовал:

— А какие могут быть последствия?

Триродов не успел найти достаточно приятной формы для ответа, как уже маркиз догадался. Он лукаво подмигнул Триродову и сказал:

— Прожив с мое, можно и рискнуть. Двух смертей, говорят, не бывает, а одной не миновать.

В тот же день маркиз Телятников вызвал к себе директора народных училищ Дулебова. Спросил его:

— За что вы закрыли школу Триродова?

Дулебов начал было рассказывать. Маркиз не дослушал. Закричал:

— Голышом ходят? И отлично — фанаберий меньше. Теперь всякая мразь на себя нацепит столько, сколько сам со всеми потрохами не стоит.

После недолгого разговора Дулебов вышел от маркиза Телятникова взволнованный и сердитый. Пришлось ему исполнить требование маркиза и написать попечителю учебного округа. Но уже на другое

утро пришла от попечителя телеграмма: по желанию маркиза попечитель разрешал вновь открыть школу Триродова.

Милостивое расположение маркиза Телятникова к Триродову вызвало много толков в городе и весьма подняло престиж Триродова.

В честь маркиза Телятникова Триродов устроил у себя большой бал-маскарад. Он разослал приглашения всем в городе, кто считался принадлежащим к обществу. Срок назначен был для Скородожа довольно поздний — одиннадцать часов вечера.

Стемнело. Взошла луна. Стали сходиться и съезжаться. Все приглашенные пришли, — всем любопытно было увидеть, что таится за высокими стенами триродовской усадьбы.

Приглашенные не знали, что крепки запоры этой усадьбы и что они увидят только то, что хозяин захочет им показать. Да и хозяин не знал, что пускать их все же не следовало. Пусти в дом чужих — и разрушат дом, камня на камне не оставят. Сперва придут — посмотрят, потом придут — разрушат.

Прежде всех приехали из дома Рамеевых — отец, Елисавета и Елена, Петр и Миша Матовы и мисс Гаррисон. Все они были в одинаковых красных домино и в черных полумасках.

Потом стали собираться костюмированные гости из города. Лица у всех были закрыты масками. Все молча под звуки музыки ходили по комнатам, и почему-то всем было жутко.

После других, около полуночи, появились новые гости, еще более молчаливые, холодные и покойные. Но совсем не печальные. Только очень углубленные сами в себя были они. Это были мертвые. Живые не узнавали их. Жизнь живых в этом городе мало чем отличалась от горения трупов.

Выходцы из кладбища входили в потайную дверь. Они смешивались с другими гостями. Жители Скородожа осматривали каждого из них, принимая их за своих и стараясь угадать, кто это.

Одна Елисавета сразу поняла, кто эти гости. Почуяла запах ладана и тления.

Елисавета подошла к Триродову. Он понял, что ей страшно. Она спросила:

— Кто они, эти?

Триродов спокойно сказал:

— Ты знаешь сама.

Елисавета спросила с укором:

— Зачем ты их позвал?

Триродов сказал:

— Чем эти хуже тех, пришедших из города?

— Но зачем, зачем?

— Я созвал живых, — сказал Триродов, — и они мертвы; и мертвых позвал я, — и они живы не менее живых. И сильнее живых. В наши дни только мертвые владычествуют. Кто хочет узнать живых, должен призвать мертвых.

Елена ничего странного не замечала. После первых минут неловкости ей стало весело. Она танцевала охотно со всеми, кто ее приглашал, с живыми и с мертвыми кавалерами. И те и другие были одинаково неостроумны.

Петр уныло ходил по залам и жаловался на духоту и на безвкусие костюмов. Встретив двух учителей, Бодеева и Воронка, он принялся ожесточенно спорить с ними, доказывая, что народ хочет не реформ, а душевного очищения.

Две покойные барышни чинно сидели рядышком на стульях и ритмично помахивали кружевными веерами. Елисавета подошла к этим барышням. Спросила:

— Что нарушило ваш покой? Зачем вы сюда пришли?

Они враз ответили:

— Нас позвали.

— Зачем же вы приняли приглашение?

— Нас послали.

— Отчего же вы не танцуете?

— Еще нас не пригласили.

Жербенев, длинный, прямой и важный, заметив, что барышни сидят и не танцуют, подошел к ним и танцевал сперва с одною, потом с другою.

Гремела музыка. Сплетались и расплетались цепи танцующих. Живые разговаривали между собою мертвыми словами, обменива-

лись мертвыми мыслями и делали то, что свойственно мертвецам. Живые были похожи на мертвых, и слова их звучали так же мертво:

— Мне все равно!

— Наплевать!

— Не мое дело.

— У меня белая кость.

— У меня черная, да крепче твоей.

Высокий человек в черном домино откинул с головы капюшон и снял маску — ему стало жарко. Елисавета увидела мрачное, худое лицо с горящими глазами; узнала врача Тумарина, искусного терапевта, большого любителя играть на скрипке. Елисавета подошла к мрачному врачу и спросила:

— Ведь вы, доктор, кажется, живете на одном дворе с полковницею Пилипонкиною?

Густым басом ответил Тумарин:

— Да, уж соседство! Шельма!

— А что? — спросила Елисавета.

Тумарин говорил:

— Пьет, подлая, как сапожник.

Елисавета пожалела вдову Пилипонкину:

— Бедная!

— Тварь! — сказал Тумарин. — Напьется, и ну своих мальчишек розгами драть. Мерзавка!

— А вы не заступитесь? — спросила Елисавета.

Ее мрачный собеседник угрюмо ответил:

— А мне какое дело!

Елисавета с удивлением сказала:

— Ну как же какое дело! Разве вам не жаль мальчиков?

Тумарин сердито крикнул:

— Мое дело — сторона. Я — не доносчик!

И он поспешно отошел от Елисаветы. Почтовый чиновник, стоявший рядом с Елисаветою, подмигнул на него и сказал:

— Ему некогда — все новые лекарства вычитывает.

Елисавета посмотрела на него внимательно, — живой, знакомый. Он говорил:

— Теперь везде новости, публика реформ требует. И у нас новости — ящики-то почтовые уже не зеленые, а желтые будут.

Жена Триродова первая пришла. Она не прятала своего лица под маскою, как другие, и была она милая и светлая. Как легкий воздух небытия легка была ее белая одежда.

Елисавета узнала ее. Они говорили долго.

А другие мертвые были так же страшны, как и живые. И так же порою были странны и жутки их встречи. Вспыхивала порою меж ними старая вражда, — но уже бессильная. И любовь, утешая, зажигалась порой, — но бессильна была и любовь.

Мертвые разговаривали в тон живым. Между живыми и мертвыми не было отчуждения. Понимали друг друга и сочувствовали. Большая успокоенность, пристроенность и довольство мертвых вызывали зависть живых.

— У меня место покойное.

— А вот я все не могу устроиться.

Молодой купец Водя Леев выискивал из замаскированных тех, которые казались ему незнакомыми и молодыми, но приличными и любящими выпить. Он объяснял им свои достоинства и усердно упрашивал молодых покойников:

— Сделайте мне визит, убедительно вас прошу. Мой адрес — Косынкин тупик, собственный дом Владимира Епифановича Леева.

Водя Леев любил принимать гостей.

Маркиз Телятников узнал многих своих давно покойных друзей. Для них он пел старые романсы. Старческий голос его был еще силен и довольно приятен. Триродов несколько раз уговаривал его поберечь свое здоровье. Но маркиз, радуясь встрече с друзьями, восклицал:

— Я на сто лет помолодел!

Высокий старик в черном балахоне, из-под которого виднелись сапоги со шпорами, и в бархатной черной полумаске, подошел к Глафире Павловне Конопацкой. Спросил ее:

— Ну что, Глафира, как поживаешь? Все по-прежнему мила? Все по-прежнему порхаешь?

Глафира Павловна вздрогнула от какого-то жуткого чувства. Вслушалась в слова своего собеседника. Сказала:

— Что-то знакомый голос. Точь-в-точь мой покойничек муж.

Покойный генерал Конопацкий ответил:

— Это я и есть.

Глафира Павловна принужденно засмеялась. Хлопнула покойника веером по плечу. Воскликнула с приемами стареющей шалуньи:

— Ха-ха! Шутник! Да разве вы его знали?

Надежда Вещезерова, проходя мимо, сняла маску и сказала:

— Да это он сам и есть.

Конопацкая сердито проворчала:

— Дерзкая девчонка.

Посреди маскарада Триродов куда-то исчез. Все изменилось. Все стало призрачно, и тускло, и бездушно. И свет свеч словно поблек. Музыка звучала глухо, и танцующие двигались медленно. Елисавете стало страшно.

Рассказы мертвых развлекли ее.

Мертвый рассказывал историю своей болезни.

— И тогда я умер, — сказал он.

Вокруг смеялись.

Конец маскарада был очень странен и напугал многих. Маркиз Телятников собирался петь тридцать третий раз. Триродов подошел к нему и сказал настойчиво:

— Ваша светлость, вам положительно вредно так утомляться.

Маркиз зашипел от злости.

— Я должен спеть для очаровательной графини, по крайней мере, еще один романс.

Графиня, когда-то очаровательная, кокетливо улыбалась. Ее поблекшее лицо было все еще мило, и покрытые морщинками руки двигались томно и грациозно, колебля белый веер. От ее обаятельных взоров маркиз таял.

Он дребезжащим голосом запел романс, — и вдруг погиб маркиз, рассыпался. Куча серого песка, шурша, осыпалась на том месте, где

за минуту до того стоял маркиз. Это было так неожиданно, что не все даже успели испугаться. Иные подумали, что это — чей-то ловкий фокус, — и засмеялись.

Новый исправник быстро сообразил, что произошло событие исключительной важности. Он свирепо закричал:

— Что за беспорядок! Что это у вас делается, господин Триродов? Потрудитесь немедленно же прекратить это безобразие.

— Маркиз рассыпался, — говорил кто-то.

— Протокол! — раздался чей-то крик.

Триродов сказал спокойно:

— Маркиз умер естественною смертью. Конечно, это очень прискорбно, но в почтенном возрасте маркиза вполне естественно. Я предупреждал маркиза, что ему вредно так утомляться.

Исправник смотрел на него свирепо и кричал:

— Это вы называете естественною смертью? Но мы разберем, чем вы его разорвали. Не извольте думать, что вы один химик. И кроме вас химики, и физики найдутся, и ученые метафизики, и алхимики. Эксперты сумеют добраться до первопричины всех причин, не извольте вам беспокоиться.

Появилась вдруг целая толпа полицейских. Составили протокол.

Гости быстро разошлись. Только мертвые не уходили. Их час покоя еще не настал. Они толпились по углам и шушукались шелестинными голосами. И, наблюдая за ними, осталось несколько шпионов. Думали, что эти запоздавшие злоумышляют и что надобно выследить их, узнать их адресы. Но на этот раз шпионы были одурачены, — последние гости сумели уйти незаметно.

## Глава восемьдесят девятая

В европейских газетах появился длинный ряд насмешливых заметок и статей о кандидатуре Георгия Триродова на престол Соединенных Островов. Парижские фельетонисты со свойственным им легким и бойким пустословием пустили в ход несколько почти

забавных острот о Георгии Триродове, годных на то, чтобы их повторяли на бульварах.

Потом появился целый ряд карикатур на Триродова. Рисунок Леандра перепечатали во многих газетах. Об этом рисунке было много разговоров. Триродов был изображен похоже, но очень уродливо: тощий вырожденец, с голою головою, со впалыми щеками, с криво торчащим на носу пенсне. Этот рисунок был для Триродова недурною рекламою, — европейская цивилизация уже приучила людей думать, что ценно только забавное и смешное и что все серьезное скучно и ненужно.

В венском юмористическом журнальчике изображен был Триродов, стоящий перед письменным столом редактора русской газеты. У Триродова было красное пьяное лицо. На нем были высокие смазные сапоги, красная кумачовая рубаха и высокая мерлушковая шапка. Редактор смотрел на Триродова с величайшим удивлением. Под рисунком был напечатан диалог:

Редактор. — Какой вы желаете получить гонорар за ваши стихи?

Поэт. — По короне за строчку.

У немцев из этого выходил каламбур.

Триродов сделался очень популярен. Имя его повторялось так же часто, как имя осужденной недавно женщины, которая подговорила своего нового любовника убить своего бывшего любовника.

На всю Европу поднялся неистовый гам. Выступление Триродова стало очередным скандалом дня, как в ресторанах бывает дежурное блюдо по сезону. В маленьких театриках и в кабачках распевались песенки о Триродове и ставились фарсы, где фигурировал Триродов, иногда один, а иногда и вместе с нашумевшим незадолго до того императором Сахары. Сравнивали и находили, что Триродов интереснее и забавнее.

В газетных листках тема о Триродове стала каждодневною.

Три парижские драматурга проворно написали глупый, но смешной фарс о Триродове; этот фарс шел ежедневно два года подряд и обогатил авторов. Немецкий популярный композитор написал оперетку, где главным действующим лицом был Триродов.

По странному капризу надменного чувства, жителям государства Соединенных Островов не понравились насмешки над человеком, пожелавшим занять их престол. Эти насмешки даже оскорбили многих.

Социалистическая газета умеренного толка «Труды и дни» приняла вызов европейской печати. Редактор этой газеты был возмущен наглостью европейских журналистов. Он поместил большую, горячую статью за Георгия Триродова. «Труды и дни» писали: «Понимают ли европейские журналисты, люди пера, люди личного труда, над чем и над кем они смеются? Над тем, что один из их цеха, один из работников печати, один из служителей царственной мысли и державной мечты выступил притязать на королевский престол? В таком случае, не вправе ли мы сказать, что эти странные люди смеются сами над собою? Не слышится ли в их насмешках общего их признания в том, что мы все, не происходящие от венчанных глав, составляем низшую, худшую породу людей?»

По этому поводу газета припоминала анекдот о камергере. Некий камергер, услышав рассказ о любовной связи принцессы с дворянином, сказал:

— Я не могу этому поверить. Это было бы противоестественно.

— Почему? — спросили его.

— Потому, — отвечал камергер, — что для принцессы это то же, что для нас скотоложство.

«Вы, буржуа и аристократы, — говорилось дальше в этой статье, — хотите подать свои голоса за принца Танкреда, честолюбивого авантюриста, готового вовлечь нашу страну во все жестокие бедствия войны. Это — ваше дело и ваше несомненное право. Но уж если надо, чтобы еще некоторое время наши Острова носили титул королевства и чтобы некоторые бумаги подписывал человек, именуемый королем, то мы предпочтем выбрать на эту высокую должность Георгия Триродова, литератора, человека без державных предков, такого же, как и каждый из нас».

Этою статьею редакция «Трудов и дней» первая начала агитацию за Георгия Триродова.

В центральном комитете социалистов был долгий разговор о Триродове. Ввиду привычки значительной части народа к монархическим идеям возник вопрос, не будет ли для социал-демократии избрание Георгия Триродова меньшим из зол. Социал-демократы начали серьезно обсуждать свое отношение к кандидатуре Георгия Триродова. Они решили наконец завязать личные сношения с Триродовым.

В журнале Филиппа Меччио появилось несколько писем Триродова в ответ на запросы нескольких пальмских общественных деятелей. Крупная буржуазия увидела в Триродове своего врага. Европейская демократия начинала ему сочувствовать. Мечтательные дамы и барышни им заинтересовались.

В продаже появились портреты Георгия Триродова. Потом стали продаваться медальоны с его портретом. На разных языках печатались переводы его книг. Это еще более привлекло к нему внимание читающей части публики — молодежи и дам.

Агитация за Триродова разгоралась. Буржуазная же пресса жестоко обрушивалась на Триродова и на его защитников.

Первый министр ни разу не высказал своего мнения о кандидатуре Триродова. Его настойчиво, но напрасно спрашивали об этом. Когда Виктор Лорена находил, что необходимо ответить, он отвечал многословно, но неопределенно. Он говорил:

— Обязанность главы правительства во время междуцарствия вполне ясна. Он перестает быть только министром, он в себе олицетворяет внепартийного блюстителя конституции. Народ изберет себе короля. Перед народным избранием мы все преклонимся, потому что это будет свободное изъявление народной воли. Каждый из нás подаст свой голос. Мы же, стоящие у власти, не дадим повода сказать, что произвели давление на совесть и на волю избирателей.

Своей жене Виктор Лорена говорил:

— Георгий Триродов для нас выгоднее, чем принц Танкред, потому что у Танкреда сильные связи, а у Георгия Триродова одни только фантазии. Как я и предполагал с самого начала, за Триродовым никто

не стоит. Даже и не понимаю, как могла у многих возникнуть мысль, что его кто-то поддерживает. Люди, которых кто-нибудь выдвигает, не станут сами писать письма о своем желании быть выбранными. Никого за ним нет, и весь смысл его появления в том, чтобы сбить с места принца Танкреда. А затем мы его преспокойно уберем, этого русского поэта.

Из заграничных газет и из телеграмм «собственных корреспондентов» в русские газеты узнали и в России о том, что Триродов выступил кандидатом на свободный престол Соединенных Островов. Печать в России говорила о затее Триродова с диким глумлением. Русские газеты и журналы, казалось, старались в брани и в насмешках над Триродовым превзойти заграничные органы печати. Разница была только в том, что за границей старались придумать насмешки поостроумнее, в России же просто истощали богатые запасы бранных выражений. Как всегда о литераторах в России, и теперь Триродова поносили так, как не поносили бы его, если бы он совершил десятки гнуснейших преступлений.

Общество в России осуждало эту кандидатуру Триродова с тупым недоумением и со злостью. С насмешкою и с презрением говорили:

— С чего это он выдумал?

— С какой это стороны он похож на короля?

— Он командовать ротою не сумеет, — какой же он король?

— Разве он женат на принцессе?

— Он воображает, что быть королем легче, чем читать лекции и писать стихи.

— И почему же именно он вдруг выскочил?

— Самолюбие дурацкое в нем заговорило.

— Это он привык над своими ребятами командовать, думает — самое простое дело сидеть да распоряжаться.

— Просто рекламу себе захотел сделать. Видит, что никто не читает его чепушистых стихов, — дай, думает, я выкину штуку, чтобы все на меня обратили внимание.

Люди уж очень завистливые говорили:

— Этак и всякий может.

— Особенно у кого генеральский чин.

— Или большие деньги.

— Или сильная протекция.

— А я чем хуже?

Очаровательная Иеремия Загогулина говорила мужу:

— Дурак, зеваешь. Тебя все знают, а его никто. А теперь его все будут знать, а ты сидишь, молчишь, ничего не делаешь. Хоть бы в албанские короли попытался или к малисорам в воеводы. Ездил же Гучков к бурам! А у тебя и борода чернее, и сюртук сидит лучше, и лицо преступное, и глаза порочные, и все это пропадает даром.

Узнали, конечно, и в Скородоже о том, что Георгий Сергеевич Триродов заявил притязания на королевскую корону. Одни тупо дивились, другие смеялись, третьи сердились. Многие почему-то ужасались дерзости Триродова.

Почтовый чиновник Канский, принимавший заказное письмо Триродова к Виктору Лорена, несколько недель ходил сам не свой. Он был уверен, что его и его жену выгонят со службы. Товарищи смотрели на него с суровым презрением. Начальник почтовой конторы, очень добрый человек, думал о нем с грустью, покачивал головою и шептал:

— Жаль, жаль! Хороший чиновник, исполнительный. Жена, дети! Что поделаешь! От сумы да от тюрьмы никто не отрекайся.

Бойкая почтовая барышня, сидевшая у продажи марок, в нарядной блузке, причесанная модно, с быстрыми глазками и со звонким тонким голоском, прозвала горемыку королевским почтмейстером. Кличка принялась, и бедняга не смел обижаться. Скоро уже и в городе все знали королевского почтмейстера.

Жена королевского почтмейстера, телеграфиста, плакала с раннего утра до поздней ночи, даже и на дежурствах. Лицо у нее распухло от слез, и нос на всю жизнь остался красным. Она говорила мужу:

— Пропала твоя головушка из-за этого аспида. И меня, и детей пустишь по миру. Ох, горе мое горькое! Да и на людей-то я не глядела бы! И зачем я с тобою детей наплодила! И для чего я за тебя замуж выходила! Лучше бы мне и на свет не рожаться!

Дети королевского почтмейстера, девочка и мальчик, сначала были по-прежнему беспечны и шаловливы. Их мать пришла от этого в ужас:

— В доме такое горе, а вы в гулючки играете! Да хорошие бы дети на вашем месте, видя, как отец с матерью убиваются, никогда бы не усмехнулися. Да хорошие бы дети слезами обливалися, а мои-то ироды злосчастные!

И она нещадно колотила и девчонку, и мальчишку. Детишки притихли. Они живо похудели, стали дикими и взъерошенными. На дворе они жались в сторону от других детей, да и на двор их выпускали редко. Дома они сидели на стульях рядышком, молча, вытаращив ошалелые глазенки, вытянув вперед ножонки. Стоптанные башмачки порою валивались на пол с их исхудалых ножонок. Мать глядела на них и плакала.

Не вытерпев всего этого горя, королевский почтмейстер задумал утопиться. С мужеством отчаяния решился он перед смертью просить у начальства какой-нибудь милости для жены и для детей. Он пошел к начальнику почтово-телеграфного округа и повинился в своем поступке.

Моложавый, веселый господин в форменном сюртуке с коваными погонами, на которых красовалось по две крупные звездочки из блесток, выслушав рассказ королевского почтмейстера, долго смеялся. Он сказал:

— Какой вы наивный, господин Канский! За это вам ничего не может быть. Вы так же мало ответственны за это, как почтовый ящик, в который опускают письма. Идите с миром и ничего не бойтесь.

В тот вечер в доме королевского почтмейстера было великое ликование. Позвали гостей, сделали ужин, до утра играли в карты. Пришел сам начальник почтово-телеграфной конторы. Над королевским почтмейстером дружелюбно подшучивали. Сам же он до того осмелел, что когда изобретательница его титула позвала его зачем-то:

— Эй вы, королевский почтмейстер! — то он ответил ей:

— А ты — почтовая стрекоза.

И все очень много смеялись этому, и с того вечера бойкая барышня стала именоваться почтовою стрекозою, на что она и не сердилась.

## Глава девяностая

Знакомые Триродова, со свойственною жителям Скородожа грубою откровенностью, подсмеивались над Триродовым прямо в глаза. Говорили ему со злыми усмешечками:

— Королем будете, так меня министром назначьте.

— А меня смотрителем дворца.

— А мне дайте какую-нибудь тепленькую должность, где можно руки погреть.

Триродов холодно улыбался и спокойно отшучивался.

Друзья Триродова были смущены этою кандидатурою и всячески старались отговорить его.

Много разговоров на эту тему пришлось Триродову вести с Рамеевым.

Кирша говорил отцу:

— Когда тебя выберут королем, ты все здешнее оставишь? Как же так?

Триродов улыбался и говорил:

— Разве ты, Кирша, не знаешь, что у человека на земле нет и не может быть прочного дома?

Елисавета говорила Елене:

— Не жду я добра от этой его затеи.

Елена советовала:

— А ты его отговори.

Елисавета печально говорила:

— Теперь уже поздно.

Но мечты о счастливой природе Островов, как дальнее, милое воспоминание, все чаще и чаще соблазняли ее. Малый рассудок

ее тщетно боролся с великим разумом, голосом непреклонной судьбы.

Русские власти долго не могли решить, как следует отнестись к кандидатуре Триродова. Пока стали наводить справки. Началась длинная переписка, — секретная, конечно. Завязалась и дипломатическая переписка. Тогда решили, что надо попытаться прекратить скандал в самом начале.

К Триродову командировали для объяснений скородожского вице-губернатора, который к тому времени оправился от ран. Он был на очень хорошем счету, и его не назначали еще пока губернатором только потому, что, считая его выдающимся администратором, не хотели совать на первую открывшуюся вакансию.

Вице-губернатор боялся ехать мимо тех кустов, из которых в него стреляли. Поэтому он отправился к Триродову по реке, в моторной лодке, окруженный вооруженными полицейскими.

И вот Ардальон Борисович сидел в гостиной Триродова и смотрел на Триродова с тупою важностью. Золотая оправа его очков блестела, щеки были румяны, как прежде, и только на голове кое-где видны были белые волоски. Он важно спрашивал:

— На каком основании вы изволили выставить вашу кандидатуру на королевский престол?

Триродову было скучно и досадно вести этот совершенно ненужный разговор. Хотелось поскорее кончить его. Резко и холодно он спросил:

— А вам-то что, Ардальон Борисович?

— Надо было испросить надлежащее разрешение,— сказал вице-губернатор.

Он говорил это с такою забавною серьезностью, что Триродов невольно улыбнулся. Он возразил:

— Нет, Ардальон Борисович, в этом не было никакой надобности.

Вице-губернатор важно и тупо говорил:

— Как же это вы говорите, что нет надобности! Это вы вздор говорите. Спрашивать разрешение всегда и на все надобно. Всякий

станет делать, что захочет, так никакого порядка не будет. Вы вводите правительство в затруднение.

— Не вижу, какое тут затруднение для правительства, — возразил Триродов.

— Международный вопрос, — сказал вице-губернатор.

На его угрюмом лице отразился какой-то странный страх. Он говорил важно и уныло:

— Вы тут петли путаете, а там распутывать приходится. Вы не знаете политики, думаете, что все пустячки. Так нельзя. И без вас забот много. Публика волнуется. Адвокаты разные партии придумывают, нелегальные, тоже без разрешения хотят. Революционеры заставляют рабочих бастовать, а не то, говорят, мы ваши семьи вырежем. Рабочие и не хотят, да бастуют. Крестьянам тоже все земли мало. Да еще все в короли захотят, так нам житья не будет.

Триродов молчал и рассеянно глядел в окно. Вице-губернатор, помолчав немного, сердито сказал:

— Мы объявим, что вы действуете на свой страх.

Триродов холодно возразил:

— Это — ваше дело. Притом же это будет согласно с истиною. Вам сразу же поверят.

Вице-губернатор говорил угрюмо:

— В случае чего, вы не рассчитывайте на нас. Правительство вас не поддержит. Заварили кашу, сами и расхлебывайте.

Триродов холодно возразил:

— Я не прошу и не ищу ничьей поддержки.

— Вы должны понимать, — говорил вице-губернатор, — что вы не имеете никакого права. Это — дело государственное.

Триродов сказал с улыбкою:

— Государственное, это верно, — да только не нашего государства. Имею я право или нет, — уж в этом разберется население Соединенных Островов. Если окажется надобность, так дипломаты и юристы разберутся в том, что мне и другим следует сделать.

Вице-губернатор угрюмо сказал:

— Мы от вас отберем подписку, что вы обязуетесь прекратить эту вашу агитацию.

Триродов посмотрел на него с удивлением. Сказал, улыбаясь:

— Как же это вы отберете? Я вам не дам такой подписки.

— Вы обязаны дать.

— Да не дам.

— Ну так мы вас вышлем из России.

Триродов возразил:

— Это мне ничуть не помешает.

Вице-губернатор встал. Сказал очень сердито:

— Ну прощайте. Я вам сказал, что надо. Будете упорствовать, вам же хуже будет.

Триродов весело засмеялся. Сказал:

— Как, Ардальон Борисович, вы уже кончили? Это и все? За тем вас ко мне и посылали?

Вице-губернатор спросил:

— А что же еще?

Триродов говорил:

— Вашею целью было убедить меня отказаться от этой кандидатуры, не так ли? Убедить, не правда ли? Но я ведь не слышал от вас ни одного аргумента убедительного. А может быть, я бы и согласился бы с вами, если бы вы сумели меня убедить. Ведь вы — бывший педагог, стало быть, должны владеть искусством убеждения. Попробуйте.

И Триродов опять засмеялся. Вице-губернатор сердито закричал:

— Вы не имеете права надо мною смеяться! С вами говорит не какой-нибудь щелкопер, а скородожский вице-губернатор, действительный статский советник Передонов! Я вам дело говорю, а на аргументы мне наплевать. За мною не аргументы, а высокий авторитет власти, — непреложный авторитет.

Лицо Триродова опечалилось. Он тихо сказал:

— Авторитет власти должен иметь разумные основания. Власть, не умеющая себя оправдывать, не должна существовать.

Вице-губернатор покраснел от злости. Он рычал свирепо:

— Разумных оснований захотели? Власть опирается на силу — вы это слышали? О волевых импульсах слышали? Кузькину мать знаете? Власть — этим все сказано. Нет, серьезно вам говорю, бросьте эту вашу затею. А пока имею честь кланяться. Мне разводить аргументы некогда, я не химик и не ботаник.

Вице-губернатор торопливо сунул руку Триродову и быстро вышел.

Наконец влиятельные члены демократического кружка, группирующегося вокруг редакции «Труды и дни», решительно высказались за то, чтобы кандидатура Георгия Триродова была поставлена. Этим они увлекли и других. Многие повторяли слова доктора Эдмонда Негри:

— Как в древности поэты требовали себе лаврового венца, так этот смелый человек потребовал себе короны.

Некоторые из социал-демократов выразили принципиальное согласие не противиться этой кандидатуре. Другие говорили, что надобно ознакомиться с Триродовым более обстоятельно.

И скоро уже осталось только две партии. Аристократия, аграрии, капиталисты, крупная буржуазия стояли за принца Танкреда. Все демократические партии решили поддерживать кандидатуру Георгия Триродова. Здесь думали, что несменяемый король обойдется народу не дороже президента республики, а так как за ним не будет стоять партия, из среды которой выходит президент, то его власть будет совершенно призрачна, и все его значение сведется к представительству и к подписыванию бумаг.

В некоторых местностях возникла мысль выбрать королем Филиппа Меччио. При его популярности он, по всей вероятности, был бы избран.

Афра уговаривала Филиппа Меччио согласиться. Но он решительно отказался. Он говорил:

— Мое прошлое меня обязывает. Пусть надевает на себя корону этот русский поэт, для которого мечта краше убеждений. Дело моей жизни — работать над уничтожением в человечестве самой воли к власти.

Афра сказала:

— Но ведь того же хочет и этот русский, если верить его письмам.

Филиппо Меччио воскликнул:

— Византийское лукавство! Я не хочу, чтобы меня могли упрекнуть в этом.

Популярность Георгия Триродова возрастала неожиданно быстро.

Скоро Виктор Лорена стал догадываться, что его расчеты, связанные с кандидатурою Георгия Триродова, оказались ошибочными. Он говорил жене, досадливо морщась:

— Кажется, я выпустил беса себе на беду, — на беду нам всем, кому дороги священные принципы свободы, равенства и братства. Оппозиция, боюсь, перехитрила меня. Они не боятся короля, у которого нет никаких корней в стране, и рассчитывают вертеть им, как хотят. Отказавшись же от республики и выставивши со своей стороны кандидата в короли, они думают уловить в свои сети все это колеблющееся большинство, для которого и Танкред, и республика одинаково неприятны, но которое голосовало бы, волей-неволей, за Танкреда. Боюсь, что с этим коварным планом будет нам много возни и неприятных хлопот.

И уже Виктор Лорена стал раскаиваться в том, что не бросил тогда под стол первого письма от Георгия Триродова.

Принц Танкред, подобно многим, сначала потешался над внезапною кандидатурою Георгия Триродова. Он думал, что это — глупая выходка, не имеющая никаких шансов на успех, и что Виктор Лорена опубликовал письмо Триродова напрасно. Он говорил своим друзьям:

— Возбуждать смех по поводу избрания в короли бестактно. Это дискредитирует монархическую идею. Виктор Лорена — сущий мещанин и при всех своих достоинствах кое-чего не способен понять.

Но мало-помалу принца Танкреда начала беспокоить агитация за Триродова. Скоро уже самое имя Георгия Триродова приводило его в раздражение.

Наконец после одного шумного митинга в Пальме, на котором была принята резолюция за Георгия Триродова, принц Танкред посетил Вик-

тора Лорена. Видно было, что принц сильно раздражен. Он осыпал Виктора Лорена упреками. Говорил сердито:

— Вы придумали какого-то выскочку. Совершенно не понимаю, для чего! Я нахожу это бесцельное возбуждение умов совершенно неуместным.

Виктор Лорена холодно ответил:

— Ваше высочество, вы ко мне несправедливы. Я никогда ни полслова не слышал об этом Георгии Триродове. Для меня он и до сих пор такой же таинственный незнакомец, как и для всей Европы.

Виктору Лорена было досадно. Он находил, что принц Танкред чрезмерно надеется на свое избрание. Кроме того, Виктору Лорена не нравилась та организация интриг и шпионства, которою окружил себя принц Танкред.

Кандидатура Триродова, самовольно поставленная им, все более не нравилась и в столице. Министерство боялось осложнений с другими державами из-за Триродова. Министр иностранных дел был озабочен тем, что думают министры других государств. Он послал им письма, где очень красноречиво объяснял, что правительство совершенно непричастно к этой авантюре.

Появилось и правительственное сообщение в том же смысле.

## Глава девяносто первая

Центральный комитет пальмской социал-демократической партии вошел в переписку с Триродовым. Началась эта переписка тем, что обратились к Триродову с письменным запросом. Письмо было составлено сообща с синдикалистами. Редакция его вызвала большие споры, но наконец сошлись.

Вслед за тем письма Триродова по разным вопросам стали появляться в «Трудах и днях». Триродов определенно высказывался за социализацию земли, жилищ и орудий производства; говорил о тех

реформах, которые, по его мнению, должны быть произведены в первую очередь.

Шансы на избрание Георгия Триродова становились все серьезнее. Печать переменила тон. Уже богатые буржуа переставали давать деньги на агитацию за принца Танкреда.

Буржуазия давно уже возмущалась любовными похождениями Танкреда. И даже не этими похождениями, а их огласкою. Лицемерные буржуа, больше всего дорожившие внешними приличиями, находили, что безнравственность принца особенно сказывается в его нежелании окружить полною тайною свои похождения. Они думали и говорили так:

— В своей частной жизни делай что хочешь. Но если тайны личной жизни делать достоянием улицы, то это уже скандал и оскорбление добрых нравов. И, кроме того, это показывает, что нисколько не дорожат нашим мнением.

Значительная часть буржуазии стала склоняться к мысли избрать королем Георгия Триродова. В этой среде стали думать, что иностранец, незнакомый с местными делами и отношениями, не будет влиятелен и что его правление будет ничем не отличаться от республики.

Провозгласить республику не хотелось осторожным буржуа, — монархические привычки были еще сильны в обществе и в народе, и республика была бы, пожалуй, непрочною формою правления. Но уж если надо из двух зол выбирать меньшее, то Георгий Триродов казался безопаснее, чем властный, честолюбивый и влиятельный принц Танкред. Планы же Георгия Триродова казались тем более безопасны и неосуществимы, чем они были радикальнее.

Под влиянием таких соображений усилились разговоры о любовных похождениях принца Танкреда. Прежде буржуазия поощряла распространение в народе листков и брошюрок с восхвалениями принца Танкреда. Теперь из той же среды пролились в села и в города памфлеты против принца с описаниями его любовных авантюр. И в народе заговорили о безнравственности принца Танкреда. Дурному охотно верят, даже и тогда, если это правда (хотя охотнее люди верят лжи).

Стал изменяться и тон европейской печати.

В Пальме и в других городах назначены были митинги для обсуждения кандидатуры Георгия Триродова. Произносились речи за Триродова и против него. Наконец официально была поставлена кандидатура Георгия Триродова комитетом пальмских граждан.

Принц Танкред был в бешенстве. Грозил Виктору Лорена, что уедет из Пальмы, и пусть выбирают кого хотят. Виктор Лорена пожимал плечами и говорил:

— Что же я могу сделать! Все равно этот кандидат не имеет никаких шансов, и державы его не признают.

Филиппо Меччио от социалистов и Эдмондо Негри от синдикалистов, каждый с двумя товарищами, поехали к Триродову.

Россия произвела на них сильное и смешанное впечатление. После Парижа Петербург казался великолепным и просторным, но все же глухим захолустьем, населенным грубыми мужиками и бабами.

Летом Триродов и Елисавета венчались в церкви около села Просяные Поляны. Их венчал священник Закрасин. Он говорил не то грустно, не то радостно:

— Последнюю свадьбу венчаю.

Ему приходилось «снять сан», — епископ Пелагий объявил ему, что чаша его долготерпения истощилась.

Когда уже собирались выходить из церкви, началась гроза. Триродов и Елисавета остановились в дверях храма и смотрели на великолепную картину стремительной грозы. Глядя при беглом фиолетовом озарении молний на побледневшее лицо Елисаветы, Триродов сказал:

— Гроза предвещает нам бурное будущее.

Елисавета сказала:

— Голосами бурь говорит тот, кто не любит безмятежного счастия, кто не хочет его для людей.

В это время послышалось быстро приближающееся, мокрое по лужам дребезжание колес, и из-за поворота дороги показалась бричка. Возница, безусый испуганный паренек в желтой куртке и блестя-

щей от дождя шапке, нещадно хлестал пару своих мохнатых лошадок. В повозке сидел, подпрыгивая и сгибаясь под большим черным зонтиком, священник. С зонтика лились, отгибаясь по ветру назад, серебристо-серые струи воды.

За бричкою так же бешено неслась телега, из которой торчали во все стороны мокрые бороды, бурые руки и смазные сапоги. Слышались, разрываемые ветром, сердитые крики.

Бричка остановилась у паперти. Священник проворно выскочил и взбегал по ступеням, как-то вприсядку, отряхиваясь. Лицо его было бледно от страха.

Это был здешний священник, отец Матвей Часословский. Он бормотал, здороваясь с Триродовым:

— Темнота народная. Еле душу спас.

Подкатила и телега. Мужики, слегка подвыпившие, вывалились из нее, шлепнувшись прямо в лужу. Они смотрели с досадою и с недоумением на отца Матвея и ругали то отца Матвея, то свою лошадь, которая тяжело водила мокрыми боками. Один из мужиков, весь серый, говорил:

— Ну, счастлив ты, батя! Здорово бы мы тебя взлупили. Накось, что вздумал, — под нового царя подписывать захотел!

Отец Матвей говорил дрожащим голосом:

— Неразумные! Я вам верноподданнический адрес давал подписать, государю.

Мужики смеялись. Их оратор говорил:

— Брешешь, батя. Мужик сер, да разум у него не волк съел. Ты с господами заодно. Хотел подписать нас под нового царя, который нам земли не даст.

Отец Матвей уговаривал их:

— Братцы, да вы в бумагу посмотрите, чье имя там.

Мужики смеялись.

— Бумага твоя нам ни к чему, мы ее разорвали, а ты нас не обманешь.

Отец Матвей держался за церковную дверь. Старый мужик сказал:

— Ну мы тебя попугали довольно, а трогать тебя не будем. В поле не догнали, твое счастье, а в церкви не тронем. Иди, служи нам молебен.

Шум, поднятый около имени Триродова, заставил обвинительную власть обратить на Триродова особенное внимание. Прокурор окружного суда с ожесточением говорил:

— В короли захотел, — а вот мы его в тюрьму сначала посадим.

Благосклонность маркиза Телятникова смутила его; но когда маркиз рассыпался, над головою Триродова опять стали собираться тучи. Прежде всего началось дело из-за самовольного разрытия могилы. В то же время возникли против Триродова и другие обвинения. Следователь Кропин стал подозревать Триродова в убийстве исправника и не сомневался, что он виновен и в разрушении маркиза Телятникова. В этих подозрениях укрепляли его показания Острова.

Судебный следователь Кропин был худой, маленький, черный, с лохматыми волосами. Он сильно заикался. Может быть, оттого он был такой злой. У него были злые глаза, маленькие и острые. Он любил выпить и пил только водку. Остальные вина он находил для себя слишком крепкими.

Кропин с наслаждением подбирал улики против Триродова. Так как не Триродов убил исправника, то и улики были вздорные. Но Кропину казалось, что их совокупность составит нерасторжимую цепь.

Кропин с величайшим удовольствием немедленно взял бы Триродова под стражу, но прокурор сказал ему:

— Ввиду всех этих обстоятельств необходимо соблюдать крайнюю осторожность.

Кропин пригласил Острова к себе во время своего завтрака. Сам много пил водки и Острова напоил, — чтобы выведать сведения о прежней жизни Триродова.

Остров уверял:

— Господин Триродов химию досконально знают. Сделать из человека горсточку пепла им ничего не составляет.

Но как Триродов это делает и кого уже он испепелил, этого Остров не мог сказать. Очень хотелось ему рассказать про Матова, да боялся сам запутаться.

Случилось так, что свидетелями против Триродова были и другие святотатцы.

Утром в начале августа Триродов принимал депутацию из Пальмы — социал-демократы и синдикалисты. Они приехали еще с вечера и по заранее посланному Триродовым приглашению остановились в его доме.

Вот наконец мечта становилась к осуществлению! Жуткий восторг томил Триродова. Какая радость — приводить свои фантазии в исполнение!

Был любезный и веселый разговор, конечно, по-французски. Французская речь живо напоминала Триродову дни его жизни в Париже, — жизни милой, как все прошлое.

Триродов и его гости взаимно выпытывали друг друга. После долгого разговора Триродов и его гости обменялись наконец формальными обязательствами. Филиппо Меччио и его спутники дали Триродову от имени своих партий обязательство голосовать за него.

Впечатления Триродова от этих людей, кроме Филиппа Меччио, однако, не были приятны. Они не понравились ему своею излишнею живостью, своими преувеличенными жестами. Он думал, что в них нет способности управлять государством, что из них разве только один Филиппо Меччио может быть министром. За их жестами и риторикою не чувствовалось той спокойной и холодной твердости, которая отличает австралийских министров из рабочих. Правда, из его гостей никто и не был настоящим рабочим.

Сам Филиппо Меччио показался Триродову более оратором, чем практическим деятелем, более критиком, чем созидателем. Триродов думал, что во главе правительства он может стоять только в переходные эпохи.

Впечатления гостей были смутны и неопределенны. Триродова они нашли слишком сдержанным и надменным человеком.

Филиппо Меччио говорил о Триродове своим спутникам:

— Он импонирует, но его глаза обличают пресыщенную душу, мечтательный и анализирующий ум. Едва ли он годен и склонен

для практической деятельности. Но, может быть, тем и лучше. Это будет носитель призрачной власти с уже умерщвленною волею к владычеству.

Елисавета очаровала гостей. Кирша не обнаруживал никаких странностей, вел себя как всякий средний ребенок его лет и показался гостям умным и милым мальчиком.

Пальмские гости уехали вечером.

Ночью Елисавета сидела у Триродова. Читали. Поговорили. Замолчали. Елисавета спросила:

— Ты ждешь чего-то?

Его лицо не умело скрывать. Оно не изменяло выражения каждую секунду, но точно отражало общую окраску его души. Триродов знал о том, что у него нынче будет обыск. С брезгливою миною сказал он Елисавете:

— Сейчас ко мне придут полицейские, обыскивать.

— Ты об этом знаешь? — спросила Елисавета.

— Да, — сказал Триродов. — Я это знаю каким-то странным способом. Мои тихие дети все знают. Они невинны, не живут и потому знают. Глаза их не смотрят, но все видят, и уши их не слушают, но все слышат. Безрадостные и беспечальные, они сохранили всю свою душу, и они совершенны, как создания высокого искусства. Через них я узнаю то, что должно совершиться, и это дает мне большую уверенность и спокойствие.

Елисавета сказала заботливо:

— Надобно кое-что убрать. Я тебе помогу.

Триродов равнодушно возразил:

— Не стоит. Будь спокойна.

Елисавета настаивала:

— Но все же лучше принять какие-нибудь меры.

Триродов решительно сказал:

— Они ничего не найдут. Они даже и тебя не увидят. Да я и не допущу обыска.

И сказал тихо:

— В дом моей мечты никто не войдет. И ты — мечта моя, моя Елисавета. Глупые зовут тебя Веточкою, веткою, для мудрого ты — таинственная роза.

Скоро послышались звонки и суетня: пришли незваные, новый исправник и жандармский полковник. Триродов спустился к ним вниз, в зал.

Жандармский полковник сказал:

— Проведите нас в ваш кабинет.

— Пожалуйста, — сказал Триродов. — Идите сюда.

Но Триродов отвел своих гостей далеко от кабинета. Комната, куда он привел полицейских, была очень похожа на его кабинет. Но мрачная, как темница.

Искали везде. Исправник, переведенный сюда из дальнего уезда и еще сохранивший всю свою захолустную грубоватость, стукнул сгибом сухого пальца в замкнутую дверь и сказал:

— А тут что? Отоприте-ка.

Триродов вынул из кармана маленький зеленый шарик и уронил его на пол. Странным синеватым дымом наполнилась комната. Триродов исчез. Запахло горько и сладко. Казалось полицейским, что пахнет кровью и что сладко ее сосать.

Они стали на четвереньки. Онемели. Им казалось, что они обратились в громадных клопов. Они быстро побежали на руках и на ногах вниз по лестнице, по двору, по дороге. Во мраке чутьем различая дорогу, быстро бежали по дороге в город гигантские клопы в мундирах.

Светало, когда они бежали по улицам. Ранние прохожие в ужасе сторонились от них.

Прибежали на свои квартиры. Были пыльные, изодранные. Долго спали. Проспавшись, не могли вспомнить, где были, и что с ними было, и куда они растеряли свои казенные бумаги, и что им теперь надобно делать.

## Глава девяносто вторая

Были уже первые дни золотой осени. Прекрасный год в природе, тревожный и грозовой в людях.

Неудачная война питала смуту. Война и не могла быть удачною, потому что ее не направляло народное одушевление. Бородачи запасные думали о покинутых семьях и о родной земле и не понимали, зачем их повели воевать чужую землю. Подвиги высокого геройства были ярки, но бесцельны — это были прекрасные огни, горевшие в сражающихся множествах, но не зажигавшие в них воинственного восторга. Была непреклонная готовность мужественно умирать, и, конечно, хотелось бы победить, но не было столь же непреклонной воли к победе. Вожди забыли, что обороняющийся не может победить.

Рабочие на фабриках и на заводах в Скородоже давно уже волновались. Нередко вспыхивали отдельные забастовки то в одном заведении, то в другом. Наконец в начале октября началась общая забастовка. Требования были те же, что везде: пять свобод, четвертная формула выборов и учредительное собрание.

Повод для забастовки, как это часто в то время случалось, был совершенно ничтожный.

В темную ночь рабочий Алексей Кулинов, молодой, начитанный человек, возвращался домой. Он был у своего большого приятеля, учителя городского училища Воронка. Там нынче вечером собралось несколько человек для чтения и беседы. Разошлись в разные стороны, и случилось так, что Кулинову пришлось идти одному. Он был сильный и рослый и ничего не боялся. Шел, посвистывал. Вспоминалось все слышанное, и душа горела гордыми, смелыми надеждами.

Навстречу Кулинову посредине улицы шла толпа горланов. Кое у кого из них в руках качались фонари, — на городское освещение горожане мало полагались, уж очень оно было скудное на окраинах. Это были члены черносотенного союза. Речи ораторов, отравленные демонскою злобою, и выпивка на дворе у Конопацкой настроили их патриотически. Они были готовы сокрушать супостатов и орали бесстыдные песни.

Место было глухое и безлюдное — окраина города. Кулинову проще было бы свернуть с дороги, в боковой переулочек, — да нет, зачем?

Стыдно показалось бежать. Да и вспомнил, что у него в кармане есть револьвер.

Его окрикнул пьяный голос:

— Стой! Что ты есть за человек и куда идешь?

Кулинов сердито буркнул:

— А вам что? Иду по своему делу и вас не трогаю.

Кто-то заорал:

— Братцы, да это из лохматых. Бей его!

Кто-то схватил Кулинова за плечо. Он поспешно выхватил револьвер из кармана и выстрелил вверх, чтобы напугать хулиганов. Толпа шарахнулась в стороны. Раздался ответный выстрел, другой, третий. Молодцы тоже вспомнили, что они вооружены, и принялись палить без толку из своих браунингов. Кто-то свирепо вопил:

— Убьем собаку и в ответе не будем.

— Сам начал! — кричал другой.

Кулинов побежал. Банда за ним. Гремели выстрелы, не попадая в цель. Было темно, были пьяны, но все же только счастливый случай спас Кулинова от чьей-нибудь шальной пули.

Наконец Кулинов добрался до своего дома. Юркнул в калитку. Поспешно задвинул засов. Бросился на крыльцо. Дверь была заперта. Он постучал в окно.

Долго не открывали. Он слышал, как шептались за окном. А громилы уже ломали калитку. Грохот наполнял вею улицу.

— Да отворите же! — отчаянно кричал Кулинов. — Ведь они меня убьют.

Его хозяйка, сырая вдова-мещанка, и ее две рохли-дочери боялись открыть. Они дрожали и шептались за дверью. Тогда вскочил с постели хозяйкин сын, пятнадцатилетний мальчик Митя. Бросился было к двери, но мать его оттолкнула и сердито зашипела на него. Мальчик побежал в комнату жильца и там распахнул окно. Громким шепотом позвал:

— Алексей Степаныч, лезьте в окно.

Кулинов проворно вскочил в окно и захлопнул его за собою. Как раз вовремя, — громилы ворвались во двор. Долго стучались они в двери

и в окна, но почему-то боялись ломать дверь. Сырая вдова и две рохли тряслись от страха. Они стояли все трое за дверью в комнату Кулинова и ныли на разные голоса:

— Батюшка, Алексей Степаныч, выдь, сделай милость, к окаянным. Силой войдут, и нас из-за тебя погубят, и мальчонку пришибут. Будь благодетель, выдь, — мы за твою грешную душеньку Богу помолимся, — сиротская молитва до Бога доходчива.

Митя упрекал их:

— Бога побойтесь, маменька, на смерть человека посылаете. И вам, сестрицы, стыдно, — чем бы маменьку успокаивать, а вы ее пуще расстраиваете.

Мать зашипела на него:

— Ты у меня помолчи, шалапут. Зачем его впустил? Всех нас под обух подвел. Погоди, жива к утру останусь, так я с тебя семь шкур спущу.

Митя деловито отвечал:

— Нынче, маменька, таких прав нет. Что следует, накажите, а тиранить нельзя.

Громилы шумели на дворе и распевали песни.

Полиция пришла только утром: задами, через огороды, сбегал Митя в полицейское управление и рассказал, что толпа хулиганов ломится в их дом. Сами полицейские словно и не заметили шума и выстрелов.

Буянов разогнали. Но никого из них не задержали. А у Кулинова сделали обыск, на всякий случай. Ничего не нашли — счастливая случайность: еще дня за два был целый тюк литературы, но ее удалось быстро распространить. Револьвер же догадливый Митя стащил еще утром и спрятал на огороде.

Этот случай сильно взволновал и без того возбужденных рабочих. Говорили:

— Что ж это такое! От черносотенцев житья не стало! Скоро нас как собак убивать будут.

Через день началась забастовка. В толпах рабочих раздавались угрожающие крики:

— Долой черносотенцев!

Забастовка продолжалась недели две. С фабрик и заводов забастовка перекинулась в учебные заведения.

На беду, случилась как раз в эти дни неприятная история в гимназии.

Какой-то маленький гимназистик на перемене занялся пусканием в лица товарищей и учителей бумажных стрел, намоченных чернилами. Учителя политично делали вид, что не замечают. Одна из таких стрел попала в лицо проходившему случайно через зал директору, человеку нервному и болезненному. После этой удачной стрелы старшие гимназисты захохотали: директор, придирчивый и раздражительный, был нелюбим учениками.

Шалун так оторопел, что не догадался ускользнуть от бросившегося к нему директора и получил от него звонкую пощечину. Услышав звук пощечины, гимназисты зашумели и засвистали. Несколько дюжих молодцов из старших классов бросились на директора с кулаками. Испуганный старик бегом добрался до своей квартиры и уже не выходил оттуда.

Об этом случае много говорили в городе. По обыкновению, сильно преувеличивали и присочиняли небывалые подробности. Говорили, что директор сбил мальчика с ног и кричал на него:

— В карцере сгною!

Гимназисты и гимназистки кричали, что дальше так жить нельзя. Они произвели в классах химическую обструкцию. Побили стекла в квартире директора гимназии и еще кое-где. Вместо уроков устраивали сходки, заперев двери своих классов, чтобы не входили учителя. Наконец объявили, что присоединяются к общей забастовке.

Директор гимназии послал по начальству прошение об отставке. Но вместо отставки его перевели в другой город, а к Новому году дали звезду.

Потом забастовали телеграфисты, почтовые чиновники и почтальоны, трамвайные служащие, служащие на электрической станции и железнодорожники. Кроме общих причин, у всех их были и свои особенности, иногда мелкие, но очень раздражающие. Во всех этих

местах начальствующие люди, как бы не понимая затруднительности положения, вели себя заносчиво. Закрылись многие магазины, — начали бастовать приказчики, добиваясь и для себя справедливых льгот и праздничного отдыха.

Город имел странный вид. Трамваи не ходили. Электрические фонари и лампы не горели. По улицам ходило много праздных, возбужденных людей. Письма и газеты не доставлялись, — разве только случайно. Обыватели не могли приспособиться к этому беспорядку. Стало очень неудобно жить, и даже опасно. Какое-то моральное землетрясение день за днем потрясало зыбкую почву обывательских умов и обывательской жизни.

Многие из обывателей сочувствовали забастовке. Многие злобились на забастовщиков. Сочувствовавшие выражали свое сочувствие тайком или совсем его не выражали. Злобящиеся злобились открыто и громко. Такое неравенство выражения чувств только усиливало общую напряженность положения.

Несмотря на забастовку, в городе царило необычайное возбуждение. Трудно было понять, на чьей стороне больше сил. Власти не прибегали к решительным мерам — ждали войск, — но и вся губерния волновалась. В Скородож отряд пехоты и драгун явился только на десятый день забастовки.

Среди забастовавших между тем уже начиналась нужда. Запасишки, какие были, живо были проедены. Положение начинало становиться угрожающим.

Каждый день собирались на Опалихе; так называлось обширное загородное поле около Летнего сада, где порою устраивались народные гулянья. Кроме того, собирались в железнодорожном клубе. Все эти собрания проходили мирно. Говорились речи, пелись гимны. Расходились с криками:

— Долой войну!

Только раз полиция вздумала проявить свою деятельность. На десятый день забастовки расклеено было по городу объявление от вице-губернатора, — за отъездом губернатора в столицу он управлял губернией, — что запрещаются собрания на Опалихе и вообще в окрестностях

города, ввиду того что собрания приняли политическую окраску. Над этим объявлением рабочие смеялись. Кое-где его срывали. В других местах покрывали насмешливыми надписями.

В середине октября происходило на Опалихе обычное собрание. Еще с утра ожидали рабочих казаки, драгуны и пехотинцы.

В середине собрания, когда, взобравшись на притащенный из соседнего трактира стол, партийный агитатор говорил речь, приехал полицеймейстер. Он сказал что-то казакам. Казаки внезапно ринулись на толпу, работая нагайками. Несколько минут слышался только свист нагаек да крики и стоны избиваемых. Забастовщики были рассеяны. Небольшую часть их забрали и отвели в полицию. Многие разбежались по лесу. На них устроили облаву.

Обыватели возмущались неумеренным употреблением нагайки. Да и среди казаков и солдат было немало недовольных. Но кто возлагал на это недовольство какие-нибудь надежды, тот скоро убедился в своей ошибке.

Кербах говорил:

— Это — законный террор! Они нас хотят терроризировать, мы отвечаем тем же.

Слишком сильно спорить с ним не смели.

Кража иконы дала черносотенцам удобный повод для злых науськиваний на интеллигенцию. Остров распространял слухи, что икону похитил и сжег Триродов и что сделал это он потому, что он — безбожник и ненавидит христианскую церковь. Вообще Остров много работал в эти дни. Полтинин и Поцелуйчиков ему помогали. Хитрая и ловкая Раиса, поселившись в городе и еще не открывая своих денег, уже успела войти в милость генеральши Конопацкой и уже помогала ей в хозяйственных работах по ее черносотенным организациям.

Союз русских людей усиленно действовал. Кербах и Жербенев раздавали народу московскую черносотенную газету. В ней были возмутительные статьи против евреев. Деньги на эту раздачу давала Конопацкая.

Кружок местных интеллигентов тоже сделал попытку бесплатно раздавать прогрессивные газеты. Но газетчиков полиция забира-

ла. Между другими отдали под суд за хранение и распространение нелегальных изданий и Мишу Матова, не стесняясь его незрелым возрастом. Кропин хотел было посадить его в тюрьму, но Петр оказал покровительство своему брату и взял его на поруки. Рамеев, боясь, что на душе мальчика все эти неприятности отразятся слишком тяжело, решил отправить его доучиваться за границу.

В черносотенных кругах все громче и чаще говорили, что икону украл Триродов. Городская толпа начинала верить этому.

Наконец Кропин написал приказ о задержании Триродова. Он отправился с этим приказом, захватив полицейских, в дом Триродова. Но народная смута помешала этому акту правосудия. Кропин вышел из своей квартиры как раз в тот час, когда к дому Триродова нельзя было пробраться.

## Глава девяносто третья

В эти дни объединились люди разных взглядов, сходившиеся только в ненависти к старому строю. Забастовка, избиения на улицах, народная смута, растерянность властей, общая уверенность в том, что должны произойти перемены в государственном строе, — все это заставляло людей, жаждущих переворота, волноваться и думать, что на них лежит историческая ответственность, что они могут и должны что-то сделать.

Забастовавшие начинали голодать. Равнодушный ко всему на свете обыватель роптал на чувствительные неприятности забастовки. Из разных мест России доходили слухи, то радующие, то печальные и часто сильно преувеличенные. И вот потому возникал вопрос, что же делать сейчас и здесь. Притом же стали ходить слухи, что черная сотня замышляет погром интеллигенции.

Решили устроить общее собрание представителей от рабочих, интеллигенции и учащихся. Назначено было это собрание в доме Триродова. Нашли, что в его доме наиболее удобно собраться.

Собрались днем, часа в два. Были тут люди разных партий и разных убеждений. Председателем выбрали доктора Тумарина, того самого, что разговаривал на маскараде с Елисаветою о вдове Пилипонкиной.

Долго и шумно спорили. Было предложено учредить городскую милицию, для защиты граждан от нападения черносотенцев. Многие говорили в защиту этого предложения.

Записался говорить и Триродов. После нескольких пламенных речей дошла очередь до него. Триродов возражал против учреждения милиции. Он говорил:

— Если вы вооружитесь, то ваши противники скажут, что вы начали вооруженное восстание. Хотите ли вы этого? И что вы на это скажете?

Чей-то резкий голос, по-видимому, женский, торопливо выкрикнул:

— Провокаторский вопрос.

Председатель взялся за звонок. Триродов продолжал:

— Для вооруженного восстания вы слабы. Вы не можете сражаться с правительственными войсками. Вы не находитесь в связи с другими революционными силами страны, и даже ничего верного и положительного о них не знаете. Вы — не часть великого целого, а малое стадо, может быть, и готовое умереть, но, однако, готовое ли? Вы и сами чувствуете свою слабость, и потому вы говорите, что вы — не революционеры, а милиционеры, что вы не нападаете, а только защищаетесь. Но поражение защищающегося — только вопрос времени и зависит только от настойчивости врага. Побеждает всегда нападающий и сильный. А за то, что у вас в руках оружие, вас будут убивать. И после вашей смерти кто-то недобрый и вечно искушающий посмеется над вами и скажет: «Поднявший меч от меча и погибнет».

Громадное большинство собравшихся было за милицию. Речь Триродова слушали угрюмо. Наконец зашикали и засвистали. Триродов хотел продолжать. Но шум возрастал. Тонкий женский голос опять крикнул:

— Провокатор!

Кто-то оживленно и злобно кричал:

— Он на жалованье у правительства.

Чей-то измененный, глухой голос прорычал из темного угла:

— Он икону украл.

Триродов подошел к председателю. Сказал:

— Разве вы не слышите этой брани и клеветы по моему адресу?

Тумарин глянул на Триродова злобно и грубо протянул:

— Ну?

Триродову стало весело. Долговязый врач показался ему маленьким дерзким мальчиком. Захотелось погладить его по голове. Триродов ласково, как говорят с детьми, сказал:

— Вы бы призвали их к порядку.

Угрюмый врач продолжал дерзить:

— Ого! Рты зажать хотите, королевские привычки загодя усваиваете! У нас этот номер не пройдет.

Триродов сошел с эстрады. Лохматые молодые люди в блузах, подпоясанных ремешками, и девушки с раскрасневшимися некрасивыми, но очень умными лицами, какие бывают только у недалеких людей, свирепо кричали ему в лицо бранные слова. Одна курсистка в красной кофточке, когда Триродов проходил мимо нее, сложила руки рупором и пронзительно засвистала. Малый с глянцевитыми волосами, похожий на приказчика, крикнул:

— Вы запугать нас хотите. Да мы не такие трусы, как Лабазников.

Говоривший напоминал злосчастную судьбу одного здешнего купца.

Сын богатого купца-домовладельца Лабазникова, мальчик лет семнадцати, шалун, проводивший большую часть своего свободного времени на дворе и на улице около отцовских лавок и амбаров, заметил у забора в своем дворе какую-то бумагу. Это была занесенная ветром или кем-то подброшенная прокламация. Одна из тех, которых было тогда много.

Мальчик прочитал прокламацию. Не очень много в ней понял — его образование не пошло дальше городской школы, — но почуял

в ней ущерб своего классового интереса. Он сообразил, что приказчикам и мальчишкам из лавки показывать ее не след. Отдал ее отцу.

Отец тоже прочитал. Понял столько же. Решительные выражения прокламации навели на него страх. Он отнес ее квартиранту, казначейскому чиновнику.

Чиновник, вернувшись со службы и пообедав, облекся, по обыкновению, в широкий бухарский халат, надел мягкие высокие татарские сапоги и сел у окна читать газеты и смотреть, что делается на улице. Лабазников показал чиновнику прокламацию. Спросил:

— Что мне с нею сделать? Так как мы в гимназиях не обучались, то мне что-то и невдомек.

Чиновник в халате взял прокламацию, молча повертел ее в руках, сурово посмотрел на Лабазникова и, не читая, возвратил помятую серую бумажку. Лабазников испугался. Не посмел расспрашивать. С тем и ушел.

После того Лабазников стал задумчив и пуглив. Плохо спал, мало ел, с тела спал.

Недавно во двор к Лабазникову пришла санитарная комиссия для осмотра. Лабазников очень испугался. Вышел на двор. Прячась от посетителей, стал рыть заступом яму. Он шептал побелевшими губами:

— Прокламацию надобно спрятать.

Теперь Лабазников совсем помешался. Он постоянно прячет что-то. Ему все чудятся обыски.

В числе говоривших за милицию Триродов с удивлением узнал молодого телеграфиста Ценкина, большого любителя театра. Ценкин прежде посещал иногда Глафиру Конопацкую, хотя и не записывался ни в одну из ее темных организаций. Он был деятельным членом товарищества для устройства спектаклей в народном доме.

Ценкин произнес страстную радикальную речь. Впрочем, здесь и все ораторы говорили очень страстно и очень решительно, не скупясь на эпитеты. Когда Ценкин кончил, когда затих гром рукоплесканий, — всем таким ораторам рукоплескали громогласно, — и когда

внимание собравшихся перешло на другого, Триродов подошел к Ценкину. Сказал ему тихо:

— Я думал, что вы из черной сотни.

Ценкин сделал важное и серьезное лицо и сказал:

— События открывают глаза всем.

И потом сказал горячо:

— У меня маменька — русская, а папенька был выкрест из евреев. Ну и что же, вы думаете, я не чувствую страданий угнетенного племени?

Говорили за милицию еще начальник железнодорожной станции Голвин и его письмоводитель Вожаков. Говорили почти одно и то же и почти одними и теми же словами.

Потом говорил учитель гимназии Бодеев. Он старался изобретать новые аргументы. Его пискливый голос раздражал Триродова. Маленький, толстенький, белобрысенький, в очках, с реденькою бородкою, с похилыми плечами, Бодеев слишком похож был на учителя. Слова о вооружении, о самозащите казались в его устах забавными.

Досадливо подумал Триродов, что люди с таким голосом не могут говорить правды, потому что не знают ее, да и не могут знать. Голос в большей степени, чем это думают, является выразителем полноты жизнеощущения. Гортань — не только орган голоса, она — и половой орган, связанный с самым таинственным и глубоким в организме живого существа. Полный и звучный голос знаменует полноту и значительность телесных переживаний, плодовитость организма. Кастраты и люди стерилизованной души таким полнозвучием не обладают.

Но собравшимся нравился Бодеев, как и все такие ораторы. Восторг освобождения, столь, по-видимому, близкого, требовал слов пламенных и громких. Гром рукоплесканий покрыл речь Бодеева, — конечно, гром: иного выражения и подбирать не следует.

С ужасом и с тоскою смотрел Триродов на волнующееся собрание, на все эти молодые, суровые, прекрасные в своей оживленности лица. Он думал печально: «Ничего у вас не выйдет. Ненавидящий людей бросит тела ваши в глубокую пропасть, и бросит их друг на друга, чтобы засыпать пропасть вашими телами, — чтобы засыпать ее чем попало, благо ваша доблесть сама того хочет. Когда тела ваши истлеют,

когда с наносною смешаются они землею, летучие ветры бросят на них семена полевых трав, и прорастут травы, и раскроют свои простодушные очи невинные цветы. Потом, когда-нибудь в земных веках, по возникшему над пропастью лугу пройдут на тот берег спокойно и безопасно те, кто еще не родились, кто родятся не от вас».

В зале между тем перешли к обсуждению практических вопросов.

Оказалось, что готово и оружие. Оно хранилось за городом, в доме управляющего большим имением какой-то генеральши, проводящей свои веселые дни в заграничных вояжах.

Начался сбор денег. Чья-то шапка передавалась из рук в руки. В нее бросали деньги, — была тут и медь, и серебро было, несколько бумажек и золотых монет. На бумажном ярлычке, пришпиленном к ней булавкою, была надпись карандашом: «На оружие».

С другой стороны пошла по рукам чья-то другая шапка. Ее картонный, заготовленный, очевидно, заранее ярлык гласил: «На семьи безработных». Написано было фиолетовыми чернилами, подчеркнуто и снабжено восклицательным знаком.

Когда одна из этих шапок дошла до Триродова, он спросил:

— А чья шапка?

Юная красногубая курсисточка в очках грубо крикнула на него:

— А вам-то что за дело? Допросчик какой нашелся, — потише проговорила она.

Ее сосед, студент в косоворотке, угрюмо сказал:

— Ворующих здесь нет.

Триродов усмехнулся. Толкаясь в толпе, он увидел там двух ворующих и двух доносящих. Думал, что этого сорта людей здесь и еще бы можно было найти.

Меж тем председатель говорил:

— Внесено такое предложение. Так как могут быть раненые, то желательно сформировать санитарный отряд из желающих.

Со всех сторон закричали:

— Согласны!

— Сформировать!

— Пусть желающие записываются.

Председатель провозгласил:

— Предложение принято. Желающих прошу записываться.

Стали записываться многие из молодежи — студенты, курсистки, гимназисты и гимназистки. Председатель кричал:

— А где лазарет устроить?

— Здесь, — кричали в толпе, — удобнее нет места.

— Здесь и в народном доме.

Так и решили.

Разойтись спокойно не удалось. Когда стали выходить на дорогу, было уже темно и холодно. Яркие звезды зажглись в небе.

Все были оживлены и веселы. Казалось всем, что сделали какое-то необходимое и значительное дело. Веселые, гордые звучали песни.

Вдруг с двух сторон показались казаки. Пришлось вернуться в дом и расходиться уже поодиночке. Казаки рассыпались по всей дороге до города. Но никого не задержали.

Кирша был невесел. Темные предчувствия томили его. Триродов спросил:

— Что ты, Кирша?

Кирша тихо отвечал:

— Убивать будут.

Триродов улыбнулся. Спросил:

— Разве это так страшно?

Кирша говорил:

— Они будут бояться, будут плакать и кричать от страха. И темные люди, похожие на зверей, будут мучить их, терзать их тела, жечь их огнем. И дом наш сожгут.

## Глава девяносто четвертая

Еще несколько месяцев тому назад Триродов построил сильно действующий аппарат для беспроволочного телеграфирования. Одну станцию этого телеграфа он установил в своей оранжерее. Соответствующая ей была установлена по его письменным указаниям в Пальме,

в том самом доме, где жил Филиппо Меччио. После нескольких неудач дело пошло на лад, и Триродов мог сноситься со своими далекими друзьями беспрепятственно. В Скородоже никто не знал об этом аппарате, кроме двух преданных Триродову молодых инженеров, которые заведовали машинами в доме и в оранжерее.

Поздно вечером, когда уже все разошлись, телеграф, установленный в оранжерее, известил Триродова, что его избрание в короли обеспечено и что конвент соберется для выборов короля завтра утром.

И уже не знал теперь Триродов, радоваться ему или скорбеть. Не знал, может ли он теперь остановить то случайное сплетение обстоятельств, которое накинуло на него свои тугие петли. Может ли он идти к роковым свершениям своего замысла? Какой из своих безумных ликов обратит к нему неумолимая Мойра, — лик ли непреклонной Айсы, лик ли прихотливой Ананке?

Всю эту ночь Триродов и Елисавета провели без сна. Долго говорили они о том, что им делать. Триродов сказал печально:

— Я уверен, что эта игра в милицию добром не окончится. Боюсь, что завтра произойдут страшные события. И мой Кирша томится предвещательною тоскою. Я спорил с ними, — они меня не слушали. Все, что я могу сделать, — открыть для них двери моей оранжереи и доставить их, куда они сами захотят, — на мою новую Луну или в их старую Европу, строить новую жизнь или собирать там, где не сеяли.

Елисавета спросила:

— А что же будет с этим домом?

Триродов спокойно ответил:

— Он будет разрушен. Люди, которые не знают, что делают, будут выть и плясать на его развалинах. Все, что в этом доме дорого для меня, надо перенести в оранжерею. Мои тихие дети уже многое перенесли. Я знаю, они не оставят здесь ничего, чего мне было бы жалко.

Елисавета тихо сказала:

— Я так полюбила этот дом.

И заплакала тихо, по милой женской привычке проливать слезы, когда сердцу больно и горько. Триродов внимательно посмотрел на Елисавету и спросил ее:

— Не думаешь ли ты, Елисавета, что надо протелеграфировать им, в Пальму, чтобы они отложили выборы на несколько дней?

— Зачем? — спросила Елисавета.

— Мы подождем конца здешних событий, — отвечал Триродов.

Елисавета отрицательно покачала головою и сказала:

— Нет, этого не надобно делать. Пусть люди и здесь, и там делают что хотят. Замедляя ход событий, мы ничего не достигаем ни здесь, ни там. Только усложняется положение с каждым лишним днем, и все теснее затягиваются узлы.

— Да, Елисавета, это верно, — сказал Триродов, — и если я думал о том, не отложить ли день выборов, то потому только, что мне как-то неловко было думать, что я посредством этих выборов стремлюсь к личной безопасности.

Елисавета возразила спокойно:

— Какая же безопасность? Вспомни казнь Максимилиана, императора мексиканского, вспомни убийства многих владык. Сколько их погибло за один только прошлый век! И разве они были тиранами?

Около полуночи Елисавета и Триродов подошли к окну.

Тихо возносились и опускались качели. Тихие дети опять качались на них, убаюканные ясным светом луны.

Пафос мерных качаний заразил Елисавету. И ей захотелось взойти на качели, ночью, при луне безрадостной, беспечальной, при этой милой неживой спутнице, и качаться в прохладе близких, свежих ветвей над светло-туманною долиною. Елисавета вышла к ним. Сказала:

— Милые дети, покачайте меня.

И они взяли ее на качели и качали долго и мерно. Душа ее томилась на светлых качелях, переносясь от безнадежности к желаниям.

Дети и учительницы из колонии уже переселились в оранжерею. Теперь они помогали Триродову и Елисавете переносить их вещи. Вся ночь прошла незаметно в этих сборах.

Чувства Елисаветы и Триродова были спутанны и неясны. Страх, тоска, и радость, и любопытство — дьявольская смесь, дрожь де-

монской лихорадки, жестокая игра, над которою опять и опять посмеется коварный, недобрый и соблазняющий вечно.

В этой смуте чувств развлекали разные мелкие заботы. Надо было все окончательно приготовить для пути. Оранжерея была заранее снабжена всем необходимым, но все это надо было еще раз проверить, и многое забытое пришлось дополнить наскоро.

На другой день началась выдача оружия всем желающим поступить в милицию. К десяти часам утра милиция сформировалась. У всех было оружие. Милицию отправили в театр, охранять порядок, — там назначен был большой митинг. Другой отряд направили в дом Триродова, — без определенной цели, на всякий случай.

А в то же время на улицах городовые раздавали прохожим билеты на собрание черносотенцев в городской думе.

В здании учительской семинарии с утра собралась сходка. Было человек четыреста — семинаристы, реалисты, гимназисты, гимназистки. Произносились политические речи. А кое-кто из молодежи говорил и про свои школьные дела. Но эти речи не так нравились. Да и торопились: назначена была уличная демонстрация.

Сходка окончилась. Учащиеся вышли на улицу. Толпою пошли они по улицам к соборной площади. Там должен был состояться народный митинг. А оттуда хотели идти к фабрикам. Впереди шли со значками и со знаменами мальчики и девочки младших классов.

Подобен вдохновениям и восторгам великой музыки восторг общественных торжеств, праздничных шествий и свободных манифестаций. Шествие по широким просторам дорог и улиц, самовольное и смелое, выше небес поднимает душу, будет ли оно героическое или преступное. И разве преступник не чувствует себя героем, а порою и герои разве не чувствуют себя преступниками? И есть одно, что несомненно сближает героя и преступника, — их обреченность, их готовность идти на казнь.

Самозабвение, как в светлом акте творчества, сжигает время и воспламеняет душу. Смелы и пламенны желания, и кажется, что нет

пределов дерзающей воле. Сердце бьется сильно, петь хочется, — хорошо!

Обыватели поспешно высовывались из окон, выходили на балконы своих домов и улыбались от радости и от любопытства. Они приветствовали манифестантов, махали им платками, кричали «ура». Им казалось, что они участвуют в общем подвиге и утверждают свободу, великую, прекрасную, одну из пяти свобод.

Шествие медленно приближалось к соборной площади. Восторженные гимназистки восклицали:

— Это что-то новое, никогда не испытанное!

— Как нас приветствуют!

— Все точно братья и сестры!

— Одна великая семья!

Они не знали, что их ждет. Они думали, что народ на площади встретит их с восторгом. Народ на площади, который пришел покупать и продавать, потому что это был базарный день.

Казаки явились откуда-то; за шествием детей слышался дробный стук по камням копыт. Но в этом не было ничего страшащего, — точно почетный конвой.

В то же время толпы народа собирались на другой митинг в здании народного дома. Там была и большая часть милиции.

У мещанской управы собралась толпа, человек двести, с белыми лентами в петлицах. Было десятка два, похожие на переодетых городовых, — одетые одинаково, в казенных сапогах и в форменных шароварах. Были здесь и оборванцы, которых в Скородоже называли золоторотцами.

Появились черносотенные ораторы. Они усиленно разжигали толпу. Призывали избивать евреев, железнодорожников, студентов, тех, кто украл чудотворную икону, и всех, кто против правительства. К толпе подходили все новые и новые люди.

Яков Полтинин, Остров и Поцелуйчиков сидели в ближней чайной. Они речей не говорили, в толпу не показывались. Но от них и к ним шныряли молодцы-подручные.

Панический страх охватил мирное население города. Ворота, калитки, двери, окна поспешно закрывались. Обыватели прятались по домам. Даже занавески у окон опускали.

Казалось, что в городе только и есть, что ревущие и гикающие черносотенники, да бегущие от них со своими неумелыми браунингами милиционеры, да еще казаки и солдаты. Их отряды почти бесцельно двигались по городу и по дороге к Просяным Полянам: они старались разъединить черносотенцев от милиционеров и никогда не успевали в том. В городе толпа грабила квартиры евреев. Особенно пострадали почему-то зубные врачи.

Около «казенок» было много людей. Оборванцы раздобыли откуда-то денег, покупали водку и жадно пили ее тут же на улице.

За Ценкиным гналась толпа молодых озорников. Ценкин забежал в чей-то дом. Хулиганы стучали в калитку и в окна и кричали:

— Выходи, Ценкин, не то живого сожжем.

Ценкин показался из окна. Выстрелил из револьвера, почти не целясь. Кого-то ранил. Раненый завопил неистовым голосом:

— Ой, ой, братцы, убили!

Громилы ворвались в дом. Ценкин побежал было на чердак, но его поймали на лестнице и убили. Труп изуродовали так, что потом его едва признали.

Врывались и на фабрики с криками:

— Давайте ученых!

Врачи, химики, колористы в страхе прятались или бежали. Многие были избиты.

## Глава девяносто пятая

Многие скрылись в доме Триродова. Все собрались в белом зале. Беспорядочно рассуждали, что делать дальше. Председательствовал опять Тумарин.

После полудня толпа уже осаждала усадьбу Триродова. Раздавались угрозы и проклятия. Все эти пьяные люди расположились так,

как будто ими распоряжался опытный стратег: стояли перед всеми воротами и калитками по дороге, по полям и на берегу Скородени.

Громилы разбили главные ворота, а кто прямо перелез через стены, и скоро запрудили все дворы. Но не смогли проникнуть в самый дом. Входные двери были плотно заперты. Начали было их выламывать, — но из маленького круглого окошечка над дверью показался легкий огонек и послышался негромкий треск револьверного выстрела. Громилы шарахнулись назад.

Пока еще не обращали внимания на сад и на оранжерею. Толпа яростно бесновалась перед главным домом.

Полетели камни в окна. Многие стекла были разбиты. Но белый зал выходил окнами в сад, и поэтому там было еще спокойно.

Какой-то смельчак полез было в окно первого этажа. Из-за окна дико завопил, спрыгнул с подоконника и скрылся в толпе. Стоявшие перед этим окном трусливо и озлобленно попятились. Никто не решался повторить этой попытки.

Скоро к триродовской усадьбе подъехали две коляски с губернаторскими чиновниками и подошли две роты солдат да сотня казаков. Остановились в стороне. Смотрели, ничего не делая. Власти не решались бить патриотов.

Около этого же времени появились здесь и Остров с друзьями. В городе уже дело было сделано, — надобно было кончать здесь.

Черносотенные ораторы, выбирая места на дворах или на дорогах, где офицерам их было не видно, подстрекали толпу разгромить и сжечь дом.

Когда уже начало темнеть и в белом зале зажглось несколько лампочек в средней люстре, в белый зал вошел полицейский чиновник, сухой, костлявый, бритый, с громадным ртом. Он сказал:

— Господа, я прислан от господина губернатора. Господин губернатор предлагает вам выходить. Иначе мы вынуждены будем стрелять.

Женский испуганный голос из толпы крикнул:

— А вы нас защитите от черносотенцев?

Чиновник пожал плечами и сказал:

— Там у нас войска.

Воронок спросил чиновника:

— Вы можете дать нам честное слово, что вышедшие будут в безопасности?

Чиновник развел руками и тихо, с притворною скорбью на лице, сказал:

— Господа, вы обречены на смерть. Народ разъярен. Ничего нельзя сделать.

Послышались возбужденные голоса:

— Что, что он говорит?

Чиновник быстро ушел; на сухих губах его играла сладострастно-жестокая улыбка.

— Позвольте, позвольте, я с вами, — заговорил старенький инженер.

Торопливо побежал за чиновником. Но, едва он показался на крыльце, в него полетели камни. Чиновник юркнул в ту сторону, где стояли казаки. Инженер упал.

Надежда выбежала на крыльцо. Она подняла старика и с усилием втащила в дом, закрывая собою от летевших камней. Только один маленький, острый камень задел и расцарапал ее руку выше локтя.

Среди собравшихся в белом зале передавались слова губернаторского чиновника. Поднялись шумные крики, вопли, стоны. Какие-то женщины забились в истерике.

Триродов вошел в белый зал. Поднялся на эстраду. Сказал:

— Господа, позвольте сказать два слова.

Вопли и стоны понемногу стихли. Триродов говорил:

— Предлагаю вам всем идти в мою оранжерею. Ход в нее безопасен, — он идет под землею. Вот здесь, за эстрадою, — дверь в этот ход. Оранжерея устроена так, что она может отделиться от земли и улететь в небесные пространства.

Кто-то засмеялся. Кто-то крикнул:

— Что за ерунда!

Угрюмый рабочий закричал сердито:

— Люди подохнуть готовы, а он сказки сказывает, головы морочит.

Звонкоголосая дантистка завопила:

— Господин Триродов, вы — провокатор!

Триродов продолжал спокойно:

— Я изобрел способ преодолеть земное тяготение. Я обращу мою оранжерею в шар, подобный планете, и на нем поднимусь с земли. Куда я устремлюсь, я еще не знаю. Это зависит от обстоятельств. Тот способ передвижения, который я изобрел, на земле еще не практиковался, хотя он и описан в одном из романов Уэльса. Могу поручиться только за полную безопасность путешествия со мною. Мы отправимся, может быть, на Луну. Желающие могут последовать за мною. Это гораздо дальше, чем Новая Зеландия, но, по всей вероятности, интереснее.

В зале поднялся невообразимый гвалт. Свистали, шипели, топали, визжали. Звонкоголосая дантистка выскочила из толпы, взобралась на эстраду и сучила кулачишки перед глазами Триродова.

Триродов, стараясь перекричать толпу, сказал:

— Еще раз предлагаю желающим спасение со мною. Поверьте мне, идите со мною. Вот эта дверь останется открытою. Желающие могут воспользоваться ею.

Затихший было на минуту гвалт возобновился. Тщетно Воронок взывал:

— Товарищи, не возмущайтесь. Несчастный сошел с ума.

Триродов ушел. Дверь оставил открытою.

Кое-кто пошел за ним. Подумав немного, пошла и визгливая дантистка. Она кричала:

— Товарищи, надо кому-нибудь из нас пойти за ним, взглянуть, в чем дело.

В оранжерее собрались многие. Тут были Рамеев, Миша, учительницы, дети. Дети из колонии сначала робко глядели на тихих детей. Потом стали с ними разговаривать.

Несколько раз Триродов ходил в белый зал, уговаривая оставшихся там идти за ним. Но так как он продолжал говорить, что возможно

путешествие на Луну, то пошло за ним в разное время меньше половины собравшихся в доме.

Все в оранжерее было готово для пути. Наружная дверь в сад была замкнута. Стоило закрыть только дверь подземного хода и открыть руль.

Меж тем толпа громил все увеличивалась. Разломали забор сада, ворвались в сад и пытались разрушить оранжерею. Остров подстрекал людей, а сам держался далеко позади. В стеклянные стены летели камни. Стекло звенело, но оставалось целым. Камни раскалывались и отскакивали.

Несколько громил проникли в подвал дома. Зажгли там дрова. Потом кое-как выбрались через узкие окна. Одного едва вытащили, — он уже начинал задыхаться от дыма.

Скоро весь дом пылал. Занимались и деревья сада. Люди в доме задыхались в дыму. Еще несколько человек спаслись подземным ходом. Но многие и теперь не верили Триродову и предпочитали взбираться на крышу или выбрасываться из окон.

Приехали пожарные, но работать им не дали. Толпа бросилась на них с угрозами. Пожарные разбежались.

Толпа грабила и убивала всякого, кто бросался из окон, спускался по трубам, спасался на крыше. Над завыванием огня носились пронзительные стоны, мольбы и проклятия избиваемых, и еще громче звучало дикое завывание и гиканье убийц.

Постепенно загорались деревянные здания на дворах — конюшни, сараи. Они пылали, как ряд костров, облитых смолою. Воздух был раскален. Клубы дыма заволокли дорогу и дворы. Толпа отхлынула, подальше и кольцом стояла вдоль каменных стен усадьбы.

Из горящего здания выбежало еще несколько мужчин и женщин. Их тут же убили и ограбили. Изрубленные трупы вытащили на дорогу и сложили в кучу. Поверх этой кучи положили тело девушки. В живот ей вбили кол.

Раздался страшный грохот. Столб огня взвился над домом. Яркие брызги взметнулись и разбросались далеко. Провалилась крыша. Под нею погибли все, еще оставшиеся в доме.

Кто-то кричал, что в подвалах и в погребах спрятались люди. Кричали:

— Надо с ними покончить!

— Чтобы никто живым не вышел из этого проклятого дома!

Пьяный паренек, прижимая к груди портрет и громко икая, кричал:

— Братцы, идем, расшибем, тут, недалечка, дом Рамеева.

Пьяных становилось все больше. Толпа продолжала неистовствовать вкруг оранжереи.

Триродов пригласил всех, вошедших в оранжерею, поместиться как можно дальше от стен, у среднего столба. В середине громадной оранжереи было тихо, и внешний неистовый шум сюда не доносился. Здесь была роща апельсиновых деревьев и посреди нее большой бассейн.

Триродов говорил:

— Сейчас мы начнем подниматься. Может быть, почувствуем сильный толчок. Прошу каждого держаться крепко за что-нибудь и не бояться, если вода из этого бассейна и из других прольется, — не пройдет и минуты, как она вся вернется в берега. Итак, держитесь за деревья, за перила бассейнов,— я даю сигнал к поднятию.

Он открыл стеклянный футляр, взялся за рычаг и сказал молодому инженеру, который возился с чем-то в соседней беседке:

— Николай Дмитриевич, приготовьте руль на нашем северном полюсе.

Из беседки скоро послышался веселый голос:

— Готово.

Триродов крикнул:

— Откройте руль!

И стал медленно поворачивать рычаг.

Елисавета воскликнула:

— Как легко стало! Точно земля ушла из-под ног.

Небо оранжереи становилось ближе, — казалось, что вырастал, поднимая людей, громадный холм. Под ногами слышен был лязг стальных пружин. Вода хлынула откуда-то из далекого бассейна и быстро сбежала!

— Готово! Идем! — кричал молодой инженер.

Чей-то озабоченный голос крикнул:

— Идите сюда, смотрите на землю!

В саду громилы стали ломать деревья и таскать их к стенам оранжереи. Хотели зажечь их, думали, что стекла от жары лопнут.

Вдруг, словно от беззвучного взрыва, оранжерея стала стремительно подниматься, обнажая свое круглое, стеклянное дно. Толпа в ужасе шарахнулась прочь.

Странен был и жуток эффект превращения оранжереи в планету. Что-то громадное, круглое, светящееся стремительно и бесшумно взлетало на воздух, переливаясь радугою пламенных цветов в отблесках пожара. Увлекаемый длинною цепью, прикрепленною к оранжерее, быстро влекся, ломая кусты и деревья, громадный каменный шар. Взвился и он и вращался вокруг поднимающегося в высоту хрустального шара. Все выше, все меньше, — и наконец среди звезд на юго-западе исчез шар триродовской оранжереи.

Вечером толпа буянов подошла к больнице. Потребовали выдачи избитых. Кричали:

— Недобитых прикончим!

— Надобно эту пакость начисто вывесть!

Врач долго уговаривал буянов, стоя на крыльце заразного отделения. Буяны полезли было на крыльцо. Врач сказал спокойно:

— Сюда, братцы, нельзя. Здесь детское отделение.

Кто-кто крикнул:

— А вот мы сами посмотрим, какое такое детское.

Но вовремя подоспели казаки. Буяны разбежались.

Толпа буйствовала всю ночь. На следующий день продолжали грабить магазины и лавки. Казаки и пехота не успевали их защищать, — толпы громил были подвижнее. Так продолжалось, пока в город не пришли новые отряды войск.

Губернатор издал воззвание к жителям. Воззвание расклеили на перекрестках и роздали дворникам. Оно приглашало жителей присту-

пить к обычным занятиям. Были уверения, что приняты меры к защите всех жителей, независимо от их сословий и вероисповеданий.

Из столицы пришел телеграфный запрос о судьбе вновь избранного короля Балеарского. Так как тон запроса был довольно неприятный, то местные власти всполошились.

Судебный следователь начал следствие о поджогах, убийствах и грабежах. Он высиживал в своей камере с утра до позднего вечера. Допрашивал множество людей. Радовался, что будет грандиозное дело и что он на этом деле сделал карьеру.

Один из избитых в усадьбе Триродова был поднят со слабыми признаками жизни. В больнице он очнулся. Рассказал, что Триродов звал всех в оранжерею, на которой хотел лететь на Луну. Его слова сначала были приняты за бред. Но очень многие видели громадный шар, вылетевший с того места, где была, по слухам, оранжерея и где осталась только громадная яма, похожая на дно высохшего бассейна. Решили, что Триродов с женою и с сыном спасся на аэростате. Об этом донесли в столицу.

## Глава девяносто шестая

Конвент в Пальме, уполномоченный для избрания короля, собрался. Было несколько предварительных заседаний, и каждый день собирались частные совещания, партийные и междупартийные. Скоро выяснилось, что имя принца Танкреда не соберет большинства. Не было большинства и за провозглашение республики. Тогда все партии конвента решили голосовать за Георгия Триродова. Аристократы и аграрии, хотя и очень неохотно, решились на этот шаг, чтобы спасти, по крайней мере, монархическую идею и чтобы новый король, избранный также и их голосами, тем яснее чувствовал необходимость стоять выше партий, то есть вне живой политической жизни.

Известие о том, что избрание Георгия Триродова обеспечено, быстро разнеслось по городу и вызвало чрезвычайное волнение.

Всю ночь улицы Пальмы были многолюдны и шумны. Кафе были открыты всю ночь, на многих домах развевались флаги. Неведомо откуда взявшиеся ночные мальчишки жгли на улицах и площадях всякий мусор и с веселым гиканьем носились от одного костра к другому.

Популярность Георгия Триродова в последние дни чрезвычайно возросла. Почти не было дома в стране, где бы не висел на стене его портрет. Знаменитый местный поэт уже успел напечатать сборник переведенных им стихотворений Георгия Триродова. Усердные учителя уже давали мальчикам и девочкам заучивать некоторые из этих стихотворений, те, где говорилось о добре. Но шаловливые мальчишки, раздобыв книжку, выискивали и заучивали стихи о зле, читали их на уроках и этим приводили учителей в большое смущение.

Уже напрасно клерикальные газеты повторяли сплетни русских рептилий о грехах и пороках Георгия Триродова и о том, что близ его дома убит русский чиновник при обстоятельствах, бросающих тень на самого Триродова. Напрасно, — никто их не слушал.

Взбешенный принц Танкред собирался уехать. Но друзья настойчиво советовали ему остаться в стране и спокойно пользоваться теми личными правами, которые перед бракосочетанием были утверждены за ним парламентским актом. Они уверяли принца, что Триродов не долго нацарствует и что армия и флот готовы поднять оружие за возлюбленного и доблестного принца. Но для этого, — говорили они, — гораздо удобнее, чтобы Танкред оставался в рядах армии.

Танкред говорил:

— Но ведь в таком случае я должен буду принести присягу на верность этому проходимцу.

Кардинал успокаивал принца:

— Церковь разрешит вас от этой, вынужденной обстоятельствами, присяги. Народ же получит назидательный урок того, к чему приводит его своеволие неверующих политических деятелей.

Утром открылось заседание конгресса для избрания короля. Трибуны были переполнены. Дипломаты, дамы, светские люди, журналисты, адвокаты, все, кого можно видеть на больших собраниях, были здесь. Веселое оживление царило в зале. Лица политических деяте-

лей и изысканные дамские туалеты в равной мере привлекали общее внимание.

В это время в Скородоже судебный следователь Кропин в своей полутемной камере писал приказ о заключении Триродова под стражу по обвинению в убийстве исправника и в покушении на убийство вице-губернатора. И в то же время на улицах Скородожа неистовствовали черносотенцы.

Началось голосование. Было тихо в громадном белом зале. Сквозь стеклянный потолок, куполом раскинувшийся над залом и наполовину задернутый от солнца длинными полосами желтоватого полотна, падал спокойный и ясный свет. Из открытых высоких окон доносились шумы морского прибоя и далекие голоса толпы. Мерно раздавался монотонный голос старшего секретаря, читающего имена членов конвента, и шаги подходящих по очереди к председательскому возвышению депутатов с избирательными бюллетенями в руках, сложенными однообразно вчетверо.

Один за другим проходили господа во фраках, иные в пестрых национальных костюмах. Чувствуя на себе взоры прекрасных дам, одни принимали гордую осанку, другие неловко сгибались и торопились на широких ступенях лестницы, огибающей ораторскую трибуну, пустую в этот день, — потому что в этот день говорил только председатель. У президентского стола депутаты вкладывали свои бюллетени в окованный ярко-желтыми медными устами прорез замкнутого большого ящика из американского бука, желтого, блистающего строгою полировкою.

Еще тише стало, когда все бюллетени были поданы. Последний подававший бюллетень, молодой сельский врач с Форментеры Телесфоро Зурбано, поспешно, почти бегом, добрался до своего места и уселся мешковато, смугло-раскрасневшийся, думая, что все смотрят на него как на последнего. Председатель конгресса, толстый бритый старик, похожий на Ренана, встал, отомкнул ящик, опустил туда руку, взял первый из бюллетеней наудачу, медленно развернул и прочел:

— Георгий Триродов.

Один из секретарей принял развернутый бюллетень, проставил на нем цифру «1» и положил его в первый из стоящих на столе перед ним ящиков из палисандрового дерева. Второй секретарь записал на лис-

те бумаги имя Георгия Триродова, поставил рядом с ним единицу и громко сказал:

— Георгий Триродов, один голос.

Председатель вынул из ящика другой листок, развернул его так же медленно, прочел то же имя, так же протянул листок секретарю, — повторилась вся та же процедура. Только теперь первый из секретарей поставил на бюллетене цифру «2», а второй записывающий голоса секретарь рядом с единицею около имени Георгия Триродова поставил запятую и цифру «2» и сказал громко:

— Георгий Триродов — два голоса.

И так повторялось дальше. Кроме девяти бюллетеней, на остальных стояло имя Георгия Триродова.

Мало-помалу торжественная тишина в зале разбивалась шорохом тихих разговоров. Когда секретарь сказал:

— Георгий Триродов — двести одиннадцать голосов, — в зале стало шумно.

Уже никто не слушал дальше. Большинство за Георгия Триродова уже составилось, — всех депутатов в конвенте было четыреста двадцать один, — и человек, живущий в далеком русском городе, становился отныне Георгием Первым, королем Соединенных Островов, королем Майорки и Минорки, государем Балеарским и Питиусским.

Под шум взволнованных разговоров все бюллетени были прочитаны. Все это продолжалось немного менее двух часов. Раздался председательский звонок. Пристава забегали по трибунам и в проходах между креслами депутатов, восклицая:

— Тише! Тише!

Депутаты, из которых многие к тому времени разбрелись по всему зданию парламента, поспешно возвращались на свои места; двери, ведущие в зал, бесшумно открывались и закрывались.

Когда все депутаты сидели на местах, председатель опять позвонил и встал. Все притихли. В звучной тишине обширного древнего зала послышались тихие, торжественные слова:

— Объявляю результаты голосования. Присутствовали четыреста двадцать один депутат, избранные народом Соединенных Остро-

вов и уполномоченные избрать короля. Подано четыреста двадцать один бюллетень. Из них семь без всякой надписи. Два со словами «да здравствует республика». Четыреста двенадцать с именем Георгия Триродова. Объявляю, что королем Соединенных Островов избран господин Георгий Триродов, литератор, доктор химии, сын Сергея и Екатерины Триродовых, родившийся 29 октября 1865 года в Москве, в России, живущий ныне в своем замке близ города Скородожа в России. Его величество король Георгий Первый женат вторым браком на Елисавете, дочери господина Ивана Рамеева, которая отныне, согласно парламентскому акту 23 ноября 1487 года, признается нашею королевою. Король имеет от первого брака сына Кирилла, который с этого дня, согласно тому же акту, признается наследником престола. Да здравствует король Георгий Первый!

Громкие крики повторили этот возглас. И затем, вслед за председателем, все в зале воскликнули:

— Да здравствует королева Елисавета!

— Да здравствует наследный принц Кирилл!

Председатель, его товарищи, секретари и министры вышли на балкон объявить народу об избрании короля. Шумными криками встретила толпа с утра жданную весть.

В здании парламента депутаты и журналисты осаждали телефоны и телеграфные аппараты.

Город ликовал. Веяли флаги. Корабли и пароходы расцветились флагами. В магазинах и на улицах продавались портреты Георгия, Елисаветы и Кирилла. К вечеру зажглись праздничные огни.

А в Скородоже толпа бесновалась перед домом Триродова и любовалась пожаром.

## Глава девяносто седьмая

Поздно ночью в Пальму пришло телеграфное известие о том, что чернь в Скородоже, настроенная реакционно и раздраженная политическою деятельностью Триродова, произвела буйство и сожгла его

дом. Все находившиеся в доме погибли, в том числе вновь избранный король Георгий, королева Елисавета и наследный принц Кирилл.

Это известие произвело ошеломляющее впечатление. Улицы опять с раннего утра наполнились толпами, настроенными гневно и печально. Флаги исчезли. Выставленные в окнах портреты короля, королевы и наследного принца окутались трауром.

Газеты были полны негодующих статей. Только в газете Филиппа Меччио появилось полученное вечером по беспроволочному телеграфу известие, которое всем казалось непонятным: «Мы поднялись в моей оранжерее из Скородожа, держимся...»

Здесь телеграмма прерывалась, и затем аппарат бездействовал; попытки телеграфировать из Пальмы были безуспешны.

Филиппо Меччио, отчасти осведомленный о планах Триродова, думал, что ему удалось поднять шар своей оранжереи; но то, что телеграмма была прервана, заставляло его предполагать, что затем в оранжерее произошла какая-то катастрофа и что никем не управляемый хрустальный шар мчится в неведомые пространства.

— Впрочем, — говорил он Афре, — может быть, что сообщение прервано только потому, что шар отошел на слишком большое расстояние от нас.

Афра плакала о судьбе милой Елисаветы, с которою она познакомилась заочно, по ее письмам, и которая почему-то казалась ей похожею на королеву Ортруду.

Жители Пальмы были в отчаянии и в ярости. Гибель их короля при таких обстоятельствах казалась им чудовищною. Перед домом русского посланника произошла утром грандиозная демонстрация. Полиция с трудом, при помощи военного отряда, оттеснила толпу.

Принц Танкред в эту ночь был на ужине у маркизы Элеоноры Аринас. Когда встали из-за стола, кто-то сообщил по телефону известие о гибели нового короля.

Принц Танкред пришел в дикий восторг. Хохоча как безумный, забывши всю свою сдержанность, он кричал:

— Король сволочи погиб в уличной свалке! Это им урок, фрачникам конвента, болтливым пекинам! Постыдный и назидательный урок!

Маркиза Элеонора Аринас настаивала, чтобы принц Танкред объявил себя королем. Но он еще ждал, что конвент образумится и предложит ему корону.

В партиях закипела оживленная работа. Каждая пыталась извлечь для себя пользу из случившегося. Усердно агитировали синдикалисты. Социал-демократы надеялись овладеть властью для создания нового социального строя. Либералы усилили агитацию за республику. Все реакционные элементы деятельно работали за принца Танкреда.

Везде на улицах происходили бурные сцены.

Между тем телеграф приносил из России все новые подробности, более и более ужасные.

Конвент через день сошелся опять. И опять радовались дамы и хорошие господа, сытые и жизнерадостные.

— В парламенте снова большой день.

Трибуны опять были переполнены.

Для формы внесен был запрос о судьбе короля. Виктор Лорена повторил то, что все знали из газет. Но многозначительно прибавил:

— Подтверждения страшной вести не только не получено, но даже последние телеграммы извещают, что вскоре после того, как начался пожар, из сада близ пылающего дома поднялся на большую высоту громадный аэростат, который скрылся вскоре в юго-западном направлении. Потому следует еще надеяться, что их величества и принц Кирилл спасены. Нельзя думать, чтобы местные власти не приняли всех мер для ограждения безопасности иностранного монарха и его августейшей семьи. Итак, нам следует ждать, пока положение выяснится. До тех пор министерство, опираясь на доверие конвента, будет по-прежнему нести ответственность и бремя власти.

Никто в конвенте не разделял этого оптимизма. Произносились бурные речи. Клеймили русское правительство.

Все партии вносили свои резолюции. И ни одна не принималась, кроме одной, совершенно бессодержательной, но выражающей доверие министерству.

Вечером в газете Филиппа Меччио появилась короткая статья. Призыв:

— Граждане, соединитесь, организуйте власть сами. События не ждут.

Волнение народа усиливалось. Из городов приходили тревожные вести.

На Минорке была провозглашена социалистическая коммуна. На Питиусских островах, Ивисе и Форментере была сделана попытка провозгласить буржуазную республику; народ остался к ней равнодушен. Около Пальмы организовывались синдикаты.

Наконец, после краткого колебания, принц Танкред провозгласил себя королем. Виктор Лорена долго отговаривал его от этого шага. Но в душе был доволен, — был уверен, что самовольство Танкреда погубит его.

Так как Виктор Лорена отказался контрасигнировать манифест Танкреда о его восшествии на престол, то Танкред назначил своим первым министром герцога Кабреру; министром финансов был назначен барон Лилиенфельд; остальные министры Танкреда были назначены им из среды аграриев и аристократов. Но ни в одно из министерских зданий этим господам не удалось проникнуть, и они устроили свои временные канцелярии в своих собственных домах и в новом дворце, который по завещанию королевы Клары достался Танкреду.

Раздраженный конвент объявил принца Танкреда государственным преступником и решил предать его и его сообщников верховному суду. Одному из своих старейших членов, доктору государственного права Доминго Мендизабалу, конвент поручил обязанности судебного следователя, а министру юстиции — обязанности государственного обвинителя. Господин Мендизабал устроил свою камеру в здании парламента и послал принцу Танкреду, именующему себя королем, приказ явиться в его камеру. Такие же приказы посланы были и министрам Танкреда.

Армия разделилась на две части: за Танкреда и за национальный конвент. Танкред поторопился бросить верных ему солдат на парламент, чтобы выполнить свою программу государственного переворота, — разогнать народных представителей.

Около дворца и около парламента произошел уличный бой, краткий, но ожесточенный. Войска Танкреда были разбиты наголову.

Танкред пытался взойти на один из военных кораблей. Но в решительную минуту большая часть флота оказалась верною национальному конвенту. Паровой катер, на котором выехал из старого дворца Танкред, был встречен огнем скорострельных пушек Гочкиса. Пришлось вернуться.

Принц Танкред прятался в старом королевском дворце. Выхода не было. Войска конвента окружили дворец. А на море корабли, ставшие за Танкреда, отчасти были потоплены, отчасти, сильно подбитые, бежали. Танкред слышал, что есть подземный ход, но никто не знал, откуда этот ход начинается.

Принц Танкред спрятался в круглой башне, на вершину которой восходила Ортруда. Он слушал в своем убежище шумные крики солдат. Был один. Смотрел на звездное небо. Искал утешения в молитве.

В это время граф Камаи нашел, что пора предать Танкреда. Он переговорил с одним из командиров национального войска. Пехотный батальон был введен во дворец. Бесшумно ступая босыми ногами по мрамору коридоров, солдаты шли за графом Камаи. Слышался только отчетливый стук легких каблуков предателя.

Он подошел к двери в круглую башню и постучал. Послышался голос Танкреда:

— Кто там?

— Граф Камаи, ваше величество.

— Войдите.

Открылась дверь. Вошел граф Камаи.

Танкред радостно встретил его. Сказал:

— Последний верный друг. С чем вы приходите ко мне, граф?

Двусмысленно улыбаясь, граф Камаи отвечал:

— С солдатами, ваше величество.

И следом за ним ворвались солдаты, пыльные, потные, злые.

Граф Камаи отошел в сторону.

Принц Танкред защищался яростно и храбро. Его убили. Изрубленный труп его выбросили из окна на мостовую.

И лежал он всю ночь средь буйствующей столицы. Рано утром пришла цыганка. Она села над трупом и завыла горько:

— Танкред, безумный Танкред! Отдай мне мое золото!

Пришли солдаты, грубо оттолкнули цыганку, подняли труп и отнесли его в замок. Виктор Лорена распорядился, чтобы его хоронили со всеми почестями, приличными члену королевского дома. У принца Танкреда на континенте были родственники, и их не следовало раздражать.

Предательство графа Камаи не принесло ему никакой пользы. Ему предъявили обвинения в том, что, получив в свое распоряжение военный отряд для арестования принца Танкреда, он не принял мер для ограждения личной безопасности принца. Графа Камаи арестовали и повезли в тюрьму. По дороге толпа напала на его экипаж и оттеснила немногочисленный конвой. Графа Камаи вытащили из кареты и повесили на уличном фонаре.

Приверженцы погибшего принца Танкреда пытались бежать из Пальмы. Но мало кому из них это удалось. Министры Танкреда были арестованы. Верховный суд приговорил герцога Кабреру к смертной казни через расстреляние, остальных к пожизненному тюремному заключению.

Приверженцев Танкреда, взятых с оружием в руках, предавали военному суду, и он приговаривал их к смертной казни. Других просто убивала толпа, вешая на уличных фонарях. Так погиб в руках разъяренной толпы кардинал Валенцуэла.

Свирепые «дамы рынка» опять принялись истязать нарядных дам. Элеонору Аринас размыкали по приморскому шоссе, как древнюю Брунгильду. Только вместо лошадей взяли ее автомобиль, на котором она пыталась выбраться из Пальмы.

Дом Любви Христовой был разрушен, и пансионерок его жестоко избили.

Но никто не знал, что будет дальше и что теперь следует делать. Ни одна мера, вносимая в конвент, не собирала за себя большинства голосов. Ни одна партия не могла увлечь за собою весь народ Соединенных Островов.

Казалось, что Соединенным Островам предстоят дни смут, кровопролитных междоусобиц и, быть может, грозит присоединение к какому-нибудь из соседних государств или раздел между ними. К Пальме уже двигались иностранные корабли с сильными десантами.

Но вдруг в Пальме увидели с высоты небес световые сигналы. Огненные буквы на вечерних облаках возвестили:

— Король Георгий, королева Елисавета и наследный принц Кирилл спаслись и приближаются к Пальме на воздушном корабле.

Утром на прибрежье близ Пальмы медленно опустился громадный, великолепный хрустальный шар, подобный планете. Он тяжело вдавился в рыхлый морской песок и до половины ушел в землю. Толпы народа бежали из города и из окрестных селений к невиданному предмету, опять обратившемуся в громадное, полушаровидное хрустальное здание.

Двери этого великолепного голубого здания открылись. Король Георгий Первый вступил на землю своего нового отечества, чтобы царствовать в стране, насыщенной бурями.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

## МАКСИМИЛИАН ВОЛОШИН

# ЛЕОНИД АНДРЕЕВ И ФЕОДОР СОЛОГУБ

Альманах «Шиповника», кн. III. «Тьма», рассказ Л. Андреева. «Навьи чары», роман Ф. Сологуба, часть I.

Еще несколько лет тому назад «альманахи» были убежищами для «посвященных», отмеченных знаком «Скорпиона» или «Грифа».

На страницах их, как в катакомбах, встречались немногие верные, знавшие друг друга в лицо.

Но времена изменились.

Альманахи из катакомб превратились в салоны, в которых, не стесняя друг друга, могут встречаться наиболее несовместимые, наиболее далекие друг другу современники.

Встречи эти бывают невероятны, но это имеет свою прелесть.

Третий альманах «Шиповника» начинается повестью Леонида Андреева и заканчивается романом Феодора Сологуба.

Кто дерзнул бы сопоставить, кто попытался бы провести сравнения между этими писателями, столь несхожими, если бы они не оказались связанными страницами одной книги?

Та часть русской публики, которая любит в Леониде Андрееве его мучительные искания н ценит его как мыслителя по «Жизни человека» и по «Елеазару», та публика не знает и не понимает ни горького сарказма, ни тонких намеков, ни сложной мифологии, ни классической простоты языка Сологуба.

Те же (пока еще немногие), кто любят в Сологубе то совершенство языка, которое ставит его прозу новою ступенью в истории русской речи, несравненное искусство построения и его точный прозрачный символизм, те не интересуются искренним, но неглубоким пессимизмом, сильным, но грубым пафосом Леонида Андреева.

Сологуб и Леонид Андреев нисколько не противоречат и не уничтожают друг друга, они не олицетворяют двух каких-либо полюсов в русской литературе, они никак друг другу не соответствуют, они иррациональны.

Быть может, даже если мы сможем отрешиться от всех форм и требований искусства, то мы найдем между ними некое отдаленное сходство, которое сведется к безвыходной муке земного воплощения и к тому осадку горечи и отчаяния, который неизбежно остается в душе, принявшей в себя обманное марево их произведений.

И в то же время сопоставление их на страницах альманаха «Шиповника» производит впечатление антитезы.

Это впечатление, в глубине неверное, возникает потому, что Леонид Андреев является как бы оригинальнейшим мастером в группе беллетристов, взошедших под знаком «Знания», в то время как Сологуб остается совершеннейшим мастером прозы среди декадентов.

Но между группой «Знания» и декадентами тоже нет противоречия, а есть только та иррациональность, что вообще существует между реализмом и символизмом.

Леонид Андреев и Сологуб соединены в одной книге только нумерацией страниц: от 9 до 67 — Андреев, от 189 до 305 — Сологуб.

Не похоже ли это на страницу учебника физики, где мы читаем, что вибрации от 32 до 32 768 мы воспринимаем в качестве звука, и те же самые вибрации между 35 трильонами и двумя квадрильонами — в виде света?

Я хочу сказать, что та безвыходность отчаяния, которая одинаково живет в обоих этих писателях, в Леониде Андрееве является нам в виде звука, т.е. крика во «Тьме», а в Сологубе в виде света, озаряющего целую систему темной вселенной.

Искусство их так же несравнимо, как звук и свет, хотя рождено из того же потрясения человеческой души.

Есть разница и в диапазоне этих художников.

В то время как Сологуб захватывает всю семицветную радугу света от ультракрасных до ультрафиолетовых лучей, Леониду Андрееву доступны только высшие ноты напряжения звука.

В распоряжении его нет оркестра звуков — он не знает ни ласкового шепота, ни тихих мелодий песни, потому что голос его надорван от крика.

Этот хриплый и прерывающийся крик надрывает сердце своим отчаяньем. В этом, а не в искусстве письма тайна того впечатления, которое производит Андреев.

Художник прежде всего музыкант.

Художник познает законы жизни, т.е. гармонию ее, независимо от его личного приятия или неприятия мира.

У Сологуба, например, познание музыкальной гармонии мира доведено до высших ступеней, но мира он не принимает и жаждет сладкого небытия, мед смерти предпочитает желчи жизни.

С этой точки зрения Андреев совсем не художник. Он не ищет тех внутренних законов, по которым строится жизнь и по которым вырастает дух.

Собственное свое слепое чувство, не сознавая и не претворяя его, он переносит в мир объективный, украшая обилием реалистических подробностей, цель которых — заставить поверить читателя, убедить в том, что все так и есть.

В живописи такой прием называется «trompe l'oeil»*, и художники порицают его.

Фигуры на гробницах Медичей нечеловечны, но они созданы по тем же законам, по которым Бог творил человека, и потому живут.

Если же художник, который не знает законов рисунка, которые для живописи есть то же, что законы жизни для поэта, стремится ошибки свои загладить стереоскопическою выпуклостью фигур, он совершает художественный обман.

В одном из первых рассказов Андреева была деталь, очень запомнившаяся всем читавшим его тогда: у господина, внезапно умершего за картами, на подошве сапога прилипла бумажка от карамельки. В этой случайной подробности как бы сосредоточивался весь ужас смерти, и она потрясала своей рельефностью, как большой блик, удачно поставленный портретистом в зрачке глаза.

Прием этот типичен для манеры письма Леонида Андреева и вполне соответствует тому, что называется «trompe l'oeil».

Его мы встречаем у него теперь на каждом шагу. Тот же trompe l'oeil, когда он в «Тьме» говорит о «волосатых грязных ногах с испорченными, кривыми пальцами» и «мозоли на левом мизинце» у террориста, которого пришли арестовывать.

Его страдание и его человеческое чувство остаются с ним, но всю свою художественную наблюдательность, которая очень велика у него, он употребляет не на постижение законов, а на собиранье импрессионистических подробностей.

Он злоупотребляет ими, совершенно не зная чувства меры, и каждая картина его пестрит нестерпимо тысячами ярких бликов.

Это происходит оттого, что у Леонида Андреева нет живых людей, а есть манекены, которых он заставляет разыгрывать драму своей собственной души, но при этом старается их украсить всеми качествами реальности, сделать их преувеличенно четкими и выпуклыми.

Как пример обратного творчества можно привести Бальзака, который, взяв определенный характер, ставил его в известный круг обстоятельств и с холодным вниманием ученого, наблюдающего химическую реакцию, отмечал все движения души и действия своего героя.

Тот же метод, но бессознательнее и гениальнее был у Достоевского.

---

* Изображение, создающее иллюзию реальности; обманчивая внешность (*фр.*).

Поэтому нет ничего ошибочнее, как сопоставление Леонида Андреева с Достоевским, которое так невольно напрашивается.

Поскольку Леонид Андреев проявляется в своих произведениях как личность, он сам мог бы быть одним из героев Достоевского, но как художник он идет путем обратным.

Не менее ошибаются и те, которые считают Андреева символистом.

Быть символистом значит в обыденном явлении жизни провидеть вечное, провидеть одно из проявлений музыкальной гармонии мира.

«Все преходящее есть только символ», — поет хор духов в «Фаусте».

Символ всегда переход от частного к общему.

Поэтому символизм неизбежно зиждется на реализме и не может существовать без опоры на него.

Здесь лишь одна дорога — от преходящего к вечному.

Все преходящее для поэта есть напоминание, и все обыденные реальности будничной жизни, просветленные напоминанием, становятся символами.

Поэтому по существу своему символизм ясен и прозрачен, и если он является иногда запутанным и темным, то это не вина символизма, а вина либо плохого поэта, либо невнимательного читателя.

Образцом символа может служить в романе Сологуба образ полуденного солнца, о котором он говорит везде как о злом, огненном Змие.

Он говорит о «тяжелых взорах пламенного Змия», падающих на землю, о «грозном лике чудовища, горящего и не сгорающего над нами», и о том, что «погаснет неправедное светило, и в глубине земных переходов люди, освобожденные от опаляющего Змия, вознесут новую, мудрую жизнь».

И не впервые в «Навьих чарах» встречается этот образ. Он проходит через все творчество Сологуба, и в редком произведении его нет намека на «свирепого Дракона».

Напомню описание полудня в рассказе «Чудо отрока Лина».

«Был знойный день и самый яркий час дня после полудня. Огненно-мглистый небесный Дракон, дрожа от всемирной безумной ярости, изливал из пламенной пасти на безмолвную и унылую равнину потоки знойного гнева. Иссохшая трава приникла к жаждущей и ждущей тщетно влаги земле, и тосковала вместе с нею, и томилась, и никла, и задыхалась в пыли. Сжигаемая яростным Драконом, покорная и бессильная лежала Земля...»

Этот образ служит одним из важнейших ключей ко всему творчеству Сологуба.

В мире, созданном им, земля отдана во власть неправедного светила светодателя Люцифера, лютого Змия, которого она выносит лицом к лицу, который

со злорадством правит всею мелкою пошлостью, всею «Передоновщиной» дневной жизни.

Спасением от яростного Дракона Сологубу является Ночь «тихая и милая», когда «тайно пламенеет великий огонь расцветающей Плоти», и подруга Ночи — ласковая Смерть, и радостный уют прохладной могилы.

Так в каждом преходящем солнечном луче таится для Сологуба напоминание о конечной трагедии его мира.

Если же мы возьмем сравнения и образы Леонида Андреева, выводящие нас за пределы реальности, то мы увидим нечто диаметрально противоположное.

Вот ряд образов из «Тьмы»: «Восхищенный сон, широко улыбнувшись, приложился шерстистой щекой своей к его щеке — одной, другою — обнял мягко, пощекотал колени и блаженно затих, положив мягкую, пушистую голову ему на грудь».

...«Торжествуя, взвизгнул милый, мохнатый сон»...

...«Заиграла музыка в зале, запрыгали толкачиками коротенькие, частые звуки с голыми безволосыми головками»...

...«Решительным движением он выхватил револьвер, точно улыбнулся в чей-то черный, беззубый, провалившийся рот»...

...«Вылез своей мятой рожей дикий, пьяный, истерический хаос»...

Примеров этих достаточно, тем более что они очень типичны для манеры Леонида Андреева и пути его творчества сказываются в них ясно.

Он вовсе не стремится прозреть в частном общее, а напротив — всякое отвлеченное понятие низводит до частного, снабжая его реалистическими и часто совсем необоснованными признаками.

У хаоса — мятая рожа; у сна — шерстистые щеки; у звуков музыки — безволосые головки.

Все это не символы, не образы, не аллегории, даже не олицетворения, а те же «trompe l'oeil», которыми он так злоупотребляет, бумажки от карамельки, которые он наклеивает не только на подошвы сапог своих трупов, но и на душевные состояния, и на отвлеченные понятия.

И вот что выходит: он, будучи по природе своей проповедником, который в покаянном экстазе бьет себя в грудь, кается в своих грехах, и обличает других, и вопит, и зовет, он вместо этого замыкается в тысячах ненужных реалистических деталей.

Точно демон в арабских сказках, который в порыве ярости замыкает себя в узкую бутылку и остается там пленный, припечатанный печатью Соломоновой.

Совершенно ясно, что теперь — в период «Иуды» и в период «Тьмы» — он захвачен всецело вопросом о конечной жертве: «можно ли принять на

себя предательство Христа? можно ли оставаться хорошим, когда другие плохи?»

И ясно тоже, что в этом вопросе его не интересует то, как это разрешается у других людей. Вопрос этот он разрешает сам для себя и отвечает точно: «Личную добродетель надо принести в жертву. Иуда должен предать Христа. Не хочу быть хорошим, когда плохи другие. Вот вам моя добродетель, топчите ее, публичные девки».

И уже почти от своего лица провозглашает истерический тост: «За нашу братию! За подлецов, за мерзавцев, за трусов, за тех, кто умирает от сифилиса... За всех слепых от рождения! Зрячие, выколите себе глаза, ибо стыдно зрячим смотреть на слепых от рождения! Если нашими фонариками мы не можем осветить всю тьму, так погасим же все огни и все полезем во тьму. Выпьем за то, девицы, чтобы все огни погасли!»

В слова эти он вложил столько отчаянья и восторга, что они могли бы сдвинуть сердца, если бы... если бы они не были заперты, как демон в бутылку, если бы они не были замкнуты внутрь этой чересчур выпуклой, чересчур эффектной реалистической живописи, в которой нет биения жизни, а есть лишь искусно придуманные, подобранные «trompe l'oeil».

Образы, в которые одевает он свои душевные страдания, мертвят и душат то, что он хочет сказать, а сами приобретают ту дьявольскую, мертвенную живость, которой горели глаза гоголевского «Портрета».

Поэтому все его произведения не освобождают, а пригнетают, не дарят, а отнимают.

Христианские ереси создавали трогательнейшие культы в честь отверженцев Библии — Каина и Иуды, утверждая в них великий закон жертвы, вплоть до жертвы конечным спасением своей души.

А Леонид Андреев, познав этот закон, каких чудовищ создал он из своего Иуды, из своего Террориста? Какой кошмар вышел у него из жизни человека и из радостной легенды о воскресшем Лазаре?

Не художник нас потрясает в Андрееве, потому что он совсем не художник, не проповедник, потому что он не умеет проповедовать, — потрясает темная и мятежная душа, надрывающая своим косноязычьем, невозможностью найти свой ритм, свои слова.

В любом рассказе Леонида Андреева видишь сразу и средоточие его души, и окружность его творчества.

Как личность он сказывается целиком в каждом своем произведении и замыкается в правильный круг.

У Сологуба нечто иное: в каждом из его произведений видишь только один отрезок, окружность, и лишь по изгибу его мысленно представляешь себе, где его центр, но не можешь ни обозреть сразу всего круга, ни коснуться его срединного огня.

Несмотря на свою видимую прозрачность, Сологуб поэт бесконечно сложный, и для того чтобы познать его душу, надо вычислить орбиты всех его произведений.

И тот, кто сделает это, увидит, что он стоит посреди своих планет, подобно Пламенному Змию, который служит для него неизменным символом Солнца.

Как фигуры на гробницах Медичи, мир его нечеловечен, но живет.

Быть может, это одна из возможностей, одно из долженствований мира.

Он прекрасен, строен и создан по тем же законам музыкальной гармонии, что и Божий мир, но только все в нем наоборот, и сам он в небе своем как неправедное светило — Антисолнце.

«Навьи чары» Сологуб начинает словами: «Беру кусок жизни грубой и бедной и творю из него сладостную легенду, ибо я поэт. Коснеи во тьме, тусклая, бытовая, или бушуй яростным пожаром, — над тобой, жизнь, я, поэт, воздвигну творимую мною легенду об очаровательном и прекрасном».

Не этими ли словами Светоносец Змий обольщал Еву в раю?

Но сладки обольщения поэта, и очарованию его нельзя противиться.

Только первая часть «Навьих чар», носящая имя «Творимой легенды», напечатана в альманахе, и многие из намерений автора остаются еще неясными и загадочными.

Но все же этим сказкам о поэте, химике и чародее Триродове и о его таинственном доме с подземными ходами, магическими зеркалами и темно-красными призмами из неизвестного материала веришь больше, чем рассказу Леонида Андреева, снабженному столькими оправдательными документами и подробностями, свидетельствующими о том, что все так и было на самом деле.

Но Сологуб сумел достичь того, что сказке его хочется верить, а прочтя «Тьму», — против самой очевидности повторяешь: «Нет, не видел. Ничего этого не было и не может быть».

Со змеиным искусством и неотразимою убедительностью Сологуб развенчивает, опрозрачивает и будничную действительность обывательской жизни, и она становится похожа на серый волнующийся призрак, на наваждение знойного полудня. А между тем за оградами Нового Двора он строит иную жизнь — прекрасную и стройную — райскую школу свободных, счастливых полуобнаженных детей, живущих в лесу на берегу озера.

«Мы совлекли обувь с ног и к родной приникли земле. И совлекли одежду, и к родным приникли стихиям, и нашли в себе человека, только человека, — ни грубого зверя, ни расчетливого горожанина, — только плотью и любовью живущего человека».

Но над этим первобытным раем несознавшего себя человека он ставит таинственную и недобрую власть Триродова с Новым домом и непонятными «Тихими» мальчиками.

«Сознание есть великий разрушитель реальностей», — гласит индусская книга «Голос молчания».

Сознанием этим в высшей степени обладает Сологуб. Он умеет совлекать с жизни покров реальностей и из мечты создавать реальности новые. Что может быть страшнее и реальнее, чем его описание прохождения мертвых по «Навьей тропе», и что более похоже на сон, чем споры его социал-демократов и массовка ночью в лесу?

Сологуб умный и недобрый колдун. В своем новом романе он завел огромную колдовскую игру, в которой замешаны силы земные, небесные и дьявольские.

И трудно оторваться от его полуденных наваждений и навьих чар.

Вначале сопоставление Леонида Андреева и Феодора Сологуба казалось мне невозможным и невероятным на страницах одной книги.

Но теперь это мне больше не кажется, и я склонен думать, что редакция «Шиповника» имела, поступая так, мысль тайную, но вполне определенную.

ЕВГЕНИЙ ЗАМЯТИН

## ФЕДОР СОЛОГУБ

Дело было в кабинете генерала Бетрищева. Именно там Павел Иванович Чичиков сказал: «Ты полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит». И поднесено это было с такой ловкостью и так внушительно, что генерал Бетрищев поверил, что это — аксиома. Но попробуйте перенести ее из плоского чичиковского мира, из мира мертвых душ, в мир, где горят трагические души — и вы увидите, что эта общепризнанная аксиома окажется перевернутой на голову, вы увидите, что полюбить черненькой или серенькой любовью дано всякому (из Чичиковых), и лишь немногим под силу трудный путь иной любви. Одним из этих немногих — Федор Сологуб.

Помню, однажды летом 1920 года мы ехали с Блоком в трамвае по Литейному и, стоя в тряске, держась за ремни, говорили. Блок сказал: «Сейчас Россию я люблю ненавидящей любовью — это, пожалуй, самое подходящее определение». Да, это блоковское определение — ненавидящая любовь — самое подходящее и для той любви, которою болен Сологуб. Молния вспыхивает только тогда, когда один из полюсов заряжен положительно, другой отрицательно. Эта любовь как молния: на одном полюсе ее — непременно минус, непримиримый, острый.

Блок мне вспомнился не случайно: Сологуб и Блок — одного ордена, в обоих — если напряженно в них вслушаться — звучит один и тот же обертон, оба, сквозь ревы и визги жизни, непрестанно слышат один и тот же голос: Прекрасной Дамы. И пусть Блок зовет ее Незнакомкой, а Сологуб — Дульцинеей, она — одна, и ни тот, ни другой никогда не примирится с тем, чтобы дама — стала Дарьей, просто — Дарьей, аппетитно позевывающей за ужином в папильотках и в капоте. Дарья или Альдонса (это все равно: у нее тысячи имен; нет только одного: Дульцинея) — дебела и румяна, она — женщина не плохая, она — не черная, нет, черненькая; может быть, серая; больше: может быть, даже почти белая. И любой из Чичиковых, любой из Санхо-Панс с восторгом примут ее — потому что они мудры, они знают, что и на солнце есть пятна, они знают, что принять человека и жизнь со «всячинкой», с «почти», полюбить их черненькими или серенькими — куда практичней, проще, удобней, благоразумней. А чудак Дон Кихот и чудак Сологуб тотчас же уйдут от Альдонсы — потому что в них есть какой-то реактив, который улавливает, если в вино Альдонсы-жизни брошен хотя бы один миллиграмм «всячинки», одна только капля «почти». И бокал с таким вином Дон Кихот и Сологуб — выплеснут за окно. Не потому, что они не любят вина жизни, а потому, что они его любят больше, чем кто-нибудь, потому что они слишком любят его, они хотят или чистейшее — или никакого, или все — или ничего. И этим определяется путь тех, кому послан прекрасный мучительный дар непримиримой любви.

Путь этот — трагический путь Агасфера, путь в Дамаск сологубовского рыцаря Ромуальда из Турени, путь тех вечно несытых душ, о которых поют в Чистый четверг на Страстной. Пусть розы, пальмы, фонтаны, купола встреченного в пустыне города тысячам скажут, что это и есть Дамаск — Дон Кихот, и Сологуб, и его рыцарь Ромуальд уйдут из Дамаска дальше, им идти в пустыне без конца, пока они не лягут там костьми. Великий и тяжкий их рок в том, что их не удовлетворит нникакой достигнутый Дамаск: всякое достижение, всякое воплощение убивает для них настоящий Дамаск, для них нет ничего страшнее оседлости, стен. Именно здесь их полярность с миллионами Чи-

чиковых и Санхо-Панс, как бы в жизни они ни назывались. Чичиковы могут жить только в стенах, в прочном, решенном, найденном, в отвеченном, рыцарь Ромуальд и Сологуб могут жить только тогда, когда впереди есть еще ненайденное, нерешенное. Чичиковым страшнее всего бесконечность; для Сологуба, для романтика, [немыслимо пребывать] в неистовом восторге от того, что заблудившийся в софизмах Эйнштейн вычислил, что вселенная — конечна и радиус ее равен стольким-то миллиардам верст; если бы Сологуб не знал, что это только софизм, он не мог бы жить в этой вселенной, она была бы тесна для него: в ней — все равно когда — можно дойти до конца.

Я все время ставил рядом эти два имени: Дон Кихот Ламанчский и Федор Сологуб. Это делалось часто, с тех пор как Сологуб вышел на турнир со щитом, на котором сам же написал имя своей дамы: Дульцинея. И все-таки ошибся Сологуб, ошибся я, ошиблись все. Параллельность линий Дон Кихота и Сологуба — только кажущаяся: в какой-то точке линии их пересекаются, чтобы затем разойтись в разные стороны. И угол расхождения этого так велик, что в конце своего пути Дон Кихот перестает быть Дон Кихотом. Многие слышали эти последние его слова: «Полноте, друзья мои, какой я рыцарь Ламанчский: нет, я просто — Алонсо Добрый». От Сологуба этих слов никто и никогда не услышит.

Если в любви Сологуба — цвет раскаленной добела молнии, вспыхивающей между двумя полюсами, спаивающей огнем плюс и минус, то в любви Дон Кихота — цвет облака, стремящегося в бесконечную даль. Любовь Дон Кихота — мягка и добродушна, он никого не убивал; любовь Сологуба — беспощадна, Сологуб убивает.

Но оружие, которым убивает Сологуб, — это тот самый стилет, что у средневековых рыцарей назывался «мизерикордия» (милосердие): им, из человеколюбия, прикалывали раненых насмерть. Именно так — из человеколюбия, мизерикордией — закалывает Сологуб всех своих любимых героев, чтобы избавить их от горечи открытия в Дульцинее Альдонсы. В «Отравленном саду» — Юноша и Красавица, конечно, умирают, в первый раз обнявши друг друга. Конечно, умирает на пути в Дамаск рыцарь Ромуальд из Турени. И Вера — «Заклинательница змей» — в тот самый момент, когда ей остается всего один шаг до ее Дамаска, — несомненно должна умереть. И Сережа в рассказе «Звезды» — «бросается торопливо и радостно с темной земли к ясным звездам», чтобы умереть. И лучезарная Рая является Мите — в рассказе «Утешение» — для того, чтобы сказать: «Не бойся», — когда Митя кидается вниз с четвертого этажа. Так у Сологуба неизменно с каждым из тех, кого он любит. Это — милосердная жестокость сологубовской любви к человеку.

Но человек — человек только тогда, когда он в точности соответствует своему биологическому имени: когда он — homo erectus *, когда он уже встал с четверенек и умеет смотреть вверх, в бесконечность. К тем, кто еще на четвереньках, кто еще роется пятачком в земле, к Санхо-Пансам — румяным, дебелым, удовлетворенным, конечным — к ним Сологуб немилосерден; их он казнит жизнью, они никогда у него не умирают, они не могут умереть. Посмотрите: на всем огромном протяжении «Мелкого беса» не умнрает никто, там бессмертны. Всегда говорят о бессмертии великих людей, героев — это, конечно, ошибка: герой неразрывно связан с трагедией, со смертью; неистребимо-живуч, бессмертен — мещанин. И для него, бессмертного, у Сологуба уже не мизерикордия, а другое немилосердное оружие: кнут.

Кнут еще мало оценен как орудие человеческого прогресса. Действительнее кнута я не знаю средства, чтобы поднять человека с четверенек, чтобы человек перестал стоять на коленях перед чем и перед кем бы то ни было. Я говорю, конечно, не о кнутах, сплетенных из ремней, я говорю о кнутах, сплетенных из слов, о кнутах Гоголей, Свифтов, Мольеров, Франсов, о кнутах иронии, сарказма, сатиры. И таким кнутом Сологуб владеет, может быть, еще лучше, чем стилетом мизерикордии. Прочтите две книги его сказочек — и вы увидите, что они еще так же остры, как и двадцать лет назад. Прочтите «Мелкого беса» — и вы увидите, что Передонов обречен бессмертью, обречен вечно бродить по свету, писать доносы и «всех значительных в городе лиц уверять в своей благонадежности».

За цветами нужно ухаживать, чтобы они росли; плесень растет всюду сама. Мещанин — как плесень. Одно мгновение казалось, что он дотла сожжен революцией, но вот он уже снова, ухмыляясь, вылезает из-под теплого еще пепла — трусливый, ограниченный, тупой, самоуверенный, всезнающий. И нужно, чтобы над ним снова просвистел бич сатиры, нужен новый «Мелкий бес».

Патент на кнут не без основания историей записан на имя России, но только на кнут из ремней: ирония, сатира в русскую литературу привезены с Запада. И хотя для сатиры нет почвы более урожайной, чем наш чернозем, — до сих пор у нас вызрело трн-четыре полновес-колоса, и один из них, конечно, Сологуб. Причина этого отчасти в том, что в Россин Санхо-Пансы всегда были слишком слабонервны, чтобы у них хватало мужества спокойно слышать сатиру. Я не знаю, был ли когда отменен приказ Петра I: «За составление сатиры сочинитель ее будет подвергнут злейшим истязаниям». Но главное не здесь: просто русский писатель, за малыми исключениями, всегда был уже слишком по-русски добродушен и мягкотел. В этом Сологуб, к счастью, не русский: он умеет, когда надо, стать сталью, блестящей, беспощадной.

* Человек выпрямленный (*лат.*).

Европейское у Сологуба — не только в его сатире, весь его стиль закален европейским закалом и гнется по-стальному. Без малейших следов надлома или трещины он выдерживает стовосьмидесятиградусный перегиб от каменнейшего, тяжелейшего быта — в фантастику, от земли, пропитанной запахом водки и щей — в землю Ойле. Тонкое и трудное искусство — к одной формуле привести и твердое, и газообразное состояние литературного материала, и фантастику, и быт — давно уже известно европейским мастерам; из русских прозаиков секрет этого сплава по-настоящему, может быть, знают только двое: Гоголь и Сологуб.

Слово приручено Сологубом настолько, что он позволяет себе даже игру с этой опасной стихией, он сгибает традиционный прямой стиль русской прозы. В «Мелком бесе», в «Навьих чарах», во многих своих рассказах он намеренно смешивает крепчайшую вытяжку бытового языка с приподнятым и изысканным языком романтика; в «Ваньке-ключнике и паже Жеане» эти диссонансы заострены еще больше и осложняются очаровательной игрой намеренных анахронизмов, в «Сказочках» — новый уклон: игра гиперболированным фольклором. Всей своей прозой Сологуб круто сворачивает с наезженных путей натурализма — бытового, языкового, психологического. И в стилистических исканиях новейшей русской прозы, в ее борьбе с традициями натурализма, в ее попытках перекинуть какой-то мостик на Запад — во всем этом, если вглядеться внимательно, мы увидим тень Сологуба. С Сологуба начинается новая глава русской прозы.

Если бы вместе с остротой и утонченностью европейской Сологуб ассимилировал и механическую опустошенную душу европейца, он не был бы тем Сологубом, который нам так близок. Но под строгим, выдержанным европейским платьем Сологуб сохранил безудержную русскую душу. Эта любовь, требующая все или ничего, эта нелепая, неизлечимая, прекрасная болезнь — болезнь не только Сологуба, не только Дон Кихота, не только Блока (Блок именно от этой болезни и умер) — это наша русская болезнь, morbus rossica. Этой именно болезнью больна лучшая часть нашей интеллигенции — и, к счастью, всегда будет больна. К счастью потому, что страна, в которой уже нет непримиримых, вечно неудовлетворенных, всегда беспокойных романтиков, в которой остались одни здоровые, одни Санхо-Пансы и Чичиковы, — раньше или позже обречена захрапеть под стеганым одеялом мещанства. Быть может, только в огромном размахе русских степей, где будто еще недавно скакали не знающие никакой оседлости скифы, могла родиться эта русская болезнь. При всем своем внешнем европеизме Сологуб — от русских степей, по духу — он русский писатель куда больше, чем многие из его современников, например, Бальмонт или Брюсов. Жестокое время сотрет многих, но Сологуб — в русской литературе останется.

*1924*

ПРИМЕЧАНИЯ

## Творимая легенда. Роман

Впервые — в альманахах издательства «Шиповник»: Навьи чары. Роман. Часть первая. Творимая легенда. СПб., 1907. Кн. 3; Навьи чары. Роман. Часть вторая. Капли крови. 1908. Кн. 7; Навьи чары. Роман. Часть третья. Королева Ортруда. 1909; сборники «Земля»: Дым и пепел. Роман. Сб. 10, 11. М.: Московское книгоиздательство, 1912. Вторая и окончательная редакция романа с новым названием (вместо «Навьих чар» — «Творимая легенда»; четыре его части были сведены в три) появилась в изд.: Сологуб Ф. Собр. соч. СПб.: Сирин, 1913—1914. Т. 18, 19, 20. Печ. по этому изд. В тексте второго варианта изменения коснулись не только названия: в романе некоторые эпизоды сняты и написаны новые, произведены перемещения фрагментов глав. Как отмечает публикатор первого и пока единственного современного издания «Творимой легенды» А.И. Михайлов, «всем этим достигалась цель не только более упорядоченного и гармонического распределения материала, но и большего прояснения основной концепции романа. Да, собственно, и заменой заглавия она уже достаточно определилась в более оптимистическую сторону. «Навьими чарами», несомненно, подчеркивалась мысль об активности «мертвых», роковых, неподвластных человеку сил иного бытия. «Творимая легенда» же в качестве основной действующей силы предполагает уже только самого человека. Все герои романа участвуют в творчестве легенды. Одни своей красотой и добротой, другие просто красотой без доброты, третьи своими преступными наклонностями, заключенной в них силой зла, четвертые своими несчастьями и почти все своей любовью, страданием и мечтой. А над всеми ими возвышается подлинный демиург этого огромного мира, созидаемого творческой силой духа, — сам автор» (М.: Современник, 1991. С. 566).

Прочитав еще только первую часть романа, М.А. Волошин решительно заявил: «Сологуб остается совершеннейшим мастером прозы среди декадентов» (*Волошин М.* Леонид Андреев и Феодор Сологуб // Газ. «Русь». 1907. 19 дек. № 340). Эта статья Волошина и его же вторая «Похвала моралистам» (Русь. 1908. 9 апр. № 99) открыли серию публикаций критиков, которые вслед за ним провели сопоставительный, параллельный анализ творческих методов двух крупнейших художников начала века — символиста Сологуба и экспрессиониста Андреева, отдавая предпочтение новаторству первого: см. статьи Вл. Кранихфельда в «Современном мире». 1908. № 1; В. Львова-Рогачевского в «Образовании». 1908. № 2; Л.Я. Гуревич в кн. 7 «Шиповника» и «Правде жизни». 1908. 8 дек.; Е. Лундберга в «Заветах». 1914. № 2; В. Воровского в сб. «О веяниях времени». 1908; Р.В. Иванова-Разумника в кн. «О смысле жизни». СПб., 1908.

**Часть первая. Капли крови**

С. 7. *...тяжелые взоры пламенного Змия.* — «Золотой», «пламенный», «горящий», «лютый» Змий — центральный и очень важный для понимания сологубовского символизма образ, встречающийся у него и в прозе, и в стихах (например, в стихотворениях «Змий, царящий над вселенною...», 1902; «Безумием окована земля...», 1902; «Восходит Змий горящий снова...», 1903). Анализируя только что прочитанную «Творимую легенду» (тогда еще первую часть «Навьих чар»), Волошин пишет: «Образцом символа может служить в романе Сологуба образ полуденного солнца, о котором он говорит везде как о злом, огненном Змие. <...> Этот образ служит одним из важнейших ключей ко всему творчеству Сологуба» (Русь.1907. 19 дек. № 340. См. в нашем изд. «Приложение»).

С. 10. *Туника* — древнеримская одежда, белая рубаха с короткими рукавами.

*Курослеп* — народное название некоторых травянистых растений с желтыми цветками.

С. 11. *Донник* — растение из семейства бобовых с сильным своеобразным ароматом.

С. 15. *...поцелуи злого Дракона, катящегося в жарком небе...* — Дракон — из постоянных мифических персонажей в поэзии Сологуба («Я любви к тебе не знаю, // Злой и мстительный Дракон...», 1904). «Дракон — Мое дневное сердце, // Змея — ночная грусть Моя», — пишет Сологуб в стихотворении «Вячеславу Иванову» (1906).

С. 18. *Уайльд* Оскар (1854—1900) — английский поэт, прозаик, драматург.

С. 21. *...дикий вид лесного зоя.* — Зой (зоя) — зык, вопль, крик, шум, гул, голк, вой, визг, рык (В.И. Даль). Здесь, возможно, означает воплощенный образ лесного эха.

С. 25. *...изображения Божественного Отрока...* — Предположительно, это Антиной — любимец царя Адриана, утонувший в р. Нил в 130 г. н.э. В честь юноши божественной красоты был сооружен храм, изваяны статуи, основан г. Антинополь, отчеканены монеты.

С. 26. *Шарабан* — открытый четырехколесный экипаж с поперечными сиденьями в несколько рядов.

С. 28. *Цезаропапизм* — политическая система, при которой в одном лице соединяется глава государства и церкви (в Византии, в Ватикане).

*...свирепый и мстительный Адонаи...* — Адонаи (Адонай; «Господь мой») — одно из обозначений Бога в иудаизме, имя которого — Яхве (Ягве, Иегова) — не произносится вслух.

*...золотою свирелью Аполлона.* — В греческой мифологии олимпийский бог Аполлон был музыкантом, покровителем певцов, водителем муз (Мусагетом); свою кифару он получил от Гермеса в обмен на коров. Аполлон жестоко наказывал тех, кто пытался состязаться с ним в музыке.

*Обструкция* — род протеста, метод борьбы, преимущественно парламентской, направленный на срыв заседания, собрания и т.п.

С. 29. *Идет Хам и грозит пожрать нашу культуру.* — Хам — в библейской мифологии один из трех сыновей праведника Ноя, спасенный в ковчеге от потопа, но оказавшийся непочтительным к отцу, за что был им проклят. Нарицательный образ наглого, невоспитанного человека, готового на подлости. В начале XX в. философы и публицисты называли ожидаемые социальные потрясения в России «приходом Великого Хама». «Одного бойтесь, — предупреждал Мережковский, — рабства и худшего из всех рабств — мещанства и худшего из всех мещанств — хамства, ибо воцарившийся раб и есть хам, а воцарившийся хам и есть черт — уже не старый, фантастический, а новый, реальный черт, действительно страшный, страшнее, чем его малюют, грядущий Князь мира сего, Грядущий Хам» (Мережковский Д.С. Грядущий Хам // Полярная звезда. 1905. № 1).

С. 30. *Смердяков* — персонаж романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы».

С. 31. *...к этому блузнику...* — Блузники (разг., пренебрежительное о носящих блузу, цветную рабочую рубашку) — ремесленники, рабочие.

С. 37. *Конституционалисты* — поддерживающие программу конституционно-демократической (кадетской) партии, называвшейся также «партией народной свободы». Кадеты и их лидеры П.Н. Милюков, А.И. Шингарев, В.Д. Набоков своей целью провозгласили установление конституционно-парламентской монархии и демократической свободы, принудительное отчуждение помещичьих земель за выкуп, законодательное решение «рабочего вопроса».

С. 38. *Патриоты* — здесь имеются в виду представители крайне правых организаций в России в 1905—1917 гг. «Союз русского народа», «Союз Михаила Архангела» и др., выступавших под лозунгами монархизма, великодержавного шовинизма и антисемитизма.

С. 41. *Афродита* — в греческой мифологии богиня любви и красоты.

С. 42. *Курсистка* — до 1917 г. слушательница Высших женских и других курсов; студентка.

*Юнкер* — в России до 1917 г. воспитанник военного (юнкерского) училища.

С. 43. *...как Егорий повелевает!* — Егорий — Георгий Победоносец, один из самых почитаемых в России святых, объявленный покровителем Москвы.

С. 50. *Вестон* — мужская верхняя одежда начала XX в. — черный однобортный пиджак, борта и обшлага которого обшиты тесьмой. Носили с жилетом и брюками в полоску.

С. 54. *Концессия* — договор между предпринимателем и государством о сдаче в эксплуатацию природных богатств или хозяйственных объектов.

С. 57. *...с вакхическим упоением...* — Вакх (лат. Бахус) — в античной мифологии одно из имен Диониса, греческого бога растительности, вина и веселья. В Древнем Риме в честь Вакха устраивались празднества — вакханалии (в Греции — Дионисии).

С. 70. *Эсдеки (с.-д.)* — члены Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП).

*Эсеры (с.-р.)* — члены партии социалистов-революционеров (1901—1922).

С. 72. *Магометанство* — ислам, одна из наиболее распространенных (наряду с христианством и буддизмом) религий.

*Борис Годунов* (ок. 1552—1605) — русский царь с 1598 г.

*Октябристы* — представители право-либеральной партии «Союз 17 октября», названной в честь манифеста 17 октября 1905 г., провозгласившего вступление России на путь конституционной монархии.

С. 74. *Уэльс* — Герберт Джордж Уэллс (1866—1946) — английский классик научно-фантастической литературы.

С. 75. *Анчутка беспятый* — в восточнославянской мифологии злой дух, одно из русских названий чертенят.

С. 82. *Иванова ночь* — канун праздника Рождества Иоанна Крестителя, дня летнего солнцестояния — 24 июня. В ночь накануне Ивана Купалы совершаются купальские обряды: сбор трав и цветов, плетение венков, разжигание костров и перепрыгивание через них, обливание водой, гадания, ритуальные праздничные бесчинства.

*Навья тропа* — тропа мертвых (нав — мертвец).

С. 87. *...из породы пшютов.* — Пшют — пошляк, хлыщ.

С. 98. *...посланные Мойрами, Айсою и Ананке.* — Мойры — вершительницы человеческой судьбы, дочери богини необходимости Ананке. У Сологуба Айса — богиня случайности, изменчивости мира (в греч. мифологии — Тихе).

*Лэди Годива* (1040—1080) — леди Годива — персонаж английской истории: ради смягчения участи впавшего в нищету народа жена феодала-самодура согласилась на его унизительное требование — проехать по улицам обнаженной.

С. 99. *Сабурову и Светилович отдали родителям.* — Названы персонажи эпизода, снятого во второй редакции романа (в нем описывалась расправа над участниками массовки).

С. 109. *Сирота казанская* — человек, который прикидывается бедняком, плут, притворный бедняк (В.И. Даль).

С. 119. *Осокорь* — разновидность тополя.

*Черноклен* — народное название растения Acer tataricum — клена татарского.

*Чаполоть* — народное название злаковых растений: щетинника зеленого, вейника наземного и др.

С. 121. *Живы дети, только дети.* — Первая строка стихотворения Сологуба без названия (1897).

С. 124. *Лататa задал.* — Т.е. бежал. Лататах — слово, выражающее стукоток, звук паденья, хлопанья или стук при побеге (В.И. Даль).

С. 127. *Здесь русский дух, здесь Русью пахнет!* — Неточная цитата из поэмы А.С. Пушкина «Руслан и Людмила». У Пушкина: «Там русский дух... там Русью пахнет!»

С. 129. *...на светло-лиловых... загадках...* — Загадка — растение: «пушник, блошник, богатинка. Ею гадают, сорвав и воткнув ее в щель избы, расцветет ли?» (В.И. Даль).

С. **130.** *...шансонетная певица-расторопша...* — Расторопша — проворная, сметливая, бойкая.

С. **131.** *Парх* — сыпь на голове, парша, а также бранное слово (пархатый, паршивец, шелудяк).

С. **141.** *Ампир* — стиль в архитектуре и декоративном искусстве, сложившийся в эпоху Наполеона Бонапарта; отличается монументальностью форм и богатым, величественным орнаментом.

*...под длинными листами латаний.* — Латании — пальмы с густой, широкой кроной, разводимые в оранжереях.

*Католический прелат* — представитель высшего духовенства: кардинал, архиепископ, епископ, аббат, настоятель монастыря.

С. **142.** *Епархиалка* — учащаяся в в епархиальном училище, среднем учебном заведении для дочерей священнослужителей.

*Кнут Гамсун* (наст. фам Педерсен; 1859—1952) — норвежский писатель, лауреат Нобелевской премии (1920).

*Григ* Эдвард (1843—1907) — норвежский композитор, пианист, дирижер.

С. **153.** *...как труба архангела в судный день...* — Имеется в виду день Страшного Суда, предстоящий, по христианскому вероучению, в «конце времен». О вселенской катастрофе вострубят ангелы. О судном дне рассказывается в Евангелиях от Матфея (гл. 13, ст. 30; гл. 24, ст. 30—31; гл. 25, ст. 32—46), от Иоанна (гл.5, ст. 28—29) и в Апокалипсисе (гл.6, ст. 12—14).

С. **163.** *Вичка*, вича, вица — хворостинка, прут, розга, хлыст, длинная ветка, лоза (В.И. Даль).

С. **165.** *Моя Дульцинея не хотела стать Альдонсою.* — В романе Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (1615) воображение влюбленного Рыцаря Печального Образа превратило тобосскую крестьянку Альдонсу Лоренсо в благородную красавицу Дульсинею. «Лирический подвиг Дон Кихота, — пишет Сологуб в очерке «Мечта Дон Кнхота», — в том, что Альдонса отвергнута как Альдонса, и принята лишь как Дульцинея. Не мечтательная Дульцинея, а вот та самая, которую зовут Альдонсою. Для вас — смазливая, грубая девка, для меня — прекраснейшая из дам. Ибо не должно быть на земле грубой, смазливой, козлом пахнущей Альдонсы. И если кажется, что она есть, то лирическое восприятие мира требует чуда, требует преображения плоти».

С. **168.** *Три жировика, три лесовика, три отпадшие силы!* — В восточнославянской мифологии — злые духи. Лесовик (леший) — воплощение леса как враждебного человеку пространства.

С. **185.** *...громогласным чтением «Апостола»...* — «Апостол» — богослужебная книга греко-российской церкви, содержащая Послания и Деяния апостолов с разделением их на главы, предназначенные для чтения в церквах во время литургии.

С. **196.** *Толстые томы Каткова...* — Имеется в виду собрание сочинений Михаила Никифоровича Каткова (1818—1887), публициста, критика, редактора-издателя журнала «Русский вестник» и газеты «Московские ведомости».

*...смирдинские издания сороковых годов...* — Имеются в виду книги известного издателя и книгопродавца Александра Филипповича Смирдина (1795—1857), издававшего сочинения А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, В.А Жуковского и др., а также журнал «Библиотека для чтения».

С. **205.** *Будда* — имя, данное Сиддхартхе Гаутаме (623—544 до н.э.), основателю одной из основных религий мира — буддизма.

С. **206.** *...мир будет во власти желтого антихриста.* — Имеется в виду предсказание поэта и мыслителя Вл. С. Соловьева (1853—1900) «о грядущей монгольской грозе», выраженное им в стихотворении «Панмонголизм» (1894) и в последнем философском труде «Три разговора» («Краткая повесть об Антихристе»; 1899).

*...Гюйо, который говорит о безверии будущих поколений?* — Жан Мари Гюйо (1854—1888) — французский философ-позитивист и поэт, считавший этику наукой, которая излагает лишь факты социальной жизни и не нуждается в религиозной морали.

## Часть вторая. Королева Ортруда

С. **221.** *Цивильный лист* — в монархических государствах бюджетные средства, выделяемые на содержание царствующего дома.

С. **222.** *...царственный лондонский джентльмен... законодатель мод и приличий...* — А.И. Михайлов считает, что это Георг Брюммель (1778—1840), друг принца Уэлльского (ставшего королем Георгом IV), знаменитый великосветский модник и эстет (см. примеч. в кн.: Сологуб Ф. Творимая легенда. М., 1991. С. 569).

С. **223.** *«Sancta simplicitas»* — «Святая простота» (лат.).

С. **224.** *Среди... пурпура и синели пышных цветений...* — Одно из значений слова «синель» — искаженное «сирень» (будто от «синий» — В.И. Даль). Отсюда устаревшее народное «синелевый» — лиловый, сиреневый, цвета сирени. Здесь «синель» означает сиреневый цвет.

С. **235.** *...любила «за то, что любила».* — См. у М.А. Кузмина: «А я любила, потому что полюбила» из стихотворения «Нас было четыре сестры, четыре сестры нас было...» (цикл «Александрийские песни»; 1906).

С. **241.** *...дикая душа валкирии...* — Валкирии, или валькирии, (букв. «выбирающие мертвых, убитых») — в скандинавской мифологии воинственные девы, решавшие по воле бога Одина исход сражения. Отбирали храбрейших из павших воинов и уносили их в Вальхаллу, дворец Одина, где те продолжали свою прежнюю героическую жизнь. В героических песнях «Старшей Эдды» изображены как женщины-богатырки.

*...красотою подобная Деннице...* — Денница — в славянской мифологии образ полуденной зари (или звезды), мать, дочь или сестра Солнца, возлюбленная Месяца, к которому ее ревнует Солнце.

С. **244.** *Пьер Луис* (1870—1925) — французский поэт и прозаик, автор популярных эротических романов, переведенных на русских язык: «Афродита», «Женщнна и паяц», «Жертва любви и тщеславия», «Женщина-сфинкс» и др.

С. **271.** *Антоний Падуанский* (1195—1231) — святой католической церкви, пламенный проповедник и чудотворец.

С. **292.** *Куртаж* — плата, получаемая посредником при заключении сделки.

С. **300.** *Наваха, дага* — длинные испанские ножи, служащие оружием.

С. **314.** *Сирокко* — сухой, знойный ветер в Южной Европе и Северной Африке.

С. **324.** *Эпитимия* (епитимья) — церковное наказание в виде постов, поклонов, длительных молитв и т.п.

С. **337.** *Бурбоны* — королевская династия, правившая во Франции в 1589—1792, 1814—1830 гг.

С. **345.** *Теософствующие* — последователи теософской мистической доктрины Е.П. Блаватской (1831—1891), соединившей буддизм и другие восточные учения с оккультизмом и христианством.

С. **346.** *Нет, весь я не умру.* — Из стихотворения А.С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...».

С. **351.** *Гетера* (греч. подруга, любовница) — в Древней Греции незамужняя образованная женщина, ведущая независимый, свободный образ жизни; также синоним проститутки.

С. **360.** *Инсургент* — участник восстания, повстанец.

С. **366.** *Парламент вотировал благодарность принцу Танкреду...* — Вотировать (парламентск.) — принимать голосованием.

С. **390.** *Ловелас* — герой романа английского писателя Сэмюэля Ричардсона (1689—1761) «Кларисса Гарлоу»; его имя стало нарицательным обозначением волокиты и обольстителя.

С. **402.** *Вавилонская блудница* — библейский образ, символизирующий мирскую греховность. Толкователи Библии блудницей называют и сам антихристианский город Вавилон, погрязший в блуде, грехе и боговраждебности.

С. **403.** *...в Писании сказано: если око твое соблазняет тебя, вырви его.* — Неточная цитата из Библии: «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его» (Евангелие от Матфея, гл. 5, ст. 29).

С. **405.** *Ферула* (лат. хлыст, розга) — линейка, которой в старину били по ладоням провинившихся или непослушных учеников.

С. **425.** *Фурии* — в римской мифологии богини мести и угрызений совести, наказывающие человека за совершенные грехи. В переносном значении — разъяренные, злые женщины.

С. **430.** *Геркуланум и Помпея* — города Древнего Рима, погребенные под пеплом при извержении Везувия 24 августа 79 г. н.э.

*Содом и Гоморра* — в ветхозаветном предании города, жители которых погрязли в распутстве, за что были испепелены небесным пламенем.

*Атлантида* — по древнегреческому преданию, описанному Платоном, густонаселенный плодородный остров в Атлантическом океане, опустившийся на дно после землетрясения.

*Всемирный потоп* — описанное в Библии (Первая книга Моисеева. Бытие, гл. 6—8) легендарное событие: Бог, рассердившись на людей, наслал на них кару — всемирное наводнение, в котором погибло все человечество, за исключением праведника Ноя, его семьи и взятых ими в ковчег животных.

*Вавилонское столпотворение* — в переносном значении: суматоха, суета, беспорядок. В основе — библейское предание о том, как после всемирного потопа возгордившиеся люди задумали построить город Вавилон и в нем башню до небес. «И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город. Посему дано ему имя: Вавилон; ибо там смешал Господь язык всей земли,

и оттуда рассеял их Господь по всей земле» (Первая книга Моисеева. Бытие, гл. 11, ст. 5—9).

С. **430.** *Изгнание первых людей из рая* — библейский миф о нарушении Адамом и Евой Божьего запрета вкушать плод от древа познания добра и зла, за что они были изгнаны из рая. Ева за ослушание была осуждена в муках рожать детей и терпеть господство Адама. Наказанием Адаму было впредь до самой смерти трудиться в поте лица, добывая себе хлеб насущный (Первая книга Моисеева. Бытие, гл. 3).

С. **431.** *Святая Агата* — почитаемая в южной Италии мученица; не поддавшись похотливым притязаниям римского наместника Квинтиана, была им замучена 5 февраля 251 г. В Сицилии почитается как заступница против извержений вулкана Этна.

С. **433.** *Синдикалистское движение* (от фр. синдикаты — профсоюзы) — анархо-синдикализм, отвергающий политическую борьбу, считающий профсоюзы высшей формой организации протеста и борьбы за права и свободы.

С. **439.** *...в серых крылатках и в черных сомбреро.* — Крылатка — широкий плащ-накидка; сомбреро — широкополая латиноамериканская шляпа.

*Селенограф* — специалист по изучению поверхности Луны.

С. **443.** *Рептильная печать* (от лат. рептилии — ползающие) — раболепствующая, пресмыкающаяся, зависимая от властей пресса.

С. **445.** *Мистерия* — в западноевропейском театре средневековья религиозная драма на основе литургического действа; впоследствии жанр драматургии с библейским сюжетом и вставными комедийно-бытовыми эпизодами.

С. **456.** *Инфлуэнца* (инфлюэнца) — устаревшее наименование гриппа.

С. **461.** *Порфира* — мантия пурпурного цвета, надеваемая монархами в торжественных случаях.

## Часть третья. Дым и пепел

С. **495.** *...одарена жестоким предвидением Кассандры...* — Троянская царевна-прорицательница Кассандра предсказала гибель Трои.

С. **506.** *...отвергнутая им Лилит, та, которая была с ним раньше Евы...* — Согласно одному из древних преданий, Лилит — прекрасная, соблазнительная, добрая первая жена первочеловека Адама, сотворенная Богом из глины. Потре-

бовав у Адама равноправия, но не сумев убедить его в этом, она исчезла. Ева — жена Адама, праматерь человеческого рода.

С. 513. *...напоминая химер Парижского собора.* — Имеются в виду скульптурные изображения мифических чудовищ на соборе Парижской богоматери.

С. 514. *...проснулись вместе на земле Ойле, под ясным Маиром.* — Образы из стихотворного цикла Сологуба «Звезда Маир» (1898—1901). По предположению М.И. Дикман, «земля Ойле» — по имени Оле-Лукойе (датск.: «Оле — закрой глазки»), которое носят братья из одноименной сказки Андерсена, олицетворяющие сон и смерть; звезда Маир — по аналогии с Альтаир из созвездия Орла. Вот как Сологуб в первом стихотворении цикла выражает свое восхищение «блаженным краем вечной красоты»:

Звезда Маир сияет надо мною,
Звезда Маир,
И озарен прекрасною звездою
Далекий мир.

Земля Ойле плывет в волнах эфира,
Земля Ойле,
И ясен свет блистающий Маира
На той земле.

Река Лигой в стране любви и мира,
Река Лигой
Колеблет тихо ясный лик Маира
Своей волной.

Бряцанье лир, цветов благоуханье,
Бряцанье лир
И песни жен слились в одно дыханье,
Хваля Маир.

С. 515. *Лигой* — возможно, от Лиго, богини любви и счастья в латышской мифологии.

С. 528. *«Если его бы не было, его бы следовало придумать».* — Так говорил о Боге французский философ-просветитель и писатель Вольтер (1694—1778).

С. 531. *Ей казалось, что она чувствует в своей груди душу леди Макбет.* — Леди Макбет — действующее лицо трагедии У. Шекспера «Макбет».

Желая возвести мужа на шотландский престол, склоняла его к убийству соперников.

С. 544. *Солея* — возвышение, середа, ступень под клиросами перед алтарем (В.И. Даль).

С. 547. *...масло лампадное галлипольское...* — Галлиполи — город на островах в итальянской Апулии, славившийся производством так называемого деревяниого масла для церковных лампад.

*Киот* — в православии застекленный ящик или шкафчик для икон (божница).

С. 557. *Сороковка* — бутылка вместимостью в 1/40 ведра.

С. 571. *...военного министра графа Чернышева.* — Александр Иванович Чернышев (1785—1857) — участник Отечественной войны 1812 г. С 1827 г. военный министр; с 1848 г. председатель Государственного совета. В 1841 г. получил княжеский титул.

С. 572. *...записали рядовым в Семеновский полк.* — Семеновский лейбгвардии полк сформирован в 1687 г.; впоследствии привилегированная гвардейская часть.

*Генерал-аншеф* — в русской армии с 1730 до 1798 г. чин полного генерала II класса (после генерал-фельдмаршала); генерал от инфантерии, генерал от кавалерии, генерал от артиллерии.

*...титул маркиза был капризом императрицы Екатерины Второй.* — Маркиз — в некоторых странах Европы дворянский титул, средний между графским и герцогским; в России иногда присваивался Екатериной II.

*Флигель-адъютант* — младшее звание для штаб- и обер-офицеров армии и флота, входящих в императорскую свиту.

*...получил титул светлости.* — Светлость — общий титул для светлейших князей (по пожалованию), а с 1886 г. и для князей императорской крови.

С. 573. *Вольтерианец* (вольтерьянец) — так в России XVIII в. называли вольнодумцев, увлеченных просветительскими идеями Вольтера.

С. 574. *Фармазон* — франк-масон, член масонской мистической организации, ставившей целью нравственное совершенствование; вольнодумец, нигилист.

С. 575. *Фанаберия* — ни на чем не основанная кичливость, спесь.

С. 586. *Ездил же Гучков к бурам!* — Александр Иванович Гучков (1862—1936) — политический и государственный деятель, лидер партии октябристов; крупный предприниматель. Во время захватнической вой-

ны англичан с бурами в 1899—1902 гг. сражался в рядах южноафриканцев и был ранен.

С. **587.** *...в гулючки играете.* — Играть в гулючки (гулюкаться) — играть в жмурки (В.И. Даль).

С. **604.** *...нас под обух подвел.* — Обух — утолщенная тупая часть острого орудия. Под обух идти — т.е. на верную гибель (В.И. Даль).

С. **616.** *Вспомни казнь Максимилиана, императора мексиканского...* — Максимилиан Фердинанд Иосиф (1832—1867) — брат австрийского императора Франца Иосифа, генерал-губернатор Ломбардо-Венецианского королевства, назначенный в 1863 г. по указанию Наполеона III императором Мексики. В 1867 г. был захвачен мексиканскими республиканцами и расстрелян.

*Душа ее томилась на светлых качелях, переносясь от безнадежности к желаниям.* — У Сологуба образ качелей встречается многократно, в том числе в стихотворении «Качели» (1894):

Печали ветхой злою тенью
Моя душа полуодета,
И то стремится жадно к тленью,
То ищет радостей и света.

И покоряясь вдохновенно
Моей судьбы предначертаньям,
Переношусь попеременно
От безнадежности к желаньям.

С. **619.** *Колористы* — живописцы, искусные в подборе красок, цветовых тонов.

С. **626.** *...о судьбе... короля Балеарского.* — Вымышленные события в романе происходят на Балеарских островах, принадлежащих Испании.

С. **628.** *...похожий на Ренана...* — Жозеф Эрнест Ренан (1823—1892) — французский прозаик, драматург, востоковед; автор «Истории происхождения христианства» (кн. 1—8; 1863—1893).

С. **629.** *...королем Майорки и Минорки, государем Балеарским и Питиусским.* — Названы островные территории, входящие в испанскую провинцию Балеарес.

С. **633.** *На Питиусских островах, Ивисе и Форментере...* — Правильное название этих испанских островов: Ивиса и Форментера (они главные

в группе Питиусских, или Сосновых, островов на западе Средиземного моря).

С. **633.** *...контрасигновать манифест...* — Контрасигнация, контрасигнатура (от лат. contra против + signare подписывать) — подпись министра на акте, исходящем от главы государства, означающая, что подписавший принимает на себя юридическую и политическую ответственность за данный акт.

С. **635.** *...размыкали по приморскому шоссе, как древнюю Брунгильду.* — Брунгильда (533—613) — вдовствующая королева Австразии (на востоке Франкского королевства), погибшая мученической смертью: 80-летнюю женщину привязали к копытам дикой лошади, и та на быстром скаку разорвала тело жертвы на части.

*М. Волошин*

## Леонид Андреев и Феодор Сологуб

Впервые — в газ. «Русь». 1907. 19 дек. № 340. Печ. по изд.: Волошин М. Лики творчества. Л.: Наука, 1988 (серия «Литературные памятники»). Автор рецензии — Максимилиан Александрович Волошин (наст. фам. Кириенко-Волошин; 1877—1932) — поэт, критик, художник, переводчик.

С. **639.** *Андреев* Леонид Николаевич (1871—1919) — прозаик, драматург, публицист.

*«Шиповник»* (1906—1918) — книгоиздательство в Петербурге — Петрограде, основанное художником-карикатуристом З.И. Гржебиным (1869—1929) и С.Ю. Копельманом (1881—1944); в 1907—1917 гг. выпускало одноименные альманахи.

*...отмеченных знаком «Скорпиона» или «Грифа».* — «Скорпион» (1899—1916) — символистское книгоиздательство С.А. Полякова в Москве, выпускавшее альманах «Северные цветы». «Гриф» (1903—1913) — символистское книгоиздательство С.А. Соколова (С. Кречетова) в Москве и одноименный альманах.

*«Жизнь человека»* («Шиповник», 1907, 1908) — философская трагедия Л.Н. Андреева, поставлениая В.Э. Мейерхольдом в феврале 1907 г. в театре В.Ф. Комиссаржевской и К.С. Станиславским в декабре 1907 г. на сцене МХТ.

*«Елеазар»* («Золотое руно». 1906. № 11—12) — рассказ Андреева. «Рассказ мрачный, как клистирная трубка», — такую шутливую самооценку

дал своему детищу автор в письме к Горькому, на что тот немедленно отозвался так: «...это, на мой взгляд, лучшее из всего, что было написано о смерти во всемирной литературе. Мне кажется даже, что ты как бы приблизился и приближаешь людей к неразрешимой загадке, не разрешая ее, но страшно близко знакомя с нею. Ее чувствуешь — спокойную, темную, великую своим спокойствием — это удивительно хорошо. Превосходно выдержан стиль. Вообще — как литература, как произведение искусства — эта вещь дает мне огромное наслаждение и вызывает славную радость за тебя — молодчина ты!» Но были и другие суждения, возмутившие и расстроившие Андреева, например — А.В. Луначарского, который назвал автора «Елеазара» «самым могильным могильщиком», «эмиссаром смерти», «гробокопателем» (статья «Тьма» в сб. «Литературный распад». СПб., 1908. Кн. 1). Волошин посвятил анализу рассказа статью, введя его в контекст произведений мировой литературы, посвященных теме воскресения («Елеазар», рассказ Леонида Андреева» // Русь. 1907. 16 февр.).

С. **640.** *«Знание»* (1898—1913) — книгоиздательское товарищество в Петербурге, организаторами которого выступили К.П. Пятницкий и М. Горький. Вокруг «Знания» объединились писатели-реалисты.

С. **641.** *Фигуры на гробницах Медичей...* — Имеется в виду Капелла Медичи (Новая ризница), построенная в 1524—1534 гг. во Флоренции Микеланджело Буонарроти (1475—1564). Над саркофагами в нишах скульптор поместил статуи Лоренцо и Джулиано Медичи, а также скульптурные изображения аллегорических фигур Утра, Дня, Вечера и Ночи.

*...деталь, очень запомнившаяся... бумажка от карамельки.* — Имеется в виду один из первых рассказов Андреева «Большой шлем» (1899).

С. **642.** *Бальзак* Оноре де (1799—1850) — французский классик-реалист, автор эпопеи «Человеческая комедия», состоящей из 90 романов, повестей и рассказов.

*«Все преходящее есть только символ»* — первые слова Мистического хора в финале философской трагедии Гёте «Фауст» (1808—1832).

*...о «тяжелых взорах пламенного Змия»...* — В этом абзаце Волошин с неточностями цитирует роман Сологуба (см. в наст. изд.).

*«Был знойный день...»* — Из рассказа Сологуба «Отрок Лин» (первоначальное название «Чудо отрока Лина»; 1906).

С. **644.** *...в период «Иуды»...* — Повесть Андреева «Иуда Искариот» была опубликована в «Сборнике товарищества «Знание» за 1907 год», кн. 16 (СПб., 1907) под названием «Иуда Искариот и другие».

С. **644.** *«За нашу братию!..»* — Неточные цитаты из «Тьмы» Андреева.

*...гоголевского «Портрета».* — «Портрет» — повесть Гоголя.

С. **645.** *...из радостной легенды о воскресшем Лазаре?* — Библейская притча о чуде воскрешения Иисусом Христом умершего праведника Лазаря. См.: Евангелие от Иоанна, гл. 11, ст. 17—44. Этот день церковью празднуется в Лазареву субботу, перед Вербным воскресеньем (за неделю до Пасхи).

*Е. Замятин*

## Федор Сологуб

Впервые — в сб. «Современная литература». Л.: Мысль, 1925 (под заглавием «Белая любовь»).

# СОДЕРЖАНИЕ

**Сологуб Ф.**

**С 60** Собр. соч.: В 6 т. Т. 4. Творимая легенда: Роман / Сост., примеч. Т.Ф. Прокопова. — М.: НПК «Интелвак». 2002. – 672 с.

ISBN 5-93264-035-9 (т. 4)

В четвертом томе собрания сочинений классика Серебряного века Федора Сологуба (1863–1927) печатается его философско-символистский роман «Творимая легенда», который автор считал своим лучшим созданием.

УДК 882 Сологуб 2
ББК 84 (2Рос=Рус)1

**Сологуб Федор**
**(Тетерников Федор Кузьмич)**

**Собрание сочинений**
**в шести томах**
Том 4

Редактор *Виктория Фрадкина*
Корректор *Наталья Шипилова*
Верстка *Ирины Ануфриевой*

Подписано в печать 30.08.2001. Формат 60×84/16 Бумага офсетная № 1.
Гарнитура Таймс Печать офсетная Усл.-печ л 39,06 Уч.-изд. л. 37,8.
Тираж 3000 экз. Заказ № 4500.

Лицензия ЛР № 071768 от 15 декабря 1998 г.

Издательство НПК «Интелвак»
113105, Москва, Нагорный проезд, 7
Факс 127 3847. Тел. 127 3846
E-mail: iv@deltacom.ru

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного оригинал-макета на ГИПП «Вятка».
610033, г. Киров, ул. Московская, 122.

ISBN 5-93264-035-9
9 785932 640357 >